

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ,
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПСИХОЛОГИ

РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII–XX ВЕКОВ

Под ред. Т.И. Печерской

Новосибирск
2015

УДК 821.161.1(09)(082) + 94(47+57)(082) + Печатается по решению
930.2(082) Редакционно-издательского
ББК 83.3(2=Рус)–00я43 + 63.3(2)–7я43 + совета ФГБОУ ВПО «НГПУ»
63.211я43
Р 65

*Подготовлено при поддержке РГНФ, проект 15-04-00508
(Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII–XX веков»).*

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук (ответственный редактор) *Т.И. Печерская*;
кандидат филологических наук *Н.В. Константинова*;
кандидат филологических наук *Н.А. Ермакова*;
кандидат филологических наук *Е.Г. Николаева*;
кандидат филологических наук *И.Е. Лоцилов*;
кандидат филологических наук *О.А. Фарафонова*

Рецензенты:

доктор филологических наук, ст. научн. сотр. сектора литературоведения Ин-
ститута филологии СО РАН *Е.Ю. Куликова*;
кандидат филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной
литературы, теории литературы и методики обучения литературе
ФГБОУ ВПО «НГПУ» *Э.И. Худощина*

Р 65 Русский травелог XVIII–XX веков : коллективная монография / под
ред. Т.И. Печерской ; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос.
пед. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. – 656 с.

ISBN 978-5-00023-767-0

Проблематика коллективной монографии связана с исследованием до-
кументальных текстов (летописи, путевые записки, отчеты, очерки, дневни-
ки, мемуары, письма и т. п.), написанных в связи с путешествиями, а также
с интерпретацией художественной рецепции путешествий. В монографии пред-
ставлен широкий временной, топографический, сюжетный диапазон травело-
гов: путешествия по чужой и своей стране на протяжении нескольких столет-
тий; географические сюжеты и «открытия», особенности восприятия и оценки
«чужого», этнографическое, научное, туристическое освоение пространства,
путешествия «по делам службы», принудительное путешествие (ссылка). Тео-
ретические аспекты исследования затрагивают вопросы жанровой специфики
травелога, литературности как свойства документальных травелогов, влияния
художественной литературы на формирование нарратива травелога.

**УДК 821.161.1(09)(082) + 94(47+57)(082) + 930.2(082)
ББК 83.3(2=Рус)–00я43 + 63.3(2)–7я43 + 63.211я43**

ISBN 978-5-00023-767-0

© Оформление. ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2015

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE RF
FSBEI HPE «NOVOSIBIRSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY»
THE INSTITUTE OF PHILOLOGY,
MASS MEDIA AND PSYCHOLOGY

**THE RUSSIAN TRAVELOGUE
OF THE XVIII–XX CENTURIES**

Managing Editor T.I. Pecherskaya

Novosibirsk
2015

UDK 821.161.1(09)(082) + 94(47+57)(082) + Recommended by the educational
930.2(082) and methodical council
UDK 83.3(2=Рус)-00я43 + 63.3(2)-7я43 + of FSBEI HPE «NSPU»
63.211я43
R 65

The monograph is prepared with assistance of the Russian humanitarian scientific fund, the project 15-04-00508 (The annotated index "The Russian travelogue of the XVIII–XX centuries")

Editorial board:

Doctor of Philology (editor in chief) *T.I. Pecherskaya*;
Candidate of philological sciences *N.V. Konstantinova*;
Candidate of philological sciences *N.A. Ermakova*;
Candidate of philological sciences *E.G. Nikolaeva*;
Candidate of philological sciences *I.E. Loshchilov*;
Candidate of philological sciences *O.A. Farafonova*

Reviewers:

Doctor of Philology, Senior Researcher of the Department of Literary Studies,
Institute of Philology, Siberian branch of Russian Academy of Sciences *E.Yu. Kulikova*;
Candidate of philological sciences, professor of the Department of Russian and
foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching,
Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU) *E.I. Khudoshina*

R 65 **Russian travelogue of XVIII–XX centuries:** collection of academic
papers / ed. by T.I. Pecherskaya ; Ministry of Education and Science of
the Russian Federation, Novosibirsk State Pedagogical University. –
Novosibirsk: Publishing sector of NSPU, 2015. – 656 pp.

ISBN 978-5-00023-767-0

The issues of the current collection of academic papers are connected with the studies of documentary texts (chronicles, travel notes, reports, sketches, diaries, memoirs, letters etc.), written about travelling, as well as with the interpretation of the literary reception of travelling. This collection represents a wide range of travelogues, different in time, topographic and plot aspects: travels abroad and within homeland during several centuries, geographical sketches and “discoveries”, specifics of “alien world” perception and assessment, ethnographic, scientific and tourist exploration of the territories, business travels, forced displacements (exiles). Theoretical aspects of the research deal the topics of genre features of the travelogues, literary style of documentary travelogues and the impact of fiction literature on the formation of travelogue narrative.

UDK 821.161.1(09)(082) + 94(47+57)(082) + 930.2(082)
BBK 83.3(2=Рус)-00я43 + 63.3(2)-7я43 + 63.211я43

ISBN 978-5-00023-767-0

© Typography. FSBEI HPE «NSPU», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1

ТРАВЕЛОГ В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(летопись, путевые записки, служебный отчет, очерк,
дневник, мемуары, эпистолярный и пр.)

1.1. Заграничные путешествия: историко-культурный и ментально-антропологический аспекты	9
Собор святого Петра в дневниках и письмах русских путешественников XVIII века (<i>Фарафонова О.А.</i>)	9
«Депеизация» по-русски: путешествия по Европе в мемуарном наследии Д.Н. Свербеева (1799–1874) (<i>Медведева Т.В.</i>)	28
«Записки...» о. Иакинфа Бичурина и Е.Ф. Тимковского как первые травелогисты русских путешественников о Монголии (<i>Мароши В.В.</i>)	48
Путешественник vis-à-vis форестьер в итальянском травелоге П.В. Ковалевского (1858) (<i>Ермакова Н.А.</i>)	71
Почтовая открытка конца XIX – начала XX века как форма травелога (на материалах коллекции личной переписки фабриканта и мецената Д.Г. Бурылина) (<i>Докучаев Д.С.</i>)	105
1.2. Поездки по России русских и иностранных путешественников: ключевые концепты	113
Путь и движение в сибирских летописях XVII века (группа Есиповской летописи) (<i>Журова Л.И.</i>)	113
Путешествие и его природная обусловленность (<i>Милюгина Е.Г., Строганов М.В.</i>)	128

«Вынужденные путешественники»: переселения в Сибирь в общественно-политическом дискурсе второй половины XIX – начале XX веков (<i>Чуркин М.К.</i>)	142
Преддверие Сибири: образы границы в описаниях путешествий по Сибири (вторая половина XIX века) (<i>Корандей Ф.С.</i>)	166
Графиня Кармен Герц-Финкенштейн в Москве и Петрограде в 1923 году (<i>Уго Перси</i>)	197

РАЗДЕЛ 2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

2.1. Художественный и документальный травелоги в нарративном аспекте	224
«Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П.И. Сумарокова: специфика пейзажных описаний (<i>Мамуркина О.В.</i>)	224
Восточное путешествие Пушкина и его литературные последствия (<i>Худошина Э.И.</i>)	233
«Африканская тема» в книге путевых очерков И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада» (<i>Павлович К.К.</i>)	248
Американская тема в художественном и публицистическом творчестве В.Г. Короленко (<i>Крылов В.Н.</i>)	260
«Путевые записки по Швейцарии» Л.Н. Толстого: «А горы...» (<i>Гузаевская С.Н.</i>)	287
2.2. Поэтика травелога в художественном тексте: сюжеты, мотивы, топосы, образы	304
Радищев и его «Путешествие...» в пространстве души (<i>Донателла Ди Лео</i>)	304

Странничество героя: экзистенциальный аспект (мотив «русский человек на rendez-vous») (Шестакова Э.Г.).....	322
Путешествие болгарского и русского купцов в Европу в ракурсе национальной идентичности (Алеко Константинов и Николай Лейкин) (Чавдарова Дечка).....	355
«Африка» Андрея Белого и Николая Гумилева: лики травелога (Шатин Ю.В.).....	378
Швейцарский топос в романе В.В. Набокова «Подвиг» (Николаева Е.Г.).....	426
Три мира, три эпохи, три культуры: эхо городов Гейдельберг, Таллинн и Кайсери в русской литературе XVIII–XX веков (Далкылыч О.).....	427
Пространственно-временные координаты травелога в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» (Безруков А.Н.).....	446
По мотивам путешествия: пьеса Владимира Мирзоева «Умай» (Муратова Н.А.).....	460
«Железнодорожный дискурс» в современной прозе (на материале сборника «Красная стрела») (Константинова Н.В.).....	485

РАЗДЕЛ 3

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУС ТРАВЕЛОГА

Травелог в «Русском слове»: к вопросу о редакционной тактике журнала (Печерская Т.И.).....	486
Травелог «Невского сборника» (1867): проблемы жанрового единства (Козлов А.Е.).....	503

Концепт <i>путешествие</i> в русском анархизме (Бакунин, Кропоткин, Боровой, братья Гордины и др.) (<i>Мартынов М.Ю.</i>).....	522
Травелог в детской литературе 1920–1930-х годов: Даниил Хармс (<i>Кувшинов Ф.В.</i>).....	533
Вос/произведение травмы: осмысление депортации в профессиональной культуре репрессированных народов Северного Кавказа (на примере балкарцев и карачаевцев) (<i>Рахаев Дж. Я.</i>)	542
Дискурс путешествия в «Одноэтажной Америке» И. Ильфа и Евг. Петрова (<i>Жиличева Г.А.</i>).....	563
Советский дипломат в Иерусалиме в 1943 году: три рассказа об одном путешествии (<i>Аганов М.Г.</i>).....	580
«Ментальная колонизация» Восточной Европы: послевоенные травелоги Эренбурга и социалистическая империя (<i>Пономарев Е.Р.</i>).....	596

ПРИЛОЖЕНИЕ

Геоинформационные системы как метод биографических исследований (на примере изучения путешествий Л.Н. Толстого) (<i>Катионов О.Н., Голомолзин В.В., Палишева Н.В., Иванов Н.А.</i>).....	621
--	-----

ПУБЛИКАЦИЯ

Поэт Константин Беседин: муза странствований и путешествий (<i>Лоцилов И., Тименчик Р.</i>).....	629
Беседин К. Путешествие. <i>Поэма</i>	646

РАЗДЕЛ 1
ТРАВЕЛОГ В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(ЛЕТОПИСЬ, ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ, СЛУЖЕБНЫЙ ОТЧЕТ,
ОЧЕРК, ДНЕВНИК, МЕМУАРЫ, ЭПИСТОЛЯРИЙ И ПР.)

1.1. ЗАГРАНИЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И МЕНТАЛЬНО-
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

О.А. Фарафонова

Новосибирский государственный педагогический университет

СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА В ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ
РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVIII ВЕКА¹

Аннотация. Объектом исследования является восприятие русскими путешественниками Европы на примере одного из наиболее частотно посещаемых в XVIII веке города – Рима – и, конкретно, собора святого Петра. Материалом исследования в данном случае послужили тексты, отражающие взгляд путешественников конца XVII–XVIII веков, а именно: «Путешествие по Европе стольника П.А. Толстого» (1697–1699), «Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова» (1771–1773), «Итальянские письма» Д.И. Фонвизина (1784–1785) и «Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии» В.Н. Зинovieва (1785–1786). Собор святого Петра является своеобразной точкой пересечения маршрутов путешествий самых разных людей и в самое разное время. Что фиксирует взгляд путешественника, как видят путешественники одни и те же объекты, как их описывают, как меняется восприятие собора от конца XVII ко второй половине XVIII века, с чем связаны эти изменения – вот вопросы, которые отражены в настоящей статье. Тексты, сохранившие подобные свидетельства, имеют

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – XX веков»).

разную жанровую природу. Особое внимание уделяется тому, как осваивалась европейская история и европейская культура сознанием русского дворянина. Римский собор св. Петра осознается авторами исследуемых текстов именно в контексте общеевропейского культурного пространства, которое еще только предстоит освоить/присвоить, обжить как свое.

Ключевые слова: путешествие, Рим, Петербург, собор святого Петра, журнал путешествия, дневник, культурная идентичность.

Сведения об авторе. Фарафонова Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-01-41. E-mail: oxana.faroks@yandex.ru).

Пути русских дворян, путешествующих по Европе в XVIII веке, традиционно проходили одними и теми же маршрутами. Следовательно, в поле зрения этих путешественников скорее всего попадали одни и те же объекты. Чрезвычайно интересно следить, как меняется восприятие одних и тех же фактов в зависимости от времени и личности путешественников.

При изучении русской мемуаристики² XVIII века невозможно не обратить внимания на тот факт, что «центром притяжения» для всех русских путешественников, посетивших Рим в это столетие, традиционно становится собор святого Петра. И дело здесь, как нам представляется, не только в том, что это одна из главных римских достопримечательностей.

Центральная римская церковь оказывается в поле зрения русских путешественников и ранее. В «Хождении на Флорентийский собор» читаем: «А Римъ великий градъ стоит на рѣцѣ на Тиверѣ за 12 миль до моря. <...> А церкви святаго апостола Петра внутри града» [Хождение, электронный ресурс]. Но речь здесь скорее всего идет не о самом соборе, а о базилике во имя

² Мемуаристика понимается в данном случае широко. Это не только собственно автобиографические записки, но и эпистолярный, и путевые дневники.

святого Петра, построенной еще в 326 году императором Константином, поскольку собор был заложен только при папе Николае V в 1452 году, а освещен был только в год 1300-летия первой базилики в 1626 году.

Нас в данном случае интересуют тексты, отражающие взгляд путешественников конца XVII–XVIII веков, а именно: «Путешествие по Европе стольника П.А. Толстого» (1697–1699), «Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова» (1771–1773), «Итальянские письма» Д.И. Фонвизина (1784–1785) и «Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии» В.Н. Зинovieва (1785–1786).

Точкой отсчета для нас не случайно становится именно петровская эпоха. Не будем здесь подробно останавливаться на процессах европеизации русской культуры, начавшихся в этот период, – об этом уже много и плодотворно писали. Остановимся лишь на одном аспекте, который, как нам представляется, во многом может объяснить причину стремления русских дворян петровской и постпетровской эпохи именно в Рим и конкретно в собор св. Петра. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что путешествия петровского времени носят, скорее, вынужденный, обязательный характер, поскольку это путешествия «по казенной надобности», как, например, путешествия стольника Толстого и графа Шереметева. Тем не менее, с основания и строительства Петром I Российской империи и её главного города, главного символа – Санкт-Петербурга, аналогии с Римом (в ином, нежели прежде, смысле, не «Москва – третий Рим», а Рим/Петербург – центр империи) возникают постоянно. Говоря о знаковости перенесения столицы в Петербург, К.Г. Исупов пишет: «Петербург есть новый Рим с общим для обеих столиц патроном-апостолом – св. Петром» [Исупов, 2002, с. 30]. Журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие...» в декабре 1756 года публикует за подписью «А. Н.» панегирическое стихотворение А.А. Нартова «Похвала Петербургу» [Нартов, 1756, с. 551], где говорится буквально следующее:

Ты морем и землей россиянам удобен,
Всяк оком обозри и с ужасом скажи:
Коль ты прекрасен, град! Ты Риму стал подобен,
И в сердце ты другим любовь к себе вложи.

Ф.О. Туманский, демонстративно указавший на обложке своего журнала «Российский магазин» «Издается в Граде Святого Петра», открыл первый номер (1792 г.) описанием Петербурга. Настойчивые ассоциации, возникающие между двумя городами и двумя империями, сказываются и на всё большем интересе, который проявляют путешествующие русские дворяне к «вечному городу». Это подкрепляется и постоянно фиксируемой общностью сакрального покровительства двух городов и даже узаконенной русской панегирической традицией (Феофан Прокопович) прямой аналогией Петра I с апостолом Петром. Таким образом и сам царь, и его город, оказываются тесно связаны с главным храмом, возведенным в честь этого апостола.

Здесь можно было бы ещё говорить и о том, что в самом облике новой империи постепенно накапливается довольно много «римских цитат». Достаточно упомянуть своего рода архитектурную рифму колоннады Казанского собора в Петербурге с колоннадой собора св. Петра³, или триумфальные арки, или, в конце концов, сам Медный всадник, пластикой своей неувольно напоминающий римскую статую Марка Аврелия. На протяжении всего XVIII века происходит постепенное, но неуклонное отождествление Петербурга с Римом. Для новой дворянской культуры России Рим становится безусловно значимой точкой отсчета собственной истории. Тем более понятно становится стремление российского дворянина в Рим и желание описать увиденное там.

Стоит отметить, что тексты, сохранившие подобные свидетельства, имеют разную жанровую природу. Если «Путешествие стольника П.А. Толстого» и «Записку путешествия графа Ше-

³ Известно, что по желанию Павла I Казанский собор должен был походить на собор св. Петра.

реметева» сближает традиция статейных списков, то «Журнал Демидова» – путевой дневник, имеющий характер подробной художественной энциклопедии. Но при определенных жанровых различиях и разных исходных целях описание собора в этих текстах отличается доскональностью и тщательной детализацией. Чрезвычайно подробно, особенно в «Журнале Демидова», фиксируется не только внешний вид собора, но и отдельные его элементы, зачастую с указанием материала, из которого они выполнены. Авторы этих произведений стремятся как можно подробнее воссоздать увиденное, не упустить ни единой детали. В «Журнале путешествия Н.А. Демидова», например, скрупулезное описание собора занимает более 5 страниц.

В «Путешествии П.А. Толстого» собор св. Петра становится центром не только Рима, но, в силу долгой исторической жизни и накопленных за века духовных сокровищ, и целого мира. Невозможно не обратить внимание на обилие слов «великий», «предивный» и «изрядный» при описании собора и пространства вокруг него: «великой церкви», «площадь изрядная, ровная и великая», «столбы каменные <...> зело высокие и великие», «площади для гуляния изрядная», «изрядным мастерством сделаны» и т.п. С одной стороны, Толстой стремится передать грандиозный облик вполне конкретного архитектурного сооружения, как заправский «экскурсовод», обращая внимание на скульптуру, фонтаны и прочие детали, наполняющие пространство вокруг и внутри собора. Он не только восхищается убранством храма, но оценивает его с точки зрения инженерной: отмечает конструктивную роль столбов, поддерживающих своды, фиксирует соотношение архитектурных, скульптурных и прочих элементов здания. При этом, разумеется, нельзя не отметить влияние традиции хождений и статейных списков, сказывающееся в стремлении автора пересчитать ступени, колонны, определить материал, из которого сделаны статуи. Но, с другой стороны, нельзя и не отметить то, что перед нами не просто констатация факта существования такого грандиозного во всех смыслах объекта, но своего рода эсте-

тическое переживание, позволяющее оценить собор не только как культовое сооружение, но именно как произведение искусства.

Особенно в «Путешествии Толстого» и «Журнале Демидова» заметно стремление передать визуальный эффект, стремление именно к изображению увиденного. Эти тексты можно в каком-то смысле уподобить словесному портрету, сопровождаемому подробнейшим комментарием.

Обращает на себя внимание и то, что, описывая собор, и П.А. Толстой, и автор «Журнала Демидова» акцентируют одни и те же детали. Возможно, потому, что именно они являются своего рода визитной карточкой собора.

Первое, с чего начинается описание собора в обоих текстах, – соборная площадь и колоннада. П.А. Толстой пишет:

приехал я к великой церкви святого апостола Петра и, не доезжая той церкви, сделана пляца, т.е. площадь изрядная, ровная и великая; около той площади округло поставлены столбы каменные, которых есть числом 576, зело высокие и великие, круглые [Толстой, 1992, с. 193–194].

В «Журнале Демидова» читаем:

Приезд к сей церкви представляет вид наивеликолепный и огромный чрез две площади, из которых первая ничем не застроена, а другая окружена колоннами и статуями мраморными, где имеются и переходы, примыкающие к церковной фасаде [Журнал путешествия, 2005, с. 134].

Впечатлившись масштабами соборной площади, авторы обоих текстов словно бы фокусируют взгляд на более частных вещах. Их внимание привлекают, например, так называемый, «египетский обелиск» и фонтаны. В «Путешествии стольника П.А. Толстого» читаем:

Посреди той площади поставлен столб каменный сделан четверуголен, из одного камня выгесан, вниз зело толст, а кверху тонок, изрядным мастерством сделан и зело высоко. На верху того столба на

той же площади сделаны изрядные два фонтана великия, из которых истекают изрядные воды чистыя и зело высоко и многоводно прыщут вверх [Толстой, 1992, с. 194].

Автор «Журнала Демидова» так описывает обелиск и фонтаны:

Посредине площади поставлен египетский обелиск, сделанный из одного цельного камня восточного гранита в 74 фута, а весь с пиесталом и с крестом наверху, имеющимся в 124 фута вышины. Он к большему украшению вокруг обведен балострадом белого мрамора с четырьмя медными вызолоченными львами. По бокам его в довольном расстоянии находится два фонтана, или водомета, биющие с изобильностию беспрестанно. Вода приведена в них с полей Тревиньянских, из озера Бранчиана за 35 верст от Рима; в обоих же фонтанах столько воды, что довольно было бы для самой большой мельницы [Журнал путешествия, 2005, с. 134].

Речь, очевидно, идет об обелиске Ватикана и фонтанах работы Карло Мадерно и Джан-Лоренцо Бернини, архитектора всей соборной площади. Обращает на себя внимание общее для обоих авторов стремление передать колоссальность увиденного доступными и понятными будущему читателю средствами. Поэтому автор «Журнала Демидова» не только дает русский вариант слова «фонтан» – «водомет», устанавливая семантику иноязычного слова, но и проводит аналогию с мельницей, давая даже более впечатляющую и осязаемую картину, нежели П.А. Толстой. Но и в том, и в другом случае авторы стремятся к максимальной точности передачи впечатления, поэтому указывают и форму, и размеры, и материал, из которого выполнено то, что они видят.

Изображение становится максимально объемным за счет своего рода пересечения эмоционального и документального планов. Но, кроме того, достоверность изображаемого достигается еще и своеобразным «переводом» видимого на язык собственной культуры. Без понимания этого аспекта некоторые

фрагменты, например, «Путешествия стольника П.А. Толстого» могут вызвать известное замешательство:

Церковь св. апостола Петра zelo велика, какой другой величиостью на всем свете нигде не обретается и предивным мастерством сделана. Перед тою церковью сделан рундук превеликий, и таким предивным мастерством и препорциею тот рундук построен, что подробну его описать трудно [Толстой, 1992, с. 194].

Толстой описывает незнакомую ему архитектурную традицию знакомыми понятиями. Так, в частности, «рундук», согласно словарю В.И. Даля, не только «род ларя», но и «мощное возвышение с приступками». Или еще один фрагмент:

Посреди той великой церкви сделан алтарь Римский, над которым сделана сень на четырех столбах zelo высоких [Толстой, 1992, с. 194].

Таким образом Толстой описывает знаменитый балдахин Бернини. Как отмечает О.Ю. Клаутова: «Глаз П. Толстого улавливает, а перо фиксирует сходство между "своим" и "чужим" (итальянской и древнерусской архитектурой), тем самым признавая их равноправие и включенность в общий поток мирового искусства» [Клаутова, 1996, с. 438].

Язык «Журнала Демидова» по сравнению с языком Толстого более «европеизирован», автор использует в большом количестве архитектурную и художественную терминологию, действительно говоря с культурой, которую видит вокруг, на одном с ней языке. Описание той самой «сени», то есть балдахина Бернини, выглядит уже так:

Посреди самой церкви под куполом имеется исповедалище, или гробница святого Петра, в коей, достоверно сказывали, что находятся и мощи сего апостола. Над ними поставлен жертвенник <...> На поверхности в церкви над самым исповедалищем жертвенник украшен четырьмя большими витыми сложенными и блестящими, как золото, колоннами, стоящими на четырех мраморных пьедесталах, коих средины украшены резьбою, третья часть колоннов дорожчатая. Их бази-

сы, капители и антаблемент наипрекрасные⁴ [Журнал путешествия, 2005, с. 137].

Однако, и в этом тексте не обходится без странностей, вызванных, вероятнее всего, тем, что перед нами документ, являющийся свидетельством неоконченного еще процесса знакомства с европейской культурой и освоения ее языка. Так, например, несколько раз на страницах «Журнала путешествия Демидова» имя Микеланджело пишется то как *Мишель Анжель*, то как *Мишель Анжэ*:

Первый на правой стороне со входа есть придел Распятия, в коем находится ваюное изображение, представляющее Богоматерь, поддерживающую умирающего Иисуса Христа, сделанное Мишель Анжелем и почитаемое за <...> первый плод дарования сего великого художника [Журнал путешествия, 2005, с. 137]; Конец сей церкви, или трибун, украшен по начертаниям Мишеля Анжела [Журнал путешествия, 2005, с. 138]; Придел Сикстинский был сооружен иждивением Папы Сикста IV. Мишель Анжель написал в нем весь свод в двадцать месяцев один, никем не вспоомоществуем [Журнал путешествия, 2005, с. 140].

Речь идет, разумеется, о творениях Микеланджело Буонарроти. Мы можем предполагать, что заставило такого подготовленного и осведомленного туриста, каким, вне всякого сомнения, является автор «Журнала Демидова»⁵, так исказить имя великого итальянца. О.Н. Анциферова, например, объясняет это «французским влиянием»: «Судя по всему, автор соотносит это

⁴ Именно эта часть собора становится единственным выделенным из общего контекста объектом описания в тексте «Записки путешествия графа Бориса Петровича Шерметева»: «Сия церковь вельми украшена мраморами разноцветными и резьбами предивными, а мощи Святыхъ Апостоль Петра и Павла опущены в землю низко и надъ мощми учинень для служения престоль, а надъ престоломъ сънаружи изъ церкви учинено негасимых лампадъ со-сто и больше» [Записка путешествия, 1773, с. 42].

⁵ Не так давно опубликованное исследование Е.В. Карповой доказывает, что журнал вел спутник Н.А. Демидова в его заграничном путешествии художник Н.И. Крымов. Он впоследствии обрабатывал записи, готовя их к публикации [Карпова, 2008, с. 612–634].

имя с французским именем Michel. Как видим, автор склоняет это имя собственное по образцу русских имен и даже образует от него производные слова: Мишель Анжелеву живопись» [Анциферова, 2008, с. 9]. Позволим себе предположить, что автор «Журнала Демидова», безусловно, знал написание этого имени латиницей – *Michelangelo*, но предпочитал воспроизводить его в соответствии не с итальянской, а, скорее, с французской традицией, видя в написании итальянского имени французское Michel и разбивая одно слово на два. Автор «Журнала Демидова», очевидно, воспринимает итальянский язык сквозь призму французского, который помогает ему усваивать новые знания. Таким образом, сознание русского путешественника XVIII века, фиксируемое языком его путевых заметок, дает представление о том, как осваивалась европейская культура русским человеком – она воспринималась им как нечто неделимое, как единое целое и, следовательно, вполне допустимо было, говоря о памятниках искусства одной страны, использовать языковую традицию другой, которая к тому моменту была, видимо, вполне уже освоена. Римский собор св. Петра осознается именно в контексте общеевропейского культурного пространства, которое еще только предстоит освоить/присвоить, обжить как свое.

Жанр путевых записок, к которому в конечном счете относятся и «Путешествие стольника П.А. Толстого», и «Журнал путешествия Н.А. Демидова», граничит с жанром эпистолярным, особенно, если речь идет о письмах путешественников из-за границы. В таких случаях вполне даже уместна номинация «журнал», как, например, происходит в случае с письмами Василия Николаевича Зиновьева графу Семену Романовичу Воронцову. Подробнейшие письма Зиновьева объединяются общим сюжетом путешествия его по Европе, отчет о котором он регулярно отправляет своему другу и свойственнику. «Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии» В.Н. Зиновьева, с одной стороны, близок «Журналу путешествия Н.А. Демидова» в стремлении к полноте описания, но, с другой стороны, отли-

чается гораздо более личностным отношением к описываемому. Это выражается уже в адресованности журнала. Если «Журнал Демидова» или «Путешествие Толстого» никакого конкретного адресата не предполагали, то путевые записки Зиновьева – это диалог, причем диалог дружеский, особенно в той части записок, которая касается путешествия по Италии. Эта часть путешествия фактически отделена от остальных писем. Обращаясь к графу Воронцову, Зиновьев пишет буквально следующее:

Намерен я журнал довольно подробный своему отсутствию от тебя вести, а так как тебе досугу теперь довольно в Пизе, то, любезнейший мой, чтобы мне приятнее было его читать, я к тебе его адресовать буду, а ты на сии вздорные письма сделай особый ящик, чтобы я потом у тебя их отыскать и отобрать мог. Ты сему можешь удивиться, – «как можно этакое маранье собирать?» – ведь однакож не я первый буду, кто свои вздоры за безпримерныя сочинения считает. Без шуток сказать, чтобы вдвойне не писать, поведу мой журнал, писав к тебе. Вот и предисловие [Зиновьев, 1878, с. 231].

Нельзя не отметить, что до этого Зиновьев написал Воронцову уже не одно письмо, путешествуя по Германии, но потребность оформить свои послания как цельный журнал путешествия возникает у него именно в связи с посещением Италии. Итальянские письма Воронцову, действительно, имеют для Зиновьева характер сугубо личный. Дело в том, что незадолго до того, как он приезжает в Италию, умирает двоюродная сестра Зиновьева и жена графа С.Р. Воронцова Екатерина Алексеевна. Письма, адресованные Воронцову и сопровождаемые словами «тебе теперь досугу довольно в Пизе», оказываются не только отчетом об увиденном. Слово «теперь» в данном случае словно разделяет время «до» и «после» смерти близкого человека. Воронцов становится для автора журнала необходимым участником диалога, в котором нуждаются оба. Зиновьев пишет Воронцову с намерением поддержать и отвлечь друга, заочно вовлекая его в свое путешествие, заставляя тем самым невольно следить за своими перемещениями, переживаниями и впечатлениями.

В таком контексте путевой дневник Зиновьева становится для него самого чем-то большим, чем простые «поденные записки» праздного путешественника. Это, скорее, дружеские послания, помогающие высказаться, выговориться и получить ответную реакцию собеседника. Этим во многом объясняется то, что письма эти содержат не столько описания того, что Зиновьев видит – в этом нет необходимости, поскольку все города и достопримечательности, которые посещает автор журнала в Италии, он посещает по совету прекрасно знающего эту страну и ее красоты Воронцова. Мы не увидим в данном случае столь подробного и пространного изложения всего, что попадает в поле зрения путешественника, как это было, скажем, в «Журнале путешествия Н.А. Демидова». В лучшем случае Зиновьев ограничивается замечаниями, подобными такому: «Был в славной церкви св. Петра... Ее не моему перу описывать» [Зиновьев, 1878, с. 399]. Главное для собеседника Воронцова в данном случае не то, как собор выглядит, но то, какие чувства он вызывает. Не описывая сам собор св. Петра, Зиновьев описывает свою с ним встречу, воспринимая его не как архитектурное сооружение и памятник культуры. Собор олицетворяется, собственные переживания от встречи с ним персонифицируются. Зиновьев пишет Воронцову:

По твоему приказанию, прежде всего, ездил Ротонду смотреть и потом церковь св. Петра, и при последней, особливо подходя к оной поближе, несказанныя чувства имел и когда можно их уподобить, то я бы сказал, что они таковыя, как когда бы мне случилось славнейшего, почтеннаго человека увидеть, с которым знакомиться с некоторым смирением и удовольствием идешь [Зиновьев, 1878, с. 231].

Отметим, что трепет и удовольствие, которые испытывает в данном случае Зиновьев не имеют никакой религиозной основы. К церковным обрядам римской церкви он вообще относится довольно саркастично, свидетельством чему может служить почти анекдотичная манера изложения увиденного, например, ритуальные служения папы и других иерархов пилигримам:

Вечером ездил в “Trinito del Pelegrini” где кардиналы и прелаты пилигримам ноги моют, что не только не приятно, но, напротив, – очень гадко видеть. По окончании обедни пошел я – где папа двенадцати пилигримам ноги моет, церемония, которую он довольно проворно оканчивает. После сего этим же пилигримам обед был, за которым папа служил и великою ловкостью кушанья подавал, которые часто переменять принужден был, ибо здесь всякий за пятерых ел.<...> При этом случае немалая давка была, и я от ней локтями и от подносов поднятыми руками защищался, и так оные от себя перегнул, что на другую сторону жареная рыба, бывшая на тарелках, повалилась аббатам на головы. Или еще: читали в консистории процесс святых и между прочими хвалами, которыя одному делали, находилась и та, что он никогда на женщин не глядел. По моему, этакий грех я бы никому не простил и счел бы нерадением не выдать самое приятнейшее для нас творение Всевышнего [Зиновьев, 1878, с. 402].

На таком фоне переживание Зиновьевым встречи с главным католическим собором становится более значимым.

Тексты, о которых мы говорили до этого, фиксируют и описывают начавшийся процесс освоения и присвоения, в конечном итоге, русским сознанием европейского культурного пространства, желание стать частью общеевропейского прошлого. «Журнал» Зиновьева уже демонстрирует стремление отделить собственные чувства и ощущения от заочного опыта человечества, накопленного веками. На подъезде к Риму, например, путешественник фиксирует:

Немалое удовольствие было подъезжать к городу, но я еще не разобрал: точно ли сие – действие воспоминания тех славных людей, которые сию землю топтали, или подражательное чувство, которое от наслышки происходит? [Зиновьев, 1878, с. 231].

Только личное переживание встречи с «славной церковью св. Петра» помогает Зиновьеву отделить собственное впечатление от «подражательного чувства» поколений.

Практически в одно время с В.Н. Зиновьевым в Италии был Д.И. Фонвизин, также оставивший об этом своем путешествии

эпистолярный журнал⁶. Тем более интересен тот факт, что из всех римских впечатлений для Фонвизина, как и для Зиновьева, самым сильным становится впечатление от собора св. Петра:

Кажется, что сей храм создал Бог для самого себя. Здесь можно жить сколько хочешь лет, и всякий день захочешь быть в церкви святого Петра. Чем больше ее видишь, тем больше видеть ее хочешь; словом, человеческое воображение постигнуть не может, какова эта церковь. Надобно непременно ее видеть, чтоб иметь об ней истинное понятие. Я всякий день хожу в нее раза по два [Фонвизин, 1959, с. 531].

Учитывая, что Фонвизины прожили в Риме около пяти месяцев, три из которых он чувствовал себя очень хорошо (в марте его разбил паралич – левая рука и левая нога на время обездвижили), можно себе представить, сколько раз он посетил собор. Но вновь, как в «Журнале» Зиновьева, Фонвизина влечет в собор отнюдь не религиозное чувство. В его письмах собор представлен как место, вызывающее прежде всего искреннее восхищение с эстетической точки зрения. И, как в «Журнале» Зиновьева, собор св. Петра словно противопоставляется ритуальным культовым действиям, которые с ним связаны. С одной стороны, Фонвизин пишет о церкви св. Петра, фиксируя именно визуальный эффект, производимый собором на человека:

Я до сего часа был в ней уже раз тридцать: не могу зрением насытиться. Кажется, не побывав в ней, чего-то недостает. В ней есть вещи, которые похожи на волшебство: то, что при величине безмерной ничто не кажется колоссальным <...> Все так устроено пропорционально, что действие искусства выходит из вероятности [Фонвизин, 1959, с. 538].

С другой стороны, довольно «тонкие», по замечанию А. Стричека, размышления Фонвизина о церкви, судить о кото-

⁶ Думается, что вполне правомерно применять к письмам Фонвизина из Италии именно определение «журнал», поскольку они также обладают единством сюжета и адресата, как и письма В.Н. Зиновьева.

рой «он мог лишь по богослужениям»⁷ [Стричек, 1994, с. 419], сводятся каждый раз к критическим выводам, подобным следующему:

Вообще сказать папская служба есть не что иное, как обожание самого папы, ибо даже обряд поклонения от твари создателю довольно горд: не папа подходит к престолу причащаться, но, освящая св. дары, носят их к нему на трон, а он навстречу им ни шагу не делает! <...> Сравнивая папскую службу с нашею архиерейскою, нахожу я нашу несравненно почтеннее и величественнее. Здепшня слишком театральна и, кажется, мало имеет отношения к самой набожности. Папа, носимый в креслах на плечах людских, чрезвычайно походит на оперу «Китайский идол»⁸ [Фонвизин, 1959, с. 543].

Единственный раз в письмах Фонвизина говорится о службе, которая произвела на него большое впечатление. Речь идет о церемонии благословения папы на Пасху. Но и в данном случае «восхищение», о котором пишет Фонвизин, вызвано не столько самим действием, сколько общей атмосферой и окружающим пространством:

День был прекрасный. Сверх того, сия церемония нигде так чувства тронуть не может, как здесь, ибо потребна к тому площадь св. Петра, которой нигде подобной нет. Чрезвычайное ее пространство и великолепная колоннада, бесчисленное множество народа, который, увидев папу, становится на колена, глубокое молчание перед благословением, за которым тотчас следует гром пушек и звон колоколов <...> словом все в восхищение приводит! [Фонвизин, 1959, с. 542].

Письма Фонвизина, как и журнал Зиновьева, ориентированы на конкретного и очень близкого адресата, что объясняет

⁷ Кроме того, автор монографии отмечает, что Фонвизины проявляют довольно живой интерес к церковным католическим службам и, «как только представляется случай, посещают мессы и вечерни» [Стричек, 1994, с. 419–421].

⁸ Оперу Джованни Паизиелло «Китайский идол» Фонвизин вполне мог видеть еще в Петербурге, поскольку в 1776 году Дж. Паизиелло был приглашен Екатериной II в Россию и до 1784 года оставался придворным композитором.

эмоциональность описания. Дружеская или родственная переписка определяет в обоих случаях принципы изложения событий и своего к ним отношения. К слову сказать, в немногочисленных письмах к П.И. Панину, датированных апрелем 1785 года (как и цитируемые выше письма родным), и стиль изложения, и отбор материала совершенно иные. Панину Фонвизин пишет почти без эмоций, по стилю эти письма тяготеют, скорее, к деловым официальным бумагам. Есть довольно подробное, буквально по дням Страстной недели, представленное расписание папских и кардинальских служб с кратким комментарием. Но никаких личностных переживаний, связанных в частности с собором св. Петра, в этих письмах уже нет. Интересно, что даже факты отбираются по какому-то иному принципу. Так, скажем, в письмах к Панину нет описания столь сильно впечатлившего Фонвизина пасхального благословения папы на площади св. Петра. Есть другой эпизод – описание церемонии в страстной четверг:

Четверг был день весьма тягостный для чужестранцев. <...> папа из среднего окна, или ложи святого Петра, показался стоящему на площади народу; сперва произнес он проклятие нам грешным, то есть всем, не признающим его веру за правую; а потом дал народу благословение. Сей церемонии дождливая погода помешала, и площадь была довольно просторна [Фонвизин, 1959, с. 555– 556].

Позволим себе предположить, что переживания, связанные с впечатлением от собора и площади св. Петра, являлись для Фонвизина (как и для Зиновьева) чем-то глубоко личным и интимным, о чем можно писать только близким и родным людям.

Сравнивая то, как описывает собор св. Петра Фонвизин, с аналогичными фрагментами журнала Зиновьева, следует отметить принципиальное сходство: оба путешественника (каждый по-своему, конечно) восхищаются самим собором как фактом и явлением общеевропейской культуры, но очень критично высказываются по поводу католических церковных обрядов и ритуалов. В хронологически более ранних текстах («Путешествие

стольника П.А. Толстого» и «Журнал путешествия Н.А. Демидова») на обрядовой стороне внимание авторов не фиксируется, для них, скорее, важно передать именно внешний вид, а не атмосферу пространства собора св. Петра. Но главное – и в письмах Фонвизина, и в журнале Зиновьева отражена общая тенденция русской дворянской культуры послепетровской эпохи: стремление обнаружить свое общее с Европой прошлое. Фонвизин пишет:

Нынешний папа затеял строение такое, какого в свете нет и быть не может, ибо ни положения места, ни антиков, непрестанно из земли вырываемых, кроме Италии нет нигде. Смотри на сии древности, с жалостию видим, как мы от *предков наших* [курсив наш. – О.Ф.] отстали в художествах [Фонвизин, 1959, с. 538].

«Наши предки» – общие с Европой. Но в текстах-путешествиях и Зиновьева, и Фонвизина прослеживается одновременно и стремление через сравнение своей и европейской культуры осознать собственную культурную идентичность и самобытность.

Литература

Анциферова О.Н. Иноязычная лексика в «Журнале путешествия Н. А. Демидова» // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 26. С. 5–12.

Бархин Д.Б. О религиозных основах и прообразе архитектурной композиции Большого Кремлевского дворца архитектора В.И. Баженова (1737 (1738)–1799 гг.). М., 1997.

Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова (1771–1773). Екатеринбург, 2005.

Зиновьев В.Н. Журнал путешествия В.Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии (1785–1786) / Предисл. Н.П. Барышников, примеч. А.Б. Лобанова-Ростовского // Русская старина. 1878. Т. 23. С. 207–240, 399–440, 593–630.

Записка путешествия графа Бориса Петровича Шереметева в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим и на Мальтийский остров. М., 1773.

Исупов К.Г. Диалог столиц в историческом движении // Полития. 2002. № 3. С. 29–67.

Карпова Е.В. «Журнал путешествия» Н.А. Демидова: (материалы к изучению) // Демидовский временник: ист. альманах. Кн. 2. Екатеринбург, 2008. С. 612–634.

Клаутова О.Ю. Западноевропейское искусство глазами русских путешественников XV–XVII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. СПб, 1996. Т. 49. С. 427–439.

Нартов А.А. Похвала Петербургу // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. 1756. Декабрь. С. 551.

Стричек А. Денис Фонвизин. Россия эпохи просвещения. М., 1994.

Толстой П.А. Путешествие по Европе стольника П. А. Толстого (1697–1699). М., 1992.

Фонвизин Д.И. Письма из третьего заграничного путешествия (1784–1785) // Фонвизин Д.И. Собрание сочинений в 2 томах. М.–Л., 1959. Т. 2. С. 500–558.

Хождение на Флорентийский собор (Подготовка текста, перевод и комментарии Н.А. Казаковой) [Электронный ресурс] // Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. 2003–2013. URL: <http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4996> (дата обращения: 12.08.2014).

О. А. Farafonova

Novosibirsk State Pedagogical University

SAINT PETER'S BASILICA IN THE DIARIES AND LETTERS OF RUSSIAN TRAVELERS OF XVIII CENTURY

Abstract. The object of study in this paper is perception of Europe by Russian travelers on the example of Rome – one of the most often visited in the XVIII century European city – and, specifically, on the example of Saint Peter's basilica. Research material in this case included the texts reflecting the views of travelers at the end of the XVII–XVIII centuries., these were the following ones: “Journey to Europe of P.A. Tolstoy's Stolnik” (1697–1699), “Travel Journal of Nikita Akinfievich Demidov” (1771–1773), “Italian letters” by D.I. Fonvizin (1784–1785) and “Journal of traveling to Germany, Italy, France and England” by V.N. Zinovyev (1785–1786). Saint Peter's basilica is a crossing point for many travelers' routes of different times. The target issues of the current research deal with the points of interest,

fixing the traveler's view, differences in observing and depicting of the same objects by different travelers, shifts in the perception of the basilica from the end of the XVII century to the second half of the XVIII century. Texts, witnessing about these issues, have different genre specifics. Particular attention was drawn to the problems of familiarizing Russian noblemen with European history and culture. Saint Peter's basilica in Rome was perceived by the authors of the chosen texts in the context of European cultural environment, which was to be familiarized with, to be mastered and to be felt like home.

Keywords: travel, Rome, St. Petersburg, Saint Peter's basilica, travel journal, diary, cultural identity.

Information about the author. Farafonova Oksana Anatolievna, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: oxana.faroks@yandex.ru).

Т.В. Медведева

Институт славяноведения Российской Академии наук

**«ДЕПЕИЗАЦИЯ» ПО-РУССКИ:
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ В МЕМУАРНОМ
НАСЛЕДИИ Д.Н. СВЕРБЕЕВА (1799–1874)**

Аннотация. Дмитрий Николаевич Свербеев (1799–1874), отставной дипломат, богатый московский барин, известен, прежде всего, своими воспоминаниями и очерками мемуарного характера, посвященными, в значительной мере, описаниям его путешествий по Европе и России. В этих записках он осознанно старался избегать описаний общеизвестных достопримечательностей европейских городов, уделяя особое внимание осмыслению нравов и традиций увиденных земель, людям разного ранга, встреченным (или сопутствующим) в пути. Особый вес воспоминаниям Д.Н. Свербеева о пребывании в Европе придают, с одной стороны, его статус чиновника дипломатической миссии в Швейцарии, позволивший глубоко изучить эту страну, с другой стороны – близкое знакомство в путешествиях с такими заметными деятелями эпохи, как Ф.С. Лагарп, И.А. Каподистрия, А.С. Норов, свидетельства о которых имеют безусловную ценность.

Ключевые слова: Д.Н. Свербеев, мемуары, Швейцария, Франция, Бельгия, Европа, дипломатия, дворянство.

Сведения об авторе. Медведева Татьяна Валерьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук, ученый секретарь Археографической комиссии РАН (Москва, Ленинский пр., 32-а. Тел.: +7 (499) 126-94-84. E-mail: tmedvedeva1@yandex.ru).

*«Tout jeune Russe selon moi doit être pour quelque temps dépaysé»
«Каждый молодой русский, по-моему,
должен иногда побыть чужестранцем» (фр.).*

Граф И.А. Каподистрия

Непривычное для русского читателя слово «депеизироваться» – галлицизм, введенный Дмитрием Николаевичем Свербеевым в рассказе о своем путешествии по Швейцарии, – отсылает

нас к событиям начала 1820-х годов и становится своеобразным ключом к пониманию многих рассуждений мемуариста о виденном в Европе. Большая часть недавно переизданных «Записок» Д.Н. Свербеева [Свербеев, 2014], охватывающих период его детства и молодости до женитьбы в 1827 году, посвящена путешествиям по России и Европе и почти трехлетнему пребыванию в Швейцарии. Начав знакомство с Северной Европой в компании молодого отставного полковника А.С. Норова, доставившего своей горячностью немало переживаний сдержанному Свербееву, мемуарист продолжил путешествие в одиночку уже во Франции, а затем на долгое время задержался в полюбившейся ему Швейцарии, где близко общается с Ф.С. Лагарпом, И.А. Каподистрия и многими известными дипломатами того времени.

Вынесенное в эпиграф замечание графа Иоанна Каподистрия, грека по происхождению, многолетнего «чужестранца» в России, впечатлило молодого дипломата Свербеева, только начинавшего службу в Швейцарии и питавшего глубокое уважение к почтенному греческому деятелю.

Само по себе французское слово «dépayser» весьма многозначно. Французско-русский словарь Н.П. Макарова (современника Д.Н. Свербеева), предлагает целую галерею значений глагола: «вывозить, увозить, удалять из отчизны; сбивать с дороги; смущать, спутывать, сбивать с толку; давать ложные понятия, отводить от предмета». И хотя Каподистрия, скорее всего, имел в виду «отъезд в чужие страны» или просто пребывание в непривычной обстановке, Свербеев в своем рассуждении идет несколько дальше, развивая интерпретацию и замечая про коллегу-дипломата Ф.Ф. Фурмана:

Он, вообще говоря, казался мне одним из тех наших дипломатов-космополитов, в которых не было ничего русского, не было даже и искреннего сочувствия к славе и величию представляемого ими государя и его державы... я же, напротив, тогда был почти вполне русским и не успел еще депеизироваться, как косвенно внушал мне граф [Каподистрия. – *ТМ.*] [Свербеев, 2014, с. 361].

Забегая вперед, заметим, что за всю свою долгую жизнь Д.Н. Свербеев «депеизировался» лишь отчасти. Восприняв многие европейские идеи, слушая лекции Ф. Гизо, Ж.-Ш. Лакретеля и Ж.-Б. Сея в Париже, неоднократно выезжая в Европу и поддерживая тесные дружеские связи со многими иностранцами и русскими, проживавшими за границей, он во многом оставался совершенно русским обывателем, глубоко знавшим и ценившим русскую культуру и историю. Имея в числе друзей многих славянофилов (А.С. Хомякова, братьев Аксаковых, Киреевских, Д.А. Валуева) и принимая их в своем доме, он всегда держал нейтральную позицию в их споре с западниками, не присоединяясь ни к одной из сторон.

Одни из современников причисляли его к славянофилам (о чем пишет, например, сын А.С. Хомякова в предисловии к «Запискам» Свербеева [Хомяков, 2014, с. 9–10]), другие, более взвешенные – к западниками. Л.Н. Толстой, бывавший у Свербеевых в молодости, справедливо замечал: «Дмитрий Свербеев, – он был в обществе славянофилов, и его любили, но он был западник» [Маковицкий, 1979, с. 565]. Этим же «серединным» положением западника, расположенного к славянофилам, и объясняется общий взгляд Свербеева на европейскую культуру и та самая «депеизация», сохранявшая свежесть восприятия иных традиций и мест при вдумчивом и очень внимательном к ним отношении.

Дмитрий Николаевич Свербеев выехал за границу в 1821 году молодым московским барином с университетским образованием и опытом краткой службы чиновником в Петербурге, а пробыл там (с кратким перерывом) до конца 1826 года, объехав больше половины Европы, получив статус чиновника русской миссии в Швейцарии, познакомившись близко с жизнью Парижа, Берна и Женевы. Он был одним из многих и многих русских, перемещавшихся в те годы по Европе, но оставленные им «Записки» (написанные уже в конце жизни живо и подробно, возможно, на основе дневниковых записей), придают особый вес его путешествиям, сохраняя для читателей многочисленные свидетельства увиденного и размышления путешественника.

Нужно заметить, что многие подробности путешествий Свербеева были исключены при первой публикации «Записок» в 1899 году [Свербеев, 1899], вероятно, как излишне подробные, и восстановлены по рукописям при переиздании в 2014 году – таковы воспоминания о путешествии от Ревеля до Берлина и Любека и затем до Гамбурга [Свербеев, 2014, с. 572–578], о проезде по Голландии и Бельгии [Свербеев, 2014, с. 580], о городе Остроге на Волыни [Свербеев, 2014, с. 587–588], а также впечатления о французской политике, сопровождавшие описание парижской общественной жизни начала 1820-х годов [Свербеев, 2014, с. 584–587].

В своих путешествиях по Европе и России Д.Н. Свербеев посетил немало интересных мест и многие из них описал достаточно детально. При этом он осознанно избегал описаний общеизвестных достопримечательностей, замечая только:

Дорогу в Шамуни и самое это местечко описывать не берусь, оно слишком известно многим тысячам путешественников, а не бывавшие там знают о нем или могут узнать через множество книг, описывающих Швейцарию [Свербеев, 2014, с. 233].

«Парижа, конечно, описывать я не буду: он слишком всем известен» [Свербеев, 2014, с. 213], – пишет Свербеев в другом месте, а рассказывая о перевале и монастыре Сен-Бернар, останавливает себя:

Все это очень интересно, но все известно до пошлости [Свербеев, 2014, с. 233].

Подобных свидетельств автоцензуры разбросано достаточно на страницах «Записок». Тем ценнее описанные в них географические редкости, лежащие на периферии маршрутов русских путешественников.

Следуя выбранному направлению повествования – описанию людей и нравов своей эпохи, мемуарист старательно избегал отвлечений от него (если не сказать «пренебрегал ими»). Он

осознанно противопоставлял свои «Записки» путевым журналам (наподобие того, что создавал Александр Дмитриевич Чертков [Чертков, 2012]), методично и подробно характеризующим все, виденное в пути.

Вспоминая экскурсию в северную Италию, Свербеев замечал:

Я считаю себя решительно неспособным к каким бы то ни было описаниям красот природы, искусств и древностей. На это есть и без меня людей достаточно. Стоит только запастись разными гидами, и вы легко можете написать ученое путешествие и издать, пожалуй, с картинами, как это сделал Александр Дмитриевич Чертков [Свербеев, 2014, с. 393].

И действительно, упомянутые без особого почтения «Воспоминания о Сицилии» А.Д. Черткова [Чертков, 1835–1836], старшего современника Д.Н. Свербеева, собирателя древностей, одновременно с ним развезжавшего в 1820-х годах по Европе, разительно отличаются от свербеевских воспоминаний о путешествиях. Особенно это заметно при сравнении «Журнала моего путешествия...» Черткова [Чертков, 2012, с. 404–446], изданного недавно, и страниц «Записок», посвященных отдельным областям Швейцарии. Сравнение описаний нескольких общих мест, виденных молодыми русскими путешественниками в начале 1820-х годов, дает представление о том, насколько могут различаться путевые заметки и сам взгляд пишущего в отношении встреченных «достопамятностей».

Для примера стоит взять описание столицы кантона Шафгаузен и Рейнского водопада, принадлежащее Свербееву, и скептические отзывы о нем А.Д. Черткова.

Шафгаузен «взволновал» Свербеева своей «непостижимой дерзостью маленького городишки», не отворявшего ворота для въезда до окончания утреннего богослужения [Свербеев, 2014, с. 325]. Следующая далее история о древних традициях города и странствиях молодого дипломата в поисках бургомистра дает читателю совершенно иное представление о Шафгаузене, нежели краткий отчет Черткова:

Сей небольшой городок совершенно не имеет ничего примечательного: я пробыл в оном, однако же целый день и скучал ужасно; бойни, кожевенные заводы распространяют ужасную вонь, находясь в самом городе, улицы грязны, и никогда не перемачиваются, так что можно повредить ноги, ходя по оным [Чертков, 2012, с. 437].

Следом оба путешественника переходят к главной достопримечательности близ Шафгаузена – Рейнскому водопаду (Rheinfall). А.Д. Чертков дает подробное описание, сопровождаемое советами путешествуящим:

Это правда, что тут будешь оглушен шумом каскада, омочен брызгами, и нельзя долго простоять, но, дабы иметь настоящую идею о целом и видеть его как представляют на картинках, должно смотреть из дома, называемого im Wört, на правой стороне: только отсюда виден весь каскад во всю его ширину, и только там можно об нем иметь настоящую идею <...> Полагают, высоту падения воды в обыкновенное время от 50 до 60 футов, а при полноводии до 75, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется сие увеличено, ибо каскад сей совсем не высок <...> мне кажется, даже каскады в Тиволи гораздо лучше и больше сего водопада [Чертков, 2012, с. 437–438].

Чертков, фактически, возражает многим путешественникам, восторгавшимся Рейнским водопадом, тогда как Свербеев отсылает читателей к восторгу Н.М. Карамзина, называя водопад «великолепным»:

<...> [я] пошел созерцать этот водопад, перед которым за четверть века прежде становился на колени умиленный до слез этим величественным зрелищем чувствительный русский путешественник Карамзин [Свербеев, 2014, с. 326].

Здесь мемуарист имеет в виду карамзинские строки из «Писем русского путешественника»:

<...> Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение

мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном! Я наслаждался – и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением. Долее часа стояли мы в сей галерее, но это время показалось мне минутою <...> [Карамзин, 1988, с. 170].

Впечатления из «Писем русского путешественника» были своего рода хрестоматией для образованных русских, бывавших за границей, и отчасти с ними же спорит Чертков, начиная свое описание водопада (тогда как Свербеев, наоборот, во многом идет «в русле Карамзина» – как в оценках, так и в стилистике своего повествования).

Другая общеизвестная достопримечательность Швейцарии, заслужившая внимание Черткова и Свербеева, – институт Фелленберга в Гофвиле. Здесь по-прежнему очень разные описания взаимно дополняют друг друга: Свербеев с легкостью углубляется в историю учебного заведения, тогда как Чертков дает развернутую характеристику текущего состояния пансиона. Рассказывая о русских воспитанниках института, основанного «преемником Песталоцци» Фелленбергом, Свербеев устанавливает связь его с находящейся неподалеку церковью русского посольства:

Граф Каподистрия вместе с Лагарпом предложили императору Александру отправлять русских детей в это заведение, разделявшееся на две школы – высшую реальную и опытную земледельческую для туземцев из простого народа, и чтобы наши воспитанники не были совсем отчуждены от отечества, то постановлено было, чтобы в нашем бернском священнике имели они наставника в законе Божием, в русском языке и истории. Государь одобрил это предложение графа Каподистрия <...> [Свербеев, 2014, с. 371].

Далее Свербеев упоминает юного князя К.А. Суворова, о котором пишет и Чертков (очевидно, самого титулованного русского пансионера тех лет).

В «Журнале» Черткова пансион Фелленберга описан более обстоятельно:

Hoffwyl в 2 часах от Берна: <90> воспитанников: Графов, Князей и Дворян лучших фамилий в особом трехэтажном доме живущих; кроме земледелия обучаются всем наукам; и наш князь Конст. Суворов; и 60 бедных в особом доме составляют Школу Земледелия: каждый из сих стоит ежегодно Фелленберху 80 франков, т.е. одежда, кушанье, белье, сапоги и проч., и должны пробывать тут не менее 4-х лет, впрочем, берет он и 8-летних, которые должны пробывать тут, по крайней мере, 12 лет до 20-летнего возраста. Первые годы они ему стоят денег, но за то в 100 раз вознаграждают его в последний, ибо они работают его поля, и 60 сильных, молодых, здоровых и получивших уже теоретические познания в экономии работников весьма много могут принести пользы в таком устроенном заведении, каково в Гофвиле <...> Впрочем, слава Фелленберха, доказанная на опыте, известна во всей Европе, и мое описание ничего ей не прибавит [Чертков, 2012, с. 428].

Последняя фраза, характерная для чертковского повествования, звучит как отчетливая противоположность свербеевскому стремлению не повторять общеизвестных описаний.

Заметим здесь попутно, что в те же годы, что А.Д. Чертков и Д.Н. Свербеев, путешествовал по Европе и А.С. Норов (долгое время сопутствовавший Свербееву и подробно им описанный), издавший, в свою очередь, впечатления о Сицилии в книге «Путешествие по Сицилии в 1822 г.» [Норов, 1828], которые не менее интересно сравнивать с текстами А.Д. Чертова, посвященными Южной Италии, что уже и было сделано исследователями¹. Эмо-

¹ Интересные сравнения описаний Сицилии Норовым и Чертовым были сделаны Н.В. Баландинским и М.Ф. Высоким в двух изданиях сборника «Русская Сицилия»: противопоставление двух ученых-путешественников во многом дополняет сравнение Чертова со Свербеевым. «В отличие от Норова, Чертков более обстоятелен в изложении исторических фактов <...> Он не боится перегружать свой рассказ точной датировкой того или иного события <...> Несомненно, Норов и Чертков – люди разных темпераментов; в первом восторженный путешественник-первооткрыватель берет верх над беспристрастным историком, второй же скрупулезно выписывает новые факты из истории, несколько не прельщаясь, скажем, романтикой ночи <...>» [Баландинский, 2013, с. 174]; «Путевые заметки Чертова написаны живо и увлекательно, однако описание большей части Италии <...> проникнуто пессимизмом, разительно отличающимся от восторженности Норова» [Высокий, 2013, с. 110].

циональные, нередко восторженные тексты Норова столь же заметно отличаются от взвешенных описаний Черткова, как и воспоминания Свербеева в «швейцарской» части.

Наряду с «карамзинской» стилистикой повествования, с отказом от избитых описаний общеизвестных мест и стремлением добавить свои уникальные впечатления к традиционным маршрутам русских путешественников, «Записки» Свербеева отличаются и определенным ракурсом повествования, осознанно избранный мемуаристом:

<...> главная моя задача, – ознакомить читателей с <...> человеком моего времени во всех его видах и со всеми его качествами, будь он крестьянин, купец, духовный или помещик, средней руки, а изредка и первого, по богатству, разряда [Свербеев, 2014, с. 91].

Это относится в немалой мере и к людям, встреченным за границей. Именно поэтому перед читателем предстает в «Записках» галерея прекрасных словесных портретов всевозможных русских путешественников: от одиозного И.А. Пукалова и комичного С.Н.Б., скрытого под инициалами, до благородных М.А. Салтыкова и генерала А.В. Богдановского. Свербеев почти не прибегает к пересказу известных анекдотов о соотечественниках за границей (лишь в рассказе о парижских вольностях снисходя до этого), а пользуется исключительно собственными впечатлениями, полагаясь на прекрасную память.

Среди виденных в пути современников уже упомянутый А.С. Норов, которому посвящена немалая часть «зарубежных» страниц воспоминаний, многочисленные отставные военные: веселый «голиаф» Г.А. Римский-Корсаков, скромный Н.Ф. Бахметев, оригинальный П.Х. Молоствов; остзейские юноши Г. Либхарт, Мейснер, графы Борг, путешествующие молодожены Э.А. и Е.П. Белосельские, генерал А.А. Волков с супругой, граф А.М. Девиер и соотечественники (а чаще соотечественницы), задержавшиеся в Европе на долгие годы: графини М.Г. Разумовская и В.П. Шувалова, дипломат П.А. Крюднер, начальник ме-

муариста в швейцарской миссии, и многие другие. Большинство путешествующих мемуарист через полвека прекрасно помнит по именам, о многих его воспоминания уникальны. Есть в «Записках» упоминания и о заграничном пребывании будущих многолетних знакомых Д.Н. Свербеева: П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, Н.М. Смирнова.

Кроме российских путешественников, Свербеев подробно описывает и многих встреченных им иностранцев и дипломатических представителей России в государствах Европы: семейство Шлецеров (дочь историка Доротею, его сына-консула в Любеке Карла и внука Нестора Карловича), семейство Оггеров (Гоггеров), семьи швейцарцев Ф.-С. Лагарпа, Ф.-Ш.-Ж. Гинжан де Ласара (впоследствии приятеля мемуариста на долгие годы), швейцарских аристократов и дипломатических представителей европейских стран в Берне и Женеве (О.-Л. Талейрана, Ш.-Г. Мюрона, И.-Ф. Олри, Ф.-А. Буркене и других). При этом впечатления от поездок в Швейцарию в начале 1820-х годов мемуарист дополняет воспоминаниями о более поздних путешествиях: он возвращался в Европу неоднократно и старался поддерживать связи, установленные в молодости, следил за успехами своих былых приятелей, поэтому рассказы о некоторых знакомых выходят далеко за пределы повествования о путешествиях молодости.

В 1833 году, будучи уже женатым, Д.Н. Свербеев путешествует по Европе с молодой женой, Екатериной Александровной (урожденной княжной Щербатовой) и маленьким сыном. И в дневниковых записях супруги также появляются бывшие «швейцарские» знакомые мужа, найденные спустя почти десятилетие: молодая дама Ида де Фишер, чиновник миссии И.П. Бондаревский и другие [Свербеева Е.А., 1997], – наблюдательный читатель может заметить, как вторгаются в повествование «Записок» Д.Н. Свербеева впечатления от поездки 1833 года, описанной его женой.

Встреченные в пути люди становятся для Свербеева опорными точками повествования, едва ли не самым интересным из

всего, увиденного в пути. И соблюдая формально порядок повествования «от места к месту», мемуарист создает параллельно повествование «от человека к человеку», наполняя рассказ о путешествии живыми персонажами. Даже в дилижансе, по пути из города в город, он находит интересных собеседников (как, например, братья Иосиф и Александр Геништа), создавая для читателя своего рода энциклопедию путешествующих и встреченных ими в пути, образующих в «Записках» единое сообщество, весьма узкое, на взгляд современного читателя.

География перемещений Свербеева, восстановленная по его «Запискам», выглядит следующим образом: отправившись вместе с А.С. Норовым из Петербурга – морем – в Любек (где спутнику Свербеева были рекомендованы морские ванны), они вынуждены были высадиться уже в Ревеле, не вынеся морской качки, и далее двигаться в Любек по побережью через Ригу. Оставив Норова на курорте в Травемюнде, мемуарист побывал в Гамбурге, а воссоединился со своим спутником уже в Бремене, откуда оба через Амстердам, Гаагу, Антверпен и Брюссель продвигались в Париж, промежуточную цель путешествия. Французская столица закономерно становится центром притяжения для юного путешественника по Европе. Здесь впоследствии Свербеев бывал неоднократно (последний раз в 1870 году), а в 1820-е годы жил довольно долго, слушая лекции известных профессоров в Сорбонне и Коллеж роял (совр. Коллеж де Франс).

Повторяю, в шумном Париже сосредоточиваться было нелегко. Мечты одна за другой улетучивались, разлетались и утомленному воображению под конец представлялись то розовыми облачками, то темными грозными тучами. Когда все это начинало мне надоедать, я отдавался уличной и общественной парижской жизни и изучал других, оставляя себя в стороне [Свербеев, 2014, с. 417].

Парижской жизни и русским, бывавшим во французской столице, посвящены многие страницы «Записок».

Далее Свербеев путешествует по Западной и Южной Франции, описывая их не слишком подробно:

Немного сохранилось в моей памяти от всего этого путешествия, хотя в воображении моем и остается еще до сих пор какой-то очерк всего этого проеханного мною обширного края <...> [Свербеев, 2014, с. 225].

Подробных описаний (перемешанных с дорожными впечатлениями) удостоены Бордо, Марсель, Лион, а кратких – Блоа и Рошфор.

Из Франции он направляется в Швейцарию, где живет в Женеве и осматривает природные красоты вокруг Женевского озера. Возвращаясь впоследствии в Женеву не один раз, Свербеев собирает наблюдения о меняющейся Швейцарии в мемуарах, не забывая ни о политике, ни об экономике страны – насколько они доступны пытливому путешественнику, имеющему знакомства в разных слоях общества.

Лозанна подарила Свербееву знакомство с Ф.-С. Лагарпом, бывшим воспитателем Александра I, а в 1820-е – опальным швейцарским политиком. Через несколько лет жизнь в Берне сведет мемуариста с графом И.А. Каподистрия, который также оставит заметный след на страницах «Записок».

Наиболее интересные «европейские» страницы воспоминаний относятся к периоду жизни Свербеева в Швейцарии в статусе чиновника русской миссии. Именно здесь собраны уникальные свидетельства о жизни высшего общества Берна и Женевы, в которое были вхожи дипломаты, подробно описаны приемы в разных богатых домах, друзья и швейцарские знакомые мемуариста.

Из Швейцарии молодой Свербеев возвращается в Россию через германские земли, проезжая Лейпциг и Дрезден, двигаясь далее через Краков и Львов в сторону Киева. Недолгое пребывание в Киеве ознаменовалось знакомством с П.А. Аракчеевым и В.С. Норовым, далее путешественник через Орел вернулся в Центральную Россию, проведая по пути свои имения в Орловской, Тульской и Московской губерниях.

Следующий его выезд в Европу состоялся менее чем через год. Теперь это было уже не путешествие, а деловая поездка: получив место секретаря швейцарской миссии, Д.Н. Свербеев

летом 1823 года отправился по знакомому уже пути через Киев и Львов сперва в Вену, потом в Мюнхен и, наконец, в знакомый уже Берн, из которого в дальнейшем разъезжал с поручениями по Швейцарии и во Францию. Попутно удалось ему побывать и в Северной Италии, а, возвращаясь летом 1826 года в Россию, посетить с курьерскими обязанностями Варшаву и представиться великому князю Константину Павловичу, который отправил его прямым путем в Петербург.

На этом заканчиваются путешествия Свербеева по Европе, совершенные до женитьбы в 1827 году, т.е. в те годы, которым посвящены «Записки». Однако, впечатления более поздних поездок за границу неоднократно вторгаются в повествование, вызывая сравнения, сопоставления и даже иногда нарушая порядок изложения событий (в некоторых случаях мемуарист описывает встречи и события как произошедшие в начале 1820-х годов, тогда как они реально относятся к более поздним его поездкам по Европе).

Отдельно стоит сказать несколько слов и о разъездах Свербеева по России, также описанных в «Записках». Например, в первом «большом» путешествии мемуариста в Симбирск к родным он выступает перед читателем увлеченным исследователем древностей:

С рассеянным любопытством университетского юноши, которому скептик Каченовский много помешал восхищаться великими событиями допетровской нашей истории <...> взглянул я на древности губернского города Владимира. Знаменитый тамошний Дмитриевский собор был тогда застроен небольшими и неопрятными домами и мало кому известен; золотые Владимирские ворота так же незаметно стояли в куче других зданий. О всем этом я расспрашивал в трактире, и никто не умел мне ничего объяснить. Помню зато песчаную дорогу через огромный лес в город Муром, ее в то время считали еще небезопасною. Глубокие пески и дремучий лес, через которые она проходила, все еще напоминали славных муромских разбойников и того древнего витязя Илью Муромца, которого память сохранила до нас – и как витязя своего рода, и как атамана разбойников, и как человека, которого церковь наша признала святым, чествуя благоговейно останки его в пещерах Киевской лавры [Свербеев, 2014, с. 110].

Наблюдательный Д.Н. Свербеев, наряду с яркими характеристиками самих путешественников, дает подробное представление и об их нравах и привычках (описывая и свою собственную жизнь в путешествии в границах и терминах тех самых традиций и привычек).

Не принимая буйство и грубость поведения своего спутника и родственника А.А. Обрескова, с которым ему пришлось ехать в Симбирск, он прекрасно осознает их неизбежность, связанную со статусом и положением Обрескова:

Он имел все дурные навыки тогдашних гусарских офицеров, любил выпить, пошуметь, а подчас и заушить станционного смотрителя, и считал необходимой обязанностью бить на каждой станции ямщика, как бы тот скоро ни ехал. Все это пьянство, все эти буйные выходки, бывшие тогда в наших нравах, мне опротивели, и я дал себе слово никогда не выходить из пределов приличия, даже и в дороге, и не злоупотреблять бараньим терпением забитого нашего народа [Свербеев, 2014, с. 118].

Обращает на себя внимание замечание «даже и в дороге», ограничивающее край всех возможных приличий для дворянина, путешествующего по отечеству, которое представляется тягостным испытанием для путешественников.

Въезжая в Польшу из Европы, Свербеев уже предвкушает все неудобства, ожидающие путника:

Я остановился в первой краковской гостинице, представлявшей уже всю неурядицу наших русских трактиров: неопрятность прислуги, отсутствие постели, обычай не затворять дверей и входить в комнаты, занятые путешественниками, не постучав, т.е. без спросу [Свербеев, 2014, с. 254].

А перспектива задержаться на двое суток в Орле представляется автору верхом неудобства:

Мысль пробыть 48 часов в трактире, об удобстве коего уже я умалчиваю, в глухую осень, в конце октября, без книг, без знакомых, приводила меня в отчаяние [Свербеев, 2014, с. 257].

В рассказах о Европе найдется много замечаний о предписанных для путешественников визитах, нарядах и прочих тонкостях заграничного быта, невнимание к которым отдельных курьезных странников сохранилось в памяти мемуариста как вопиющее пренебрежение к общепринятым нормам: спустя несколько десятилетий он вспоминает в «Записках» неуместное дорожное платье одних, визит, сделанный не вовремя другими, не забывая в этом списке и своих оплошностей (о которых также не устаёт сокрушаться).

В тексте воспоминаний много внимания уделено и языку путешественников – от трудностей, вытекавших из недостаточного знания языков, до курьезных историй: например, мемуарист обращает внимание на то, что в Гамбурге компанию российских путешественников едва не побили местные матросы, приняв их за французов, поскольку единственным удобным для общения языком в компании остзейских дворян, русского и поляка был язык французский [Свербеев, 2014, с. 190] – он оставался универсальным языком для многих наших путешествующих за пределами отечества.

Свербеев не без восторга погружается в быт и традиции европейских стран, насколько это возможно проездему путешественнику, успевая обратить внимание не только на архитектурные, но и на кулинарные «достопримечательности»:

Только что сядешь бывало на такой пароход, и можешь уже себя считать не в России, а в Англии: от капитана до последнего матроса, и до служителя при буфете, а вероятно, и повара – все было перед вами английское. Отличная баранья, настоящая, а не наша неудачно подражательная котлета, и выписной прямо из Англии картофель с различными тамошними солями и красным перцем и в заключение славного завтрака английский красный сыр или честер, *chester-cheese*, с полбутылкой – либо мадеры, либо портвейна (к сожалению, я никогда не мог привыкнуть ни к *ale*, ни к портеру) были и для меня исключительно редким гастрономическим услаждением, а когда бывало останешься ночевать в кронштадтской английской таверне, где за длинным *табль-д’отом* на особенных столиках обедали, а по-нашему,

московскому, вернее сказать – ужинали корабельный капитан и шкипера и всякого рода той же нации негодяи и их приказчики, где даже наши морские офицеры говорили больше по-английски, чем по-русски, то вас так и обхватывала со всех сторон всемогущественная в Нептуновом царстве Великобритания. Она же, казалось, радушно приглашала нас в небольшую, вроде корабельной каюты, чистенькую комнату с такой постелью и всеми ее принадлежностями, о каких вы и понятия не имели в Москве, да очень редко могли встретить и в самом Петербурге [Свербеев, 2014, с. 168–169].

Образ Европы, выведенный в «Записках», можно считать безусловно положительным, несмотря на то, что сами мемуары Свербеев пишет в разъездах по воюющей Европе, между Швейцарией и Парижем, «объятым пламенем» 1871-го года, под властью Коммуны, которую мемуарист называет «чудовищной» [Свербеев, 2014, с. 500]. Возможно, мемуарист сам охотнее вспоминает веселые страницы своих былых странствий, мысленно противопоставляя те времена нынешним. Чего стоит описание поездки из Женевы в Париж в компании известного банкира Генша, взявшего молодого дипломата с собой за долю в издержках:

Мне показалось странным, что старый толстейший банкир, капитал которого считался в 10 миллионов франков, экономничает до такой степени. «Это делает он от скуки, чтобы не путешествовать одному». Старик был очень рад иметь меня своим товарищем и, несмотря на всю свою скупость, согласился везти меня в Париж не за половину, а за треть дорожных издержек, так как он ехал с камердинером, а я своего за неимением места в коляске должен был отправить в дилижансе, и по такому расчету он должен был платить за две, а я за одну лошадь. <...> Дедушка Генш был в Женеве в великом почете и считался первым из тамошних финансистов. <...> Мелочная расчетливость соединялась в нем, как это часто бывает, с широкою роскошью в некоторых случаях. Ежегодные поездки свои в Париж, всегда с неизбежным, каким бы то ни было попутчиком, совершал он со всеми прихотями, и я ни разу во всей моей жизни не путешествовал с такими изысканными удобствами.

Время нашего отъезда он приурочил к отъезду какого-то знатного английского семейства и их курьеру поручил заготовлять нам на

почтовых станциях лошадей и заказывать для ночлега по гостиницам комнаты с затейливыми ужинами, теплыми постелями и ярким освещением. По этой дороге уже все его знали, любили и называли рара Hensch. Выхав с места в 8 часов утра, безостановочно скакали мы во всю лошадиную прыть до 8 часов вечера; на всех французских таможах, а их было тогда целых три, одна за другой, неумолимые аргусы этих управлений с нами только почтительно раскланивались. Подъезжая к гостинице, назначенной для ночлега, встречаемы мы были с радостными приветствиями хозяином и всем его семейством. Нас вводили в прекрасные комнаты. Отличный ужин с двумя бутылками лучшего местного вина стоял уже на столе, камин пылал. В 7 часов утра отправлялись мы дальше, забрав с собой на целый день холодной провизии. Так было во все три дня пути, и что стоило, я не распрощивал. Из своих денег я не издержал ни одного су, и когда в Санлисе позвал цирюльника, то отослал его к дедушке Геншу за расплатой. Приехав на место, мы перечли деньги, и на мой пай возвратил он мне 20 или 30 франков [Свербеев, 2014, с. 363].

Хотя далеко не все перемещения мемуариста по Европе были такими безоблачными, основные путевые неприятности он связывает с именами своих соотечественников – их горячностью или незнанием местных обычаев и норм.

Наблюдательно отмечая изменения ландшафта и традиций от местности к местности, мемуарист не оставляет без внимания и изменения, происходящие во времени. Неоднократно за всю свою жизнь бывавший в Европе, он замечает, как меняются способы путешествия и сам характер поездок на большие расстояния:

<...> путешествие до железных дорог при всех его затруднениях было несравненно полезнее теперешней скачки от одного большого центра к другому, которая, уничтожая огромные пространства, лишает всякой возможности видеть и сколько-нибудь наблюдать встречаемые на этом промежутке предметы, достойные любопытства. Лет через тридцать я проезжал в вагонах поперек Франции по тем же почти местам из Женевы в По и из По в Париж и ровно ничего по этой дороге не видал, не видал даже Бордо, на станции которого, за четверть часа от города, пробыл в ожидании поезда около часа времени. Нынешние путешественники, выигрывал много времени, многое и теряют, для

них существуют одни столицы и сборища на модных минеральных водах и приморских ваннах, – ни одна страна с многообразными условиями ее местности для них как бы не существует [Свербеев, 2014, с. 225].

В целом, воспоминания Д.Н. Свербеева заслуживают, безусловно, пристального внимания современных исследователей². И та часть записок, которая посвящена путешествиям (дополненная эпистолярным наследием автора, в котором сохранились письма многих заграничных знакомых и впечатления самого мемуариста), представляется одной из наиболее любопытных. Свербеев – опытный путешественник, хорошо знающий как сезонные колебания погоды разных земель Европы, так и традиции общения с проезжающими иностранцами; неплохой литератор и знаток древностей – его впечатления лежат за рамками цитирования общих мест из путеводителей, наполнены размышлениями об увиденном, личными впечатлениями от людей и мест. И темы, затронутые в данной статье, можно считать лишь первым подходом к этому материалу.

Литература

Баландинский Н.В. Тринакрия, вслед Норову и Черткову / коммент. М.Ф. Высокого // *Русская Сицилия (La Sicilia dei Russi)* / науч. ред. и сост. М.Г. Талалай. М.: Старая Басманная, 2013. С. 173–180, 210–216.

Высокий М.Ф. Античное наследие Сицилии глазами русских путешественников первой четверти XIX века // *Русская Сицилия (La Sicilia dei Russi)* / науч. ред. и сост. М.Г. Талалай. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Старая Басманная, 2013. С. 106–131.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988.

Козлов С.А. Русский путешественник эпохи Просвещения: В 3 т. Т. 1. СПб.: Историческая иллюстрация, 2003.

² В современной отечественной историографии жанр путевых записок привлекает к себе внимание уже не только литературоведов, но и источниковедов, и историков культуры. Ключевые положения об этом явлении культуры были собраны в недавних диссертациях П.С. Куприянова [Куприянов, 2002], М.С. Стефко [Стефко, 2010], подробно разобраны применительно к XVIII столетию С.А. Козловым [Козлов, 2003].

Куприянов П.С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и проблема национальной самобытности. Дис... канд. ист. наук. М., 2002.

Маковицкий Д.П. У Толстого, 1904-1910. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого: В 4 кн. Кн. 2. М.: Наука, 1979.

Норов А.С. Путешествие по Сицилии в 1822 году. СПб., 1828.

Свербеев Д.Н. Записки: В 2 т. М.: [изд. С.Д. Свербеевой], 1899.

Свербеев Д.Н. Мои записки / подг. изд.: Т.В. Медведева, М.В. Батшев, Б.П. Краевский. М.: Наука, 2014.

Свербеева Е.А. Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год / подгот. публ. С.Р. Долговой // Памятники культуры, новые открытия. М., 1997. С. 7–36. (Переиздания: Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год. М., 1999; Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год // Долгова С.Р. Накануне свадьбы. М., 2012. С. 85–145).

Стефко М.С. Европейское путешествие как феномен русской дворянской культуры конца XVIII – первой четверти XIX веков. Дис... канд. ист. наук. М., 2010.

Хомяков Д.А. Несколько слов о Дмитрие Николаевиче Свербееве // Свербеев Д.Н. Мои записки. М.: Наука, 2014. С. 5–11.

Чертков А.Д. Воспоминания о Сицилии: В 2 ч. М., 1835–1836.

Чертков А.Д. Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и проч. в 1823–1825 годах / подг. изд. М.В. Фалалеевой. М.: Русский мир, 2012.

T.V. Medvedeva

Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences

**DEPAYSE A LA RUSSE –
TRAVELLING AROUND EUROPE I
N D.N. SVERBEEV'S MEMOIRS (1799–1874)**

Abstract. D.N. Sverbееv (1799–1874), a wealthy Moscow nobleman, retired diplomat, is well-known as the author of memoirs («My Memories») devoted mainly to his travels around Europe and Russia in the 1820s. While paying relatively little attention to the architecture and main tourist attractions of European cities, he focuses on the customs and traditions of the countries he visited and the people he met, both Russians and foreigners. His diplomatic position

in Switzerland makes memoir more interesting and important. He was acquainted with some famous persons of that time like F.C. Laharpe, I.A. Kapodistria, A.S. Norov and described them in his memoirs.

Keywords: D.N. Sverbeev, memoirs, Switzerland, France, Belgium, Europe, diplomacy, nobility.

Information about the author. Medvedeva Tatiana Valeryevna, Candidate of historical sciences, Research scientist of the Institute of Slavic Studies; Academic Secretary of the Archaeographical commission of Russian Academy of Sciences (Leninsky Prospect, build. 32-A, Moscow, Russia, 119334 Tel.: + 7 (499) 126-94-84. E-mail: tmedvedeva1@yandex.ru).

В.В. Мароши

Новосибирский государственный педагогический университет

**«ЗАПИСКИ...» О. ИАКИНФА БИЧУРИНА
И Е.Ф. ТИМКОВСКОГО КАК ПЕРВЫЕ ТРАВЕЛОГИ
РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО МОНГОЛИИ¹**

Аннотация. Начиная с XVII в. и по сегодняшний день, основным жанром «монгольской темы» в фикциональной и документальной русской прозе остается травелог. Русские путешественники и персонажи отечественной литературы до сих пор «кочуют» по Монголии с самыми разнообразными целями. Особое место в этом обширном ряду занимают «Записки...» главы девятой духовной Миссии Иакинфа (Никиты Яковлевича) Бичурина и пристава десятой Миссии Егора Федоровича Тимковского, чиновника Азиатского департамента министерства иностранных дел. Непосредственной основой «Записок...» стали дневники путешествия осеннего путешествия Тимковского с участниками Десятой миссии в 1820 г. и записи, которые вели Бичурин и Тимковский во время возвращения из Пекина в Кяхту девятой Миссии весной-летом 1821 года. «Записки...» Е.Ф. Тимковского и о. И. Бичурина стали первыми травелогами русских путешественников, которые были изданы, а не оставлены в архиве; основаны на ежедневным записях; написаны на русском языке; в которых было дано наиболее полное описание пути через центральную часть нынешней Монголии и часть Внутренней Монголии, примыкающей к Китаю.

Ключевые слова: травелог, путешествие, миссия, описание, русский, монголы.

Сведения об авторе. Мароши Валерий Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Виллойская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: maroshi@mail.ru).

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII–XX веков»).

Начиная с XVII века и по сегодняшний день, основным жанром «монгольской темы» в фикциональной и документальной русской прозе остается травелог. Русские путешественники и персонажи отечественной литературы «кочуют» по Монголии с самыми разнообразными целями – от географических и минералогических изысканий до оккультных прозрений. Особое место в этом обширном ряду занимают «Записки...» главы девятой духовной Миссии о. Иакинфа (Никиты Яковлевича) Бичурина и пристава десятой Миссии Егора Федоровича Тимковского, чиновника Азиатского департамента министерства иностранных дел. Их появление тесно связано с обстоятельствами регулярной ротации участников этого церковно-политического представительства Русской церкви, действовавшего в Пекине в XVII–XX веках. Сменяя друг друга с периодичностью от 7 до 12 лет, миссии в XIX веке отправлялись из пограничного русского города Кяхта в Пекин и обратно по караванным путям через Монголию и северную часть Китая.

С 60-х годов XVIII века из-за запрета российским торговым караванам заниматься коммерческой деятельностью в Китае и неоднократных приостановок российско-цинской приграничной торговли значительно сократился поток русских купцов в Китай. Кроме того, многочисленным российским посланникам в империи Цин не удалось добиться у её правительства разрешения на организацию в Пекине светского дипломатического представительства России. В результате духовная Миссия превратилась, по сути, в российскую дипломатическую миссию, единственный наиболее достоверный источник сведений о событиях в Цинской империи, место подготовки первых отечественных синологов. После изгнания из Пекина иезуитов участники миссии оказались на передовой линии самой разнообразной информации о Поднебесной. Однако после подписания в 1842 году англо-китайского Нанкинского договора, по которому Китай стал полностью открытым для Запада, а в 1858 году – Тяньцзиньских договоров, положение Миссии изменилось. В Пекине

были открыты дипломатические представительства западных государств и России.

Непосредственной основой этих «Записок...» стали дневники осеннего путешествия Тимковского с участниками десятой миссии в 1820 году и записи, которые вели Бичурин и Тимковский во время возвращения из Пекина в Кяхту девятой Миссии весной-летом 1821 года. Бичурин, сочтя непригодным свой дневник осени-зимы 1807–1808 годов, вел записи только на пути из Пекина в Кяхту, в то время как Тимковский вел дневник по пути туда и обратно. Травелог Бичурина составляет только четверть (первую часть) его обширного труда, посвященного Монголии [Бичурин, 1828]. Очевидно, что русского монаха, выдающегося синолога, интересовал не столько травелог, сколько составление наиболее обширного свода разнообразных сведений об истории и внутреннем устройстве Монголии, которые он почерпнул из китайских источников.

Путевые записки Тимковского [Тимковский, 1824] намного объемнее бичуринских, однако и в них вторая часть и значительная часть третьей посвящены уже не путешествию, а общему обозрению Монголии с исторической, географической, административной, этнографической и религиозной точек зрения. Травелог в третьей части «Записок...» Тимковского получился гораздо менее объемным и менее информативным, чем в первой. Во многом это произошло из-за того, что путники возвращались по тому же маршруту, а движение их каравана проходило в гораздо более комфортных климатических условиях весны и лета. Кроме того, и в собственно «травеложной» первой, и в третьей частях содержатся обширные вставки, посвященные географии и истории Джунгарии, пересказу Гэсэриады и т.д. Сведения о Монголии Тимковского во многом были инспирированы более осведомленным в китайских источниках Бичуриным. Оба труда ввиду важности своих сведений для государства были изданы по Высочайшему повелению на казенный счет. К книгам были приложены карта пройденного пути, несколько планов и рисунков с натуры.

Таким образом, их травелоги как бы дублируют друг друга, представляя один и тот же маршрут глазами едущих вместе путников. Помимо личностных различий, у авторов был и разный статус: по роду своей деятельности Тимковский был обязан гораздо больше общаться с китайскими и монгольскими чиновниками, заниматься хозяйственными вопросами снабжения Миссии в пути и т.п. К тому же его записки вышли на несколько лет раньше бичуринских, когда будущее о. Иакинфа было еще неопределенным из-за обвинений в растрате казенного имущества. По крайней мере, работая над своим вариантом, Бичурин внимательно прочел его записки, и, возможно, принял участие в написании их второй части как консультант, знакомый с Монголией по многим китайским историческим источникам.

«Записки...» русских участников Миссии стали сенсацией того времени и были переведены на основные европейские языки. Так, вскоре после издания книги Тимковского были опубликованы ее переводы на английский (Timkowski G. *Travels of the Russian Mission through Mongolia to China*. 2 vol. London, 1827), французский (Timkovski, Egor Fedorovich; *Voyage a Peking, a travers la Mongolie, en 1820 et 1821*, Edited by Julius von Klaproth. 3 volumes, including Atlas. Paris, 1826-1827), голландский и немецкий языки (Timkowski, G. *Reis naar China, door Mongolije, gedurende de jaren 1820 en 1821*. Bd. I-III. Bohn, 1826, Timkowski G. *Reise nach China durch die Mongoley in den Jahren 1820 und 1821*. 3 Bde. Wien, 1826). Причина этого проста: никому из иностранцев, кроме русских миссионеров, в это время уже не был разрешен въезд в Монголию. Даже после англо-китайской войны 1840 года север Китая и Монголия, в отличие от юга, были малодоступны для европейцев. Поэтому в течение многих лет она была как бы «настольной книгой» для всех изучавших Китай и Монголию.

К этому же особому ряду травелогов русских миссионеров, чиновников, студентов-синологов или монголоведов, сопровождающих русские миссии в Пекин или входящих в их состав, можно отнести также «Дорожные заметки на пути по Монголии

в 1847 и 1859 гг.» главы пятнадцатой духовной Миссии архимандрита Палладия (П.И. Кафарова), опубликованные в 1892 году в XXII томе «Записок императорского русского географического общества по общей географии», записки будущего монголоведа О.М. Ковалевского, которые он вел в 1830–1831 годах по пути прибывавшей одиннадцатой и отбывавшей на родину десятой Миссий.

Бичурин и Тимковский, конечно, не были первыми путешественниками по этому пути. В записках прежде всего Тимковского содержатся ссылки на травелоги иностранцев, уже побывавших в Монголии с различными миссиями до XIX века: записки Гильома Рубрука («Рюйбруквиса») «Путешествие в восточные страны», написанные им после посольства в Каракорум еще в XIII веке, путевые записки иезуита Жана Франсуа Жербилона (фр. Jean-François Gerbillon) «Relations de huit voyages en Tartarie faits par ordre de l'empereur de Chine» (1688–1698), который ездил по Монголии по приказу китайского императора, описание путешествий шотландца Джона Белла (John Bell), сопровождавшего российскую официальную делегацию в Пекин², наконец, в текст (с. 150–167 первой части) включено пространное описание Джунгарии, составленное анонимным китайским чиновником. Соотнесение пути со сведениями других путешественников отражается даже в оглавлении, так, одна из главок первой части называется «Гора Тоно, упоминаемая Гербилоном» [Тимковский, 1824, I, с. 187–188]³. Больше всего ссылок на путешественников из России – дневники русского агента Лоренца Ланга, написанные на немецком языке (1727–1728), неопубликованные записки приставов пятой и девятой миссий Василия Игумнова и Семена Первушина, которые, очевидно, хранились в архиве

² «Travels from St. Petersburg in Russia to diverse parts of Asia», 1-3, Glasgow, 1763. См.: [Белл, 1776].

³ В дальнейшем ссылки на записки Тимковского и Бичурина будут оформляться внутри скобок с указанием для первого порядкового номера части и страниц предисловия римскими цифрами, а страниц основного текста – арабскими. Авторская орфография и пунктуация сохраняется.

и были доступны Тимковскому до и после его путешествия. Так, например, описание развалин «капища» и субурганов возле станции Дзулгету сопровождается комментарием: «В сем урочище имела ночлег Миссия в 1794 году на 8 октября» [Тимковский, 1824, I, с. 213] (ее приставом как раз был В. Игумнов). Гораздо реже упоминает своих предшественников Бичурин, но и у него мы встречаем упоминание знакомых по прежним травелогам караванных вех: «Несколько каменных столбов, виденных г-ном Белем, и донныне стоят в реке» [Бичурин, 2010, с. 60]. Наиболее пространно он цитирует большой фрагмент текста Тимковского, которому вместе со спутниками посчастливилось попасть в буддийский горный монастырь Юн-нин-сы, в то время как Бичурин при восхождении на него заблудился.

Наиболее активными и сведущими из европейских путешественников были иезуиты, но их больше привлекала миссионерская деятельность в Пекине и установление контроля за верхушкой власти Китая. Русские вынуждены были ограничиваться знакомством с северо-восточными окраинами Китая и караванным путем в столицу через Нерчинск, а со второй половины XVIII века – путем через Монголию по маршруту Кяхта – Урга – Калган – Пекин. В предисловии Тимковский приводит еще более впечатляющий список путешественников, когда-либо посещавших Монголию, начиная его с Платона Карпини и Марко Поло, но подытоживает их главный недостаток так: они «...недостаточны в отношении к местной географии и языку» [Тимковский, 1824, I, IV]. Все эти разновременные и даже вообразимые травелоги по всей очевидности не должны были казаться русским путешественникам очень уж устаревшими: хотя к этому времени монголы утратили свою независимость, приняв китайскую чиновничью иерархию и сменив свою религиозную идентичность, их быт, окружающая природа, топография караванных маршрутов оставались почти теми же. В европейской историографии и философии было распространено устойчивое мнение, что и Китайская империя в целом тоже не была подвер-

жена сколько-нибудь значительным изменениям. Тимковский в предисловии к первой части своих записок тоже в этом убежден: «...ни одно государство, в течение веков, не подверглось меньшему изменению в своих обычаях, законах и языке как сия Империя» [Тимковский, 1824, I, II].

Практическое назначение своего травелога Тимковский видит в том, что это первый отечественный «путеводитель» прежде всего для «своих», будущих русских миссионеров и руководителей миссии, он может

... послужить на будущее время руководством (какого мы не имели) как для нашей Пекинской Миссии, так и для других путешественников по тем местам, которые в них описаны [Тимковский, 1824, I, III].

По дороге из Кяхты в Пекин и обратно было проложено несколько путей, по которым двигались торговые караваны, локусы, которые попадали в поле зрения путников, ехавших туда и обратно, могли и не совпадать в силу сезонных и «амортизационных» факторов, когда часть троп приходила в негодность. Однако наиболее трудная часть маршрута в Гоби была привязана к пересыхающим колодцам и редким пастбищам, поэтому описание основных вех движения по нему действительно могло послужить для большинства будущих путников.

Тем не менее перед Тимковским, несомненно, стояли и более амбициозные задачи. С нескрываемой гордостью он объясняет, что «...из всех европейцев одни только россияне имеют ныне право посещать Монголию и столицу Китая» [Тимковский, 1824, I, IV]. Особо он отмечает явную недостаточность знаний именно о Монголии как части Центральной Азии:

Ни об одной стране Азии не было писано европейцами столь много, сколько об отдаленном Китае. С другой стороны, нельзя не сознавать, что сведения наши о Средней Азии, к областям коей принадлежат Монголия и Малая Бухария, еще довольно ограничены [Тимковский, 1824, I, III-IV].

Образцовыми травелогами – «донесениями путешественников-очевидцев» – Тимковский считал записки по преимуществу подданных Англии, находя в них «холодный язык правды и умеренности» [Тимковский, 1824, I, V]: «В сем руководствовался я также примером известнейших путешественников, бывших в Китае, каковы Доктор Бель, наш агент Ланг (См. выше), а равно английские посланники к пекинскому двору: Лорд Маккартней и Лорд Амхерст» [Тимковский, V]. Тимковский имеет в виду, конечно, «Отчет о королевском посольстве в Китай» лорда Джорджа Маккартни «An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China – Including Cursory Observations Made, and Information Obtained, in Travelling Through that Ancient Empire, and a Small Part of Chinese Tartary» (1798) или, скорее всего, французский или русский перевод, где был усилен акцент на посещении Тартарии⁴.

Упомянув лорда Уильяма Амхерста как автора-предшественника, Тимковский тем не менее прекрасно знает, что автором дневника посольства в Китай⁵ был не сам У. Амхерст, а Г. Эллис (Henry Ellis), на французский перевод его дневника⁶ он ссылается в описании Урги [Тимковский, 1824, I, 137]. «Холодный язык правды и умеренности» противопоставляется им, по-видимому, фантастическим и эффектным романтическим описаниям. Однако в финале путешествия он констатирует однообразие и почти эпическую ретардацию своих правдивых записей:

Сей путь есть странствие беспокойное, трудное и даже опасное для здоровья. Утомительное однообразие степей и медленное шествие по оным сообщили, по необходимости, свой отпечаток и сему повествованию, основанному, впрочем, на истине событий [Тимковский, 1824, I, 147–148].

⁴ «Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie fait dans les années 1792, 1793 et 1794 par lord Macartney» (1804). См.: [Маккартней, 1804].

⁵ «Journal of the proceedings of the late embassy to China...» 1817 г.

⁶ «Voyage en Chine, ou le journal de la dernière Ambassade Anglaise á la Cour de Pekin, par M.H.Ellis, 1818».

Предисловие Бичурина получилось гораздо более кратким: он подробно объясняет лишь невозможность использования своего первого путевого дневника 1807 года, который носил сначала слишком поверхностный характер, а затем, после исправления, сделался «очень единообразным и скучным» [Бичурин, 2010, с. 44]. После получения разнообразной информации о Монголии в Пекине миссионер решил «совершенно оставить прежний свой дневник» [Там же] и сосредоточиться на «Записках о Монголии» «со включением в оные и моего путешествия чрез Монголию, при возвращении из Пекина в Кягту в 1821 году» [Там же].

С точки зрения Тимковского, в состав собственно дорожной части его записок вошли:

«1. История путешествия, т.е. ежедневные переезды наши, остановки, достопамятнейшие приключения и встречи.

2. Хозяйственные мои распоряжения к успешному проезду миссии, мои сношения по сему предмету с чиновниками маньчжурскими и монгольскими

3. Описание пути между Кяхтою и Пекином, с изъяснением подробностей о почве земли, о горах и реках, о песчаной пустыне Гоби, сверх того о вере, постановлениях, обычаях и хозяйстве монголов – собратьев российских бурят и единоплеменников калмыкам.

Объяснение географии тех мест, по коим проезжал я с членами миссии, составляет главную часть моих наблюдений...» [Тимковский, 1824, I, I–II].

Основой обоих травелогов стали ежедневные записи, в которой указывались дата, географические ориентиры по сторонам света (направление движения каравана, местоположение гор, течение рек), состояние почвы, растительности, населенность местности, метеорологические наблюдения, соотношенные со временем суток – температура воздуха, направление ветра и т.п. Плавный ход верблюдов по ровной местности позволял иногда рассчитывать и пройденное за переход расстояние, что тоже фиксировалось в записях. Тимковский рассчитывает расстояние

в верстах, Бичурин, привыкший к китайской мере длины, – в ли («Сделали мы около 40 ли пути...» [Бичурин, 2010, с. 98]).

В режиме этих «поденных» записок введение той или иной темы чаще всего мотивируется путевым сюжетом – первым знакомством с описываемым предметом или встречей с новым персонажем (так, после первого обо следует очерк устройства обо и поклонения им, после встречи с первым ламой – сведения о роли лам в монгольской жизни и их нравов, встреча с первым паломником к хутухте ведет к пространному рассказу об этом неизвестном для читателей монгольском «первосвященнике», увиденный трупик ребенка – к отступлению о правилах захоронения умерших и т.п.). Такой переход от впервые увиденного к его пространному описанию можно проиллюстрировать характерным фрагментом:

Любопытные читатели спросят может быть: что значит Хадак, поднесенный мне Ламой? Помещаю здесь краткое описание сего обычая последователей учения Шигемуниева, как толкует оный монгольское духовенство [Тимковский, 1824, I, 80].

Наиболее существенной для монгольской части записок обоим путешественникам представлялась тема, которую можно кратко назвать «травы и вода» – ежедневная оценка качества как подножного корма для вьючного и верхового скота, так и воды из колодцев после очередного перехода в Гоби:

Травы на сей станции довольно хороши, но воды мало [Тимковский, 1824, I, 173];

В траве здесь изобилие... [Тимковский, 1824, I, 175];

Травы здесь... весьма хороши [Тимковский, 1824, I, 178];

Трава хороша, какой мы давно не видали [Тимковский, 1824, I, 304];

Богатые паствы... [Тимковский, 1824, I, 100];

Вода нечиста и вкуса препротивного [Тимковский, 1824, I, 90];

Вода крайне нечистая и солонечна [Тимковский, 1824, I, 179];

... колодезь с чистою водой [Тимковский, 1824, I, 182].

Не отстает от Тимковского и Бичурин:

... подножные корма были очень худы [Бичурин, 2010, с. 94]; ... травы плохи [Бичурин, 2010, с. 99]; ... травы худы [Бичурин, 2010, с. 91]; ... травы очень худы [Бичурин, 2010, с. 100]; ... травы скудны [Бичурин, 2010, с. 105].

Движение по однообразной Гоби у него разнообразится, в основном, описаниями колодцев:

На самом ночлеге достоин замечания колодезь, который довольно просторен в сравнении с прочими и содержит чистую воду [Бичурин, 2010, с. 95];

... и сия дневка надолго осталась в нашей памяти по одному колодцу [Бичурин, 2010, с. 97];

... здесь колодезь, будучи ничем не выложен, осыпался и походил на яму, в которую на наших глазах спускались козы пить мутную воду [Бичурин, 2010, с. 98].

Для осеннего путешествия в монгольской степи и тем более в Гоби эти аспекты пути были первостепенны, поскольку от их состояния зависела как сама возможность движения, так и его быстрота. В начале своих записок Тимковский сообщает, что из Кяхты был отправлен караван в 85 верблюдов в запасе и под вьюками, 150 верховых и вьючных лошадей. Истощенные животные начинали двигаться значительно медленнее и даже умирали: единичные упоминания о падеже или крайнем изнурении верблюдов фигурируют в осеннем травелоге Тимковского. Степень усталости скота, постоянный обмен уставших животных с монголами, покупка у них новых верблюдов, количество и качество установленных для путешественников после перехода юрт – еще одна постоянная тема записок Тимковского:

... наш тощий скот [Тимковский, 1824, I, 179]; ... обессиленный в пути казенный скот [Тимковский, 1824, I, 300]; И здесь были поставлены для Миссии самые лучшие юрты, каких мы не получали даже от халхасов... [Тимковский, 1824, I, 300].

Подытоживая, можно с уверенностью утверждать, что русские путешественники в Монголии в силу «производственной необходимости» совершенно вжились в образ мышления монгольских кочевников, у которых забота о сохранении скота преобладает над всеми остальными. Наиболее характерно такое отношение для Тимковского – российского чиновника, которому был вверен «казенный скот» и который нес за него полную ответственность.

Следует учесть, что первая отечественная «Монгольская грамматика» (1831) и «Монгольско-немецко-русский лексикон» (1835) Я.И. Шмидта еще не были изданы, и те отдельные, несистемные сведения, которые сообщали о монгольском языке Тимковский и, в меньшей степени, Бичурин, были крайне ценны для путешественников. Они сообщают читателям прежде всего названия самых распространенных или необходимых в монгольском быту предметов (приветствия, самые ходовые фразы, названия юрты и ее частей, скота). Всегда, когда это возможно, Тимковский дает перевод на русский большинства топонимов с прозрачной внутренней формой, а в некоторых случаях присоединяет к нему небольшую этимологическую легенду (например, о священной горе Дархан, связанной, по преданию, с кузнечным делом самого Чингис-хана).

Миссия, как обычно, состояла из 6 священников и 4 студентов, которые обучались китайскому, маньчжурскому и монгольскому языкам. Однако большинство студентов тоже были выходцами из духовного сословия (в миссии Тимковского трое из четверых). Сам Тимковский учился сначала при монастыре, затем – в Киевской духовной академии и, разумеется, в смысле «православного» взгляда на мир, мало в чем уступал своим спутникам. Поэтому в начале и финале травелогов Тимковского и Бичурина акцентирован этот провиденциальный и мировоззренческий аспект, путешествия-Миссии православных священников: описаны моления перед отправкой миссии в Кяхте и Пекине и после прибытия в конечный пункт, встречи путников местным

духовенством – соответственно, кяхтинским и пекинским (всем составом прежней миссии).

Необычный состав русского каравана, включавшего в себя монахов и казаков, вызывал огромный интерес со стороны монгольского духовенства, степной знати и простых монголов-кочевников. В текстах постоянно фиксируется экзотичность прежде всего вида и поведения самих русских путешественников для любопытствующих монголов, сцены их «массового» сбора:

Занятие сие (ловля рыбы неводом. – В.М.) привлекло немало зрителей [Тимковский, 1824, I, 63];

С великим любопытством смотрел он на нас и на наши вещи [Тимковский, 1824, I, 66];

Гром огнестрельного оружия привлекал к нам любопытных монголов [Тимковский, 1824, I, 69];

Во время церковного нашего пения, на сих великих высотах Азии, монголы толпами собирались вокруг палатки слушать оное [Тимковский, 1824, I, 88];

Лишь только мы приехали, как множество монголов <...> окружило нас. Они вопли к нам в юрту и на все смотрели с великим любопытством [Тимковский, 1824, I, 206].

Этому неприкрытому интересу к проезжающим «новым людям», едва ли не большему, чем у самих русских путешественников, не может помешать даже малолюдство монгольских степей: кочевники приезжают издалека, только чтобы посмотреть на невиданных русских, без приглашения заходят в поставленные для приезжих юрты.

Принадлежность к православной миссии объясняет постоянный интерес обоих путников к специфике ламаистского буддизма и верований монголов, сочетающих в себе традиционные представления и тибетский буддизм. Этот аспект жизни Монголии предстает в травелогах Тимковского и Бичурина прежде всего как фиксация дорожных впечатлений – постоянное упоминание встреченных по дороге многочисленных буддийских лам, начиная с первого подробного описания [Тимковский, I, 25–26]),

пересказ диалогов с ними. Они постоянно встречаются с ними в пути, общаются и принимают подарки от «жрецов секты Шигемуниевой». Вехами пути и одновременно сакральными знаками пространства служат увиденные ими многочисленные рукотворные «обо» ([Тимковский, I, 36–37, 60, 89, 192; 305]; [Бичурин, 2010, с. 93]; Ср. сами названия главок травелога Тимковского: «Обо, или поклонный холм», «Кварцовый обо», «Цахарский обо»; а также другие обоготворяемые объекты природного происхождения, окруженные всеобщим поклонением – священные горы (См. «Священная гора Ханола» [Тимковский, I, 131–135], священные деревья ([Тимковский, I, 74]; [Бичурин, 2010, с. 93], ключи («Арашан» у Тимковского). Разумеется, с тем же успехом роль дорожных знаков выполняют и буддийские культовые сооружения – монастыри и субурганы.

Кроме того, по дороге туда и обратно путники почти ежедневно встречают монгольских паломников, едущих в религиозный центр Монголии, Их Хурээ, или из него на поклонение новообретенному монгольскому хутухте. Русские путники очень хотели с ним встретиться, но обстоятельства этого не позволили. Может быть, именно поэтому на долю «кутухты» выпадают необычно лестные их оценки: «юный жрец» [Тимковский, I, 79]; «обоготворенное детище» [Тимковский, I, 79]; «обоготворяемый отрок» [Тимковский, I, 124]; «чудной отрок» [Тимковский, I, 69]; «чудный первосвященник» [Тимковский, I, 34]. Встречают путешественники и многочисленные стада скота, которые ему предназначены («в жертву Кутухте» [Тимковский, I, 76]). Постоянно встречаются они в пути, общаются и обмениваются подарками с «жрецами секты Шигемуниевой», странствующими ламами. Судя по ключевым словам («капище», «идолы», «кумиры», «Шигемуниева секта»), буддизм воспринимался в то время русским православием как своеобразная секта язычников, идолопоклонников. Особое удивление вызывают у путешественников необычные для русских христиан, но обычные для буддизма запреты: на

ловлю рыбы [Тимковский, I, 43–44], охоту на уток [Тимковский, I, 63–65], на стрельбу по надоедливым воронам [Тимковский, I, 243].

Пространство путешествия в «Записках...» обоих путешественников географически и четко делится на четыре части: 1) от Кяхты до Урги; 2) сама Урга; 3) от Урги до Калгана; 4) от Калгана до Пекина. Пребывание в Урге объяснялось китайскими бюрократическими процедурами – получение разрешения, встречи с чиновниками и т.п. Остальные части пути выделяются и по природно-климатическим признакам (степи, пустыня, горы и спуск к низменности), и с точки зрения степени трудности и даже опасности самого пути, обусловленных прохождением этих зон, и, наконец, интенсивности полученных путниками новых впечатлений (однообразие / разнообразие).

Первая половина пути – от Кяхты до Урги – воспринимается как продолжение сибирской (она похожа на «внутренние области Бурятии» [Тимковский, I, 148]) и даже русской природы (те же деревья, кустарники, ягоды, цветы) или – на обратном пути – как возвращение к долгожданной родине. На въезде в Монголию путешественников встречает скотоводческая пастораль:

По восхождению солнца увидели мы большие стада и верблюдов пасущихся овец, быков и верблюдов. <...> Вот первая картина кочевой жизни, для многих из нас совершенно новой, возбуждавшей приятные мечтание о давних мирных временах и беззаботном хозяйстве патриархального века [Тимковский, I, 22];

Места, благословленные природой! [Тимковский, III, 141].

На выезде идиллия воспринимается еще острее, отчасти по контрасту с бедностью гобийских пейзажей, но в большей степени потому, что путники покидают Монголию на пике растительной вегетации:

Растительное царство было в полной силе; горы гордились множеством разнообразных цветов, долины тяготели под густыми травами; тучный скот изобильно снабжал молоком, из которого монголы готовили и пищу, и вино. Словом, в сие время в Халхе было всеобщее торжество и в природе и между людьми [Бичурин, 2010, с. 110].

На этой части пути туда и обратно в пейзаже опознаются, в основном, знакомые детали:

Здесь много трав и кустарников, свойственных средней полосе России [Тимковский, I, 22];

... еще в первый раз увидели довольно трав, свойственных средней полосе России. Они были в полном цвете, и привели нас на память прелесть родины со всеми утехами юности [Бичурин, 2010, с. 102];

Здесь попадались разные кустарники и травы, сродные средней полосе России [Бичурин, 2010, с. 113];

Не столько нам приятен был вкус ягод, как самый вид сего произведения природы, находящегося повсюду в садах нашего отечества! [Тимковский, I, 60];

На лугу стоит несколько ив; травы густы и высоки: сколько бы стогов сена поставлено было здесь нашими поселянами! [Тимковский, I, 55].

Тимковский, уроженец Малороссии, пытается опознать в монгольских реалиях и обычаях еще и сходство с малороссийскими:

Сии Обо служат еще указателями пути, и выставляются на границах. Не в сем ли виде должно принимать и курганы коими испещрены равнины Малороссии и поля других наших губерний? [Тимковский, I, 37];

Помню, что в Малороссии, на сельских кладбищах видал я развешиваемые платки на небольших копьях, прибитых к надгробному кресту... [Тимковский, I, 81];

... колосья одного гораздо менее, в сравнении с просом малороссийским [Тимковский, I, 47].

В Урге путешественники обычно ждали разрешения на дальнейший путь и давали отдых скоту. Бедность ургинских впечатлений вполне объяснима: день был заполнен бюрократическими хлопотами, визитами вежливости к чиновникам, питьем чая. Дни проходили в терпеливом ожидании отъезда. Тем не менее подробно описано неизбежное посещение вана и амбана, церемония приема, содержание бесед с китайскими и монгольскими чиновниками. Путешественники коротали дни в китайском Маймачене, прогуливались по берегам Толы, но были лишены возможности присутствовать при религиозных церемониях. Ритуал

возведения на престол Хутухты и сопутствующего этому праздника описан по еще не выявленному нами источнику, скорее всего китайскому. В единственном городе Монголии их удивляет бедность как быта, так и резиденций местных чиновников. Так, про дом ургинского вана сказано, что он похож на «деревенские дома наших небогатых помещиков» [Тимковский, I, 133].

Однако за Толой для русских путешественников начинается поистине Чужая земля:

На расстоянии от Кяхты до Урги нам все казалось, что путешествуем по внутренней области, прилегающей к границе Российской и населенной нашими бурятами: столько сходства в видах и произведениях природы. Но первый шаг за Толу открывает, что мы уже в чужой земле. Выпивши стакан свежей воды из реки – последней до самой Китайской Великой стены, мы двинулись в каменистые, мрачные пустыни монгольские [Тимковский, I, 148];

... утомительной пустоты и единообразия Великой Степи [Тимковский, I, 125];

Вечная пустота безмолвных и угрюмых монгольских степей есть храм задумчивости, сооруженный природой [Бичурин, 2010, 148];

Великая степь становится от сих мест еще угрюмее и бесплоднее [Бичурин, 2010, 98].

Меняется не только природа и ландшафт, но и настроение путешественников: особенно контрастен переход от гор и предгорий Китая к Гоби. «Сладостное чувство меланхолии» [Бичурин, 2010, с. 51]; «сладостное размышление» [Бичурин, 2010, с. 62], сменяются «страхом и беспокойством» [Бичурин, 2010, с. 90]. Наконец, в Гоби путешественники попадают в преисподнюю:

По спуску в сию долину представилось истинное царство смерти. Не видно было ничего имеющего жизнь и дыхания [Бичурин, 2010, с. 91];

Препоблагий Творец, будто бы во гневе, отказал сему краю во всех благах, какими Он ущедрил прочие страны для наслаждений человека [Бичурин, 2010, с. 101].

Зато однообразный с точки зрения растительности пейзаж каменистой Гоби представляется то как огромная мозаика:

Оттуда поднялись на отлогое возвышение, покрытое сердоликами, халцедонами, моховиками и яшмою разных цветов. Сей устроенный природою мозаик, при отражении солнечных лучей, представляет картину необыкновенную, весьма приятную для глаз [Тимковский, I, 216]; Поверхность земли в замену травы блестела разноцветными камнями» [Тимковский, III, 99]; ...много попадалось разноцветных камней кремнистой породы [Бичурин, 2010, с. 99],

то как устрашающая «чугунная земля» («поверхность земли издали представлялась чугунною» [Бичурин, 2010, с. 92]).

Ключевой метафорой монгольского пейзажа в обоих травелогах становится море или океан. Во-первых, это известная аллегория трудного пути, распространенная в жизнеописаниях:

Но мы, подобно мореходцам, счастливо миновавшим в глубокую осень страшные скалы и отмели балтийские, обращали более внимания на то, что милосердное Провидение безбедственно провело нас чрез места, весьма трудные для проезда на беспременном скоте [Тимковский, I, 306].

Во-вторых, это особенность монгольского ландшафта, в котором относительно невысокие горы перемежаются обширными пустынными плоскогорьями:

С сей высоты открылось к востоку необозримое пространство, наполненное дикими, обнаженными горами; острые вершины их, подобно волнующемуся морю, синелись грядами [Тимковский, I, 61];

В отдалении синее, как остров на море, Хан-ола, стоящая над Ургою» [Тимковский, III, 105];

...а впереди, в отдаленной синеве открывается на необозримое пространство Гобийское песчаное море [Тимковский, I, 114]⁷;

Лишь только поднялись мы на высоту, как открылась перед нами степь, необозримая для глаз и утомительная для духа, по совершенной пустоте. Самые отдаленные высокие места, верет за 50 и более, синее вдали, подобно морю, коего неровную зыбь образуют продолго-

⁷ Этот пейзаж кажется автору настолько поэтическим, что далее следует цитата из «Странствователя и домоседа» К. Баттошкова.

ватые увалы и пригорки, составляющие единственное разнообразие сих пустынных мест [Тимковский, I, 248].

Если это не море, то, по крайней мере, большое озеро:

С вершины сей горы, подобно как с Дархан олы во все стороны открываются обширные равнины. Много ходило по ним скота, а местами чернелись юрты, как бы острова на большом озере [Тимковский, I, 264];

Все сие место имеет сходство с морским дном, и изобилует солончаками. Грунт сего дна покрыт разноцветными камешками... [Тимковский, I, 268];

Монголы, согласно со своими преданиями, сказывали нам, что здесь было некогда море – далай (Байкал называют буряты также далай), или большое озеро [Тимковский, I, 272].

Средоточием этого сухопутного океана становится Гоби:

Если бы возможно было посмотреть на ее шероховатость с нарочитой высоты, она представилась бы океаном, зыблущимся после успокоившейся бури [Бичурин, 2010, с. 100];

С живейшим удовольствием смотрели мы на обитаемые здания, как бы на остров посреди необозримого Океана [Тимковский, I, 223].

Интересно, что метафора «Гоби как океан» распространится позже среди поклонников теософки Е. Блаватской в виде эзотерического предания, в котором рассказывается о некоем «белом острове» посреди этого океана. Для риторического же плана травелога важнее то, что уподобление степи морю – один из самых распространенных тропов при ее описании в русской фикциональной прозе.

В травелогe Тимковского встречаются и две великие Империи, претендующие на одни и те же территории. Поэтому он относится к маньчжурам как чиновник к чиновникам, проверяя их «на профпригодность». Пристально и в основном сатирически Тимковский описывает нравы китайских чиновников: «корыстолюбие», «любостяжание» вымогательство взяток, ненадежность.

Сатира переходит в иронию: чего стоит хотя бы «небольшой опыт китайской честности» [Тимковский, I, 128]. Ежедневное питье чая и общение с китайскими провожатыми (битхеши, бошко, тусулахчи, захирохчи) составляет значительную часть путешествия. В «Записках...» десятки упоминаний о разнокалиберных подарках китайским и монгольским чиновникам, которые как бы дублируют официальные отчеты Тимковского-чиновника (в их наличии мы не сомневаемся). Он тщательно фиксирует их одежду и головные уборы, убранство которых указывало на занимаемый чин: «На шапке носит шарик позлащенный» [Тимковский, I, 13].

Все это обуславливает в целом отрицательный отзыв о китайцах: Тимковский отмечает их высокомерие [См. Тимковский, I, 137], «спесь китайскую» [Тимковский, I, 145], хитрость. Он резко противопоставляет им в своих записках «добродушие» [Тимковский, I, 128] и «простоту» («простой, чистосердечный монгол» [Тимковский, I, 249]) монголов. «Неблагообразный, непросвещенный монгол» Араша Тайцзи в другой системе ценностей – «честный» человек [Тимковский, III, 57]. По мере приближения к Китаю возрастают и «просвещенность», и вместе с тем развращенность кочевников. Общаясь с монголами и китайцами, Тимковский и Бичурин отмечают руссоистское в своей основе противоречие ценностей сохраняющих природную «простоту» нравов монголов и более цивилизованных китайцев: действие просвещения оказывается не всегда благотворным и приводит к порче души «естественного человека».

Тимковский ставит себя на сторону «просвещенного человечества», добившегося, в отличие от монголов, прогресса в истории. Эта оценка развита, в частности, в аллегорическом описании пейзажа вокруг почитаемой монголами горы Дархан, связанной с мифом о Чингис-хане:

С высоты открываются виды на необозримое пространство: <...> далее в той же стороне синеются Херуллонские горы, все пространство к западу покрыто острыми возвышенностями. Солнце скрывалось, когда мы были на вершине сих утесов, и напоминало нам о сокрывшихся во мраке протекшего подвигов древних Монголов, кои, под именем

Гуннов и Татар, приводили в трепет самую Европу. Теперь потомки их скитаются в степях со своими стадами, с тяжелой скорбью вспоминают о геройстве предков, и терпеливо несут лежащее на них иго. Таков жребий племен воинственных которым недоставало образования, которые не знали благотворных действий просвещения! [Тимковский, I, 193].

У Бичурина кочевой образ жизни монголов тоже предстает неким агасферовским «наказанием»: «...вечно скитающиеся по оным пустыням Монголии» [Бичурин, 2010, с. 44]. С другой стороны, столкнувшись с китаизированными чахарами, Бичурин констатирует, что попавшие в большей степени, чем халхасцы, под влияние китайской культуры, чахары «сделались образованнее прочих соплеменников по мере сближения с Китаем, но утратили простоту. Китай сообщил им некоторое просвещение купно с порчею нравов. Чахары вообще наглы, дерзки и хищны» [Бичурин, 2010, с. 87].

Тимковский и Бичурин – сыны своего века, еще не забывшего «сентиментальные путешествия» и культ чувства. Наиболее сильные чувства у путников вызывает «соприродное» человеку – страдания самки животного, лишенной детеныша, и смерть ребенка:

... известна чувствительность сего животного. Верблюдица беспрестанно издавала протяжные и столь жалобные звуки, что, признаюсь, не можно было равнодушно их слушать. <...> и я собственными глазами видел слезы, градом катившиеся из ее глаз. Сильно действие природы! [Тимковский, I, 232];

Мы с изумлением увидели на самой дороге лежавшего, в кожаном мешке, мертвого ребенка, коему было от роду более года. <...> Смерть конечно есть для всякого трогательнейшее явление в природе [Тимковский, I, 304–305].

Пожалуй, Тимковский первым из русских путешественников и писателей увидел на развалинах буддийского храма две разновременные Монголии: прежнюю, чингисхановскую, могущественную и нынешнюю, угнетенную, смиренную:

На дворе, высланном камнем, валяются обломки зеленой черепицы и корыго, высеченные также из камня. Там, где какой-нибудь воинственный потомок Чингис Хана ходил в блестящей кольчуге или проезжал на пылких иноходцах и легких скакунах, там бродят ныне смиренные стада. Изредка, угнетенный Монгол посещает сии ветхие памятники прежнего своего могущества и независимости [Тимковский, I, 213].

Позже это видение неизменного монгольского пейзажа в двойной временной перспективе станет одним из постоянных повествовательных клише русской фикциональной прозы (См. начало повести И. Новокшенова «Потомок Чингисхана» и романа «Журавли и карлики» Л.А. Юзefовича).

Итак, «Записки...» Е.Ф. Тимковского и о. И. Бичурина стали первыми травелогами русских путешественников, которые были: 1) изданы, а не оставлены в архиве; 2) основаны на ежедневным записям; 3) написаны на русском языке. Наконец, в них было дано наиболее полное описание пути через центральную часть нынешней Монголии и часть Внутренней Монголии, прилегающей к Китаю.

Литература

Белл Дж. Белевы путешествия через Россию в разные азиатские земли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь / пер. с фр. М. Попова. СПб.: Имп. Академия наук, 1776.

Бичурин Н.Я. Записки о Монголии. Самара: Издательский дом «Агни», 2010.

Бичурин Н.Я. Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом Бичурином, в 4-х частях. СПб., 1828.

Макртей Дж. Путешествие во внутренность Китая и Татарию, учиненное в 1792, 1793 и 1794 гг. / пер. с франц. Т. 1–2. М., 1804.

Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 годах. С картою, чертежами и рисунками. Печатано по высочайшему повелению, иждивением казны. В 3-х ч. СПб., в тип. Мед. Департ. Мин. Внутр. Дел, 1824. Ч.1: Переезд до Пекина.

Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию, в 1820 и 1821 годах. С картою, чертежами и рисунками. Печатано по высочайшему повелению, иждивением казны. В 3-х ч. СПб., в тип. Мед. Департ. Мин. Внутр. Дел, 1824. Ч.3: Возвращение в Россию и взгляд на Монголию.

V.V. Maroshi

Novosibirsk State Pedagogical University

**«NOTES ...» OF IAKINF BICHURIN
AND E.F. TIMKOVSKY AS THE FIRST
RUSSIAN TRAVELOGUES IN MONGOLIA»**

Abstract. Starting from the seventeenth century to the present day, the travelogue remains as a main genre of «Mongolian» themes in fictional and documentary Russian prose. Russian travelers and characters of Russian literature are still “wandering” in Mongolia with various of purposes. “Notes...” of the head of ninth spiritual Mission Hyacinthus (Nikita Yakovlevich) Bichurin and an officer of the tenth Mission Yegor F. Tymkovsky, who was an official of the Asian Department of the Ministry of foreign Affairs. The direct basis of the “Notes...” was born from the travel diaries of the autumn trip of Tymovsky with the participants of the Tenth mission in 1820, and the notes by Bichurin and Timkovsky during the travel of the Tenth mission back from Beijing to Kyakhta in the spring-summer of 1821. “Notes...” of Tymovsky and Bichurin became the first travelogue by Russian travelers, which 1) were published, but not left in the archive; 2) were based on the daily records; 2) were written in Russian; 3) were filed with the most complete description of the way through the Central part of present-day Mongolia and the part of Inner Mongolia, close to China.

Keywords: travelogue, travel, mission, description, Russian, Mongols.

Information about the author Maroshi Valery Vladimirovich, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Vilyuyskaya st., 28, building 3), Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. maroshi@mail.ru).

Н. А. Ермакова

Новосибирский государственный педагогический университет

**ПУТЕШЕСТВЕННИК VIS-À-VIS ФОРЕСТЬЕР
В ИТАЛЬЯНСКОМ ТРАВЕЛОГЕ
П.М. КОВАЛЕВСКОГО (1858)¹**

Аннотация. Павел Ковалевский – фигура, в русской культуре не особенно известная. Потомственный горный инженер; в 1853–1858 годах путешествует по Италии и Швейцарии. Путевые очерки Ковалевского («Картины Италии») были опубликованы в 4-х номерах «Отечественных записок» за 1858 год. Позже (дополненные и переработанные) они вошли в книгу «Этюды путешественника. Италия. Швейцария. Путешественники и путешествия» (СПб., 1864). После 1864 года путевые очерки Ковалевского не переиздавались. Особенностью итальянского травелога Ковалевского является активное использование автором двух взаимообращенных номинаций – «путешественник» и «форестьер», создающих контрапункт точек зрения на фигуру путешественника – «извне» и «изнутри» чужого мира. В очерках Ковалевского номинация «форестьер», с одной стороны, становится проекцией самосознания путешественника, с другой – возникает как знак обратной связи, т.е. точки зрения на путешественника «изнутри» итальянской жизни.

Для русских путешественников статус форестьера – знак чужеродности духу Италии. Дистанцирование по отношению к нему – способ самоидентификации. В очерках Ковалевского фигура путешественника, с его рефлексией и аксиологией, попадая в фокус противонаправленной точки зрения, подвергается объективации. Путешественник оказывается не только субъектом, но и объектом восприятия. Соответственно – корректируются и «правила» игры, регулирующие поведение иностранца в «чужом» мире.

Ключевые слова: Павел Ковалевский, травелог, нарратор, точка зрения, путешественник, форестьер.

Сведения об авторе. Ермакова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубеж-

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – XX веков»).

ной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Виллойская, 28, НГПУ, корп. 3. Тел. (383) 244-06-30. E-mail: ermakova-56@mail.ru).

Идея рассматривать соотношение статусов путешественника и форестьера (и даже их определенное противостояние), рожденная путевыми очерками П.М. Ковалевского, может, на первый взгляд, выглядеть не лишенной эффекта, но надуманной. Попытка проверить наши первые наблюдения и предположения на более широком материале итальянских травелогов русских путешественников убедила нас в обратном, чему, собственно, и посвящена статья.

Павел Михайлович Ковалевский (1823–1907) – фигура, в русской культуре не слишком известная². Он принадлежит династии Ковалевских, старшие представители которой (братья Евграф и Егор) гораздо более заметны в истории русского общества XIX века³. Все трое – потомственные горные инженеры по своему первоначальному образованию. После окончания горного корпуса в Харькове (1845) служил на Луганском литейном заводе, затем был командирован за границу для изучения каменноугольного дела. В 1853–1858 годах путешествовал по Италии и Швейцарии. Путевые очерки Ковалевского («Картины Италии») были опубликованы в 4-х номерах «Отечественных записок» за 1858 год и в «Современнике» за 1859 год. Несколькоими годами позже публикации 1858–1859 годов, дополненные и переработанные, вошли в книгу «Этюды путешественника. Италия. Швейцария. Путешественники и путешествие» (СПб., 1864). После 1864 года путевые очерки Ковалевского не переиздавались.

² В большей степени известен своими воспоминаниями «Встречи на жизненном пути» (очерки о Егоре П. Ковалевском, М.И. Глинке, И.Н. Крамском, Н.А. Некрасове, А.А. Иванове) [Ковалевский, 1928].

³ Более полную информацию о Ковалевских см.: [Ермакова, 2013].

Одной из особенностей очерков является активное использование автором двух взаимообращенных номинаций – «путешественник» и «форестьер», создающих контрапункт точек зрения на фигуру путешественника – «извне» и «изнутри» чужого мира. В подобном виде и такой степени развернутости это соотношение номинаций нам не удалось обнаружить в травелогах других русских путешественников. В травелоге Ковалевского приглушена известная семантическая соотнесенность обоих понятий (путешественник, форестьер), зато выдвинута их антистетичность. На уровне общеязыковых значений оба слова могут восприниматься как эквивалентные друг другу. Иначе говоря, форестьер как «иностранец» может быть и путешественником (хотя, понятно, не всякий иностранец в Италии – это непременно путешественник, и наоборот). Но заведомой антистетичности друг другу значения обоих слов не содержат. Своим появлением она обязана специфике позиции повествователя с ее развернутой рефлексией ключевых координат травелога: *путешествие, путешественник, мир «свой» – мир «чужой»*.

Путешествие в «чужой» мир и пребывание в нем, особенно если они оказываются длительными, не могут не коснуться самосознания путешественника. Осознание себя как «другого» в мире «иной, чужой» культуры существенно перестраивает чувство собственного «Я», обостряя не только «национальное», но и экзистенциальное чувства путешественника. Одни из самых сильных переживаний такого рода, по мысли П. Муратова, связаны с опытом «итальянских путешествий»:

Итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов. Достоинство совершивший его не тем садится в немецкий вагон, каким он ступил впервые на каменные полы Венеции. Частицу Италии он уносит с собой в свои эпически нищие или буднично-благополучные земли и там, под небом суровым или опустошенным, иначе радуется, иначе грустит и иначе любит. <... >

Свой опыт, движения своей жизни в жизненной стихии Италии, освобождение новых душевных сил, рождение новых способностей, умножение новых желаний мы называем так много говорящим *именем*

*итальянского путешествия*⁴. Совершенное во времени и пространстве, пролегает оно и в недрах нашего существа, в глубинах души вычерчивая свой ослепительный круг [Муратов, 1999, с. 562–563].

Однако, очевидно, что *след* итальянского путешествия в глубинах души путешественника не может быть автоматическим итогом вхождения в жизненное пространство другой культуры. Характер и качество полученного опыта в значительной степени определяются характером восприятия путешественника. В традиции русского травелога 1790–1840-х годов А. Шёнле отмечает общий для большей части авторов «дефект восприятия» – небрежение «позицией незаинтересованного наблюдения», «чистым видением», «независимым от философских, моральных или политических соображений»: «При всем своем отрицании книжности путешественники видели по большей части то, о чем читали или что сами хотели увидеть, словно *неподготовленное наблюдение* таило в себе какую-то опасность, побуждавшую их к особой осторожности и ответственности» [Шёнле, 2004, с. 196].

В этом смысле путевые записки Ковалевского привлекают как раз авторской потребностью освободиться от «зашоренности» восприятия, навязывающей путешественнику «готовые», часто преувеличенные образы (плод «ненасытного воображения» северного человека). Автор постоянно обнаруживает и рефлексировать ту дистанцию, которая возникает между «мифом» об Италии (Риме, Венеции и т.д.) и живой конкретикой ее «картин», открывающихся путешественнику:

Наши березы да кочки до того заморят голодом наше северное воображение, что его не вдруг и насытишь картинками юга; ему всё еще хотелось бы больше. <...>

Я знаю почтенного человека, к которому в окна кареты врывались персики вдоль почтовых дорог Германии. В последнем обстоятельстве надо искать зародыш тех преувеличенных образов, какие с детства зароняют в нашу голову рассказы путешественников. Труд-

⁴ Курсив здесь и далее – наш, за исключением специально оговоренных случаев. – Н.Е.

но ли молодому воображению разогнать их в размеры чудовищные? *А потом действительность – и поди, осуществляй их! Оттого-то первое впечатление наше вне России постоянно враждебно: мы себя чувствуем обманутыми, бессовестно поддетыми! Необходимо время, чтобы выгнать застарелый угар из головы и дать ясным взглядом окинуть предмет* [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 445].

Потребность и способность Ковалевского «ясным взглядом окинуть предмет», увидеть по-своему тысячу раз виденное и описанное русскими путешественниками придают его очеркам особую заразительность. В этих *потребности и способности* отразились и ностальгия автора по невозвратным временам, когда странствие в чужом мире было лишено всяческих ориентиров («авторитетов»), и неприятие им современного туризма. Усовершенствования цивилизации, возросший комфорт передвижения по миру, в восприятии Ковалевского, противоречат самой природе *путешествия*, уничтожают его дух:

Поверьте, *путешествовать больше нельзя*, и это вовсе не потому, чтоб путешествие было точно дурно – совсем нет, но *потому, что его сделали гораздо лучшим!* Если б можно как-нибудь предохранить человека, взявшись за него заранее, от всякого рода рассказов, путевых записок, картин и впечатлений <...> – *путешествие возвратилось бы к своему началу*. Счастливое время, когда не купленная за талер и десять грошей книга, но *неожиданно раскрывшаяся окрестность*, вдали синеющий город и живописный храм или колонна подымали в груди сердце; когда, возбужденное ими, а не факином, любопытство влекло к ним приблизиться и рассмотреть работу резца, а не английского ножика, с тех пор везде оставившего свои следы!.. Судя, однако ж, по всеместной в Европе распушенности цензуры и потачливости полиции, *времени этому едва ли вернуться*. И предстоящим поколениям путешествовать будет нельзя так же точно, как нельзя путешествовать и нам. *Вместо предметов, остались одни авторитеты* <...> [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 353].

«Нетипичность» путевых очерков П. Ковалевского была отмечена и издателями «Отечественных записок», и критиками, в частности, Д.И. Писаревым в его журнальном обзоре за 1858 г.:

Много было написано об Италии, особенно много о Венеции, Риме и Неаполе, так что трудно сказать о них что-нибудь новое. Путешественники только повторяют то, что было сказано до них. Г. Ковалевский, говоря о Венеции, не описывает ни церкви Св. Марка, ни площади, ни Большого Канала, ни моста Риальто; все эти отдельные предметы, о которых обыкновенно повествуется в утомительно-систематическом порядке, у него являются сгруппированными в *общую физиогномию* адриатической красавицы. В описании его высокая поэзия постоянно сталкивается с прозой, с грязной, жалкой обстановкой повседневной жизни. Средневековый дворец и рядом лачуга; серенада в тихую, чудную итальянскую ночь – и грязь и душливый запах обмелевших каналов; древнее величие Венеции и гондольер, просящий прибавки; все это в живописном рассказе, *как картины панорамы*, проходит перед глазами читателя [Писарев, 1858].

Не случайны в рецензии Д.И. Писарева время от времени возникающие параллели между итальянскими очерками Ковалевского и В.Д. Яковлева («Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя», 1855), которые, по воспоминаниям А. Старчевского, «произвели фурор между людьми, обладающими эстетическим вкусом» [цит. по: Конечный, Романо, 2012, с. 7]. Выход книги Яковлева состоялся в отсутствие Ковалевского. Последний к тому времени уже почти два года путешествует по Италии. Все очерки Ковалевского (за исключением «Неаполя и Пизы») в журнальной публикации датированы 1857 годом; они пишутся за границей и оттуда отправляются в Россию. Сам по себе факт знания/незнания Ковалевским о книге Яковлева не так принципиален. Оба автора вполне органичны в своем восприятии Италии. Но их итальянские очерки имеют сходную тональность, сходные послышки в восприятии и воплощении картин Италии, выделяющие их в общей массе произведений подобного рода.

Характерная черта травелога Ковалевского – отсутствие сосредоточенного внимания к «достопримечательностям» – составляет, по оценке Писарева, и достоинство «Картин Италии», и их недостаток (особенно в сравнении с очерками Яковлева):

... г. Ковалевский, наблюдая римскую национальность, сообщая любопытные и остроумные заметки о физиономии теперешнего Рима, почти ни слова не говорит об историческом Риме, об его достопримечательностях, об остатках отдаленной древности и о произведениях древнего и нового искусства. Этот пробел в статье г. Ковалевского, пробел очень чувствительный для того, кто хочет составить себе полное понятие о Риме, совершенно пополняется статьею г. Яковлева, который, упоминая в немногих словах о жителях и об общей физиономии города, сосредоточивает все свое внимание на исторических памятниках, на бессмертных творениях зодчества, скульптуры и живописи. <...>

Понимая значение архитектуры, чувствуя ее красоты, г. Яковлев умеет выразить, передать в художественной форме, заставить читателя перечувствовать испытанное им впечатление [Писарев, 1858].

Замечание критика вполне справедливо, если не учитывать того, что отмеченный им «пробел» в очерках Ковалевского – результат сознательного самоограничения со стороны автора-путешественника. «Достопримечательности» (или «авторитеты», по Ковалевскому), готовый образ и перечень которых путешественник везет с собой, пересекая границу «своего» и «чужого» миров, создают барьер для живой реакции на мир, зашоривают взгляд:

С галереей Питти и Венерою Трибуны в сердце; с темным палаццо Строцци и полосатым собором в голове, вместе с предчувствием Петра и Пантеона, едет форестьер из Флоренции по железной дороге в Сиену <...> [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 71].

«Зависимость от ориентиров порождает своего рода замкнутый круг, когда сам факт созерцания, обозрения объекта служит лишь предлогом, чтобы еще раз обратиться к ориентиру <...>» [Шёнле, 2004, с. 60]. В «Картинах Италии» Ковалевского носителями такого – «туристического» – сознания становятся одиозные, несколько утрированные фигуры «форестьеров-англичанин» (или «немцев») с вечными «гидами» (путеводителями) в руках:

Немцы *прочитали прежде всё, что увидят* <...>. Аккуратные англичане <...> сидят и стоят, обремененные гидами, толпиною с кулебяку; каждый палаццо открывает кулебяку: «палаццо величествен от крыши до основания» (гласит книга); есть! (говорит англичанин, подымая глаза и опуская их снова в книгу). «Окон на-лицо десять...» – «Раз, два, три, четыре... десять: хорошо!» И ревизия идет все в том же роде. *Если в гиде упомянуто, что вид палаццо не может не привести в восторг изумленного путешественника, то путешественник делается изумленным и приводит себя в восторг* [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 455–456].

Необходимость «описывать» шедевры итальянской архитектуры неоднократно «стопорит» повествование в травелоге Ковалевского. Какому языку подвластно описание шедевра? Традиционный лексикон (окна, колонны, карнизы, лестницы и т.п.) своей стертостью, трафаретностью обезличивает его:

Как хорошо ничего не описывать! Глядя на венецианские дворцы, особенно живо вспоминаешь то чувство, какое испытывал не раз, блуждая вместе с путешественником в этом лабиринте окон, колонн, карнизов и лестниц. Не знаю, как другим, но мне все эти приметы напоминали всегда *приметы плакатного листа* (глаза обыкновенные, нос умеренный, подбородок круглый), по которым *никак нельзя узнать* человека [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 458].

Потребность *путешественника* – воспринять, пережить увиденное. Потребность художника – сохранить образ увиденного и пережитого, воплотить его так, чтобы читатель смог «увидеть, не выдав». В попытке «описать» венецианский собор св. Марка нарратор ставит и читателя перед лицом этой неразрешимой задачи («*попробуйте описать*», «*дайте увидеть, не выдав*», «*вы станете рассказывать*», «*вы захотите выдвинуть*»). Целостного, полного описания собора он и не пытается создать, отказываясь от «красноречия вершков и чисел», ничего не дающего воображению читателя. Но немногими косвенными штрихами намечает его образ, в котором «готовое знание» и несомненная

эрудиция наблюдателя не выпячены, но переплавлены силой собственного впечатления.

Попробуйте описать церковь св. Марка, слагающуюся веками из обломков язычества и христианства, добытых золотом, мечом, обманом – чем ни попало! Это – альбом Венецианской Республики, куда каждый внес свою страницу, где строгие византийские лики глядят с золотого поля на египетские божества, а сутуловатый Изис точно поднял плечи от удивления, что и он тут же очутился. *Дайте увидеть, не видав*, эти столпившиеся колонны всех орденов и цветов, их мраморы, гранит и порфир, и все это, умевшее ужиться без малого тысячу лет вместе, даже принять общую физиономию, как солдаты одного полка. *Вы станете рассказывать*, как всякое входящее судно встречалось было вопросом: «есть ли что для св. Марка?»; как, наконец, добротные приношения не помещались не только внутри, но и на стенах собора <...>. *Вы захотите выдвинуть красноречием вершков и чисел то, что заключается не в вершках и не в числах* [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 458].

Естественное и неторопливое вхождение в органику итальянского пространства – постоянная черта позиции (взгляда) путешественника в записках Ковалевского (о чем бы он ни писал – о Венеции, Риме, Неаполе, Пизе, о венецианских гондольерах или римской пожарной команде, о факинах или «роковых фигурах в изношенных до прозрачности плащах, с закинутой, разорванною полкой на плечо, которые составляют ужас и удивление иностранца» [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 366], о Via Aurelia или Via Appia и т.д.). И каждый раз оказывается, что никакое «готовое» знание не способно *подготовить воображение* путешественника к встрече с «реальной» Италией:

Можно ли, например, *подготовить воображение* к такой дороге, какова Via Aurelia, со стороны моря, от Чивитта-Веккии? Это почтовый тракт из Клина в Тверь, дорога из Чугуева в Изюм – все, что хотите, только уж никак не классический путь от Средиземного моря к Ватикану. Однообразно-холмистая пустыня, с синею полоскою моря направо <...>; с репейником без конца, простым, прозаическим, чугуевским репейником! <...> Отсюда дорога покидает даже и море;

густоголубая рама сабинских гор заключает в себе окрестность, по-прежнему безводную, извещающая недалёкий Рим. Если б не это, да не громадный купол, встающий над голым холмом, всего за четверть часа до въезда, *то и не знал бы, куда запропастился Рим* [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 79].

В этом постоянном несовпадении воображаемого (овеянного легендами) и увиденного наяву Д. Писарев усмотрит нечто, подобное «обманутым ожиданиям» путешественника: *«Опять грустное чувство, опять обманутые надежды, обманутое ожидание!»* [Писарев, 1858]. Торг форестьера с почтальоном (сцена, подобных которой множество в очерках Ковалевского) располагает критика к печальным размышлениям:

Прочтя такой эпизод, улыбнешься, на другой взглянешь серьезнее, а наконец делается решительно грустно за унижение человеческого достоинства, за нравственный упадок целой нации; досадно делается, зачем такие люди живут в благословенной стране, где и природа, и исторические воспоминания, и произведения искусств должны бы были возвышать и облагораживать дух человека? зачем не действует на них изящество внешней обстановки, зачем этот разлад между человеком и неодушевленную природой режет глаз и нарушает гармонию? Автор подъезжает к Риму, и мысль о вечном городе, о центре исторического мира поглощает все побочные мысли и чувства, овладевает всем существом путешественника. Но, увы! опять то же *вечное столкновение поэзии наших мыслей с прозой действительности* [Писарев, 1858].

Впечатление ошибочное. В «Картинах Италии» диссонанс между «поэзией наших мыслей» и «прозой действительности» – это издержки первого впечатления, первого и ложного, уже потому, что оно целиком обязано своим происхождением не личному опыту путешественника, но расхожему мифу об Италии. Поэтическое чувство итальянского мира рождается путем органического приобщения к тому, что, на первый взгляд, воспринимается как его «проза». Взгляд путешественника у Ковалевского оказывается удивительно последовательным и естественным

в своей последовательности: проза действительности никогда не становится ни итоговым впечатлением, ни поводом для разочарования в Италии⁵.

Так, образ старика-Рима, «царем усевшегося на своих семи холмах; его вечная, ни на кого непохожая физиономия» возникают у Ковалевского, прорастая сквозь череду разнокачественных определений, обязанных, с одной стороны, преувеличенным ожиданиям «ненасытного воображения», с другой – первому, «отрезвляющему» личному опыту встречи с «вечным городом»: «великий», «небывалый» – «как все», «обыкновенный». Сквозь эти напластования «понемножку и исподволь» начинает проступать образ Рима как «неподатливого» «неприветливого», не сразу и не всякому открывающегося, «словно прячущегося в себе» вечного города:

Приволье широкого Рима, царем усевшегося на своих семи холмах; его вечная, ни на кого непохожая физиономия; запустенье необъятных площадей; его купол, «как второе небо под небом»... кто не носил в себе этого величавого образа? Таинственный профиль старика получил право с ранних лет пробуждать молодую дрожь благоговения в теле; мысль о возможности узнать его отзывалась лихорадкой, как мысль о знакомстве с великим человеком... И вот, когда знакомство приходит, великий человек оказывается человеком, как все, а небывалый город и подавно – городом, как все, с площадями как площади, и куполом, как купол, без малейшего сходства с небом. *Обыкновенность Рима даже упорнее обыкновенности других авторитетов: те будто податливей.*

<...> В иной город довольно въехать, чтобы все, что в нем есть красивого – и улицы, и площади, и церкви – прямо кинулось в глаза. Но города, как Рим, неприветливые, как-то неловко вводящие чужого человека в свои стены, раскрываются понемножку и исподволь. Их надо исходить вдоль и поперек, чтобы понять, где они и в чем они [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 354].

⁵ Ср., например, с фетовским: «Италия, ты сердцу солгала! / Как долго я в душе тебя лелеял, – / Но не такой мечта тебя нашла» [Фет, 1986, с. 74].

У Ковалевского это движение «наощупь» в попытке схватить не сразу дающуюся, ускользающую от определений сущность впечатления от Рима очень близко тому состоянию, которое полвека спустя П. Муратовым будет названо «чувством Рима»:

... истина, что *есть особое чувство Рима*. Оно с трудом поддается определению, потому что слагается из повседневных и часто мимолетных впечатлений жизни в Риме. Оно растет с каждым новым утром, с каждым новым шагом, пройденным по римским улицам или окрестностям. <...> Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто не испытал бы его после более или менее продолжительного пребывания [Муратов, 1999, с. 210].

У Ковалевского тайна притягательности Рима – «непредвиденное», «непоказное», «необязательное», «неподготовленное», «неожиданное», «непреднамеренное» в его пространстве, обещающие страннику состояние перманентной внутренней «неготовности» (невозможности «подготовить воображение») к увиденному, выбивающие почву из-под ног у тех, кто ищет в нём прежде всего «достопримечательностей»:

Не в обязательных улицах и местах, отведенных проводниками для изумленных взоров путешественника, скажется Рим: он скажется в быте неизвестных улиц, предоставленных самим себе; скажется прихотливым фонтаном, который вдруг, совершенно неожиданно бросит из-за угла свою хрустальную струйку на мшистый мрамор бассейна или обдаст позеленелого Тритона, с мохом на плечах; он скажется Пантеоном на рынке, портиком языческого храма на таможне, своею необъятною, проросшею травой лестницею от площади в гору... [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 354].

Особый настрой внутренней оптики сказался и в том, что восприятие итальянской жизни у Ковалевского лишено деления на «Италию» и «итальянцев», довольно часто возникающего в оценках иностранцев. Итальянцы выглядят в таких случаях недостойными потомками своего грандиозного прошлого. Для ис-

тинного путешественника чувство подлинности «другого мира» открывается только через постижение глубинной связи между пространством и человеком. Так, В. Яковлев свое пристрастие к маленьким городкам и селеньям, лежащим в стороне от больших дорог, свою готовность путешествовать без проводника, чтобы «заблудиться при первом удобном случае» [Яковлев, 2012, с. 150] объясняет потребностью ближе узнать «жизнь народной массы», вне понимания которой невозможно ни узнать, ни полюбить страну:

В Италии, как почти везде, я стараюсь, по возможности, уклоняться от больших дорог: только таким способом и можно поближе познакомиться с этой прекрасною землею и с ее народом, который так часто бывал оклеветан путешественниками, имевшими дело единственно с трактирной челядью и чичеронами. Аристократическое путешествие из миланских гостиных в флорентийские, римские и неаполитанские гостиные – также не дает вам почти никакого понятия о национальном характере, об особенностях и предрассудках каждого племени <...>. <...> *хотите видеть все то, о чем путешественники обыкновенно умалчивают, – вмешайтесь в толпу, поживите жизнью народной массы* [Яковлев, 2012, с. 149–150].

Много позже П. Муратов писал об удивительной особенности, которая «составляет существо итальянского города, итальянской жизни» – «глубоком внутреннем согласии между церковным нефом или залой картинной галереи и улицей» [Муратов, 1999, с. 314]. Однажды пережитое, это свойство «итальянской жизни» постепенно меняет строй поведения и сознание путешественника: стусевываются позиция «наблюдателя», дистанция, отделяющая «форестьера» от «аборигенов»:

... под этим поэтическим небом в четырех стенах не сидится. *Незаметно я перенимаю привычку этого народа жить на улице, повосточному* [Яковлев, 2012, с. 160].

Чтобы видеть толпу, действительно, переполненную безотчетной, нерассуждающей и суеверной радостью существования, надо пройти по главной улице Неаполя, знаменитой *via Toledo*. Ее тесные

и грязные тротуары с утра и до позднего вечера запружены народом, умеющим быть счастливым от простого сознания своего бытия. <...>

После нескольких дней пребывания *иностранец начинает находить вкус в медленной прогулке* вверх и вниз по *via Toledo. Его перестает удивлять вечное движение толпы*, не имеющее никаких видимых оснований. <...> *Есть что-то заразительное в этом увлечении* [Муратов, 1999, с. 316].

Взгляд путешественника у Ковалевского определяется тем же интуитивным чувством органической связи между многовековыми напластованиями итальянской истории, культуры и обиходом повседневной жизни итальянских городов. Именно этой внутренней логике (а точнее – органике восприятия) обязаны постоянные в записках Ковалевского переключения планов далекого прошлого, высокой культуры и жанровых уличных сцен городской жизни, планов, не конфликтующих, не диссонирующих друг с другом:

... Рабочий разжег на углу целый ворох стружек и коптит над ними доску... Звонкий разговор соседок из одного дома в другой раздается на всю улицу... И вдруг субботняя процессия мальчишек, грязных и оборванных, но примерного поведения, промчится с крестом и колокольчиком, сбивая с ног бурого капуцина <...>.

Вот чем скажется Рим и с новой роскошью раскинется в *непредвиденную* площадь, которая вся – один исполинский водопад <...>... Кругом – некрасивые дома и узкий проезд. Никто не подумал сделать приличную обстановку для такого чуда! И хорошо, что не подумал: *все беззаботное, само-собою вставшее и словно позабытое, именно и составляет Рим*.

Повыдергай только полиция траву из трети лестницы да обчисти Тритона и улицы, или запрети, в угоду англичанам, вешать белье где хочется, а в утешение монахам – бегать с крестом, и художественный Рим сделается Римом полицейским <...> мало того: сменись его пустынная Кампанья цветущей окрестностью, *он потеряет и от этого, как старая картина от новой рамы...* [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 355].

В этих «перепадах» и «взаимопроникновениях» контрастных сторон итальянской жизни точка зрения путешественника у Ковалевского усложняется, приобретая дополнительный ра-

курс, своего рода «обратную связь» в точке зрения изнутри «чужого» мира. Тогда в очерках возникает номинация «форестьер», возникает, как «контрфорс»⁶ позиции путешественника.

В подавляющем большинстве словарных толкований «форестьер» – это иностранец в Италии. В традиции русских травелогов номинация «форестьер» вообще используется нечасто, либо точечно. Но сам факт ее введения, как правило, является знаком установки определенного ракурса восприятия фигуры путешественника – восприятия изнутри «чужого» пространства (*orbis italicus*). Сама по себе номинация «форестьер» в контексте русских травелогов отмечена стойкой стилистической окрашенностью – иронической или негативной.

Окраска эта, судя по всему, формируется не сразу: так, в путевых записках стольника Петра Толстого, государственного деятеля и сподвижника Петра I (XVII век), она еще не улавливается: форестьер – это иноземец; и только:

Неаполитанцы мужеска полу к приезжим форестиерам, то есть к иноземцам, ласковы и приветны <...> все судьи против меня встали, и отдали мне поклон, и с великою учтивостию меня приветствовали, и, показав все вещи, которые иноземцу надлежит видеть, также с честью меня отпустили [Толстой, 1992, с. 80].

Но в словоупотреблении XIX в. она уже вполне различима. Например, в шуточном стихотворении И.С. Тургенева, связанном с его первой поездкой в Италию (1840 г.):

На Альбанских горах, в башмачках да в очках –
Видю – два forestiero гуляют;
Им твердит чичерон: «Здесь родился Катон!»
Скажут: «Si?», отойдут и зевают.
(«На Альбанских горах – что за дьявол такой...»
[Тургенев, т. I, с. 328])

⁶ *Контрфорс* (архит. термин) – массивный, сложенный из камня столб или устой возле стены здания, служащий для ее поддержания в вертикальном положении и увеличения ее сопротивляемости грузу потолочных сводов и крыши [Брокгауз, Ефрон, 1895, т. 16, с. 125].

Или в гоголевской переписке, где автор сетует на весеннее нашествие форестьеров в Рим так, словно сам он – итальянец. «Ватага русских» среди форестьеров воспринимается им с той же степенью отчуждения, что и прочие:

Всю зиму, прекрасную, удивительную зиму, лучше во сто раз петербургского лета, всю зиму я, к величайшему счастью, не видал форестьеров (иностранцев, чужеземцев); но теперь их наехала вдруг куча к Пасхе, и между ними целая ватага русских. Что за несносный народ! Приехал и сердится, что в Риме нечистые улицы, нет никаких совершенно развлечений, много монахов, и повторяет вытверженные еще в прошлом столетии из календарей и старых альманахов фразы, что итальянцы подлецы, обманщики и проч. и проч. Впрочем, они наказаны за глупость своей души уже тем, что не в силах наслаждаться, влюбляться чувствами и мыслию в прекрасное и высокое, не в силах узнать Италию [Гоголь, 1988, т. 1, с. 309].

Однако, гоголевская реакция примечательна как раз тем, что она не равна реакции рядового итальянца на это событие. Для итальянца сезоны «нашествия» форестьеров – календарно отмеченная и жизненно важная «пора форестьеров»:

В исходе октября сцена будущих походов форестьера еще только моется, подметается, вытряхает пыль и наколачивает ковры в комнаты. Факины и извозчики не подозревают еще в каждом прохожем жертвы катанья и найма квартир, и только с ноября уже нельзя иметь права не искать квартиры и не кататься по желанию извозчиков. <...>

Когда свобода у вас положительно отнята, это несомненный признак, что пора форестьеров приспела [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 363].

Миграции форестьеров своей регулярностью не уступают календарю природному, то пробуждая жизнь Рима, то погружая ее в подобие анабиоза:

Он (Рим. – *Н.Е.*) живет ровно шесть месяцев, и на остальные шесть замирает <...> Движение в мире факинов и слуг сменяет бездействие летних месяцев: ставни домов, один за другим, открываются; скоро самые доски с надписями *apportemens moblés* исчезают,

и Рим принимает сообщенную ему жизнь до тех пор, пока не лопнет последний бумажный *жирандоли* в последний вечер церковных и всяких представлений святой недели. Предоставленный самому себе, город погружается снова в отдых <...> [Там же, с. 363]⁷.

Гоголевский «сюжет» с форестьером – совсем иного рода. Италия для Гоголя – «родина души». Его негодование на форестьеров – это, прежде всего, голос чувства собственной идентичности. Вехи формирования этого чувства Гоголь обозначил в приведенном выше письме М.П. Балабиной, описывая свое возвращение в Рим. Постепенное укоренение в итальянской жизни прямопропорционально для писателя изживанию, освобождению от статуса форестьера:

И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне казался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. <...> в Риме я не нашел никого из моих знакомых. Но я был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тотчас же отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея (развалины древнеримского цирка), и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно-мил и на этот раз особенно разговорчив. <...> Потом я отправился к Петру (собор св. Петра) и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более молчаливы и считали меня за форестьера (иностранца) [Гоголь, 1988, т. 1, с. 307].

Статус форестьера – знак инородности, чужеродности духу Италии. Важно то, что эта оценка исходит не изнутри итальянского мира, но принадлежит сознанию путешественников, прежде всего – русских. «Безрадостность русской жизни, отсутствие в ней пластической красоты доводит нашу влюбленность в Италию до крайней напряженности, – писал Н. Бердяев. – Путеше-

⁷ Курсив П. Ковалевского. – Н.Е.

ствии в Италию для многих – настоящее паломничество к святыням воплощенной красоты, к божественной радости» [Бердяев, 1994, с. 367]. Обостренное чувство духовного родства с Италией заставляет воспринимать все, что не соответствует высокому строю этих отношений, как покушение на святыню, во всяком случае – как фальшь, подделку, оскорбительные для нее. Таковы, например, венецианские переживания В.И. Сурикова⁸ и Б.Л. Пастернака: временная дистанция, разделяющая их, не меняет сути реакции.

Не знаю, какую-то грусть навевают эти черные, крытые черным кашемиром гондолы. Уж не траур ли это по исчезнувшей свободе и величии Венеции? Хотя на картинах древних художников и во время счастья Венеции они черные. А просто, может быть, что не будь этих черных гондол, так и денежные англичане не приедут в Венецию и не будет лишних заработанных денег в кармане гондольеров. *На меня по всей Италии отвратительно действуют эти английские форестьеры.* Все для них будто бы: и дорогие отели, и гиды с английскими проборами позади, и лакейская услужливость их. Подлые акварели, выставленные в окнах магазинов в Риме, Неаполе, Венеции, все это для англичан, все это для приплюснутых сзади шляпок и задов. Куда ни сунься, везде эти собачьи, оскаленные зубы [Суриков, 1977, с. 65].

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроеного пространства, как с живою личностью. <...>

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьедестале в позах, которые *будто бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним* тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская [Пастернак, 1990, с. 87–88].

Таким образом, ракурс восприятия фигуры форестьера в русских травелогах – это, прежде всего, проекция самосознания путешественника. Дистанцирование по отношению к статусу форестьера – способ самоидентификации.

⁸ Письмо П.П. Чистякову от 17/29 мая 1884 г.

Сюжет с форестьером – в основе и по сути – итальянский. Трудно назвать страну, в которой он имел бы равные основания для своего возникновения. С середины XVI века в Англии становится популярным Большое Турне (*The Grand Tour*) в Европу, достигающее кульминации в XVIII веке. Позже к нему присоединяются немцы и французы. Италия становится местом паломничества европейцев. При этом, на протяжении нескольких веков раздробленная, с переменным успехом оспариваемая друг у друга Францией, Испанией, Австрией, Италия до 60-х годов XIX века лишена территориального единства, независимости, ослаблена (экономически, политически, социально) длительной властью католической теократии, приведшей к «застою в индустрии, в торговле, в земледелии, в литературе и искусстве» [Яковлев, 2012, с. 361]. Сюжет с форестьером напитан этими особенностями национальной истории (хотя не только ими). Оставаясь иностранцем, форестьер становится непрременным лицом и фактом итальянской жизни.

Даже в начале XX века ситуация не слишком меняется. П. Муратов писал о «большом терпении», которое необходимо всем, кто намерен отправиться в ближайшие «городки» в окрестностях Неаполя, ибо он *«мгновенно становится единственной надеждой на пропитание для всех его жителей»*:

К нему устремляются гиды, извозчики, чистильщики сапог, нищие, лодочники и продавцы всякой дряни. Сердиться на это и бесполезно и несправедливо. Но удовольствие от поездки все-таки пропадает, ибо, как благородны ни были бы цели ее, как ни была бы рыцарственна любовь путешественника к югу Италии, *он все равно окажется среди этой крикливой, притворно-услужливой и внутренние намерения толпы в смешном и стеснительном положении «форестьера»*. *Быть «форестьером» в самом деле немного стыдно здесь*, так как именно иностранцы и повинны больше всего в порченности этого хорошего, в сущности, народа. Уже не одно столетие сюда стекаются со всех концов Европы люди, не привозящие с собой ничего, кроме денег, желания развлекаться и воскресной любви к красотам природы» [Муратов, 1999, с. 327].

В очерках П. Ковалевского (как уже было сказано выше) номинация «форестьер», с одной стороны, является проекцией самосознания путешественника, с другой – возникает как знак обратной связи, т.е. точки зрения на путешественника «изнутри» итальянской жизни. Фигура путешественника, с его рефлексией и аксиологией, попадая в фокус противонаправленной точки зрения, подвергается объективации. Путешественник оказывается не только субъектом, но и объектом восприятия. Соответственно – корректируются и «правила» игры, регулирующие поведение иностранца в «чужом» мире.

Вторая часть «Образов Италии» Ковалевского – «Форестьер в дороге» – открывается симптоматическим эпитафием, который представляет «местный» взгляд на фигуру форестьера:

- Chi e quel uomo?
- «Non e un uomo, e un forestiere!»
- (– Кто этот человек?
- «Это не человек, это иностранец!»)

Р а з г о в о р [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 53].

Положение форестьера в Италии, по наблюдениям Ковалевского, – «положение странное». С одной стороны, статус форестьера обеспечивает ему особые, безграничные права:

Un forestiere (иностранец) в Италии почти то же, что *un lion* (лев) во Франции: это человек, властвующий в обществе, человек, превосходство которого бесспорно признано. Для его ушей – лесть, для его глаз – убранства; его телу – удобства и покой, незнакомые остальным; при его появлении сторонится всё и дает ему дорогу; для него, наконец, английские вывески и проборы на запылке. Последнее делается потому, что голова итальянца не разделяет понятия о форестьере от понятия об англичанине <...> [Там же, с. 54]⁹.

С другой стороны, за эти безграничные права и привилегии «своего звания» форестьер «платит акциз, как табак или соль», акциз непомерный и неумолимый:

⁹ Курсив П. Ковалевского. – Н.Е.

... и это до того не скрыто, что добросовестный торговец (я допускаю математическое предположение) сам говорит: «я беру с вас не как с форестьера». Это не мешает, однако ж, покупателям постоянным дожидаться терпеливо, покуда купец проводит за порог форестьера и вдоволь наклоняется ему в спину, мыля себе руки... *Аквиз на форестьера так неумолим, что, заупрямясь тот заплатит непомерную цену, купец скорее оставит товар в лавке, чем изменит святости налога* [Там же, с. 54].

Форестьер – объект «промысла», «товар», за обладание которым идет борьба, и, наконец, он – «собственность» итальянца, как бы странно это ни звучало. Для «притворно-услужливой и внутренне насмешливой» (П. Муратов) итальянской толпы форестьер – это *«не человек, это иностранец»*. Главный критерий его состоятельности, обеспечивающий ему постоянное внимание местных жителей, – *кошелек*, который, по определению, не может не быть «бездонным». Наличие этой детали упраздняет за ненадобностью все умения и способности иностранца:

Если правда, что язык доводит до Киева, то еще более правда, что кошелек доводит куда угодно в Италии: с этим провожатым глухонемой проедет от одного края полуострова до другого, обворожив всех своим красноречием и тонкостью слуха, да еще заслужив прозвание принчипе [Там же, с. 53].

Видимо, таким принчипе выглядел в Италии Н.А. Некрасов, который, без знания итальянского языка, но с его сноровкой делового человека, быстро постиг нехитрую науку отношений с местным населением:

Дорогу сделал я легко, *безъязычие мало стесняет при постоянно открытом кошельке* [Переписка, 1987, т. 1, с. 266].

Я сделал несколько загородных поездок, и душа встрепенулась. Тиволи Вам особенно понравится. Берите с собой вина больше и съедобного – все это на воздухе страшно уничтожается. <...> Наберите с собой мальчишек и заставьте их петь. *(Кстати, примиритесь сразу с беспрестанным приставаемьем всяких бродяг, просящих tezzo*

baïoso, – лучше тратить полтину лишнюю в день, чем сердиться.)
[Там же, с. 269]¹⁰.

Однако, судя по всему, *принципе* Некрасов принимает науку отношений с итальянской толпой лишь настолько, насколько она может обеспечить комфорт путешествия. Той попытки понять нрав этой толпы, которая характерна для В. Яковлева, П. Ковалевского (кстати, путешествующего по Италии в те же годы, что и Некрасов), у него нет. Его суждения об итальянцах по большей части оценочны, и в них все время сохраняется дистанция, отделяющая форестьера от итальянской жизни:

Поглядел на Ливорно и нахожу, что город не так гадок, как казался с первого взгляда, – движение страшное, разнохарактерность одежд и рож удивительная, дешевизна всего – невообразимая! А все-таки *ничего нет гаже, чем толкаться между чужим народом*
[Там же, с. 268]¹¹.

Острое чутье итальянского простолюдина, в его требованиях и ожиданиях по отношению к иностранцу, породило специфическую шкалу, в рамках которой статус форестьера имеет несколько степеней отличия. Ковалевский, который «все эти степени <...> прошел сам», сочувствует положению форестьера, «как собственному» [ОЗ, 1858, т. 116, № 3, с. 54]. Возможность быть причисленным к «лику форестьера» естественным порядком «минусует» все элементарные качества, необходимые путешественнику в его приобщении к «чужому» миру: знание и понимание языка, наличие здравого смысла и хотя бы минимальной склонности к коммерческому расчету и контролю:

В сущности, говорить и слышать даже лишнее; и форестьер, до того постигший тайны итальянского языка, что, при расплате, в состо-

¹⁰ Письма А.В. Дружинину из Рима от 26 сентября (8 октября) 1856 г. и 2 (14) марта 1857 г.

¹¹ Письмо Дружинину от 13-14 (25-26) января 1857 г.

нии сам отсчитывать деньги, а не подносить их горстью, уже удаляется от *принчипе* и делается *мусью*. Ему кивают головой, получив плату, и надевают перед носом *штаку*. Принчипе один имеет удовольствие пылить своею каретою на открытые головы от Венеции до Неаполя... Но горе человеку, владеющему свободно итальянским языком! За свое отступничество он перестает быть даже *мусью* и превращается в *un signore*, почти в итальянского господина, а это очень плохо! Его треплют по плечу; и когда он, вместо учетверенной цены, скаредно предлагает двойную, ему покровительственно говорят: *figlio mio* и *caro mio*! Он до того на дурном счету, что его даже неохотно обирают. «Что ж с него возьмешь! – говорят разочарованные люди, – слышишь, говорит по-итальянски!» Отсюда до имени *un uomo* один шаг; и если роковое имя произнесено, считайте себя навсегда выключенным из лика форестьеров [Там же, с. 54]¹².

Едва ступив на землю Италии, форестьер, как уже было сказано, оказывается в положении «товара», объекта промысла, а значит – конкуренции. Уже первый шаг на берег Венеции сопровождается *похищением* форестьера гондольерами.

– Синьоре! мусью! эчеленца! вот гондола! *ecco gondola!* <...>

– Все *форестьеры* берут мою гондолу! Эчеленца знает, что берут мою гондолу! а, эчеленца! <...>

– Мусью давно сказал: бери мою *робу* (вещи). Ведь мусью сказал?

И, не дожидаясь подтверждения, он протягивает загорелую, мохнатую руку к палубе. Чемоданы, один за другим, сыплются на истертую гондолу. Та же мощная рука через минуту тащит и меня за собою... Но похищение форестьеры не проходит даром.

«А! э! у! – раздается со всех гондол, – барка потонет! <...> – Барочник не доедет! баркаролло осёл! <...>» [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 446]¹³.

Все сцены, маркированные присутствием «форестьера», носят у Ковалевского характер жанровых зарисовок. Все комически окрашены, но комизм распространяется нарратором не только на итальянцев, но и на «иностранца», т.е. на самого себя (постоян-

¹² Курсив П. Ковалевского. – Н. Е.

¹³ Курсив П. Ковалевского. – Н. Е.

ная самоирония в таких случаях – еще одна особенность позиции путешественника в «Картинах Италии»).

Эта комическая окраска нейтрализует «серьезность» сцен (можно представить, как они выглядели бы, будучи лишенными ее). Обоюдострый, двусторонний характер комизма снижает градус напряжения и, в сущности, превращает сцены в «курьезы» чужого мира, не доводя до раздражения против него. Вообще, во всех этих жанровых сценах – помимо колорита нравов, привычек – есть *атмосфера заразительности, азарта в конкуренции теперь уже итальянца и форестьера, их логики – у каждого «на свой покрой», их тактики поведения.*

Расчет с гондольером для форестьера – целое искусство; он становится проверкой опыта и знания «местных нравов»:

О жадности этих людей к деньгам, конечно, всякий много слышал. Мне вздумалось поверить на деле: до какой степени она может простираться. Зная тариф, я заплатил своему гребцу три цванцигера.

– Не всё! Говорит он с убедительностью человека правого.

Я прибавил цванцигер.

– Как! Только-то?

«Вот это так настоящий форестьер», – думает про себя венецианец и требует еще.

Я принялся класть монету за монетой на подставленную ладонь: ладонь все оставалась подставленной. Когда набралось на золотой, я предложил поменять мелочь на золото.

«Форестьер – *принчите!*» – думает гондольер и, возвращая проворно цванцигеры, готовился принять золото.

Я этого только и хотел. Отделив три цванцигера, я положил их в подставленную более прежнего ладонь и вышел из лодки. Надо было видеть моего баркароллу: как гиена, он кинулся за ужасным форестьером, который в его глазах вдруг сделался недостойным этого высокого имени; и если б сбитый с ног полицейский чиновник не явился тут, как обиженный закон, <...> то мне пришлось бы, пожалуй, раскаяться в своей любознательности [ОЗ, 1858, т. 116, № 2, с. 452-453]¹⁴.

¹⁴ Курсив П. Ковалевского. – Н.Е.

Жадность итальянца к деньгам стала общим местом в травелогах иностранцев. В этой черте смешались черты мифологизации и реальности. Однако Ковалевский, «лукавый форестьер» с его рискованной любознательностью, «из первых рук» знающий об этих издержках национального характера, никогда не перестает видеть за отдельными чертами – «лица». Поэтому вслед за сценами, подобными вышеприведенной, в его очерках часто следуют детали, восстанавливающие гармонию «лица» итальянца:

Подействовать на итальянца убеждением нет никакой возможности; только шуткой и можно порешить дело [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 69].

Улыбнитесь только, он ударит ó полы руками и зальется таким сообщительным смехом, что захохочет апельсинщик, за апельсинщиком Клементина, потом мальчишка, который дудел в глиняную дудку – и скоро половина площади будет хохотать оттого только, что захохотал кто-то... [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 368].

Таким образом, номинация «форестьер» у Ковалевского является не столько в зоне отношений с высокой итальянской культурой (хотя и в ней тоже), сколько в многообразных контактах путешественника с многочисленными «посредниками» (гондольеры, факины, почтальоны, таможня, карантинные службы, торговцы, владельцы квартир и гостиниц для форестьеров и т.п.), приобщающими иностранца к правилам и хитросплетениям жизни и быта в «чужом» мире.

Воображение форестьера, еще дома подготовленное экзотическими сведениями об Италии и итальянцах, наделяет пространство Италии чертами театральности. Одним из мифов, поддерживающих колорит итальянской экзотики, являются слухи о шайках *разбойников*, охотящихся преимущественно на форестьеров. Передвижение иностранца по дорогам Италии и его остановки в пути оказываются окрашены ожиданием непрямого разбойничьего нападения. О нем предостерегают путеводители, в его неизбежности убеждают дорожные разговоры иностранца с местными «бывалыми людьми», которые чрезвычайно достоверно, «в лицах» рассказывает недавние истории, жертвами

которых стали непременно форестьеры. Даже в стенах гостиницы испуганное воображение иностранца не находит успокоения: литографии (подобие русских лубочных картинок¹⁵) с разбойничьими сюжетами подстерегают его и там:

Литографические разбойники свирепствуют на стенах так точно, как и в рассказах флорентинца. Вот господин, в белых панталонах, с волосами, зачесанными артишоком, остановлен людьми с свирепыми лицами и легтами на шляпах, напоминающими оперных хористов. <...>

Другая картина: битва очень нарядных разбойников и невероятно храбрых драгунов, с глазами навывкате...

На третьей – бдительное правительство захватывает <...> разбойников в то самое время, когда они, все такие же нарядные, играют в карты в лесу [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 75].

Несмотря на вполне реальный страх опасности, связанный с угрозой нападения разбойников, в воображении форестьера они становятся неотъемлемым элементом мифа об Италии, своего рода – *достопримечательностью*, ожидания от встречи с которой требуют их неукоснительного исполнения, подтверждения реальностью. В противном случае – путешествие «испорчено»:

Я знал одного (англичанина. – *Н.Е.*), который постоянно и горько жаловался на свое *испорченное путешествие по Италии*:

– *Никак не хотят напасть!* – говорил он с отчаянием.

В одной из трактирных книг, однако ж, куда обыкновенные путешественники вносят одни свои имена, а англичане и свои впечатления, я прочел, за подписью его имени, такого рода уведомление: «*Желание мое сбылось: около Витербо я был ограблен*». Внизу прибавлено было уже другою рукою: «не радуйтесь; можно быть гораздо счастливее: мистера N. esq. изранили кинжалами за то, что он задумал защищаться; к сожалению, он выздоровел...» [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 76].

Однако «мифы» о разбойниках, по наблюдениям Ковалевского, имеют и совершенно прозаическую связь с реальностью

¹⁵ «Такие рамки остались только у помещиков южных губерний России да в Италии», – заметит Ковалевский в одном из своих очерков ...» [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 60].

итальянской жизни. Случаи нападений чаще приходится на осень и зиму, а шайки разбойников составляют по преимуществу поселянами окрестностей больших городов:

... может, просто весеннее тепло дает им средства существовать без грабительства, возвращая их к полевым работам? Последнее всего вероятнее: зимняя нищета часто дает нож в руки итальянцу, который всегда почти стрекозою проводит лето; и если разбойники особенно дорывались в чемоданах белья или одежды, то это несомненный признак их деревенского происхождения [ОЗ, 1858, т. 117, № 3, с. 77].

Но, в сущности, такие эстремальные способы «охоты» на иностранца, как разбой на дорогах, являются меньшим бременем для него (хотя бы потому, что они все-таки – дело случая), чем огромное количество вполне легализованных форм, по совокупности названных Ковалевским «акцизом на форестьера». Наделенный особыми привилегиями в итальянской жизни, форестьер становится их заложником. Шесть месяцев в году, проходящиеся на «пору форестьеров», должны обеспечить итальянца на оставшиеся полгода, когда трактирные слуги, «комиссионеры, лавочники, хозяева квартир – все это осиное сословие, высосавшее, сколько могло, денег из форестьеров, зевает по углам и похваляется друг перед другом, кому удалось высосать больше» [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 362–363].

Сама топография вечного города, в пространстве которого ужились следы тысячелетий истории и культуры, по впечатлениям Ковалевского, пережила новейшую деформацию, узаконив особые права форестьера:

В Риме собственно три Рима: один – Рим Via condotti, Babuino и Испанской площади. Это Рим мозаиковых лавок, надписей по-английски и фотографий; <...> Рим площадей с наемными экипажами, дорогих гостиниц и квартир ésposés au midi; кондитерских и café, наводящих ужас на римлянина, как вообще все то, что есть в этой обложенной английской пошпиною части города [Там же, с. 362].

Собственно, этот *первый* Рим – и есть Рим «для форестьеров», живущий сезонами их нашествий, а в остальное время – готовящийся к ним. Рим «второго разряда», Рим «нечистый», принадлежит простолюдинам: заезжим крестьянам, рабочим, ремесленникам (кузнецы, столяры, корзинщики, сапожники, красильщики, угольщики, серебрянники, мебельщики), лавочникам. Мазанковые лавки, кондитерские и кофейни, белье, развешенное поперек улицы, крик ослов, куры и петухи, «ветошки на детях, немых от самого дня рождения» [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 365], грязь и сор от всего, «что выносятся, выбрасывается и льется здесь на улицу» [Там же], «покинутый Тибр, которого бежало все, кроме <...> искалеченной толпы домишек» [Там же], появляющиеся по вечерам «роковые фигуры в изношенных до прозрачности плащах», наводящие ужас на иностранца, – приметы второго Рима. Карета форестьера может очутиться здесь лишь «поневоле»:

Здесь ни солнце, ни форестьер не заходят. <...> Если карета форестьера, чертя ступицами углы, протарахтит здесь раз в году, то это значит, что она встретила на дороге одно из бесконечных церковных шествий и поневоле сюда попала... [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 364].

Между тем, пространственной границы, отделяющей «Рим нечистый» от «первого Рима», не существует:

... он сидит в нем же, пересекает его на каждом шагу, вбегает в него то кривым переулком, то балконом, на котором растет трава, то улицею угольщиков, черною до второго этажа домов <...> [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 366].

Чуждые друг другу, эти «два Рима» настолько же друг другу необходимы. Первый нуждается в – порой чрезмерных и навязчивых – услугах второго. У второго «главнейшею индустрией является разработка золотых россыпей – в кошельках иностранцев» [Яковлев, 2012, с. 319]. И если *форестьер* может попасть в пространство второго Рима лишь по случайности, то для путе-

шественника, отличающегося большей пристальностью внимания и большей глубиной проникновения в «стихию жизни» чужого мира, «Рим нечистый» – одна из ипостасей Италии. Поэтому за годы своего путешествия, своих отъездов и возвращений в Рим Ковалевский и эту сторону жизни «вечного города» успевает разглядеть «изнутри» и в деталях. Пестрота и разрозненность деталей не мешает им создавать живое ощущение характера, привычек, атмосферы жизни итальянца:

Движение, перемена места в Италии считаются уже работой. Человек, имеющий два паоло <...> в сутки, не станет ходить: жизнь его обеспечена; он может и сидеть... [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 374];

Римлянин гневен, как всякий добрый человек: он гневен на мгновение. Только по южной своей натуре, гнев его опаснее: это взрыв. <...> Если он дерется ножом, это единственно по незнанию другого рода драки. <...> Закваска ли это бандита в крови римлянина, только ему и в голову не приходит *прибить*, а все как бы *убить* человека [Там же, с. 369];

Женщина, у которой недостает на руках пальцев, на вопрос: куда она их девала? ответит: «с мужем ссорилась!» и только сдвинет сердито брови [Там же, с. 367];

Римлянин услужлив и простирает эту способность даже до бескорыстности <...> Чужое дело – вообще ответная струна в сердце римлянина: ночью жена соседа родила сына – уже вся улица тем и озабочена, что жена соседа родила сына <...> [Там же, с. 368];

Римлянин нянчит ребенка охотнее жены, которая стыдится носить свое дитя по улице [Там же, с. 369];

В крещенский сочельник суровый римлянин исчезает совершенно в школьнике, который всю ночь дует в глиняную грошовую дудку... [Там же, с. 367] и т.д., т.д.

«Третий Рим» – в топографии Ковалевского – Рим вечный. В соотношении с двумя другими он производит впечатление «лишнего», «постороннего»:

... волна настоящего, хлынувшая было и сюда на минуту, не вымыла его корня; живучий, он пустил старые ростки и опутал пуще прежнего старый город <...> [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 355].

«Незыблемый и невозмутимый», чуждый «мелкого настоящего», он остался напоминанием о том, до чего дела нет современным потомкам древних римлян. Ковалевский (как и многие другие русские путешественники) переживает этот разлад как большую драму «вечного города»:

И пусть себе какой-нибудь мистер Милье строит на участке цезарского дворца дурацкий замок, а исторические аркады основания заваливает соломою и сеном – до этого никому нет дела! Римлянин совершенно равнодушен к форум романум – этому *форум форестьерум*, не более!¹⁶

«Владетели» *вечного Рима* – иностранцы, «стекающиеся со всех сторон Европы, не привозящие с собой ничего, кроме денег, желания развлекаться и воскресной любви к красотам природы» [Муратов, 1999, с. 327]. Современный путешественник с его «спящим воображением» имеет слабость к итальянским «красивым видам». Размышляя о вкусе и психологии «форестьеров», П. Муратов напишет:

Есть особая эстетика природы, понятная только туристам. <...> Красивыми считаются яркие краски и резко очерченные, определенные формы. Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия [Муратов, 1999, с. 330].

«Вкус» форестьера выбирает грандиозные руины Колизея. Но сама по себе их грандиозность не может насытить его вполне. Модными становятся прогулки по ночному Колизею, утверждается «мода любоваться Колизеем при свете бенгальских огней»:

¹⁶ Курсив П. Ковалевского. – *Н.Е.*

Экипажи теснятся у входа, точно у театра во время спектакля; входи́те – и под арками слышите восторженные восклицания на всевозможных языках; а услужливые римляне потешают толпу, обливая величественные развалины то алым, то голубым, то зеленым огнем [Яковлев, 2012, с. 369].

Ночное уединение в Колизее, по замечанию В. Яковлева, становится «большой редкостью». Однако, в разноязыкой ночной толпе «напрасно искали бы вы хоть одного» нынешнего потомка римлян. Привести его сюда может разве что ожидание, что «будет много форестьеров» [ОЗ, 1858, т. 118, № 6, с. 371]:

Нужны немецкий принц и бенгальское освещение, чтобы потомки древних римлян сбежались все, как один человек, задохнуться на полчаса серными газами Колизея... [Там же, с. 370].

У итальянца, «вообще мало живущего дома» [Там же], *свой форум* – Корсо – «главная жила и пульс его существования» [Там же].

Вечный Рим, оставленный на самого себя, «как-то неловко вводящий чужого человека в свои стены», открывающийся «по-немножку и исподволь» [Там же, с. 354], остается уделом тех, кто, по словам И.С. Тургенева, способен «жить с ним». Отсутствием этой способности писатель объясняет, в частности, некрасовскую скуку в Риме:

... он скучает слегка, – да оно и понятно – всё, что в Риме есть великого, *только окружает его; он не живет с ним*; – а редкими мгновеньями невольного сочувствия и удивления долго пробавляться нельзя [Тургенев, 1961, т. 3, с. 42]¹⁷.

Статус форестьера, которого чурался Гоголь, живаясь в пространство Рима, остался непреодоленным не только для Некрасова, но и для А. Фета, Л. Толстого. Вряд ли ими исчерпывается ряд тех, для кого «встреча» с Италией и Римом обернулась неудачей.

¹⁷ Письмо Л.Н. Толстому от 16 (28) ноября 1856 г.

В путевых очерках П.М. Ковалевского номинация «форестьер» перестает быть точечной, проходной. И эта особенность оказалась важной не только в отношении итальянского травелога самого Ковалевского. В путевых записках, очерках, письмах, фрагментах других русских путешественников, где эта номинация сохраняет точечный характер (т.е. используется однократно и вроде бы не претендует ни на какое смысловое углубление), развернутая рефлексия Ковалевского, направленная на фигуру форестьера, позволила сделать более ощутимыми локальные рефлексивные касания других авторов в этом плане. В результате – деталь итальянского травелога, не производившая впечатления «проблемной», оказалась способной вывести из латентного состояния аспекты, чрезвычайно важные для осмысления феномена путешествия: проблема самоидентификации путешественника в *чужом* мире; логика его приобщения к «жизненной стихии» чужого мира и обратная реакция этого мира на вторжение форестьера.

Повышенная концентрация авторского внимания к фигуре форестьера привела к расщеплению позиции путешественника, породившему «нетождественное тождество» статусов *путешественника* и *форестьера*. Двойная перспектива точек зрения, использованная в путевых очерках, позволила Ковалевскому (с его острым переживанием невозможности истинного путешествия в современном мире) наметить границы понятий «путешествие» и «туризм», обозначить круг проблем, имеющих отношение к современной семиотике туризма (соотношение объекта и ориентира, «готового» восприятия и непосредственного впечатления).

Литература

Бердяев Н. Чувство Италии // Бердяев Н. *Философия творчества, культуры и искусства*: В 2 т. Т. 1. М.: Лига, 1994. С. 367–371.

Брокгауз Ф.А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь: В 86 т. Т. 16. СПб.: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1895.

Ермакова Н.А. «Ясным взглядом окинуть предмет...»: взгляд путешественника («Картины Италии» П.М. Ковалевского) // Литература

путешествий: культурно-семиотические и дискурсивные аспекты. Новосибирск: СИЦ НГПУ «Гаудеамус», 2013. С. 272–304.

Гоголь Н.В. Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М.: Худож. лит., 1988.

Ковалевский П.М. Картины Италии: Венеция // Отечественные записки. 1858. Т. 116. № 2. С. 441–496.

Ковалевский П.М. Картины Италии: Форестьер в дороге // Отечественные записки. 1858. Т. 117. № 3. С. 53–80.

Ковалевский П.М. Картины Италии: Рим // Отечественные записки. 1858. Т. 118. № 6. С. 353–400.

Ковалевский П.М. Картины Италии: Неаполь и Пиза // Отечественные записки. 1858. Т. 121. № 12. С. 669–708.

Ковалевский П.М. Путевые впечатления ипохондрика // Современник. 1859. Т. 77. С. 359–377.

Ковалевский П.М. Встречи на жизненном пути // Григорович Д.В. Литературные воспоминания. Л.: АCADEMIA, 1928. С. 287–452.

Конечный А., Романо А. Повседневная жизнь Италии в 1847 году // Яковлев В.Д. Италия в 1847 году. СПб.: Гиперион, 2012.

Муратов П.П. Образы Италии. М.: ТЕРРА; Республика, 1999.

Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б.Л. Об искусстве. М.: Искусство, 1990.

Переписка Н.А. Некрасова: В 2 т. М.: Худож. лит., 1987.

Писарев Д.И. «Отечественные записки» 1858 года. URL: http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_1858_oz.shtml (дата обращения: 16.01.2015).

Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1977.

Старчевский А. Забытый литератор (Из воспоминаний о В.Д. Яковлеве) // Наблюдатель. 1886. № 4.

Толстой П.А. Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699. М.: Наука, 1992. (Серия «Литературные памятники»)

Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 1, 3. М.: Изд. АН СССР, 1961.

Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1986. («Библиотека поэта». Большая серия)

Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском сознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект, 2004.

Яковлев В.Д. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. Очерки, не вошедшие в книгу «Италия» // Яковлев В.Д. Италия в 1847 году. СПб.: Гиперион, 2012.

N.A. Ermakova

Novosibirsk State Pedagogical University

**THE TRAVELER VIS-À-VIS THE FORESTIERO
IN ITALIAN TRAVELOGUE OF P.M. KOVALEVSKI (1858)**

Abstract. Paul Kovalevsky is not a particularly well-known figure in the Russian culture. A hereditary mining engineer; in 1853-1858 he travelled in Italy and Switzerland. Kovalevsky's travel essays ("Pictures of Italy") were published in 4 issues of "Otechestvennye Zapiski" of 1858. Later (supplemented and revised) they were included into the book "The travellers's sketches. Italy. Switzerland. Travelers and travelling" (St Petersburg, 1864). After 1864 Kovalevsky's travel essays were never republished.

The specifics of Kovalevsky's Italian travelogue are the author's active usage of two mutually-directed nominations: «traveler» and "forestiero", setting a counterpoint of views of the traveler's figure – "outside" and "inside" the alien world. In Kovalevsky's essays the "forestiero" nomination, on one hand, becomes a projection of the traveler's consciousness, and, on the other hand, it appears as a sign of the feedback (life in reverse), i.e. the point of view of the traveler from the «inside» of Italian life. For Russian travelers the forestiero status is a sign of foreignness to the spirit of Italy. The distancing towards him is a way of self-identification. In Kovalevsky's essays the traveler's figure with his reflections and axiology, being in the focus of the opposite point of view, gets the status of object. The traveler turns out to be not only the subject, but also the object of perception. According to this process we observe changing the "rules" of the game that regulate the behavior of a foreigner in the "alien" world.

Keywords: Paul Kovalevsky, travelogue, point of view, traveler, forestiero, counterpoint.

Information about the author Ermakova Natalia Alexandrovna, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Russian and foreign literature, theory of literature and methodics of teaching literature, Novosibirsk State Pedagogical University (630126, Novosibirsk, Viluykaya st., 28, NSPU, building 3. Tel. (383)244-06-30. E-mail: ermakova-56@mail.ru.

Д.С. Докучаев

*Ивановский государственный историко-краеведческий музей
им. Д.Г. Бурлыгина*

**ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА
XX ВЕКА КАК ФОРМА ТРАВЕЛОГА
(НА МАТЕРИАЛАХ КОЛЛЕКЦИИ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ
ФАБРИКАНТА И МЕЦЕНАТА Д.Г. БУРЫЛИНА)¹**

Аннотация. Почтовое открытое письмо (открытка) впервые появляется в Австрии ровно 145 лет тому назад. 1 октября 1869 г. на главном почтамте Вены можно было приобрести первые корреспондентские карточки. Такая форма коммуникации очень быстро стала набирать популярность не только в Старом, но и Новом Свете. Считается, что в Российской Империи почтовая открытка появилась в начале 1870-х годов. Ей стали пользоваться деловые люди, чиновники и путешественники.

Почтовая открытка рассматривается как форма травелога. Эмпирическим материалом служит коллекция писем фабриканта и мецената, основателя Музея промышленности и искусства в городе Иваново-Вознесенске Дмитрия Геннадьевича Бурлыгина. По тем временам это был очень мобильный человек. Он много путешествовал по России и Европе. Бывал на Ближнем Востоке – в Палестине и Египте. Из каждой своей поездки Дмитрий Бурлыгин отправлял домой открытки, в которых рассказывал о месте, где оказался, и о приобретениях для Музея. Традиция почтовых отправок поддерживалась в семье. Многочисленные домочадцы, отправляясь куда-либо, также отсылали открытки в родовое гнездо. Сохранившаяся переписка сейчас является уникальным историческим материалом, источником, позволяющим охарактеризовать не только формы социальной коммуникации в отдельно взятой семье, но и способы репрезентации «чужого» пространства языком эпистолярного жанра.

¹ Материал подготовлен в рамках музейного исследования «Открытки со всего света и открытие Света», поддержанного Благотворительным фондом Владимира Потанина в 2014 г. по итогам XI грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире».

Ключевые слова: травелог, почтовая открытка, путешествия, Бурылин, Иваново-Вознесенск

Сведения об авторе. Докучаев Денис Сергеевич, кандидат философских наук, заведующий отделом «Центр музейного туризма» ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина», докторант кафедры философии Ивановского государственного университета (153005, г. Иваново, ул. Шошина 13-56. Моб. тел. +79206704766. E-mail: den-dokuchaev@mail.ru).

Почтовое открытое письмо (открытка) впервые появилось в Австрии 145 лет тому назад. Идея такого письма принадлежала почтовому советнику Австро-Венгрии, доктору Генриху фон Штефану. [Сумбур, 2014, с. 23]. Уже 1 октября 1869 года на главном почтамте Вены можно было приобрести первые корреспондентские карточки. Такая форма коммуникации очень быстро стала набирать популярность не только в Старом, но и Новом Свете. Считается, что в Российской Империи почтовая открытка появилась в начале 1870-х годов. Ей стали пользоваться деловые люди, чиновники и путешественники.

О почтовых открытых письмах одного из деловых людей, путешественника, и пойдет речь далее. Дмитрий Геннадьевич Бурылин – фабрикант, промышленник, основатель Музея в городе Иваново-Вознесенске – был незаурядной фигурой своего времени. Он родился 16 февраля 1852 года. Получил домашнее образование. С подросткового возраста вместе с братом фактически взял работу семейной ситценабивной фабрики в свои руки. Общественная и предпринимательская деятельность Бурылина была известна далеко за пределами родного города. Дмитрий Геннадьевич, впрочем, как и члены его семьи, активно путешествовал по странам Северной, Центральной и Южной Европы. А в 1913 году совместно со своей супругой отправился в Ближневосточный вояж по Турции, Палестине, Египту [Докучаев, 2014]. Все члены его семьи вели активную переписку друг с другом, используя для этого популярное на рубеже XIX–XX веков средство – открытое письмо. Многочисленные домочадцы, отправляясь

куда-либо, также отсылали открытки в родовое гнездо. Сохранившаяся переписка сейчас является уникальным историческим материалом, источником, позволяющим охарактеризовать не только формы социальной коммуникации в отдельно взятой семье, но и способы репрезентации «чужого» пространства языком эпистолярного жанра.

Коллекция личной переписки семьи Бурылиных сейчас находится в фондах Ивановского государственного историко-краеведческого музея, носящего имя основателя. Всего в коллекции около 150 открытых писем, отправленных из разных уголков Старого Света.

Дмитрия Геннадьевича Бурылина сложно отнести к определенному типу путешественника. Он и купец, многие его поездки были деловыми, но он и собиратель редкостей и древностей. Страстный коллекционер. Кроме этого, еще и паломник. Если судить о специфике путешествий семьи Бурылиных (по сохранившейся переписке), то по типологии, предложенной М. В. Строгановым и Е. Г. Милюгиной, можно было бы сказать, что это познавательные путешествия, чаще всего, развлекательные или каникулярные поездки [Милюгина, Строганов, 2013, с. 41–43]. Хотя есть и деловые письма, прежде всего, от коллег по цеху – текстильщиков. Так, И. Бухаров писал Д.Г. Бурылину:

Многоуважаемый Дмитрий Геннадьевич! Только что благополучно прибыли в Александрию. Город европейский, но народ египетский: арабы, негры. Промышленность вся – в руках англичан, ибо они правят страной под турецким флагом. Мануфактура самый ходовой товар. Писать буду подробно, когда всё осмотрю. Уваж. Вас И. Бухаров. Привет всем» [Бухаров, а].

В этом небольшом послании И. Бухаров в эпистолярной манере характеризует не только город на севере Египта, но сообщает политическую, экономическую и даже этнографическую информацию.

Почтовая открытка в эпоху модерна – это не просто средство коммуникации, но и форма освоения «чужого» простран-

ства. Отравленная во время путешествия домой, она значила существенно больше. С одной стороны, открытка – это послание – некий message, с другой – она еще и материальное «свидетельство» присвоения пространства, доказательство того, что человек побывал (или находится) в том или ином городе, той или иной стране.

Для человека рубежа XIX–XX столетий открытое письмо – это еще и отложенная дневниковая запись. Текст пишется «здесь и сейчас», но он, как и путешественник, преодолеет расстояние до дома, пусть и разными дорогами. Поэтому дилемма «дом – дорога» крайне важна в понимании подобного рода травелогов.

Для человека эпохи модерна, в отличие от современного путешественника, очень важен маршрут, которым он следует и сама этапность дороги. Это своеобразное преодоление границ и препятствий на пути к «чужому» пространству как конечной цели. Поэтому практически каждая большая остановка на маршруте сопровождалась весточкой домой. Тогда семейные, пускай и через какое-то время, но тоже смогут мысленно пережить этот маршрут. Вот письмо сына Д.Г. Бурылина, Ивана:

Ст. Гатчина 28 июля 1906 г. Шлём привет из Гатчины, куда приехали благополучно; катались в парке и закусывали на вокзале. Ив. Бурылин. Соня Бурылина. Дора [Бурылин, б].

Наличие коллекции семейной переписки позволяет объединять отдельные открытки в маршруты путешествий. То есть отслеживать перемещение членов семьи и их отношение к остановкам. Именно в этом и проявляется главное качество травелога – его динамика.

Мысленному переживанию маршрута (получателем письма) помимо основного послания способствует и визуальная составляющая открытки. Лицевая сторона с изображением того или иного города, страны всегда является репрезентативной, поскольку включает в себя определенные символы места, непосредственно исходящие из этого места. Причем выбор открыт-

ки зачастую делается осознанно. Вот, что пишет одна из подруг Анны Бурьиной – супруги Дмитрия Геннадьевича:

Многоуважаемая, дорогая Анна Александровна, спасибо Вам за открытку. Эта открытка мне нравится тем, что представляет очень верно ту картину, которую мы видели перед глазами. Выехали из (?), там было солнце и жарко и вдруг на одной станции всё покрыто снегом, чудный прозрачный воздух, пахнет зимой, замечательно. Время летит так быстро, через каких-нибудь две недели нужно уже ехать домой. От Ваших получаем часто письма, кажется, они там хорошо живут, только уж очень семейно и ивановцев слишком много. Здесь русских тоже много, но мы в немецком пансионе, все время с немцами и даже я иногда говорю по-немецки. Желаю Вам всего лучшего, сердечный привет уважаемому Д.Г. Любящая Вас Лиза Щ. [Лиза Щ., в].

В этом тексте присутствует еще и очень важный личностный уровень восприятия пространства. «Чудный прозрачный воздух, пахнет зимой... Время летит так быстро». Сам отправитель описывает ситуацию «здесь и сейчас», визуальный текст на передней стороне открытки дополняет её. А соединение обеих знаковых форм в единый корреспондентский текст открытки вызывает не только сопричастность к путешествию, но и эмоциональные со-переживания, не только отправителя, но и адресата. В этом небольшом тексте есть и дилемма «дом – дорога», и память о месте, и само место.

В письмах Дмитрия Геннадьевича Бурьиной большее значение имеет текст визуальный. Его привлекают виды городов, стран на открытках, какие-то артефакты из «чужого» пространства (картины, предметы искусства на открытках). Он дополняет их благожелательным приветом и отправляет домой. Его манера письма лаконична, ничего лишнего, но все же личное. Вот, например.

Милая Аничка. Сейчас смотрел Ревель. Очень нравится и интересно. Не скучать тебе. Всех целую. Твой Д. Бурьлин» [Бурьлин, г].

«Феодосия. 17 сент.1910. Милая Аничка. Сейчас 5½ утра. Ездили смотреть Айвазовского. Очень хорошие картины. Ехать скучно и долго» [Бурьлин, д].

Почтовая открытка достаточно интересный феномен в контексте пространства-времени. Она включает не только «чужое» пространство, но и маршрут самой открытки в пространство «свое». При этом время в открытке как бы останавливается и замирает. Происходит «торможение» картинки, поскольку отправитель сообщает адресату, как мы отмечали уже, обстоятельства «здесь и сейчас». Вот, например, письмо от супруги Бурьлина Анны Александровны:

Дорогой мой Митя! Шлю тебе привет от Лели Лизы и меня. Мы пьем кофе на горе Фентдберг 800 метров поднялись. Леля с нами чувствует себя хорошо, мы приехали в компании из санатория. Всем знакомым привет. Всего хорошего целую тебя твоя Аня [Бурьлина, е].

Замирание времени и своеобразная «кристаллизация» пространства позволяют нам относить почтовую открытку к особому роду травелогов – записей о путешествии в отложенной форме. В ней переплетаются и формы Я-повествования (субъективированная составляющая), и репрезентации места посредством визуального на открытке (объективированная составляющая). Отправленная нарочным такая открытка еще фиксирует и корреспондентский маршрут, как бы связывая пространство-время объективированное и субъективно-воспринимаемое. В заключении хочется заметить, что одна открытка – это еще не травелог. Это статичное сообщение о месте. А вот серия почтовых открыток или коллекция, позволяющая выделить маршруты перемещений, это уже травеложная форма, поскольку в этом случае появляется динамика путешествия.

Литература

- [Бухаров] Письмо И. Бухарова. Ф. 53. Оп. 3. ИГИКМ № 85228/22 (а).
[Бурьлин] Письмо И. Бурьлина. Ф. 53. Оп. 3. ИГОИРМ № 63790/38 (б).
[Лиза Щ.] Письмо Лизы Щ. Ф. 53. Оп. 3. ИГИКМ № 85228/48 (в).
[Бурьлин] Письмо Д. Бурьлина. Ф. 53. Оп. 3. ИГИКМ № 85228/3 (г).
[Бурьлин] Письмо Д. Бурьлина. Ф. 53. Оп. 3. ИГОИРМ № 63790/52 (д).

[Бурлылина] Письмо А. Бурлыиной Ф. 53. Оп. 3. ИГОИРМ № 63790/37 (е).

Докучаев Д.С. Ближневосточный вояж Д.Г. Бурлылина, или История одного путешествия // Бурлыинский альманах. 2014. № 2. С. 27–32.

Милогина Е.Г. Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий: монография. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2013.

Сумбур М.В. Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование // Дисс. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2014.

Denis Sergeevich Dokuchaev

Ivanovo State Burylin Museum

POSTCARD AS A FORM OF TRAVELOGUE IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY (ON THE MATERIAL OF A COLLECTION OF PERSONAL CORRESPONDENCE OF D.G. BURLIN)

Abstract. Postcard first appears in Austria exactly 145 years ago. On the 1st of October, 1869 the main post office in Vienna started to sell first correspondent cards. This form of communication quickly became popular not only in the Old, but also in the New World. In the Russian Empire postcards appeared in early 1870s. They were used by business people, government officials and travelers.

In the current paper postcard is viewed as a form of travelogue. The empirical material is based on a collection of letters by Dmitry Burlin, who was an industrialist and philanthropist, the founder of the Museum of Industry and Art in the city of Ivanovo-Voznesensk. He traveled extensively in Russia and Europe and also visited the Middle East – Palestine and Egypt. Dmitry Burlin sent postcards to home from each of his journeys. In the postcards he focuses on the place where he was, and on the new things he got for the Museum. Tradition of post mailings maintained in the family. Members of the family while travelling somewhere sent postcards to home. This correspondence is now a unique historical material, allowing to characterize not only the forms of social communication in a single family, but also modes of representation of “alien” environment by means of the epistolary genre.

Keywords: postcard, travelogue, travels, Burylin, Ivanovo-Voznesensk.

Information about the author Dokuchaev Denis Sergeevich, Candidate in Philosophy, Head of the Department of Museum Tourism of the Burylin Ivanovo State Museum, Doctoral Candidate of the Department of Philosophy, Ivanovo State University, Ivanovo (Shoshina str. 13-56, Ivanovo, Russia, 153005, Tel. +79206704766, E-mail: den-dokuchaev@mail.ru).

1.2. ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ: КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ

Л.И. Журова

Институт истории СО РАН, г. Новосибирск

ПУТЬ И ДВИЖЕНИЕ В СИБИРСКИХ ЛЕТОПИСЯХ XVII ВЕКА (ГРУППА ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ)

Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности концепта пути в летописном травелогe. Разграничивая путь и движение как направленное и энтропийное перемещение, автор определяет их роль в сюжете Есиповской летописи, представляющей исторический взгляд религиозного деятеля на процесс освоения Сибири. Мотив пути в сибирских летописях продвигает идею провиденциализма в истории покорения Сибири. Художественная цельность Есиповской летописи при множестве сюжетных линий, имеющих разные источники происхождения, обеспечена концептом пути как структурообразующим элементом исторического повествования. Выделены специфические черты трех «пришествий» в Сибирь, положенных в основу летописей: пришествие Ермака с дружиной с Волги, приход воевод с русским воинством из Москвы и поставление первого архиепископа из Новгорода. Показано порождение художественности в образе Ермака, обусловленное функционированием мотива пути. К анализу привлечены тексты Румянцевского и Погодинского летописцев.

Ключевые слова: путь, движение, травелог, концепт, мотив, Есиповская летопись, Румянцевский летописец, Погодинский летописец, Ермак, Кучум.

Сведения об авторе: Журова Людмила Ивановна, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН, г. Новосибирск (Новосибирск, ул. Николаева, 8. Институт истории СО РАН, сектор археографии и источниковедения. Тел. (383) 330-36-71. E-mail: zhurova@ngs.ru).

Тема завоевания Сибири и продвижения в XVII веке России на восток породила около 40 сочинений, созданных как «за Камнем» (Уралом), так и в Москве. В науке они условно обозначены как «сибирские летописи», хотя многие из них по сути представляют собой исторические повести. Свообразие сибирских летописей «заключается прежде всего в сочетании традиционных и новаторских черт повествования и их взаимопроникновении» [Покровский, 1987, с. 3].

Среди памятников сибирской исторической прозы выделяется т.н. группа Есиповской летописи, к которой относятся Румянцевский летописец, Погодинский летописец, Сибирский летописный свод [Сибирские летописи, 1987]. Они содержательно и текстуально близки к Есиповской летописи (далее ЕЛ), либо потому, что использовали один источник, либо потому, что генетически восходили к ЕЛ. Знаменитые Строгановская летопись, памятник уральской книжной культуры, и Ремезовская летопись конца XVII века построены на той же событийной основе, что и Есиповская летопись, но имеют ряд оригинальных черт, которые должны стать предметом специального анализа. Отношения между сибирскими летописями до конца не выяснены [Бахрушин, 1955; Дергачева-Скоп, 2000; Ромодановская, 2002; Шашков, 2013; Солодкин, 2008]. У них практически один сюжет – завоевание и освоение Сибири, и поход атамана Ермака с дружиною составляет его содержательную основу. Множество интерпретаций сюжета об историческом походе казаков в конце XVI века свидетельствует о сильной рецепции инварианта.

В интенции составителей летописей концепт пути стал движущей силой, определившей особенности повествования. Если под травелогом понимать дискурс с концептом географического пути, то в исторической литературе можно определить летописный травелог, одной из особенностей которого будет описание передвижений, сопровождаемых датировкой событий. В нем наряду с рассказами о путях шествия исторических героев в пространстве (военные походы, посольства, переезды и др.) со-

держатся описания перемещений действующих лиц на местах (повороты, возвращения, остановки, бегства и т.д.), которые дискретны, разнонаправлены и разновелики, они и составляют движение в эпическом сюжете. М.М. Бахтин, отделяя движение от путешествия, под движением полагал перемену пространственного места [Бахтин, 1975, с. 255]. У пути есть вектор, начало и конец, маршрут. Движение энтропийно, оно есть «основное свойство, основной признак жизни – в философском, семиотическом, историческом и т.п., и во вполне обыденном, переживаемом человеком смысле» [Цивьян, 1999, с. 5]. Задача настоящей статьи – определить роль пути и движения в организации повествования первых сибирских летописей.

Официальный памятник сибирской историографии – «Есиповская летопись» (1636 г.), названная так по имени его составителя – дьяка Тобольского архиерейского дома Саввы Есипова. Она возникла наряду с другими идеологическими проектами архиепископа Нектария (1636–1640): утверждением поминания казаков Ермака, прославлением местных святынь и др. Сюжет ЕЛ представляет исторический взгляд религиозного деятеля на процесс освоения Сибири и опыт оцерковления истории. Политическая история Сибири – основное содержание памятника. События поданы с точки зрения средневековой «философии истории»: «Провиденциализм автора Есиповской летописи <...> тесно связан с необходимостью доказывать права Русского государства на обладание Сибирью» [Ромодановская, 2002, с. 102].

В пространном названии ЕЛ: «О Сибири и сибирском взятии. О Сибирьской стране, како изволением Божиим взята бысть от рускаго полка, собраннаго и водимаго атаманом Ермаком Тимофеевичем и своею храброю и предоброю дружиною и соединомысленною» [Сибирские летописи, 1987, с. 42] – заявлена тема повествования, хотя поход Ермака не покрывает всего содержания памятника. Событийный ряд «Есиповской летописи» шире, но «взятие Сибири» ермаковой дружиной составляет большую часть повествования, композиционно никак не выде-

ленную. Завершается ЕЛ рассказом о христианизации Сибири: «И мнози невернии, уведевше христианскую веру, крестисяся...» [Там же, с. 69] и поставлением первого сибирского архиепископа в Тобольске – Киприана. Осваивая новые земли и осваиваясь на них, летописец и его заказчики ставили вопросы исторически: откуда и как шли русские в Сибирь, насколько оправдано их пришествие.

Румянцевский летописец в отличие от ЕЛ имеет краткое название «О стране Сибирской и о сибирском от Ермака взятии» [Там же, с. 32] и заканчивается гибелью Кучума в нагайских степях [Там же, с. 35]. Погодинский летописец открывается заголовком «О Сибири, чесо ради Сибирь та вся страна Сибирь наречеса» [Там же, с. 130] и заканчивается перечислением сыновей Кучума [Там же, с. 137]. Сведений о поставлении архиепископа в Сибири в этих двух летописцах нет, но статья о крещении сибирских народов занимает свое место в заключительной части Погодинского летописца. Сибирский летописный свод, составленный во второй половине XVII века на основе распространенной редакции ЕЛ, был существенно расширен за счет включения в него новых источников. То есть летописи Есиповской группы при общей событийной основе отличаются текстуально и композиционно, и авторский текст Саввы Есипова выделяется не только стройностью концепции и четкостью изложения идеи [Ромодановская, 2002, с. 239], но и продуманной структурой. В ЕЛ (если исходить из лотмановского осмысления роли рамочных компонентов текста), начало текста связано с моделированием причины, а «конец активизирует признак цели» [Лотман, 1970, с. 264]. Таким образом, различаясь смыслом начал и концовок текстов, летописи Есиповской группы обнаруживают разные стадии развития исторического дискурса. Повествование ЕЛ составляет его парадигму.

Художественная цельность ЕЛ при множестве сюжетных линий, имеющих разные источники происхождения, обеспечена концептом пути как структурообразующим элементом сибирских

летописей. Смысловая завершенность и эпическая риторика направлены на реализацию идеологического замысла, окрашенного религиозным ригоризмом. Динамичности повествования, отличающей ЕЛ от других летописей, во многом способствовало сюжетостроение, основанное на мотивах пути и движения.

Фабула ЕЛ включает в себя три ключевых события о приходе русских в Сибирь: поход Ермака с дружиною казаков с Волги; пришествие русских воевод с воинством из Москвы; поставление архиепископа из Новгорода. Три пути первопоселенцев исходят из разных географических точек России, но сходятся в одном пространственном месте.

На акцентологичность концепта пути, в состав которого входят «пришествие», «отшествие», «побег», «набег», «взятие городков», указывают названия 13-ти глав (из 37) в ЕЛ, например: «Глава 7. О пришествии Ермакове и прочих в Сибирь»; «Глава 14. О пришествии тотар и остяков в город Сибирь к Ермаку с товарищи»; «Глава 17. О пришествии тотарина Себахты и о взятии царевича Маметкула»; «Глава 20. О пришествии воевод и воинских людей с Москвы в Сибирь»; «Глава 28. О пришествии остяков под городок» и др. Совершенно очевидно, что в замысле составителя летописи «пришествия» становятся экспликациями пути.

Начинается ЕЛ с поэтического описания Камня (Урала), ставшего границей Российского и Сибирского царств. За Камнем «дальнему» взгляду летописца и первопоселенцев открываются реки, течения которых направлены на восток и север, указывая пути продвижения русских на земли, заселенные коренными народами:

Из сего же Камени реки многия изтекоша, ови поидоша к Росийскому царству, ови же в Сибирскую землю <...> Первая река в Сибирскую землю изыде, глаголемая Тура. По сей же реце жителство имеют людие, рекомии вогуличи <...> В сию же реку паки вниде река Тагил, еще же вниде река Ница; и совокупишася три реки во един сонм <...> Иде река Тура внутрь Сибирския земли, по ней живут тотарове. Река же Тура вниде в реку, глаголемую Тобол; Тобол же река вниде в реку, глаголемую Иртиш. Сия же река Иртиш вниде своим устьем в великую реку, глаголемую Обь. По сих же реках жителства имеют

мнози языцы: тотарове, колмыки, мугалы, Пегая орда, остяки, самоедь и прочия языцы... Сия же великая река Обь вниде своим устьем в губу Мангазейскую <...> [Сибирские летописи, 1987, с. 44].

Речной путь – начальный путь в истории расселения народов. Он входит в мифологему «путь из Варяг в Греки», известную по «Повести временных лет» [Повесть, 1978, с. 27]. Но в ЕЛ путь идет из преславного царства Московского в Сибирь, поэтому оправдана инверсия в формуле: «из Греки в Варяги». История в русских летописях начинается с географии [Шайкин, 2001], точнее, с топографии. Как в общерусской русской летописи «географическая статья» заканчивается впадением Днепра в море, так и описание сибирских рек в ЕЛ завершается впадением Оби, вобравшей в себя воды многих сибирских рек, в залив Карского моря. Реки связывают территории, делают близкими, достижимыми дальние земли. Реки – артерии земного пространства, они вошли в метафору летописца Нестора: «книги се бо суть реки, напоющие вселенную». Реки пересекают границы земель разных народов, соединяют разные территории, поят и кормят человека и украшают землю: «реки пространные и прекрасные зело, в них же воды сладчайшии и рыбы различныя множество; на исходищех же сих рек дебрь плодовиная на жатву и скотопитательная места пространна зело», – пишет летописец XVII века, предваряя свой исторический рассказ [Сибирские летописи, 1987, с. 20].

Движение рек не только прокладывает путь шествия русских воинов и первопоселенцев по Сибири, но и задает ритм повествованию: как не остановить реки, так и не остановить историю, и эта единая мысль «оживляет композицию» сибирской летописи. Казаки на стругах будут продвигаться вглубь сибирских лесов, волоком перетаскивать свои суда с одной реки на другую. И Ермак найдет свою смерть на реке Вагай:

Ермак же, в виде своих воинов от поганых побиеных, и ни от кого не в виде помощи имети животу своему, и побеже в струг свой, и не

може дойти, понеже одеян бе железом², стругу же, отплывшу от брега; и не дошед, утопе [Там же, с. 63].

Нескольких шагов по воде не хватило до спасения герою, прошедшему и проплывшему тысячи верст. Этот трагический конец пути атамана завершает тему похода Ермака, и после его смерти оставшиеся казаки побежали на Русь. Но уже пришли первые воеводы с русским воинством, и сцепление этих двух путей (казачьего и воинского) произошло еще до гибели Ермака.

Передвижения русских воинов, татарских ханов, местных народов летописец видит уже «ближним» взором. Перемещения, переходы, переезды, наступления и возвращения, набеги и побеги при доминировании продвижения вперед казаков и русских войск составляют основное содержание ЕЛ. Эти движения энтропийны, они состоят из конкретных отрезков пути, векторы которых разнонаправлены. Они становятся самим процессом исторического существования Сибири в наступающее Новое время.

В летописном стиле рассказов о походах Ермака ключевыми словами в ЕЛ стали глаголы движения, например:

Глава 8: В лета 1581 при державе благочестиваго царя и великаго князя Ивана Васильевича <...> *приидоша* сии воины с Волги в Сибирь. *Идоша* же в Сибирь Чюсовою рекою и *приидоша* на реку Тагил, и *плыша* Тагилом и Турою и *доплыша* до реки Тавды [Там же, с. 51].

Глава 9: *Доидоша* казанцы до Карачина улуса <...> улус его *взяша* <...> *приплыша* до реки Иртишу <...> Казацы на брег *взыдоша* и мужески на поганых наступаше. И бысть смертное поражение поганым, и вдашася погани невозвратному побегу [Там же, с. 52].

Глава 11: Месяца ж октября в 23 день вси рустии воины из городка на бой *поидоша*, и вси глаголюще: «С нами Бог» <...> И нача приступати к засеке, и бысть брань велия [Там же, с. 53].

²Предполагают, что на нем было два золотых панциря, подаренных Иваном Грозным в знак благодарности за сибирский поход, с которого началось присоединение Сибири. Ср. с Ремезовской летописью: «Ермак же, видя своих убиение, и помощи ни откуда животу своему, бежа в стругъ свой, и не може скочити, бе бо одеян двема царскими панцыри, струг же отплы от брега; и не дошед, утопе месяца августа в 6 день».

Глава 13: <...> на утрии вси воинстии людие молитву сотвориша <...> и *поидоша* ко граду к Сибири без боязни <...> *Приидоша* во град Сибирь Ермак с товарищи в лето 7089 (1581) году октября в 26 день [Там же, с. 56] и т.д.

Ряды единообразных предикатов: «идоша–поидоша–приидоша–доидоша–взыдоша», «плыша–приплыша–доплыша», – понижающие все повествование о походе ермаковой дружины, квантитативно составляют множество однородных элементов в описании пути казаков. Из этого множества интегрально складывается художественный образ покорителя Сибирской земли:

Храбравашу Ермаку з дружиною во всей Сибирстей земли, *ходиша стопами свободными*, ни от кого же утрашающеся, страх бо Божий на всех быше живущих тамо. Яко *меч обоуду остр*, идый пред лицем рускаго полка, пожиная, и поядая, и страша [Там же, с. 60].

Этой похвалы вовсе нет в Румянцевском летописце, а в Погодинском опущены слова «стопами свободными», придавшие поэтичность динамичному портрету исторического героя и пафосность повествованию.

Метафора «ходиша стопами свободными» генетически связана с традицией эпического стиля, в котором устойчивое сочетание «потоптать врагов» означает одержать быструю победу: например, в былинах («Добрыня потопташа змеенышей поганых»), в «Слове о полку Игореве» («Игорь потопта поганые полки половецкие») и др. Но в ЕЛ этот образ обновлен, смысл его – овладение пространством: свободно ступая по Сибирской земле, Ермак шествует как победитель. Важно отметить, что этот образ был заранее задуман Есиповым. В ЕЛ две главы (7-я и 8-я) имеют одинаковое название: «О пришествии Ермакове и прочих в Сибирь», в которых начинается рассказ о казацком походе, но они различаются содержательно и стилистически. Глава 7-я предваряет исторический сюжет и представляет собой памятник торжественного красноречия, в котором взятие Сибири преподнесено как Божий промысел:

Посла Бог очистити место святыни <...> Избра Бог <...> и вооружил славою и рагоборством атамана Ермака Тимофеева сына и с ним 540 человек [Там же, с. 51].

В этой прелюдии к историческому повествованию о походе казаков Савва Есипов уже ввел поэтическую формулу:

И по всей Сибирстей земли *ликоваху стопами свободными*, ни от кого же возбраняеми [Там же, с. 51].

Т.е. образ «стопы свободные» сложился в авторской интенции, и летописец рассказами о хождениях казаков по сибирской земле обосновывал его природу. Глава 8-я ЕЛ представляет жанр воинской повести, рассказывающей по всем правилам литературного этикета о походе Ермака.

На устремленность пути шествия указывает как форма оружия (поступь Ермака прямолинейна, как меч), так и содержание библейского образа: обоюдоострый меч, меч посядающий – это орудие мщения и наказания³. И Ермак в трактовке сибирского летописца – «меч обоюдоострый» самой истории, орудие Бога в борьбе с неверными [Ромодановская, 2002, с. 97; Чмыхало, 2002, с. 67]. Летописец создал монументальный образ эпического героя. Ермак – воплощение твердости, решительности, храбрости всего русского воинства. Он всегда изображен вместе с дружиной: «Ермак же з дружиною своею погна вслед поганых <...>»; «Ермак с товарищи возвратися во град Сибирь <...>»; «Ермак же и казаки, дружина их, рыдаху на много час, аки о чадех своих <...>» и т.д. Только перед лицом смерти Ермак одинок [Евсеев, 2010, с. 75].

Завершает путь побед казачьего войска посольство к Московскому царю Ивану Васильевичу с посланием Ермака о взятии царства Сибирского и победе над Кучумом: «<...> Атаманы

³ «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами» (Пс 149: 5–7).

же и казаки к Москве *приехаша*» [Сибирские летописи, 1987, с. 58]⁴. Глагол «приехать» в ЕЛ употреблен один раз только в этом контексте. В стилистике летописного изложения он противопоставлен лексеме «ходить». Если слово «ходить» в историческом повествовании связано с семантикой тяжелого пути, ассоциируется с темой военных походов, то глагол «ехать, приехать» в ЕЛ приобретает коннотацию легкого, славного пути, пути побед.

Динамичности поведения Ермака противопоставлена неподвижность в поведении Кучума. Царь изображен летописцем либо стоящим на одном месте («стоя на горе высоте <...> повелевает мулам своим кликати скверную свою молитву, призывати скверныя своя боги» [Там же, с. 55]), либо убегающим от русского войска («Прибеже во град свой царь Кучум, и взя мало нечто от соковищ своих, и вдашася невозвратному бегству со всеми вои своими. Град же свой Сибирь остави пуст» [Там же, с. 55]). Сцены с Кучумом, как правило, статичны. Например, в главе с названием, содержащим концепт пути: «О побеге царя Кучума» – летописец обращается в первую очередь к внутреннему состоянию татарского царя, наблюдающего поражение своего войска. Кучум, видя гибель своего царства, произносит горькую речь с мотивами плача:

О горе! О лоте мне! Увы, Увы! Что сотворю и камо бежу! Покры срамота лице мое! <...> [Там же, с. 54–55].

Когда Ермак пленил царевича Маметкула, «царь Кучум ожидал своего сына многое время <...> слыша же царь [о пленении Маметкула. – Л.Ж.], и болезнова о нем. И много в болезни плакася царь» [Там же, с. 59]. Обращает на себя внимание тот факт, что в ЕЛ нет ни одной реплики Ермака, ни одной детали его психологического описания. Таким образом, динамичности

⁴ Ср.: в Румянцевском летописце: «Казаки же приидоша к Москве» [Сибирские летописи, 1987, с. 33]; в Погодинском: «Послания же от Ермака атаман и казаки к Москве приехаша» [Там же, с. 133].

ермакова войска, содержащей в себе потенциальную силу движения, противопоставлено редуцирование движения, представленного монологами саморазвенчания Кучума. Кроме того, сила движения зависит от массы, поэтому, изображая Ермака с казачьей дружиной, летописец придавал этому коллективному образу эпическую масштабность, а одиночество Кучума подчеркивало его обреченность.

Многочисленные краткие рассказы о местных сибирских князьях, которые являются активными действующими лицами бурно развивающегося исторического сюжета, наполнены движениями: «прииде во град к Ермаку тотарин именем Сенбатха», «приидоша вестницы к царю Кучюму и поведаша, яко идет на него с воинством многим князь Сейдяк Бекбулатов сын из Бухарские земли <...>», «приидоша к Ермаку с товарищи от Карачи послы и просиша оборонити их от Казачьи орды <...>», «вышел князь Тайбуга со всем домом своим на реку Туру» и т.д. Сибирские татары, остяки и другие народы идут к Ермаку с дарами на поклон, от Кучума отходят его сотоварищи, на Кучума идут войной другие князья и др. Эти разнонаправленные короткие пути представляют несколько хаотичную картину передвижений, но на ее фоне четко проступает прямолинейный путь продвижения войска казаков. Важной особенностью этого пути стала его незавершенность: неожиданная гибель Ермака и бегство казаков в Россию.

Следующим этапом завоевания Сибири стал приход из Москвы воевод с русским воинством. Путь из Москвы в Сибирь прямолинеен и расположен между двумя точками: пунктом отправления и пунктом назначения. Летописец использует единообразную форму описания: Московский царь и великий князь «посла в свою державу в Сибирь воевод своих с воинством» – «приидоша воинстии люди <...>». Летописец не останавливается на описании долгого пути следования русского войска, он фиксирует его приход в Сибирь. Трагично сложилась судьба первых воевод, Семена Болховского и Ивана Глухова: появившись накануне зимы 1583 года в городке Сибирь, где «бысть глад

крепок», русское воинство вымерло: «мнози бо гладом умроша, и князь Семен умре, ту и погребен бысть» [Там же, с. 60].

В 1585 году «прииде с Москвы в Сибирь воевода Иван Мансуров с воинскими людьми». На Иртыше его встретили недружелюбные татары, и воевода, проявив осторожность, не пристал к берегу, а проплыл до Оби. Была осень, и «Иван Мансуров, виде, яко наставаше зима, и повеле *поставити городок* над рекою Обью против иртышскаго устья и сяде в нем с воинскими людьми и озимовавше» [Там же, с. 64]. В этом же году «приидоша с Руси воеводы Василей Сукин да Иван Мясной и с ними же многие руския люди. *Поставиша град Тюмень*, идеже преже был град Чингий» [Там же, с. 65]. В 1587 году «послан с Москвы государев воевода Данила Чюлков со многими воинскими людьми <...>. Доидоша до реки Иртыша от града Сибири 15 попришь, благоизволи ту и просветити место <...> вместо царствующего града причтен Сибири. Старейшина бысть сей *град Тоболск*, понеже бо ту победа и одоление на окаянных бусормен бысть» [Там же, с. 66]. Общим местом в пути пришествия воеводы стало основание городов, и Тобольск стал первой столицей Сибири, транзитным путем на восток, крупным культурным центром.

Пришествия воевод укладываются в одну парадигму, и город, основанный ими, – конечный пункт их, представителей власти, пути шествия. Появление городов знаменовало собой становление власти и государственное строительство на новых местах, закрепляло продвижение на восток, укореняя первопоселенцев на территории Сибири и изменяя ее карту. Так начинался процесс обустройства земель, и движение замедлялось.

И третий этап освоения Сибири связан с поставлением первого сибирского архиепископа – Киприана и основанием Тобольской епархии:

В лето 7129 (1621) изволением и повелением <...> поставлен бысть в Сибири, в Тоболск первый архиепископ Киприан, бывый прежде на Хутыни архимандрит [Там же, с. 70].

Нет описания пути Киприана в Сибирь, нет сведений о его прибытии в Тобольск, хотя эти события современны летописцу – Савве Есипову, появившемуся в архиерейском доме в 20-е годы XVII века. Летописная статья, посвященная Киприану, бессюжетна, она констатирует сам факт учреждения должности сибирского иерарха. Церковная власть, власть божественная, – вечная и бесконечная. Она явлена, поставлена, поэтому не может быть связана с движением. Таким способом концепт пути в ЕЛ продвигает идею провиденциализма истории освоения Сибири.

Если движение представить в виде шумовой компоненты, то можно заметить ослабление шумов к концу повествования. Стабильность и тишина в новых российских землях приходят на смену набегам и побегам. Как сибирские реки сошлись в сонм (читали мы в начале ЕЛ), так и русский и сибирские народы сошлись в единении и согласии. Этот мотив покоя будет усилен в сибирских летописях, положивших в свою основу ЕЛ. Так, Ремезовская летопись заканчивается словами ее автора С.У. Ремезова, связавшего XVII и XVIII века:

Се до зде доплывше, ветрила словесь спутивше, в твердем пристанище истории охотне почием [Там же, с. 366].

Савва Есипов начал свою повесть с «топографического плавания» по сибирским рекам, Семен Ремезов завершил летопись мифологемой плавания/корабля, означающей образ человеческой судьбы⁵.

Литература

Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. // Бахрушин С.В. Научные труды: В 4 т. Т. 3., ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1955.

⁵ Например, Елифаный Премудрый писал о жизни Сергия Радонежского: «И легко переплыв мутное житейское море, он невредимым провел по нему душевный корабль, наполненный духовным богатством, без ущерба дойдя до тихого пристанища» [Житие, 1981, с. 423].

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.

Дергачева-Скоп Е.И. Генеалогия сибирского летописания. Концепция. Материалы. Новосибирск, 2000.

Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV– середина XV века. М.: Художественная литература, 1981.

Евсеев В.Н. Специфика изображения казачьей дружины в Есиповской летописи // Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: ООО «Печатник», 2010. С. 73–84.

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.

Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси: XI – начало XII века. М.: Художественная литература, 1978.

Покровский Н.Н., Ромодановская Е.К. Предисловие // Полн. собр. русских летописей: В 43 т. Т. 36: Сибирские летописи. М.: Наука, 1987.

Ромодановская Е.К. Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск: Наука, 2002.

Сибирские летописи // Полн. собр. русских летописей: В 43 т. Т. 36: Сибирские летописи. М.: Наука, 1987.

Солодкин Я.Г. О некоторых дискуссионных проблемах зарождения сибирского летописания // Летописи и хроники: новые исследования. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2008. С. 244–279.

Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира. Исследования по структуре текста. М.: Индрик, 1999.

Чмыхало Б.А. Художественное время в сибирском летописании XVII в. // Научный ежегодник Красноярского государственного педагогического университета. Вып. 3. Т. 1. Красноярск, 2002.

Шайкин А.А. Историческая концепция и композиция «Повести временных лет» // Русская литература. 2001. № 1. С. 3–11.

Шашков А.Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания // Шашков А.Т. Избранные труды. Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2013. С. 545–572.

L.I. Zhurova

*Institute of History, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk*

**WAY AND MOVEMENT IN SIBERIAN CHRONICLES
OF THE XVII CENTURY
(GROUP OF ESİPOVSKAYA CHRONICLE)**

Abstract. The current research investigates the features of the concept of way in the travelogue of chronicles. The author distinguishes way and movement as directed and entropic movement correspondingly, after that the paper defines the roles of way and movement in the plot of Esipovskaya chronicle. As it was claimed, Esipovskaya chronicle presents the historical views of the process of Siberia exploration, formed by a religious figure. The motif of way in Siberian chronicles promotes the ideas of Providence in the history of Siberia exploration. Literary unity of Esipovskaya chronicle with many plot lines from different origin sources was supported by the concept of way as a structural component of historical narration. The author marks out the specific features of three arrivals to Siberia that made the basics of the chronicles. These are following: arrival of Ermak with his squad from Volga, arrival of the governing officials with Russian armed forces from Moscow and the appointment of Archbishop from Novgorod. The functioning of the motif of way caused the development of the literary image of Ermak, and this process was shown in the research. The analysis includes the texts of chronographical novels: Rummyantsevsky chronicler and Pogodinsky chronicler.

Keywords: way, movement, travelogue, concept, motif, Esipovskaya chronicle, Rummyantsevsky chronicler, Pogodinsky chronicler, Ermak, Kuchum.

Information about the author Ludmila Ivanovna Zhurova, Doctor of Philology, Associate professor, leading researcher of the sector of archaeography and source studies, Institute of History, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Nikolayeva str, 8, Novosibirsk, Russia, Tel. (383) 330-36-71. E-mail: zhurova@ngs.ru).

Е. Г. Милюгина, М. В. Строганов

Тверской государственный университет

ПУТЕШЕСТВИЕ И ЕГО ПРИРОДНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ¹

Аннотация. Современные исследования феномена путешествия отличаются, как правило, антропологической ориентированностью. Природа как таковая (стихия) оказывается при таком подходе за пределами исследовательского внимания. В исследовании предложен принципиально иной подход к проблеме исследования путешествий и травелогов. Авторы ставят задачу изучения природной обусловленности путешествия. Говоря о путешествии, необходимо учитывать, как природные ресурсы могут обусловить цели, задачи, историческую (социально-бытовую) специфику, точку зрения путешественника. Человек живет на суше, суша – естественная среда обитания человека, поэтому все путешествия меряются сухопутными мерками, и не только специфика иных не предполагается, но и сами сухопутные путешествия в такой перспективе попадают в иную ценностную шкалу. В статье проанализированы два элемента: стихии воды и суши как две среды обитания человека и стихии воды и суши как пространства пути. Материалом анализа выступают записки путешественников, посетивших Тверской край в XVI–XIX веках.

Ключевые слова: путешествие, травелог, стихия как среда обитания, стихия как пространство пути, Верхневолжье

Сведения об авторах. Милюгина Елена Георгиевна. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный университет», доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения (Тверь, ул. Желябова, д. 33, ТвГУ, 8(4822)426380. E-mail: elena.milyugina@rambler.ru); Строганов Михаил Викторович. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Тверской области научного проекта «Верхневолжские водные пути в русской культуре», проект № 14-14-69002.

ние высшего профессионального образования «Тверской государственной университет», доктор филологических наук, профессор, директор научно-исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии (Тверь, ул. Желябова, д. 33, ТвГУ, 8(4822)358204. E-mail: mistro@rambler.ru).

Путешествия стали модным аксессуаром современной культуры; травелоги стали модной темой современной культурологии. Но, насколько нам известно, исследователи видят путешествия в сугубо «антропологической» перспективе. Исследователи изучают цели, задачи путешественника, историческую (социально-бытовую) обусловленность путешественника, точку зрения путешественника [Дискурс травелога, 2008; Труды Русской антропологической школы, 2013; Феноменология, история и антропология путешествия, 2013]. Природа как таковая (стихия) лежит за пределами исследовательского внимания. Настоящие заметки не претендуют на то, чтобы объяснить все явления с этой новой позиции, однако сориентированы на то, чтобы поставить ее в центр внимания современных исследователей. Читателю настоящих заметок станет явной их специфика, состоящая в некоторой отвлеченности от материала. Для части нашего рассуждения мы располагаем множеством фактических примеров, а другую часть нам приходится строить без примеров, достаточно отвлеченно. Следствием этого становится некоторая умозрительность и рассудочность. Хорошо понимая этот недостаток данных заметок, мы тем не менее решаемся представить их на суд гуманитарного сообщества, поскольку видим исключительную актуальность данной проблематики.

Человеку изначально предоставлены два места жизни и два типа пути: жизнь на суше и жизнь на воде; путешествие по суше и путешествие по воде. Сочетание этих элементов может быть различным, но сочетаться могут только эти элементы. И совершенно не случайно известный художественно-географический альманах-ежегодник, который издавался в нашей стране в 1960–1991 годах, назывался «На суше и на море». Мы поэто-

му в дальнейших наших заметках рассмотрим эти два элемента: стихии воды и суши как две среды обитания человека и стихии воды и суши как пространства пути.

Но вначале скажем несколько слов о стихии воздуха. Путешествие по воздуху, в отличие от путешествий по суше и по воде, человек может совершить только с помощью высокоорганизованной техники. За отсутствием технических средств человек может, в конце концов, пойти пешком или пуститься вплавь, может соорудить примитивное транспортное средство для суши или воды своими руками. Но ни взлететь, ни подняться в воздух без специальных (не самодельных) технических средств человек не может.

Зыбкость и неустойчивость воздушного пространства человек может преодолеть только головокружительной скоростью. Можно сказать, что воздух максимально сокращает пространство и процесс путешествия. Но это сокращение пространства имеет и обратную сторону: путешественник по воздуху не может самовольно прервать свой путь и «остановиться, оглянуться». Если его привлекли красоты открывшегося за иллюминатором горного пейзажа, он не может остановить движения, чтобы полюбоваться ими, ибо такая остановка будет смертоносной. Путешествие по воздуху сосредоточено не на процессе, а на результате (взлет и посадка). И это специфическое путешествие еще не до конца освоено и тем более не до конца осмыслено человеком.

1. Стихия как среда обитания

Говоря о путешествии, мы обычно не учитываем явление стихии как среды обитания человека, то есть мы не учитываем, как природные ресурсы могут обусловить цели, задачи, историческую (социально-бытовую) специфику, точку зрения путешественника. Человек живет на суше, суша – естественная среда обитания человека, поэтому все путешествия меряются сухопутными мерками, и не только специфика иных не предполагается, но и сами сухопутные путешествия в такой перспективе попадают в иную ценностную шкалу.

Человек, мы и не думаем отрицать это, живет на суше. Но жизнь человека невозможна без воды как таковой. Сочетание двух этих стихий и организует разные типы пространства.

Самым обычным сочетанием суши и воды является следующее: человек живет на материке, внутри материка, вокруг него расстилается пространство, предполагающее сухие пути, пути по суше, но при этом суша перерезана речками и реками разной длины и ширины. Путь по суше не обязывает человека непременно пользоваться специальными транспортными средствами. По суше человек изначально передвигался пешком, даже без помощи седельных и вьючных животных. Транспортные средства для передвижения по суше достаточно сложны, создание их предполагало открытие колеса, создание телеги, а самое главное – создание дороги. Суша хороша тогда, когда вполне и только суша. Но в весеннюю и осеннюю распутицу суша превращается в непроходимую топь, совершенно непригодную не только для мирного путешествия, но и для военного похода. Вода для такого человека становится самым оптимальным и желательным пространством передвижения и провоцирует минимализм транспортных средств. В самом деле, для путешествия по воде требуются минимальные затраты на создание транспортного средства: бревно, связанные бревна, выдолбленные бревна.

Не менее привычно и второе сочетание суши и воды, когда человек живет на краю материка, и за его спиной находится суша, а перед глазами расстилается море-океан. У такого человека есть два пространства, по которым он может совершить свое путешествие: вода и суша. Пространство суши, разумеется, привычнее и естественнее, но пространство воды заманчивее и таинственнее. Примерно такая ситуация складывается и у людей, населяющих берега больших внутренних водоемов, крупных озер. Чтобы добраться на другой берег, озеро можно обойти и можно переплыть; человек, как известно, обычно предпочитает второй путь. При этом увеличивается опасность, но сокращается время пути.

Третье и четвертое сочетания суши и воды менее тривиальны, хотя тоже часто встречаются в культуре. Третий случай: человек живет на острове и видит вокруг себя только воду. Остров может давать человеку всё необходимое для его жизни, кроме одного. Если этот человек задумал путешествие, у него нет возможности выбрать сухой или водный путь, в качестве стихии путешествия он может предполагать только одно – воду. Для человека воды переплыть с острова на остров столь же естественно, как для человека суши сходить в соседнюю деревню.

Наконец, четвертый случай. Человек живет в пустыне и обречен на путешествие только по суше. Такому человеку даже вообразить путешествие по воде невозможно. Вместе с тем не случайно появление такой метафоры верблюда, как корабль пустыни. Мы хотели бы обратить внимание здесь не на самого верблюда-корабль, а на то, что пустыня в таком случае неназванно, имплицитно приобретает черты моря-океана. То есть человек даже в безводной пустыне в качестве пространства передвижения сориентирован на воду. Очевидно, представление о воде как пространстве передвижения (путешествия) заложено в самые основы человеческого сознания, а в таком случае суша воспринимается в качестве противоположности воды, в качестве среды стабильного, неподвижного обитания.

2. Стихия как дорога

Итак, человеку изначально предоставлены два места, где он может жить: суша и вода. Но человеку так же изначально предоставлены два места, по которым он может путешествовать, и это тоже суша и вода. Мы пытались показать в предыдущем разделе, что место, где человек живет, в известной мере предопределяет место, которое он выбирает для прокладывания дороги-пути, для передвижения и путешествия. И обычно человек как сухопутное животное пользуется именно водой как местом путешествия. Чаще всего человек использует воду по свободному выбору (первый и второй случаи); гораздо реже обращение к водным путям происходит не в результате выбора, а вследствие неизбежности

(третий случай); иногда же человек просто имитирует водное путешествие (четвертый случай), очевидно, по привычке связывать путешествие и воду. Получается, что путешествовать по воде столь же привычно, как и жить на суше.

Однако, как мы уже сказали, дорога по суше должна быть проложена, организована, подготовлена заранее. Чтобы путешествие стало путешествием, а не научной экспедицией по «неведомым дорожкам» в поисках «невиданных зверей», пространство должно быть предварительно освоено человеком. На суше человек рождается, здесь он живет всю свою жизнь, и здесь его кладут после смерти. Но такая родная для человека суша, земля требует специальной и очень большой подготовки для организации путешествия. Качество дороги, по сути, определяет качество путешествия, без продуманной и комфортабельно обставленной дороги удовлетворительное путешествие невозможно [Милюгина, Строганов, 2013а].

Дорога по воде такой большой специальной подготовки не требует. Вода не такое родное пространство для человека, как суша, но ее не надо расчищать, чтобы отправиться по ней в путь-дорогу. Вода как будто изначально придумана и организована как пространство путешествия. Поэтому первые дороги человека всегда шли по рекам. Расчистить и вытоптать тропинку в лесу гораздо более сложное дело, чем воспользоваться дорогой-рекой.

Повторим еще раз: если суша – это пространство стабильной жизни человека на одном месте, то вода – это пространство передвижений человека с места на место. Для традиционной культуры характерна стабильная жизнь на одном месте; для культуры буржуазного и постбуржуазного времени свойственна повышенная мобильность человека и как следствие – передвижения с места на место [Милюгина, Строганов, 2011]. Правда, в мировой культуре путь человеческой жизни (да и история всего человечества) чаще всего представляется в виде путешествия по воде: от истока до устья. Таким иносказанием служил образ реки в византийской и русской иконописной традиции. На ранних русских

иконах мы видим Христа, представленного стоящим на вершине горы, из которой изливаются четыре потока: это образ рая, а четыре реки символизируют четыре Евангелия. На фресках по мотивам Страшного суда из-под ног Христа-Судьи вытекает огненная река, унося с собой грешников в ад [Милюгина, 2012, с. 7–8]. Образ реки как метафоры жизни отдельного человека или жизни человечества вообще мы находим в стихах самых разных поэтов и самых разных народов, но примеры приведем только из русской литературы. Жизнь человека как река: «Четыре возраста человеческих: Отрывок из Делилевой поэмы: Воображение» А.Ф. Воейкова, «Жизнь» В.А. Жуковского, «Мои четыре возраста» А.А. Деларю. Жизнь человечества как поток: «Осьмнадцатое столетие» А.Н. Радищева, «На тленность» Г.Р. Державина [Строганов, 2001; Милюгина, 2004]. Только у А.С. Пушкина в «Телеге жизни» изображен не водный, а сухопутный путь жизни [Строганов, 1990]. Суша – это статика, а вода – движение.

Да, вода сама по себе всегда подвижна. Уже в силу неустойчивости своего положения на воде человек воспринимает ее как стихию подвижную. И тем более подвижной представляется река, которая течет, петляет, бежит. Мы и про сухопутную дорогу говорим теперь, что она бежит вперед и петляет между холмов, однако изначально всё это относилось только к дороге-реке.

Но различие между сухим и водным путями не только в том, что один из них расстилается по устойчивому, стабильному пространству, а второй находится в пространстве неустойчивом, нестабильном. Вспомним свои зрительные впечатления о путешествии по суше и по воде.

Суша бежит нам навстречу и ложится под колеса нашей машины или поезда, хотя в поезде по-настоящему наблюдать это может только машинист из лобового окна, а мы можем только слегка почувствовать это, высывая голову в окно на крутых поворотах. Тут-то и видно, как леса и овраги, мосты и переезды спешат тебе навстречу, чтобы расстелиться при этой встрече под твоими колесами. И уж тем более всё это видно из лобового окна

машины. Говорят, что дорога зовет тебя вдаль. Но это верно только метафорически и только тогда, когда ты стоишь на дороге на одном месте, прекратив движение. В самом процессе движения дорога – зрительно – бежит тебе навстречу.

Путешествие по воде оставляет у нас совсем иные зрительные впечатления. Плывая по реке, мы плывем вместе с рекой. Вода сама несет нас вниз по течению, и берега (суша) идут нам навстречу, а мы с водой стремимся вперед. Дорога под нами (и под нас!) не стелется, дорога воды вывозит нас. Это, правда, относится только к сплавному водным путям (вниз по течению). Взводные пути (вверх по течению), конечно, преодолевают движение воды, которая ложится под водный транспорт. Но тут возникает другой очень важный зрительный эффект. Поднимаясь вверх по течению, мы режем воду, и нос нашей лодки (корабля) буквально разрезает воду на две части, которые, бурля, расходятся по обе стороны.

Посадка водного судна – самое обычное дело, но это понятие совершенно неприменимо к сухопутному транспортному средству. При путешествии по суше любое транспортное средство твердо стоит на ней и не проваливается в нее. Если наше транспортное средство погрузилось в сушу, это плохо: это значит, что мы завязли в грязи и без посторонней помощи нам не выбраться. Если наше транспортное средство не погрузилось в воду, это так же (хотя и по-другому) плохо: без необходимого погружения корабль не поплывет.

Таковы условия путей, которые продиктованы человеку природными стихиями и откорректировать которые он, конечно, может с помощью технических средств, но стереотипные представления, сложившиеся в течение тысячелетий, от этого не изменятся.

3. Стихии Верхневолжья

Итак, вода – это исходная дорога для человека. И не случайно первые путешествия совершались, где возможно, по воде. По суше путешествовали там, где не было воды. Первые тверские путешественники выбирали воду. Так посол Священной Рим-

ской империи С. Герберштейн по пути из Новгорода в Москву (1517) пересек по воде почти весь Тверской край, следуя от Выдропужска до Твери по Тверце и далее до Городни по Волге. Датский дипломат Я. Ульфельдт (1578), путешествовавший посуху, упомянул Тверцу как общепринятый путь от Вышнего Волочка до Твери и Мсту как водную дорогу от Вышнего Волочка до Новгорода [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 24–25, 27]. Второй из названных маршрутов выбрало и посольство А. Гюльденстиерне, сопровождавшее жениха Ксении Годуновой датского герцога Ганса (1602): герцог со свитой отправился из Вышнего Волочка по реке Цне и, пройдя озеро Мстино, приплыл по Мсте в Новгород. Посол антиохийского патриаршего дома Павел Алеппский также отмечал востребованность этого пути (1655). Тверцой как водной дорогой от Торжка до Твери воспользовался голландский путешественник Я. Стрейс (1668). Удобство водного сообщения на лодках и баркасах по рекам Тверце и Волге до Твери, Нижнего Новгорода, Астрахани подчеркивал шведский военный инженер Э. Пальмквист (1674). Реки служили удобной дорогой не только в теплое время года, но и зимой, и ранней весной: в марте 1636 года, когда Волга еще была покрыта толстым слоем льда, а сухопутные дороги размыла распутица, А. Олений преодолел по реке путь от Твери до Городни [Соколов, 2002, с. 146, 154, 157, 165, 170].

В допетровской Руси, в XVI–XVII веках, путешественники-дипломаты выбирали речные маршруты вынужденно, по необходимости, поскольку комфортных сухопутных дорог, альтернативных водным, в то время не существовало. Но в XVIII веке, после организации искусственных водных систем, отношение путешественников к поездкам по воде существенно изменилось. Отныне водные маршруты стали неотъемлемой частью не рядовых, обычных поездок, а представительских вояжей, более того – их обязательным компонентом и центральным эпизодом. Так в 1785 году Екатерина II в сопровождении огромной свиты приняла путешествие в Вышний Волочек с целью показать ино-

странным посланникам процесс обновления Вышневолоцкой водной системы, причем в маршрут входило намерение провести караван судов через довольно опасные Мстинские и Боровицкие пороги, продемонстрировав таким образом доступность этих путей для пассажирских перевозок. Об этом пишет французский дипломат Л.-Ф. Сегюр; эти же эпизоды вояжа придворный художник М.М. Иванов запечатлел в акварелях «Вышний Волочек» и «Императорская флотилия на реке Мсте» (1785) [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 107–112]. Представительское путешествие по Вышневолоцкой водной системе до Петербурга, которое предприняли в 1810 году великая княгиня Екатерина Павловна и ее супруг принц Георг Ольденбургский, было, разумеется, менее масштабным. Следует иметь в виду, что принц Георг Ольденбургский был губернатором тверским, новгородским и ярославским и в этом качестве курировал водные сообщения в стране. Однако и это путешествие было обставлено с величайшей пышностью и торжественностью: если Екатерина II ознаменовала свою поездку закладкой Борисоглебского собора в Торжке, то тверские правители заложили Богоявленский собор в самом центре Вышневолоцкой водной системы – в Вышнем Волочке [Тверь в записках путешественников, 2013, с. 97–98].

Между тем частные путешественники к концу XVIII века отчетливо осознали преимущества сухопутного передвижения: оно было комфортнее и быстрее. Можно сказать, что со второй половины XVIII века начинает формироваться эпоха сухопутных путешествий, в которых вода, теснимая сушей, отходит на второй план. Эта эпоха торжествует до середины XIX века, и в рамках ее создаются наиболее интересные травелоги этого времени. Даже Н.Я. Озерецковский, первым (в 1814 г.) описавший истоки Волги и озеро Селигер, не пересекал озера на водном транспорте. Во всяком случае, в его путешествии нет описания берегов со стороны воды. Озерецковский видит другой берег с этого берега, но никогда – не с пространства воды [Тверь в записках путешественников, 2013, с. 23–65]. Можно было бы сказать, что Озе-

рецковский совершил свое водное путешествие по суше. Чуть раньше, в 1811 году, Ф.Н. Глинка сделал попытку совершить водное путешествие из Ржева в Тверь. Но на последнем перегоне путника застала суровая непогода, и он также выбрал более комфортный путь по суше [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 171–240].

Первым, кто в новое время совершил и завершил свое путешествие по воде, был А.М. Петропавловский. Вместе со своим престарелым отцом-священником, вместе с сестрой и ее семьей (муж-чиновник и ребенок) этот небогатый петербургский чиновник покупает в Твери лодку и нанимает гребцов. И таким образом в 1852 году эти пятеро пассажиров и два гребца совершают водное путешествие до Калязина [Тверь в записках путешественников, 2013, с. 303–400]. Такие путешествия были, как известно, очень дешевы, и поэтому недостаточные люди всегда выбирали водные дороги [Милюгина, Строганов, 2013с].

Петропавловский совершил свое путешествие по старинке. Но он будто предвосхитил тот водный бум, который начался в России во второй половине 1850-х годов. Изучение водных ресурсов стало предметом специальных научных экспедиций, организованных морским ведомством страны. На Верхнюю Волгу с этим заданием в 1856 году приехал А.Н. Островский [Тверь в записках путешественников, 2012, с. 350–415]. И тогда же стали возникать акционерные общества по организации пароходного транспорта на реках России, в первую очередь – на Волге [Тверь в записках путешественников, 2014, с. 106–149].

С середины XIX века сухопутные и водные путешествия в известной мере уравниваются друг друга, хотя функции их, как можно судить по травелогам, различаются. В сухопутных путешествиях на передний план выдвигается обычно познавательная функция, а водные путешествия совершаются преимущественно с рекреационными целями [Тверь в записках путешественников, 2014]. Путешественник по суше стремится узнать и показать новое, путешественник по воде стремится насладиться красотами

и отдохнуть [Милюгина, Строганов, 2013b]. В известной мере это разделение функций осталось за водными и сухопутными путешествиями и до настоящего времени. Стоит вспомнить, с одной стороны, морские и речные круизы на паромах и теплоходах, а с другой – автобусные туры, чтобы признать такое разделение релевантным для нашего времени. Суша и вода по-прежнему остаются важнейшими для человека стихиями, но функции каждой из них в жизни человека очень различны.

Литература

Дискурс травелога: сб. статей / авт.-сост. О.Ф. Русакова, В.М. Русаков. Екатеринбург: ИМС – Издательский дом «Дискурс-Пи», 2008.

Милюгина Е.Г. «Живых и мертвых вод исток»: акватическая мифология в русской поэзии конца XVIII – начала XIX в. // Мир романтизма: сб. ст. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2004. Т. 9 (33). С. 42–58.

Милюгина Е.Г. Русская река. М.: Белый город; Редакция «Воскресный день», 2012.

Милюгина Е.Г., Строганов, М.В. Динамический текст русской культуры: пространство в зеркале путешествий // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. 2013. № 3. С. 70–77.

Милюгина Е.Г., Строганов, М.В. Принципы изучения «тверских» травелогов XVI–XX веков // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. 2011. Вып. 3. С. 37–43.

Милюгина Е.Г., Строганов, М.В. Русская культура в зеркале путешествий: монография. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2013. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rfh.ru/downloads/Books/134493002.pdf> (дата обращения: 12.12.2013).

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Частное путешествие как документальный жанр: тверской материал // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Филология. 2013. № 6. С. 39–45.

Соколов И.И. Тверской край в XVI–XVII веках по описаниям иностранцев / подг. текст и коммент. П.Д. Малыгин, А.Ю. Сорочан, М.В. Строганов // Литература Тверского края в контексте древней культуры: сб. ст. и публ. / отв. ред. М.В. Строганов. Тверь: Золотая буква, 2002. С. 118–179.

Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века: учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Филология». Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2001.

Строганов М.В. Человек в художественном мире Пушкина: учеб. пособие. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1990.

Тверь в записках путешественников XVI–XIX веков / изд. подг. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строгановым. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2012.

Тверь в записках путешественников. Вып. 2: записки XVIII–XIX веков / изд. подг. Е.Г. Милюгиной, М.В. Строгановым. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2013.

Тверь в записках путешественников. Вып. 3: Водные пути Верхней Волги. Вторая половина XIX – начало XX века / изд. подг. Е. Г. Милюгиной, М. В. Строгановым. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2014.

Труды Русской антропологической школы. Вып. 13. М.: Изд-во РГГУ, 2013.

Феноменология, история и антропология путешествия: тезисы международной Гумбольдтовской конференции (СПбГУ, 16–19 апреля 2013 г.) / сост., ред. М. Кобельт-Гробах, О. Кулишкина, Л. Полубояринова. СПб.: «Свое издательство», 2013.

E.G. Milyugina, M.V. Stroganov

Tver State University

TRAVELLING AND ITS CONDITIONALITY BY NATURE

Abstract. Modern studies of the travel phenomenon as a rule differ in their anthropological orientations. In this case nature per se (natural elements) seems to be beyond the researcher's attention. This paper proposes a fundamentally different approach to the study of travel and travelogue. The authors aim to explore the conditionality of traveling by nature. Talking about traveling it is necessary to consider how natural resources can determine the goals, objectives, historical (social and everyday) specifics, viewpoint of the traveler. The person lives on land, land is the natural living environment for the person, so all trips can be measured by land criteria. The features of the other trips are not assumed, and traveling over the land themselves get into the different scale of values. The paper analyzes two elements: water and land as two types of human environment and as a space of travelling. Materials of

the analysis include the notes of travelers who visited Tver region in the XVI-XIX centuries.

Keywords: traveling, travelogue, natural elements as living environment, natural elements as space of travelling, Upper Volga region

Information about the author. Milyugina Elena Georgievna, Doctor of Philology, Associate professor, Professor of the Department of Russian language, Tver State University (TSU, Zhelyabova str. 33, Tver, Russia, Tel. 8(4822)426380. E-mail: elena.milyugina@rambler.ru); Stroganov Mikhail Viktorovich, Doctor of Philology, Professor, Director of Tver Centre for regional studies and ethnography (TSU, Zhelyabova str. 33, Tver, Russia, Tel. 8(4822)358204. E-mail: mistro@rambler.ru).

М.К. Чуркин

Омский государственный педагогический университет

**«ВЫНУЖДЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»:
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В СИБИРЬ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ**

Аннотация. Аграрная колонизация Сибири и процесс инкорпорации региона в общеимперский конструкт неразрывными нитями были связаны с осмыслением причин и внутренней логики действий главного субъекта переселенческого движения – крестьянина. Общественно-политический дискурс пореформенного периода, репрезентировавший переселенческую тему на страницах «толстых» журналов официального и либерально-демократического направлений, а также в специальных трудах, посвящённых аграрному вопросу в России, позволяет составить представление о содержательных аспектах дискурса, сближении и расхождении в оценке мотивов миграционных настроений, а также ожиданий от результатов переселений в образованной части общества и властных структурах. В рамках исследования предпринята попытка через обращение к общественно-политическому дискурсу, в который были включены представители властных структур, а также широких слоёв общества различной идеологической направленности, выявить базовые оценочные суждения, относящиеся к сложной и многофакторной палитре переселенческого движения в Сибирь во второй половине XIX – начале XX веков, что до известной степени позволило преодолеть несоответствия и пустоты, возникшие в историографическом масштабе. Обращение к общественно-политическому дискурсу переселений во второй половине XIX – начале XX веков позволило вскрыть не только фактическую основу происходящих событий, но и выявить общественно-политические настроения и атмосферу, складывавшуюся вокруг обсуждения переселенческой проблемы и её коннотаций. Работа с текстами, посвящёнными вопросам миграционной активности населения, способствовала частичной демифологизации представлений о переселенческом движении как экономической «панацеи» и, од-

новременно, героической странице в истории русского крестьянства пореформенного периода.

Ключевые слова: общественно-политический дискурс, переселения, миграционная мобильность, аграрная колонизация.

Сведения об авторе. Чуркин Михаил Константинович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического университета (г. Омск, ул. Партизанская 4-а, ОмГПУ. Тел. 8-913-967-12-88; E-mail: proffchurkin@yandex.ru).

Тема переселенческого движения в Сибирь во второй половине XIX – начале XX веков, являясь неотъемлемым сюжетом отечественной историографии, в контексте осмысления причин, результата и опыта российского колонизационного процесса, представляется сегодня всесторонне освоенной. В настоящий момент накоплен и обработан богатейший материал, относящийся к области выявления эпицентров переселенческого движения и детерминирующих факторов миграционной мобильности крестьянства Европейской России, даны детальные характеристики природно-географическим, экономико-демографическим и социально-психологическим условиям формирования и эскалации миграционных побуждений в крестьянской среде, выявлены и зафиксированы стратегии адаптивного поведения переселенцев в обстоятельствах водворения и обустройства в колонизируемом регионе.

Вместе с тем, жёсткие рамки позитивистского подхода в оценке переселенческого процесса, сформировавшегося ещё в середине XIX века и «триумфально» прошедшего через век XX, привели к резкому сужению рефлексивного спектра переселенческой проблематики. Развернувшаяся на рубеже веков на страницах общественно-политических журналов и научно-публицистической литературы полемика по вопросам современного состояния аграрного производства и крестьянских переселений, носила резко политизированный характер, а выводы авторов, за редким исключением, конструировались с ориентацией на сиюминутность, социально-политическую актуальность

ситуации, вне историографического режима оценки сложившейся ситуации. В собственно исторической науке, базировавшейся на позитивистских основаниях, проблемы аграрного характера и народных миграций освещались по преимуществу сквозь призму количественных показателей, а также роли государственных структур в урегулировании «аграрного кризиса», организации переселенческого движения [Любавский, 1996].

Совершенно естественным выглядит то, что данный подход, практически в неизменном виде «перекочевал» в исследовательские схемы советского и раннего российского периодов отечественной историографии, трансформировавшись в теорию аграрного кризиса, логично объяснявшую причины экономических катаклизмов, разразившихся в России на рубеже XIX–XX столетий со всеми коннотациями, включая интенсивные миграции сельского населения. В результате, тема аграрных миграций, уже на рубеже 80-90-х гг. XX века, представлялась специалистам в данной области исчерпанной, поскольку все вопросы (причины переселений, направление переселенческих потоков, политика правительства, экономический потенциал переселенческих хозяйств), требующие ответов в рамках эвристически-познавательной модели, были практически решены.

Кризис исторической науки, ознаменовавшийся антропологическим поворотом в гуманитаристике и обретением новых методологических подходов и научно-исследовательских практик, наглядно продемонстрировал, что за «кадром» научно-исследовательского интереса специалистов остался достаточно обширный пласт неосвоенных проблем, требующих немедленного разрешения. В частности, с новыми методологическими реалиями абсолютно диссонировал тезис, утвердившийся в эпоху позитивистского и, впоследствии, марксистского влияния об имманентно присущей русскому народу (крестьянству) миграционной мобильности и потребности к постоянным переселениям.

Второй «лакуной» следует назвать классически индифферентное отношение историков позитивистского лагеря к тем из-

менениям, которые произошли в сознании власти и общества империи в первые десятилетия после отмены крепостных отношений. Формальное установление сословного равенства вкупе с постепенным распадом модели патерналистской государственности во многом искусственно «загоняли» крестьян в состояние социальной неопределённости, реакцией на которую становился отрыв от почвы, «насиженных» мест и рост миграционных настроений в крестьянской среде, что не соответствовало сложившимся нормам традиционного уклада, с его характерологическими признаками – прочной территориальной и сословной идентичностью.

К разряду третьей группы проблем следует отнести игнорирование исследователями широкого этноконфессионального представительства в аграрной колонизации Сибири. Переселенческое движение в позитивистской историографии позиционировалось главным образом как русское. Между тем, ряд современных исследований наглядно демонстрирует, что представления о Сибири как «земле обетованной» родились первоначально в старообрядческой среде, будучи тесно соединёнными с идеями бегства и странничества. В результате, сложилась устойчивая модель конфессиональной миграции, в основании которой лежали концепты «исход – путь – обретение» [Дутчак, 2007, с. 24]. Идея исхода, пути и обретения, но уже места, стала доминирующей в этноконфессиональных миграциях, детерминируя формирование в Сибири локальных иноэтничных и иноконфессиональных групп, характеризующихся своеобразием региональной идентичности [Вибе, 2007; Кротт, 2010]. Та же идея, но предполагавшая обретение (сохранение) сословной идентичности, лежала в основании русского крестьянского переселенческого движения [Чуркин, 2006; Дорофеев, 2012; Нагорная, 2013]. Образ социокультурной идентичности в крестьянском сообществе, поддерживался в форме стабильных, структурировавшихся в течение длительного периода представлений о собственности, свободе и справедливости, фундаментом которых являлась крестьян-

ская «приземлённость», власть земли, стремление, во чтобы то ни стало сохранить свой земледельческий статус, реализуемый в миграционной мобильности и собственной версии присвоения пространства [Чуркин, 2013].

Наконец, вне пределов исследовательских границ, располагались темы, связанные с личностными социально-психологическими, психофизиологическими и собственно физическими характеристиками переселенческого контингента. За границами научной рефлексии оставались проблемы «моральной экономики» крестьянства, «экономики и этики выживания», «коллективного сознания», «логики принятия решений, связанных с риском», «физическим потенциалом миграционного контингента». Объективным препятствием для решения этих проблем становилось характерное для историографии обезличивание субъекта исторической деятельности, подменяемого материалами так называемой «лошадиной статистики».

Преодоление сложившегося положения вещей в осмыслении переселенческой темы стало возможным, благодаря аккомодации в канву современных исторических исследований новых методологий и научно исследовательских практик.

Так, обращение к практикам научно-исследовательского направления «новая история империи» [Миллер, 2001; Ремнёв, 2004] позволяет через имперский «локус» увидеть в переселениях не только механический аспект перемещения народонаселения в параметрах колонизационного поля, но и понять логику имперской политики на окраинах в условиях разрушения патерналистских структур и доминаций, выявить отношения центральных и региональных органов власти к проблеме крестьянских переселений. Подходы к аграрному вопросу, определяемые в масштабах практики рефлексивного крестьяноведения [Понятие крестьянства, 1992], открывают широкие перспективы междисциплинарности в изучении аграрного сектора экономики России, признания крестьянства в качестве особого социального явления, достойного отдельных теоретических размышлений.

В рамках статьи автор предполагает через обращение к общественно-политическому дискурсу, в который были включены представители властных структур, а также широких слоёв общества различной идеологической направленности, выявить базовые оценочные суждения, относящиеся к сложной и многофакторной палитре переселенческого движения в Сибирь во второй половине XIX – начале XX веков, что позволит до известной степени преодолеть несоответствия и пустоты, возникшие в историографическом масштабе. Ключевым моментом исследования является фигура переселенца как «вынужденного» путешественника. При этом акцент будет сделан именно на лексеме «вынужденный», тогда как понятие путешественник в данном конкретном случае представляется всего лишь метафорой. Во всяком случае, носит вспомогательный характер.

Проблема формирования миграционной парадигмы и миграционной мобильности как важная составляющая часть общественно-политического дискурса переселенческого вопроса впервые нашла отражения в трудах классиков отечественной историографии. В.О. Ключевский, определяя колонизацию в качестве основного факта русской истории, констатировал, что «... по условиям своей исторической жизни и географической обстановки оно (население – *М. Ч.*) распространялось по равнине не постепенно путём нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелётами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые» [Ключевский, 1987, с. 49–50]. Исходя из впечатлений о русской равнине, историк резюмировал: «Крестьянские посёлки по Волге и во многих других местах Европейской России ... производят, особенно на путешественника с Запада, впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не нынче-завтра собирающихся бросить свои едва насиженные места, чтобы передвинуться на новые. В этом сказались продолжительная переселенческая бродячьсть прежних времён и хронические пожары...» [Ключевский, 1987, с. 87]. Таким образом, в работах В.О. Ключевского впервые произошла фиксация

идеи о бродяжнических наклонностях русского народа, получившая окончательное оформление в переселенческом дискурсе второй половины XIX – начала XX веков. Симптоматично, что вопрос об «инстинкте бродяжничества», как основополагающем признаке, определяющем крестьянскую переселенческую активность, став предметом общественно-политического дискурса, осваивался в тесной связи с обсуждением темы русского мифа о «Беловодье», значимость и функциональность которой поддерживалась центральной властью и региональными администрациями в рапортах, отчётах, донесениях с определённой целью: сохранить контроль над переселенческим движением, миграционной активностью населения в условиях отсутствия чёткой стратегии и тактики колонизационного процесса. Исследователь переселений в Сибирь крестьян Рязанской губернии В.Н. Григорьев, со ссылкой на мнение крестьян, отмечал какой-то «переселенческий зуд», свойственное русскому крестьянину «непоседство» [Григорьев, 1884, с. 40–41]. Воронежский губернатор, в ответ на анкету МВД о причинах переселений, указывал на «какое-то общее стремление к передвижению» среди крестьян вверенной ему губернии [ГАВО, л. 1–2]. Насколько распространённой становилась «бродяжническая» тональность во властном дискурсе подтверждается известным высказыванием министра внутренних дел В.К. Плеве: «Обширная и стройная система законодательства о переселении, значительные денежные ассигнования и напряжённый, порой до самоотвержения, труд местных деятелей не приносят, по-видимому, всех результатов, каких можно было бы ожидать. Вековое народное движение упорно идёт своим путём и, как вода, переполняет одни местности и обходит другие» [Цит. по: Островский, 1991, с.127].

Однако, по мере эскалации переселенческого движения, наблюдается процесс утилитаризации и десакрализации мифа о «Беловодье», что моментально находит отражение в дискурсе. Е.Ф. Шмурло, в своей статье на страницах Известий ЗСОИРГО, очень чётко проиллюстрировал наметившийся перелом в оценке

мотивации и логики поступков переселенцев: «Через всё XVIII столетие шло неустанное искание этого фантастического Эльдорадо, где реки текут мёдом, где не собирают податей и не существует Никоновской церкви» [Шмурло, 1899, с. 25]. При этом население не отдавало себе ясного отчёта в том, где находится такая страна. «Беловодье» первоначально искали в северо-западном Алтае, впоследствии в Бухтарминских горах и, наконец, в южных неприступных хребтах Алтая и в Китае. Территориальное смещение «Беловодья» было естественным, так как, «надеясь наменную область идеальными качествами, русский колонизатор, попадая в неё, убеждался, что и тут жизнь имеет свою обратную сторону, что и тут социальные отношения выступают во всей своей жестокости и неумолимой требовательности» [Шмурло, 1899, с. 26]. Более рельефным этот дискурсивный поворот становится на страницах отечественных либеральных общественно-политических журналов 1880-х – 1890-х годов. Так, Н. Языков, анализируя причины выселений крестьян из черноземных губерний России, отмечал, что переселенцев новые земли «пленяли не только привольем, простором и степной безграничностью, но и возможностью пахать наволоком, есть пшеничный хлеб, мясо и молоко» [Языков, 1876, с. 20–21]. Б. Ленский писал, что «в наших переселениях выражаются не кочевые инстинкты, а наоборот, искание прочной земледельческой оседлости ... Привыкшие к земледелию крестьяне, в условиях расстройтва сельского хозяйства, постепенно забрасывали хозяйство на родине и, имея твёрдое пристрастие к земледельческому труду, рано или поздно принимали решение о переселении» [Ленский, 1881, с. 42, 52]. В. Португалов, констатируя консервативность сознания крестьян и их приверженность традиции, фиксировал: «Если русскому человеку вздумается прогуляться по родной стране, то он начинает скучать на третьей же версте, и только и мечтает о том, как бы поскорее добраться до своей печки...» [Португалов, 1881, с. 318].

Таким образом, происходит свёртывание концепции переселенческого движения как варианта реализации крестьянством

«инстинкта бродяжничества», в результате чего на первый план в общественно-политическом дискурсе выходит проблема миграций «от нужды», в ракурсе которой всё отчётливее проявляется фигура «вынужденного» путешественника – русского земледельца.

Определяющую роль в формировании принципиально нового взгляда на переселения сыграли издания, специализирующиеся на обсуждении экономических аспектов жизни России в природно-климатическом, аграрно-экологическом и медико-демографическом ракурсе. В поле зрения авторов попадают прежде всего вопросы, связанные со структурированием аграрного кризиса в районах, совпадавших с территориями массового переселенческого исхода крестьянства, а также проблемы влияния кризисных обстоятельств на рост миграционной активности населения.

В аграрно-экологическом и природно-климатическом отношении фокус дискурса составляют следующие формулы: «... теперь здесь самая интенсивная в известном смысле культура, т. е. нет ни клочка нераспаханного. Всюду и везде поля с всевозможными красными и серыми хлебами» [Советов, 1876, с. 30]; «ещё 30 лет тому назад (в 70-е гг. XIX века) Курская губерния превратилась в одно сплошное поле. Всё, что возможно было распахать – распахано, леса сведены, уничтожены выгоны. Средняя цифра распаханных земель в губернии составляла в 1886 г. 79 % всего количества земли. Остатки лесов сохранились только в крупных имениях: в мелких и крестьянских владениях леса почти уничтожены» [Цит. по: Иванов, 1998, с. 26]; «урожаи за последние годы понизились, степей и лугов стало меньше, леса подвергаются истреблениям под влиянием непомерных запашек, погода изменилась к худшему: ветры стали дуть чаще и порывистее, дожди выпадают внезапно, участились сухие туманы, реки обмелели и засорились» [Цит. по: Цветков, 1957, с. 133]; «нельзя не обратить внимания на значительные изменения в последнее время климата средней чернозёмной полосы. Постоянные ветры, иссушающие почву, скудность дождя, суровая зима, резкие перехо-

ды от морозов к жарам вредно влияют на земледелие» [Цветков, 1957, с. 133]. В полной мере данные формулировки подкрепляются и официальными сведениями. Так, в ответ на запрос МВД о причинах «переселенческой лихорадки» в Воронежской губернии в 1880–1882 гг. местный губернатор, наряду с традиционными сообщениями о недостатке земельных наделов у крестьян, сетовал на недоброкачество сельскохозяйственных угодий, а также на дефицит выгонов и пастбищных мест. В Тамбовской губернии практически все крестьянские прошения о переселении в Сибирь содержали жалобы крестьян на отсутствие выгонов и пастбищ, недостаток кормов для крупного скота. Единодушные сетования земледельцев различных губерний чернозёмной полосы Европейской России по поводу сложившихся местных особенностей края позволили земским исследователям сделать вывод о том, что «...если земля стала хуже и климат неблагоприятнее, то ясно, что причиной тех и других ухудшений стали чрезмерные запашки, крайнее развитие зернового хозяйства» [Лохтин, 1901, с. 5].

В медико-демографическом плане, в пореформенный период, общественно-политические журналы медицинского профиля, включившись в дискурс, активно отстаивают позицию, сообразно с которой русский крестьянин – потенциальный переселенец, вынужденно втянутый в процесс миграций, не соответствовал необходимым для совершения этого акта физическим условиям, что материализовывалось в дефиците и низком качестве пищи и, как следствие, в слабом здоровье. Общий вывод, сделанный исследователями на основании статистических показателей по черноземным губерниям, материалов осмотра новобранцев с 1874 г. как наиболее трудоспособной части общества, красноречиво озвучен земским врачом М.М. Белоглазовым: «...если бы когда-нибудь состоялась выставка типичных по губернии России больных, то экспонат Тамбовской губернии имел бы такой облик: трясущийся в лихорадочном ознобе, изъеденный сифилитическими рубцами, глухонемой, слепой, слабоумный с искривленным позвоночником субъект» [Белоглазов, 1905, с. 1518].

Косвенно, к дискурсу о «вынужденных» путешественниках, примыкают лексические конструкции, содержащие описания самого пути, как в Сибирь за поиском лучшей доли, так и в обратном направлении, в случае крушения надежд. По утверждению И.А. Гурвича «путь переселенца далеко не был усыпан розами» [Гурвич, 1888, с. 3]. О трудностях и превратностях дороги из российских губерний: «Наемные подводчики тянули дорогу как можно дольше, почти на каждой станции спорили, требовали денег, а потом, когда таковые все до копейки были выбраны, готовы были совсем отказаться, вследствие чего не раз приходилось обращаться к содействию властей, чтобы силой заставить ямщиков исполнить условия. Чтобы прокормиться в таком путешествии, многим пришлось распродать белье и верхнюю одежду» [Материалы для изучения, 1897, с. 498]. О неустойчивости «путешественников» на сибирском этапе «путешествия»: «В Томске барачные здания, ещё гораздо хуже, чем в Тюмени; а так как они стоят в очень болотистой местности ... дети сильно хворают и многие умирают. Трудно учесть, как велика смертность в пути; что она велика, доказывается переселенческой партией, которая ехала в 1889 г. на барже Функа: дорогой умерло более 30 детей» [От учредителей..., 1891, с. 56]. О результатах переселения в местах нового водворения: «находимся в крайне безвыходном положении» [ГАТО, л. 153]; «живёт он (переселенец – М. Ч.) в землянке, ест в проголодь..., попадает в руки кулаку, или идёт обратно на родину» [От учредителей, 1891, с. 56].

Насколько мощным был эмоциональный шок, пережитый обратными переселенцами, свидетельствуют и широко представленные в публицистике второй половины XIX – начала XX веков описания обратных переселенческих партий: «Целые обозы переселенцев возвращаются обратно в Россию по почтовому тракту. Вozy, нагруженные целыми десятками оборванных голодных ребят, озлобленные, угрюмые лица стариков, нищета, отчаяние и беспомощность неудачников» [Мысли и наблюдения, 1909, с. 21]. По свидетельству В.Н. Назарьева, «... все обратные

переселенцы извелись до неузнаваемости от жестокого климата, мошки, вредной для питья воды, плохих урожаев» [Цит. по: Тернер, 1897, с. 69].

Оценивая результаты «вынужденного» путешествия, публицисты искали ответы на вопрос о причинах достижения успехов или, напротив, неудач на переселенческом поприще, в личных качествах мигрантов, формулируя их по принципу позитивные / негативные. В качестве позитивного образца фиксировался: «Серьёзный, умный, дельный мужик..., который знает на память все железнодорожные станции и переселенческие участки» [Швецов, 1891, с. 31]. Негативный образец ассоциировался с крестьянином-летуном: «им свойственно с лёгкостью бросать насиженное место и безо всяких причин менять его на новое, часто гораздо худшее» [Швецов, 1891, с. 324].

Значительное место в переселенческом дискурсе занимала тема сохранения крестьянством сословной идентичности в условиях кризиса и деформации патерналистской модели российской государственности. В данной плоскости дискурс выстраивался вокруг комплекса проблем, как то: консервативности жизненного и хозяйственного уклада крестьянства Европейской России, слабо поддающегося или неподдающегося вовсе модернизационным коррекциям; поиска паллиативных выходов из критической ситуации непосредственно в крестьянской среде; неспособности центральных и региональных органов власти «перехватить» патерналистские функции в отношении крестьянства у отстранённых от своих обязанностей помещиков-землевладельцев.

На рубеже XIX–XX веков как составной элемент переселенческого дискурса набирает оборот обсуждение проблемы интенсификации крестьянского труда и агрикультурной реконструкции хозяйства, решение которой воспринималось образованным обществом и властью как способ предотвращения территориальной подвижности населения, что в полной мере подтверждалось высказываниями экономистов, социологов и статистиков 1880-х–1890-х годов. Специалисты в области аграр-

ных вопросов, анализируя состояние сельского хозяйства России в сложившихся условиях экономического кризиса, утверждали, что для крестьянства остаётся только две возможности выхода из этого затруднительного положения: либо выселяться на новые земли, либо устроить своё полевое хозяйство таким образом, чтобы обрабатываемый земельный участок давал значительно более хлеба и дохода, чем в настоящий момент. Большинство авторов сходилось во мнении, что ни переселение, ни вовлечение в земельный оборот новых угодий, ни эскалация арендных отношений не способны решить тех проблем, которыми характеризовалось сельское хозяйство России пореформенной эпохи. С точки зрения таких исследователей, как: А.А. Кауфман, Ф. Бар, А.Е. Воскресенский, А.С. Ермолов, для увеличения продуктивности сельского хозяйства требовалась его серьёзная агротехнологическая реконструкция. Однако вскоре в данном сегменте дискурса начинают отчётливо звучать нотки разочарования и понимания, что после отмены крепостного права попытки сельской интеллигенции рационализировать крестьянский труд, используя новые аграрные технологии или передовые орудия труда, непосредственные землепользователи воспринимали как один из рецидивов системы крепостных отношений. А.А. Фет, организовавший в Мценском уезде Орловской губернии капиталистическое хозяйство, писал, что «новые машины не очень нравятся нашему крестьянину... Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Машина так весело и исправно молотила, что Г. приходил ежедневно сам на молотьбу. Через три дня рабочие стали требовать расчёта. Г. стал добиваться причины неудовольствия. Наконец один из рабочих проговорился: “Да что, батюшка, немоготу жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто ей будь, хоть бы запнулась”» [Фет, 2001, с. 150]. В одном из отчётов сообщалось: «Крестьяне ропщут на непроизводительную трату их денег (на содержание агрономов, пчеловодов и т. д.), лекций их почти не посещают и над советами смеются ... роль показательных хозяйств сводится к показательному полю

на них ... Владелец хутора, связанный условием, смотрит на введение всевозможных улучшений в своём хозяйстве, на советы агронома, как на обузу, с которой он ещё мирится до получения всех субсидий от казны, а затем, в большинстве случаев, начинает игнорировать указания агронома» [Цит. по: Иванов, 1999, с. 58]. Вниманием журнального дискурса также не были обойдены попытки обучения крестьян передовому опыту за границей и негативному восприятию такового в крестьянской среде. Со слов крестьянина Курской губернии, прибывшего в свою деревню из моравской командировки, было записано: «Мое появление в деревне с запасом сельскохозяйственных знаний не вызвало особого интереса среди однообщественников. Заходили соседи просто поведать “бурлака”. Были и такие, которые спрашивали о делах, но большинство любопытствовало о том, сколько я заработал денег. Услышав же ответ, что был я там не на заработках, а в учении, говорили, что и ездить не стоило» [Письма крестьян, 1915, с. 505].

Столь же напряжённо и в тесном «сцеплении» с переселенческой темой обсуждается и вопрос об эффективности крестьянской аренды, а также промысловой деятельности. В данном контексте, дискурс совершенно отчётливо «замаркирован» понятием «власть земли», определяющим в крепостную эпоху образ жизни, стратегии поведения, повседневную хозяйственную логику крестьянского бытия. По наблюдению А.С. Ермолова, «явление, хорошо известное всем хозяйствам средней России – почти полное отсутствие всяких ремесленников, специалистов, мастеров. Все хотят жить только от земледелия» [Ермолов, 1906, с. 26–27]. В этой связи можно считать справедливым высказывание В.П. Воронцова, прогнозирувавшего логику поведения той части крестьянства, которая волею обстоятельств оказалась вне земледельческого производства: «прежде чем тысячи крестьян обратятся от земледелия к другим занятиям, они употребят все усилия, чтобы остаться при земле. Результатом будет борьба крестьян за землю в пределах, допускаемых аграрным устройством страны» [Воронцов, 1911, с. 245].

Одним из непосредственных результатов, происходящих в русской деревне процессов, явилось резкое сокращение влияния государственных учреждений и ведомств на крестьянский социум, которое, как это парадоксально звучит, частично восставлялось лишь в неурожайные и голодные годы, когда государство принимало на себя всю тяжесть (финансовую, техническую) амортизации катастрофических последствий для деревни. Этот «разлом» наиболее заметным оказался в сфере организации переселенческого дела, издании бесчисленных законодательных актов и циркуляров разрешающего и запретительного характера, безрезультатной борьбы с практикой самовольных переселений. Властный дискурс вокруг переселенческого вопроса предметно демонстрирует, как произошло окончательное оформление «концепта» «вынужденного» путешественника. В организации переселений во второй половине XIX – начале XX веков ключевым становится тезис, согласно которому «правительство, затрудняя переселения, его не остановит, а увеличит только бедствия переселенцев; поощряя же его, оно рискует утратить всякую возможность руководить им» [Колонизация Сибири, 1900, с. 21]. Амбивалентность подхода власти к решению переселенческой проблемы, дефицит справочной информации и отсутствие практики работы на селе постоянно стимулировало нелегитимное переселение и приводило к росту числа «вынужденных» путешественников. В делопроизводственном сегменте властного дискурса регулярно встречаются следующие прецеденты: «Крестьянин Ефим Федосеев подал прошение о перечислении в Томскую губернию. Прошение рассматривалось долго, в результате разрешение пришло только тогда, когда крестьянина на месте уже не было» [ГАТО, л. 299]. По информации томского губернского управления, «крестьянин Курской губернии Атошкин ходатайствовал о переселении, но к моменту получения разрешения отправляться в Сибирь отказался» [ГАВО, л. 16]. Воронежское по крестьянским делам присутствие в отчёте МВД о перечислении крестьян в другие губернии докладывало по частному эпизоду:

«Крестьяне Острогожского уезда слободы Костомаровской Федор Буханцев, Андрей Литвинов, Евдоким Роменский с семьями обратились в январе с прошением о переселении в Семиреченскую область. Разрешения не получили (апрель, май). Хлеб не сеяли, продолжая ждать разрешения. В конечном итоге сдали надел однообщественникам и уехали самовольно» [ГАВО, л. 26]. Отсутствие достоверных источников информации, как правило, только способствовало эскалации переселенческого движения и включению в него непригодного для жизни в Сибири элемента: «В этом году под влиянием различных причин и, главным образом, слухов, циркулирующих среди сельского населения о выгодах ухода в Сибирь, шёл на переселение такой люд, который в действительности не был в состоянии переселяться, так как не имел к тому ни материальных, ни нравственных сил» [Цит. по: Родигина, 2002, с. 30].

В дискурсивном поле переселенческой проблематики второй половины XIX–XX веков представителями власти и общества активно осваивалась и рефлексировалась тема адаптации переселенцев в пёстрой этнической конфессиональной среде региона, взаимоотношений новосёлов с инородческим сегментом населения и старожилами края. Центральное место в дискурсе занимал вопрос о причинах адаптивной лабильности русского человека, его этнической толерантности и способности уживаться и мирно контактировать с представителями других этнических групп. Часть исследователей второй половины XIX – начала XX веков придерживалась мнения, в соответствии с которым причины подобной уживчивости связаны с особенностями русского национального характера и долговременным опытом совместного проживания с представителями иноэтничных групп. Для данного дискурсивного блока характерен восторженно-оптимистический тон: «Русский человек легко ориентируется в каждой новой местности, умеет приспособиться ко всякой природе, способен перенести всякий климат, и вместе с тем имеет способность уживаться со всякой народностью...» [Цит. по: Никитин, 1990,

с. 127]; «нет ни одного народа на Земном шаре, который столь добросердечно относился бы к чужеземцу, как русские мужики. Они мирно живут бок о бок с сотнями народностей, различных по расе и религии» [Цит. по: Никитин, 1990, с. 127]. В то же время, увеличение степени интенсивности переселенческого движения, перенаправление движения миграционных потоков в степные районы Сибири, рост частоты контактов формировал почву для конфликтных отношений, в условиях которых от былой толерантности не оставалось и следа, что моментально фиксировалось в дискурсе: «...переселенческая масса смотрит на вольные киргизские земли как на свою собственность, омытую кровью дедов, а потому немудрено, что новосёлы относятся к киргизам как к пасынкам» [Цит. по: Греков, 1996, с. 141–143].

Проблема взаимоотношений русских переселенцев с инородцами сибирского региона являлась важной составляющей частью имперского дискурса в аспекте ослабления патерналистской роли государства и активизацией самовольных переселений. Представители центральных и региональных властей неоднократно выражали озабоченность «выпадением» из государственной юрисдикции и влияния значительной массы русского населения, что приводило к утрате ими национальных культурных ориентиров: «... русские переселенцы усвоили себе все их (якутов, камчадалов – М.Ч.) привычки и образ жизни, а потомки наших первых поселенцев ... совершенно почти даже утратили тип русский» [Цит. по: Сибирь в составе Российской империи, 2007, с. 29].

Характерно, что отрыв от привычной социальной среды, во многом экстраординарные условия, сопровождавшие акт переселения, с присущими ему признаками критической ситуации, полностью нивелировали культуртрегерскую роль российских переселенцев и среди русского старожильческого населения колонизируемого региона. В общественно-политическом дискурсе интенции разграничения по линии русский-старожил и русский-переселенец актуализируются в пореформенную эпоху,

отмеченную интенсивными колонизационными сдвигами. В периодической печати, начиная с 1870-х гг. идёт активное лоббирование представителями сибирской либеральной интеллигенции (Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, С.С. Шашков и др.) тезиса о формировании в колонизируемом регионе человека особого «европейско-сибирского или великорусско-инородческого» типа. Вводится в научный оборот понятие «сибирский характер» [Головачёв, 1905]. В подобном ключе происходит фиксация образа «другого» русского в Сибири: «В окружении девственной природы не могло не преобладать хищническое присвоение её ресурсов, не требовалось интеллекта, теоретической подготовки, специальных знаний. Больше всего ценилась грубая сила. Это приводило к возрождению биосоциальных законов и недооценке человеческой жизни»; «русский крестьянин явился на Восток без всяких знаний, без могущественных научных и технических средств, и сил для борьбы с природою... Положив основание повсюду будущей колонизации, он выполнил большую часть самой трудной работы и совершил половину исторической задачи. Едва ли можно отказать ему в героизме, но трудно также и не понять, что подобная борьба не отразилась на утрате многих высших, культурных свойств и не сделала это население более грубым и отсталым» [Ядринцев, 2003, с. 100–101]; «Ум... сибиряка гораздо менее развит и гибок, чем у какого-нибудь нижегородца или ярославца, зато он гораздо более преобладает над чувством... Холодно-рассудочная, практическая расчётливость сибиряков и преобладающая склонность к материалистическому взгляду на вещи проявляется и в языке... Сибиряки забыли не только вынесенную из России, но и собственную историю; войны, государственная жизнь не возбуждали здесь патриотизма... Заметна и утрата поэтической мечтательности вообще» [Ядринцев, 2003, с. 102]; «Стоит только взглянуть на сытую, коренастую фигуру сибиряка и на его самоуверенный вид, чтобы убедиться, что он не был ни под каким гнётом, не испытывал нужды и чувствует себя равноправным с остальным “привилегированным” сибир-

ским населением» [Россия. Полное географическое описание, 1907, с. 227–229].

В этой связи адаптированность сибирского старожильского сегмента к местным условиям – природно-климатическим и социокультурным – действовала на русского переселенца двояко. С одной стороны, шёл интенсивный процесс отказа от традиционных культурных ориентиров, через соприкосновение новосёлов из европейской части страны со старожилами, характерологической особенностью которых являлась религиозная индифферентность, вследствие территориальной отдалённости мест их концентрации от церковных учреждений, а также приверженности сектантству и старообрядчеству. В данном отношении, дискурсивная тональность выдержана в соответствующем стиле: «сибирякам была мало свойственна религиозность. Живя разбросанными на огромном пространстве деревнями в 15, 20, 50, 80 верстах от церкви, сибирский крестьянин поневоле бывал в ней очень редко, часто только раз в жизни, когда приходилось венчаться. Сибиряк отвыкал от церкви и в конечном счёте отвык до такой степени, что не хотел в неё идти, когда она находилась недалеко от его жилья. В Сибири не стеснялись хоронить в лесу без отпевания» [Россия. Полное географическое описание, 1907, 226–227]; «если церковь находится далеко, то население обходится без священников. Служитель культа приезжает два раза в год в отдалённые местности, где крестит сразу всех народившихся младенцев и отпевает покойников. В итоге, сибиряк-старожил оказывается совершенно незнаком с христианским учением, молитв почти не знает, почитает злых духов наравне с инородцами» [Пыпин, 1892, с. 309]. С другой стороны, регулярные конфликты на бытовой и религиозной почве, приводили к снижению адаптационных возможностей переселенцев, пролонгировали «вынужденное» путешествие в форме ремиграций и обратных переселений. Исследователи переселений из Полтавской губернии обращали внимание на регулярно встречавшиеся жалобы переселенцев: «мы не остались жить здесь через старо-

обрядцев, они нас приглашали в свою веру, но мы не захотели и переехали назад за 150 вёрст» [Переселенцы из Полтавской губернии, 1913, с. 396–398].

Подводя общий итог, можно сделать несколько концептуальных выводов. Во-первых, обращение к общественно-политическому дискурсу переселений во второй половине XIX – начале XX веков предоставляет исследователю возможность не только вскрыть фактическую основу происходящих событий, но и выявить общественно-политические настроения и атмосферу, складывавшуюся вокруг обсуждения переселенческой проблемы и её коннотаций. Во-вторых, внимательное прочтение текстов, посвящённых вопросам миграционной активности населения, сосредоточенных в публицистике, а также специальной литературе пореформенного времени, открывает пути к демифологизации представлений о переселенческом движении как экономической «панацеи» и, одновременно, героической странице в истории русского крестьянства, что во многом соотносится с известным высказыванием А.А. Кауфмана, определявшим переселения как «бегство крестьянина от культуры» [Кауфман, 1905, с. 124], указывает на «вынужденный» характер самого переселенческого предприятия.

Литература

Белоглазов М.М. Вырождение населения Тамбовской губернии // Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. 1905. Октябрь.

Вибе П.П. Немецкие колонии в Сибири: социально-экономический аспект. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007.

Воронцов В.П. Очерки крестьянского хозяйства. СПб.: Тип. Альтшулера, 1911.

Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 26. Оп. 22. Д. 80.

ГАВО. Ф. 26. Оп. 16. Д. 7.

Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 44. Д. 3046.

ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 561.

Головачёв П.М. Сибирь. Природа, люди, жизнь. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1905.

Греков Н.В. К вопросу о характере взаимоотношений переселенцев и кочевников-казахов на территории Степного края в начале XX века // Народонаселенческие процессы в региональной структуре России XVIII – XX вв. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1996.

Григорьев В.Н. Переселения крестьян Рязанской губернии // Русская мысль. 1884. № 1.

Гурвич И.А. Переселения крестьян в Сибирь. М.: Тип. «А. Левенсон и К°», 1888.

Дорофеев М.В. Земледельческое освоение Сибири: реальные и воображаемые возможности // Вопросы истории Сибири: Сб. науч. ст. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. Вып. 5.

Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таёжных общин староверов-странников. Томск: Изд-во Томского университета, 2007.

Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. СПб.: Тип. В. Киришбаума, 1906.

Иванов А.А. Крестьянское хозяйство Черноземного Центра России накануне и в годы первой мировой войны: Дис. ... канд. истор. наук. М., 1998.

Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб.: Библиотека «Общественной Пользы», 1905.

Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т.1. Курс русской истории. Ч.1. М.: Изд-во «Мысль», 1987.

Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. СПб.: Издание Канцелярии Комитета Министров, 1900.

Кротт И.И. Сельскохозяйственное предпринимательство: поведенческие стратегии и практики в условиях трансформации сибирского общества (1914-1920 годы). Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010.

Ленский Б. Крестьянские переселения // Дело. 1881. № 12.

Лохтин П. Состояние сельского хозяйства в России сравнительно с другими странами. СПб.: Книжный магазин Т-ва «Посредник», 1901.

Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века / Отв. ред. А.Я. Дягтерёв. М.: Изд-во Московского ун-та, 1996.

Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Регионализация посткоммунистической Европы: сб. науч. тр. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 2001.

Материалы для изучения быта переселенцев, в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 1870-х по 1893 г.). Т. 2. М., 1897.

Мысли и наблюдения земских переселенческих агентов // Сибирские вопросы. 1909. № 16.

Нагорная М.А. Особенности адаптации переселенков в Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX века в контексте физического здоровья мигрантов // Там же. Вып. 6. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013.

Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке. М.: Изд-во «Промышленность», 1990.

От учреждений общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам // Северный вестник. 1891. № 1.

Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма. Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. ун-та, 1991.

Переселения из Полтавской губернии с 1861 года по 1 июля 1900 года: сост. по поручению Полтав. губ. зем. упр. / Стат. бюро Полтав. губ. земства. Полтава: типо-лит. Л. Фришберга, 1900–1905.

Письма крестьян. Петроград, 1915.

Понятие крестьянства. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / сост. Т. Шанин. М.: Изд-во «Прогресс-Академия», 1992.

Португалов В. Двести лет спустя // Дело. 1881. № 8.

Пытин А.Н. Русская народность в Сибири // Вестник Европы. 1892. № 1.

Ремнёв А.В. Россия Дальнего Востока: Имперская география власти XIX – начала XX в. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2004.

Родигина Н.Н. «Земля обетованная» или «кагоржный край»: Сибирь в восприятии крестьян Европейской России второй половины XIX века // *Моя Сибирь.* Вопросы региональной истории и исторического образования. Новосибирск: Изд-во Новосиб. пед. ун-та, 2002.

Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. СПб.: Тип. А. Ф. Девриена, 1907. Т. 16.

Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Советов А.А. Краткий очерк агрономического путешествия по некоторым губерниям черноземной полосы России в течении лета 1876 года. СПб., 1876.

Тернер Ф.Н. Переселенческое дело // Вестник Европы. 1897. № 3.

Фет А.А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М.: Изд-во Новое литературное обозрение, 2001.

Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия до 1914 года. М.: Изд-во АН СССР, 1957.

Чуркин М.К. «Неудобный класс» в аграрной колонизации Зауралья (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Актуальные вопросы истории Сибири. Девятое научное чтение памяти профессора А.П. Бородавкина: материалы Всероссийской научной конференции / под ред. В.А. Скубневского, К.А. Пожарской. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013.

Чуркин М.К. Переселения крестьян черноземного центра Европейской России в Западную Сибирь во второй половине XIX – начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006.

Швецов С.П. Переселенческое движение на Алтай // Северный вестник. 1891. № 7.

Шмурло Е. Русские переселенцы за Алтайским хребтом на китайской границе // Известия ЗСОИРГО. 1899. Кн. XXV.

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Новосибирск: Изд-во «Сибирский хронограф», 2003.

Языков Н. Ещё раз о просветительской неумелости // Дело. 1876. № 8.

M.K. Churkin

Omsk State Pedagogical University

**«DISPLACED PERSONS AS TRAVELERS»:
RESETTLEMENT TO SIBERIA IN SOCIO-POLITICAL
DISCOURSE OF THE SECOND HALF
OF XIX – EARLY XX CENTURIES**

Abstract. The agricultural colonization of Siberia and the process of incorporation of this region into the Russian Empire were connected with the understanding of the reasons and the inner logics of the peasants' actions since the peasants are the main subject of the migration movement. Public and political discourse of the post-reform period represented the theme of migration on the pages of "thick" journals within official and liberal-democratic directions, as well as in special

works on the agrarian question in Russia. This discourse gives an idea about its substantive aspects, convergence and divergence in the analysis of the motives for migration, as well as expectations from the results of resettlement in the educated part of society and in authorities. The current paper refers to the public and political discourse, including representatives of government structures, as well as different society levels of different ideological orientation. So the author identifies the basic values related to the complex and multifactor palette of migration movement to Siberia in the second half of XIX – early XX centuries. To some extent it helped to overcome the contradictions and gaps encountered in historiographical scale. Referring to the social and political discourse of displacement in the second half of XIX – early XX centuries not only revealed the factual basis of events, but also identified the social and political atmosphere, formed by the discussion about resettlement problem and its connotations. Working with texts on migration activity of the population helped to demythologize the ideas about migration movement as an economic “panacea” and, at the same time, as a heroic page in the history of Russian peasants in post- reform period.

Keywords: public and political discourse, resettlement, migration mobility, agricultural colonization

Information about the author Churkin Michail Konstantinovich, Doctor of historical sciences, Professor of the Department of Russian history, Omsk State Pedagogical University (Partizanskaya str. 4-a. Omsk, Russia, Tel. 8-913-967-12-88; e-mail: proffchurkin@yandex.ru).

Ф.С. Корандей

Тюменский государственный университет

**ПРЕДДВЕРИЕ СИБИРИ: ОБРАЗЫ ГРАНИЦЫ
В ОПИСАНИЯХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО СИБИРИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)²**

Аннотация. Исследование посвящено репрезентаций пограничных знаков на границе Европы/Азии и России/Сибири, обозначивших начало и конец района, который, согласно представлениям некоторых авторов, выступал в качестве шлюза, отделявшего Россию от восточной части Империи. В первой части статьи рассматривается история установки пограничных знаков вблизи Екатеринбурга (у д. Талица, 1846) и на границе Пермской и Тобольской губерний вблизи Тюмени (у д. Марковой, начало XIX вв.). Согласно авторам путевых описаний второй половины XIX в. талицкий столб получил известность в качестве символа границы восточной части Империи раньше, нежели марковский. Во второй части статьи динамика популярности двух символических мест в путевых описаниях второй половины XIX в. рассматривается с точки зрения транспортной истории региона. Талицкий обелиск сохранял в глазах путешественников свое значение основного пограничного символа до 1878 г., времени открытия Горнозаводской железной дороги, соединившей Пермь с Екатеринбургом. Эта железная дорога пересекла Урал гораздо севернее старого почтового тракта. С этого момента обычный путешественник не имел возможности увидеть талицкий обелиск. Поэтому с 1878 г. другой столб, стоявший на тракте между Екатеринбургом и Тюменью, вблизи деревни Марковой, становится главным символом прибытия в Сибирь и остается таковым до конца 1885 г., времени, когда была открыта Екатеринбургско-Тюменская железная дорога, уничтожившая ритуалы конной почтовой дороги.

² Работа выполнена при финансовом содействии РГНФ (проект № 14-31-01248) и РФФИ (проект № 14-06-31317). Значительно сокращенный вариант статьи с расширенным числом иллюстраций опубликован в российском историческом журнале «Родина» (2015, в печати).

Ключевые слова: путевые описания, граница Сибири, Сибирский тракт, тюменский узловой район, транспортная революция, Екатеринбург, Тюмень.

Сведения об авторе. Корандей Федор Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории исторической географии и регионалистики Тюменского государственного университета (Тюмень, ул. Семакова, 10, ТюмГУ. Тел.: (3542)45-56-86. E-mail: brecht_1@mail.ru).

Представления о Сибири как стране холода и ссылки, неисчислимых богатств и невероятных испытаний, нетронутой природы и сильных людей стали достоянием арсенала русской и мировой культуры в течение относительно короткого времени. Транспортная революция, достигшая своего пика в 1860–1890-х годах, за пару с половиной десятилетий провела сибирскими дорогами множество профессиональных авторов. То были столичные публицисты и иностранные репортеры, ученые и мореплаватели, миссионеры и церковнослужители, дипломаты, наконец, ссыльные, нередко отбывавшие в Сибирь прямо со студенческой скамьи. Впечатления этих путешествий – вольных и невольных – впоследствии превращались в тексты: монографии, беллетризованные травелогии, репортажи в прессе, дневники и мемуары. Корпус опубликованных за эти десятилетия путевых записок о Сибири превосходит по своему объему все, что было написано прежде – с середины XVII до середины XIX веков, а также все, что было издано позже, в десятилетия после открытия Великого Сибирского пути.

Что встречало путешественника в Сибири? При всем разнообразии событий и индивидуальных впечатлений, общий опыт обыкновенного путешествия по почтовому тракту порождал общие места – географические образы, встречавшиеся во множестве путевых описаний. Прежде всего, приходит на ум мрачный образ преддверия Сибири – пограничные знаки, служившие символическим местом прощания с Родиной, обозначавшие начало и конец района, который, согласно представлениям некоторых

авторов, выступал в качестве шлюза, отделявшего Россию от восточной части Империи.

Dramatis personae: **столбы на сибирском тракте**

Действующие лица нашей истории были поставлены среди лесов, покрывающих восточный, пологий, почти незаметный склон Уральских гор, в период, следовавший за губернской реформой Екатерины II, согласно которой прежняя Сибирская губерния была разделена на два наместничества – Пермское (указ № 15113 от 27 января 1781 г.) и Тобольское (указ № 15327 от 19 января 1782 г). Возникла новая граница. Указ императрицы от 19 мая 1781 г. (№ 15160), уточнявший практику проведения губернских границ, предполагал «такovým границам положе обыкновенные межевые знаки, выставить на пристойных и более приметных местах гербы Губернские» [О положении границ между Наместничествами..., 1781–1783, с. 124]. Как выглядели эти первые знаки пермско-тобольской границы и когда в точности они были поставлены, неизвестно. Местные архивы свидетельствуют, что в начале правления Павла I, проводившего собственную редакцию административно-территориального деления Империи (указ № 17634 от 12 декабря 1796 г.) [О новом разделении государства..., 1796, с. 229–230], на крайнем западе Тобольской губернии производилось межевание, сопровождавшееся расстановкой пограничных столбов. Столбы эти были, по всей видимости, деревянные. Так, например, в 1797 году в Тугулымской волости Тюменского округа работой по проведению губернской границы руководил флота капитан-лейтенант Жемчужников. Им были поставлены два столба, снабженные сокращенными надписями следующего типа: «От дере<вни> Цепош<никовой> по пра<вую> руку дача Ирюм<ская> <1>797 го<д>» [Дело о расстановке столбов... л. 6 об.]. Район, о котором идет речь в данном свидетельстве, был расположен по соседству с сибирским трактом, однако дело не содержит ника-

ких данных о столбах, которые были поставлены на этой дороге. Очевидно, что на рубеже веков они там уже стояли, и место пересечения границы осознавалось как знаковое. В известном нам корпусе описаний въезда в Сибирь в пределах тюменского транспортногo узла первые указания на столбы пермско-тобольской границы относятся именно к павловскому времени. А. фон Коцебу, повествуя о своем пути в курганскую ссылку (1800) впервые пишет о том чувстве, которое вызывало у человека девятнадцатого века пересечение сибирской границы:

Тюмень есть первый пограничный город. Верст 40 и несколько до него, начинается среди лесу Тобольская граница, означенная столбами. Щ-н (офицер, надзиравший за Коцебу по пути в Сибирь – Ф.К.), не пожалев меня, указал мне эти столбы и объявил, что они значат. Я ничего не отвечал, но странное чувствование разодрало мое сердце. – Ах! не мучит ли само себя и без того живое воображение? для чего малые чувственные предметы должны еще усугублять его деятельность! – И так теперь я подлинно был в Сибири [Коцебу, 1806, ч. 1, с. 215–216] .

Деревянные столбы, возможно, были заменены каменными при Александре I, в ходе реформ по устройству стандартной дорожной сети. Указ № 27180 от 13 декабря 1817 г. регламентировал создание знакомой нам из классической русской литературы дорожной инфраструктуры, в частности, верстовых столбов, караульных будок, почтовых станций, а также, к примеру, устройство аллей вдоль трактовых дорог, устройство которых впоследствии приписывалось народной молвой Екатерине II – известных «Екатерининских аллей»³. Пункт I, 19 этого указа был посвящен устройству столбов на границе губерний: «Губернские столбы иметь каменные, где оные есть, где же сих нет, то деревянные, подобные верстовым с досками, на коих масляною кра-

³ «В Губерниях, где есть леса, заводить по дорогам аллеи за канавками в два ряда, сажая одно дерево от другого на две сажени расстояния, употреблять же на сие: липу, осину, березу, тополь и другое вблизи растущее дерево». См.: [Корпунков, 2012, с. 69–76].

ской должен быть написан герб Губернский с надписью: граница такой-то губернии» [Указ Управляющему министерством Полиции..., 1817, с. 910]. Впрочем, нам ничего не известно о дате постановки каменного столба на границе губерний. Фактически, нормальный чертеж, высочайше утверждавший вид каменного губернского пограничного столба на почтовых трактах, которому довольно точно соответствовал известный нам по позднейшим изображениям столб на границе Сибири, был издан только в 1850 году (указ № 23851 от 19 января 1850 г.). Стал ли этот чертеж официальным утверждением более ранней практики, неясно.

Выглядел пограничный знак Сибири следующим образом. Это был покрытый штукатуркой (хотя чертеж рекомендовал масло) краснокирпичный столб высотой около 4-х метров (5 аршин 6 вершков), стоявший углом к Сибирскому тракту. На гранях его помещались чугунные гербы двух губерний, так что путешественник видел грань с гербом той губернии, куда держал свой путь. В начале 1860-х годов, когда столб увидели поляки, сосланные в Сибирь после поражения Январского восстания (см. центральный образ полотна А. Сохачевского «Прощание с Европой» (*Pożegnanie Europy*), написанного в 1893–1894 годах на основании собственных воспоминаний художника о ссылке 1864 г.), он уже выглядел совсем не новым. Немудрено, что И.И. Завалишин, путешествовавший примерно в это же время по уездам Тобольской губернии, характеризовал его следующим образом:

От самого Тугулыма (по Екатеринбургскому тракту, где торчит древняя пирамида царства Сибирского, свидетельница многих исторических событий) дорога идет среди тундристой почвы, устланной мхами и поросшей мелким сосняком и березами. Как говорится, так и тянет за душу [Завалишин, 1863, с. 407].

Этот автор также не скрывал своего тягостного ощущения, связанного с пограничным ландшафтом.

Долгая история марковского пограничного пункта породила особый ландшафт – в период своей наибольшей известности

кирпичный столб на границе губерний сосуществовал с деревянным, по-видимому, более ранним, который не был снесен. Оба столба были изображены на рисунке, впервые опубликованном в качестве иллюстрации к очерку Н.М. Ядринцева в составе «Живописной России», географического описания Российской империи, издававшегося М.О. Вольфом [Ядринцев, 1884, с. 79]. Автор другого текста, вошедшего в другую версию «Живописной России», но сопровождавшегося этим же рисунком, пояснял, что первый столб – «кирпичный оштукатуренный, под железной крышей, украшенный флюгером», обозначал границу Пермской губернии, «а другой деревянный – границу Тюменского округа, т.е. Сибири» [Живописная Россия, 1885, с. 105]. Краеведы сообщают, что, по сведениям, полученным от старожилов, «возле столба стояла русская печь, сложенная из кирпича, на которой каторжане, проезжие купцы и крестьяне готовили себе горячую пищу» [Копылов, 2005, с. 212].

Другой объект, также обладавший особенным пограничным статусом и тоже вызывавший в душе путешественника XIX столетия щемящее чувство, располагался на триста километров западнее, на горе Березовой, у деревни Талица (ныне пригород г. Первоуральска). Обелиск был поставлен вблизи сибирского тракта в 1846 году. Эта четырехгранная мраморная пирамида, обращенная фасадом к дороге, располагалась на границе несколько иного свойства, нежели административная граница между Пермской и Tobольской губерниями. Идея о том, что Урал является восточной границей Европы, появилась еще в первой половине XVIII века в трудах Ф. фон Страленберга и В.Н. Татищева. Едва ли можно говорить о том, что спустя столетие по этому поводу в науке был достигнут консенсус⁴. Например, А. фон Гумбольдт, об уральско-сибирской экспедиции которого пойдет речь ниже, считал, что границы между Европой

⁴ О многообразии точек зрения по вопросу см.: [Дитмар, 1958, с. 35–49]; [Чибилёв, Богданов, 2011, № 9, с. 828–838]; [Калуцков, 2013, с. 215–227].

и Азией не существует [Гумбольдт, 1915, 59–60]⁵. Впрочем, важнее, что упомянутая идея уже в 1820-х годах была фактом популярного географического знания, представлением, которое разделяли и путешественники, ехавшие в Сибирь, и жители самого Урала. Слепой путешественник Дж. Холман, миновавший хребет в июле 1823 года, писал:

Я пересекал теперь уральские горы, отделяющие Европу от Азии, и мое сердце наполнилось радостью от того, что я совершил такую значительную часть пути, а теперь, ведомый Провидением, въезжал в новый мир, мир незнакомого. Я удовлетворил желание, которое многие годы было одним из моих самых жгучих желаний, то, о чем я едва ли осмеливался мечтать – желание посетить четвертую часть света [Holman, 1825, 391]⁶.

Немецкий минералог Г. Розе, вместе с А. фон Гумбольдтом ехавший на Алтай летом 1829 года, рассказывал о встреченной ими за пределами Сибирского тракта, по пути на тагильские платиновые прииски, большой развесистой ели, с восточной стороны которой было вырезано слово «Азия», а с западной – «Европа» [Rose, 1837, s. 327].

Именно с авторитетным заключением немецкой экспедиции, установившей, что расположенная на Сибирском тракте гора Березовая лежит на гребне Урала, который образует в данном месте также и водораздел [Там же], иногда связывают тот факт, что впоследствии Березовую гору посещали великий князь Александр (1837) и герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1845), в память о визитах которых в 1846 году на этом месте был установлен каменный обелиск.

⁵ В этой работе, характеризуя геологическое строение Азии, Гумбольдт рассматривал Европу как *полуостровное продолжение* Азии: «Начиная от вересковых пустошей Брабанга, Вестфалии и Люнебурга до берегов Оби, под 78° долготы, которые я имел возможность проехать, страна всюду имеет один и тот же унылый и однообразный вид», – писал он [Там же].

⁶ Здесь и далее все переводы, кроме отмеченных особо, выполнены автором статьи – Ф.К.

Это утверждение нуждается в корректировке. Во-первых, очевидно, что еще до Гумбольдта у проезжавших по Сибирскому тракту существовал обычай отмечать начало Азии в определенном районе между Кунгуром и Екатеринбургом. Границу эту искали не только вблизи д. Талица. Иногда в качестве последней европейской станции упоминалась Киргишанская⁷. Так, 31 августа 1828 года, более чем за год до Розе и Гумбольдта, другая экспедиция, которую возглавлял норвежец К. Ханстен, совершила на втором десятке верст от Киргишанской обряд прощания с Европой, включавший распитие астраханского вина, составление латинского послания, похороненного в бутылке от вышеупомянутого напитка, а также салют из ржавой пистолы [Hansteen, 1857, p. 89–90]. Экспедиция Ханстена, занимавшаяся магнитометрией, была оснащена всем необходимым для измерения высоты места над уровнем моря и постоянно занималась подобными измерениями. Однако же участники экспедиции впервые узнали, что находятся на границе Азии, не из своих наблюдений за приборами, а со слов ямщиков:

Через полтора часа после нашего отъезда со станции Киргишанской, когда мы находились между четырнадцатым и пятнадцатым верстовым столбом от этого места, наши извозчики сказали нам, что мы достигли границы Азии [Erman, S. 282].

Границей Европы и Азии на сей раз оказалась граница Красноуфимского и Екатеринбургского уездов.

Во-вторых, и самое возвышенное место сибирского тракта, где в 1837 году в ходе своего Grand Tour останавливался будущий русский император Александр II, скорее всего, было из-

⁷ Ее отделяли от лежащего восточнее самого высокого места Урала по сибирскому тракту три других станции, т.е. приблизительно восемьдесят верст пути. Почтовые станции Сибирского тракта, располагавшиеся на самой высокой части Уральского хребта, были следующие: Киргишанская (32 версты) – Гробовское (25 верст) – Билимбаевский завод (23 версты) – Решеты (30 верст) и затем следовал Екатеринбург (23 версты). См.: [Почтовый дорожник..., 1824, с. 10].

вестно проезжавшим в качестве границы Европы и Азии еще до путешествия Гумбольдта. Английский путешественник Хилл, в октябре 1847 года миновавший перевал между станцией Билимбаевский завод и Екатеринбургом, сообщал о кресте, который поставил там брат Николая I, великий князь Михаил Павлович, когда ему случилось проезжать в Сибирь [Hill, 1854, p. 132]. Вероятнее всего, что крест этот Михаил Павлович поставил в 1817 году, когда совершал, двадцатью годами ранее своего родственника, такое же аристократическое образовательное путешествие по России.

Единственное развернутое свидетельство о посещении этого знакового места, датированное 26 мая 1837 года, принадлежит сопровождавшему цесаревича полковнику С.А. Юрьевичу:

Сегодня в 4 часа пополудни, взобравшись на самый высокий пункт Уральского хребта (близ станции Решеты, в 30-ти верстах от Екатеринбурга, на рубеже Европы и Азии), я, с спутником моим К.И. Арсеньевым, приказал подать себе по рюмке вина и выпили его за здоровье, каждый, своего семейства, каждый за все свое, что оставили драгоценного в Европе. Мы взглянули еще раз на Европу, вздохнули каждый про себя, и через минуту она была уже за горами [Юрьевич, 1887, с. 456–457].

Наконец, немного о самой дороге. Трактовые дороги Пермской губернии приобрели репутацию образцовых на рубеже XVIII–XIX веков, при губернаторе К.Ф. Модерахе. Гордость за состояние дороги была губернской традицией первой половины XIX века: «памятником Модераха» называл пермскую часть тракта еще В.А. Жуковский, сопровождавший цесаревича Александра в его путешествии 1837 года, более чем двадцать лет спустя после отставки пермского губернатора (1811) [Жуковский, 2004, с. 55].

К началу 1860-х годов дорога испортилась. «Пермская губерния прославилась своими почтовыми дорогами, но вот какой дорогой пришлось мне ехать в начале июня на Тюмень», – писал Н.В. Шелгунов о путешествии 1862 года, описывая далее ужасную дорогу в виде «бесконечной пашни, взрытой плугами на глубину 6-10 вершков», вдоль которой стояли кучи песку,

приготовленные для починки дороги, но уже поросшие травой» [Шелгунов, 1863, с. 39]. Состояние, в котором оказался «памятник Модераха» в первой половине 1860-х годов, когда транспортная нагрузка на тракт возросла, охарактеризовал пермский историк Д.Д. Смышляев в статье 1885 года. Сибирский тракт, писал он, вполне удовлетворял, в свое время, потребностям торговли и промышленности, но «с развитием пароходства по Каме и сибирским рекам, а затем – с присоединением к России среднеазиатских владений, при постоянно возраставшем движении по нему, стал приходить в упадок и, наконец, был передан в 1871 г. пермскому земству действительно в состоянии полного разрушения» [Смышляев, 1891, с. 226]. Материалы инженерных исследований сибирского тракта, проводившихся в 1860-х годах, выдержки из которых были опубликованы Д.Д. Смышляевым, свидетельствуют, что участки дороги, располагавшиеся вблизи упомянутых выше административно-территориальных границ, имели особенно дурную славу. Вероятно, это было следствием хорошо известного географам феномена – подобные участки дорог, находящиеся, как правило, на периферии внимания начальства, приходят в запустение скорее остальных. «Дорога от Тугулымской до Марковской станции так дурна, что нет возможности по ней ехать, а необходимо сворачивать в сторону и следовать окольную дорогою: на половине станции провалились гати, отчего ломаются тарантасы», между Киргишанской, Кленовской и Бисертской станциями дорога «разбита до того, что нет возможности днем безопасно проехать по ней» (заявления пермской губернской почтовой конторы пермскому военному губернатору, осень 1861 г.) [Смышляев, 1891, с. 228], «дорога (от деревни Горбуновой до Марковской станции и далее до тобольской границы) очень дурна, так что проезд даже в сухое время крайне затруднителен» (осень 1861 г., из отчета архитектора Р.И. Карвовского строительной и дорожной комиссии Пермской губернии) [Смышляев, 1891, с. 230]. Смышляев сообщал, что в 1875–1877 годах «самые дурные 142 версты тракта» перестраивались, что нашло отражение в положительном отчете Карвовского, прово-

дившего инспекцию тракта в мае-июне 1878 года. На участке между Камышловым и границей Тобольской губернии для большей прочности полотна дороги был насыпан, за неимением каменного материала, «почти один песок» [Смышляев, 1891, с. 259].

Тобольская часть дороги была в худшем состоянии: контраст между двумя частями сибирского тракта отмечался путешественниками с начала 1860-х годов. Н.В. Шелгунов отмечал, что собственные Пермской губернии поросшие травой кучи песку на последних трех станциях перед Тюменью сменяются сплошной грязью. Дорога здесь была выложена поперек бревнами, начиналась гать [Шелгунов, 1863, с.5]. С.И. Турбин, который въезжал в Сибирь в конце лета 1862 года, писал:

... с границей Пермской губернии оканчивается *лаженная*, т.е. усыпанная щебнем дорога, и начинаются страшные деревянные гати, которые тянутся, с небольшими промежутками, вплоть до станции. Если можно назвать местность наводящею уныние, то это название вполне идет к началу тобольской губернии. Болота, кочки, чахлый березник направо и налево, вперед и назад, вот все, что встречают глаза странника [Турбин, 1872, с. 31]⁸.

⁸ О езде по гати на первых станциях Тобольской губернии писал Н.М. Ядринцев, во многом почти дословно повторявший слова Н.В. Шелгунова: «Перед Тюменью, станции за три, дорога идет среди непроходимых болот. По сторонам дороги – болотная вода, да кочки, да беспорядочные болотные насаждения; дорога, проложенная по топкому месту, выстлана поперек бревнами. Езда по такой гати крайне мучительна. Трясет до того, что вся кровь бьет в голову и делается шум в ушах; случается, что станцию, верст в тридцать, приходится ехать часов 7–8, а то и более, ежеминутно опасаясь, что экипаж засядет в грязи или хлопнется в выбоину, лопнет передняя ось, – и придется остаться среди лесного болота, вдали от всякого селения» [Цит. по: Ядринцев, 1884, с. 79]. П.А. Кропоткин ехал по этой гати в августе 1862 года: «Обыкновенно, чтобы дать понятие о такой гати, говорят: «проведите пальцем по фортепьянным клавишам». Я, пожалуй, согласен с этим сравнением, но с оговоркой: “непременно проведите по черным”» [Кропоткин, Пермь, 2011, с. 107]. Б. Райхман (осень 1878 г.) сообщал, что ехал тридцать верст последней станции Пермской губернии семь часов, и при этом его спутник так ругался, что он уже подумывал отказаться от дальнейшей совместной поездки [Rejchman, 1881, s. 56].

О весенних запущенных березовых лесах и особых трудностях дороги, начинающихся за Камышловым, писали, почти одними и теми же словами, О. Финш (1876) и К.М. Станюкович (1885)⁹, но наиболее ярко охарактеризовал этот контраст казанский профессор В.М. Флоринский, ехавший в конце весны 1880 года к месту будущей новой службы в Томск:

По Пермской губернии виден был еще благоустроенный путь, но, начиная с Марковской станции, мы сразу почувствовали, что въезжаем в Сибирь. Долго буду помнить это первое впечатление. От Марковой местность резко меняется: дорога проходит густым лесом по отлогой покаги. Так и кажется, что с каждой верстой мы углубляемся в какую-то засасывающую трясиину. Густой хвойный лес сменился болотом, через которое безобразной, изрытой, черной полосой извивается скверная хлябь, называемая большим сибирским трактом [Флоринский, 1906, с. 110–111].

Таким был фон истории, о которой пойдет речь ниже.

Дорожные обычаи, динамика популярности и «уничтоженные» поездом время и пространство.

В эпоху транспортной революции на сибирском тракте иногда считали ехавшие навстречу повозки: австрийский географ Ф. фон Хохштеттер, ехавший в сентябре в 1872 года из Екатеринбурга в Пермь, насчитал в пути 3568 одних только грузовых телег, без учета тех, что были пропущены им во время сна, а также пассажирских тарантасов (выходило 10 телег на версту или километр) [Hochstetter, 1873, s. 48]. В июне 1885 года американ-

⁹ «За Камышловым дорога пошла, большей частью, запущенными березовыми лесами. Образовавшиеся в них, от таяния снега, глубокие лужи затрудняли наше движение на каждом шагу» [Цит. по: Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма. Москва, 1882, с. 36]; «Солнце ласково греет сверху, освещая зеленеющие, по бокам дороги, густые, болотистые леса. Дорога делается еще убийственнее, лошади ступают буквально шагом, с трудом вывозя тарантасы и телеги из непролазной грязи» [Л. Нельмин (К.М. Станюкович), 1886, с. 36].

ский журналист Дж. Кеннан занимался тем же самым на пути из Екатеринбургa к сибирской границе и насчитал за первые два часа пути 538, а за весь первый день – 1445 возов [Kennan, 1891, р. 49]. Этот тракт – не такая уж глухая окраина, удивлялся затем американец, и на тот момент это было действительно так. В 1870–1880-х годах сибирский тракт в пределах Пермской и Тобольской губерний переживал невиданный в своей истории бум грузовых перевозок и пассажирских сообщений. Об этом свидетельствует и состав корпуса текстов, повествующих о путешествии по тракту через сибирскую границу между Екатеринбургом и Тюменью. Число подобных путешествий начинает увеличиваться в числе с 1860-х годов, достигая своего пика в 1880 – начале 1890-х годов (см. рост числа описаний пограничных пунктов в таб. 1). С середины 1890-х годов открытие западных участков Великого Сибирского Пути прекращает эту эпоху – и немногочисленные представители образованного класса, ставшие составителями известных нам путевых описаний, и массы неграмотного населения, не оставившего после себя ни строчки, едут в Сибирь уже другим путем, железной дорогой через Челябинск и Омск.

Путешественники 1860–1880-х годов, как и их предшественники, обычно уделяли особое внимание лиминальной зоне, через которую им приходилось проехать при вступлении в Сибирь. Как мы видели выше, на ее границах стояли свои символы – обелиск на границе «Европа – Азия» и пограничный столб на границе Пермской и Тобольской губерний. Описания обоих этих столбов практически никогда не встречаются в пределах одного текста. Несмотря на то, что существование их было одновременным, а ритуалы, сложившиеся вокруг них, идентичны, автор дневника или мемуаров всегда делал акцент лишь на одном. Талицкий обелиск, стоявший на живописной вершине Уральского хребта, и марковский столб, погрязший среди болотистых березняков Западно-Сибирской низменности, были, до известной степени, конкурентами в состязании за право считаться символом грани-

цы восточной части Империи. Популярность каждого из этих символов в тот или иной момент времени объясняется транспортной историей региона.

После просмотра шести десятков текстов дневникового, репортажного и мемуарного характера, посвященных пересечению сибирской границы между 1850–1885 годов, автором статьи были обнаружены 27 текстов, повествовавших о ритуальной остановке у одного из наших героев¹⁰. Первые такие свидетельства относятся к началу 1860-х годов (два из них относятся к воспоминаниям поляков, сосланных в Сибирь после поражения восстания 1863 г.). Все они посвящены остановке у талицкого обелиска. Из очерка Н.М. Ядринцева, составленного не ранее 1871 года, ясно, что накануне создания очерка и у талицкого столба на западе, и у марковского столба на востоке, уже сложились одинаковые дорожные ритуалы – партии ссыльных и переселенцев прощались там с родиной и наносили на столб граффити: «Таковыми бродяжескими надписями прежде украшались как <талицкий – Ф.К.> монумент, так и памятник на границе Пермской

¹⁰ В круглых скобках, предшествующих уточненному библиографическому описанию источника, указывается год описываемого путешествия. Даваемые ниже в скобках ссылки на тексты описаний талицкого и марковского пограничных знаков, лишенные указания на страницы, отсылают к этому списку: (1862) [Шелгунов, 1863, с. 5]; (1863) [Завалишин, 1863, с. 407]; (1863) [Siwinski, 1905, s. 44–47]; (1863) [Kowalewska, 1911, s. 103–104]; (ранее 1871) [Ядринцев, 1979, с. 64–65, 70–71]; (август–сентябрь 1862) [Турбин, 1872, с. 26, 31]; (декабрь 1872) [Meignan, 1877, p. 102–103]; (1873) [Суворов, 1898, т. 1, с. 139]; (апрель 1876) [Путешествие в Западную Сибирь..., 1882, с. 30–36]; (май 1876) [Поляков, 1877, с. 3–4]; (лето 1876) [Павлов, 1878, с. 3–4]; (март 1877) [Seeböhm, 1901, p. 255–261]; (1878) [Чудновский, 1908, с. 165–166]; (сентябрь 1878) [Rejchman, 1881, s. 36–37, 56]; (начало лета 1879) [Lansdell, 1882, p. 18]; (май 1880) [Флоринский, 1906, т. СХХVI, с. 110–111]; (июль 1880) [Короленко, 1954]; (июль 1880) [Sommer, 1885, p. 67]; (сентябрь 1880) [Carus, 1892, p. 19]; (май 1881) [Cotteau, 1888, p. 102]; (сентябрь 1882) [Левитов, 1883, с. 13–14]; (июнь 1884) [Сорокин, 1886, с. 363]; (весна 1885) [Л. Нельмин (К.М. Станюкович), 1886, с. 36]; (весна 1885) [Дейч, 1905, с. 91]; (июнь 1885) [Kenman, 1999, т. 1, с. 111]; (осень 1885) [Онуфрович, 1908, с. 290–291]; (ранее 1885) [Живописная Россия, 1885, с. 105].

и Тобольской губерний, на них ставились условные знаки и указания знакомым, это заменяло ссыльным “*poste restante*” (письма до востребования – фр.)», писал Н.М. Ядринцев в примечании к очерку, посвященному остановке ссыльных у талицкого столба [Ядринцев, 1979].

Граффити пограничных столбов производили на путешественников сильнейшее впечатление. Поляк, вспоминая о начале декабря 1863 года, и очевидно, смешавший в своей памяти впечатления от обоих столбов – талицкого и марковского – писал, что на столбе уже нет места, «ибо весь он исписан именами и фамилиями тех, кто прощался здесь с цивилизованной Европой, отправляясь в дикую, варварскую Азию» [Siwinski, 1905]; другие польские мемуары, относящиеся к тому же времени, свидетельствуют о том, что повсюду среди дат, фамилий, болезненных восклицаний, начертанных рукою ссыльных, было множество польских слов [Kowalewska, 1911]. О многоязычии граффити, среди которых встречались надписи на немецком, польском и других языках, повествуют и другие авторы [Павлов, 1878; Reichman, 1881]. Известные нам тексты содержат довольно много примеров таких надписей, поражавших путешественников своей безграмотностью, мрачным колоритом и черным юмором – «... своим лаконически юмористическим характером и чрезвычайной меткостью <они> вызывали <у проезжавших> гомерический хохот» [Чудновский, 1908]: «Иван Долгой прошел опять на Кару такого-то числа, поклон старичку Миките» [Ядринцев, 1979]; «будешь на таком-то руднике, передай поклон Фильке Иванову; прошел я в Сибирь благополучно» [Павлов, 1878]; «Иван из Кары, прошел здесь 27-го июня», «Здрастуй, Россия, прощай Сибирь» [Флоринский, 1906]; «Поминай как звали», «Кланяйся в Нерчинске товарищам», «Ищи ветра в поле», «До свидания, Сибирь-матушка!» [Нельмин (Станюкович), 1886]. Джордж Кеннан, который посетил марковский столб менее чем за год до конца его славы, увидел на нем загадочные слова, начертанные мужской рукой – «Прощай, Мария!» [Kennan, 1891].

Другим топосом описаний пересечения пограничной черты был ритуал прощания с родиной, включавший в себя молитву, целование европейской земли и европейской части столба, торжественное молчание, прерывавшееся командой конвоира об отпращивании:

Здесь каждый европеец встает на колени у европейского столба и прощается – прощается надолго, прощается навеки!... Сами русские, будучи весьма суеверными и фанатичными, на этом месте с благоговением осеняют себя крестом и молятся – и ни в Европе, ни в Азии нет такого человека, который бы не опустил здесь на колени, чтобы горячо помолиться [Siwinski, 1905];

Мы стояли в немом молчании. В сердцах наших росло чувство тоски и боли, чувство неуверенности в завтрашнем дне [Kowalewska, 1911];

Ссылная партия замолкла и находилась в положении тяжелого раздумья... – Ну что ж, в поход! – неожиданно прервал молчание партии старший конвоир [Ядринцев, 1979];

Я слышал, и вполне верю, что при вступлении арестантских партий в пределы тобольской губернии, прощаясь с Россией, плачут навзрыд не только женщины, даже иные мужчины. Тоже случается и с поселенцами, идущими по своей воле. – Недавно тутока Мордва пензенская проходила, вы ее обгоните, говорил мне ямщик; так бабье такой рев подняли – страсти. Наши ребята чуть не полопались со смеху [Турбин, 1872].

Некоторые авторы сообщают, что у столба на сибирской границе собирались на память цветы:

Женщины сошли с телег и стали собирать у дороги цветы. Кое-кто захватывал «горсточку родной земли», вообще все казались несколько растроганными» [Короленко, 1954];

Сорвав несколько цветов в траве, у подножия пограничного столба, мы взобрались в наш экипаж, распрощались с Европой, как это делали до нас сотни и тысячи людей, и направились в Сибирь [Kennan, 1891].

Массовые дорожные обычаи, сложившиеся у пограничных знаков, порой характеризовались путешественниками с отстраненной точки зрения, как часть жизни другого сословия: «У ям-

щиков почему-то принято за обычай непременно остановиться на этом пункте» [Флоринский, 1906]. Представители образованного класса, безусловно, пытались запечатлеть в своих описаниях личное переживание, которое чаще всего, особенно в воспоминаниях ссыльных, звучало в унисон с голосом толп, бредущих в Сибирь:

Не знаю почему, но эта надпись («Европа – Азия» – *Ф.К.*) навела на меня грусть. Все милое и дорогое далеко осталось за мною; за мною остался и цивилизованный мир с его манящей внешностью и радостями. Но, что впереди меня? [Суворов, 1898];

Не у одного из нас ёкнуло сердце при созерцании этой эмблемы предстоящей нам очень продолжительной (а, может быть, и вечной) подневольной жизни. Что-то ждет нас впереди, за этим столбом, – невольно думалось каждому из нас!... [Чудновский, 1908];

У всех зашевелилось в душе особое чувство, как будто эта грань резко пролегла по каждому сердцу [Короленко, 1954];

– «Сколько же еще лет предстоит мне провести в Сибири?» – естественно являлся у меня вопрос, когда я, вместе с другими, стоял у этого пограничного знака [Дейч, 1905].

И граффити, и массовые обычаи прощания с родиной, и монологи образованных путешественников существовали синхронно, в одно и то же время, однако описания обоих пунктов почти никогда не появлялись на страницах одного сочинения. Таблица, составленная на основании данных двадцати семи текстов, свидетельствует о том, что талицкий столб получил известность в качестве пограничного знака раньше, нежели марковский.

Как можно видеть, талицкий обелиск сохранял в глазах путешественников свое значение основного пограничного символа до 1878 года. Исключений почти нет, и они легко объяснимы – записки И.И. Завалишина [Завалишин, 1863] и А.А. Павлова [Павлов, 1876] были посвящены не путешествию в Сибирь, но путешествиям по Сибири, и не включали в себя уральского материала; в отчете О. Финша были описаны обе достопримечательности, но талицкому обелиску было уделено особое внимание – именно в этом месте бременские зоологи совершили ритуал прибытия в Сибирь:

Таблица

**Динамика популярности пограничного знака
между Европой (Россией) / Азией (Сибирью) в путевых описаниях
(дневники, репортажи, мемуары, относящиеся к 1862–1885 гг.)**

ТАЛИЦКИЙ ОБЕЛИСК	МАРКОВСКИЙ СТОЛЬБ
Шелгунов (1862)	
Турбин (1862)	
	Завалишин (1863)
Сивинский (1863)	
Ковалевская (1863)	
Ядринцев (до 1871)	
Меньян (1872)	
Суворов (1873)	
Финш (1876)	Финш (1876)
	Павлов (1876)
Поляков (1876)	
Сибом (1877)	
	Чудновский (1878)
	Райхман (1878)
Ланделл (1879)	
	Флоринский (1880)
	Короленко (1880)
	Сомье (1880)
	Капо (1880)
	Котто (1881)
	Левитов (1882)
	Сорокин (1884)
	Станокочич (1885)
	Дейч (1885)
	Кеннан (1885)
	Онурович (1885)
	Автор «Живописной России» (до 1885)

Примечание. В круглых скобках – год описываемого путешествия.

Мы достигли этого многозначительного для путешественника места в 11 ч. утра. Небо было чисто; парящий в воздухе орел, первый которого мы увидели, приветствовал наш въезд в Сибирь и был бы принят каждым авгуром за хорошее предзнаменование. Не диво после этого, что мы были в веселом настроении и осушили до дна бутылку вина за благоденствие Сибири [Финш, 1882].

Любопытно, что пересекавший границы Сибири в том же году И.С. Поляков, чье путешествие происходило в ситуации соперничества с бременской экспедицией, также, как и немцы, описывая столб на границе Европы и Азии, начал с орнитологического пассажа:

... рано утром первого мая, которое я встретил как раз около пограничного столба между Европою и Азиею, я слышал голос водяной курочки (*Gallinula porzana*) [Поляков, 1877].

Следующий текст знаменовал начало иной эпохи символической географии региона:

Правда, географически Екатеринбург еще, собственно говоря, не Сибирь, а знаменитый пограничный столб, отделяющий Европейскую Россию от Сибири, находился значительно дальше <...> Возле исторического «пограничного столба» мы на несколько минут остановились с разрешения начальника нашего конвоя. Это – большая каменная вертикальная колонна на широком каменном пьедестале, на которой имеется соответствующая официальная надпись, гласящая, что здесь, мол, конец Европы, начинается Азия – Сибирь [Чудновский, 1908].

Судя по облику столба и надписи, в этом тексте С.Л. Чудновского описывался талицкий обелиск, однако же, это не так – партия Чудновского, очевидно, следовала из Перми до Екатеринбурга на поезде по только что открытой Горнозаводской железной дороге. «Отсюда (из Екатеринбурга. – *Ф.К.*), после короткой передышки, нас отправили дальше уже новым способом передвижения – на почтовых лошадях», вспоминал автор. Описание встречи ссыльной партии с «историческим» столбом, от-

деляющим Европу от Азии, следует уже после описания Екатеринбурга. Несомненно, мемуарист, чьи воспоминания о ссылке в Тобольскую губернию были опубликованы лишь двадцать лет спустя после описываемых событий, мог и не помнить в деталях, что именно было изображено на столбе, который ему довелось видеть в молодости. Из первой части цитированного текста ясно, что автор понимал разницу между двумя границами – географической и административной. Тем не менее, Чудновский, скорее всего, никогда не видевший талицкого обелиска, вспоминая о виденном им марковском столбе, смешивал известный ему из ранней традиции образ первого объекта с реальным обликом второго. Этим же объясняется смешение двух границ, характерное для мемуаров Чудновского и некоторых других текстов этого периода – авторы, чего не бывало ранее, соединяли в одном описании европейско-азиатскую и российско-сибирскую границы:

Пересев в тарантас, отправились дальше на Тюмень и 7-го июня, под вечер, миновали тот четырехугольный столб, который стоит на границе Пермской и Тобольской губерний, т.е. между Европой и Азией [Сорокин, 1886].

С открытием осенью 1878 года Горнозаводской железной дороги талицкий столб совершенно исчезает из путевых описаний. Железная дорога из Перми в Екатеринбург пересекла Урал гораздо севернее старого почтового тракта. С этого момента обычный путешественник не имел возможности увидеть талицкий обелиск: для этого нужно было отказаться от скорости и комфорта железнодорожного путешествия. Г. Ланделл, чье путешествие относится к началу лета 1879 года, сожалел о знаменитом монументе, который ему не суждено было увидеть, и одновременно отмечал начало формирования нового символического ландшафта:

Постоянным предметом интереса путешественников, ехавших старым путем, был пограничный камень, на одной стороне которого было написано «Европа», а на другой – «Азия». На камень этот, конечно, был бы рад взобраться любой английский мальчик, чтобы,

широко расставив ноги, объявить, что стоит в двух частях света одновременно. Путешественники, едущие новым путем, к сожалению, теряют эту возможность; утешением им могут служить три пограничные станции, одна из которых зовется «Европа», другая – «Урал», и третья «Азия». Миновав их, путешественник, в отличие от остальных, может заявить, что проехал на поезде из одной части света в другую [Lansdell, 1882].

Три станции Горнозаводской дороги – «Европейская», «Уральская» и «Азиатская», безусловно, перехватили у талицкого обелиска часть пограничных атрибутов. В семи верстах от станции «Европейская» были установлены пограничные символы:

Географическая граница двух частей света отмечена двумя высокими решетчатыми железными колоннами, сооруженными по обеим сторонам полотна дороги. Ночью на верху колонн зажигаются фонари с ярко блестящими на стеклах надписями: «Европа и Азия» [Весновский, 1904, с. 168].

Однако скорость, с которой поезд миновал скромные станционные строения, очевидно не предоставляла путешественникам необходимого для ритуала времени – описания этой границы, как правило, сводятся к перечислению вышеупомянутых станций [Sommier, 1885; Capus, 1892; Cotteau, 1888]. Б. Райхман, ехавший через Урал сразу после открытия дороги, вспоминал о своем попутчике-немце, который хотел выпить на границе частей света «пограничной водки» (Grenzschnaps), но вместо одной рюмки был вынужден выпить три, по одной на каждую станцию [Rejchman, 1881].

Путешествие по железной дороге, уничтожая время, проведенное в пути, уничтожало и пространство, создавая «сокращенную географию», писал историк транспорта В. Шивельбуш, занимавшийся этой проблемой [Schivelbusch, 1987, р. 35]. Тексты, посвященные пространству между Пермью и Екатеринбургом, становились лаконичнее, порой сокращаясь до одного предложения:

Из окон вагонов мы видели далекую синеву Уральских гор, перед нами мелькали знаменитые когда-то заводы, гремевшие в старое время баснословными пирами и баснословными беззакониями управителей, и незаметно перевалили хребет, очутившись географически в Азии [Нельмин (Станюкович), 1886].

Истинное сибирское путешествие начиналось теперь с Екатеринбурга [Флоринский, 1906]. Путешественники, ехавшие в Тюмень на почтовых, имели возможность для ритуальной остановки, и, учитывая суровость этого способа передвижения, были весьма рады привалу. В 1878 году столб, стоявший на тракте между Екатеринбургом и Тюменью, в одиннадцати верстах за деревней Марковой, оказался главным символом прибытия в Сибирь (таб. 1) и оставался таковым до конца 1885 года, времени, когда была открыта Екатеринбургско-Тюменская железная дорога. Путешествовавшие сибирским трактом с нетерпением ждали ее открытия. Ссылный Б. Онуфрович, ехавший на телеге по тракту осенью 1885 года, писал, вспоминая о тяготах своего семидневного путешествия:

На третий или четвертый день мы подъехали к линии железной дороги Екатеринбург-Тюмень, на которой тогда еще не было открыто правильное движение, и с завистью смотрели на мчавшиеся мимо нас рабочие поезда [Онуфрович, 1908].

В конце 1885 года с пространством между Екатеринбургом и Тюменью случилось то же самое, что произошло в 1878 году с дорогой между Пермью и Екатеринбургом – скоростное путешествие на поезде превратило описания этого пути в лаконичную констатацию факта: «Через пятнадцать часов путешествия по железной дороге, которая находится в ведении Императорского Правительства, я прибыл в Тюмень» (П. О'Брайан-Батлер, британский дипломат, ехавший через Сибирь в Китай в августе 1886 г.) [O'Brien-Butler, 1888, p. 85]. Географический фокус внимания авторов путевых описаний сместился. В середине 1880-х годов чувства, которые путешественники прежних десятилетий

испытывали по отношению к талицкому обелиску и марковскому столбу, были пересены на территории, лежащие к востоку от Тюмени. Наступила десятилетняя эпоха детальных описаний Тюмени, тюменско-томского речного пути и той почтовой дороги, которая соединяла Тюмень и Томск. Именно эти территории теперь описывались в качестве преддверия настоящей Сибири. После 1885 года описанные выше пограничные обелиски появлялись в путевых описаниях, как правило, только в том случае, когда путешествие носило экстраординарный характер. Так, например, морозным утром 15 марта 1890 года марковский столб видел сотник Амурского казачьего конного полка Д.Н. Пешков, совершавший беспрецедентное путешествие от Благовещенска до Петербурга верхом [Пешков, 1890, с. 53]¹¹.

Путешествующие по железной дороге, конечно, тоже испытывали при пересечении границ характерные эмоции. Ссылный 1889 года писал впоследствии:

В Сибирь мы все вступали по железной дороге из Перми до Тюмени, и я помню, с каким волнением мы ждали знаменитого столба на Урале с надписью «Европа–Азия». Мне кажется, что здесь поезд (дело было днем) шел сравнительно тихо» [Макаревский, 1926, с. 91].

Но это свидетельство относится к числу редких – скоростное движение подвергло жанр путевого описания глубокой трансформации. Мир за окнами вагона оказался недоступен. Авторы новой эпохи были вынуждены описывать путешествие, совершавшееся в замкнутом комфортном пространстве – устройство вагонного быта, меняющихся попутчиков, станции и перроны. Пожалуй, травелог эпохи железнодорожной революции содержит не меньше ценной информации для историков, нежели их предшественники, путевые описания эпохи почтовых сообщений, но все же они менее географичны – повседневные впечатления путешествующего утратили реальную связь с каждой из

¹¹ Через пять дней, 20 марта, Пешков «вступил в Европу» за станцией Решеты, но описания пограничного знака в книге нет.

отдельных станций его маршрута. Крупный масштаб почтового путешествия при движении на поезде становился мелким: несомненно, совершая движение в пространстве Империи, автор больше не различал множества мест, из которых эта Империя состояла.

Заключение

Путешественники 1860–1880-х годов, пересекавшие по дороге в Сибирь две границы – географическую и административную, кроме всего прочего, иногда задавались вопросом о смысле их одновременного существования. Был ли возможен в этом случае единственно правильный ответ? Вероятно, нет. Суждения путешественников по этому поводу опирались на устойчивые географические дихотомии – Европа и Азия, Пермская и Тобольская губернии, Россия и Сибирь, Родина и чужбина, цивилизация и дикость. Понятия эти, происходившие из слишком разных контекстов – юридического, географического, публицистического и т.д., могли приравниваться или противопоставляться, включаться в состав более крупного единства. Все зависело от автора – это были *популярные интерпретации* географической реальности, на которые могли оказывать влияние самые разные обстоятельства.

«В народном сознании, Сибирь покуда еще не считается Россией», замечал автор географического описания Империи [Живописная Россия, 1885] – чаще всего авторы путевых описаний воспроизводили *обыденные* географические представления, распространенные среди остальных путешествующих. Прежде всего, две границы противопоставлялись, описывались как отдельные:

Граница Азии со стороны Европейской России не есть граница Сибири. Черта последней разделяет Тобольскую и Пермскую губернии в 69 верстах от Тюмени, тогда как черта Азии пересекает Московско-Иркутский тракт между Пермью и Екатеринбургом [Павлов, 1878].

Обыкновенно, однако, авторы не были столь последовательны и приравнивали Азию к Сибири. В этом случае две границы воспринимались как разные рубежи одного и того же единства:

Географические границы Сибири не совпадают с границами административными. (Следовало описание талицкого столба. – Ф.К.). Это-то и есть настоящая географическая граница; административная же начинается триста верст дальше, не доезжая семидесяти верст до Тюмени [Шелгунов, 1863].

Таким образом, талицкий и марковский рубежи соотносились как географическая и политическая граница Азии/Сибири, две последовательных ступени, ведущих в восточную часть Империи:

Незадолго перед <станцией> Тугульмской, мы пересекаем границу Пермской и Тобольской губерний. Обелиск с надписями и пермским гербом свидетельствует, что мы теперь официально в Азии [Carus, 1892];

После этой деревни (Марковой. – Ф.К.), невдалеке от столба, обозначающего одиннадцатую версту, возвышается пограничный столб Тобольской губернии: здесь Азия начинается уже официально, теперь мы в Сибири без всяких оговорок [Cotteau, 1888].

Отсюда недалеко было до полного смешения этих границ. После 1878 года, когда Горнозаводская дорога лишила обычных путешественников возможности увидеть талицкий обелиск, символы обеих границ иногда сливались в один. Например, Л. Дейч и Б. Онуфрович, вспоминая о своих путешествиях в сибирскую ссылку, помещали столб с надписью «Европа-Азия» на дороге между Екатеринбургом и Тюменью [Дейч, 1905; Онуфрович, 1908].

Представление о постепенном, двухступенчатом пути проникновения в Азию/Сибирь порождало особую градиентную риторику, попытки оценить, сколько Азии (или Сибири) содержится в окружающем ландшафте. Мнения были самые различные. С.И. Турбин заключал, что Азия, «сия величайшая часть света и колыбель рода человеческого, в Екатеринбургском уезде Пермской губернии составляет не больше как географический термин» [Турбин, 1872]. К.М. Станюкович, проезжая через те же края, утверждал, что «близость Азии и азиатских нравов начала сказываться гораздо раньше географической границы» [Нель-

мин (Станюкович), 1886]. С.Л. Чудновский указывал на то, что население, обитавшее между Екатеринбургом и тобольской границей, не считалось с «географией», полагавшей, что эта местность еще не является Сибирью:

Оно (население. – Ф.К.) уже этот край признает Сибирью, а себя – сибиряками, что имеет за себя <...> не мало оснований, так как уральцы в значительной степени заселяли Сибирь и с очень давнего времени между этим районом и районами смежных сибирских губерний, особенно Тобольской, существовали непрерывные сношения» [Чудновский, 1908].

Все вышеуказанное обычно сообщалось как бы между прочим, специальные пассажи, в которых делалась попытка объяснить одновременное существование двух границ, встречались редко. О. Финш писал, что Пермская губерния «выделяется между всеми губерниями Российского государства тою особенностью, что распадается на европейскую часть и азиатскую, столицей которой служит Екатеринбург. Многочисленные горные округа Урала служат причиной того, что обе части образуют одно целое, и не допускают между ними резкого разграничения» [Финш, 1882]. Видимо, это предполагало, что в ином случае, не обладай Урал единой экономикой, политическая граница должна была бы совпадать с географической. Наиболее оригинальную интерпретацию дуэта двух границ предложил Дж. Кеннан. Он полагал, что известное нам «размежевание имело целью перемещение европейской части Пермской губернии в Азию и тем самым отделение Сибири от самой России» [Кеннан, 1891]. Речь шла, таким образом, об умышленном учреждении карантинного шлюза между Россией и Сибирью. Такая интерпретация, безусловно, была выдержана в духе всей печальной книги Кеннана о Сибири и ссылке. В реальности, как мы видели выше, все было несколько иначе – границы не имели общего происхождения, дуэт их существовал только в одном контексте – в мире путешествия по сибирскому тракту.

Марковский столб, до основания разобранный в послевоенный период [Копылов, 2004, с. 211], ныне обрел свое второе рождение. В 2006 году он был восстановлен усилиями местных краеведческих обществ на прежнем месте, в часе автомобильного путешествия от Тюмени, где я работаю. Мне довелось бывать на этом месте. Линия старого сибирского тракта проходит здесь севернее современной дороги. Приходится пробираться небольшими болотцами, лесными зарослями. Метров через пятьсот вы оказываетесь на солнечной прогалине. Старый сибирский тракт выглядит теперь не менее сурово, чем во времена инспекций Карвовского – это лесная дорога, разбитая неведомыми тракторами до такой степени, что приходится перепрыгивать ее, чтобы не увязнуть. Красный столб с гербами стоит среди ослепительного березняка в полной тишине и сиянии. На нем, к счастью, нет теперь никаких граффити.

Литература

Весновский В. Иллюстрированный путеводитель по Уралу. Екатеринбург, 1904.

Гумбольдт А. Центральная Азия: исследование о цепях гор и по сравнительной климатологии / пер. П. Бородзича. Москва, 1915. Т. 1.

Дейч Л.Г. 16 лет в Сибири. Женева, 1905.

Дело о расстановке пограничных межевых столбов на границе между Пермской и Тобольской губерниями. ГАТО. Ф. И10: Тюменский Земский суд. Оп. 1. Д. 2624. Л. 6 об.

Дитмар А.Б. К истории вопроса о границе между Европой и Азией // Ученые записки Ярославского гос. пед. ин-та имени К.Д. Ушинского. Вып. XX (XXX). Ч. 1. География. Ярославль, 1958. С. 35–49.

Живописная Россия. Т. II. Бесплатная премия к журналу «Луч» за 1885 год. Санкт-Петербург: Тип. Е. Евдокимова, 1885.

Жуковский В.А. 1837. Путешествие с <великим> К<нязем> // Жуковский В. А. Полн. собр. сочинений и писем: В 20 т. Т. 14: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834–1847 гг. / сост. и ред. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М., 2004. С. 47–82.

Завалишин И.И. Путевые заметки (Тобольская губерния) (окончание) // Тобольские губернские ведомости. Отд. II. Часть неофициальная. 1863. № 47.

Калуцков В.Н. Граница между Европой и Азией по Уралу: историко- и культурно-географические аспекты геоконцепта // Вопросы географии. Сб. 136: Историческая география / отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий. М., 2013. С. 215–227.

Кеннан Дж. Сибирь и ссылка: Путевые заметки, (1885–1886 гг.) / пер. с англ. И.А. Богданова. СПб., 1999. Т. 1.

Копылов В.Е. Судьба пограничного столба на границе двух губерний // Окрик памяти. История тюменского края глазами инженера. Тюмень, 2005. Т. IV. С. 208–213.

Короленко В.Г. История моего современника // Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М., 1954.

Коршунков В. Екатерининские березки: придорожное обустройство в Вятской губернии // Герценка. Вятские записки. Вып. 22. Киров, 2012. С. 69–76.

Коцебу А.Ф. Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или заточение его в Сибирь и возвращение оттуда, описанное им самим. / пер. с нем. В. Кряжева. Ч.1. М., 1806.

Кропоткин П.А. На пути в Восточную Сибирь (Заметки для «Современной летописи», 1862) // По Каме и Уралу. Путевые записки XIX – начала XX вв. / сост. Д.А. Красноперов. Пермь, 2011.

Кропоткин П.А. Дневники. Тетрадь № 1. От Петербурга через Москву и Калугу до Иркутска // Дневники разных лет. Москва. 1992. С. 51–52.

Левитов И. От Москвы до Томска // Русская мысль. Кн. XVII. Москва, 1883. II отд. С. 1–30.

Макаревский А.Н. (проф.). Политическая ссылка 1889 года (из воспоминаний) // Пути революции. Историко-революционный журнал. Харьков, 1926. № 4 (7). С. 90–104.

О новом разделении государства на губернии // ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. Т. 24 (6 ноября 1796–1797). С. 229–230.

О положении границ между Наместничествами и между уездами каждого Наместничества // ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. Т. 21 (6 ноября 1781–1783). С. 124.

Онуфрович Б. В места отдаленные (Воспоминания административного) // Минувшие годы. 1908. Август (№ 8). С. 285–311.

Павлов А. 3000 верст по рекам Западной Сибири. Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. Тюмень, 1878.

Пешков Д.Н. Путевые записки (дневник) от Благовещенска да Петербурга изо дня в день, с 7 ноября 1889 г. по 19 мая 1890 года, во время переезда верхом на «Сером». Санкт-Петербург, 1890.

Поляков И.С. Письма и отчеты о путешествии в долину р. Оби, исполненном по поручению Императорской Академии наук. Санкт-Петербург, 1877.

Почтовый дорожник или описание всех дорог Российской Империи, Царства Польского и других присоединенных областей. Санкт-Петербург, 1824.

Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма. Москва, 1882.

Смьшляев Д.Д. К истории путей сообщения в Пермской губернии // Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 220–260.

Сорокин Н.В. В горах и долинах русского Тянь-Шаня // Исторический вестник. Т. XXIV. № 5. 1886. С. 360–386.

Станюкович К.М. (Л. Нельмин.) В далекие края. Путевые наброски и картинки. Гл. VIII–XIV // Русская мысль. Москва, 1886. Декабрь. Кн. XII. С. 24–61.

Суворов П.П. Записки о прошлом. Москва, 1898. Т. 1.

Турбин С.И. Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки С. Турбина и Старожила. Санкт-Петербург, 1872.

Указ Управляющему министерством Полиции, с приложением дополнительных правил об устройстве городов и селений. I, 20 // ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. Т. 34 (1817 г.). С. 910.

Финш О. Путешествие в Западную Сибирь д-ра О. Финша и А. Брэма. Москва, 1882.

Флоринский В.М. Заметки и воспоминания, 1865–1880. Ч. 2. // Русская старина. Апрель 1906. Т. СXXXVI. С. 109–156.

Чибилёв А.А., Богданов С.В. Евро-азиатская граница в географическом и культурно-географическом аспектах // Вестник РАН. 2011. № 9. С. 828–838.

Чудновский С.Л. Из дальних лет (Отрывки из воспоминаний 1878–1879 гг.) // Минувшие годы. 1908. Июль. № 7. С. 156–197.

Шелгунов Н.В. Сибирь. По большой дороге // Русское слово. 1863. Январь. II отделение. С. 1–48.

Юрьевич С.А. Дорожные письма С.А. Юрьевича во время путешествия по России Наследника Цесаревича Александра Николаевича в 1837 году // Русский архив. 1887. Т. 4. С. 441–468.

Ядринцев Н.М. На чужой стороне (Из нравов поселенцев в Сибири) // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Николай Михайлович Ядринцев. Новосибирск, 1979. С. 64–110.

Ядринцев Н.М. Западно-Сибирская низменность // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 11. Западная Сибирь. Санкт-Петербург, Москва: Издание товарищества М.О. Вольф, 1884. С. 49–83.

Capus G. A travers le Royaume de Tamerlan (Asie Centrale). Voyage dans la Sibérie Occidentale, le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l'Amou-Daria, a Khiva et dans L'Oust-Ourt. Paris, 1892.

Cotteau E. De Paris au Japon a travers la Sibérie. Voyage exécuté du 6 mai au 7 aout 1881. Paris, 1888.

Erman A.G. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oeane in den Jahre 1828, 1829 und 1830. Abt. I. Bd. 1.

Hansteen C. Souvenirs d'un voyage en Sibérie / Trad. du norvegien par Mme Colban. Paris, 1857.

Hill S.S. Travels in Siberia. London, 1854. Vol. I.

Hochstetter F. Ueber den Ural: Vortrag, gehalten am 28. April 1873 im Naturwissenschaftlichen Verein zu Wien. Berlin, 1873.

Holman J. Travels through Russia, Siberia, Poland, Austria, Saxony, Prussia, Hanover, etc.: undertaken during the years 1822, 1823 and 1824, while suffering from total blindness. London, 1825. Vol. 1.

Kennan G. Siberia and the Exile System. New York, 1891. Vol. I.

Kowalewska Z. Ze wspomnien wygnanca z roku 1863. Wilno, 1911.

Lansdell H. Through Siberia. London, 1882.

Meignan V. De Paris à Pékin par terre. Sibérie – Mongolie. Paris, 1877.

O'Brien-Butler P. E. Report of a Journey Overland from St. Petersburg to Peking // China Review. Vol. 17. № 2. 1888.

Rejchman B. Z Dalekiego Wschodu: wrazenia, obrazki, opisy z dobrowolnej podrozy po Syberyi. Warszawa, 1881.

Rose G. Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere. Bd. 1 Reise nach dem nördlichen Ural und dem Altai. Berlin, 1837.

Schivelbusch W. The Railway Journey. The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century. Berkeley & Los Angeles, 1987.

Seeborn H. The Birds of Siberia. A Record of the Naturalist's Visits to the Valleys of the Petchora and Yenesei. London, 1901.

Siwinski J. Katorznik czyli Pamietniki Sybiraka. Krakow, 1905.

Sommier S. Un'Estate in Siberia fra Ostiacchi, Samoiedi, Sirióni, Tatári, Kirghisi e Baskiri. Firenze, 1885.

F.S. Korandey

Tyumen State University

**ON THE THRESHOLD OF SIBERIA: REPRESENTATIONS
OF THE BORDERLAND IN THE SIBERIAN TRAVEL
DESCRIPTIONS (SECOND HALF OF XIX CENTURY)**

Abstract: The current research is a study of the representations of a boundary signs of the Europe-Asia and Russia-Siberia borders, delimiting the region, which, according to some authors, had been used as a lock, separating Russia from the Eastern part of Russian Empire. The first part of the paper gives a history of installation of the boundary signs near Yekaterinburg (Talitsa village, 1846) and on the boundary of Perm and Tobolsk provinces near Tyumen (Markova village, around the beginning of the 19th century). According to the authors of travel notes of the second half of the 19th century the boundary stone in Talitsa village gained the popularity as a symbol of a boundary of the eastern part of Empire earlier, than the stone in Markova village, which was situated further east. The second part of the paper investigates the dynamics of popularity of these symbolic places in the travel notes of the second half of the 19th century in the aspect of transport history of the region. The stone of Talitsa remained a principal symbol of Siberian border until 1878, when the Ural Mountain Railroad from Perm to Yekaterinburg was opened. This railroad traversed the mountains much to the north of the old post road and common traveler lost the possibility to see the stone of Talitsa. Thereupon in 1878 the status of the main symbolic gates of Siberia passed to another stone, situated on the post road between Yekaterinburg and Tyumen, near Markova village. This stone was describing as a symbolic place in Siberian travel books until the end of 1885. In december of 1885 the railroad had achieved Tyumen, having put the end to rites of the old horse-drawn road.

Keywords: travel notes, Siberian border, Great Siberian Post Road, Tyumen railway junction region, transport revolution, Yekaterinburg, Tyumen.

Information about the author: Fyodor Sergeyevich Korandey, Candidate of historical sciences, Senior Researcher, Laboratory of Historical Geography and Regional Studies, Tyumen State University (TSU, Semakova St., 10, Tyumen, Russia. Tel.: (3542)45-56-86. E-mail: brecht_1@mail.ru).

Уго Перси

Государственный университет г. Бергамо (Италия)

**ГРАФИНЯ КАРМЕН ГЕРЦ-ФИНКЕНШТЕЙН
В МОСКВЕ И ПЕТРОГРАДЕ В 1923 ГОДУ**

Аннотация. Кармен Герц, тридцатитрехлетняя женщина из хорошей буржуазной гамбургской семьи, внучка знаменитого ученого Генриха Герца, в 1923 г. совершила поездку в советскую Россию, где написала дневник, который был опубликован скромным тиражом в 300 экземпляров только в 1974 г. После дневника Вальтера Бенямина ее дневник можно считать одним из самых богатых сведениями и фактическими данными историческим источником на немецком языке, описывающим тот период в России. Герц рассказывает о своих впечатлениях, полученных в сложной обстановке советской России, об усилиях советского правительства, о ее встречах не только с представителями немецкой дипломатии и торговли, но и с обедневшими аристократами, с деятелями образовательной системы, а также с известными политиками и деятелями культуры, такими, как А. Бенуа, И. Грабарь, В. Зубов, П. Лазарев, А. Луначарский, В. Немирович-Данченко, А. Пинкевич, С. Тройницкий.

Ключевые слова: дневник путешествия, травелог, объективность, дипломатия, Германия, СССР, Москва, Петроград, политические деятели, художники, аристократы, народное образование, рабфак.

Сведения об авторе. Перси Уго, профессор, заведующий кафедрой славистики Государственного университета г. Бергамо, Италия (24129 Bergamo, Piazza Rosate 2. Тел. +39.035.2052735. E-mail: ugo.persi@unibg.it)

Un musicien a écrit l'*Invitation à la valse*; quel est celui qui composera l'*Invitation au voyage*, qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection?¹

Ch. Baudelaire, *Le spleen de Paris*

«В сотнях обсуждений с молодыми людьми, рабочими, студентами, чиновниками, даже с беспризорными детьми (которые, безусловно, не читают пропагандистских брошюр) я убедился

¹ Какой-то музыкант написал «Приглашение на вальс». Кто напишет «Приглашение к путешествию» в дар любимой женщине или выбранной сестре? (*фр.*)

в том, что люди, ремесла, натуры и самые разные характеры, как меланхолические, так и горячие, пролетарии и мещане, талантливые, глупые, умные, все эти люди на мои возражения отвечали *дословно* то же самое, так что после первых ответов я уже знал наизусть, как беседа будет продолжаться до конца» [Roth, 1981, с. 118–119]. Так кратко, в одном предложении знаменитый немецкий писатель Йозеф Рот охарактеризовал свое путешествие в послереволюционную Россию: «В сотнях обсуждений я убедился...». Его статьи, написанные по заказу газеты «Франкфуртер цайтунг», являются квинтэссенцией неисчислимых ощущений, эмоций и фактов, им пережитых в 1926 году. В самом деле, от журналиста, посланного за границу, требуют не хронику повседневной жизни, а картину жизненной реальности, описанную верными и точными чертами. О незнакомой стране собственный корреспондент должен сообщить информацию, позволяющую читателю составить себе мнение о той стране, или, говоря метафорически, «построить крышу» на здании сведений, которое он себе создал в течение времени, крышу, под которой он может чувствовать себя уверенным как в симпатии, так и в презрении к той стране. С другой стороны, журналист, посланный в страну, иностранцам почти неизвестную, какой и был Советский Союз в 1926 году, прежде, чем формировать мнение читателя, должен был подготовить его к открытию новых «революционных» реалий. Й. Рот как раз не предлагает нам дневник своего путешествия, а, как и послы прошлых веков, приносившие иностранному королю портрет принцессы, дочери их господ, с целью более убедительного восхваления ее даров и добродетели, он передал картину об этой незнакомой стране, или, скорее, полиптих, который ее представляет немецкой публике в сущностных чертах. Всем известно, что портрет принцессы часто был очень благосклонным и заинтересованным: суть дела именно в том, где находится конец объективности и начало мнения, идеологии, стереотипов, политического взгляда путешественника. Однако, прежде чем подойти к этой проблематике, необходимо остановиться на техническом аспекте: что в большей степени соответствует реальности – портрет, передающий общее впечатление

о принцессе подчеркиванием нежности ее улыбки и белизны телесного цвета, или же портрет, тщательно рисующий каждую ее ресницу? На этот вопрос невозможно ответить так же, как нельзя соединить в одно целое эти два способа рисования, потому что слияние возможно только посредством прямого наблюдения реальной модели, и даже в этом случае необходимо многократно подходить к ней и отходить от нее.

В соответствии со своей профессиональной задачей Й. Рот был вынужден выбрать первую возможность, однако с известной немецкой последовательностью, т.е. без малейшего отступления от принципа передачи общего взгляда. А между тем читатель испытывает желание познакомиться хотя бы с каким-нибудь отрывком из упомянутых выше обсуждений с «новыми людьми» революции, добавить какой-нибудь более «сочный» факт к его отличному эликсиру, хочет, в конце концов, иметь возможность быть за границей с ним и видеть «принцессу» собственными глазами.

Другой немецкий путешественник, женщина, дает нам эту возможность. Тремя годами ранее Й. Рота, в 1923 году, Кармен Герц², внучка знаменитого ученого Генриха Герца, представи-

² Кармен Герц, в замужестве графиня Финкенштейн (Carmen Hertz Gräfin Finckenstein), родилась в 1890 г. в Гамбурге в зажиточной буржуазной семье. Ее дед с отцовской стороны был сенатором вольного ганзейского города Гамбурга. У него было два сына, Рудольф, отец Кармен, и Генрих, знаменитый первооткрыватель электромагнитных волн. Волевой и лобознательный характер Кармен подтолкнул ее принять предложение знакомого поехать в Советский Союз, несмотря на давление семьи, которая не хотела этой поездки. Кармен Герц оставила дневник своего путешествия под названием «Tagebuch einer Reise nach Moskau und Petersburg. Mai-August 1923» («Дневник путешествия в Москву и Петербург. Май-август 1923 г.»). Непристрастный характер дневника не пригодился никакому политическому лагерю. Дневник был опубликован под редакцией сестры Кармен, Герты Калманн, Обществом друзей книги в 1974 г., через три года после кончины автора. Несмотря на это, ценность дневника Герц заключается в огромном объеме информации, не часто встречающемся в других подобных изданиях того времени. Немецкий исследователь Маттиас Хееке пишет по этому поводу: «<...> Не все авторы стремились показать свои контакты. Лучшие документы их контактов находятся в дневниках Кармен Герц и Вальтера Бенямина; в такой форме их дневники не были предусмотрены для публикации» [Heeke, 2003, с. 447–448].

тельница хорошей буржуазной гамбургской семьи, совершила поездку в советскую Россию, где написала подробный дневник, опубликованный только в 1974 году весьма скромным тиражом в 300 экземпляров. Дневник, который, хотя и не достигает литературной ценности статей Й. Рота, безусловно, является одним из самых интересных документов о России тех лет. Дневник приобретает еще большую привлекательность в силу того, что в очерках или портретах Герц мы узнаем среду, ситуации и обстановку, описанные в других книгах, например, Москву из «Мастера и Маргариты». Безусловно, роман Булгакова начинается свою длинную и сложную историю в 1928 году, т.е. пять лет спустя после путешествия Герц, но атмосфера примерно такая же, хаотичная и несколько «взвихренная»: идеология и нищета, лачуги и шикарные рестораны, грандиозные театральные постановки и сиротские приюты почти без средств. Как, например, не вспомнить протест некоторых членов МАССОЛИТА против критерия принятия в Перельгино, когда читаем о посещении Кармен дома отдыха ученых, в который после строгого отбора приняли только нескольких счастливых? И нэпманы, нувориши, эксплуататоры, авантюристы, коррумпированные чиновники, выглядывающие из страниц дневника, не похожи ли они на булгаковских? Не говоря уже о Лапшенниковой, секретарше издателя, которому Мастер предложил свой роман. Секретарша, «стараясь не попадать своими глазами в мои, <...> сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на два года вперед и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает» [Булгаков, 1988, с. 142]; Лапшенникова кажется «вырезанной» по фигуре «маленькой бесстыжей латышки» в Смольном, отказавшейся вернуть Кармен паспорт. Как не думать о сцене в «Грибоедове», как-то напоминающем реальный московский ресторан «Эрмитаж»: «Слуга покорный, – трубил Амвросий, – представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, Фока!» [Булгаков, 1988, с. 60].

Как не помнить эту сценку, когда Герц рассказывает о своих (немногих) обедах в «Эрмитаже» после визитов к бывшим аристократам, которые не могли ее угощать ничем больше, как чаем с черствым хлебом? В знаменитом «Эрмитаже» Кармен бывала, как кажется, не очень часто: она вообще не любила ту публику – большинство чиновников немецкого посольства и меньше всего их жен, банальных мещанок в Германии, но выдающих себя за гранд-дам в советской Москве. «Эрмитаж». Так, Герц пишет:

... самое шикарное заведение Москвы, заведение иностранцев и нэпманов. Нелепо дорогой. В час началось кабаре, которое каждый день продолжается до четырех. В половине третьего мы вышли, потому что я больше не выдержала. За одним столиком сидел секретарь персидского посольства. За большим центральным столом целое немецкое посольство, включая Ранцау и Хильгера³: они сидели там, как на показ, пили шампанское и боуль⁴. Так, вечер за вечером, они сидят один рядом с другим, тратят бешеные деньги и думают, что это развлечение [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 69]⁵.

Часто можно читать резкие оценки о поведении представителей германского посольства:

Что же знают эти немцы о Москве? Они живут в больших домах русских, убежавших из родины, как мы убежали в 1918 г в Брюссель. Они движутся только на автомобилях, превосходно едят, совершают туалет, сидят за своими письменными столами и обмениваются любезностями с русскими главами. А это представители нашей мизерной сегодняшней Германии! [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 36].

³ Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау / Ulrich von Brockdorff-Rantzau (Шлезвиг, 1869 г. – Берлин, 1928 г.) был немецким дипломатом, министром иностранных дел Германии в 1919 г., первым министром иностранных дел Веймарской республики, послом Германии в СССР до 1928 г.

Густав Хильгер / Gustav Hilger (Москва, 1886 г. – Мюнхен, 1965 г.) – немецкий дипломат, с 1923 г. до 1941 г. был сотрудником, а затем советником посольства Германии в СССР.

⁴ Летний «декоративный» коктейль из зрелых фруктов и вина.

⁵ Здесь и далее перевод «Дневника путешествия в Москву и Петербург. Май-август 1923 г.» К. Герц сделан Уго Перси. – *ред.*

Именно благодаря его способности воспроизводить настоящую жизнь, дневник Кармен Герц передает портрет Советского Союза тех лет, написанный техникой, противоположной технике, примененной Й. Ротом.

В конце почти каждого московского или петроградского дня Кармен писала более или менее подробный отчет, в зависимости от оставшихся у нее времени или физических сил, но всегда весьма живой. В отчетах автор часто пишет о своих обсуждениях, беседах или просто болтовне, как с учителями начальных школ, так и с директорами вузов и даже с тогдашним главой Наркомпроса. Анатолия Луначарского Кармен увидела в первый раз 19 июня в ложе МХАТ на аристофановской «Лисистрате»:

... у него точно такой же вид, как у наших буржуазных министров; с ним нарядная спутница в черном декольте без рукавов [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 75].

Прием у Луначарского в Наркомпросе состоялся 20 июня в 12 часов, беседа продолжилась только полчаса:

Он хорошо говорит по-немецки, долго жил в Берлине как сосланный революционер. Насчет всего он утверждал, что здесь все только начинается; что только некоторое времени назад (впрочем, что именно изменилось?) не было денег; что почти ни одного ожидания явно не осуществилось нигде. <...>. Он говорил о работе Государственного издательства. <...>. Потом мы говорили о театре. Несколько дней назад на представлении «Лисистраты» какой-то американец появился у него в ложе и сразу заключил контракт на пятьсот спектаклей в Америке. <...> Ему кажется интересно, что, вопреки всему, за границей оценивают настоящий театр, который он в Москве защищает и, может быть, разовьет. <...> Беседа с этим «комиссаром», в общем, была не очень интересной. Он не выдающаяся личность [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 81–82].

На спектакль «Лисистрата» в МХАТ Кармен Герц была приглашена директором театра, Владимиром Немировичем-Данченко. С ним она познакомилась 9 июня в том же театре на оперетте Жака Оффенбаха «Перикола»:

... режиссером был сам господин Немирович, который уже двадцать лет является содиректором Станиславского. Ему шестьдесят шесть лет, он очень приветливый. В антракте он пригласил <...> меня перекусить в его маленьком кабинете, рассказал о многом. О театре я ничего не знаю, всю жизнь он меня разочаровывал. Как мне не везло! Этот вечер был очаровательным [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 53].

В Москве Кармен так увлекалась театром, что на следующий день снова оказалась в МХАТ по личному приглашению Немировичей: шла оперетта Шарля Лекока «Дочь мадам Анго». В антрактах, как вспоминает Кармен,

господин Немирович рассказывал, что актеров главной творческой группы уже три года задерживают за границей. По этой причине он осуществил проект – поставить старые оперетты в новом стиле с помощью новых сил «музыкальной студии». Сначала «Мадам Анго», потом «Перикола» и сейчас готовится «Орфей в аду». Игра и пение чередуются почти неувлимо, все весьма органично. Он сказал, что многие, даже среди поклонников МХАТ, считают этот подход отклонением от нормы, совращением, однако он убежден в том, что “с’est du vrai théâtre⁶”. Он хочет, чтобы я об этом писала: с каким удовольствием я бы ему оказала эту услугу, если бы я только умела писать! [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 60].

Кармен Герц встречалась также с представителями обедневшей аристократии. Их жизненные условия вызывают у нее глубокое сочувствие. Была она и у князя Оболенского, семья которого жила в маленькой комнате: Кармен и княгиня беседовали, сидя на стульях между кроватями, на которых сидели на корточках невестка с ее детьми. Познакомившись с семьей Оболенских, Кармен поняла, что они жили в такой нищете, что не могли себе позволить купить сыну Сергею даже билет в кино. Кармен, которая тоже не купалась в золоте, не получив от семьи никакой финансовой поддержки, все-таки пошла в кино с молодым князем. Так Герц комментирует визит у Оболенских:

⁶ Это настоящий театр (*фр.*).

И кроме всего – мучительная проблема будущего. Будет все хуже и хуже. Скоро все драгоценности будут проданы, цены растут, зарплата не растет. <...>. Все очень печально. Пожилая княгиня рассказала о ее шести детях; они со своими детьми живут, кто во Франции, кто в Германии, кто в Персии. Все несчастны и в нищете. Их семья – семья высокой культуры. Сама княгиня была подругой Тургенева и всего его entourage⁷. <...>. Княгиня сказала, что она очень волнуется за дочку, еще живущую в Москве. Ее муж был одним из самых крупных помещиков, предводителем дворянства, а теперь он большой человек, негодный для работы. Они живут в берлоге, их дочка всегда на улице и только ищет развлечения [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 63].

На следующий день Кармен навестила княгиню Урусову, живущую в крошечной комнатке ее бывшего дома:

На стенах висели фотографии комнат, которые когда-то были картинной галереей, библиотекой и т.д. У нее остались еще хорошая французская картина XVIII века и несколько предметов драгоценной мебели. С этой точки зрения ее дела обстоят лучше, чем дела провинциального дворянства, которое не имеет просто ничего. Сказала, что продает штуку за штукой и что до смерти ей хватит. <...>. Ее муж умер двадцать три года тому назад и единственный сын, чьи фотографии она мне показала, и который явно был настоящим красавцем, покончил собой самоубийством, отчаявшись, что ему не удалось сотрудничать с революционным правительством. Она была гранд-дамой, была очень красивой [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 66].

Не все бывшие богачи живут в нищете: большинство аристократов жило на ренту – исчезла рента, исчезло и богатство. Те, кто, наоборот, в свое время обрел богатство в результате предпринимательства, могли себе позволить определенные удобства во время НЭП, как, например, Юлиус Гейс⁸. Кармен Герц навестила его в особняке на Софийской набережной:

⁷ Среда, кружок (*фр.*).

⁸ Юлиус Гейс / Julius Heuss сначала был компаньоном Фердинанда Теодора фон Эйнема, основателя знаменитой кондитерской фабрики. В 1876 г., после смерти фон Эйнема, Гейс стал директором, а после революции – коммерческим советником. В советское время фирма была переименована в «Красный октябрь».

Его большой шоколадный завод (фон Эйнем⁹) был экспроприрован. Дома у него живет семья профессора, во всем остальном ему не мешают. Гейс живет с женой и сыном; его две замужних дочери в настоящее время находятся в Крыму. Кроме меня, среди других гостей были две супружеских пары и два молодых человека из посольства, и еще одна пара русских. Нам подали обед, в Германии просто немыслимый: икру, осетра, лосося, мясо, курицу, салаты, торты, все полито водкой, кавказским красным вином, боулем, и все без определенного порядка блюд. Гейс рассказывает много интересного, он много увидел. Очень оживленная атмосфера. Гейс обо мне говорит, как о «культурном феномене». Потом мы пьем боуль на террасе: на фоне – фантастический силуэт Кремля. Все за мной ухаживают. <...> Они у меня все в кармане, никогда столько мужчин мне не целовало руку в один вечер. Предлагают жилище в гостинице «Савой»¹⁰ или частную комнату <...> Этим людям я ничем не хочу быть обязана [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 31–32].

Ряд русских знаменитостей, которых Кармен Герц встретила во время своего пребывания в СССР, включает также художника и искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря. С ним она познакомилась в Третьяковской галерее 8 июня. Она спросила его о возможности послать некоторое количество икон на берлинскую выставку, автором не определенную. Грабарь ответил, что финансовая ситуация не позволяет отправить посылку. Кроме того, он рассказал гостье об особенностях своей работы над иконами, обещал показать ей вещи более интересные при будущей встрече в Кремле. В самом деле, вторая встреча состоялась 16 июня: Игорь Эммануилович показывает гостье мастерские для реставрации икон. Эту работу проводят специалисты из Владимира, принадлежавшие семьям реставраторов. Все отреставрированные иконы, кроме самых драгоценных, должны были возвращаться в церкви, для которых они были созданы. В музее нагромождено невероятное количество серебряных предметов, среди

⁹ Несмотря на переименование, фирма пользовалась такой репутацией, что все продолжали ее звать дореволюционным названием.

¹⁰ В 1958 г. переименована в «Берлин».

которых немало немецкого производства. В кремлевские дворцы и церкви не пускают, идет съезд Центрального исполнительного комитета. Однако, как увидим, Кармен не сдалась: 3 июля ей удалось осмотреть достопримечательности Кремля и не только.

Интересна предыстория этой экскурсии по Кремлю. 2 июля Кармен безрезультатно пыталась получить от Наркомотдела пропуск: там она наивно объясняла, что хочет слушать Сталина. Очевидно, никто не помог. Она продолжает рассказ так:

В конце концов <...> меня вывели из терпения, я вернулась в отдел по связям с прессой, где уж нахохотались над моей ревностью. Сказала: «Пожалуйста, напечатайте на машинке не важно что на листке вашей официальной бумаги, например: “Сегодня хорошая погода” или еще что-нибудь». – «Почему?». – «Потому что думаю, что часовые умеют читать по-русски столько, сколько я умею». Захотели, что-то напечатали, и я убежала с моим листком [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 104].

Наконец, 3 июля Герц появилась у ворот Троицкой башни:

Два красногвардейца с примкнутыми штыками стояли по сторонам узкого моста над сухим рвом. С листком в руках я прошла перед ними. За мостом, в воротах, еще два красногвардейца: зачем им моя бумажка? Я пошла прямо, и вот я оказалась в Кремле. Золото круглых византийских куполов на древних церквях ослепительно сияли на солнце [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 107].

Следует короткое описание осмотра кремлевских достопримечательностей:

В тот момент с левой стороны через узкие ворота Троицкой башни струился поток людей. Как черная гусеница, делегаты шли на съезд в большой кремлевский дворец, он тоже одно из созданий рокового Тона. И туда исчезли. Захотелось вернуться домой. Мне стало страшно. Как во сне, ноги стали тяжелыми, не знала, как присоединиться к кому-нибудь. Это та нереальная тоска, которая не дает всплывать сознанию опасности и все равно парализует силы. Наконец я собрала все свои силы, человеческая гусеница становилась все тоньше, уже

приходили только опоздавшие, к которым я присоединилась. Поднималась на красных половиках по многим, очень многими ступенькам. Наверху – длинный коридор, кружки беседующих людей. <...>. От возбуждения у меня бежали мурашки по спине <...>. Сначала я думала, что меня выгонят. Наоборот, никто не обращал внимания на молодую иностранку в строгом тайёре. Я там сидела часами, слушала ораторов и удивлялась: около ста пятидесяти делегатов, большинство их – крепкие крестьяне. Перед трон¹¹ поставили павильон, под ним была трибуна ораторов. Сталин, чью фотографию я ранее попросила, говорил долго и убедительно. Мне сказали, что обсуждалась конституция Союза Советских Республик¹². Зал – бел с большим количеством золота и матового зеленого цвета, огромный. Все столы на трибуне и в зале были покрыты красным сукном. Ничего нет возбуждающего. Как во всех парламентах, делегаты курили, читали газету и болтали. Троцкого не было. <...>. Ушла много часов позднее, еще долго я медлила у парапета большой террасы и любовалась обширной панорамой на город и его окрестности. Никто не может поверить, что мне удалось, но это правда, и было очень просто [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 108–109].

24 мая Кармен навестила Петра Петровича Лазарева¹³, известного физика, академика АН СССР, чтобы ему передать пись-

¹¹ Съезд проходил в Андреевском зале.

¹² Проект Конституции СССР был одобрен 6 июля II сессией ЦИК СССР, которая приняла постановление «О введении в действие Конституции Союза Советских Социалистических Республик». 31 января 1924 г. конституция была единогласно принята Вторым съездом Советов.

¹³ П.П. Лазарев (Москва, 1878 г. – Алма-Ата, 1942 г.) по окончании гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1916 г. был избран профессором физики Петроградского университета, в 1917 г. – академиком Российской академии наук. Созданные П.П. Лазаревым рентгеновские учреждения были хорошо оборудованы и пользовались большим авторитетом. Когда понадобилось подвергнуть рентгеновскому исследованию заболевшего В.И. Ленина, это было проведено в рентгеновском кабинете-лаборатории Лазарева. После 1929 г. его несколько раз арестовывали. Во время Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Алма-Ату, где и умер. П.П. Лазарев похоронен в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.

мо от его немецкого коллеги Вильгельма Вестфалья¹⁴. В то время Лазарев был ответственным лицом Дома ученых, в котором жила Герц¹⁵. Условия этого общежития гостиничного типа были далеко не идеальны, но Герц со своей нравственной строгостью отказалась от других предложений. С присущей ей прямоотой она пишет:

Сказала, что хочу остаться там, где я живу. Что я приехала к русским, а не к немцам, и что я никем не возмущена. Возмущена только собой, потому что жить там мне оказывается тяжело [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 21].

К Лазареву Кармен вернулась 14 июня, в их служебной квартире при Институте физики ее приняли ученый с женой, «приятливой и крайне застенчивой». Так продолжается отчет визита:

Задача Лазарева – эксплуатация огромного месторождения железа около Курска: правительство его глубоко уважает как нужного и результативного исследователя. Он имеет автомобиль, награжден орденом Красного знамени и т.д. Сначала он вел себя сдержанно и меня спросил, имею ли я об их жизненных условиях такое же впечатление, как Вестфаль. Когда я сказала, что мое впечатление значительно хуже, что я нашла больше нищеты, чем ожидала, он оживился. Рассказал, что университеты находятся в полуразрушенном состоянии; что Наркомпрос, несмотря на все его теоретические эксперименты, ничего не понимает в потребностях научных учреждений. <...>. Потом он говорил о своих работах: окончательно доказана гипотеза, по которой земное ядро состоит из чистого железа. Курское месторождение, т.е. его исследовательское поле, похоже на язык, взорванный из ядра. Дальше говорил о “курской магнитной аномалии”, т.е. колебании магнитной стрелки. Намеревается скоро об этом говорить в Германии, Америке и Швеции. Он неловкий, неуклюжий, просто ребенок. О Гейнрихе Герце он выразился в восторженных словах [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 68–69].

¹⁴ Вильгельм Гейнрих Вестфаль / Westphal (Гамбург, 1882 – Берлин, 1978). С 1922 г. по 1924 г. работал экспертом консультантом при Прусском министерстве науки, искусства и народного образования.

¹⁵ На улице Пречистенка 16. В то время улица уже называлась Кропоткинской.

В Петроград Кармен Герц приехала 11 июля: на вокзале ее ждали представители DERUTRA¹⁶, они отвезли ее на машине в гостиницу Дома ученых на улице Халтурина (ныне Миллионная). Погода, которая в те дни была лучше, чем в Москве, и яркость неба вдохновляют Герц на первые экскурсии: Петроград, как и Москва, сильно пострадал от революционных событий, потерял титул столицы, и это отразилось на его внешнем виде. Пусты его большие здания и дворцы, хотя ощущение пустоты чувствуется везде:

Это впечатление, которое производит провинциальный город. <...>. С любой точки зрения, Москва – настоящее, жизнь. Там я жила как в лихорадке, а здесь – прошлое, мертвая тишина [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 118].

Ощущение пустоты усиливается в следующие дни:

Я себя чувствую, как в вакууме. Люди, с которыми я вхожу в контакт, тоже далекие, далекие, или же сама я далекая, не знаю, что это такое [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 124].

Это необъяснимое ощущение сочетается с тяжелой социальной и политической атмосферой, созданной под руководством Г.Е. Зиновьева:

Вдруг в поиске телефона (в гостинице «Европейская». – У.П.) мы встретили бедного финна, который нам рассказал историю всех его бед и нас предостерег: каждый телефонный разговор, даже каждое слово прослушивают и контролируют. Здесь владение Зиновьева. Его режим все еще террор, который в Москве в какой-то мере утих перед требованиями повседневной жизни [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 119].

Опустошение Петрограда не мешает Кармен смотреть и любоваться достопримечательностями города, которые ее всегда поражают величиной, но не всегда красотой:

¹⁶ *Deutsch-Russische Transportgesellschaft.*

... я посетила Исаакиевский собор. Его архитектура некрасива, однако, как все здесь, она величава по размерам [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 116]; Потом я вошла в Казанский собор, красивый и впечатляющий с его огромными колоннами [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 120].

Однако путешественница душевно встревожена, ее чувства колеблются. От ощущения какой-то приятной уединенности и личной свободы первых дней она переходит к тревожному ощущению изолированности:

В Петербурге нет официальных и прямых почтовых связей с Германией <...>, поэтому я нахожусь полностью вне мира. Пока я наслаждаюсь этим положением и беззаботно отдаюсь ему [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 121].

Через несколько дней:

Думаю, что я заплачу от восторга, когда вернусь домой [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 159].

Иногда город оживляется: 22 июля, например, Герц остановилась на Дворцовой площади, чтобы посмотреть воскресный парад комсомольцев:

Дети, девушки, мальчики, парни в плотном, жестком, чисто армейском строю <...>. День сияющий, духовые оркестры играют звонкие армейские марши, от которых я прихожу в восторг [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 138–139].

В восторг Кармен могла бы прийти также от изобилия предметов антиквариата, продававшихся в то время в бывшей столице роскоши, если бы только она могла себе позволить такие покупки, и если было бы возможно их вывезти из страны. Конфискованная мебель и утварь были сначала накоплены на складах, а потом выставлены на аукцион. Правительство нуждалось в деньгах.

Здесь люди имели вещи превосходного качества: изделия из бронзы, картины, драгоценный мейсенский фарфор со знаком Марколина¹⁷, русский и французский фарфор, драгоценная мебель ампир, изделия искусства Дальнего Востока. <...> Единственными покупателями являются немногие иностранцы, находящиеся в Петербурге, тем не менее запрет вывоза и общий недостаток денег снижают цены до весьма низкого уровня. Опять это выгодно только иностранным дипломатам. <...> Мне случилось видеть, как за ношеное мужское пальто человек заплатил в десять раз дороже, чем за хорошее изделие из бронзы стиля ампир или картину голландского художника XVII века [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 121].

Шедевры живописи и прикладного искусства находились также у некоторых частных лиц. Так, например, граф Валентин Платонович Зубов продолжает жить в своем особняке: он спас свои коллекции благодаря тому, что «сумел превратить дом в Институт истории искусств и сам стал членом Коммунистической партии» [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 155]¹⁸. После визита к графу Кармен пошла на набережную реки Мойки, д. 112, кв. 14, к бывшему директору отделения живописи Эрмитажа, некоему доктору Брасу. Он жил на пятом этаже: ей открыл явно раздраженный и недоверчивый человек. Перед искренним удивлением и заинтересованностью Герц при виде стольких шедевров, хозяин успокоился и открыл ей самое драгоценное, настоящие жемчужины: Мемлинга, Рубенса, Тинторетто.

Однако доктор Брас сказал, что коллекция в то же время является его наказанием, потому что, если бы ее не было, он бы уже давно покинул Россию. А так, наоборот... Продать ее не может, взять с собой

¹⁷ Первый период производства мейсенского завода связан с художественным правлением Йоханна Йохима Кандлера (1731–1774), развивающего в фарфоровых изделиях формы и вкус эпохи барокко. Следующее правление Камилло Марколини (1774–1813) отличается более легким стилем неоклассицизма.

¹⁸ Еще существующий как таковой на Исаакиевской площади, д. 5. В описании фигуры графа, умерший в эмиграции в 1969 г., Герц слишком схематично передает его личность и деятельность: заслуженный деятель культуры и высшего образования, которым был В.П., в какой-то мере выглядит приспособленцем.

тоже не может, покинуть не хочет. Он один со своим сокровищем <...> [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 156].

28 июля Кармен получила заказную посылку от князя Николая Леонидовича Оболенского, которого она встретила в Москве. Посылка содержала письма Льва Толстого любимой дочери Марии, первой жене князя. Он попросил Кармен взять их с собой в Германию и оттуда послать в издательство в Лондон¹⁹.

Несмотря на тяжелую атмосферу, психологически давящую на настроение Кармен, неуместно думать, что в Петрограде Герц была в поиске отрицательных примеров о трудном положении значительной части русского населения. У нее не было цели отдать на растерзание европейским реакционным средам и таким образом дискредитировать правительство революционной России:

Я непременно должна читать Маркса и Ленина, – пишет Герц, – потому что честность к себе самим, критика себя самих, вот ядро ленинской догмы, и что составляет основное разногласие с буржуазным миром [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 146–147].

Сугубо культурное намерение Герц при решении поехать в Советский Союз явствует из ее частых визитов в образовательные заведения, от начальных школ до рабфаков, как в Москве, так и в Петрограде и их окрестностях. По ее мнению, что касается бывшей столицы, уровень ее школ и вузов очень удовлетворительный. 26 июля вечером Кармен навещает профессора Альберта Петровича Пинкевича²⁰, ректора Педагогического института и Дома ученых. На следующий день Герц посетила ин-

¹⁹ Насколько мне известно, первое издание 112 писем, датированных от 1881 г. до 1906 г., вышло в 1926 году: [Толстой, 1926, с. 216–291].

²⁰ А.П. Пинкевич (Урунда Уфимской губернии, 1884 – Москва, 1937) в 1918 г. возглавил Совет экспертов по народному образованию при Комиссариате просвещения Союза коммун Северной области. Член РКП(б) с 1923 г. А.П. Пинкевич был одним из организаторов и первым ректором Государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Был **расстрелян**. В 1956 г. реабилитирован.

ститут, присутствовала на зачетах, осматривала лаборатории. На стене одной из них увидела портрет ее дяди Гейнриха, собрала много материала и данных об организации и структуре института. 28 июля вместе с Пинкевичем посетила городскую высшую партийную школу, так называемый Университет им. Зиновьева, расположенный в Таврическом дворце (Урицкого). В тот же день была у директора рабфаков А. Клавс-Клавиен, а 31 июля – на даче графини Шуваловой, преобразованной в колледж: летом там шли двухмесячные курсы для преподавателей и студентов Педагогического института.

Большую часть времени своего пребывания в Петрограде Герц посвятила посещению музеев: отчеты о сохранении, дотации и проблемах собраний Петрограда составляют значительную часть ее дневника. Осмотры музеев начинаются 12 июля с музея Александра III. 15-го – в Эрмитаж, в котором открыли бесконечный ряд новых залов: она восторгается «Данаей» и «Возвращением блудного сына» Рубенса. На следующий день снова в Эрмитаж, чтобы передать письмо директору Сергею Тройницкому²¹. Он ее представил своим сотрудникам: они ей рассказали о картинах, которые были переданы Польше после мирного договора, о тех произведениях, которые были эвакуированы в Москву в 1917 году, чтобы избежать возможного вторжения немцев, о трудности их получить назад, об обилии произведений, которые должны быть размещены после конфискации частных собраний. Эти образованные люди приспособлялись к таким новым обязанностям, как, например, ночной охране, чтобы защищать собрания от любого риска. Тройницкий представил ее также известным художникам, таким, как, например,

²¹ Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948), знаменитый геральдист и искусствовед, был одним из основателей журнала «Старые годы». В 1915 г. стал хранителем отдела древностей Эрмитажа, в 1918 г. – заведующим и хранителем вновь организованного отдела прикладного искусства нового времени. В том же году был избран директором Государственного Эрмитажа. В 1935 г. арестован как «социально опасный элемент».

Александр Николаевич Бенуа и Эрнест Карлович Липгарт. 17-го июля Герц пошла в Революционный музей, временно размещенный в Зимнем дворце, потом в библиотеку Эрмитажа, пользуясь *паспорту* к служебному входу со стороны Невской набережной. 20-го – в Гатчину: царские апартаменты остались нетронутыми революционерами, но выражают трогательную и обезоруживающую нехватку вкуса:

... коллекция Александра II обнаженных натур в ванной, цветные почтовые открытки Александра III, наклеенные по стенам вместе с неисчислимыми семейными фотографиями [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 135].

Герц глубоко сочувствует печальной судьбе отдельных аристократов, с которыми она встречалась в Москве и Петрограде, однако не оказывает сочувствия их слою как таковому:

Эти люди, вполне лишённые чувства реальности, имели возможность распорядиться жизнью и смертью миллионов подданных. Не могу понять. На культурной, духовной и человеческой плоскости уровень королевских семей в последние десятилетия значительно отстал по сравнению с хорошим образованием буржуа. Что может оправдывать привилегии и богатства, кроме неоспоримого превосходства во всем? Сегодня буржуа, в свою очередь, закостеневают в формулах и удобных клише [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 165].

Посещения императорских дворцов продолжается вплоть до дня отъезда, о котором, впрочем, Кармен ничего не знала, так как не было известно, будет ли какой-нибудь капитан, который будет готов взять ее на борт своего корабля. Первая okazия появилась 7 августа: ей сообщили, что 8-го она должна будет оказаться на борту парохода «Пауль Русс»²². 6-го Кармен еще гуляла по пустым и нетронутым апартаментам Екатерининского и Александровского дворцов:

²² 10 августа, после двух дней ожидания на борту, Герц отправилась в порт Фленсбурга.

Опять у меня было ощущение, что я непрошенный гость в частных помещениях [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 169].

И еще раз она удивляется мещанским вкусом императорской семьи, трагически покинувшей свой «дом»:

На стенах спальни висели пасхальные яйца, иконы и почтовые цветные открытки, невероятный кич. Шел дождь [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 169].

Эпоха, описанная Кармен Герц, та же, которую вспоминал Й. Рот на одной лекции о своем путешествии: «Помните, что значил в ушах немецких буржуа звук слова “большевик” только несколько лет назад» [Roth, 1981, с. 9]. В предисловии к своему дневнику Кармен Герц, рожденная в семье крупной гамбургской буржуазии, откровенно говорит, что для нее значило это слово в отношении к новым «господам» России до ее отъезда в СССР: убийцы и воры.

Именно в свете такого суждения или предрассудка нужно смотреть на дело, в которое она ввязалась. Несмотря на то, что и Германия тогда разлагалась в безнадежной экономической ситуации, что немцы также оказались в условиях неудержимой инфляции, все-таки поражает, что женщина, принадлежащая такой зажиточной семье из богатого и комфортабельного города, решила поехать одна в страну, о которой говорили все возможное плохое и которую она сама определила как притон убийц и воров. Что же ее подтолкнуло поехать в Россию и найти в себе достаточно сил, чтобы встретить «людоеда» лицом к лицу? Гуляя в Петрограде по Невской набережной, князь Нарышкин сказал ей, что она приехала в Россию, чтобы учиться, чтобы узнать, могли ли политические решения России подойти Германии. Кармен ответила, что у нее не было определенного повода, однако сухость ответа выдает ее затруднение из-за того, что человек, о котором несколько дней назад она знала только величественную фамилию, неожиданно раскрыл ее мысли.

Однако это только предположение. Настоящую причину путешествия Кармен в Россию необходимо искать в ужасах Первой мировой войны, которые выпали также на семью Герц. Об этом автор открыто не говорит, но подсказывает ее сестра Герта, редактор дневника, во вступительном слове к изданию: после смерти брата Карла Гейнриха в небе над Францией Кармен начала размышлять над силами, вызывающими великие исторические события. Октябрьская революция – это не только обычное историческое событие и как таковое не могло не входить в культурный кругозор Кармен. Чтобы оказаться достойной погибшего брата, чтобы каким-то образом занять его место в подвиге, который он больше не мог совершить, она поехала на «поля битвы», которые, как сказал ее отец, не место для женщин, и она, впрочем, не Мадам де Сталь:

Если бы Карл Гейнрих был еще жив! Он точно не обратил бы никакого внимания ни на что и перешел бы к действиям [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 163].

Безусловно, она не была Мадам де Сталь и ее дневник не похож на «De l'Allemagne», однако дух, его оживляющий, соответствует духу знаменитого дневника женеvской путешественницы, вызвавшей дискуссию между классицистами и романтиками столетием раньше. Это дух, побуждающий к познанию и открытиям новых видов реальности, дух, вдохновивший экспедиции Александра фон Гумбольта и озаривший размышления Иммануиля Канта, который никогда не покидал родной город Кенигсберг и все-таки признал важность путешествий в качестве предпосылки к освобождению человека от предрассудков: «Путешествие многому обучает: оно нас освобождает от предрассудков народа, религии, политики, семьи, воспитания» [Kant, 1801, 15].

Подтверждение того, что Кармен Герц поехала именно по этой причине, нашлось по ее возвращении на родину, когда она поняла, что интересующихся ее рассказами о СССР можно было пересчитать по пальцам, при этом почти все считали себя в праве

читать ей проповеди о той стране, выражали мнения, которые, не будучи подкрепленными личным опытом, очень походили на те предрассудки, от которых Кант призывал освободиться. Она же на протяжении всего своего пребывания в России пыталась смотреть на реалии трезвым взглядом: «Редко я сваливаю все в одну кучу», однако в сложной советской действительности быть объективной у нее получалось с трудом:

Каждый смотрит все через свой темперамент и осуждает по своему опыту, кто меня тянет в одну сторону, кто в другую... [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 34–35].

Тем не менее, именно потому, что Россия в то время играла роль «причины скандала», Герц, благодаря своему решению познакомиться с ней, испытала влияние разных сил, которые сделали из нее не туристку, а путешественницу. Своей поездкой она как будто ответила на вопрос, заданный около двадцати лет спустя английским писателем Ивлином Во и французским антропологом Клодом Леви Штроссом, о том, что дневники как переработки путешествий уже являются творчески полностью выравненными глобальным туризмом²³. Оба подвергли критике постепенную потерю в опыте путешественников четкости таких понятий, как «внешний» и «внутренний», «свой» и «чужой», «знакомый» и «экзотический». Потери, которая их превращает в обычных туристов: они «обвиняли туристов», – так комментирует их позиции итальянский ученый Мауро Пала в своем историческом обзоре травелога, – «в отсутствии просветительной составляющей путешествия как результате преодоления испытаний, позволяющих изменить навсегда их жизнь и отношение к миру. Подчеркивали способность путешествия внутренне преобразовать путешественника, утончить его критическую способность, ничего общего не имеющую с рассеянным развлечением туриста в отпуске» [Pala, 2003, с. 57].

²³ См.: [Waugh, 1946]; [Lévi Strauss C. / Леви Штросс, 1984].

Кармен не возвратилась в Гамбург с впечатлением в целом положительным о советском революционном эксперименте: особенно горьки последние страницы дневника, доказывающие, что свой отъезд из Советского Союза она считала побегом из тюрьмы. То, что она написала в последний день в дневнике на балтийском острове Зюльт, сидя на дюнах, счастливая перед морем в шторме, не оставляет сомнения в ее жажде свободы, простора, бесконечности. И все равно на родину она вернулась без предрассудков: Советский Союз еще является страной-лабораторией, все в процессе перемен, ничего нет стабильного и гарантированного, его контрасты – нетерпимо вопиющие, однако его вожди, ответственные лица этой лаборатории, для нее уже не «убийцы и воры», а люди, которые отказались от имущества и привилегий еще до того, как узнали, осуществится ли революция в России. Ругательства, которыми европейская буржуазия их осыпала, не что иное, как «трусость и лень» [Hertz-Finckenstein, 1988, с. 171]. Герц, напротив, не побоялась и поехала «смотреть», выравшись из жизненных удобств счастливой женщины. Путешествие Кармен Герц как будто воплощает принцип, сформулированный А.В. Полонским: «Путешествие как семантический переход от повседневного к неизвестному опыту, от монолога к диалогу всегда обращает человека не только к новому, наблюдаемому, но и, через память, к близкому, известному, созвучному» [Полонский, 2013, с. 175]. Похожее мнение, но в социальной перспективе феномена путешествия, выражает Эрик Лид: «Территориальная мобильность нам предоставляет главную метафору социального преобразования, т.е. метафору социальной мобильности, которая предлагает модификации социального индивида как “перемещение” из одного социального места в другое. Территориальная мобильность, безусловно, была для человека важнейшим способом изменения собственного организма и социальной сущности» [Leed, 1992, с. 251].

Какими бы ни были суждения немецкой путешественницы о СССР, обоснованными или поверхностными, они все равно

были искренними и бескорыстными, порой наивными, но всегда честными, вытекающими из страстного, любознательного ума и, как уже было отмечено, они отличаются богатством фактов, встреч, событий, впечатлений.

Стоит коротко продолжить прерванное сравнение дневника Герц с книгой Й. Рота, так как они представляют собой два образцовых документа жанров «дневник путешествия» и «отчет путешествия». Рот явно стремится к безличности, к невозмутимому наблюдению действительности: при чтении его книги возникает впечатление, что он, даже в качестве журналиста, остается романистом, всезнающим повествователем, объясняющим то, что он уже прекрасно знает, т.е. сюжет и развязку. В конце концов, эта постановка проблематики справедлива: он пишет для читателей определенной газеты, которые прежде всего желают получить утверждение их непоколебимых истин. В отчете Рота часто встречаем факты и реалии, похожие на уже пережитые и описанные Герц, однако его отношение к этим реалиям – отношение знающего, не удивляющегося наблюдателя, имеющего под рукой готовый, «научный» ответ. Такое отношение подчеркивает некую отчужденность, определенное «остранение», которое вселяет в читателя уверенность, но его сердце не трогает и не горячит. «Путешествие» Й. Рота – подходящий комментарий к «Дневнику» Герц, который, правда, представляет собой больше, чем отчет, и больше, чем обычный дневник, это – интимный дневник.

Итальянский исследователь Эмануэле Канчефф прав, когда утверждает, что эти два жанра, отчет и дневник путешествия, не следует четко разделять, потому что их разница не настолько велика [Kanceff, 1985, 19–21]. С другой стороны, нужно иметь в виду, что одно дело – дневник, в котором автор, даже не скрывая личные мнения, описывает посещаемые страны с единственной целью – рассказать читателю о встречах, о людях, об увиденных местах; другое – дневник, в котором, кроме «физических» наблюдений, автор изливает смесь своих чувств попеременно с противоречащими наблюдениями. На мой взгляд, «Дневник» Кармен

Герц – совершенное слияние отчета путешествия и интимного дневника, создающее «дневник пребывания на иностранной земле». В самом деле, внимание, отведенное Герц путешествию как перемещению, далеко не основная часть текста: некоторые замечания о плавании из Щецина в Ригу, два-три штриха о пейзаже, виденном из поезда между Ригой и Москвой, впечатления об остановках на границе и в буфетах, поездка из Москвы в Петроград (город, который она всегда называет Петербургом), и, наконец, возвращение на корабле из Петрограда в Фленсбург: беглые впечатления и разговоры с капитаном и членами экипажа.

Из вышесказанного следует, что суть дневника – впечатления дней, проведенных в столице и бывшей столице. Именно этой характеристикой дневник привлекает, порой захватывает читателя. Он умеет погружать читателя в самую жизнь тогдашней России, потому что автор жил достаточно долго в двух городах, в которых формировалось будущее всей страны. Если, по сравнению с Ротом, в отношении к переменам советского общества Герц иногда нам кажется чуть наивной, если она часто нам открывает свою душу и говорит, что не умеет выразить четкое мнение о великих событиях, ею наблюдаемых, все равно мы чувствуем себя удовлетворенными массой объективных данных, которые она сообщает. Ценность ее дневника в описании *descensus ad inferos*²⁴ политической и социальной жизни послереволюционной России: читатель чувствует, что, несмотря на маловероятную объективность такого рода отчета, Герц, безусловно, поехала с точно определенным мнением, однако не с целью вынести приговор. Еще больше читатель это чувствует, потому что сам видит себя вовлеченным в движение противоположных чувств, противоречивых и непонятных феноменов, меняющихся и волнующих реалий. От безоглядного отказа социополитического строя советской России в начале путешествия Герц перешла к сознательному неодобрению в конце, пройдя через постоянные колебания между энтузиазмом и депрессией, восхищением и от-

²⁴ Нисхождение в потусторонний мир (лат.).

вращением. Однако даже окончательное отрицание после путешествия является не чем иным, как крайней точкой очередного «макроколебания», противоположная точка которого – второе путешествие в Советский Союз в 1928 году.

В данном случае требовать объективности не имеет смысла: еще сравнительно молодая женщина, какой в то время была Кармен (ей было 33 года), образованная, но с недостаточными знаниями о России, до- и послереволюционной, не могла соблюсти объективность. Впрочем, она сама признает свою неловкость из-за «Überfülle der Eindrücke²⁵» в тексте дневника. Это не значит, что она отказалась от объективности, но что трудно сказать, настолько ей удалось проникнуться в мир, в котором она оказалась. С другой стороны, именно ею признанная неловкость убеждает нас хотя бы в ее честности. «Исследовательский» характер дневника Герц подтверждает ее честность, и честно также ее любопытство: она не из тех туристов, которые выбирают «оригинальную» цель, подтверждающую оригинальность их вкусов, не рассчитывает на покровительство немецкого посольства. Кармен Герц намеревалась, прежде всего, понять советское общество. Лучшее доказательство тому – ее интерес к образовательной системе СССР: визит на Рабфак (второй в Москве по количеству студентов), о котором она дает обширный отчет 10 июня. 25-го она побывала в сельскохозяйственной экспериментальной школе в Ярославле. Ее намерение – явно не туристическое, ее целью было не захватить образы и увезти их домой в качестве трофея путешественника, а завоевать идеи. В самом деле, очевидно, что фотографии, которые она делала²⁶, нацелены скорее на сопровождение дневника, чем «присвоение кусочков» России в качестве сувенира.

Только посредством сравнения возникает культурная диалектика, обеспечивающая познание и прогресс. Кармен хотела увидеть реальную жизнь и реальных людей, и неважно, чего ей это

²⁵ Половодье впечатлений (нем).

²⁶ В Дрездене Кармен посетила курс по фотографированию.

могло стоять: отказ на время от своего гнезда, обеспечивающего теплоту и уверенность, но и сужающего горизонты восприятия. Неизвестность, а Россия 1923 года была страной, переполненной тревожной неизвестностью, вызывала у Кармен сильнейшие переживания, однако, мне кажется, последняя фраза ее дневника – это восклицание радости, как нельзя лучше говорящее о ее культурном и духовном обогащении, которым немногие в то время могли похвалиться. Один из немногих друзей, понимающий ее и ее подвиг, сказал: «Количество тех, кто так рисковал, незначительно». Учитывая то время и те условия, трудно с этими словами не согласиться.

Ровно десять лет спустя Германия пошла по дороге, которая ее вела к событиям настолько страшным, что неоспоримые излишества октябрьской революции кажутся в конце концов, наверное, менее трагичными.

Литература

Булгаков М. Мастер и Маргарита. М.: Художественная литература, 1988.

[*Толстой*] Письма Л.Н. Толстого к дочери Марии Львовне // *Современные записки*, (Париж), XXVII 1926, С. 216–291.

Heeke M. Reisen zu den Sowjets. Der ausländische Tourismus in Rußland 1921–1941. Mit einem bio-bibliographischen Anhang zu 96 deutschen Reiseautoren. Münster–Hamburg–London: Lit Verlag, 2003.

Hertz-Finckenstein C. A Mosca e Pietroburgo. Diario di viaggio 1923. Torino: Il Quadrante Edizioni, 1988.

Hertz-Finckenstein C. Tagebuch einer Reise nach Moskau und Petersburg. Mai–August 1923. Traduzione di U. Persi. Hamburg: Gesellschaft der Bücherfreunde, 1974.

Kanceff E. I differenti aspetti del “diario di viaggio” // *Geografie private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio*. Milano: Unicopli, 1985.

Kant I. Physische Geographie., I. Mainz–Hamburg: Vollmer, 1801.

Leed E. La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale. Bologna: Società editrice il Mulino, 1992.

Lévi Strauss C. Tristes tropiques. 1955 / рус. пер. Леви Штросс К.: Печальные тропики. М.: Мысль, 1984.

Pala M. Sentieri di carta: cenni sull'evoluzione del resoconto di viaggio contemporaneo // Lo sguardo del turista e il racconto dei luoghi. Milano: FrancoAngeli, 2003.

Polonskij A. “Germania – una fiaba russa”, ovvero Il singolare viaggio lungo il Reno compiuto nell'anno 1984 da Vasilij Michajlovič Peskov, pubblicista, giornalista e fotoreporter russo del giornale “Komsomol'skaja pravda” // Italia, Russia e dintorni. Piccola rassegna tipologica del viaggiare / a cura di U. Persi. Bari: Stilo Editrice, 2013.

Roth J. Viaggio in Russia. Milano: Adelphi, 1981.

Waugh E. When The Going Was Good. 1946.

Ugo Persi

State University of Bergamo (Italy)

COUNTESS CARMEN HERTZ-FINCKENSTEIN IN MOSCOW AND PETROGRAD IN 1923

Abstract. Carmen Hertz, 33 year-old woman from a good bourgeois family from Hamburg, a daughter of the famous scientist Heinrich Hertz, travelled to Soviet Russia in 1923. During this travel she wrote a diary that was printed only in 1974 in 300 copies. After the diary of Walter Benjamin her diary appears to be one of the best historical sources in German, rich in events depiction and in factual data about Russia of that time. Hertz tells about her impressions got in the difficult atmosphere of Soviet Russia, about the efforts of Russian government, about her meetings not only with the representatives of German diplomacy and trade, but also with poor aristocrats, with the representatives of education, and with well-known politicians and people from the sphere of culture, such as A. Benois, I. Grabar, V. Zubov, P. Lazarev, A. Lunacharsky, V. Nemirovich-Danchenko, A. Pinkevich, S. Troynitsky.

Key words: travel diary, travelogue, objectivity, diplomacy, USSR, Moscow, Petrograd, politicians, artists, aristocrats, people's education, faculties for workers.

Information about the author. Ugo Persi, Professor, Head of the Department of Slavic Studies, State University of Bergamo (Italy) (Piazza Rosate 2, Bergamo, 24129, Italy. Tel. +39.035.2052735. E-mail: ugo.persi@unibg.it)

РАЗДЕЛ 2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

2.1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАВЕЛОГИ В НАРРАТИВНОМ АСПЕКТЕ

Мамуркина О.В.

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВСЕМУ КРЫМУ И БЕССАРАБИИ В 1799 ГОДУ» П.И. СУМАРОКОВА: СПЕЦИФИКА ПЕЙЗАЖНЫХ ОПИСАНИЙ

Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности природоописаний в романе-травелоге П. И. Сумарокова «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году». Показано, что пейзаж как значимая структурная доминанта текста в зависимости от функции может иметь различную степень развернутости, содержать элементы авторской оценки и эстетического осмысления увиденного. Несмотря на то, что пейзаж в традиции сентиментализма конструировался под воздействием просветительской натурфилософии, природоописания становятся предметом самостоятельного эстетического осмысления. Именно по этой линии происходит размежевание натуральных и собственно пейзажных описаний: в первом случае это нерелективная трансляция увиденного, во втором – акт трансформации перечневого описания в целостный художественный элемент. Оформление образа пространства посредством пейзажных описаний, созданных на основе топонимических и этнографических наблюдений, определяет художественную целостность и эстетическую ценность текста. Близость текста «Путешествия...» принципам документального повествования подтверждает тезис о влиянии последнего на становление романа-травелога.

Ключевые слова: П.И. Сумароков, русская литература XVIII в., роман, травелог, путешествие, пейзаж, Крым.

Сведения об авторе. Мамуркина Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 10, ЛГУ, 8(812)4519176. E-mail: elkala@inbox.ru).

Роман-травелог «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» – первое оригинальное сочинение П.И. Сумарокова (1767–1846), чиновника, штабс-капитана, переводчика и литератора. Сумароков описывает впечатления от путешествия, которое началось 15 мая 1799 года в Киевской губернии, а закончилось 6 августа в Балте. Большая часть путешествия связана с Крымом.

Подобно другим произведениям, созданным традицией сентиментализма, в «Путешествии...» ощутимо влияние «Писем русского путешественника» Карамзина. Вместе с тем, как отмечает О.Б. Кафанова, «личность автора-повествователя проявляется у С<умарокова> весьма сдержанно. Он стремится к объективному описанию природы, климата и пейзажей Крыма и России, нравов и обычаев крымских татар и рус<ских> крестьян» [Кафанова, 2010]. Указанные описания в анализируемом тексте связаны с натурными, пейзажными и портретными зарисовками.

Н.Д. Кочеткова подчеркивает, что в литературе русского сентиментализма происходит сближение портрета и пейзажа, причем последний представлен в основном «сельскими зарисовками» [Кочеткова, 1986]. Несмотря на влияние просветительской натурфилософской традиции, пейзаж у сентименталистов стал предметом самостоятельного эстетического осмысления. Именно по этой линии происходит размежевание натуральных и собственно пейзажных описаний: в первом случае это нерелективная трансляция увиденного, во втором – акт трансформации перечневого описания в целостный художественный элемент. Вместе с тем следует отметить, что даже стандартное природописание, содержащее перечисление ландшафтных особенностей и специфики географического положения объекта, как

правило, включает элементы авторской оценки. Оценочность как неотъемлемый элемент пейзажных описаний выступает формой проявления авторского отношения к увиденному, а следовательно, является элементом эстетического.

В анализируемом тексте натурные описания связаны с потребностью зафиксировать сведения об очередном населенном пункте, который посетил автор. Рассмотрим некоторые примеры.

Златополь¹ <...> стоит на *приятном* возвышении, в низу которого протекает преобширный пруд с весьма широкою и хорошо обработанную плотиною [Сумароков, 1800, с. 2].

В указанном фрагменте содержится оценочное прилагательное «приятный», отмечены пространственные параметры пруда и качество постройки плотины.

Местоположение **Николаева** *величественно и красиво*; он стоит на высокой утесистой горе, при подошве коей сходятся на встречу две большие реки Буг и Ингул, впадающий в первую. Ингул извиваясь удивительными излучинами, обтекает переднюю часть города; Буг же, обошед его с правой стороны и сзади, и составя из Николаева полуостров, *влетет горделиво стремительные струи* свои в Лиман [Сумароков, 1800, с. 8].

Данный фрагмент содержит авторскую оценку географического расположения Николаева, специфики русла реки, а также метафорическое описание течения Буга – «стремительные струи».

Спасское: *Прекрасное* это местечко находится на пологом берегу Буг, где ущелье покрытое диким виноградом, белым шиповником и плодоносными деревьями составляет первое гулянье всего города. Посреди всего отвержка протекает чистой ручей, и прохладная тень делает убежище сие *приятным*. Мы прохаживались тут по изгибистым дорожкам; духовая музыка увеселяла нашу прогулку; виноградные ветви висли над головами нашими, а сильное от цветов и пахучих трав благоухание *улаждало обоняние* [Сумароков, 1800, с. 15].

¹ Здесь и далее выделено и обозначено курсивом нами. – О. М.

Описывая Спасское, Сумароков указывает на растительность ущелья, а также упоминает о том, что это место популярно среди жителей города.

Город **Ахметчет** находится во 134 верстах на веселой равнине, обставленной со всех сторон грядями гор. Речка Салгир, как чистый большой родник, течет по камням подле города во всю его длину, где по другую сторону соединение плодовых садов, подобно густому лесу, украшает весь тот берег, и делает путь и местоположение *весьма приятным*. Гора Чатырдаг, сей величественный Колосс, отстоящий отсюда верстах в 20, господствует над городом. Спущенная ниже ея вершины облака *будто флером ее покрывали*, а испод оной освещался тогда блестящими лучами солнца, что являло *удивительную и прекрасную картину* [Сумароков, 1800, с. 44].

В данном фрагменте вновь используется излюбленный оценочный термин – «весьма приятный», а также сравнительный описательный оборот – «облака будто флером ее покрывали». Сходная авторская оценка обнаруживается и в следующем отрывке:

В 10 верстах отсюда лежит близ моря на простирающейся в ущелье равнине деревня Тувак, в которой насаженные по обеим сторонам у подошвы гор плодовые сады составляют по долине красивые проспекты, и делают чрез то его местоположение *весьма приятным* [Сумароков, 1800, с. 89].

Несмотря на значительное количество подобных описаний, в «Путешествии...» обнаруживаются и фрагменты более сложной структуры, которые можно с уверенностью отнести к пейзажным зарисовкам. Отличительной особенностью описаний подобного рода является эксплицитная авторская рефлексия:

Я часто выходил на морской берег, где *взор мой* пребывал неподвижным, и *мысль* погружалась в *глубокую, но приятную задумчивость*. Царствующая тут тишина вливала спокойствие души, и отгоняя развлеченныя мысли заставляла *восхищаться величеством природы*. Там, при самом легком ветерке, седые волны грядями следуют за

другими, колеблют влагу, и катясь как будто по ступеням рассекаются с шумом у берегов, и поспешно от них отступают. Чернеющие струи *влекут воображение за собою* до Анатолийских берегов, до стен Византийских, и расставшись потом с обольщенным зрением теряются вдали [Кочеткова, 1986, с. 65].

В анализируемом фрагменте на первый план выходит не описание, но осмысление увиденного, фиксируются различные эмоциональные и ментальные состояния, вызванные созерцанием моря. Мощь водной стихии – одно из наиболее сильных впечатлений путешествия, образ грозного моря неоднократно возникает в тексте и впоследствии:

Посинелое море являло *грозные валы* из под *кипящей над ними пены* пробивающиеся, которые *возносились* буграми и *мгновенно низпадали*, шум от ударений их одного о другой, *сильное колебание влаги, мрачность*, покрывающая небесной свод, все это *вселяло уныние и страх* [Сумароков, 1800, с. 75].

Наряду с пейзажными описаниями, отражающими авторскую оценку или определенное эмоциональное состояние, в «Путешествии...» встречаются фрагменты – подробные описания живописных мест, задуманные, вероятно, исключительно с эстетической целью; они формируют целостный образ пространства:

На пути, проложенном по чрезмерной над морем высоте, представляются *с правой стороны громады гор различных видов*; иные покрыты лесом, иные же обнажены. *Приятный лесок* составляют как нарочно насаженные *аллеи*, в которых *приморская сосна*, похожая на величественной кедр, *восточной местил* растущий в самых жарких странах, *бук, гробина и пахучая ветла* соединенными ветвями своими делают там покрытые и тенистые ходы; *дикий виноград* обвившись вокруг *шиповных кустов* спускает из под розовых его цветов свои мелкие грозды, а *благонные деревья и травы* разносят тончайшья по воздуху ароматы [Кочеткова, 1986, с. 99].

Топос леса и гор наряду с описанием моря становится смыслообразующим элементом пейзажа, насыщенного визуальными и звуковыми доминантами:

Обильные каскады *переливаясь и пенясь* с одной каменной скалы на другую, *с великим шумом* падают в ущелья и повсюду раздаются. *Переключание птиц*, прославляющих свою свободу, *смешивает пение их*, и *эхо унылой кокушки* прерывается *свистом соловья*. В левую сторону является под ногами открытое море, коего струи от преломления в них солнечных лучей *отливают как перломутр*, и к нему склоняется гора Амфитеатром, покрытая площадками, лесными островками, и *желтеющимися нивами*. В долу видины селения окруженные садами, разсыпанная по косогорам стада, и *извивающиеся по камушкам* родники [Сумароков, 1800, с. 100].

Пейзаж включает и описание местной фауны, являющейся гармоничной частью природного фона:

Взобравшись верст 5 на высоту, мы въехали в дикой лес, которой от густоты своей, притом наваленных горами по изрытой стезе камне-ньев, казался совсем непроходимым, и я почувствовав некоторую свежесть в воздухе, обрадовался неожиданной перемене. *Встреча тут с дикой козой меня повеселила*; она в нескольких от нас шагах *прыгала с великою легкостью*, и по приближении к ней *нашем пустилась в бег*, как стрела [Сумароков, 1800, с. 104].

Значимым элементом природоописания являются и упоминания различных достопримечательностей:

Тут две большие горы разделяются между собою ложиною, по коей протекает речка Торгуна, и одна из них имеющая до 50 сажен стоячей высоты представляет на своем хребте *остатки укреплений Инкермана*, а *колоссальной разрез оной*, как *будто нарочно обработанной в утес*, весь *изрыт* снаружи разного вида и величины *пещерами*. Они *числом более трех сот*, проститаются от подошвы горы до ея вершины *многими неправильными ярусами*, и вид оных приводит в крайнее изумление. Там открываются выдавшиеся в перед и ничем не подпертые *громады с теремами*; спущенные навесы угрожают падением; в иных местах сделаны ниши, в других кануры с яслями для содержания, как думать надобно, домашнего скота, и устроены *переходы из одной пещеры в другую* [Сумароков, 1800, с. 123–124].

Кроме памятников, созданных руками человека, существенный эмоциональный отклик вызывают природные крымские достопримечательности:

Колоссальная гора отделяется от земли овальным кругом, и имея более 50 сажен перпендикулярной высоты идет от самой своей подошвы до вершины столь гладкими из голага камня стенами, что кажется искусство и безчисленные труды человеческих рук с помощью Арихимедовых машин на отесание оных определены были. Внизу всей ея окружности, где во многих местах высечены пещеры, простирается долина, а за нею другая каменная же и утесная, но не столь высокая горы седуют тем же ходом; от чего таковыя самую природою произведенныя укрепления составляют каменной и неприступной остров, на хребте коего расположен **Дчу-фуг-Кале**. Вид сей горы *тотчас поражает взгляд*, торчащая же на поверхности ея строения *приводят в крайнее изумление*; ибо дома те, из которых многие построены в два жилья, приткнуты к утесу так близко, что ни на четверть аршина гладкого места между ими не остается, и они повислые над пропастью ежеминутно угрожают своим обрушением [Сумароков, 1800, с. 140–141].

По сходной схеме описывается и гора **Чатырдаг**; природописание содержит и нетипичные для текста «Путешествия...» эпитеты и сравнения:

На другой день лишь только утренняя заря провела пурпуровая полосы по небесному своду, как *величественный Чатырдаг*, заграждающий собою облака, выставил *мрачное* свое чело, и мы начав наше шествие увидали неподалеку от деревни Аиан весьма *любопытное начало* речки Салгир. Извержение ея, находящееся в полугоре, покрывается самородным каменным гротом, над которым в сквозном его своде выходят самыя тонкия и как будто сделанныя искусною работою арки. Внутри сего грота великое количество воды выбивается с ревом из недр земли, падает с сильным кипением по огромным камням, составляя быстрыя каскады, и обильной ея потом ток, пробегающий по ущелью между гор, выводит Салгир на равные луга. С верху онаго представляется *прекрасное* зрелище; там усматриваешь сквозь его отверстия пустоту освещенную слабым светом; слышишь безпрестанно раздающийся шум, и видишь в самом низу *необычайное, как в котле* движение струй, которыя, кажется, вертятся на одном месте, и ярься отбрасывают от себя брызги на стены, оныя окружающия [Сумароков, 1800, с. 149].

Наконец, в описании Чатырдага задается вектор восприятия пространственной перспективы Крыма, поражающей своей величественностью:

Там с одной стороны *взгляд не обретает себе преграды*; ты видишь у ног своих всю *обширную Крымскую степь, усматриваешь признаки* Перекопа, во 150 верстах отсюда отстоящего; проходящие по лугам каменные слои перемешавшись с травой, *представляются белыми и зеленеющими полосами*; большие деревья *кажутся мелкими кустами*, и дома в деревнях скорее *игрушками*, нежели жилищами. С другой, видно *неизмеримое море* и чернеющие приморския горы, *уклоняющия верхи* свои пред гордящимся Чатырдагом. Снега покрывают оную *задолго перед тем*, как они станут перепадать в долах, и поседолой ея хребет угрожает окрестностям унылою зимою; они лежат на нем более трех месяцев, и тогда, как повсюду вокруг его царствует уже приятная весна [Сумароков, 1800, 4, с. 152].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что натурные и пейзажные описания в травелоге «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумарокова имеют важное композиционное и эстетическое значение. С одной стороны, в приближенном к документальному нарративу «Путешествии...» обнаруживается множество кратких указаний на географическое положение посещаемых мест, с другой – ряд развернутых пейзажных зарисовок, которые содержат эксплицитную авторскую оценку, элементы рефлексии, детальные описания достопримечательностей. Все это позволяет говорить об эстетическом потенциале природоописаний в анализируемом травелоге и подтверждает тезис о тесном взаимодействии документального и художественного нарратива в процессе формирования русского романа-путешествия на рубеже XVIII–XIX вв.

Литература

Аникейчик Е.А. Нравственно-эстетическое значение пейзажа в русской литературе конца XVIII – начала XIX вв.: от сентиментализма к предромантизму: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МГОУ, 2008.

Кафанова О.Б. Сумароков Павел Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб.: ИРЛИ РАН, 2010.

Кочеткова Н.Д. Герой русского сентиментализма. 2. Портрет и пейзаж в литературе русского сентиментализма // XVIII в. Сб. 15. Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой / отв. ред. А. М. Панченко. Л.: Наука, 1986. С. 70–96.

Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. С историческим и топографическим описанием всех тех мест. М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1800.

Mamurkina O.V.

Pushkin Leningrad State University

**«JOURNEY AROUND THE CRIMEA AND BESSARABIA
IN 1799» BY P.I. SUMAROKOV:
SPECIFICS OF LANDSCAPE DESCRIPTIONS**

Abstract. The current paper analyzes the features of landscape description in the novel “Journey around the Crimea and Bessarabia in 1799” by P.I. Sumarokov. It is shown that depending on the function the landscape as a significant structural dominant of text may be characterized by various degrees of expansion, and also contains the elements of author’s assessment and aesthetic interpretation. Despite the fact that in the tradition of sentimentalism landscape was constructed under the influence of philosophy of nature, it became the subject of an independent aesthetic evaluation, and that is the demarcation line between natural and proper landscape descriptions: in the first case it is a non-reflexive translation of that was seen; in the second it’s the act of transformation of list description into an aesthetic element. The artistic integrity and aesthetic value of the text is defined by building the image of space by landscape descriptions that are based on toponymic and ethnographic observations. The proximity of the text “Travel...” to the principles of documentary narrative confirms the thesis about its influence on the development of travelogue novel.

Keywords: P.I. Sumarokov, Russian literature of XVIII century, novel, travelogue, travel, landscape, Crimea.

Information about the author. Mamurkina Olga Viktorovna, Candidate of philological sciences, Associate professor of the Department of literature and Russian language, Pushkin Leningrad State University (LSU, St. Petersburg Rd., 10, St. Petersburg (Pushkin), Tel. +8 (812) 4519176. E-mail: elkala@inbox.ru).

Э.И. Худошина

Новосибирский государственный педагогический университет

ВОСТОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПУШКИНА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В качестве «восточного» путешествия рассмотрена поездка Пушкина в Поволжье и на Урал (17 августа – 17 ноября 1833 г.). Письма к Н.Н. Пушкиной с «отчетами» об этой поездке описываются в качестве некоторого «травелога»: в них представлен маршрут путешествия, подробно рассказано о дорожных приключениях и встречах, но отсутствуют описания любых «достопамятностей», нет и общей характеристики тех громадных пространств, которые он пересек. Их гео- и этнографический образ – решающий для понимания пушкинской концепции «пугачевского бунта» – представлен в «пугачевском тексте» («Капитанская дочка», «Истории Пугачева»). В результате вырисовывается образ громадного пространства на востоке Российской империи, населенного «множеством полудиких народов и казаками, владевшими, по праву, данному им еще Михаилом Федоровичем, рекой Яик от ее устья до впадения в Каспийское море. Они-то, вместе с немногочисленными гарнизонами крепостей, и должны были удерживать воинственные кочевые и полукочевые племена от их «поминутных возмущений». Бунт яицких казаков превратился в «пожар», распространившийся по восточным провинциям Империи от Урала до Волги, от Башкирии до киргиз-кайсацких степей. Такая ясность этой картины была бы невозможна без личной встречи с «гением места»: для того и было задумано это путешествие.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «История Пугачева», «Капитанская дочка», Пугачев, Российская империя, Оренбург, путешествие, травелог, яицкие казаки, башкиры, киргиз-кайсаки.

Сведения об авторе. Худошина Элеонора Илларионовна, кандидат филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилуйская, 28, НГПУ Тел.: (383) 244-03-30. E-mail: junch@mail.ru).

«Восточным путешествием» мы будем называть – в параллель с уже описанным «южным» [Худошина, 2008] – поездку Пушкина по «пугачевским» местам¹; ее последствиями – «пугачевский текст», то есть «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку», взятые в геополитическом и этнографическом аспектах.

22 июля 1833 года Пушкин обратился к А.Х. Бенкендорфу с просьбой об отпуске на 2–3 месяца для поездки «в нижегородское имение, в Казань и Оренбург» [Пушкин, 1962, т. 10, с. 65]; 7 августа 1833 года он получил известие, что Государь разрешил ему эту поездку и отпуск на 4 месяца, и 17-го выехал: сначала из Петербурга в Москву, затем прямо на восток, до Нижнего Новгорода и Казани, на юго-восток до Симбирска и Оренбурга и, наконец, вдоль берега Урала, прежде называвшегося Яиком, до Уральска – казачьего административного центра, прежде называвшегося Яицким городком². На обратном пути, то есть на пути в Болдино, он намеревался посетить Саратов и Пензу (их успел «посетить» и разорить Пугачев во время своего бегства по берегу Волги), но этим планам помешала погода:

При выезде моем (23 сентября) вечером пошел дождь <...> и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 на санях [Пушкин, 1962, т. 10, с. 143].

И, выбрав самый короткий путь, уже 1 октября Пушкин прибыл в Болдино, где за месяц с небольшим написал: «Историю Пугачева», «Медный всадник», «Анджело», «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне...», «Пиковую даму», стихотворение «Осень» и др. «Нижегородское имение», то есть осеннее, скучное Болдино, в котором поэт мечтал запереться³, что-

¹Разумеется, во всех пушкинских биографиях и обзорах творческого пути эта поездка так или иначе упоминается. Наиболее подробно см.: [Летопись..., 1999, т. 4, с. 14–113], [Сурат, Бочаров, 2008, с. 148–173].

²Приказом Екатерины II переименован, вместе с рекой Яиком, в Уральск и Урал – чтобы стереть память о восстании яицких казаков.

³В письме жене 12 сент.: «Я сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться» [Пушкин, 1962, т. 10, с. 140].

бы писать, не отвлекаясь на семейные, светские и другие обязанности, что, собственно, и было первой и главной целью этой поездки.

9 ноября, считая, по-видимому, что написал все, что мог и хотел, Пушкин покинул из Болдино, 13-го был в Москве, где, отметим, купил редчайший экземпляр книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», и с этой книгой и новым замыслом, с ней связанным, проехал последнюю часть своего путешествия, из Москвы в Петербург, куда и прибыл 17 ноября, не через четыре, как ему было позволено, а ровно через три месяца.

Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал – и увез к себе, как улан уездную барышню с именин городничихи. Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать. Отца видел, он очень рад моему предположению взять Болдино. Денег у него нет. Брат во фраке и очень благопристоен. Соболевский выиграл свой процесс и едет к вам [Пушкин, 1962, т. 10, с. 152].

Жизнь вернулась в свою обыденную колею.

Связного описания этой поездки, то есть собственно травелога, Пушкин не оставил, но во всех местах, где он останавливался хотя бы на один день, он писал довольно длинные письменные «отчеты» («Вот, мой ангел, подробный отчет о моем путешествии» [Пушкин, 1962, т. 10, с. 131]. Единственным их адресатом была Н.Н. Пушкина, которую он оставил в Петербурге не вполне здоровой после недавних родов, очень беспокоился о ней и о детях и стремился ее развлечь и утешить.

В письмах к жене он, разумеется, рассказывал лишь о тех обстоятельствах и происшествиях, какие могли быть ей интересны, и все же довольно часто они производят вполне «литературное» впечатление. Особенно это касается очерка о Москве, выдержанного в «грибоедовских» тонах:

Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три салошницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да кн. Шаликов <...> Важная новость: французские вывески, уничтожен-

ные Растопчиным в год, когда ты родилась, появились опять на Кузнецком мосту [Пушкин, 1962, т. 10, с. 135].

В клобе я не был – чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафа, а я весь Английский клоб готов продать за 200. Здесь Орлов, Бобринский и другие мои старые знакомые. Но мне надоели мои старые знакомые. Никого не увижу. Соболевский здесь *incognito* прячется от заимодавцев, как настоящий *gentleman*, и скупает свои векселя... [Пушкин, 1962, т. 10, с. 134].

Как и положено в «московском тексте», речь идет и о вестях старушки Москвы, ее слухах и сплетнях, о ее красавицах и балах:

Здесь Раевский Николай. Ни он, ни брат его не умирали – а умер какой-то бригадир Раевский. Скажи Вяземскому, что умер тезка его князь Петр Долгорукий – получив какое-то наследство и не успев его промотать в Английском клобе, о чем здешнее общество весьма жалеет [Пушкин, 1962, т. 10, с. 135].

Вчера, приехав поздно домой, нашел я у себя на столе карточку Булгакова, отца красавиц, и приглашение на вечер. <...> Был я у Погодина, который, говорят, женат на красавице. Я ее не видал и не могу всеподданнейше о ней тебе донести [Пушкин, 1962, т. 10, с. 134].

Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть – но у него 125 000 дохода, а у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, некрасавица. <...> Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами – и все за твое здоровье, красота моя [Пушкин, 1962, т. 10, с. 137].

Красота Натальи Николаевны, тем более, что в Москве Пушкин праздновал ее именины, сквозной мотив этих писем:

Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают – и какая ты: *брюнетка* или *блондинка*, *худенькая* или *плотненькая*? <...> В Торжке... толстая M-lle Rojarsky, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я встрети ее (?) ахнула. А надобно тебе знать, что M-lle Rojarsky ни дать ни взять M-me

George, только немного постаре. Ты видишь, моя женка, что слава твоя распространилась по всем уездам. Довольна ли ты? [Пушкин, 1962, т. 10, с. 132].

Иногда в ее честь Пушкин рисует шаржированные женские портреты. В Казани он сердечно сблизился с семейством известного врача и ученого К.Ф. Фукса. Выезжая из этого города, он написал жене Фукса благодарственную записку:

Милостивая государыня, Александра Андреевна! С сердечной благодарностию посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани [Пушкин, 1962, т. 10, с. 139].

Но в письме к Наталье Николаевне сатирически описал А.А. Фукс как «синий чулок», – видимо, в качестве извинения за то, что пригласил ее в Петербург, а еще вернее, за то, что его новая знакомая писала стихи:

Из Казани написал я тебе несколько строчек – некогда было. Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одной blue stockings, сорокалетней, несносной бабе с вошьными зубами и с ногами в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом – но Бог помиловал, однако она взяла мой адрес и страшает меня перепискою и приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю. Муж ее умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумлении от ее гения; однако он одолжил меня очень – и я рад, что с ним познакомился [Пушкин, 1962, т. 10, с. 140].

Иногда в этих письмах мелькают предвестия будущих болдинских произведений. В самом первом из них он описал день своего отъезда из Петербурга с шутливым наведением на Улисса, гонимого во всех его странствиях *неприязненной к нему стихией*,

сама же буря, неожиданно разразившаяся в середине августа, заставила Пушкина вспомнить о ноябрьском наводнении 1824 года:

Милая женка, вот тебе подробная моя Одисея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы [Пушкин, 1962, т. 10, с. 130].

О знаменитом наводнении поэт вспомнил в то утро не случайно: только что он прочитал о нем в «Дзядях» А. Мицкевича, где стихи, посвященные Петербургу и русским друзьям, и потрясли Пушкина, и оскорбили, и вызывали желание возразить⁴. Два месяца спустя он ответит польскому поэту своим «Медным всадником», в сюжете которого использует это замыкание между собой двух ненастных петербургских дней: в такой же дождливый и ветреный день середины августа («Дни лета Клонились к осени») «безумец бедный» вспомнит о трагических событиях прошедшей осени («Вспомнил живо / Он прошлый ужас»), чтобы еще раз пережить свое несчастье и «догадаться», кто в нем виноват. Еще одно «предвестие», но теперь уже «Сказки о мертвой царевне...»: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете –

⁴ Запрещенного в России Мицкевича подарил Пушкину С.А. Соболевский, который только что, по странному совпадению, в тот день, когда Пушкин начал хлопоты о предоставлении ему отпуска (и в день крестин его сына Александра) вернулся из Европы, где он путешествовал в течение пяти лет. Теперь он ехал в Москву, и из Петербурга они с Пушкиным выехали вместе, с тем, чтобы расстаться в Торжке, а затем в Москве снова встретиться. Конечно, они много о Мицкевиче говорили – может быть, и в день выезда из Петербурга.

а душу твою люблю я еще более твоего лица», – в этой сказке есть и зеркальце, и кроткая красавица.

Из родной Москвы Наталья Николаевна, конечно, ждала рассказа о ее родных, и Пушкин навестил больного тестя («Отец меня не принял. Говорят, он довольно тих»), а также, по дороге в Москву, по ужасным проселочным дорогам, где его коляску едва тащили шесть лошадей, заехал в Ярополец, где в родовом имении Загряжских, которое в 1821 году она получила в наследство, жила в это время его теща, Н.И. Гончарова.

Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение. Семен Федорович (управляющий. – Э.Х.), с которым мы большие приятели, водил меня на его гробницу и показывал мне прочие достопамятности [Пушкин, 1962, т. 10, с. 133].

В Яропольце действительно было на что посмотреть. В XVII веке это имение принадлежало пращуру Н.Н. Гончаровой, гетману правобережной Украины П.Д. Дорошенко, безуспешно пытавшемуся добиться независимости Украины – и от Речи Посполитой, и от России. Царица Софья Алексеевна подарила ему это имение, где он и жил до самой смерти в почетной ссылке. В XVIII–XIX веках Ярополец принадлежал двум знатым родам Чернышевых и Загряжских, которые и превратили его в «русский Версаль», построив свои дворцы и разбив в нем роскошный парк. В 1775 году, как раз после пугачевщины, здесь гостила Екатерина II и едва ли не сожалела, что это не ее летний дворец, а вслед за ней – великий князь Павел Петрович. Все это Пушкину должно было быть крайне интересно и тем более – найденная им здесь старинная библиотека:

Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками [Пушкин, 1962, т. 10, с. 133].

В том же письме он с неподражаемым комизмом пересказал историю романтической влюбленности и неудачного сватовства брата Натальи Николаевны:

Теперь, женка, послушай, что делается с Дмитрием Николаевичем. Он, как владетельный принц, влюбился в графиню Надежду Чернышеву *по портрету*, услыша, что она девка плотная, чернобровая и румяная. Два раза ездил он в Ярополец в надежде ее увидеть, и в самом деле ему удалось застать ее в церкви. Вот он и полез на стены. Пишет из Заводов, что он без памяти от *la charmante et divine comtesse*, что он ночи не спит <...> Я полагаю, что он не застрелится. Как ты думаешь? <...> Я помирал со смеху, читая его письмо, и жалею, что не выпросил его для тебя [Пушкин, 1962, т. 10, с. 133–134].

Из Москвы, собственно, и началось путешествие на Восток, в которое Пушкина торжественно, молитвами и шампанским, проводил самый любимый из его московских друзей П.И. Нащокин:

... он задал мне прощальный обед со стерлядями и с жженкой, усадили меня в коляску, и я выехал на большую дорогу [Пушкин, 1962, т. 10, с. 137].

Что касается писем из других городов, то в них речь идет главным образом об «отчетной» стороне путешествия. В Нижнем Новгороде упомянута Макарьевская ярмарка:

Дорога хороша, но под Москвою нет лошадей, я повсюду ждал несколько часов и насилу дотащился до Нижнего сегодня, то есть в пятье сутки. <...> Еду на ярманку, которая свои последние шутки показывает, а завтра отправляюсь в Казань [Пушкин, 1962, т. 10, с. 135–136].

В Нижнем он был впервые, знаменитой ярмарки, крупнейшего торгового центра, соединявшего Восток и Запад, никогда не видел, но в «Путешествии Онегина» уже описал ее в меланхолично-сатирическом тоне. Теперь он не успел ее увидеть и ему было скучно не меньше, чем Онегину:

Ярманка кончилась. Я ходил по опустелым лавкам. Они сделали на меня впечатление бального разезда, когда карета Гончаровых уж уехала [Пушкин, 1962, т. 10, с. 138].

Посещением Казани он был очень доволен, потому что познакомился там со знающими людьми, которые помогли ему встретиться со стариками, современниками Пугачева; водили его по местам сражений и т.д.⁵ В Симбирске ему пришлось пробыть дольше намеченного. Из-за плохой дороги пришлось вернуться, чтобы потом начать путь заново. «Виноват» в этом оказался заяц, перебежавший дорогу, и его мотивом оказался «закольцован» и украшен рассказ об этом приключении:

Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу, нет ямщиков – один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решил я возвратиться и ехать другой дорогой; по этой на станциях везде по шесть лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно – я заснул – просыпаюсь утром – что же? не отъехал я и пяти верст. Гора – лошади не взвезут – около меня человек 20 мужиков. Черт знает как Бог помог – наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой: уж этого зайца я бы отыскал [Пушкин, 1962, т. 10, с. 141].

В Оренбурге он встретился с В.И. Далем, который показал Пушкину все «пугачевские» места этого города и его окрестностей, но в письме об этом ни слова:

Я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал, дорога прескучная, погода холодная, завтра еду к яишким казакам, пробуду у них дни три – и отправляюсь в деревню через Саратов и Пензу [Пушкин, 1962, т. 10, с. 141].

⁵ В письме из Казани – еще об одном дорожном впечатлении: «Дорогой я видел годовую девочку, которая бежит на карачках, как котенок, и у которой уже два зубка. Скажи это Машке [Пушкин, 1962, т. 10, с. 139].

Чувствуется усталость и нетерпение получить уже возможность писать:

Что, женка? скучно тебе? мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж – то есть: уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит, – я и в коляске сочиняю, что ж будет в постеле? [Пушкин, 1962, т. 10, с. 142].

Об Уральска он написал уже из Болдино: о том, что казаки его приняли «славно», дали ему два обеда и «... подпили за мое здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной» [Пушкин, 1962, т. 10, с. 143]. Невольно слышится здесь «отсылка» к «Истории Пугачева», на первых страницах которой Пушкин рассказал «поэтическое предание» о том, как в незапамятные времена казаки (тогда еще жившие набегами разбойники) приобшились к оседлой жизни. Не желая обременять себя лишними заботами, они, «страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов, по имени Гугня, первый преступил жестокий закон, пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились игу семейственной жизни. Доныне, – пишет далее Пушкин, – просвященные и гостеприимные, жители уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки Гугнихи» [Пушкин, 1995, т. 9, кн.1, с. 7–8]. Это явное приветствие и благодарность уральским казакам, так *славно* его принявшим.

В Уральске путешествие на восток, в сущности, закончилось. К этому времени Пушкин находился в пути уже более месяца и пересек огромные пространства как самой *Руси*, так и далеких от нее восточных провинций Российской империи: Казанскую губернию, Симбирскую и Оренбургскую. Он проехал множество мелких городов и сел, радующих сегодняшнего чи-

тателя то старорусскими, то не менее привычными для русского уха *татарскими*⁶ названиями: Пихчурино, Аккозино, Емангаш, Старый Сундырь, Чебоксары, Тюрлема, Чувашский Калмаюр, Бирля, Мусорка, Старая Бинарадка, Бузулук и т.д. Он пересек Волгу, еще недавно, по историческим меркам, татарскую, потом ничейную и разбойничью, потом пограничную реку, все города которой ниже Казани вплоть до 40-х годов XVIII века были крепостями, построенными на правом, высоком ее берегу для защиты от набегов кочевых народов и «ворующих казаков»⁷. После Симбирска он ехал по дороге, идущей вдоль ее левого, низменного берега по землям ставропольских калмыков, мимо мордовских и чувашских селений, по направлению к киргиз-кайсацким степям.

В письмах Пушкина, однако, вся эта экзотика никак не отразилась. В них полностью отсутствуют не только почти обязательные для путевых записок (какими, конечно же, эти письма не являются) описания «достопамятностей», нет и намек на желание так или иначе отметить местный колорит, включая этнографические наблюдения, – лишь шутки ради упомянуты однажды калмычки и башкирка:

Как я хорошо веду себя! как ты была бы мной довольна! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю – и на днях отказался от башкирки, несмотря на лобопытство, очень простительное путешественнику [Пушкин, 1962, т. 10, с. 142]⁸.

⁶ Татарский язык в словоупотреблении того времени – это вообще «восточный», тюркского происхождения, язык. Капитан Миронов, допрашивая башкирка, велит калмыку Юлаю: «... спроси-ка у него по-вашему, кто его подслал в нашу крепость?» – и Юлай задает тот же вопрос «на татарском языке» [Пушкин, 1962, т. 5, с. 333].

⁷ О строительстве оборонительных сооружений на Волге во второй половине XVI – первой половине XVII вв. см.: [Новые русские города..., 1994].

⁸ Это, разумеется, отсылка к стихотворению «Калмычке» и «калмыцко-му» эпизоду «Путешествия в Арзрум». См.: [Пушкин, 1962, т. 2, с. 247], [Пушкин, 1962, т. 5, с. 417].

Присоединим сюда внесенные в дорожную записную книжку, вместе с именем верховного языческого божества народа мокши, знаменательные слова некоего Мордвина: «Нынче калмыки так обрусели, что готовы с живого шкуру содрать» (см.: [Летопись, т. 4, с. 90]). Нет никаких описаний: ни городов, ни крепостей, ни пейзажей – хотя бы таких, например, как в «Капитанской дочке»:

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи» [Пушкин, 1962, т. 5, с. 304]

Нельзя не подумать здесь о тех видах, какие открывались перед Пушкиным, когда он ехал из Оренбурга в Уральск, а потом по внезапно выпавшему (в сентябре месяце) снегу из Уральска. Нет в этих письмах ни географических, ни геополитических образов или идей, никаких обобщенных, взятых общим планом картин тех громадных пространств, которые он пересек.

Зато все это есть в «пугачевском тексте»⁹. В нем ясно и даже резко представлен геополитический образ этих пространств – решающий для понимания пушкинской концепции «пугачевского бунта». Ключевыми здесь являются два момента: геополитическая характеристика Оренбургской губернии, данная в шестой главе «Капитанской дочки»¹⁰, и первая глава «Истории Пугаче-

⁹ О том, как соотносятся между собой «История Пугачева» и «Капитанская дочка», образуя своего рода метатекст, см.: [Худошина, 1991].

¹⁰ «Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными» [Пушкин, 1962, т. 5, с. 327].

ва», целиком посвященная, вместе с обширными Примечаниями, истории яицкого казачества. Сопоставляя оба текста, мы получаем образ громадного пространства на востоке Российской империи, на котором обитает множество «полудиких» племен, между которыми в пятнадцатом столетии появилось еще одно воинственное «племя», попросившееся через какое-то время под высокую руку московского царя и получившее от Михаила Федоровича право на владение рекой Яик – на всем ее течении от самого истока до впадения в Каспийское море. В XVIII столетии именно эти владельцы «привольных и богатых» яицких берегов, вместе с немногочисленными гарнизонами плохо укрепленных крепостей, должны были удерживать воинственные кочевые и полукочевые племена от их «поминутных возмущений». Бунт яицких казаков, недовольных попыткой русского правительства ограничить их старинные свободы и привилегии, развязал никем уже не контролируемую агрессию населявших оренбургские леса и степи воинственных племен, и «зараза» бунта распространилась по всем восточным провинциям Империи от Урала до Волги, от Башкирии до киргиз-кайсацких степей.

Эта концепция, вероятно, сложилась задолго до путешествия. Пушкин хорошо знал и географию, и этнографию этих мест: им были тщательно изучены и «Топография Оренбургская» академика И.П. Рычкова, и этнографические работы А.И. Левшина, и все, что было написано к тому времени об истории донского казачества. Вероятно, тогда же им было прочитано еще не опубликованное «Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего времени» о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина) и получено позволение напечатать в «Истории Пугачева» одну из ее глав – о бегстве калмыков в Китай (в 1871 году, за 2 года до начала пугачевского восстания). Более чем вероятно, что многие черты истории и быта кочевых народов, населявших «великую степь», он обсуждал в устных разговорах с о. Иакинфом, как и с другим замечательным путешественником и знатоком Востока, бароном П.Л. Шиллингом, тем более, что тот

совсем недавно вернулся из экспедиции в Сибирь и Китай – в это путешествие Пушкин был Шиллингом приглашен (в 1830 г.), но не получил на то разрешения правительства. Не хватало только личных, живых впечатлений, которыми он мог бы проверить то, что успел узнать от востоковедов и этнографов, – личной встречи с «гением места», собственного переживания тех бесконечных пространств между Уралом и Волгой, где 60 лет назад полыхал *пожар пугачевщины*. Для того и было задумано это длинное и трудное, по российскому бездорожью, путешествие.

Литература

Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: В 4 т. М.: Изд-во «СЛОВО/SLOVO», 1999.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.: Изд-во «Воскресенье», 1995.

Пушкин А.С. Собр. соч. В 10 т. М.: ГИХЛ, 1962.

Гузаиров Т.Т., Ларионова Е.О. История пугачевского бунта // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 2: Е – К. СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2012. С. 290–303.

Новые русские города и их развитие в XVI–XVII веках // Градостроительство Московского государства XVI–XVII веков / под общ. ред. Гуляницкого Н.Ф. М.: Стройиздат, 1994 (Серия: Русское градостроительное искусство).

Сурат И.З., Бочаров С.Г. А.С. Пушкин: Имя Россия: Исторический выбор 2008. М.: Изд-во «Астрель», 2008.

Худошина Э.И. «История Пугачева» и «Капитанская лочка»: (К вопросу об интертекстуальных связях у Пушкина) // Эстетический дискурс: Семио-эстет. исслед. в области литературы: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1991. С. 86–91.

Худошина Э.И. Крым в имперской географии Пушкина // Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург. 4–6 сентября 2006 г. / под ред. Н. Букс, М.Н. Виролайнен. СПб., 2008. С. 23–51.

E.I. Khudoshina

Novosibirsk State Pedagogical University

**PUSHKIN'S JOURNEY TO THE EAST
AND ITS LITERARY RESULTS**

Abstract. The research investigates Pushkin's "eastern" journey to Volga region and Ural (17th of August – 17th of November 1833). The letters to N.N. Pushkina with the reports about this journey are described as a kind of a "travelogue": they contain the route of Pushkin's journey with detailed description about the road adventures and encounters, but lack the descriptions of any sites of interests. These letters also don't have any characteristics of the vast territories the author crossed. The image of these territories in geographical and ethnographical terms is presented in "Pugachev texts" ("Captain's daughter", "Histories of Pugachev"), and it's crucial in comprehending Pushkin's conception of "Pugachev rebellion". The current paper shows the resulting image of the vast territory in the East of Russian Empire. The rebellion of Yaik Cossacks turns into the great "fire", spreading over the eastern provinces of the Empire from Ural to Volga, from Bashkiria to Kyzgyz-kaysak steppes. Such clearness of this description could be impossible without the personal meeting with the "genius of this place", that was actually the goal of this journey.

Keywords: A.S. Pushkin, "History of Pugachev", "Captain's daughter", Pugachev, Russian Empire, Orenburg, journey, travelogue, Yaik Cossacks, bashkirs, kyzgyz-kaysaks.

Information about the author. Khudoshina Eleonora Illarionovna, Candidate of philological sciences, Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University. (NSPU, Viluykaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: junch@mail.ru).

К.К. Павлович

Томский государственный университет

АФРИКАНСКАЯ ТЕМА В КНИГЕ ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ И.А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ „ПАЛЛАДА”»

Аннотация. Работа посвящена исследованию характера и принципов изображения Африки и африканцев в книге путевых очерков И.А. Гончарова «Фрегат „Паллада“». Содержание и поэтика образов африканцев исследуются в контексте историко-философской концепции писателя и традиции отношения к африканцам, сложившейся в русской и европейской литературе (статья В.А. Жуковского «Мунго Парк» и перевод двух глав из романа Э. Сю «Атар-Гюль»).

Африка, включенная в систему гончаровской «вселенной», предстает как модель младенческого состояния человеческого общества, далекого от цивилизации. Характер изображения жителей африканского континента обусловлен влиянием на писателя руссоистской идеи естественного человека. Писатель неизменно акцентирует естественность африканцев, близость к природе. Однако, следуя за традициями Ж.-Ж. Руссо, Гончаров в то же время вступает с ним в полемику, которая связана с критикой отсталости, неразвитости африканского континента.

Коренные жители африканского континента, представленные в большинстве случаев рабами, вызывают у писателя ассоциации с русскими простолюдинами, крепостными крестьянами. Изображение Африки (описания разных племен, портреты отдельных героев, зарисовки обычаев, бытового интерьера, картин природы) отличается присущей Гончарову эпической полнотой, подробной детализацией. Повествование характеризуется соединением художественности с документальным исследованием истории колонизации Африки.

Ключевые слова: И.А. Гончаров, «Фрегат „Паллада”», африканец, раб.

Сведения об авторе. Павлович Кристина Константиновна, магистрант Томского государственного университета (Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ. Тел.: +79234440409. E-mail: pavlovitch.cristina@yandex.ru).

Книга путевых очерков «Фрегат „Паллада”» – уникальное произведение русской литературы, в котором проявились творческие установки писателя, особый взгляд на процессы современной действительности и эпическая манера письма. Художественное значение книги соизмеримо с масштабным для того времени событием – отплытием фрегата «Паллада» 7 октября 1852 года. Путешествие вокруг света стало одним из значительных событий, оказавших влияние как на жизнь Гончарова, так и на его литературное наследие.

Магистральная тема очерков И.А. Гончарова связана с историко-софской концепцией развития человеческого общества на пути прогресса и цивилизации. В книге очерков африканская тема представлена во взаимосвязи с другими национальными образами.

В XIX веке эта тема получила развитие в творчестве многих зарубежных писателей. Внимание к судьбе африканских невольников было обусловлено возрастающими в Европе с конца XVIII века идеалами свободы и эмансипации гражданского общества. Тема привлекала своей экзотичностью, необычными характерами. К изображению раба-африканца обратились Генрих Клейст («Обручение в Сант-Доминго», 1811), Эрнст Теодор Амадей Гофман («Принцесса Бландина», 1814), Фенимор Купер («Красный корсар», 1827), Проспер Мериме («Таманго», 1829). Почти одновременно с Гончаровым жители Африки стали героями романа Майн-Рида «Квартеронка» (1856).

Интерес русских писателей к этой теме объясняется целым рядом причин. С вопросом о положении африканских невольников и их рабском труде в сознании русского человека соотносилось унижительное для человеческого достоинства крепостное право. Романтиков образ Африки привлекал своей необычностью, яркостью. Для русских писателей африканская тема была особенно интересна в связи с именем А.С. Пушкина, дед которого был родом из Эфиопии. Исторический роман «Арап Петра Великого» оказался у истоков разработки африканской темы

в России. В XIX веке интересом к этой теме отмечено творчество А.А. Бестужева-Марлинского, И.А. Гончарова и классика морской литературы К.М. Станюковича.

Книга путевых очерков «Фрегат „Паллада”» явилась результатом кругосветного путешествия И.А. Гончарова. Важную роль на пути к изображению образа африканца в русской литературе могла играть статья В.А. Жуковского «Мунго Парк» (1808) [Жуковский, 1808, с. 203–210]¹, посвященная шотландскому путешественнику, который посетил африканский континент в конце XVIII – начале XIX века. Сравнивая Мунго Парка с французским путешественником по африканскому континенту Вальяном, Жуковский отдает свои симпатии «тихому, простодушному» шотландцу: «И тот и другой подвержены были разнообразным опасностям; но Вальян, окруженный своими неграми, путешествует как предводитель маленького войска: он царь своей и большой колонии; он имеет подле себя верного друга; мирные народы, которых он посещает, дают ему от доброго сердца молоко и мясо; везде находит он гостеприимство и помощь – но Мунго Парк? Он один, обремененный нуждою, безоружный, в необъятной пустыне, среди народов жестоких и суеверных; всякую минуту угрожает ему погибель ужасная, и несмотря на то, он спокоен в душе своей, никогда не слышите вы его роптания» [Там же, с. 204].

В.А. Жуковский особо подчеркивает гуманное отношение Мунго Парка даже к самым жестоким африканцам: «Можно ли не быть растроганным во глубине души, можно ли не воскликнуть: почтенный, добрый, великодушный Мунго Парк! когда читаешь то место, где он описывает себя, ограбленного разбойниками, оставленного ими нагим, безоружным в глухом лесу, в стране,

¹ По устному замечанию И.А. Айзиковой, «точный источник перевода не установлен, Н.Ж. Вепшева, комментатор этого текста в ПССиП Жуковского (т. 10, в печати), указывает, что это – перевод рецензии на первое «Путешествие Мунго-Парка» (Park Mungo. Travels in the Interior Districts of Africa: Performed in the Years 1795, 1796, and 1797), судя по помете Жуковского, перевод сделан был с немецкого, вероятно, это было какое-то периодическое издание на немецком языке, но какое именно, не установлено».

ему неизвестной?» [Там же, с. 207]. Великодушие, скромность и доброта Мунго Парка вызывают у Жуковского уважение и восхищение: «Он тронут до слез гостеприимством одной добросердечной негритянки, которая дает ему пристанище в своей хижине, расстилает пред ним циновку, приносит ему сухой рыбы; между тем несколько молодых женщин поют песню, сочиненную ими на несчастье бедного, бездомного старика. В знак благодарности Мунго Парк отдает своей благодетельнице две стальные пуговицы – последние, оставшиеся у него на камзоле» [Там же, с. 207].

Мунго Парк предстает в статье Жуковского образцом рассказчика, который не привлекает внимания к своей персоне, даже если речь идет о собственной жизни: «... Описывая судьбу свою, он говорит о себе, как будто о человеке постороннем, нимало не занимаясь красивым изображением своего чувства; имея беспрестанно перед глазами важную свою цель, он забывает самого себя, и только тогда печалится, когда неожиданное препятствие отдаляет его несколько от сей цели» [Там же, с. 204].

Статья В.А. Жуковского, лежавшая у истоков разработки африканской темы в русской литературе XIX века, задавала пафос гуманного отношения к угнетенным народам Африки. Этот пафос и эпически спокойная, объективная манера повествования Мунго Парка, отмеченная Жуковским, нашли отклик в книге путешествия И.А. Гончарова.

Немаловажным для писателя стало знакомство с романом Э. Сю «Атар-Гюль»² (В русском переводе – «Морской разбойник и торговцы неграми, или Мщение черного невольника». – *К.П.*). В 1832 году, через год после публикации романа во Франции, молодой Гончаров переводит вторую и третью главы из пятой книги романа Э.Сю («Отравители» и «День накануне свадьбы»).

И.А. Гончаров начинает заниматься переводческой деятельностью еще в молодости, будучи членом кружка Майковых. Об обращении к переводу популярного в те годы романа Э. Сю «Атар-Гюль», посвященного истории негра, мстящего

² Оригинальное название – «Atar Gull», 1831.

белым работорговцам, Гончаров писал в своей автобиографии 1868 года. Публикация перевода из этого романа Э. Сю стала первым литературным опытом молодого Гончарова³. Впоследствии в романе «Обыкновенная история» Александр Адуев использует фразу из романа «Атар-Гюль»⁴. И.А. Гончаров впервые обращается к изображению африканцев спустя двадцать лет после первого прочтения романа Э. Сю.

Изображение национальных характеров людей, представляющих разные страны и континенты, в книге И.А. Гончарова было способом воплощения его историософской концепции. По определению Е.А. Краснощековой, авторское представление об историческом процессе человеческого общества включает в себя два доминантных концепта – «прогресс» и «цивилизация» [Краснощекова, 1997, с. 203]. Именно эти концепты определяют социальный идеал писателя, оформляют историческое представление Гончарова о «возрастных» категориях в истории наций. В его историософской системе «каждый своеобразный „мир” имеет свой „возраст”, причудливо сочетающий приметы двух „основных” (детства-юности и взрослости-зрелости), и именно этот конкретизированный „возраст” становится образным лейтмотивом при воссоздании стиля жизни и ментальности народов той или иной страны» [Там же, с. 232].

С.А. Васильева в диссертации, посвященной философии истории в книге очерков И.А. Гончарова, исследуя содержание «возрастных категорий» в концепции писателя, указывает антропологическую природу исторической системы Гончарова, по которой человеческое общество в своем развитии проходит детство, отрочество, юность, зрелость, старость [Васильева,

³ Переводы были напечатаны в журнале «Телескоп» Н.И. Надеждина [Телескоп, 1832, ч. 10, № 15, с. 298–322].

⁴ Отрывок «Любить не тою фальшивою ~ отирает слезу и успокоивается» – заимствован из романа «Атар-Гюль» (Кн. 3, гл. 2) и представляет собой несколько сокращенное, но переведенное близко к оригиналу, не связанное аванпурной фабулой романа авторское отступление о дружбе» [Демиховская Е.К., Демиховская О.А., 1994, с. 775].

1998, с. 35]. При этом концепция истории у Гончарова связана не с линейной схемой: «... в каждом из этих возрастных периодов повторяются одни и те же этапы: т.е. каждое государство переживает период детства несколько раз – детство в детстве, детство в отрочестве, детство в юности, детство в зрелости и детство в старости» [Краснощекова, 1997, с. 219].

И.А. Гончаров берет за основу циклическую модель развития. Для каждой описываемой страны, писатель выявляет возраст, который соответствует развитию нации⁵. Место Африки в этом процессе можно определить как «детство в детстве» на пути общественного прогресса. Южная Африка воплощает образ младенчества человеческого общества.

В портретах африканцев, созданных на страницах «Фрегата „Паллады”», Гончаров неизменно акцентирует их естественность, близость к природе. Характер изображения жителей африканского континента обусловлен влиянием на писателя руссоистской идеи естественного человека. По мнению французского мыслителя, естественный человек не отягощен социальным опытом, правовыми отношениями, его окружает такая же природная среда, где нет ни рыночных отношений, ни социальных догм, ни искусства, ни культуры. Однако, следуя за традициями Ж.-Ж. Руссо, с симпатией изображая простоту и естественность нравов негров, их близость к природе, Гончаров в то же время вступает с ним в полемику, которая связана с критикой отсталости, неразвитости африканского континента и с надеждами на просвещение и экономический прогресс, который несут с собой европейцы.

Портреты африканцев появляются в главе «На мысе Доброй Надежды». При создании образа африканца Гончаров включает в художественный текст документальное повествование – дает развернутую справку об истории колонизации Африки. Следуя

⁵ Младенчество – Ликейские острова; детство – Япония; Мадера и Мыс Доброй Надежды – юность; Англия – зрелость; Россия – младше Англии, но старше Португалии.

законам эпического повествования, писатель рисует портреты-характеристики представителей разных негритянских племен, выделяя каждый раз отличительные особенности каждого племени.

Повествователь проявляет осведомленность относительно разновидности племен: «А черный? Вот стройный, красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это кули – наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью, восьмью, до двенадцати быков и более» [Гончаров, 1997, т. 2, с. 140]. По его мнению, по внешности самые красивые африканцы – это представители племени финго, мозамбик, бичуанов и сулу – повествователь называет их «африканскими Адонисами» [Там же, с. 205]. По физической силе их превосходят кафры, африканские атлеты. С точностью и наблюдательностью повествователь рисует портрет готтентотов: «Я видел готтентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы, напротив, выдаются; нос у них больше, нежели у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами; вид старческий, волосы скудны. Они малорослы, худошавы, ноги и руки у них тонкие, так, тряпка тряпкой, между тем это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие» [Там же, с. 206].

Бушмены в книге очерков представлены самыми дикими и непросвещенными. В процессе знакомства с представителями различных племен повествователь проявляет к ним особый интерес. Он просит африканцев показать настоящего бушмена. Рослые, физически развитые чернокожие жители других племен смеются над физической немощью и жалкостью бушмена, что вызывает болезненное и сострадательное чувство повествователя: «Какое жалкое существо! Он шел тихо, едва передвигая ско-

ванные ноги, и глядел вниз; другие толкали его в спину и подвели к нам. Насмешки сыпались градом; смех не умолкал. Перед нами стояло существо, едва имевшее подобие человека, ростом с обезьяну. Желто-смуглое, старческое лицо имело форму треугольника, основанием кверху, и покрыто было крупными морщинами. Крошечный нос на крошечном лице был совсем приплюснут; губы, нетолстые, неширокие, были как будто раздавлены. Он казался каким-то юродивым стариком, облысевшим, обеззубевшим, давно пережившим свой век и выжившим из ума» [Там же, с. 206].

Африканцы различаются в книге по оттенку кожи, по принадлежности к определенному племени. Одних повествователь называет «коричневыми», других «черными». Это связано с тем, что «в городе считается около тысячи всех жителей, европейцев и цветных. Кроме черных и малайцев встречается много коричневых лиц весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан: это помесь этих народов с африканками» [Там же, с. 141]. При виде мулатов повествователь делает замечание, в котором проскальзывает его восхищение и понимание оригинальности красоты коренного населения Африки: «Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид» [Там же, с. 289].

Зарисовки бытовых сцен, написанных часто с юмором, дают большой материал для характеристики психологии африканцев, их частной жизни. Так Гончаров рисует встречу с тремя черными женщинами: «Я спросил одну, какого она племени: „Финго! – сказала она, – мозамбик, – закричала потом, – готтентот!“ Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных женщин. „Бичуан! Кафр!“ – продолжала кричать нам баба» [Там же, с. 206].

Но как бы повествователь ни увлекался описаниями и отличительными особенностями «чужой» культуры, он всегда

держит в памяти «русский мир», проецируя увиденное в Африке на русские характеры и нравы. Так, описывая внешность африканок, Гончаров вспоминает о русских деревенских старухах: «В самом деле, баба. Одета, как наши бабы: на голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины из коричневых племен поразительно сходны с нашими загорелыми деревенскими старухами; зато черные ни на что не похожи: у всех толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое» [Там же, с. 131]. Не без юмора Гончаров описывает поведение африканских «спекулянтов» – продавцов апельсинов, сравнивая их с русскими торговцами: «Некоторые из негров бранились между собой – и это вы знаете: попробуйте остановиться в Москве или Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного: как всё это закричит и завоет! То же и здесь, да и везде, как кажется» [Там же, с. 112].

Следует заметить, что, как правило, возникающие «параллели» касаются сравнения коренного африканского населения с русскими простолюдинами, мужиками и бабами. В основе этого соотношения лежит демократизм Гончарова, сочувственное отношение к рабам – невольникам как в Африке, так и в России. Посещение разных стран давало писателю возможность издалека увидеть более четко картину социальных отношений, оценить бремя крепостного права. В книге путевых очерков И.А. Гончарова не встречается свободных африканцев: «Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера – словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы» [Там же, с. 157]. Гончаров отмечает крайнюю степень покорности рабов, которых чаще всего называет слугами. Примером услужливого раба становится африканец Ричард: «Ричард метался как угорелый и отлично успевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал... Лишь

кликнут: „Ричард!”, да и кликать не надо: он не допустит; он глазами ловит взгляд, подбегает к вам...» [Там же, с. 142].

Значительное место в описании Африки занимают живописные пейзажи, отличающиеся контрастами, соответствующими как бы состоянию жителей Африки. Неоднократно Гончаров рисует суровые виды бесконечного песка: «...берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как всё это, вместе взятое, печально, скудно, голо, опалено!» [Там же, с. 107]. Писатель отмечает однообразие, «обыкновенность» песчаного пейзажа: «Всё спит, всё немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжайте через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы сегом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет всё, что не прячется где-нибудь в ущелье» [Там же, с. 107]. Спящая картина африканской местности соотносится с сонной Обломовкой и с провинцией, которую Гончаров изображает как царство покоя, лени и сна.

Вместе с тем в Африке есть и места чарующей красоты природы: «Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост – чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длинной он футов сорок, а вниз опускался сплошной каменной стеной, футов на семьдесят, и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз» [Там же, с. 210]. Повествователь наполняет природное пространство богатством цвета, звука: «кузнечики трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам» [Там же, с. 189].

Описания видов Африки отличаются сочетанием монументальности с детализацией, что позволяет Гончарову выразить представление о громадности и величии природной мощи этого континента, о ее необыкновенных коренных жителях и поразительной отсталости и убогости их существования. Въезд в Капштат открывается описанием величественного вида «трех странных масс гор, не похожих ни на одну из виденных нами»: «Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них или опоясывают облака – во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника» [Там же, с. 135]. На фоне величественной природы маленькими и незащищенными предстают ее обитатели: «Берег постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи» [Там же, с. 143].

Таким образом, Африка в сознании Гончарова включена в мировой процесс развития человеческого общества. Характер изображения африканцев обусловлен философскими размышлениями писателя о сложности исторического пути человечества, устремленного к просвещению и прогрессу. Гончаров на примере Африки, богатства ее природных и человеческих ресурсов и отсталости и бедности коренного населения утверждает необходимость гуманного отношения к коренным свойствам каждого народа и активного участия в его духовном и экономическом развитии. Основой для художественного воплощения этих идей послужила эпическая манера живописания Гончарова.

Литература

Васильева С.А. Философия истории в книге И.А. Гончарова «Фрегат „Паллада“». Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1998. 18 с.

Гончаров И.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб: Наука, 1997 (продолжающееся издание).

Демиховская Е.К., Демиховская О.А. [Переписка И.А. Гончарова с великим князем Константином Константиновичем] // Российский Ар-

жив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. Т. 5. С. 176–178.

Жуковский В.А. Мунго Парк / пер. с нем. В.А. Жуковского // Вестник Европы. 1808. Ч. 39. № 12 (июнь). С. 203–210. (О книге «Путешествий» и её авторе.)

Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров: Мир творчества. СПб: Пушкинский фонд, 1997. С. 134–221.

Телескоп. 1832. Ч. 10. № 15. С. 298–322.

К.К. Pavlovich

Tomsk State University

AFRICAN THEME IN THE BOOK OF TRAVEL ESSAYS BY I.A. GONCHAROV “THE FRIGATE PALLADA”

Abstract. The current research investigates the issue of the depiction of Africa and Africans in the book of travel essays by I.A. Goncharov “The Frigate Pallada”. The content and the poetics of the portraits of Africans are studied in the context of historical and philosophical conception of the writer and the attitude to Africans formed in Russian and European literature (article by V.A. Zhukovsky “Mungo Park” and the translation of two chapters from E. Sue’s novel “Atar-Gull”).

Africa included in Goncharov’s “universe” is a model of infantile state of human society, which is far from civilization. Author’s depiction of Africa inhabitants is influenced by Rousseau’s idea of natural man. The author invariably emphasizes the naturalness of Africans, their closeness to nature. However, following Rousseau, Goncharov at the same time starts the polemics with him: his polemics is connected with the criticism of backwardness and underdevelopment of African continent.

Indigenous people of the African continent, in most cases depicted as slaves, evoke associations with Russian commoners and peasant serfs. Image of Africa (descriptions of different tribes, portraits of individual characters, sketches of customs and domestic interior, scenes of nature) is characterized by epic fullness and thorough details. The narrative combines artistic features with a documentary study of the history of Africa colonization.

Keywords: I.A. Goncharov, “The Frigate Pallada”, African, slave.

Information about the author Pavlovich Kristina Konstantinovna, Master’s student of Tomsk State University (TSU, Lenin Avenue, 36, Tomsk, Russia, Tel. +79234440409, E-mail: pavlovitch.cristina@yandex.ru).

В.Н. Крылов

*Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского
(Приволжского) федерального университета*

**АМЕРИКАНСКАЯ ТЕМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
В.Г. КОРОЛЕНКО**

Аннотация. Исследование посвящено анализу различных художественных и документально-публицистических произведений В.Г. Короленко, объединенных американской темой. В качестве материала привлекаются как опубликованные, так и неизданные при жизни писателя тексты (путевые записки, статьи, переписка). Проведенный анализ позволяет видеть в текстах Короленко не просто этнографические путевые очерки, а глубокие размышления о двух образах мира – русском и американском, содержащие оценку темпов технического прогресса, идеалов свободы, уважения к личности, отношение к прагматизму, индивидуализму. В творчестве Короленко важна тема осознания национального на фоне европейских и американских реалий. Восприятие «чужого» мира персонажами писателя дается через использование контрастов природного и культурного. Исследование показывает, что образ Америки предстает в творчестве Короленко в целом более объемным и не таким однозначным, как принято было видеть в трудах представителя критического реализма. В работе делается вывод о том, что для Короленко впечатления о поездке на выставку в Чикаго в 1893 году стали основой и для последующего творчества, вплоть до конца жизни.

Ключевые слова: диалог, национальное, путевой очерк, Россия, Америка, В.Г. Короленко, свобода, справедливость.

Сведения об авторе. Крылов Вячеслав Николаевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы и методики преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, ул. Кремлевская, 18, НГПУ. Тел. 8(843)221-33-32. E-mail: krylov77@list.ru).

Хорошо известна такая особенность русской литературы конца XIX – начала XX века, как экстенсивность художественного сознания, проявившаяся в расширении «географии», то есть круга изображаемой действительности и мира персонажей разного социального, профессионального статуса. В связи с творчеством К.Д. Бальмонта исследовательница Л.А. Колобаева писала: «Безудержный мировой „аппетит” движет и поэзией Бальмонта. Его лирический герой – некий блуждающий дух, который стремится заговорить на всех языках, увидеть все города земли, все страны, приблизиться к тайне разных культур, услышать „звон всех времен и пиров”. Он – вечный путник, скиталец. И все это определяет одну из ключевых особенностей его художественной системы – экстенсивность образного освоения мира, пространственную и временную экспансию его поэтического воображения, путешествующего по всей планете. Об этом говорят уже сами названия многих его „путевых” стихотворений: „Египет”, „Исландия”, „Бретань”, „Индийский мотив”, „Воспоминание о вечере в Амстердаме”, „Испанский цветок”, „В Венгрии, в старом костеле приходском...”, „Мексиканский вечер”, „Литва и Латвия, Поморье и Суоми...”, „На Макарийских островах...” и др. <...> Подобная экстенсивность образной системы, пространственная и временная, вселенский “аппетит” поэтической фантазии не случайны в русской поэзии рубежа веков, как и во всей европейской культуре к концу XIX столетия. Во всем этом угадывается предвестье нового литературного века, тот момент истории, когда Запад вспомнил о Востоке, а Восток потянулся к Западу, когда поэты уловили потребность человечества представить, обозреть, осознать себя в целом» [Колобаева, 1990, с. 204–205].

Но процесс расширения пространственных рамок литературы охватывал не только зарождающийся на русской почве модернизм, но и традиционный реализм. Для писателя рубежа веков (независимо от направления и течения) главным становится желание увидеть всё воочию, почувствовать жизнь, почерпнуть

достоверные, непосредственные знания. Поэтому реальным фактом становятся не только странствия Горького – из-за житейской неустроенности, поиска работы, но и «университеты» Куприна, и известное его желание всё попробовать (он с рыбаками ходил в море, поднимался на воздушном шаре в небо, опускался с водолазами на дно, летал на аэроплане). В этом контексте нужно рассматривать и поездку Чехова на Сахалин, и страсть к путешествиям у Бунина, который писал:

Я человек; как бог, я обречён
Познать тоску всех стран и всех времён [Бунин, 1985, с. 267].

Для русского реализма одной из самых острых тем становится тема России, ее исторического своеобразия, ее будущего: «В той или иной мере тема эта будет затронута во всех крупных произведениях. Герои их с различных позиций размышляют о том, что такое Россия, и размышления эти раскрывают пестрый и сложный комплекс социальных и нравственных противостояний отдельных общественных групп» [Сливицкая, 1983, с. 605].

Разумеется, задача углубленного познания России не могла решаться без обращения к опыту «чужого» мира. Редкий «толстый журнал» того времени не публиковал разного рода путевые очерки, этнографические циклы путевых заметок о жизни и быте разных народов. Вот неполный перечень подобных материалов, опубликованных в журнале «Русская мысль» в 1908 году, свидетельствующий о буме подобной литературы: «Россия в Италии» М. Первухина (№ 3), «Письма из Польши» А. Погодина (№ 3), «Европеизация» Д. Протопопова» (№ 4), «Духоборы за морем» Щ. Антона (№ 40), «Письма из Германии» К.Н. Соколова (№ 5), «На Иматре» Л.М. Василевского (№ 6), «Письмо из Польши» А.Л. Погодина (№ 6), «Поездка в Египет» М. Ростовцева (№ 6), «Современная Норвегия и страничка из ее истории» О. Рудченко (№ 7), «Женщина в американских университетах» И. Рубинова (№ 7), «Парижские рассказы» Ю. Волина (№ 10), «Письма из Англии» С.И. Раппорта (№ 10), «Письмо из С.-А. Соединенных

Штагов» П.А. Дементьева (№ 11), «По южным славянским странам» А. Стаховича (№ 11) и т. д.

«К концу XIX века предметом описания в произведениях этнографической направленности становятся не только общественные явления, но в гораздо большей степени особенности культурной и природной среды», – отмечает Д.А. Завельская [Завельская, 2009, с. 422].

Литературоведческой аксиомой давно стала мысль о том, что познание «своего» невозможно во всей полноте без постижения «чужого»; диалог с «другим» позволяет найти новые, скрытые смыслы в своем «слове» и, в конечном счете, в тексте культуры. Ю.М. Лотман в статье «К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект)» выдвигает ряд положений, касающихся соотношения «своего» и «чужого» в культурах, размышляет о причинах взаимодействия культур: «С одной стороны, нуждаясь в партнере, культура постоянно создает собственными усилиями этого «чужого», носителя другого сознания, иначе кодирующего мир и тексты. Этот создаваемый в недрах культуры – в основном по контрасту с ее собственными доминирующими кодами – образ экстерииоризируется ею вовне и проецируется на вне ее лежащие культурные миры. Характерным примером могут служить этнографические описания европейцами «экзотических» культур (куда в определенные моменты истории попадает и русская) или описание Тацитом быта германцев. С другой стороны, введение внешних культурных структур во внутренний мир данной культуры подразумевает установление с нею общего языка, а это, в свою очередь, требует их интериоризации. Для того чтобы общаться с внешней культурой, культура должна интериоризировать ее образ внутрь своего мира. Процесс этот неизбежно диалектически противоречив: внутренний образ внешней культуры обладает языком общения с культурным миром, в который он инкорпорирован» [Лотман, 1992–1993, т. 1, с. 117].

Рассмотрим, как отразился этот противоречивый процесс в художественно-документальном отражении Северной Амери-

ки в произведениях ведущего реалиста рубежа XI–XX веков – В.Г. Короленко⁶. В анализе мы опираемся на исследования рецепции Америки в русской культуре, в частности, на докторскую диссертацию А.А. Арустамовой «Тема Америки в русской литературе XIX века» (2010) и книгу А. Эткинда «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001)⁷. В исследовании А.А. Арустамовой прослежена динамика воплощения темы Америки в русской литературе на протяжении столетия, показано, как в XIX веке в русской литературе представление о США качественно изменяется: появляются новые темы, мотивы, сюжетные ситуации, усложняется типология образов; выработанные в начале XIX века комплекс идей и понятий, система оппозиций, образов, мотивно-тематические комплексы, сюжетные коллизии наполняются новым содержанием. Особенно важно отметить, что отношение к Америке двойственно: «Диалог с США на протяжении XVIII–XX вв. являлся важной частью русской культуры; в процессе этого диалога формировалось национальное самосознание, анализировались перспективы исторического развития России. Авторы произведений, в которых воплощалась тема Америки, затрагивали многие общечеловеческие проблемы и отвечали на ключевые вопросы времени. Получая информацию об американской жизни, русский читатель имел возможность сопоставить социально-политические институты США и России, в том числе институты невольниче-

⁶ Художественно-документальное осмысление Америки в творчестве Короленко любопытно рассмотреть и в контексте непосредственных предшественников и продолжателей темы («Американские рассказы» В.Г. Богораза, очерки Г.А. Мачтета, цикл очерков В. Дорошевича «Америка (Из моего путешествия по Соединенным Штатам)» в «Одесском листке», циклы М. Горького «В Америке» и «Мои интервью»), но этот аспект выходит за рамки нашей статьи.

⁷ Книга А. Эткинда посвящена путешествиям за океан, реальным или вымышленным, в течение двух веков. Как отмечает автор, «сравнение этих двух стран, народов или национальных характеров настолько распространено, что интереснее следить не за тем, как оно попадало от одного автора к другому, но за тем, сколь разные функции оно выполняло у разных авторов» [Эткинд, 2001, с. 5].

ства и крепостного права, что способствовало развитию русской общественной мысли. Русское самосознание в одних ситуациях притягивалось к Америке, в других – отталкивалось от нее. Для одних Америка оказывалась образцом для подражания, идеалом, чем-то вроде Рая на земле и указывала направление, по которому должна развиваться Россия. Для других Америка была “проклятым местом” (аналогом Ада) и определяла вектор направления, в котором России развиваться не нужно [Арустамова, Кондаков, 2010, с. 11–112].

Эта двойственность сохранилась и на рубеже XIX–XX веков, обретя большую философскую направленность, сосредоточенность на индивидуально-личностном осмыслении судьбы человека на родине и на чужбине.

В начале XX века предметом философско-публицистических размышлений русских писателей становится американизм и американский характер, рассмотренный сквозь призму популярных тогда концепций противостояния культуры и цивилизации. Так, В.В. Розанов рассуждал об отсутствии взаимного понимания европейцев и американцев. Если «европеизм» есть человечность, все европейские народы «имеют каждое тысячелетие свою национальную церковь, с неизмеримым и ежедневным ее влиянием», то американское общество пронизано торгашеским духом. В этом контексте Россия виделась В.В. Розанову «в самом строгом смысле культурной страной» [Розанов, 1995, с. 165]. Объясняя читателям религиозно-философского журнала «Новый путь» (цитируемая статья впервые была опубликована в № 2 за 1904 год), смысл культурной истории России, Розанов писал: «Ибо дело не столько в том, как сделана икона, Рафаэлем или суздальцем, а в том, что с верой и надеждой на икону эту молились тысячу лет, молились души скорбные и угнетенные, каждая со своей надеждой, с своеобразными словами! Это и образует культуру, а не арифметика, которую можно выучить в год. Образуют культуру богатство духовного опыта, долголетность его, сложность его. Деревня может быть культурнее фабрики,

ибо в ней есть песня, воспоминания-история, быт, семья, деды и внуки; чего всего нет на фабрике, состоящей единственно из рабочих и нанимателей. Школою мы уступаем едва ли не всем народам, и это есть вина наша, слабость наша, глупость наша. Но культурою, в смысле поэзии и мудрости, мы никому не уступаем – и наш былинник новгородский, или малороссийский бандурист, есть родной брат шотландскому барду, без всякой уступки, хотя, конечно, и без всякого самовозношения. Будем скромны. Но в скромности совершенно твердо признаем, что глубиною и тонкостью души мы никому решительно не уступаем. Что и отразилось, уже вторично и зависимо, в благородной нашей поэзии, литературе, в живописи, в музыке. Все это – дети своего народа, отнюдь не отец его. Отец нашей литературы – народ, деревня. Янки ничего этого, не понимают, это им невозможно растолковать» [Розанов, 1995, с. 165].

В конце статьи Розанов выразил парадоксальную (но совершенно понятную в рамках его мировоззрения) мысль о том, что «американская нация есть вообще не мечтательная нация, а мечта родит и поэзию, и философию» [Розанов, 1995, с. 165].

Последняя мысль Розанова, на наш взгляд, позволяет понять специфику художественного отражения Америки в текстах русских писателей.

В 1893 году журнал «Русская мысль» командировал В.Г. Короленко в качестве корреспондента на всемирную выставку в Чикаго. Путешествие через Европу в Америку непосредственно отразилось в одном из самых известных его художественных произведений – повести «Без языка», а также в разных автодокументальных текстах – переписке, записных книжках (большой частью неопубликованных при жизни писателя), путевых очерках, публицистике.

Американская тема в творчестве Короленко привлекала к себе внимание историков литературы. Однако нельзя не согласиться с тем, что, например, образ простого крестьянина из Полесья Матвея Лозинского (из рассказа «Без языка») «в совет-

ские годы трактовался в ключе «разоблачения лживой буржуазной демократии» [Петрова, 2000 с. 481], что на самом деле, как будет показано далее, не совсем соответствует позиции автора, да и герою рассказа, «заблудившемуся среди грохота непонятной и чужой цивилизации», разоблачительные настроения близки лишь поначалу, но постепенно «великая американская земля» открывает и свои достоинства: умение ценить «человека с головой и руками», право «выбирать себе веру, кто как хочет», организованную солидарность людей труда» [Петрова, 2000, с. 482]. На самом деле образ Америки предстает в творчестве Короленко более объемным и неоднозначным, чем принято считать. Панорамные исследования рецепции Америки в русской литературе, как упомянутое исследование А.А. Арустамовой, не отражают эту многозначность. К тому же, на наш взгляд, важно рассмотреть в качестве материала исследования широкий комплекс источников, а также изучить связь американской темы писателя с его позднейшей публицистикой. При этом, разумеется, нельзя не учитывать и трагических жизненных событий, о которых писал Короленко: «...для меня лично эти американские впечатления омрачены тяжелым горем: у меня умерла в мое отсутствие маленькая дочка, около 2-х лет, маленькое создание, исчезновение которого принесло мне и всем нам огромное горе» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 9]. Может быть, одной из причин незавершенности и неопубликованности путевых очерков Короленко и стала не дававшая покоя память об этом трагическом событии⁸.

Письма, очерки, записные книжки Короленко полны многообразных сравнений Америки с Россией. Попробуем отчасти их систематизировать. Короленко, рефлексируя на тему путешествий, очень точно отмечал: «Путешествие – в настоящем и поучительном смысле этого слова – трудная и большая работа. Моя скромная задача – сделать собственные впечатления, далеко

⁸ Впервые они появились в 18-м томе «Полного собрания сочинений (посмертное издание)» в 1923 году, где центральное место занимает цикл «В Америку! (Впечатления и заметки русского туриста)».

не систематические и часто случайные – хоть до известной степени впечатлениями читателя» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 67–68]. При этом следует учитывать еще одно немаловажное обстоятельство, отмеченное Е.Г. Савельевой: «Хранящийся в архиве дневник спутника Короленко С.Д. Протопопова подтверждает, что если сюжет повести («Без языка». – В.К.) выдуман, то все реалии американской жизни, увиденные волынским крестьянином, – это картины, поразившие самого писателя. То есть Короленко решил удивительную задачу: наблюдения и впечатления он передал так, как будто это были впечатления неграмотного крестьянина. От этого они еще более выиграли в яркости и убедительности. Но главное, Короленко решал и частично решил основную для него задачу: показал резкое несоответствие точек зрения на мир крестьянина и интеллигента, вовремя понял, что эта ситуация не безнадежна и возможность обретения общего языка все-таки существует» [Савельева, 1998, с. 85].

Это дает нам возможность рассматривать рассказ и литературу факта как некий *единый текст*.

Первые впечатления, отраженные в незаконченном очерке «В Америку! (впечатления и заметки русского туриста)», скорее всего, носят общечеловеческий характер. Любое путешествие позволяет человеку почувствовать себя свободным («... как птица, которая в эту минуту встряхнулась на ближней ветке, снялась с насиженного места и понеслась над вершинами деревьев» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 15]), но в то же время «невольная грусть закрадывается в сердце <...>. Зачем едешь ты на чужбину, что найдешь там, на чужой стороне, что застанешь здесь, когда вернешься!..» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 15]. Еще находясь проездом в Лондоне, Короленко мечтает о скором возвращении домой («Не скажу, чтобы дальнейшая дорога в Америку меня не интересовала. Наоборот, а все-таки чувствую, что я теперь не тот путешественник, каким был прежде: все-таки тянет поскорее к вам, и чувства Натаки мне понятны: какой бы круг ни предстояло сделать по свету, все-таки заглядываешь в конец

и думаешь: а скоро ли я буду у них?» [Короленко, 1953–1956, т. 10, с. 191]). Уже перемещение по Европе (Финляндии) вызывает у Короленко попутные размышления об «особой примете» русского человека, о «паспортном» чувстве, так отличающем русских от других народов:

Англичанин, например, в отечестве ли, или на чужбине, есть прежде всего именно то, чем он себя именует. А если бы кому угодно было в его «личности» усомниться, то этот скептик обязан был бы обеспокоить себя представлением доказательств и оснований как для сомнений, так и для изъявления оных... Русский человек, наоборот, находится во всегдашней готовности доказывать свою подлинность, и недаром бумажка, заключающая в себе доказательства, называется нашим «видом». Человек «без вида»! – Господи, Боже! – есть ли существо более несчастное и неполное. Человек «без вида» – да это гораздо хуже, чем известный герой немецкой сказки, у которого похитили его тень... Англичанин Том Джонс всегда останется Томом Джонсом, пока его душа держится в его теле. Но дворянин Иван Семенович Пантелеев, потеряв из кармана третий элемент собственной личности, – превращается в «именующего себя Иваном Семеновым Пантелеевым», и посмотрите сразу, как он изменился: он заискивающим тоном говорит с коридорным в гостинице, он потерял уверенность голоса и движений, и самая воля его значительно извратилась [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 17].

Эта тема осознания национального на фоне европейских и американских реалий станет постоянной во всех текстах Короленко:

Мы, русские, к какому бы сословию, классу, направлению ни принадлежали – въезжаем в первый раз за границу с особенным чувством. Пусть это будет наивное доверие к западу или, наоборот, кичливое «патриотическое» пренебрежение, – но всегда в первом взгляде нашем на свободную Европу читается один и тот же вопрос: «Ну, что же у вас тут лучше нашего? У вас тут свобода, конституция или республика... Что же, нет у вас голода, нищеты и порока?..» И сколько бы мы ни читали, ни думали об этих вопросах раньше, сколько бы ни смеялись над наивными ожиданиями земного рая, – но все-таки всякий раз эти яркие фигуры «европейских» нищих отпечатываются в нашем взгляде с такой яркостью и силой, с какой никогда не воспринимали мы их

у себя на родине <...>. «Все то же». Это неизбежная прелюдия для дальнейших впечатлений за границей... После приходится замечать различия, оттенки, производить сравнения и количественные учеты. После вспоминаешь, что-то же может быть не так и не в такой степени, после поймешь, что закон жизни есть вечное стремление и что вопрос не в том, кто достиг уже всего, а только в том, кто сильнее стремится и кто большего достигает... [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 36].

В письме к жене из Лондона он сообщает о незнании местных обычаев: вместе с переводчиком С.М. Кравчинским (Степняком) они сильно проголодались, не зная, что в воскресенье все лавки, кабачки, трактиры и рестораны закрыты. Предложение квартирной хозяйки воспитывать русских детей в английских семьях рождает в письме сложное чувство: с одной стороны, легкой зависти («здесь воспитывают отлично: я посмотрел этих красивых девушек, учившихся в английских школах, мальчишек, румяных и крепких, и что главное – бодрых, веселых, живых, с отличной мускулатурой и физической выправкой, – и мне стало немного завидно» [Короленко, 1953–1956, т. 10, с. 187]), с другой стороны, выражается чувство опасения за судьбу русского языка:

Дети русских родителей здесь стали совершенными англичанами, мальчишки – ни слова по-русски, девушки (много старше) – говорят, с сильнейшим акцентом и при этом смеются: родной язык им смешон и дик! <...> Но мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним и мои понятия, мечты, стремления! Моя любовь к своей бедной природе, к своему чумазому и рабскому, но родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой хорошо ли, плохо ли – служишь сам. В детях – хочется видеть продолжение себя, продолжение того, о чем мечтал и думал с тех пор, как начал мечтать и думать – и для них хочется своего родного счастья, которое манило самого тебя, а если – горя, то опять такого, какое знаешь, поймешь и разделишь сам! А тут – miss с английским языком и манерами. Я думаю, это очень тяжело, это настоящая трагедия отцов и детей. Да и вообще очень много трагического в этой «России за границей» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 188].

Но вот он вспоминает один характерный рассказ одного русского человека в Америке, национальность которого чиновник почтамта узнал по тому, как тот наклеивал марки на конверте, боясь, что прочитают его письмо. Такая мелочь показывает, как «уверенность в обиходной честности развивается вместе с культурой» [Короленко, 1953–1956, т. 10, с. 20–21].

Путь в Америку лежит через океан. И сам Короленко, и герой повести, оказавшись на корабле в океане, испытывают возвышенное чувство, сопряженное со страхом:

И все-таки – 8 суток в океане! На всем протяжении огромного пути (3200 миль) – ни одного острова... От берегов Ирландии до Америки – ни клочка земли, и далекий парус на горизонте или полоска дыма над океаном – составляют целое событие. Восемь дней – только колеблющаяся зыбь и небо... Какое-нибудь столкновение среди ночной темноты, или в бурю – лопнула цепь, сломалась машина, взорвало котел, пьяный пассажир не затушил перед сном папиросу... И никто, быть может, не узнает во всем божием мире – где именно и что именно случилось с несколькими сотнями людей, вступивших на борт кюнардовского парохода в Англии, но не высадившихся в свое время в Америке... И невольно кажется, что смерть страшнее на этом грандиозном просторе. Описание редкой гибели корабля среди океана покрывает для нас тысячи мелких и крупных речных крушений, совершающихся чуть ли не ежедневно <...>. Теперь штиль не останавливает уже моряка над неподвижной и мертвой гладью, а буря не гонит его на неведомые скалы, – и однако человек инстинктивно боится океана [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 68–69].

Как и автор в путевых записях, это состояние испытывает и герой Короленко Матвей Лозинский, но оно передано не столь рационально:

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, вышывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то смотрит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то

удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые вышльвают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину, ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели [Короленко, 1971, т. 4, с. 17–18].

Героя повести, простому крестьянину, под воздействием океана приходят в голову «такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви» [Короленко, 1971, т. 4, с. 18]. Используя прием временной перспекции, Короленко замечает:

А, впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, – сказал он мне, – разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане – о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки осталось в этой душе от моря [Короленко, 1971, т. 4, с. 18].

Можно вспомнить, как трактовал возвышенное Псевдо-Лонгин: «...природа никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существами, – нет, она вводит нас в жизнь и во вселенную как не на какое-то торжество, а чтобы мы были зрителями всей ее целостности и почтительными ее ревнителями,

она сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому, потому что оно более божественно, чем мы» [О возвышенном, 1966, с. 64–65].

Через категорию «возвышенное» можно объяснить и открытие Короленко Америки. Воспринимая возвышенное в природе и обществе, человек испытывает как восторг, удивление, так чувство страха. Например, в письме к жене А.С. Короленко передано восхищение индустриальным величием Америки, непохожестью ее архитектуры в сравнении с европейской:

Сегодня мы весь день ходили по Нью-Йорку и отчасти – Бруклину, видели величайший в мире мост, соединяющий эти два города, любовались еще раз статуей свободы, в руку которой можно входить по лестнице внутри, – проехали немало и в omnibusах, и по железным дорогам, проложенным над улицами. Едешь вниз, а над головой идут поезда. Нью-Йорк не похож ни на один из городов, виденных нами до сих пор. В постройках есть что-то напоминающее Англию и Лондон, но здесь эта саксонская архитектура как будто вырвалась на простор. Дома светлее, веселее, разнообразнее. В Лондоне – они огромны, до 13 этажей. Но все эти серые закопченные дымом великаны сомкнулись плотно в одну массу и приблизительно все одного роста. Здесь то и дело видишь дома в 15, 16, даже в 17 этажей, узкой башней подымающиеся над 5-ти и 6-ти этажными, которые перед ними кажутся просто небольшими лачугами. Мы приехали в воскресенье: как и в Лондоне, по воскресениям здесь тихо, лавки закрыты и движения очень мало; и только одни машины свистят и гремят, развозя поезда под землей, на земле, но больше всего – по воздуху, над головами... И весь воздух полон их свистом и грохотом [Короленко, 1953–1956, т. 10, с. 193–194].

Такое же впечатление производит Ниагарский водопад: ведь и природа здесь «прониклась тревогой и беспокойной энергией человека» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 78]:

Гул, продолжительный и глубокий, простор и зрелище величавой катастрофы. Тревожный бег как будто замедлился, уклон как будто стал спокойнее, но все равно, – уже ничто не спасет обреченную реку. Тихо, торжественно, как осужденный проходит по ступеням эшафота,

протекает река последние сажени по своему каменистому руслу и прямо за островком, вздрагивая, выгибается и внезапно валится под прямым углом в пропасть. Сколько времени стоит водопад? Сколько веков длится эта катастрофа, сколько тысячелетий вздрагивают окрестные скалы от этого тревожного непрерывного, немолчного грохота? Я стоял над обрывом, невольно сжимая в руке жердочку берегового парапета, и глаза мои жадно ловили эту величавую картину... [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 81].

В первых картинах Америки, увиденных глазами крестьянина Матвея Лозинского, преобладает ощущение страха:

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины, – и во лбу ее, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и веноч огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой, – думал Матвей. – Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город все развергивал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, несло рокотание и гул. Казалось, кто-то

дышит, огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами [Короленко, 1971, т. 4, с. 26–27].

Передавая мысли и чувства неграмотного крестьянина, Короленко прибегает к приему остранения, описывая ситуацию «как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз происшедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а описывает их так, как называются соответственные части в других вещах» [Шкловский, 1990, с. 64]. Так воспринимается статуя Свободы или трактор:

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в 15, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой с колочками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомобиль – красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема. Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господу! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так папшут землю? [Короленко, 1971, т. 4, с. 85].

Герой повести неоднократно испытывает ужас и страх, соединенные со скромностью, боязнью оказаться смешным, но когда он видит, что американцы не «пялят» на них глаз, никто не усмехается, то немного успокаивается.

Постоянный мотив, через который Короленко передает взгляд Матвея Лозинского на «чужой» мир, – это контраст *природного и культурного*. Пораженный технической мощью Аме-

рики, герой воспринимает их через привычные и близкие ему образы природы:

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем, как наши. «Вот, – думал Матвей, – полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине [Короленко, 1971, т. 4, с. 32–33].

Все более и более удаляясь от Нью-Йорка, герой видит, что города становятся меньше и проще, и по мере того, как больше и ближе ему открывалась природа, как «в окна врывается вольный ветер полей и лесов», «душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять» [Короленко, 1971, т. 4, с. 116]. Матвей Лозинский созерцает картины, привычные и близкие его образу жизни и его сознанию:

В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провозжая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа – и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем [Короленко, 1971, т. 4, с. 116].

Именно в этот момент Лозинский чувствовал, что и «ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей, от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю» [Короленко, 1971, т. 4, с. 116].

А в очерке «Русские на чикагском перекрестке», передавая впечатления о чикагской выставке, Короленко замечает, что «природа ночи исчезла, был только искусственный свет, камень, суэта, теснота и грохот» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 93]. По мере того, как попутчики (русские) приближаются к окраине города, становилось несколько тише и угадывалось, что «где-то в далеком божьем мире стоит ночь, просторная, широкая, задумчивая, безграничная и таинственная» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 93]. Особенное потрясение испытывают попутчики, когда видят луну: «... уличные фонари, освещенные окна, подвезды, световые объявления, и среди всего этого, точно действительно большая лампа, – висела склонившаяся к закату луна» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 96]. Вспоминается невольно, как примерно в это время один из основателей русского символизма (и первооткрывателей образа города в русской поэзии) Валерий Брюсов переосмысливал образ луны в урбанистических стихотворениях «Творчество», «Конь блед»:

Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле – души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ [Брюсов, 1987, с. 209].

В письмах Короленко, разумеется, преобладает «интеллигентская» точка зрения. Как писатель и публицист Короленко обращает внимание на хлесткие заглавия американских газет (правда, вскоре в начале XX века они появятся и в России), он сообщает жене о том, что пишут американские газеты о России. Например, приводит с негодованием суждение сенатора Эдмондса, что «русская нация недостойна учреждений и вообще, – что ей достаточен и деспотизм. Хороша русско-американская дружба, с такими соображениями!» [Короленко, 1971, т. 4, с. 195].

Последнее мнение позволяет видеть в текстах Короленко не просто этнографические путевые очерки, а глубокие размышления о двух образах мира – русском и американском, содержащие

оценку темпов технического прогресса, идеалов свободы, уважения к личности, отношение к прагматизму, индивидуализму. Отношение Короленко к Америке амбивалентно. С одной стороны, характерно такое признание, выраженное в письме к жене: «Бог с ними, с Европами и Америками! Пусть себе процветают на здоровье, а у нас лучше <...>. Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете» [Короленко, 1953–1956, т. 10, с. 197]. А в письме к Э.Л. Улановской, отправленном тотчас по возвращении из-за границы в Нижний Новгород, Короленко писал: «Плохо русскому человеку на чужбине, и, пожалуй, хуже всего в Америке. Хороша-то она хороша и похвального много, – да не по-нашему все» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 8] (нужно учесть и печальный контекст этого времени, а также типичность подобного рода высказываний для любого путешествующего, в конце концов, страстно мечтающего вернуться на родину). Поэтому писатель не сомневается в том, что если бы предложили жить в Америке или в Якутской области, он бы выбрал последнее. С другой стороны, это «удивительная страна!» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 86].

Поэтому неоднократно в путевых заметках изображаются своего рода *идеологические диалоги*. В очерке «Русские на чикагском перекрестке» дан диалог встретившихся на чужбине русских, один из которых охарактеризован как человек желчный, «по обычаю почти всех русских, – отзывался об Америке и американцах с большой горечью» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 91]. Они говорили о России, «о ее небольших городках, широких полях, степных дорогах, об ее народе, неторопливом и добродушном» [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 91]. Один из участников диалога называет американцев черствым народом, однако их разговор приходит к такому неожиданному заключению: тоска русских на чужбине – это тоска по справедливости, которой нет на родине («И там, где нет справедливости, нельзя говорить о любви») [Короленко, 1922–1929, т. XVIII, с. 92].

Герой повести «Без языка» знакомится с эмигрантами-евреями и поляками. Все они, как отмечает Е.Г. Савельева, вме-

сте решают одну проблему: «... принять ли новую культуру или сохранить свою собственную. Крестьянин Матвей Лозинский, естественно, стоит за строгое соблюдение собственных правил, нравов и обычаев и не принимает тех, кто изменяет им. Но этот твердокаменный традиционализм все-таки дал трещину. В Америке мало свободы, но есть условия, чтобы ростки свободы не погибли. В России таких условий пока нет. Америка для русского крестьянина – это страна, где могут встретиться интеллигент и крестьянин и, наконец, понять друг на друга, обрести “общий язык”, которого у них не было на родине. Так раскрывается один из символических подтекстов повести и ее заглавия – “Без языка”» [Савельева, 1998, с. 90].

Увиденное в Америке глубоко запечатлелось в творческой памяти Короленко и потом неоднократно «всплывало» в самых разных обстоятельствах, контекстах, трансформируясь и в художественные образы, и в публицистические рассуждения.

К американской теме Короленко обращался не раз в дореволюционной публицистике. В 1916 году он публикует фельетон «Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе», где вспоминает свое путешествие по Атлантике и одного надменного американца. Здесь в фельетонном ракурсе представлены образы американцев, «хваленов сынов заатлантической республики» [Неизданный Короленко, 2011–2013, т. 1, с. 140]. Отношение к еврейскому вопросу становится для Короленко поводом для размышлений о правах человека. Итоговый вывод этого фельетона навеян идеологической беседой в далеком 1893 году: «Любовь, как Благодать, веет иде же хочет. Справедливость обязательна, как воздух для дыхания» [Неизданный Короленко, 2011–2013, т. 1, с. 143–144].

Американскую поездку он вспоминает и в статье «Американский судья о русской полиции», где включается в полемику между газетами «Русские ведомости», «Киевская мысль» и другими периодическими изданиями по поводу репортерской заметки «Что мы, в России, что ли», опубликованной в чикагской

газете «Tribune» (речь шла о реплике американского судьи, воскликнувшего из-за грубости местной полиции нравов: «Да что же это: в России что ли?») [Неизданный Короленко, 2011–2013, т. 1, с. 161]. Короленко-публицист вовсе не идет по пути обязательного патриотического восхваления существующих российских порядков. Он считает, что русские писатели в этом не могут быть едины. Сравнивая состояние прав человека в России и Америке, он делает его в пользу Америки. Приводя жуткие эпизоды из своего публицистического опыта, как полиция расправлялась со смиренным обывателем, он задается вопросом, и сам же на него отвечает:

Возможно ли что-нибудь подобное в Америке? Не думаю, чтобы и там не было подобных зверей, но все-таки ничего подобного там невозможно. Прежде всего, невозможно ворваться подобным образом в дом американца ночью. Во-вторых, там полиция не считается при исполнении обязанностей во всякое время. <...> Одним словом, нет сомнения, что в России возможно еще многое, что совершенно уже невозможно в Америке [Неизданный Короленко, 2011–2013, т. 1, с. 165].

В написанных незадолго до смерти «Письмах к Луначарскому» тема Америки и сопоставление российских и американских порядков, разных культурных традиций возникает неоднократно. В «Письме втором» он вспоминает, как в 1893 году посетил всемирную выставку в Чикаго и как после выставки вспыхнули крупные волнения, вызванные наступившей безработицей⁹. Он приводит слова соотечественника, русского еврея: «Надо было бы им всем сначала сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк» [Короленко, 1991, с. 142]. Но мистер Стон, тоже русский по происхождению, марксист, говорит, что организовать сразу хозяйство огромной страны на социалистических началах совершенно невозможно:

⁹ В художественно-трансформированном виде эти впечатления, скорее всего, отразились и в повести «Без языка»

Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только [Короленко, 1991, с. 143–144].

В «Письме третьем» он снова проводит параллели между Россией, с одной стороны, и Америкой и Европой – с другой:

Над Россией ход исторических судеб совершил волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел к... коммунизму, по крайней мере, к коммунистическому правительству. Нравы остались прежние, привычки и уклад жизни тоже [Короленко, 1991, с. 150].

Обращаясь к Луначарскому, Короленко отстаивает положительное значение слова «буржуа»:

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» – целое огромное и сложное понятие – с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа... в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов? [Короленко, 1991, с. 153].

В «Письме четвертом» Короленко предсказывает другой путь пролетариата Европы: «... европейский пролетариат за вами не пошел и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я приводил во втором письме» [Короленко, 1991, с. 156], отрицая как необходимость разрушения всего прежнего в процессе исторических преобразований, так и особую миссию русского пролетариата:

При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний,

слова и печати для них не простые «буржуазные предрассудки», а необходимые орудия дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и бесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазными предрассудком», лишь тормозящим дело справедливости. Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» и еще более нашу национальную сказку об Иванушке, который без наук все науки превзошел и которому все удастся без труда, по щучьему велению [Короленко, 1991, с. 156–157].

По мысли Короленко, «любить народ надо не слепо, как среду, удобную тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности» [Короленко, 1991, с. 159]. И снова в письме появляется аргумент из американских впечатлений:

Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием думал о том. Что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступление, убил ее. Население городка устроило [законный] суд и сожгло его живым на костре. <...> Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской! [Короленко, 1991, с. 160].

И все же писатель, много поживший и хорошо знающий Россию и русские порядки, горестно констатирует, что «в Америке нравственная культура гораздо выше» [Короленко, 1991, с. 160]. Это была выстраданная писателем позиция. Еще в годы первой русской революции, после Манифеста 17 октября 1905 года, он столкнулся с проявлениями массовой психологии, выразившимися в погромах в городах и деревнях, по этому поводу он писал Н. Анненскому: «Какая тут к черту республика! Выбатывать в народе привычки элементарной гражданственности и самоуправления – огромная работа и надолго» [цит. по: Басинский, 1991, с. 144–145]. В теме национальной самокритики Короленко

был не одинок, с ним были солидарны М. Горький и И.А. Бунин. Примерно в это же время М. Горький в забытой ныне статье «О гражданском воспитании» (1918) писал: «У нас всегда сколько угодно «ориентаций», но нет только самой лучшей – ориентации на самого себя, на свои силы. Гражданин западных государств, наоборот, привык ориентироваться именно на себя самого и, начав эту ориентацию борьбою с феодалами, превосходно закончил ее Великой Революцией. Наше городское гражданство выступило на поле политической борьбы только однажды – в Смутное время и, одолев бесчисленные скопища врагов, немедленно уступило свои законные права и обязанности земельному дворянству, расшатанному, изуродованному “разрухой”» [Горький, 199, с. 273].

И сегодня, спустя почти 100 лет после появления «Писем к Луначарскому» (запрещенных в советскую эпоху), сказанное на склоне жизни выдающимся писателем не потеряло, к сожалению, своей актуальности и звучит нелестно для национального самосознания:

Случай с негром – явление настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращенности. По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое воздерживаться от известных поступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые следствия. Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. <...> Из одного и того же вещества углерода получаются и чудные кристаллы алмаза, и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно немедленно скристаллизовать из данного общества. Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете без-

опасно оставить любую вещь на бульваре, и, вернувшись, застанете ее на том же месте. А у нас – будем говорить прямо...» [Короленко, 1991, с. 161].

И осознать это, и убедительно объяснить своему читателю смогли писателю в том числе и давние американские впечатления.

Литература

Арустамова А.А., Кондаков Б.В. Константа «Америка» в русской литературе XIX века // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 5 (11). С. 111–120.

Басинский П. Логика гуманизма. Об истоках трагедии Максима Горького // Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 129–154.

Брюсов В.Я. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во «Художественная литература», 1987. Т. 1.

Бунин И.А. Стихотворения и переводы. М.: Изд-во «Современник», 1985.

Горький М. О гражданском воспитании // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 272–275.

Завельская Д.А. Очерк // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 397–436.

Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М.: Изд-во МГУ, 1990.

Короленко В.Г. Полн. собр. соч. (посмертное издание). Харьков: Государственное издательство Украины, 1922–1929.

Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1953–1956.

Короленко В.Г. Земли! Земли! М.: Изд-во «Советский писатель», 1991.

Короленко В.Г. Собр. соч.: В 6 т. М.: Изд-во «Правда», 1971.

Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Изд-во «Александра», 1992–1993.

Неизданный В.Г. Короленко: Публицистика: [публицистика, письма, дневники, записные книжки: в 3 т.]. М.: Изд-во «Пашков дом», 2011–2013.

О возвышенном / пер. с греч. статьи и примеч. Н.А. Чистяковой. М.:Л.: Наука, 1966.

Петрова М.Г. Владимир Короленко // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). М.: Изд-во «Наследие», 2000. Кн. 1. С.457–504.

Розанов В.В. О писательстве и писателях. М.: Изд-во «Республика», 1995.

Савельева Е.Г. Американские впечатления В.Г. Короленко и повесть «Без языка» // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 1998. Сер. 2. Вып. 1 (№ 2). С. 85–90.

Сливицкая О.В. Реалистическая проза 1910-х годов // История русской литературы: В 4 т. Л.: Изд-во «Наука», 1983. Т. 4. С.603–634.

Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Изд-во «Советский писатель», 1990.

Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

V.N. Krylov

*Institute of Philology and Intercultural Communication, Kazan
(Volga Region) Federal University*

AMERICAN THEME IN FICTION AND NON-FICTION WORKS OF V.G. KOROLENKO

Abstract. The article is devoted to the analysis of the various artistic, documentary and publicistic works of V.G. Korolenko, united by American theme. Both published and unpublished during the writer's life texts (travel notes, articles, correspondence) are involved in the research as a material.

The conducted analysis allows us to see in Korolenko's texts not just ethnographic travel essays, but deep thinking about two images of the world – Russian and American, as well as assessment of the pace of technological progress, of the ideals of freedom, respect for the individual, the attitude towards pragmatism and individualism. Perception of the “other world” by the characters of the writer is given through the use of natural and cultural contrasts. The work claims that Korolenko reaches important topic of national awareness on the background of European and American realities. Overall, the study shows that America's image appears in the works of Korolenko in more

voluminous and ambiguous form than it was generally assumed for the representative of critical realism. It is concluded that the impressions of the trip to the exhibition in Chicago in 1893 became the basis for the next works of Korolenko up to the end of his life.

Keywords: Dialogue, national, travel sketch, Russia, America, V.G. Korolenko, freedom, justice.

Information about the author Krylov Vyacheslav Nikolaevich, Doctor of Philology, Professor, Department of Russian Literature and Literature teaching, Kazan (Volga Region) Federal University (Kremlyovskaya str.,18, Kazan, Russia. Tel. 8(843)221-33-32. E-mail: krylov77@list.ru).

С.Н. Гузаевская

Сибирская государственная геодезическая академия

**«ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ПО ШВЕЙЦАРИИ»
Л.Н. ТОЛСТОГО: «А ГОРЫ...»**

Аннотация. В работе рассматривается текст Л.Н. Толстого «Отрывок из дневника 1857 года (Путевые записки по Швейцарии)» в связи с традицией травелога. Основным предметом исследования является горный пейзаж, восходящий через «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина к «Юлии, или Новой Элоизе» Руссо. Теоретические основания работы – исследования представителей формальной школы – В.Б. Шкловского и Б.М. Эйхенбаума, описавших работу Толстого как трансформацию бытового и литературного материала и выработку новой уникальной формы. В статье отмечается особая литературная форма пейзажа и его место в «Путевых записках...» Толстого, являющихся своеобразным промежуточным жанром между художественными и нехудожественными текстами. Устанавливается связь между пейзажами, описанным в письмах Толстого к Т.А. Ергольской, в «Путевых записках...», в «Люцерне» и «Казаках». Основным пунктом в анализе роли пейзажа в «Путевых записках...» является ситуация «видеть красоту». Рассматривается описанное Толстым влияние красоты на рассказчика: ослепление красотой, потрясение, ощущение душевной чистоты, «гармоническое колебание». Главным отличием конструкции толстовского пейзажа, представленного в «Путевых записках...», является декларируемое Толстым вхождение в пейзаж, чувство причастности видимому миру и неприятие холодной дали знаменитых видов.

Ключевые слова: травелог, пейзаж, видение, русский формализм.

Сведения об авторе. Гузаевская Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Сибирской государственной геодезической академии (Новосибирск, ул. Плеханова, 10, СГГА. Тел. (383) 343-29-33. E-mail: dept.delo@ssga.ru).

Видение, по Аристотелю, не имеет цели вне видения, оно энергия, т.е. полнота бытия, и кончается не эффектом, а удивлением перед тем, что предельно зорко начинает видеть свой предел, конец видения, начало Бога. В полноте видения – не эффект открывателя, изобретателя, а смирение...

В.В. Библихин

Тот, кто путешествует и пишет о путешествии, ищет новый способ видения, соответствующий месту. Идущему по следам другого трудно увидеть все в первый раз, как в первый. Толстой ходил по Кавказу после многих писавших и «переоткрыл» Кавказ, показал его по-новому. Он ходил по Швейцарским Альпам вслед за Руссо и Карамзиным. Он писал «Путевые записки...», как будто это отрывок из дневника (хотя дневник таким образом не писал никогда), и «Люцерн» как письмо – после В.П. Боткина, опубликовавшего в Современнике «Письма об Испании», и А.А. Фета, написавшего и в 1856–1857 годах опубликовавшего «письма» «Из-за границы». Толстой приехал в Швейцарию внезапно, после увиденного (!) им в Париже гильотинирования.

Пейзаж – одна из самых «неестественных» вещей как в живописи или кинематографе, так и в литературе. Чтобы увидеть пейзаж как нечто «живописное» и написать его, недостаточно простого видения, нужна культурная традиция. Ко времени работы Толстого над Путевыми записками традиция включала в себя сентиментальный, романтический и реалистический (натуральная школа) пейзаж.

Для Толстого окружающее становилось материалом, из которого вырастали либо не вырастали произведения. Читанные книги, встреченные люди, происходящие и произошедшие события превращались в текст дневника, писем, статей и «художественного». Если рассмотреть тексты Толстого, написанные в конкретный период, заметно, как по-разному Толстой работает с материалом, какие разные способы его фиксации использует.

Иногда причина в адресате текста, иногда – в работе Толстого над жанром, который он всегда заново изобретает.

В работе Толстого был необходимый элемент – переписывание. Самые яркие примеры – «Круг чтения» и «Мысли мудрых людей на каждый день». Переписывая, он менял эти мысли в соответствии со своим мышлением, он заново их мыслил. Эту особенность Толстого неодобрительно отмечает о. Александр Мень: «Наверное, некоторым из вас попадалась книга Толстого “Круг чтения”. Она содержит изречения десятков учителей всех веков, стран и народов. И когда я, помню, впервые прочел ее, еще будучи школьником, я подумал: что-то они все говорят почти одинаково? Почти нет разницы в том, что говорил Кант, или Данте, или Паскаль. Ужасно похоже. И потом, позднее, много лет спустя, когда мне удалось проверить хотя бы некоторые цитаты (Толстой все давал без ссылок), оказалось, что этот человек их спокойно искажал. Ведь он же был творец! Он рубил по живому, он создавал из этого материала свое» [Мень, 1995, с. 422]. Толстой умел присваивать материал, но искал новый способ письма, новую форму. Как это называли формалисты, деформировал.

Основополагающие теоретические посылки нашей работы выработаны еще Б.М. Эйхенбаумом и В.Б. Шкловским, описавшими становление новой формы как в художественных, так и в нехудожественных текстах Толстого. Шкловский показал в книге «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”», как Толстой использует обширные фрагменты текстов историков и теоретиков военного дела в романе, не соглашаясь с их, историков, пониманием исторического процесса [Шкловский, 1928]. Несогласие не мешает Толстому усвоить материал и использовать как свой, «вытесняя его приемом» (Шкловский).

«Путевые записки...» позволяют увидеть работу Толстого с материалом. Записки развертывают записи дневника, маскируются под отрывок из дневника, но задуманы как отдельное произведение, только подражающее дневнику. Полное название «Путевых записок» – «Отрывок из дневника 1857 года (Путевые

записки по Швейцарии)». Это попытка трансформации литературной формы путем внесения бытового материала, работа над внесюжетной прозой.

«Путевые записки...» писаны в хорошее время: почти одновременно Толстой работает над «Альбертом», «Казаками», «Люцерном», пишет дневник, у него обширная переписка, – вся эта работа отражается на тексте «Путевых записок...». Впоследствии они станут материалом для «Люцерна». Кроме того, Толстой соотносит себя, свой писательский и читательский опыт, с сентиментальной литературной традицией – Руссо, о котором он упоминает¹, и Карамзиным². Он уже не первый путешественник, идущий по местам Руссо.

Горный пейзаж³ и виды Женевского озера занимают в «Путевых записках...» значительное место. Ни в одном толстовском произведении мы не найдем такого количества пейзажей, хотя они постепенно вытесняются бытописанием («бюралист», поразивший Толстого своей грубостью, стал последней точкой разворачивающегося сюжета путешествия). Пейзаж, по мысли Толстого, меняет привычный взгляд на мир, например, горы в «Казаках»:

Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше глядяваясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегаящую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более [Толстой, 1928–1957, т. 6, с. 13–14].

¹ Об этом подробно говорил Шкловский: [Шкловский, 1967].

² См. об этом, например: «Молодой Толстой» Б.М. Эйхенбаума и одну из последних по времени работ – диссертацию Н.Б. Спектор [Спектор, 1998].

³ О горах как одной из пространственных универсалий русской литературы в художественных произведениях Л.Н. Толстого писала К.А. Нагина [Нагина, 2012].

В Записках Толстой хотел показать этот новый, приобретенный в путешествии взгляд. Важен и спутник Толстого, мальчик Саша Поливанов, важен свежестью своего видения:

Так как мне всегда казалось, что ходить по Швейцарии с очень молодым мальчиком, для которого «еще новы все впечатленья бытия», должно быть вдвое приятнее, я предложил матери отпустить его со мной [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 192–193].

То, как смотрит Саша и что замечает, Толстой описывает в нескольких фрагментах текста, например:

Я не люблю этих так называемых величественных знаменитых видов – они холодны как-то. Саша, кажется, разделял мое мнение. Даль этого вида только интересовала его, но не нравилась очень [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 201].

Толстому важно, что его юный спутник – в буквальном смысле – сходится с ним во взглядах.

В дневнике, неадресованном произведении, не имеющем у Толстого печати «литературности», мы не увидим пейзажа. Более того, в дневнике от 5 мая 1857 года записано: «Я холоден чрезвычайно к здешней природе» [Толстой, 1928–1957, т. 47, с. 126]. В переписке пейзаж возникает, только если формально-жанрово обусловлен⁴. Это видно из письма к Т.А. Ергольской. «Чувствительный» тон писем к ней отмечался Н.Б. Спектор [Спектор, 1998, с. 3]. Так, будучи еще на Горячеводских источниках на Кавказе, молодой Толстой дает описание одного пейзажа, а затем – нарочито – не дает другого:

Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники: огромная гора камней, громоздящихся друг на друга; иные оторвавшись составляют как бы гроты, другие висят на большой высоте, пересекаемы потоками горячей воды, которые с шумом срываются

⁴ Безусловно, употребление слова «жанр» по отношению к письму требует специальной оговорки о литературном характере письма.

в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно подымающимся от этой кипящей воды. Вода до такой степени горяча, что яйца свариваются вкрутую в три минуты. – В овраге на главном потоке стоят три мельницы одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки приходит стирать белье и над мельницами и под ними. Нужно сказать, что стирают они ногами. Точно копошащийся муравейник. Женщины в большинстве красивы и хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен, хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности – прямо очаровательная картина, и я часто часами люблюсь ею. А сверху горы вид в другом роде и еще прекраснее; боюсь однако наскучить вам своими описаниями [Толстой, 1928–1957, т. 59, с. 105].

Последнее замечание вполне романтическое. Живописные мельницы и «живописные группы женщин», дикий, во вкусе Руссо, вид. Мощь пейзажа, которую мы увидим и в Записках. Не наскучить адресату (Т.А. Ергольской – это невозможно!) – литература в духе Руссо и Карамзина.

Сам Толстой называет это «великолепным описанием» в письме А.С. Оголину, словно бы бесхитростно и грубовато-шутливо: «Великолепного описания тоже не ждите: только что послал два: одно в Москву, другое в Тулу; повторяться неприятно» [Толстой, 1928–1957, т. 59, с. 105] (второе письмо, к сожалению, неизвестно). С Оголиным Толстого не связывают «чувствительные» отношения, и это отсутствие литературной условности подчеркнuto.

14 июня 1852 года Сергей Николаевич Толстой пишет письмо, в котором укоряет брата Льва за литературность писем, причем не только к Ергольской, но и к другим родственникам и знакомым:

Хороши же и ты ей цедульки пишешь. Я одну из последних как-то видел. Я не говорю, чтобы вовсе не надо было выписывать тирад из M-me de Genlis и ей подобных, но не следует этого употреблять во зло, и, хотя ты это делаешь с похвальной целью... смотри, как бы она этого не раскусила. Ты просишь меня прислать тебе 1-ый том Новой Елоизы; зачем она тебе? Из писем твоих к тетеньке видно, что ты ее помнишь наизусть [Толстой, 1928–1957, т. 59, с. 187].

Толстой, однако, отстаивает право на романический, сентиментальный тон писем к Ергольской, – в письме к ней, рассчитанном на то, что Сергей Николаевич прочтет: «миленькие шуточки» Сергея Николаевича заставили его испытать большое неудовольствие [Толстой, 1928–1957, т. 59, с. 201].

На Кавказе, где Толстой впервые начинает работу над литературными произведениями, он пишет письма особенным образом. Ему нужна «Юлия» Руссо, образчик сентиментальной эпистолы. Сергей Николаевич продолжает в том же письме, объясняя, почему долго не отвечал:

Все эти письма (братьям Дмитрию и Сергею, еще нескольким адресатам. – С.Г.) пришли с одной почтой, все были одного формата, одним манером свернуты, слог в них был почти во всех один и тот же, обороты фраз одинакие, и я, прочитав сперва мое письмо, с большим удовольствием хотел велед же отвечать, увидав другие письма, подобные моему, заметил, что это было вовсе не письмо, а какой-то циркуляр, <...> написанный, вероятно, тобою в то время, когда с тобой делаются припадки оригинальности [Толстой, 1928–1957, т. 59, с. 187].

Заметим, что, несмотря на «одинакий слог» этих писем, только письма к Ергольской выдержаны в сентиментальной стилистике – о чем и пишет Сергей Николаевич.

Ко времени путешествия по Швейцарии к эпистолярию Толстого прибавляются несколько принципиально важных адресатов, прежде всего – В.П. Боткин, очеркист и литературный критик, автор «Писем об Испании» (в 1857 они вышли отдельным изданием, опубликованы в «Современнике» в 1847–1851 гг.). Из литературного письма Толстого Боткину от 9 июля 1857 г.:

Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель... Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, и близкий мне по сердцу человек, поразовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу. Я не знаю потребности сказать что-нибудь всему миру, но знаю боль одинокого наслаждения, плача [?] страдания [Толстой, 1928–1957, т. 60, с. 214]

В этих словах чувствуется Карамзин, его «Письма русского путешественника», но едва ли Боткин был способен «поплакать теми же слезами», что и эпистолярный (почти лирический) герой Толстого. Он, несомненно, должен был удивиться странному тону толстовского письма от 9-го июля. Впечатления заграничной поездки Толстой хотел изложить и, возможно, опубликовать, в форме писем к Боткину, в традиции Руссо и Карамзина, но не самого Боткина, которому больше соответствует «Люцерн» – статья, как назовет ее/его Толстой в письме от 21 июля. Шкловский пишет об этом: «Письмо его от 27 июня (9 июля) полно уплотненными отголосками эпистолярного романа Руссо <...> Подготавливался эпистолярный роман, остатком которого стал законченный рассказ «Люцерн»» [Шкловский, 1967, с.191]. Уже отвергнув это намерение, Толстой пишет:

Меня в Люцерне поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге. А так как в мое путешествие у меня было много таких обстоятельств, слегка записанных мною, то мне и пришла мысль восстановить их все в форме писем к вам, на что я и просил вашего согласия и совета [Толстой, 1928–1957, т. 60, с. 213].

Перед этими словами есть существенная фраза, объясняющая, как думается, почему этот замысел не был исполнен: «Главное содержание письма, которое вы не разобрали, было следующее» (дело в том, что, собираясь прислать образец будущего письма, пригодного к опубликованию, Толстой не приложил письмо от 8-го июля с текстом будущего «Люцерна», а потом его замысел изменился). Боткин – не самый подходящий для «чувствительного» письма адресат. Он не может разделять всех чувств Толстого/князя Нехлюдова, который в письме от 8-го июля и в начале письма от 9-го июля является героем-повествователем. Так эпистолярный жанр окончательно уступил жанру записок. Полное название «Люцерна» – «Из записок князя Нехлюдова (Люцерн)», в первоначальном варианте – «Из путевых записок князя Нехлюдова».

Пейзажи «Люцерна», материалом для которых послужили «Путевые записки...», нужны Толстому для контраста с «белой палкой набережной», тогда как в «Путевых записках...» они пока не имеют идеологической составляющей. В «Люцерне» – добавление к пейзажу Записок:

Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь иррациональных теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки – бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрепятственно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так, и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы (курсив наш. – С.Г.) [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 4].

И здесь, в «Люцерне», как и в «Путевых записках...», Толстой говорит о взгляде, точке зрения, важных хотя бы для того, чтобы не видеть набережной, испортившей естественную красоту⁵.

Думается, именно Боткину адресованы литературные аллюзии начала Заметок, прежде всего байроновский Шильон.

⁵ В неотправленном письме Боткину от 8 июля, содержащем первоначальный вариант «Люцерна», пейзажа еще больше, а «взгляда» – меньше. Толстой усилил тему взгляда и особенно точки зрения в сравнении с первоначальным: «Впрочем я скоро научился смотреть через набережную и долго наслаждался этим неполным, одиноким, но тем слаще томительным, созерцанием природы» [Толстой, 1928–1957, т. 60, с. 201].

Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые савойские горы, с белыми домиками у подошвы, – с расселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтрё с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью, Вильнев на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 193–194].

Это описание пейзажа самое объемное и очень литературное. Шкловский: «В этом отрывке поражает то, что Женевское озеро названо именем Леман, в котором сохранилось старое латинское название. Пейзаж непривычно для Толстого обременен прекрасными литературными воспоминаниями и прямым использованием слов “красота”, “поэтический ужас”» [Шкловский 1967, с. 191]. Это же название, Леман, дано и в письме к Анненкову от 4 мая 1857 года: «*Голубой Леман* и ущелья беспрестанно в глазах...» (курсив наш. – С.Г.) [Толстой, 1928–1957,

т. 60, с 181]. Именно этот фрагмент послужит материалом для «Люцерна», хотя описан Кларан. В «Люцерне»:

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально *ослепила* и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, зашекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное (курсив наш. – С.Г.) [Толстой, 1928–1957, т. 5, с 4],

Ослепляющая красота, желание любить – одинаковы в Люцерне и Кларане. Да, эпистолярный роман подготавливался, но, кроме Руссо, упомянутого Шкловским, Толстой ориентируется (совершенно по-разному) на Карамзина и Боткина. Социальная критика – Боткин и Карамзин. Чувствительность – Карамзин и Руссо. Христианские чувства – только Карамзин. Сентиментальный тон отрывка:

На всем нашем обществе в это утро лежала одинаковая общая всем печать какого-то трогательного чувства благодушия, простоты и любви (как ни странно это выражение), я чувствовал, что все были настроены на один тон; это доказывали и ровные, мягкие походки, и нежно искательные звуки голосов, и слова тихой приязни, которые слышались со всех сторон. Удивительно спокойно гармоническое и христианское влияние здешней природы [Толстой, 1928–1957, т. 5, с 193].

«Христианское влияние», не получившее в Записках развития и движения – из Карамзина. Это желаемый Толстым общий настрой «Путевых записок...», который не удается выдержать. В свою очередь, христианские чувства, испытанные героем Карамзина, оказываются новы по отношению к возвышенным мыслям Сент-Пре Руссо. Прочитаем два отрывка. Карамзин:

Ступил на вершину горы, где вдруг произошла со мной удивительная перемена. Чувство усталости исчезло; силы мои возобно-

лись; дыхание мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления – Тому, Кто в Сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно Свое всемогущество, Свое величие, Свою вечность!.. Друзья мои! Я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему! Язык мой не мог произнести ни одного слова; но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту.

Таким образом, на самом себе испытал я справедливость того, что Руссо говорит о действии горного воздуха. Все земные попечения, все заботы, все мысли и чувства, унижающие благородное существо человека, остаются в долине... Здесь смертный чувствует свое земное определение, забывает земное отечество и делается гражданином вселенной [Карамзин, 1984, с. 133–134].

Говоря о справедливости слов Руссо, Карамзин как будто не замечает, что Руссо говорит о душевной чистоте, а не о молитве и понимании всемогущества Бога.

Читаем у Руссо:

В самом деле, на горных высотах, где воздух чист и прозрачен, все испытывают одно и то же чувство, хотя и не всегда могут объяснить его, – здесь дышится привольнее; тело становится как бы легче, мысль яснее; страсти не так жгучи, желания спокойнее. Размышления принимают возвышенный и значительный характер, под стать величественному пейзажу, и порождают блаженную умиротворенность, свободную от всего злого, всего чувственного. Как будто, поднимаясь над человеческим жильем, оставляешь все низменный побуждения; душа, приближаясь к эфирным высотам, заимствует у них долю незапятнанной чистоты [Руссо, 1967, с. 69].

Толстой откликается совсем просто и как будто не на литературную традицию, а на саму жизнь:

Правду мне говорили, что, чем выше идешь в горы, тем легче идти; мы шли уже с час, и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще не видели солнца, но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив; потоки все слышны были внизу, около нас только со-

чилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его, верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере.

Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а что-то такое хорошее [Толстой, 1928-1957, т. 5, с. 201].

Все возвышенные слова Руссо и Карамзина превращаются у Толстого во «что-то такое хорошее», а литературный контекст скрывается за словом «говорили». Вообще, в отличие от Карамзина, идущего по местам Руссо и практически полностью посвятившего ему своё путешествие, Толстой затушевывает тему Руссо и литературы в целом. Вале и Кларан – больше не места Сент-Пре и Юлии. Вале названо «таинственным ущельем». «Пейзаж не сходится», – говорит спутник Толстого Саша. В «Путевых записках...» тема Руссо скрыта, в отличие от карамзинского трепетного:

Пошел я далее по берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение Кларан. Высокие густые деревья скрывают его от нетерпеливых взоров. Подошел и увидел – бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями. Вместо жилища Юлииного, столь прекрасно описанного, представился мне старый замок с башнями; суровая наружность его показывает суровость тех времен, в которые он построен [Карамзин, 1984, с. 153].

И у Карамзина пейзаж «не сошелся». Между тем, Толстой пишет Ергольской, прожив в Кларане около месяца:

Только что получил ваше письмо, дорогая тетенька, которое, как я писал вам в своем последнем письме, застало меня в окрестностях Женевы, в Кларане, в той самой деревне, где жила Юлия Руссо. – Не стану пытаться описывать вам красоту этой местности, особенно в эту пору, когда все в листьях, все в цвету, скажу только, что положительно нельзя оторвать глаз от этого озера, от его берегов, и что большую часть времени я провожу, любясь этой красотой, либо гуляя, либо просто из окна своей комнаты [Толстой, 1928-1957, т. 60, с. 190-191].

В письме Ергольской есть восхищение красотой, но нет пейзажа, уже знакомого по Руссо.

В. Шкловский высказывает предположение, что книга Руссо могла быть у Толстого с собой во время путешествия по горам, в его огромном заплечном мешке, о тяжести которого он несколько раз пишет. Там и бумаги для работы, с которыми Толстой не расстается. Все время путешествия он пишет дневник. Толстой «Путевых записок...» погружен в созерцание. Он хочет перепроверить заново, собой, верность прочитанных и слышанных слов. Именно в пейзаже и отношении к нему Толстому удастся сказать свое. Ему важно не то, какие возвышенные или невозвышенные мысли приходят в голову, когда он видит пейзаж. Пейзаж – больше не повод для мыслей. Он сам по себе интересен Толстому как зрителю, как – скажем, слово Бибихина – смотрящему. Бибихинское понимание присутствия в мире построено вокруг созерцания, в хайдеггеровском смысле – за миром, за собой. «Видение, возможность видеть создает пространство, в которое происходит оптимальное развертывание природы. Она тянется к виду не в том смысле, что на платонических облаках запасены идеальные чертежи вещей, а из-за впускающей мощи вида», – пишет Бибихин в книге о дневниках Толстого [Бибихин, 2012, с. 50]. Так Толстой хочет быть включен в пейзаж, не может перенести посторонности миру. Природа должна разворачиваться совместно с видом, взглядом:

Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом разливается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползут коровки, везде кругом заливаются птицы. А это – голая холодная пу-

стынная сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого. Мне дела нет до этой дали. Жаманский вид для англичан. Им, должно быть, приятно сказать, что они видели с Жаман озеро и Вале и т.д. [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 203].

Как Толстой смотрит в дневниках за собой и в себя, так же он смотрит и за миром, в мир.

Красота и взгляд – вот главные предметы Толстого в «Путевых записках...». Он говорит важные слова: «красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня» и «как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу». Ощущение красоты заставляет Толстого размышлять: какое действие оказывает на меня красота? Этот вопрос не возникал ни у Карамзина, ни у Руссо.

В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями; теперь я довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство. Красота природы всегда порождает его во мне, это чувство не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаяния, не то боли, не то наслаждения. И когда я дойду до этого чувства, я останавливаюсь. Я уже знаю его, не пытаюсь развязать узла, а довольствуюсь этим колебанием [Толстой, 1928–1957, т. 5, с. 199].

Гармоническое колебание чувств, возникающее от красоты, – толстовское собственное и означает смирение. Оно не из области литературы и даже слишком вне всяких форм. Философские обобщения Толстого в «Путевых записках...» имеют гигантский размах и не кажутся в тексте органичными. Вместе с пейзажами они являются тем материалом, который раскалывает форму «Путевых записок» (которые уже не дневник, но еще даже не «Люцерн») и не позволяют им состояться. Лучшее из «Путевых записок...» Толстого стало материалом для пейзажа в «Люцерне» и восхищения Оленина горами в «Казаках».

Литература

Бибихин В.В. Дневники Льва Толстого. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012.

Боткин В.П. Письма об Испании. Л.: «Наука», 1976.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: «Наука», 1984.

Мень А. Мировая духовная культура. Нижний Новгород: «Нижегородская ярмарка», 1995.

Нагина К.А. Пространственные универсалии и характерологические коллизии в творчестве Л. Толстого. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012.

Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М.: Художественная литература, 1967.

Спектор Н.Б. Н.М. Карамзин в художественном сознании Л.Н. Толстого: автореф. дис.... канд. филол. наук. Иваново, 1998.

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1928–1957.

Фет А.А. Сочинения и письма: В 20 т. Т. 4. Очерки: Из-за границы. Из деревни. СПб.: «Фолио-Пресс – Атон», 2007.

Шкловский В.Б. Лев Толстой. М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1967.

Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.: Изд-во «Федерация», 1928.

Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой // Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.

S.N. Guzaevskaja

Siberian State Academy of Geodesy

**«TRAVEL NOTES FROM SWITZERLAND»
BY LEO TOLSTOY: «JUST MOUNTAINS...»**

Abstract. In the paper I analyze Tolstoy's «Fragment from the diary for 1857 (Travel notes from Switzerland)» in the context of a travelogue tradition. The main subject of my research is mountain landscape which goes back to «Letters of a Russian Traveller» and originated in «Julia, or the New Heloise». My theoretical background formed here by Viktor Shklovsky and Boris Eikhenbaum (Russian formalism), for they

have considered Tolstoy's work as a kind of deliberate crossing of an everyday and literary material and as a searching of a new unique form. I expose a special literary form of the landscape and the landscape's role in «Travel notes...». The latter is written in some kind of intermediate genre between art and non-art ones. I also discover connection between landscapes in letters to T.A. Ergol'skaja, «Travel notes...», «Luzern» and «The Cossacks». In my analysis of landscape's role in «Travel notes...» the main point links with the «vision of beauty». Leo Tolstoy describes an influence of beauty on a storyteller as blindness, shock, feeling purity in our souls, «harmonious fluctuation». The fundamental role in the landscape's structure plays here insight into landscape (this insight declared by Leo Tolstoy) or, in a manner of speaking, the feeling of a real participation in world life and, ex altera parte, rejection of famous but distant views.

Keywords: travelogue, landscape, vision (of), Russian formalism

Information about the author. Guzaevskaja Svetlana Nikolaevna, candidate of philological sciences, assistant professor chairs of Foreign Languages and Intercultural Communication Siberian State Academy of Geodesy (Novosibirsk, Plahotnogo st., 10, SSAG. (383) 343-29-33. E-mail: dept.delo@ssga.ru).

2.2. ПОЭТИКА ТРАВЕЛОГА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: СЮЖЕТЫ, МОТИВЫ, ТОПОСЫ, ОБРАЗЫ

Донателла Ди Лео

Университет «L'Orientale» Неаполя, Италия

РАДИЩЕВ И ЕГО «ПУТЕШЕСТВИЕ» В ПРОСТРАНСТВЕ ДУШИ

Аннотация. Автор предлагает исследование языка души, который лежит в основе пути Радищева в его «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790), сочетающего чувствительность и разум. Вслед за «Сентиментальным путешествием по Франции и Италии» (1768) Л. Стерна, произведение отнюдь не является отчетом о путешествии, представляет собой настоящий акт жалобы на реальные условия жизни русского народа, и в конечном итоге оно станет опытом путешествия автора в пространстве его души. Обращение к сердцу, к чувству, к чувствительности человеческой души направлено на запуск преобразования в сердце читателя, основное условие для того, чтобы начать серьезное обновление внутри страны. Полюсом, который соединяет различные эпизоды «Путешествия», на самом деле является душа, так как авторский голос фрагментирован на разных рассказывающих персонажах, ведомых в своих соображениях чувствительностью. Это путешествие в пространстве души приведет Радищева к разоблачению и борьбе с социальной несправедливостью и достигнет кульминации в опубликовании его книги, со всеми происходящими последствиями. Тем не менее, автору удалось достигнуть своей цели: его «Путешествие» со временем действительно изменит сознание русского народа.

Ключевые слова: путешествие Радищева, пространство души, разум и чувствительность.

Сведения об авторе. Донателла Ди Лео, кандидат наук, университет «L'Orientale» Неаполя (Via Duomo 219, 80132 Napoli (Italy); тел. +39 3290273288. E-mail: ddileo@unior.it / donidileo@libero.it)

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) родился в семье помещиков (городовых дворян) татарского происхождения, пользовавшихся к концу XVIII века большими преимуществами в ущерб крепостным крестьянам. В 1773 году против этой социальной группы вспыхнуло восстание во главе с Пугачевым, жестоко усмиренное Екатериной II, которая ввела жёсткую самодержавную линию под видом просвещенного деспотизма. Тем не менее, именно императрица сформировала Пажеский Корпус, от которого она избрала двенадцать молодых дворян, в числе которых был и Радищев: они были отправлены в Лейпцигский университет (1767–1771), где изучались языки и преподавались философия, мораль, естественное право. Годы пребывания в Лейпциге были важны для философского, политического и литературного образования Радищева: значительно усилилось влияние естественного права Жан-Жака Руссо, чьи идеи немало повлияют на его чувствительность и даже на выразительные формы зрелого писателя, и влияние мысли Дидро, Мабли, Рейналя, Гольбаха и Гельвеция, которые сформировали его мировоззрение и этическое-эстетические убеждения¹: «Отсутствие, лишение права станет, по его мнению, одним из наиболее серьезных и глубоких несчастий родины» [Strada, 2006, p. 18]. Самый большой опыт, полученный Радищевым в Лейпциге, особенно касается философского плана. Он оставит в его душе убеждения, укоренившиеся в немецком Просвещении и в европейском критическом деизме, рядом с эмпирической и утилитарной логикой Гельвеция и Беккарии², которую Радищев дополнил своей моральной

¹ Дидро и Рейналь были активными противниками абсолютизма и самодержавия, без колебаний призывали к восстанию и тираноубийству, атаке системы рабства.

² Вероятно, в годы учебы в Лейпциге Радищев посещал лекции проф. Карла Фердинанда Гоммеля (1722–1781), названного «немецким Беккарием» из-за его страстной поддержки идей Чезаре Беккарии, чье основное произведение «О преступлениях и наказаниях» он прокомментировал в первом немецком издании (*Des Herren Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. Auf das Neue selbst aus dem Italiänischen übersezt mit durchgängigen Anmerkungen des Ordinarius zu Leipzig Herren Hofrath Hommels. Breslau: Korn, 1778*). Безусловно, Гоммель просил своих студентов читать эту книгу и следы мысли Беккарии присутствуют в «Житии Фёдора Васильевича Ушакова» Радищева [Nicolai, 1990, с. 421].

и реформисткой волей, крепшей в его душе. Вернувшись на родину в 1771 году после пяти лет пребывания в Лейпциге, Радищеву понадобились двадцать лет работы, жизни и интеллектуального опыта, прежде чем опубликовать свое «Путешествие» в 1790 году³.

«Дневник одной недели» (1773) показывает его двойственность и внутренний конфликт на службе, которые он испытывал в Первом Разделе Сената, где должен был решать и иногда подтверждать несправедливость и привилегии тех, кто пошел против закона и, прежде всего, против правового государства (вероятно, он написал «Историю Сената», которую он сжег перед смертью). Сочетание *чувствительность-разум* уже проявляется как существенная характеристика Радищева, так что «Дневник» можно считать первым этапом этой социальной или же демократической сентиментальности, которая в «Путешествии» возрастет до зрелости [Nicolai, 1990, с. 443]. Служение протоколистом «сыграло важную роль в жизни писателя», явилось «погружением в действительность России во время Екатерины II, даже в мельчайшие и менее известные ее аспекты» [Nicolai, 1990, с. 428]. Из-за мучительного контраста между внутренним желанием и реальностью в 1773 году Радищев уволился со службы в Сенате и поступил в штаб командовавшего в Петербурге генерал-аншефа Брюса в качестве обер-аудитора. В 1775 году он ушел в отставку также из Санкт-Петербургского военного суда (особенно после того, как проявились последствия восстания Пугачёва и победы над турками) и перешел на службу в качестве торгового советника министра Александра Р. Воронцова, благодаря которому он сделал карьеру и был в течение десяти лет, с 1780 по 1790 годы, заместителем директора Санкт-Петербургской таможни. Кульминацией этих лет, полных интенсивного опыта,

³ Литографское воспроизведение первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» (СПб., 1790) с экземпляра, хранящегося в Историческом Музее в Москве, представляет издание Academia, М.:Л., 1935 (доступно на сайте РГБ <http://dlib.rsl.ru/viewer/01004042064#?page=1>).

стало составление и публикация «Путешествия», точно через год после начала Великой французской революции.

Исторические потрясения тех лет (восстание Пугачёва в 1773 году, война за независимость США, Великая французская революция⁴) закаливали мысль писателя. В своих сочинениях Радищев приблизился к теме просвещенного правителя, искреннего патриота, к теме личной свободы, справедливости, народного суверенитета, героизма, жертвующего во имя революционной страсти, очистительной силы революции против любой тирании, теме роли слова при тирании, роли слова в литературе. Такая тактика и этика революционной борьбы будет положена в основу русского революционного движения.

Уже в ранних работах Радищев ориентирован на борьбу против социальной отсталости России⁵. В 1773 году Радищев вступил в масонскую ложу Урания, оттуда почти сразу ушёл. Его воодушевили утилитаристские, материалистические, республиканские и демократические убеждения, он видел в литературе этическую и социальную миссию. По мнению Радищева, необходимо, чтобы литература вела народ к восстановлению его независимости. Это убеждение проявляется уже в оде «Вольность» (1781–1783) и в «Житии Федора Васильевича Ушакова» (1788).

⁴ В.П. Семенников верно подчеркивает растерянность Радищева перед началом французской революции [Семенников, 1923].

⁵ См. примечания к его переводу на русский язык «Observations sur l'Histoire de la Grèce ou des causes de la prospérité et des malheurs des Grecs» (1766) аббата Мабли (опубликовано анонимно в 1773 г. Новиковым. Во время учебы в Лейпциге Радищев познакомился с трудами Мабли, в том числе, с «Публичным правом Европы» (1748) [Барсков, 1935, с. 90]. Многие критики, вслед за Сухомлиновым, подчеркнули связь между «Путешествием» Радищева и другими произведениями Мабли, например, «Observations sur l'histoire de France» (1765) и «О том, как писать историю» [Сухомлинов, 1889, с. 550]. Однако, примечания Радищева к переводу книги Мабли содержат в зародыше идеи о самодержавии и его фатальных последствиях, выраженных и развитых в оде «Вольность» (1781–1783), «Письме к другу, жителюствующему в Тобольске, по долгу звания своего» (1782). См. также: «Беседа о том, что есть сын отечества» (1789).

В оде Радищев ставит проблему революции и народа в панегирическом стиле Ломоносова, он просматривает различные исторические события – от Брута до Вильгельма Телля и до войны за независимость США, рисует очевидные связи с историей России, призывая к царсубийству в защиту народной свободы против рабства. Это воззвание продиктовано стремлением к борьбе за победу истины и доблести, чтобы восстановить «естественную» социальную организацию. Этой миссии, по Радищеву, должен взять на себя герой, духовно неповторимый человек, свидетельствующий жизнью и делом, вплоть до мученичества, свою веру в истину, человек с которым позже тот же автор отождествится, разрабатывая концепцию мученичества и бессмертия души. Это стремление выразилось в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии», сочинённом в Сибири во время изгнания, где отражен «союз противоположных» представлений о жизни – материалистические воззрения в первых двух главах и совершенно противоположные – идеалистические – в последних двух.

Первым примером «твёрдого мужа» становится однокурщик в Лейпциге Фёдор Ушаков, с которым Радищев увлекался философией Гельвеция, книгу которого «Об уме» (1758) они прочитали вместе. Остро ощущается глубокое впечатление, которое производит эта книга на обоих [Lang, 1949, с. 74]. Сторонник сенсуалистической этики (доблесть вызывает физическое удовольствие), Ушаков представлен святым, преследуемым из-за вероисповедания. Ему, руководителю протеста русских студентов против зверств, которым они подвергались, сопротивляется Бокум, грубый наставник, символ тирании и реакционного мракобесия⁶.

В 1772 году в журнале «Живописец» Новикова появилась анонимно «Отрывок путешествия в*** И*** Т***», в ко-

⁶ Бокум действительно был воспитателем, назначенным Екатериной II для заботы о молодых пажих во время пребывания в Лейпциге. Студенты подвергались значительным утеснениям, потому что на самом деле он был жадным до наживы и вовсе не имел реальных педагогических целей [Nicolai, 1990, с. 413].

тором впервые резко рассматривалась проблема крепостного права, осуждался произвол и насилие помещиков. Автором отрывка считается Радищев, и это сочинение является важным прецедентом «Путешествия», присоединяющим его не только к сентиментальному путешествию Стерна и Дюпати, но также к масонскому путешествию и к «Телемаку» Фенелона. Главный герой, представляющий собой писателя, человек образованный и чувствительный, он поддерживает принципы братства и посвящает книгу своему другу, масонскому мистика А.М. Кутузову⁷, доказывая, насколько необходимо сочетать разум и чувство в познавательном процессе, в этико-политическом размышлении, в искании истины. Путешествие становится причиной моральной и политической регенерации главного героя. Это жесткая картина русской деревни, правдивое изображение ее противоречий, обвинительное заключение в отношении землевладельцев и императрицы. Радищев был убежден, что чувствительность и разумность, чьими носителями является мужик, могли бы восстановить естественный порядок, справедливость и правду. Эти понятия возобновлены и расширены в важнейшем, написанном Радищевым в 1787–1789 годах, «Путешествии из Петербурга в Москву», которое, вслед за «Сентиментальным путешествием по Франции и Италии» (1768) Л. Стерна, отнюдь не является отчетом о путешествии, а представляет собой настоящий акт жалоб на реальные условия жизни русского народа, и, в конечном счете, описывает опыт путешествия автора в пространстве своей души⁸.

Обращение к сердцу, чувству, чувствительности человеческой души направлено на запуск преобразования в сердце читателя – основное условие для того, чтобы начать серьезное обновление внутри страны. На определение этой цели несомненно действуют три элемента: 1) период обучения в Лейпциге; 2) эти-

⁷ Кутузову Радищев посвятил и опубликованное в 1788 г. «Житие Фёдора Васильевича Ушакова». Ушаков был их однокурсником в Лейпциге.

⁸ Следует отметить, что, в отличие от Радищева, Стерн в своем «Путешествии» не преследовал социальных и политических целей.

ческое убеждение и осознание миссии в жизни, провал которой доведёт Радищева до самоубийства; 3) практический опыт в качестве чиновника империи.

Замысел «Путешествие» строится в соответствии с восприятием реального: описание картины природы – эмоциональная и сентиментальная реакция путешественника – рассуждение. Однако этическая и политическая переработка различных проблем, публицистический, иногда красноречиво-метафорический стиль (библейское влияние и философское воздействие Жан-Жака Руссо) сделают «Путешествие» поучительным произведением, памфлетом или историко-философской антологией. В некоторых местах, как и в «Слове о Ломоносове» или в главе «Тверь», в которых рассматриваются проблемы версификации, произведение приобретает оттенок трактата. В связи с этим «Путешествие» принято считать одновременно и философским, и сентименталистским, и реалистическим произведением. Что касается жанра, «Путешествие» имеет вид сентиментального романа, сюжет которого состоит из эпизодов-рамок различных встреч, актуализирующих нравственные вызовы автора, а также из изображения реальности, воспринимаемой и фильтруемой чувствительностью путешественника. В «Путешествии» соединились вымысел, автобиография, ему свойственно и описательное повествование⁹, все это посредством разума и чувства должно привести читателя к пониманию необходимости перемен в России. Полусом, к которому стягиваются различные эпизоды «Путешествия», является душа, авторский голос ощутим в различных персонажах-рассказчиках, ведомых чувствительностью [Kahn, 2000, с. 285]. Описываемая Радищевым Россия, это страна, находящаяся под тесным гнетом абсолютизма, но не безразличная к процессам, происходящим в Европе. Рождался новый класс купечества, утверждавший большие права, особенно в по-

⁹ Предпосылки находятся в «Персидских письмах» (1721) Монтескье и в «Histoire des deux Indes» (1770) аббата Рейналя. Последнее произведение Радищев очень почитал [Семенников, 1923, с. 33–38].

литическом плане; возникали коммерческие города (ярким примером таких городов является Москва). Несмотря на это, страна была в тисках вассальной зависимости, феодализма и крепостного права. Не предлагаемые практические решения делают уникальным «Путешествие» Радищева, а способ видеть условия своей страны, «настроение, с которым он посмотрел на русское государство, на русских владельцев и рабов» [Strada, 2006, с. 48]. Рядом с подлинным путешествием Радищев совершает маршрут в пространство своей души, которым он хочет поделиться с читателем, вызывая сочувствие и зажигая в его душе огонь сострадания и справедливости [Siclarî, 1992]. Прямой опыт, сострадание к жизни его народа приводят Радищева к постепенному преобразованию, заставляющему бросить вызов цензуре и абсолютизму царицы. Радищев хорошо знал законы российской империи, и, безусловно, он мог предположить, какая судьба ждет его самого и «Путешествие» после публикации, хотя и анонимной. Сострадание к крепостным, к смирившимся крестьянам, встреченным на пути из Петербурга в Москву, побуждает его бороться с несправедливостью ценою жизни. Путешественник убеждается, что «настоящий враг деспотизма – это сознание личности восходящей интеллигенции» [Strada, 2006, с. 48]. Его путешествие, таким образом, является открытием новой чувствительности, новой реальности. Как замечает Kahn, «empirical knowledge of the world comes through observation, and knowledge of the self metaphorically derives specifically from looking both outward and inward» [Kahn, 2000, с. 290]. Именно зрелище человеческого страдания заставляет Радищева обратиться внутрь себя, как говорится в посвящении другу Алексею Михайловичу Кутузову. Это путешествие в пространстве души поведёт автора на путь борьбы с социальной несправедливостью:

Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямю на окружающие его предметы. <...> Разум

мой вострепетал от себя мысли, и *сердце мое* далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. <...> Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня *чувствительность* и *сострадание*; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных [Радищев, 1938, с. 227]¹⁰.

Итак, чувствительность и сострадание, вдохновленные созерцанием ежедневных событий его соотечественников, заставляют его «противиться заблуждению» рассказом, разоблачением наблюдаемого («Я взглянул окрест меня»). Повествование возникает из внутренней потребности сообщать собственные размышления, как будто это стало бы формой компенсации по отношению к совершаемым в стране несправедливостям. «Путешествие» Радищева с начала до конца наполнено медитациями, мыслями, размышлениями, содержит все составляющие сентиментализма:

Погруженный в размышлениях, не заметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости [Радищев, 1938, с. 228].

Идеи автора являются результатом его человеческого и интеллектуального опыта. Веря в открытость царицы идеям Просвещения, Радищев надеется на ее милосердие, на желание дворян, помещиков, чиновников и интеллектуалов, для которых предназначено его произведение, поддержать освобождение русского народа:

Как можно выразить в травелогe чувства, связанные с восприятием мрачной и несправедливой реальности, в которой были вынуждены жить подневольные крестьяне, если не с помощью непосредственного описания конкретных событий? Вот тактика путешественника в отношении крестьянской жизни: на-

¹⁰ Здесь и дальше курсив мой. – Д.Л.

блюдать, сообщать факты, думать о том, что увидел и узнал. Радищев считал, что можно изобразить крестьян с помощью описания настоящих условий их жизни, в этом смысле его можно считать инициатором крестьянской литературы. Его размышления не являются простыми психологическими конструкциями, они представляют собой результат отражения реальности в его душе. Этот широко используемый метод повествования хорошо представлен в главе «Любани»: после встречи с крестьянином, пашущим под палящим солнцем в воскресный полдень, чтобы прокормить шестерых детей, и его женой, выполняющей обычную еженедельную работу исключительно ради интересов своего хозяина, автор «Путешествия» впадает в своё привычное состояние размышления:

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. <...> Сия мысль всю кровь во мне воспалила.

– Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение [Радищев, 1938, с. 233–234].

Жалоба вытекает из наблюдения, призыв к добродетели – из размышления. Добродетель должна быть необходимой предпосылкой исторического процесса, естественным свойством общества свободных людей живущих в справедливом, цивилизованном обществе. Такое общество мог бы создать тот, кто имеет власть, если бы только он мог развить в себе те же самые чувствительные способности, что и у героя «Путешествия», который описывает свои впечатления, стремясь к достижению общего блага, установлению справедливых отношений среди равных по природе людей, но отличных по правам, хотя и живущих в одной и той же стране. Радищеву, несомненно, близки идеи Руссо о суверенитете народа, единого носителя законодательной

власти и поданного самого себя [Rousseau, 1762], о естественном состоянии народа, которое предшествует разделению и социальному неравенству [Rousseau, 1755]. В главе «Спасская Полесь», выслушав рассказы о несправедливостях, путешественник размышляет о том, что следует написать челобитную властям, рассказать о несправедливости судей и невинности бедного купца, преследуемого судом. В то же время путешественник уверен – его просьбу не примут во внимание:

Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верующего письма. – Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имени, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избежать поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страдает мой согражданин? – Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верующее письмо [Радищев, 1938, с. 248].

Сон путешественника, непосредственно следующий за этими размышлениями, является в этом контексте очевиднейшим и плодотворным выражением соединения призыва к расширению законности, распространяемой на всех граждан, и идеалов автора, который, в сюрреальной атмосфере, выступает в роли царя. Царь окружен лакеями-льстецам, и они, конечно, не действуют на благо общества, хотя царь движим праведными целями.

Концепция человечества, подвигаемого с большим напряжением на благо, на утверждение принципа равенства и права, должна основываться, по теории Радищева, на чувствительной душе, способной сострадать своим ближним. В главе «Зайцово» опыт Крестьянкина совпадает с опытом Радищева¹¹, полученным

¹¹ Именно во время службы в военном суде генерал-аншефа Брюса Радищев осознал страдания мужика- крепостного. В те же годы он предпочел иметь возможность заниматься той сферой деятельности, где он мог помочь пресечь несправедливость, находя в законе опору своим убеждениям. Но вместо этого, ему пришлось учитывать, что закон абсолютно не считался с причинами, приводящими к преступлению. Такое горькое заключение вынудило его уйти с работы, особенно после того, когда начались процессы против тех, кто принял участие в восстании Пугачёва [Nicolai, 1990, с. 435–436].

на новой службе президента уголовного суда, где он, движимый благородным желанием уничтожить жестокость по отношению к слабым, хотел обеспечить равный для всех доступ к правосудию. Однако опыт ему показывает, что всегда самый печальный жребий ждет слабейшего гражданина, то есть крестьянина. Этот драматический опыт носит сенсуалистский характер, на самом деле г-н Крестьянин после спора с его коллегами и несправедливого судебного решения подаёт в отставку, поскольку наказанными оказались крестьяне, убившие своих господ за издевательства:

Но наконец содрогшееся сердце, разлило свое избыточество. <...> *Человек рождается в мир равен во всем другому.* Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу, есть существо ни от кого независящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобнаго, словом становится гражданином. Какая же ради вины, обзывает он свои хотения? по что поставляет над собою власть? по что безпределен в исполнении своая воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своая пользы скажет разум; для своая пользы скажет внутреннее чувство; для своая пользы скажет мудрое законоположение [Радищев, 1938, с. 278]

Закон, по мнению Крестьянкина, обязан обеспечивать справедливость и равенство среди граждан, учитывать причины преступлений, которыми могли стать нищета и эксплуатация, как в случае с крестьянами, убившими несправедливого и жестокого помещика. Они, объясняет криминалист, обращаются к естественному праву, чтобы защитить и сохранить себя, собственное благополучие:

Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность из сложения его производящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенной крестьянами Ассессор, нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов, присовокушлял поругание, когда на

казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию; тогда закон стрегущий гражданина был в отдаленности, и власть его тогда была неопутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, неотъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне убившие зверского Ассессора, в законе обвинения неимеют. *Сердце мое* их оправдает опираясь на доводах разсудка, и смерть Ассессора хотя насильственная, есть правильна. Да невозмнит кто либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине, довода к осуждению на казнь убийцев, в злобе дух испустившаго Ассессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родится ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем неизсякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной, и ненарушимой собственности, тот есть преступник [Радищев, 1938, с. 278–279].

Адвокат, очевидно, даже в этом случае дополняет социальный закон законом сердца, который не преобладает в его окончательном суждении, но объединяется с естественным правом.

Цель рассказов путешественника и персонажей, населяющих вселенную «Путешествия» – не столько показать современные несчастья, сколько обратиться к сердцу, к душе человека, чтобы начать радикальные изменения в жизни страны. Реалистичность изображения является основным условием для достижения правдоподобной картины сельской жизни. Это просматривается и в назывании мест, почтовых станций, где путешественник останавливается. Впрочем, такой метод не мешает принципу единства в многообразии: «Путешествие» представляет собой органический и единый текст, несмотря на разнообразие языка и стилистики.

Так, отец обращается к чувствительной душе, учит своих детей поведению в различных жизненных ситуациях:

Но если бы, закон или Государь, или бы какая либо на земли власть, подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. *Пребудь незыблем в душе твоей, яко*

камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ, до скончания веков [Радищев, 1938, с. 293].

Крестницкой дворянин готов на самоубийство, следуя Катону Утическому¹², лишь бы не идти на компромисс с несправедливостью против добродетели и здравого смысла¹³.

Видно, что Радищев сохраняет мотивы и идеи из предыдущих трактатов, но здесь он хочет привлечь внимание к пространству души, которое является мерой всякого размышления автора и персонажей. Прочитав первую часть «Проекта в будущем» в найденной хотиловской рукописи, путешественник замечает:

Везде я обретал разположения человеколюбиваго сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несообразностию гражданских чиновостояний [Радищев, 1938, с. 322].

А. Monnier предполагает, что сон – свидетельство пророческой миссии путешественника: рукопись, в общей сложности, имеет вневременные параметры, является утопией, описывает нереальное время, в котором абсолютное совершенство будет достигнуто, т.е. когда социальный договор будет полностью достигнут путем отмены крепостничества [Monnier, 2002–2003, с. 794–795]. В общем, продолжает Monnier, время в «Путешествии» – это виртуальное, не историческое измерение, позволяющее таким образом реализовать художественный и повество-

¹² Катон Утический выбрал самоубийство во имя свободы. Также самоубийство Радищева может быть объяснено в этом свете. Siclari, однако, настаивает на происхождении из Сенеки идеи законности и мужественного смысла самоубийства для Радищева. Как Сенека, он увидел бы в самоубийстве высшее проявление нравственности [Siclari, 1992, с. 169–170].

¹³ В этой главе очевидные цитаты, заимствованные из книги «Об уме» Гельвеция.

вательный вымысел, который совпадает со временем души (относительным временем).

Радищев преследовал цель высвобождения комплекса ценностей, связанных со сферой добродетели, от обязательств, которые навязывает продажный мир, не желающий социальной перемены. Очевидно, что те же ценности являются типичными для эпохи Просвещения, являются очевидным проявлением исторической необходимости, что доказывают европейские и американские события, свидетелем которых Радищев был сам. Автор «Путешествия» не только подходит к реальности, которую он воспринимает глазами сердца в пространстве своей души, он также предлагает посмотреть на крестьян как на разумных, возможно, более чувствительных людей, чем дворяне. Об этом он пишет в главе «Городня» и, даже резче, в главе «Пески», когда после описания бедной крестьянской избы путешественник обращается к дворянам:

Жестокосердый помещик посмотри на детей крестьян тебе подвластных. Они почти наги. От чего? не ты ли родших их в болезни и горести, обложил сверх всех полевых работ, оброком? <...> Ты собираешь и то, что тебе ненадобно, несмотря на то что неприкрытая нагота твоих крестьян, тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, но пред судьей, неведающим лицепрития, давшим некогда и тебе путеводителя благаго, совесть, но коего развратной твой разумок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего [Радищев, 1938, с. 378].

Путешественник возвышается до верховного суда не из-за абстрактной чувствительности, но потому что признает ценности, потенциально присутствующие в душе человека, но никогда не имевшие возможность развиваться, может быть, из-за устойчивости внешних условий.

Описание состояния бедности сельского населения, с одной стороны, опирается на реальные ситуации, но, с другой – позволяет вовлечь сознание читателя эмоциональным участием в страданиях своих ближних (несколько раз путешественник

подчеркивает равенство людей как естественный социальный и правовой закон). Это является главным условием для осуществления синтеза разума и чувства, на котором настаивает поэтика XVIII века. Таким образом, Радищев стремился призвать читателя к строительству сообщества, восстановленного с помощью коллективных усилий очищения, к осознанию собственной национальной идентичности.

Его философское отношение возмутило императрицу Екатерину II, которая, пораженная последствиями Французской революции, считала сочинение подрывным и приговорила автора к смертной казни. Приговор был смягчен, заменен сибирским изгнанием, от которого писатель был освобожден в 1796 году благодаря Павлу I. Императрица с большим вниманием прочитала текст, прокомментировала его и послала этот экземпляр Радищеву в Петропавловскую крепость. Радищев мог таким образом познакомиться со всеми замечаниями царицы, например, о том, что он считался прежде всего деистом и противником религии и суеверия. Екатерина II признала книгу опасной, назвала ее автора бунтовщиком хуже Пугачёва [Храповицкий, 1874, с. 340].

Чувствительность и просветительный разум образуют своего рода бифокальность взгляда Радищева, оно воспринимается как «призыв к морали, к внутренней реформе, религии добра и красоты» [Strada, 2006, с. 37], чтобы утешить тех, кто переживал контраст между просветительскими принципами, объявленными царицей, и грустно-малодушной социальной и политической реальностью. Сочинение Радищева – это попытка бороться против зла в политической и социальной жизни призыванием к морали, единственному надлежащему оружию. Тем не менее, писатель оставался убежденным, что было бы невозможно исправить свою страну, не меняя законы, что соответствовало идеям Гельвеция, видевшего в человеческих страстях движущую силу общества.

Путешествие его имело для автора трагические последствия, но оно действительно – с течением времени – повлияло на сознание людей.

Литература

Радищев А.Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.; Л.: АН СССР, 1938–1952.

Семенников В.П. Радищев. Очерки и исследования. М.; Л.: Госиздат, 1923.

Храповицкий А.В. Дневник А.В. Храповицкого. 178–1793. СПб., 1874.

Kahn A. Self and Sensibility in Radishchev's "Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu": Dialogism and the

Lang D.M. Some Western Sources of Radiščev's Political Thought // *Revue des études slaves*. 1949. Т. 25. № № 1–4. P. 73–86.

Monnier A. La temporalité de l'âme sensible dans le "Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou". // *Revue des études slaves*. 2002–2003. Т. 74. № 4. P. 793–800.

Nicolai G.M. Russia bifronte: da Pietro 1. a Caterina 2. attraverso la Corruzione dei costumi in Russia di Ščerbatov e il Viaggio da Pietroburgo a Mosca di Radiščev. Roma: Bulzoni, 1990.

Siclari A.D. Il Viaggio da Pietroburgo a Mosca di Radiščev: linee di una concezione filosofica // *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII*. 1992. № 3. P. 167–186.

Strada V. Introduzione // *A. Radiščev. Viaggio da Pietroburgo a Mosca / пер. В. Sulpasso*. Roma: Voland, 2006. P. 11–58.

Donatella Di Leo

University «L'Orientale», Naples

**RADISHEV AND HIS «JOURNEY»
THROUGH THE SOUL**

Abstract. This paper aims to investigate the language of the soul which is the basis of Radishchev's route in his "Journey from St. Petersburg to Moscow" (1790), based on the combination of sensitivity and reason. His work, in the wake of L. Sterne's "A Sentimental Journey to France and Italy" (1768), far from being a travel guide, is an act of protest against the real conditions of life of the Russian people and ends up drawing the experience of travelling through the author's sensitivity.

The appeal to the heart, the feeling, the sensitivity of the human mind is designed to initiate a change in the heart of the reader, which is deemed to be an essential condition to start a serious change in the country. The unifying thread of the various episodes of the “Journey” is the soul, since the authorial voice is fragmented into multiple narrative voices guided in their considerations by their own sensibility. This journey into the space of soul will lead Radishchev on the way of the complaint and the fight against social injustice, culminating in the publication of his book, with all the consequences that ensued. Yet the author has achieved his goal: his “Journey”, over time, has really transformed the consciousness of the Russian people.

Keywords: Radishchev’s Journey, soul space, sensitivity and reason.

Information about the author Donatella Di Leo, Research Fellow in Slavic Studies, University “L’Orientale” – Naples (Via Duomo 219, 80132 Napoli (Italy). Tel.: +39 3290273288. E-mail: ddileo@unior.it / donidileo@libero.it).

Э. Г. Шестакова

Донецк, Украина

**СТРАННИЧЕСТВО ГЕРОЯ:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(МОТИВ «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS»)**

Аннотация. В исследовании впервые поднимается и обосновывается проблема странничества героев, характерных для мотива русский человек на rendez-vous. Странничество героев – это необходимая составляющая мотивной целостности. Герои мотива – вечные странники, которые не могут выбрать любовь, личное счастье, Дом, предпочитая бездомность и дорогу как ценностные способы самосознания и самоосуществления. Они обречены на странничество как особый ценностный способ приближения к жизни, переживания её бытийных и бытовых проявлений. Если в начале произведений странничество героев – это приближение к главному событию их жизни, то после рокового свидания – это путь в глубины памяти, в препарирование этого события памятью. Интенции архетипа Пути в мотиве *русский человек на rendez-vous* реализуются на пересечении трех взаимосвязанных аспектов. Во-первых, дорога в мотиве играет преимущественно формально-содержательную и формально-функциональную роль. Она, как поэтический приём, позволяет вводить героев в ткань произведения, встречаться героям из разных жизненных миров и расставаться почти естественным образом. Во-вторых, дорога и rendez-vous, как остановка в пути, оказываются внутренне взаимообусловленными, когда для героев остановка неизбежно оборачивается одновременно трагедией единственной, неповторимой и нереализованной возможности счастья, а также неизменного возвращения в состояние странничества. В герое постоянно идёт борьба между ценностями и возможностями, которые может предложить мир, открываемый rendez-vous, и зовом дороги как соблазном еще не сделанных выборов, вероятностных встреч. В-третьих, вечная Дорога и странничество героев оказываются их экзистенцией, путём-призванием.

Ключевые слова: мотив русский человек на rendez-vous, литературный герой, онегинский тип сюжета, странничество, Путь, Дом, бездомность.

Сведения об авторе. Шестакова Элеонора Георгиевна, доктор филологических наук (Украина, Донецк, ул. Сальская, 21. Тел. (+38066) 269-34-78. E-mail: shestakova_eleonora@mail.ru).

Статья является логическим продолжением давно интересующей автора проблемы: специфика собственно литературного и общественно-литературного становления, восприятия, осмысления, а также основных тенденций развития одного из национально значимых словесно-культурных мотивов *русский человек на rendez-vous*, который обрёл свое определение по знаковой статье Н. Чернышевского, посвященной повести И. Тургенева «Ася»¹⁴. Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы экзистенциального аспекта странничества героев этого мотива, необходимо отметить следующее. Анализ литературно-критических и собственно литературоведческих исследований, касающихся проблемы *русского человека на rendez-vous*, осуществлялся мною неоднократно, особенно в статьях, где рассматривались формирование и развитие этого мотива в научно-критической рефлексии и художественной практике. В связи с тем, что почти все указанные мои статьи о мотиве *русский человек на rendez-vous* доступны в электронном виде в режиме online, то в этой статье, во избежание текстового повтора, обзор существующей библиографии вопроса представлен не будет.

Мотив *русский человек на rendez-vous* является одним из ведущих в русской словесности XIX – первой трети XX вв. Это было изначально признано и литературной критикой, и художественно-литературной практикой, и российско-советским, а затем и постсоветским литературоведением. В центре этого мотива – трагедия любящих людей, столкнувшихся в жизни с Судьбой и не переживших этого рокового события. Каковы бы ни были трактовки причин неудавшегося rendez-vous – то

¹⁴ [Шестакова, 2005 (а)]; [Шестакова, 2005 (б)]; [Шестакова, 2007]; [Шестакова, 2011]; [Шестакова, 2012 (а)]; [Шестакова, 2012 (б)]; [Шестакова, 2012 (в)]; [Шестакова, 2012 (г)]; [Шестакова, 2013].

ли «общественноцентричные», апеллирующие к общеродовому типу *лишних людей* и социально-историческим проблемам российского государства, то ли «любовноцентричные», направленные на исследование национально-ментальных особенностей проявления чувств и любовного конфликта в художественном произведении, – есть константные моменты, в равной мере значимые для всех направлений интерпретации. К ним относятся бездомность героев и их постоянное пребывание в пути. Герои *русского человека на rendez-vous* обречены на странничество как особый ценностный способ приближения к жизни, переживания её бытийных и бытовых проявлений. Они – странники. И если в начале произведения (как правило) странничество героев – это приближение к главному событию их жизни, то после рокового свидания – это путь в глубины памяти, в препарирование этого события памятью, точнее духовной памятью, «памятующей личностью», как определил её Л. Пумпянский [Пумпянский, 2000, с. 600]. Странничество, как и бездомность, для героев мотива оказываются своеобразным аналогом того, что значимо для людей переживающих, думающих, ищущих морально-нравственные смыслы и ориентиры в мире, духовную поддержку и основу, – Дом, любовь, семья. Бездомность и странничество героев, переживших роковое *rendez-vous*, оказываются оборотной стороной поражения в главном событии их жизни, которое реализуется одновременно иллюзорным, но и необходимым путём-искуплением личностью своего морального малодушия, нравственной трусости перед даром Судьбы – любовью. Такое истолкование мотива определяет основную цель статьи: обосновать экзистенциальную сущность странничества героев мотива *русский человек на rendez-vous*, проанализировать, под действием каких факторов и в каких направлениях в русской малой прозе XIX – первой трети XX вв. происходит его развитие.

Русский человек на rendez-vous – явление, изначально и константно сложное, разнородное, объёмное по своей природе, функциям, смысловым, идейным, эстетическим основаниям,

способам осуществления и в ткани произведения, и в словесно-культурном процессе. Л. В. Пумпянский, Ю.М. Лотман, С.Г. Бочаров, В.И. Тюпа, Н.Д. Тамарченко неоднократно писали об этом явлении, берущем истоки в *онегинском типе* сюжета, как одном из определяющих для русской литературы, шире – культуры и ментальности; как особой морально-этической, идеологической ситуацией, стратегически значимой для русской литературы. Несмотря на то, что до сих пор нет однозначного литературоведческого определения этого явления, всё же предпочтительнее рассматривать его как мотив, который по своей природе и способам существования не только изначально и неустранимо семантически цельный, но и легко узнаваемый, устойчивый и воспроизводимый в русском словесно-культурном художественном процессе. *Русскому человеку на rendez-vous* свойственно смысловое постоянство такого рода, о котором писал А. Веселовский и суть которого сформулирована И. Силантьевым: «Целостность мотива – не морфологического, а семантического порядка, она подобна целостности слова, спонтанному распаду которого на морфемы также препятствует единство его значения. <...> мотив не разложим на простейшие нарративные компоненты (нарративные “морфемы”) без утраты своего целостного значения и опирающейся на это значение эстетической функции “образного ответа”» [Силантьев, 1999, с. 6]. Длительная и насыщенная смысловыми, идейными, морально-нравственными и эстетическими перипетиями жизнь и развитие *русского человека на rendez-vous* в практике русского словесно-культурного процесса и в литературно-критической, собственно литературоведческой рефлексии подтверждают не только его национально-культурную значимость, но признание в нём ведущего, если не определяющего национально-литературного мотива. Однако при безусловной смысловой целостности мотив *русский человек на rendez-vous* – неустранимо полисемантичен. Он изначально содержит в себе сильные и очевидные начала архетипически значимых мотивов. Это интенции мотивов Дома, Пути, и продуцируемых,

сопряженных с ним явлений, которые в мотиве *русский человек на rendez-vous* осуществляются в границах его семантической целостности, точнее – обнаруживают и проясняют его глубинные мотивные основания, постоянство и пределы, смысловые грани и условия воспроизводимости.

Одними из первых, кто понял важность интенций мотивов Дома, Пути для русского человека на *rendez-vous* были русские критики, которые определили их место, функции и роль для героев мотива. В первых абзацах статьи об «Асе» Н. Чернышевский уловил и зафиксировал суть бездомности и странничества героев повести Тургенева: «Действие – за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта» [Чернышевский, 1981, с. 190]. В начале прошлого века Дм. Овсяннико-Куликовский в работе «Итоги русской художественной литературы XIX века» (впоследствии она получит название «История русской интеллигенции»), несколько раз, концентрируя мысль на концептуально значимой идее, подчеркнёт: «Подобно своим предшественникам, Онегину и Печорину, Рудин – вечный странник», который обречен «скитаться не одним телом – душой скитаться» (Курсив авторский. – Э. III.) [Овсяннико-Куликовский, т. 2, с. 147–148]. Литературоведение этот аспект проблемы *русского человека на rendez-vous* не рассматривало. Внимание исследователей фокусировалось, преимущественно, на общественно-исторических условиях и предпосылках появления, существования типов его героев. А затем эти общественно-исторические условия и предпосылки трактовались как то, что собственно и повлияло и на интимное поведение, решение героями любовных вопросов. Однако без актуализации и анализа проблем Пути невозможно понять ни сущность, ни истоки, ни тенденции развития мотива. Без вычленения и рассмотрения роли Пути нельзя осмыслить и специфическую природу, характерные особенности героев, их судеб, которые – вне зависимости от индивидуально-авторского видения общественных и любовных конфликтов, способов их разрешения, вопреки сменам и резким сломам в развитии рус-

ского художественного словесно-культурного процесса – остаются неизменными. Русский человек на *rendez-vous* никогда и ни при каких условиях не сможет выбрать личное счастье и всегда будет оставаться одиноким странником.

Действительно, если посмотреть на героев *русского человека на rendez-vous* сквозь призму семантически сильного в нём мотивного начала Пути и сопряженных с ним мотивных элементов (дорога, дорожное приключение, авантюра, оппозиция своё/чужое, экзотика чужих краёв, обыденность своей стороны, путешественник, странник, скиталец, изгой, жизненная стезя), то получим следующие весьма показательные результаты.

Первый существенный момент. Для героев мотива важен фактор пути, в смысле постоянного пребывания в дороге, её открытости для различных жизненных ситуаций, приключений. Герои путешествуют за границей и по своей стране, преодолевая и большие расстояния и совершая небольшие прогулки. Дорога, прежде всего, проявляется для героев как простая возможность совместить нужные места в географическом пространстве; увидеть и понять мир вокруг себя, узнать чужие нравы и обычаи или же погрузиться в привычность своей местности. Дорога, с основополагающими для неё, априори подразумеваемыми принципами случайности и неизбежного приобщения к новым местам, людям и при этом необязательностью отношений, оказывается возможностью для разнообразных встреч, расширения кругозора. Кроме того, она выступает и в роли действенного средства от тоски и праздно́й скуки. Начиная с хрестоматийной онегинской “охоты к перемене мест” и заканчивая приключениями Бронзовой и Ошмянского – героев сатирического рассказа А. Аверченко «Бритва в киселе», пытавшихся на праздник добраться в Святогорский монастырь, – дорога, как проявление и ощущение пространственного передвижения и обусловленного им движения чувств и мыслей, во многом оказывается самоценной для героев мотива. Они изначально предстают в роли путников, которые по доброй воле или в силу различного рода обстоятельств должны

путешествовать. Дорожное состояние оказывается почти их естественным состоянием и привычным времяпрепровождением.

Весьма показательным, с точки зрения сущности мотива и особенностей его реализации, что знакомство и прощание с героями *русского человека на rendez-vous* почти неизменны в литературе XIX – первой трети XX ст. Их представление читателям начинается с дороги, её явных знаков и едва уловимых, но ценностно значимых признаков. В равной степени и заканчивается знакомство с ними своеобразной «дорожной историей» и её эквивалентами. Так, Евгений Онегин произносит свой знаменитый внутренний монолог о дядюшке, «Летя в пыли на почтовых». Пушкин и оставляет его как вечного странника: «...И здесь героя моего, / В минуту злую для него, / Читатель, мы теперь оставим, / Надолго... навсегда. За ним / Довольно мы путём одним / Бродили по свету. Поздравим / Друг друга с берегом. Ура!» [Пушкин, 1978, т. 5, с. 162-163]. О Печорине автор-рассказчик узнаёт в дороге, когда «ехал на перекладных из Тифлиса» [Лермонтов, 1990, с. 456]. Жанр, в котором он знакомит читателя с Печориным, однозначно определяет: «...я пишу не повесть, а путевые записки» [Лермонтов, 1990, с. 476]. Разрешение публиковать журнал Печорина становится возможным только потому, что «...Печорин, возвращаясь из Персии, умер» [Лермонтов, 1990, с. 493]. Максим Максимыч начинает свой рассказ о Печорине с констатации факта: «Раз, осенью, пришёл транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти» [Лермонтов, 1990, с. 461]. Дневник самого Печорина начинается с того, что «Тамань – самый скверный городишка из всех приморских городов России. <...> Я приехал на перекладной тележке поздно ночью» [Лермонтов, 1990, с. 499], и заканчивается признанием: «Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..» [Лермонтов, 1990, с. 509]. «Окончание журнала Печорина» начинается записью: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города...» [Лермонтов, 1990, с. 509],

и заканчивается: «Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько вёрст от Эссентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня...» [Лермонтов, 1990, с. 580]. Случайная встреча Максима Максимыча и Печорина происходит в тот момент, когда «Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже дважды подходил к Печорину с докладом, что всё готово...» [Лермонтов, 1990, с. 494].

Герои тургеневских произведений в этом плане продолжают традицию «дорожного» представления и расставания. Базаров впервые появляется перед братьями Кирсановыми и, соответственно, перед читателем, на постоялом дворе в «...тарантасе, запряженном тройкой ямских лошадей...» [Тургенев, 1981, т. 7, с. 10]. Рудин аналогичным образом вводится Тургеньевым в повествование: после обеда во дворе дома Ласунских «...раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал во двор...» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 219]. Последняя встреча с ним происходит на постоялом дворе, когда он признаётся Лежневу, что «должен сегодня же выехать отсюда» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 310], а затем в последних строках эпилога сообщается о его гибели на баррикадах в Париже. Лаврецкий – постоянный путешественник, который беспрестанно меняет место жительства. Вернувшись из Европы, по пути в свое имение он – проездом – наносит визит Калитиным. «Ася» начинается с признания г-на Н.Н.: «Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы „окончить моё воспитание“, как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. <...> Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 149]. После свидания г-н Н.Н. пытается найти семью Гагиных, уезжая за ними в Лондон. И заканчивается повесть дорожной открытостью для случайных встреч и обманчивых надежд: «Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидел за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напо-

нило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 194]. История молодого Санина из «Вешних вод» начинается так: «... он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. <...> В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в дилижансах», перед отправлением которого он успел «... поскучать, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыханными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. <...> На одном из немногочисленных её домов он увидел надпись “Итальянская кондитерская Джиованни Розелли”...» [Тургенев, 1981, т. 8, с. 257]. С Полозовыми Санин встречается тоже благодаря дорожному приключению. И после рокового rendez-vous он поехал за ними в Париж. Уже умудрённый жизнью Санин оставляется Тургеневым в тот момент, когда «слышно, что он продаёт все свои имения и собирается в Америку» [Тургенев, 1988, т. 8, с. 383].

Аналогично и в литературе рубежа прошлых столетий, вплоть до первой трети XX ст., в мотиве *русский человек на rendez-vous* неизменно происходит сильная и целенаправленная активизация мотивного начала дороги. На первый взгляд, дорога акцентируется как способ самого обыденного передвижения человека в пространстве, как открытость неизвестному, случайность дорожных приключений, которые не играют решающей роли в истории любви героев. Знакомство с героем мотива может быть сфокусировано не на пространстве дороги, а на факте его жизни вне родного дома, где-то в гостях, как в чеховском «Доме с мезонином». Но при этом мотивное настроение пути, например, в виде бесцельных (и тем приятных и ценных для героя) прогулок, будет присутствовать непременно: «Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь» [Чехов, 1985, т. 9, с. 174]. И заканчивается повествование дорожными интенциями, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к ситуации rendez-vous, однако неизменно сопровождают героя:

«...Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, еду-чи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. <...> Про Волчаниновых он сообщил немного» [Чехов, 1985, т. 9, с. 191]. Герой рассказа В. Брюсова «Первая любовь», подобно героям русской классической литературы, вводится в повествование в ценностно значимом контексте дороги: «Зимой я перенёс довольно опасную болезнь, и весной доктора меня послали на юг, в Крым. Отец настоял, чтобы я ехал один, без провожатого. В Крыму я должен был жить в Судаке, у нашего родственника. <...> Помню, я приехал усталым, но опьянённым и этой усталостью, и всем новым, что открылось мне: морем, миром гор, южным воздухом» [Царица поцелуев, 1993, с. 316-317]. После rendez-vous герой, спасаясь бегством, вынужден преодолеть трудный путь, который В. Брюсов подробно описывает: «Я подождал её несколько минут. Потом вдруг решился. Озираясь, я выбрался на дорогу – и побежал. Побежал, как беглец. <...> Я шел всю ночь. Утром попросил приюта в татарской деревне. Отдохнув, пошел опять. Я добрался пешком до Феодосии. Со мной было несколько рублей, и я смог доехать до Москвы» [Царица поцелуев, 1993, с. 319]. Герой брюсовского рассказа «Пятнадцать лет спустя», который тоже хочет бежать после rendez-vous, детально, до натуралистичности, погружен в подробности дорожных забот: «Вернувшись домой, он к своему изумлению нашел, что вместо чувства удовлетворения в душе у него какое-то растерянное сомнение. <...> Тут в первый раз ему пришла мысль – немедленно уехать из Москвы. <...> Утром Корецкий проснулся с твёрдым намерением – ехать. Он позвал своего слугу и приказал взять билет в Вену» [Царица поцелуев, 1993, с. 326]. Даже герои Н. Гумилёва, развлекающиеся модным вдыханием паров эфира, изначально предстают как странники, о чём говорит и название рассказа – «Путешествие в страну эфира», – и обозначение сути этого каприза героиней: «Здравствуйте, господа, – сказала Инна, не протягивая нам руки, – светлый бог чудесных путешествий ждёт нас давно. Берите флаконы, занимайте места – и начнём» [Царица поцелуев, 1993,

с. 218]. Герой бальмонтовского «Крика в ночи», хотя и вводится в повествование как пациент больницы («чужого огромного дома, который называется больницей, но более похож на тюрьму и хуже тюрьмы, потому что все арестанты в нём – раненые, недужные, кашляющие, чахнувшие» [Бальмонт, 1992, с. 129]), вспоминающий свою жизнь, но начало дороги и здесь неизменно присутствует. Это больница в чужом и случайном для него городке, на одной из железнодорожных станций. Калекой он стал, то ли нечаянно сорвавшись, то ли специально бросившись под поезд, когда «нужно было поехать попросить займы у знакомых. Всего несколько станций по железной дороге. Он поехал один» [Бальмонт, 1992, с. 135]. Для героев бунинских произведений дорога является естественной стихией жизни, которая их сводит вместе и позволяет расстаться, вроде бы, естественным образом. Герои «Солнечного удара» знакомятся на палубе парохода: она возвращается с крымского курорта домой, он – просто путешествующий офицер. Всё, что с ними произошло, он определил так: «Да, вот и конец этому „дорожному приключению“! Уехала...» [Бунин, 1988, т. 4, с. 384]. И сам герой оставляется автором в состоянии дороги: «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет» [Бунин, 1988, т. 4, с. 388]. Герои «Сына» знакомятся, когда молодой человек приезжает из Европы погостить к друзьям в африканскую колонию, а трагические события последнего свидания происходят тотчас по приезду героев на пустующую дачу. Герой «Руси» вспоминает свою любовную историю в тот момент, когда они с женою едут в поезде на крымский курорт. Герои «Иды» своё единственное любовное свидание переживают на дальнем перроне случайной пересадочной станции. Рассказ А. Аверченко «Бритва в киселе» начинается словами: «Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем. В тот день линейка приняла только двух, незнакомых

между собой пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского» [Аверченко, 1990, с. 302].

Ряд примеров можно было продолжить, но основополагающую тенденцию это не изменит: герои мотива *русский человек на rendez-vous* постоянно оказываются вне своего дома и в путешествии. Дорога, начиная от лёгких и приятных прогулок и заканчивая вынужденными скитаниями по миру, – почти естественное состояние героев мотива, их своеобразный способ знакомства с жизнью, приобщения к ней. Однако это мотив не о дорожных авантюрах, череде жизненных эпизодов, нанизанных на стержень открытого и бесконечного пути, а о трагедии людей, разминувшихся со своей Судьбой, и отнюдь не из-за путевых коллизий, а из-за собственного неумения (не)выбирать, страха поступка. Это мотив о вечном блуждании памятью в глубинах одного (не)совершённого выбора. Так какую же роль в мотиве *русский человек на rendez-vous* играет такая насыщенность самыми обычными дорожными интенциями? Почему различного рода дорожные образы, знаки, коды, аллюзии неизменно сопровождают героев мотива, являясь его устойчивой составляющей, которая, казалось бы, не имеет определяющего характера для осуществления главной задачи героев: достойно пережить *rendez-vous* и ощутить его подлинную сущность – свидание с собственной Судьбой?

Естественно предположить, что при таком ракурсе рассмотрения дорога в мотиве играет преимущественно формально-содержательную и формально-функциональную роль. Она, как поэтический приём, позволяет вводить героев в ткань повествования таким образом, чтобы одновременно акцентировать внимание на трёх моментах, которые обусловлены субстанциальной сущностью Пути, но в то же время не являются самодостаточными и ценностно определяющими. Скорее так: эти моменты адаптации дороги в мотиве необходимы, но недостаточны. Во-первых, это лёгкость и достоверность обоснования как бы само собой разумеющейся причины появления героев в жизни им незнакомых

(или почти незнакомых) людей и обстоятельств, позволивших им войти в чужой для них дом и семью. Во-вторых, возможность сосредоточиться на особенностях характеров, склонностях героев, которые с особой силой и очевидностью обнаруживаются в тривиальных дорожных условиях. Дорожные ситуации априори готовы и испытать путников сложными морально-нравственными выборами, и искушить вольностью авантюрных приключений. В таких ситуациях максимально полно раскрывается характер героев, прежде всего, их подлинные, затаённые, сюрпризные даже для них самих свойства их натуры. В-третьих, возможность сфокусироваться на принципиальной открытости, поливероятности, насыщенности разнообразными возможностями самой дороги. Она позвала героев мотива в путь, как бы невзначай сделала их путешественниками и привела в жизненное пространство героинь, но оказалась и тем, что помогает их бегству после решающего rendez-vous, а также не позволяет им, вопреки искренним желаниям и даже раскаянию, встретиться вновь.

Такой взгляд на вспомогательную роль дороги в мотиве *русский человек на rendez-vous* мог быть принят как вполне достаточный для понимания её роли. При этом необходимо было, с одной стороны, акцентировать внимание на классификации дорожных ситуаций и кодов, типологии «дорожных приключений» в контексте мотива; с другой – признать, что сам фактор дороги, безусловно, значимый и нужный, всё-таки не влияет на поведение героев в ситуации любовного романа и свидания (rendez-vous). Даже наоборот: предполагает, что ими может быть выбран Дом, семья, любовь, т.е. укорененность в мире, принципиальная остановка в беспрестанном пребывании в дороге, сознательный отказ от странничества.

Дорога сыграла свою решающую роль в судьбе героев, дав возможность сойтись абсолютно разным людям из несовместимых миров, например, Онегин и Татьяна, Печорин и Бэла, Санин и Джемма, бунинский поручик и замужняя женщина из провинциального городка, и тем самым исчерпала свой смысловой по-

тенциал. В связи с этим дорога вполне может быть рассмотрена как традиционный, простой и действенный поэтический приём, являющийся необходимым, но не определяющим для понимания семантики мотива русский человек на rendez-vous в его смысловой целостности. Казалось бы, архетипический мотив Пути здесь проявляется вполне предсказуемо: в качестве своеобразного и упрощенного мифопоэтического отзвука – традиционной судьбоносной дороги, через неизбежные трудности и испытания приводящей героев к искомой, только для них предназначенной цели, к их внутреннему перерождению. И то, что герои бегут после решающего свидания, не узнав своей Судьбы, как это точно характеризует Л. Пумпянский, только подтверждает такого рода предположения. Неизбежное бегство после свидания, как возвращение героев к состоянию путников, вполне может свидетельствовать о том, что дорога, именно в качестве отголоска сакрально-мифологической ориентации человека в пространстве и переживания им неизбежных жизненных встреч, в мотиве подошла к своему семантическому пределу, максимально обнаружила и выполнила свои функции. Она свела двух назначенных Судьбой людей, но далее они сами, без её участия, не смогли совершить правильный выбор и закрепить его в поступке. Вследствие этого они и обречены (преимущественно герой) на «особый тип Пути, бесконечный и безблагодатный...» [Мифы..., 1998, т. 2, с. 352], что и подтверждается многочисленными, зачастую мелкими, почти незаметными, но устойчивыми проявлениями дороги в последующей жизни героев. Они постоянно оказываются в пути, даже если речь идет о поезде, увозящем их отдыхать на крымский курорт, или о пушкинской метафоре («Поздравим / Друг друга с берегом»), позволившей только читателю окончить путешествие благополучно.

Однако здесь и возникает ряд концептуальных вопросов, не позволяющих остановиться только на такой, хотя и важной, но преимущественно функционально-дополнительной, трактовке сущности и роли дороги в мотиве. Вопросы обусловлены тем,

что каждый раз встреча героя и героини *русского человека на rendez-vous* – это прерывание пути, временная остановка в дороге, когда начало любви может восприниматься как случайное путевое знакомство или неожиданная встреча, очередное дорожное приключение или подарок Пути. А ее конец – как бегство героя, который ощущает свою неукорененность в жизни, в глубинах собственного я. Дорога каждый раз оказывается сопряженной с возможностью не столько, на первый взгляд, тривиальной, обусловленной внешними, объективными фактами и причинами остановки, сколько с вероятностью самоузнавания и самопознания героя. Остановка в пути вначале действительно кажется самой обычной временной остановкой (знакомство с достопримечательностями города, отдых на курорте, визит в гости), но постепенно обнаруживает более значимую сущность. Именно поэтому прерывание путешествия, воспринимаемое им как дорожное приключение, постепенно, но неизменно оборачивается «странным приключением» [Бунин, 1988, т. 4, с. 384] и, в конце концов, возможностью открыть в себе новые качества и желания и, может быть, даже начать новый этап жизни. Прерывание самого обычного путешествия для героев *русского человека на rendez-vous* всегда наполнено потенциальностью, высокой вероятностью «сюрпризности» во всех смыслах, начиная от банального страха последствий романа («Ася» И. Тургенева, «Пустоцвет» В. Брюсова, «Путешествие в страну эфира» Н. Гумилёва) и заканчивая проигрышем собственному непонятому и непринятому я («Вешние воды» И. Тургенева, «Через пятнадцать лет» В. Брюсова, «Ида» И. Бунина). Но в любом случае определяющей для толчка к самопознанию оказывается неожиданная остановка в дороге и вызванные ею катастрофические для личности героя последствия. Так, для Базарова это признание любви, открывшаяся ему возможность любить «глупо и безумно», когда «это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нём билась, сильная и тяжелая, – страсть, похожая на злобу и, может быть,

сродни ей...» [Тургенев, 1981, т. 7, с. 98]. Аналогичное по силе воздействия открытие глубин собственного я, подобное именно солнечному удару, испытает бунинский поручик. Для него, после быстрого знакомства на пароходе и банального романа в случайной гостинице, обнаружится «совсем новое чувство – то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затеявая вчера это, как он думал, забавное знакомство<...>» [Бунин, 1988, т. 4, с. 384].

Каждый раз такая остановка в дороге неизбежно оборачивается одновременно трагедией единственной, неповторимой и нереализованной возможности счастья, а также неизменного возвращения в состояние странничества. Rendez-vous оказывается разрывом, задержкой героев в пути; одновременно – и реальной возможностью, и убедительной иллюзией, и соблазном некими высшими, недостижимыми для привыкшего к дороге путника, ценностями и идеалами (Дом, личное счастье и любовь). Rendez-vous и всё с ним связанное – это попытка отвлечься, отвыкнуть от дороги и задаваемых ею моделей поведения и ценностей, это внутреннее усилие героя, направленное на окончательный выбор стабильности и устойчивости в мире, выбор себя *другого*, неведомого. В герое постоянно идёт борьба между ценностями и возможностями, которые может предложить мир, открываемый rendez-vous, и зовом дороги как соблазном еще не сделанных выборов, вероятностных встреч. Остановка в дороге – это ещё и возможность для героя (пере)осмыслить происходящее с ним, вспомнить и принять то, что процессуальность пути отодвигает к постоянно отдаляющемуся, неизбежно ускользающему горизонту.

Не случайно, Печорин – вечный путник – произносит: «Когда я увидел Эду в своём доме, когда в первый раз, держа её на коленях, целовал её чёрные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся; любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни...» [Лермонтов, 1990, с. 483]. Однако каждая временная

остановка в дороге только укрепляет в нем самосознание странника – коллекционера новых жизненных эпизодов и ситуаций. Каждая новая любовная история, заканчивающаяся неудачным rendez-vous, проигранным самому себе, – это не только остановка в пути, но, прежде всего, единственная возможность нового погружения в состояние пути, непрерывного движения дальше, что с особой честностью и фиксирует Печорин в Журнале: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» [Лермонтов, 1990, с. 539-540]. Важность дороги, странничества для героев мотива только усиливается от временного прерывания пути. При этом судьбоносное rendez-vous постоянно воспринимается ими как нечто внутренне неразрывно связанное с дорогой, невысказанное вне её сюрпризов. Герой бунинской «Руси» ведь тоже не случайно вспоминает о своей давней, единственной и невоплощенной любви в ситуации, когда «В одиннадцать вечера скорый поезд Москва – Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути» [Бунин, 1988, т. 5, с. 383].

Дорога и rendez-vous в мотиве постоянно взаимообусловлены; они взаимопроявляют, взаимодополняют и взаимоосуществляют смыслы и ценности, значимые для них. Они дают возможность героям не только встретиться, узнать друг друга, себя, не только устроить побег от Судьбы, но и «заикнуть» время и главное событие жизни героев. Дорога и rendez-vous – это то, что будет возможностью для когда-то неузнанной Судьбы, оставившей героям жизнь и память, всё же осуществлять себя. Их взаимообусловленность выступает знаком для *памятующей лич-*

ности (Л. Пумпянский) того, что невыбранное, но испытанное ими чувство, и тем самым вошедшее в их жизнь, ничто отменить не может. Дорога и *rendez-vous* постоянно предстают как некая внутренне разнородная и тем значимая целостность. Она подобна двуликую Янусу, когда самое обыкновенное и сокровенное, банальное и трагическое взаимосвязаны, как два начала в Янусе: «отпирающее» и «запирающее» все двери и союзы, когда «его двуликость объясняли тем, что двери ведут и внутрь, и вовне дома», а также тем, что он «знает и прошлое, и будущее», он – одна из основ «космического и земного порядка» [Мифы..., 1998, т. 2, с. 683-684]. Дорога и *rendez-vous* – движение и остановка, странствие и попытка ускользания от него – это квинтэссенция мотива *русский человек на rendez-vous*, вне которой невозможно понять, почему герои неизбежно обречены не узнавать Судьбу и отказываться от счастья, любви, Дома.

Допустимо ли такую устойчивую, целенаправленно активизирующую ценность дороги модель реализации мотивной целостности *русского человека на rendez-vous* толковать как значимый, но всего лишь вспомогательный поэтический приём? Конечно же, нет. С этим собственно и связан *второй существенный момент* активизации мотивного начала Пути.

Примечательно, что герои *русского человека на rendez-vous* в начале знакомства с ними предстают как путешественники, для которых дорога – и самоцель, и средство познания мира, и возможность приблизиться к новым, нужным знакомствам, городам, и ускользнуть от надоевших или нежелательных людей и мест. Дорога воспринимается ими исключительно как вероятность реализации планов, надежд, которые, как правило, далеки от любви, личного счастья и поисков Дома. Их осуществимость кажется необходимой и вполне достижимой жизненной задачей, обусловленной то ли текущими житейскими заботами, то ли экзистенциальными проблемами самопознания.

Это может быть и ситуация тургеневского Санина, который полученные в наследство деньги «... решил прожить за грани-

цею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него невыносимым. Санин в точности исполнил своё намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга» [Тургенев, 1981, т. 8, с. 257]. Но неожиданные дорожные знакомства и встречи обнаружили в нём то, что было невыносимо для самого обыкновенного русского юноши-дворянина: и решимость жениться на безвестной итальянке – дочери почти разорившегося торговца, и отвагу на скандально-безрассудный поступок – стать любовником-рабом избалованной замужней женщины и скитаться за нею по модным европейским городам. Не говоря уже о Лаврецком («Дворянское гнездо»), который, в силу целого ряда обстоятельств с детства сложной и запутанной жизни, не думал о личном счастье, о любви и Доме, которые казались ему принципиально невозможными. Он, который заявляет в гостях у Калитиных, что «...приехал теперь из Берлина <...> и завтра же отправляюсь в деревню – вероятно надолго» [Тургенев, 1981, т. 6, с. 25], и который в деревне для себя решает, что «на женскую любовь ушли мои лучшие года, <...> пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело» [Тургенев, 1981, т. 6, с. 65], всё же отступает от своих планов, начиная череду визитов в город, и влюбляется в Лизу.

Чеховский художник из «Дома с мезонином» представляет другой тип, но для него так же оказывается важна дорога, её зов и возможности, чуждые любви, как и для деятельных, рассудительных в начале пути Санина, Лаврецкого, Базарова. Художник так характеризует себя и причину того, как и почему он оказался перед домом Волчаниновых: «Обречённый судьбою на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал», после бессцельной прогулки

«однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу» [Чехов, 1985, т. 9, с. 174]. Заканчивается эта неожиданная остановка тем же, что и для Санина, Базарова: двойственным восприятием и переживанием собственных чувств, проявившихся после rendez-vous, и вызванных ими поступков: «Я был полон нежности, тишины и довольства собою, что сумел увлечься и полюбить... <...> Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург» [Чехов, 1985, т. 9, с. 190-191].

Герою бунинской «Иды», который почти забыл подругу жены, тоже в начале его дорожных приключений не приходило на ум мечтать о любви, свидании с нею. Это был тот самый обыкновенный момент, когда по работе «вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край... Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. Едет день, едет ночь и доезжает наконец до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием...», а поэтому вынужден ждать следующий поезд на вокзале, который «богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нём даже сутки» [Бунин, 1988, т. 4, с. 391-392]. Заканчивается это, начавшееся вполне житейски странное путешествие в логике развития мотива: вполне солидный человек, привыкший к комфорту и стабильности, предсказуемости жизни, обнаруживает для себя, что «есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. <...> она <...> обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала – и ушла» [Бунин, 1988, т. 4, с. 395].

Это *вдруг*, проявляющее себя как встреча, знакомство, несущественное изменение первоначальных планов, воспоминание, заставляющие остановиться, столь естественно для любого пути, и для героев *русского человека на rendez-vous* сначала таковым и представляется. Более того, это *вдруг* не только кажется, но и является чем-то действительно по-дорожному незначительным: избавлением от скуки и однообразия дороги. Оно вполне закономерно воспринимается таким, о чём, подобно Базарову, рассуждающему в конце губернаторского бала перед Аркадием о приглашении Одинцовой, можно произнести: «Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была – просто ли губернская львица или “эманципэ” вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видел давно» [Тургенев, 1981, т. 7, с. 71]. Или даже длительное время выглядит эпизодом, обычным дачным романом молодого репетитора и хорошенькой хозяйской дочки, пока (как в бунинской «Русе») – через «пере-переживание» [Грюбель, 1993, с. 186] не обнаружит для героя подлинную сущность произошедшего с ним двадцать лет тому назад. Но возможным это становится именно из-за произошедшего неожиданного для героя прерывания, нарушения путешествия: «За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему: – Что это ты столько пьёшь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Всё еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями? – Грущу, грущу, – ответил он, неприятно усмехаясь. – Дачная девица... *Amata nobis quantum amabitur nulla*¹⁵» [Бунин, 1988, т. 5, с. 391]. И если судить по известному исходу любовной ситуации в мотиве *русский человек на rendez-vous*, то нечаянная встреча героев, которая прерывает его намеченный, вполне банальный по своей сути путь и запланированные дела, неизбежно и непоправимо оборачивается трагедией – обреченностью жить памятью, бездомностью и странничеством.

¹⁵ Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет!

Любовь и *rendez-vous*, в начале кажущиеся временной остановкой, незапланированным отклонением от намеченного маршрута, точнее даже бывшие таковыми на самом деле, кардинально меняют жизнь героя и связанных с нею людей. Любовь и *rendez-vous* максимально обнаруживают в нём те свойства, которые он либо пытался изменить, забыть, преодолеть, примириться с ними через погруженность в дорогу, смену лиц и мест, либо вообще не подозревал, что ему присущи такие качества. Постоянная дорога, возможность испытать любовь и преданное им *rendez-vous* – это уже своеобразное триединство, позволяющее ему приблизиться не только к себе, но к подлинным тайнам и парадоксам Судьбы, которая всегда больше жизни и оставляет человеку различные способы узнать об упущенных и/или всё еще потенциальных возможностях. Это единство делает ценностно-смысловым центром жизни героя постоянное возвращение, стремление в памяти к невыбранному счастью любви и предпочтенному эгоистично-капризному я, существующему только в непрерывной текучести настоящего, что точно сформулировал герой «Аси»: «... я жил без оглядки...» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 149].

Вот здесь и возникает еще один комплекс вопросов. Правомерно ли под таким углом зрения трактовать (в качестве не только необходимых, но и достаточных для понимания мотивной целостности) любовь и *rendez-vous* как судьбоносную остановку, обрыв пути, превративших героя из путешественника в странника, а обыкновенную дорогу в жизненную стезю? Есть ли основание говорить в данном случае о мифопоэтических отголосках архетипа Пути, которые проявляются в ткани произведений XIX – первой трети XX вв. как знаки морально-нравственной ответственности человека за свой жизненный путь, как классической философии выбора? И достаточно ли такого толкования интенций Пути в мотиве *русский человек на rendez-vous* для того, чтобы понять сущность мотива в целом и специфику характера героев? Почему герои, через аморальные поступки (малодушие, нерешительность в лично ответственный момент, бегство

после rendez-vous, предательство), предпочитают одинокий Путь и странничество, а не любовь и счастье? Могут ли эти герои, которых русская критика называла *слабыми, лишними людьми, в других обстоятельствах*, о которых рассуждал П. Анненков, выбрать любовь, личное счастье и Дом? Этими вопросами и обусловлен *третий существенный момент* проявления архетипа Пути в мотиве.

Герои, первоначально представлявшиеся самыми обычными путешественниками, путниками волею житейских обстоятельств, после решающего свидания неизменно оказываются в *ситуации странного дорожного происшествия*, как её определил поручик из «Солнечного удара» И. Бунина. Эта ситуация, начинающаяся как забавная дорожная авантюра или досадный дорожный казус, постепенно обнаруживает такие глубины происходящего с героями, которые заставляют их *экзистировать* – «выходить из берегов своего упорядоченного сознания, эмпирического кругозора, социально организованного опыта. Человек “срывается”, делает нечто противоречащее его сознательным умыслам, его представлениям о социальной целесообразности поступка. И вместе с тем он понимает, что не мог поступить иначе, что его действие скрывало в себе убеждение более сильное, чем все рациональные доводы. В экстатическом действии индивид как бы выплескивает наружу свою тёмную, непроявленную, но окончательную веру. <...> Экзистенция – это судьба-призвание, которой человек беспрекословно, стоически подчиняется» [Соловьёв, 1991, с. 299-301]. Герои *русского человека на rendez-vous* неизменно проявляют свою сокрытую, затаённую сущность, которая наперекор их убеждениям, ориентациям, мечтам не позволяет выбрать Дом, любовь и счастье. Герои не могут переступить последнюю внутреннюю черту, закрывающую для них возможность странничества как единственно возможного способа переживания жизни и себя. Если под таким углом зрения посмотреть на путь героев мотива, который всегда заканчивается ситуацией *странного дорожного происшествия*, то становится понятно, что это

ситуация – проявление их «судьбы-призвания», которая обнаруживает для героев их истинные, непроясненные, но от этого не менее значимые желания. И они далеки от того, что репрезентируется событием решающего свидания, которое подразумевает выбор единства счастья, любви, Дома как выбор и утверждение их не только личной, но общественной целесообразности, стабильности, остановки в беспрестанном движении и странничестве. Для героев это принципиально невозможно, что с особой силой и проявляет их испытание ситуацией *странного дорожного происшествия*, когда даётся выбор фактически без выбора. Это особенно тонко подметил А. Аверченко, заставив своего незадачливого писателя Ошмянского постоянно убежать, прятаться, ускользать даже из собственного дома от любящей и любимой им женщины, предельно честно объяснив это тем, что «просто я должен оставаться один» [Аверченко, 1990, с. 308]. Он, как и все герои мотива, жертвует любовью, счастьем, Домом ради одиночества и бездомности не потому, что не любит или не способен любить, а потому что не может преодолеть свою экзистенцию, неизменно приводящую его и навсегда оставляющую в ситуации *странного дорожного происшествия*.

Эта ситуация в мотиве реализуется в интересном смысловом диапазоне, который учитывает, сохраняет, охраняет и важность *вроде бы* тривиального начала пути и его неизбежное и неотвратимое оборотничество, превращение в судьбоносное событие, когда в полной мере возможно: «И вчерашний день, и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад» и то, что «... поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет» [Бунин, 1988, т. 4, с. 387, 388]. Эта ситуация проявляется, начиная от вечного и бесцельного странничества, суть которого только и может быть выражена изначально безответным вопросом Печорина: «И зачем было судьбе угодно кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?*» (Курсив авторский. – Э. Ш.) [Лермонтов, 1990, с. 509]. Эта ситуация может обнаружиться и в качестве длительного, обрени-

тельного, очевидного в своей унизибельности и ненужности скитания вслед за бросившей героя любовницей, а затем – подготовки к своеобразному и тоже бесцельному паломничеству к Дому давно преданной возлюбленной (Санин). Кроме того, странное дорожное происшествие может осуществиться и через ситуацию мучительно непостижимую, изначально и до конца неясную и ускользающую от чётких ответов на прямые и однозначные вопросы. Например, для самого героя-калеки, когда он действительно не может понять, то ли его нога нечаянно соскользнула при переходе из вагона движущегося поезда в соседний вагон, то ли это отчаяние его подтолкнуло решить все проблемы («Крик в ночи» К. Бальмонта). Или же ситуацию, неразрешимую из-за самоубийства героини, оставившую героя с уже приготовленными словами для объяснения-разрыва и приобретёнными для бегства билетами («Через пятнадцать лет» В. Брюсов, «Галя Ганская» И. Бунин).

Эта ситуация может проявляться и как подлинная игра Случая, сбивающего расписание поездов и тем самым позволяющего встретиться любящим и в реальности («Ида» И. Бунин), и в пространстве, охраняемом тем, что Л. Пумпянский ёмко назвал духовной памятью («Руся» И. Бунин). Но каждый раз это по своей сути с начала и до конца *странное дорожное происшествие*, которое обнаруживает для героя значимость пограничных состояний. И. Тургенев так описывает чувства Санина перед определяющим его дальнейшую жизнь поступком – адюльтером с Полозовой: «Всё в нём было перепутано – нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что себя не узнаёт...» [Тургенев, 1981, т. 8, с. 376]. У героя одновременно обнаруживается и возможность выбора нормального, с точки зрения традиционных представлений и ценностей, образа жизни, отношений, и вероятность пережить провокационное своей граничностью и открытостью состояние, перейти по ту его сторону. Герой мотива русский человек на rendez-vous всегда переходит последние границы, предпочитая неизвестность, поливероятность

несовершенного окончательному и потому предсказуемому в своих житейских последствиях выбору. Дорога в этом плане оказывается максимально удобной и адекватной содержательной формой для осуществления его странничества как судьбы-призвания. Герой мотива – всегда странник, который не боится задавать последние вопросы и переходить последние границы. Они могут открывать путь или к морально-нравственной, личностной гибели без даже малейшей надежды на счастье (Санин), или к удивительной и даруемой раз в жизни возможности осознать, «как дико, страшно всё будничное, обычное, когда сердце поражено, – да, поражено, он теперь понимал это, – этим страшным „солнечным ударом“, слишком большой любовью, слишком большим счастьем!» [Бунин, 1988, т. 4, с. 386].

Станничество героя, наряду с его бездомностью, оказывается единственной возможностью отказа от того, что называется житейским страхом, т.е. «боязнью потерять жизнь или определённые жизненные блага» [Соловьёв, 1991, с. 299], это с одной стороны. С другой, это вероятность достойно пережить то, что М. Хайдеггер называет онтологическим страхом, – «...боязнь не найти такое предназначение, ради которого я сам мог бы пожертвовать своей жизнью и благами» [Соловьёв, 1991, с. 299]. При этом предназначение не обязательно предполагает высшие идеальные ценности или общественные блага, целесообразность и спокойствие, чем, например, и объясняли сомнения, малодушие на rendez-vous и свое последующее бегство Онегин, тургеневские – г-н НН, Рудин, Базаров, Лаврецкий, герой «Пятнадцати лет спустя» В. Брюсова. Оно вполне может быть искомым, подлинным, глубоко личностным покоем, одиночеством свободы, возможностью прикосновения к бытийным переживаниям, как, например, для Печорина, героев «Крика в ночи» К. Бальмонта и гумилёвского «Путешествия в страну эфира» или чеховского художника из «Дома с мезонином». Здесь важной оказывается не только память, но значимое ощущение забвения и неопределённости, ускользания от прошлого, его перепутанности со всё

еще вероятностным будущим: «Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зелёный огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюблённый возвращался домой и потирал руки от холода. А ещё реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мне мало-помалу начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся» [Чехов, 1985, т. 9, с. 191]. Проблемы личного решения и выбора, закреплённого поступком, вины, долга и ответственности перед собою и любовью, счастьем, героиней навсегда обрекут героев на бездомность и странничество. Они, как вечно неопределённое, пограничное и временное состояние, оказываются единственным спасением от окончательной и необратимой утраты важных, но всё-таки невыбранных, преданных любви и Дома. Странничество и бездомность – как самые ощутимые пространства, где априори господствуют кризисные, катастрофические ситуации и состояния, – это возможность для героев *русского человека на rendez-vous* через неизбежную остроту ощущений прикасаться и помнить о (не)совершенном.

Если посмотреть на то, какие чувства и поступки вызывают Путь, Дом, странничество и бездомность у героев мотива *русский человек на rendez-vous*, начиная с пушкинских, тургеневских произведений и заканчивая бунинской лирической прозой и сатирическими рассказами А. Аверченко, то можно увидеть, что это ощущения, близкие именно к экзистенциальным переживаниям и реакциям потерянной личности. Герой мотива всегда ощущает ситуацию свидания как тупиковую, заставляющую его испытывать страх, отчаяние, тоску, безысходность, из которой один выход – грубое и простое бегство, в том числе и бегство от проблемы, через констатацию, что героиня навсегда ушла, уехала, в общем, ушла из жизни героя. А это подталкивает его к возвращению в состояние бездомности и странничества как в то, что, если и не исправит произошедшего на *rendez-vous*, но

и не позволит герою погибнуть, переступить последнюю границу отчаяния. В этом плане весьма показательны то, что герой мотива, в отличие от героини, крайне редко умирает, и ни разу не оканчивал жизнь самоубийством. Именно странничество позволяет ему пережить то, что почти невыносимо вынести: осознание непоправимости (не)совершённого выбора, когда понимаешь, подобно бунинскому поручику, что о своём чувстве «... уже нельзя было сказать ей теперь! – „А главное, – подумал он, – ведь и никогда уже не скажешь!“» [Бунин, 1988, т. 4, с. 385].

Если подвести общий итог, то необходимо отметить, что странничество героев мотива *русский человек на rendez-vous* – это необходимая составляющая мотивной целостности. *Русский человек на rendez-vous* – это ведь мотив не только о «неузнавании» человеком своей Судьбы (Л. Пумпянский), но, прежде всего, о том, почему он не может её узнать и что является концептуальной основой такого «неузнавания». Герой мотива, хотя и может узнать (точнее – *ощутить*) свою Судьбу в образе любимой женщины, зачастую отвечающей ему взаимностью, но выбрать её, единственную возлюбленную, и счастье с ней – не может, ибо его Судьба не в этом выборе, закреплённом в поступке, не в окончательной остановке, а в ином. В том, что проясняет подлинную сущность и предназначение личности, думающей, чувствующей, вопрошающей и одинокой в своих вечных исканиях; личности, для которой выбор счастья, любви и Дома – это выбор житейской успокоенности. Окончателюность именно такого выбора делает невозможной прикосновение к тайне бытия, которая, например, открылась герою бунинской «Иды» через великую немоту любви. Не случайно героям русской литературы конца XIX – первой трети XX ст. уже «позволено» иметь жену, дом, но это не влияет на их выбор, а только усиливает значение их подлинной духовной бездомности и странничества как ценностных способов прикосновения к тайнам бытия. Именно поэтому судьба героев мотива в вечном и неизменном странничестве, питаемом и питающем *духовную память* человека. Герой «Иды» это

определяет так: «Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни и всё же навеки связаны самой страшной в мире связью!» [Бунин, 1988, т. 4, с. 395]. И связь эта – бесконечно переживаемое событие любви и единственного, всё решающего свидания. Это и делает героя личностью, открывает уникальную в своем трагизме возможность быть тем, «кто остался, чтобы помнить навеки о совершившемся», когда «бесконечность жизни – внутренняя бесконечность одного, события в центре её» [Пумпянский, 2000, с. 600, 602]. Оно обнаруживает для героя не только значимость Пути, извечного устремления вперед, но и невозможность окончательно забыть эту остановку в Пути, пережить, исчерпать бесконечное по смыслам и значимости событие, когда «такая необыкновенная память говорит о душе, осуждённой жить только собою, в себе...» [Пумпянский, 2000, с. 605]. Именно поэтому мотив *русский человек на rendez-vous* насыщен мыслью о том, почему истинный Путь человека не может зависеть от общественно-культурных, социально-политических и *других обстоятельств*, о которых размышляли русская критика и советское литературоведение. *Русский человек на rendez-vous* – это мотив о том, почему Путь человека и его Судьба могут вступать в борьбу за него, проигрывая тому, что называется существование, экзистенция человека, проявляемая и исполняющаяся как неизбежное и нескончаемое странничество. И это не только знаменитое рудинское признание о том, что он много скитался и телом, и душою, но и авторское, тургеневское, рассуждение в эпилоге романа о странниках, которое одновременно воспринимается и как традиционное философско-нравственное назидание, и как откровение нового мироощущения, для которого важна личность в кризисных, катастрофических ситуациях: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стёкла. Наступила долгая, осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть тёплый уголок... И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» [Тургенев, 1980, т. 5, с. 322].

Литература

Аверченко А. Бритва в киселе. Избранные произведения. М.: Правда, 1990.

Бальмонт К.Д. Где мой дом: Стихотворения, художественная проза, статьи, очерки, письма / сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М.: Республика, 1992.

Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999.

Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1987–1988.

Грюбель Р. Воспоминание и повторение. Две модели повествования на примере повестей «Первая любовь» Тургенева и «Вымысел» Гиппиус // Русская новелла: Проблемы теории и истории / под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1993. С. 171–194.

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990.

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Памяти Бориса Викторовича Томашевского. Электронный ресурс. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm_Pusch/index.php. (дата обращения: 10.10.2013).

Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 2000.

Овсяннико-Куликовский Д.Н. Из «Истории русской интеллигенции» // Овсяннико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы: В 2 т. М.: Худож. лит., 1989.

Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. Л.: Наука, 1978.

Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Очерк историографии. Новосибирск: Изд-во ИДМИ, 1999.

Соловьев Э.Ю. Экзистенциализм (историко-критический очерк) // Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. М.: Политиздат, 1991.

Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века: Проблемы поэтики сюжета и жанра. М.: Интрада, 2007.

Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1978–1983.

Тюпа В.И. Литература и ментальность. М.: Вест-Консалтинг, 2008.

Царица поцелуев: Эротические новеллы и сказки русских писателей. М., ТОО «Внешсигма», 1993.

Чернышевский Н.Г. Литературная критика: В 2 т. М.: Худож. лит., 1981.

Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М.: Наука, 1983–1988.

Шестакова Э.Г. Культурная многослойность соблазна в рассказе Ф. Сологуба «Красногубая гостья» // Литература в контексті культуры. Дніпропетровськ, 2005. Вип. 14. С. 354–364. (а)

Шестакова Э.Г. Логика каприза (на материале малой русской и украинской прозы рубежа XIX – XX столетий) // Русская литература. Исследования. Киев, 2005. Вып. VII. С. 216 – 234. (б)

Шестакова Э.Г. Аксиологические основания каприза в художественном мире Н. Гумилева (на материале прозаических произведений) // Серебряный век: диалог культур. Одесса, 2007. С. 322 – 330.

Шестакова Э.Г. Развитие мотива *русский человек на rendez-vous* в рассказе И. А. Бунина «Мордовский сарафан» // Поэтика и риторика диалога: сб. науч. ст. (к 60-летию проф. Т. Е. Автухович). Гродно, 2011. С. 299–313.

Шестакова Э.Г. Особенности формирования мотива *русский человек на rendez-vous* в русской критике второй половины XIX столетия // Русистика: сборник научных трудов. Киев, 2012. Вып. 12. С. 54–66. URL: <http://uaupryal.com.ua/wp-content/uploads/2013/01/RUSISTIKA-12.pdf> (дата обращения 14.08.2014). (а)

Шестакова Э.Г. Литературный мотив: коллизия памяти и забвения словесно-культурных смыслов // Поэтика художніх форм у сучасному сприйнятті: науковий збірник. Одеса, 2012. С. 17–29. (б)

Шестакова Э.Г. К. Д. Бальмонт и И.С. Тургенев: возможность диалога на территории прозы // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012. № 1014. Серія «Філологія». Вип. 65. С. 237–253. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_1014/content/shestakova.pdf (дата обращения 14.08.2014). (в)

Шестакова Э.Г. Развитие мотива *русский человек на rendez-vous* в малой прозе Серебряного века // Серебряный век: диалог культур. Одесса, 2012. С. 428–446. (г)

Шестакова Э.Г. “Пушкинское” и “лермонтовское” в мотиве *русский человек на rendez-vous*: не услышанные идеи русской критики и упущенные возможности литературоведения // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков: направления и течения. Екатеринбург, 2013. № 2. С. 21–40. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/pushkinskoe-i-lermontovskoe-v-motive-russkiy-chelovek-na-rendez-vous-neuslyshannye-idei-russkoj-kritiki-i-upuschennye-vozmozhnosti> (дата обращения 14.08.2014).

E. G. Shestakova

Donetsk, Ukraine

PILGRIMAGE OF HEROES: EXISTENTIAL ASPECT (“A-RUSSIAN-AT-A-RENDEZ-VOUS” MOTIF)

Abstract. The research for the first time raises the problem of the pilgrimage of heroes belonging to “a-Russian-at-a-rendez-vous” motif and provides the grounds for such problem. Wandering of heroes is an essential element of the motif integrity. The motif heroes are the eternal pilgrims who cannot choose love, personal happiness, Home as they give preference to road and homelessness, considering them to be the axiological means of self-consciousness and self-realization. They are doomed to wanders considering them the axiological way of approaching to life and experiencing living. When the heroes set off to pilgrimage, it means they are approaching the main event of their life. But when it occurs after the turning point, the pilgrimage is a matter of deep recollection and reconsideration of what had happened. The archetype of Way in “a-Russian-at-a-rendez-vous” motif is realized at the crossroad of three interconnected aspects. Firstly, a way plays mostly substantial and nominally functional role in the motif. Being a poetic device it enables introducing heroes in the plot, encountering the representatives of the different life worlds and falling apart with them very naturally. Secondly, a way and rendez-vous, being stopovers, are internally interdependent, when the stopover turns to be a real tragedy and the only possible chance for happiness being unfulfilled in the same time. Moreover, it is connected with the constant return to the state of wandering. The hero faces the conflict between his values and

opportunities which can be offered by the world discovered at a rendez-vous, on the one hand, and the call of a way tempting to alternatives and possible meetings, on the other one. Thirdly, the eternal Way and pilgrimage of heroes appear to be their existence, calling, and mission.

Keywords: “a-Russian-at-a-rendez-vous” motif, literary hero, plot of Onegin type, pilgrimage, Way, Home, homelessness.

Information about the author Shestakova Eleonora Gheorghievna, Doctor of Philology (Salskaya str., 21, Donetsk, Ukraine, Tel. (+38066) 269-34-78. E-mail: shestakova_eleonora@mail.ru).

Дечка Чавдарова

Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», България

**ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛГАРСКОГО
И РУССКОГО КУПЦОВ В ЕВРОПУ
В РАКУРСЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И НИКОЛАЙ ЛЕЙКИН)**

Аннотация. Сходство книги болгарского писателя Алеко Константинова «Бай Ганю», чей герой превратился в концепт болгарской культуры, с литературным путешествием Николая Лейкина «Наши за границей» отмечено мимоходом еще в 20-х годах XX века авторитетным болгарским литературоведом Б. Пеневым. После этого, однако, никто из болгарских литературоведов не занялся исследованием этого сходства и – что еще важнее – открытием значимых, концептуальных различий между двумя произведениями. С другой стороны, в русском литературоведении Н. Лейкин, который, в отличие от Алеко Константинова, не входит в национальный литературный канон, остается почти вне кругозора исследователей.

Предложенный текст ставит перед собой задачу выяснить причины неодинакового места творчества двух писателей в их национальных литературах, раскрыть специфику образов Запада и путешествующих героев в концепциях русского и болгарского писателей. Наблюдения над интерпретацией одних и тех же мотивов в двух книгах показывают различия между юмором Н. Лейкина, относящегося с пониманием и симпатией к некоторым проявлениям русской ментальности, – и сатирой А. Константинова, создавшего отрицательный образ собственной культуры.

Ключевые слова: болгарская культура, Восток и Европа, образ болгарина, образ русского купца, путешествие, травелог, юмор.

Сведения об авторе. Чавдарова Дечка Дечева, доктор филологических наук, профессор Шуменского университета «Епископ Константин Преславский» (9712, Шумен, България, ул. «Алесандръ Пушкин» 4, ап. 16. Тел. (00359) 876009700. E-mail: d.tchavdarova@gmail.com).

Сюжет литературного путешествия Н. Лейкина «Наши за границей» (1890) превратился в русской культуре в знак устойчивого житейского сюжета о комических приключениях русских туристов за границей. Под заголовком «Наши за границей» публикуются многие рассказы свидетелей таких приключений, тот же заголовок используют и современные писатели, интерпретирующие эту тему¹. Таким образом, мы можем определить сюжет «наши за границей» как концепт / идею / константу русской культуры. Несмотря на это, путешествие Н. Лейкина не входит в канон русской литературы, не вызывает серьезного интереса у литературоведов.

У исследователя болгаро-русских литературных связей книга Н. Лейкина вызывает интерес определенной своей близостью к сочинению болгарского писателя Алеко Константинова «Бай Ганю» (1894), описывающему в комическом стиле порожденные несовпадением культурных кодов перипетии болгарского купца в Европе. На эту близость указывает авторитетный болгарский литературовед Боян Пенев в своей статье о «Бай Ганю» (1923). Отрицая восприятие героя как воплощение национального характера, Б. Пенев упоминает произведения других литератур, в которых присутствует герой, противопоставленный европейской культуре, и среди них – произведение Лейкина: «В Русия се ползува с необикновена популярност книгата на Н. А. Лейкин “Наши за границей”. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно, както и други две негови книги от същия род – “Где апельсины зреют” и “Под южными небесами”. Лейкин описва комични епизоди, смешни положения, в които изпадат простите и невъзпитани руси в пътуванията си из Европа. Твърде често неговите херои се проявяват в европейската обста-

¹ См., например, рассказ В. Пьецуха «Наши за границей» [Пьецух, 2011, с. 124–138].

новка тъкмо тъй, както и Бай Ганю» [Пенев, 1978, с. 179]². Перечисляя сходства в поведении героев А. Константинова и Н. Лейкина – подозрительность к европейцам, чувство превосходства над ними, неуместное выражение патриотического чувства, – Б. Пенев не ставит вопроса о значимых различиях образов своей и европейской культур в путешествиях двух авторов и о неодинаковом месте их произведений в национальных литературных канонах. В другой своей статье «Пища и идентичность в русской и болгарской литературах конца XIX века (Алеко Константинов и Николай Лейкин)», я обратила внимание на эти различия с точки зрения образа Востока в «Бай Ганю» и «В гостях у турок»³ [Коды..., 2011, с. 283–294].

Болгарская и русская культуры близки идеей своей пограничности – между Востоком и Европой – несмотря на разные исторические факторы, породившие эту идею. Образ Европы в художественных концепциях А. Константинова и Н. Лейкина свидетельствует о функционировании названия «Европа» как метафоры культуры, по Б.А. Успенскому [Успенский, 2004]. В произведениях двух писателей эта метафоризация Европы находит комическое выражение в поведении и речи героев. Бай Ганю то и дело старается подчеркнуть, что он не чужд европейской культуры, купчиха Глафира Семеновна укоряет своего супруга в недоцивилизованности, занимая позицию европейскости:

² «В России пользуются большой популярностью книга Н. А. Лейкина “Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно”, как и две другие его книги того же рода – “Где апельсины зреют” и “Под южными небесами”. Лейкин описывает комические эпизоды, смешные положения, в которые попадают малообразованные и невоспитанные русские в своих путешествиях по Европе. Очень часто его герои проявляют себя в европейской среде так же, как и Бай Ганю». Перевод мой. – Д. Ч.

³ Интересно, что книга «В гостях у турок» не упоминается Бояном Пеневым.

Изверг, злодей! По Европе-то только ездите, цивилизацию из себя разыгрываете, а сами хотите дикие азиатские зверства над женой распространять [Лейкин, 1892, с. 417].

Несмотря на это сходство, произведения А. Константинова и Н. Лейкина отличаются отношением авторов к персонажам, а также своим воздействием на читателя: юмористическое изображение русского купца в путешествии Лейкина, в отличие от изображения Константинова, вызывает только улыбку. Кроме того, несмотря на тематизацию русскости в тексте Лейкина (которая, впрочем, является конститутивным элементом жанра), в русской культуре образ Николая Ивановича остается невосстребованным в «высоком» дискурсе о национальной идентичности⁴. В путешествии Константинова «Бай Ганю» ориентальное в болгарском менталитете осмысляется как некультурность, а нарушение норм европейского этикета вызывает у рассказчиков, гидов или спутников болгарского купца в Европе – стыд⁵. Этот стыд возникает и у читателя (интерпретатора), поскольку герой осмыслен в процессе национальной самоидентификации как воплощение болгарского характера (несмотря на возражения Б. Пенева и некоторых других исследователей). По этой причине «Бай Ганю» превращается в концепт (или константу, по термино-

⁴ Характерно «точечное» упоминание в романе «Город Эн» Л.И. Добычина (1935) – писателя, проявившего пристальный интерес к периферийным, некогда популярным, но вышедшим из культурного обихода явлениям. Герой-мальчик рассказывает, как «маман» и ее подруга, Александра Львовна Лей (ср. фамилию Лейкина), помогают ему уснуть после тяжелого дня: «Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали. – Нет, а Лейкин, – засыпая, слышал я. – Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? – И они смеялись шопотом» [Добычин, 2007, с. 21] (*Примеч. ред.*).

⁵ Соотношение понятий «стыд» и «страх» в «Бай Ганю» я анализирую в статье «Мы и Европа – “страх” и “стыд” как поведенческие регуляторы» [Чавдарова, 1995].

логии Ю.С. Степанова) болгарской культуры⁶. Специфическим элементом в книге болгарского автора (по сравнению с книгой Лейкина) является и политическая сатира во второй части, которая неизменно привлекается носителями болгарской культуры для толкования актуальных политических нравов. О роли сочинения Алеко Константинова в национальной самоидентификации свидетельствуют такие артефакты как карикатура художника Илии Бешкова «Бай Ганьо убива автора си» («Бай Ганьо убивает своего автора») 1947 года или проект памятника Алеко Константинову и его герою Бай Ганю, который будет поставлен на бульваре «Витоша» в Софии (архитектор Станислав Константинов, скульптор Георгий Чапкънов [Чапканов]).

Дополнительные различия в концепциях Константинова и Лейкина открываются на основе интерпретации одних и тех же основных мотивов в их произведениях.

В «Бай Ганю» и в «Наших за границей» описание купцов начинается с костюма, что в рамках жанра обусловлено семиотизацией этой детали при встрече двух культур: костюм является одним из знаков своего/чужого. В тексте Лейкина костюм русского купца вписывает его в европейское культурное пространство, хотя европейскость проблематизирована чертами социального типа:

В числе их были и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде [Лейкин, 1892, с. 1].

В произведении Константинова костюм семиотизирован сильнее, поскольку он превращается в знак эклектического соче-

⁶Статья «Бай Ганю» включена в сборник Шуменского университета «Концепты болгарской культуры» [Концепти, 2010], научный проект Софийского университета «Феноменът *Бай Ганьо* в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на XX век» (составители Милена Кирова, Кристина Йорданова, Николай Папучиев) исследует развитие устойчивого сюжета «Бай Ганю» в болгарской литературе и в современной фольклорной культуре [см.: Папучиев, 2013].

тания ориентального с европейским в болгарской культуре, поверхностной европеизации:

Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурдук, наметна си той белгийската мантия – и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец [Константинов, 1980, т. 1, с. 109]⁷.

При такой концептуализации костюма социальное в образе героя вытесняется национальным (ориентальным, балканским).

Важное место в сюжете двух путешествий занимает мотив железной дороги. В книге Константинова (как это характерно для болгарской культуры/литературы) поезд является символом европейской цивилизации, прогресса (о чем свидетельствует и метафора болгарского политического дискурса «поезд в Европу»). В концепции автора загрязнение чистеньких новых вагонов поезда, на котором выезжают в Прагу болгарские путешественники, содержит идею, выраженную эксплицитно в другой части книги, в обращении автора к герою:

Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш: “Европейци сме ний, ама все не сме дотам!” [Константинов, 1980, т. 1, с. 214]⁸

В описании путешествия Бай Ганю на поезде получает комическое освещение незнание героя, порождающее недоразумения и перипетии: на вокзале в Будапеште Бай Ганю думает, что поезд тронулся, и бежит за ним, боясь утраты оставшегося в вагоне багажа, а, как оказывается, поезд маневрировал. Незнанию героя

⁷ Помогли бай Ганю сбросить с плеч турецкую бурку, накинули на него бельгийский плащ (имеется ввиду создание конституции по образцу бельгийской. – Д. Ч.) – и все поверили, что бай Ганю теперь настоящий европеец [Константинов, 1983, с. 339].

⁸ Я питаю глубокую веру в то, что наступит день, когда ты, прочтя эту книжку, задумаешься, вздохнешь и скажешь: «Мы европейцы, но не совсем!..» [Константинов, 1983, с. 450].

писатель противопоставляет знание рассказчика, человека бывалого в Европе, у которого ситуация недоразумения вызывает смех. Таким образом незнание, объяснимое для путешественника в чужой стране, получает тот же знак, как и отсутствие культуры быта, вторжение в чужое личное пространство (Бай Ганю навязывается другим пассажирам), нарушение европейского этикета. Подобное отсутствие разграничения между незнанием чужой культуры и некультурностью вызывает в критических интерпретациях произведения оправдательный дискурс по поводу некоторых проявлений героя. В путешествии Лейкина перипетиям купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны во время их путешествия поездом по Европе уделено много места: герои попадают в другой город, садятся не на тот поезд и т. д. Как и Бай Ганю, они из-за своего незнания испытывают страх:

Во время минутных остановок на станциях они не выходили из вагонов, чтобы сбегать в буфет, опасаясь, что поезд уйдет без них [Лейкин, 1892, с. 16].

В сознании и в речи русских путешественников присутствует противопоставление *Россия – Европа*, но их комические недоразумения не осмысливаются как знак недоцивилизованности национальной культуры. Русский писатель представляет в юмористическом плане специфику русской ментальности, проявляющейся во время путешествия поездом, приписывая рассуждения о ее ценности героям. По поводу спешки немцев Николай Иванович говорит своей супруге:

Не тот фасон, Глаша, совсем не тот фасон. С провожающим родственником приятно войти в вагон – «вот, мол, где я сяду», потом честь-честью расцеловаться, сбегать в буфет, опрокинуть на скорую руку по рюмочке, опять вернуться, опять расцеловаться. Отчего же это все у нас делается, а у них спешат, словно будто все пассажиры воры или разбойники и спасаются от погони! И куда, спрашивается, спешить? Ведь уж рано ли, поздно ли будем на том месте, куда едем. Зна-

ещь что? Я думаю, что это немцы из экономии, чтобы лишнего куска не съесть и лишней кружки пива в дороге не выпить [Там же, с. 105].

Представление о чрезмерной экономности немцев находит выражение и в ироническом обращении Николая Ивановича к немцу:

Опять экономия! – воскликнул Николай Иванович. – Ну, немцы! Слышишь, Франц, зачем вы умираете-то? Вам и умирать не надо из экономии. Ведь хоронить-то денег стоит [Там же, с. 95–96].

Эти высказывания содержат стереотип немца, который имеет серьезное соответствие и в «высокой» русской культуре⁹. Комическое снижение этой и других русских идей в тексте Лейкина является, наверное, одним из объяснений незavidного места произведения в каноне русской литературы.

Мотив недоразумения в описании путешествия связан с мотивом языка. Герои Лейкина не говорят на немецком языке, и это создает им много проблем – например, в объяснении с немецким кондуктором:

Я езжу до Данцига. Это другая ветвь. Про Берлин не могу сказать, – и опять прибавил слово «морген», то есть «утром», но супруги опять-таки перевели это слово словом «завтра» [Там же, с. 47].

Речь Николая Ивановича исполнена макаронизмами: «Гут морген... Как вас?... Комензи... Наши чемоданы. Брингензи... Сак-воязи...» [Там же, с. 2]. Комическую интерпретацию получает возмущение героя тем, что в Германии не говорят на русском языке:

Ну, народ! – восклицал купец. – Ни одного слова по-русски... А еще, говорят, образованные немцы! Хоть бы одна каналья сказала какое-нибудь слово по-русски, кроме жида-менялы [Там же, с. 7].

⁹ Этот стереотип присутствует в дискурсе Достоевского в литературном путешествии «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), а также в романе «Игрок» (1866).

Автор соотносит знание естественного языка со знанием кода чужой культуры – купеческая семья не понимает не только немецкого, но и предварительного заказа обеда на станции телеграммой. Супруга купца Глафира Семеновна училась в пансионе французскому, но ее знание оказывается сомнительным. Семиотизация языка в тексте Лейкина выражена и в вытеснении коммуникативной функции языка идеологической в сознании героев – они чувствуют славянские языки близкими, несмотря на (не)понимание:

Слышались чешская, хорватская, польская речь, малопонятные для русского человека, но все-таки родные для его уха [Там же, с. 469].

Бай Ганю Алеко Константинова тоже попадает в комические ситуации вследствие незнания европейских языков – чешского, немецкого. Как герои Лейкина, болгарский купец пробует безуспешно объяснить по-немецки несколькими известными ему словами, помагая себе жестами:

Супа готвите? Зная аз. Ich fersten supa! И Бай Ганьо с една смес от немски, български и изкривено български, подпомогнат и от внушителни жестикулации, даде на стопанката да разумеє, че той не би се отказал да опита вкуса на тяхната кухня [Константинов, 1980, т. 1, с. 149–150]¹⁰.

Незнание, однако, не лишает Бай Ганю присутствия духа – в кафе в Швейцарии он, бросив кельнеру фразу «Юн кафе е апорт газет булгар», обращается к другому болгарскому туристу – рассказчику – с комментарием:

¹⁰ Сугу готвите? Я знаю. Ich versten supa. И, мешая немецкую речь с болгарской и ломаной болгарской, помагая себе выразительной жестикулацией, он дал хозяйке понять, что не отказался бы отведать ихней стряпни [Константинов, 1983, с. 382]).

Не съм ги забравил тия ваджии френските [Константинов, 1980, т. 1, с. 163]¹¹

Близость героев Константинова и Лейкина бросается в глаза, но и в этом случае интерпретации двух авторов отличаются существенно. На основе языка, как и всех других проявлений героя, бай Ганю ситуирован в пространстве Востока (Балкан):

Бай Ганьо знаеше езици, по турски да ти приказва като турчин, влашки разбираше, сръбски, руски чат-пат, но немците и чехите не разбират ни един от тези езици [Константинов, 1980, т. 1, с. 148]¹²

Проведенная Константиновым культурная граница между Востоком и Западом на уровне языка обособляет славянские языки, которые попадают в разные культурные пространства: например, чешский – в пространство Европы, а сербский, русский и болгарский – в пространство Востока. В концепции Лейкина, как видно из приведенного выше примера, культурная граница отделяет славянский языковой мир от европейского языкового мира (немецкого и французского языка). Особенно важно другое различие: Лейкин осмысливает языковые перипетии своих героев как ситуацию каждого обыкновенного, не очень образованного туриста, в то время как Константинов приписывает лингвистические недостатки Бай Ганьо, как и некоторых болгарских студентов в Швейцарии, восточному культурному типу, означаемому в его концепции нецивилизованность:

Кога тия младежи четяха, по какъв начин усвояваха европейската култура – това ми остана необяснимо. Ясно ми беше само туй, че почти ни един от тях не говореше сносно френския език. Не успее да зине на този език, и по грубостта на интонацията, по дикцията, по

¹¹ Не забъл я эти дурацкие французские слова [Константинов, 1983, с. 396].

¹² Бай Ганю знал языки, он говорил по-турецки, как турок, понимал по-румынски и с грехом пополам по-сербски, по-русски; но немцы и чехи ни на одном из этих языков не понимают ни слова [Константинов, 1983, с. 381].

конструкция на фразите ще го познаеш, че е възточен човек [Константинов, 1980, т. 1, с. 160]¹³.

Симптоматично, что французский язык в коде Константинова является метонимическим обозначением европейской культуры, что знание французского автор связывает с интеграцией в европейской культуре, с восприятием таких ценностей, как порядочность, честность, трудолюбие, галантность. Логика такого отождествления кажется странной и спорной, но в ней можно усматривать идею языка как воплощения ментальности. Различия в концепциях авторов обуславливают и различия в дискурсе: юмор – у Лейкина и горькую иронию, сатиру – у Константинова.

В мышлении и речи героев двух произведений присутствует чувство собственного превосходства, а также склонность к идеологизации сферы повседневности, о чем упоминает Б. Пенев. Николай Иванович выражает национальную гордость при виде немецких солдат:

Глаша, смотри, какие немецкие-то солдаты маленькие, худенькие, совсем в роде как-бы лимонский скот. Наш казак таких солдат пяток штук одной рукой уберет [Лейкин, 1892, с. 68].

Комическое освещение получает и отождествление военной мощи со способностью выпить:

Ваш солдат нешто может столько шнапс тринкен, сколько наш казак будет тринкен? Вы, немцы, бир тринкен можете филь, а чтоб шнапс тринкен вас на это нет. Что русскому здорово, то немцу смерть. Наш казак вот такой гляс шнапс тринкен может, из которого дейч менш бир тринкен, и наш руссиш менш будет ни в одном глазе... А ваш дейч менш под лавку свалится, у него подмикитки ослабнут [Там же, с. 69].

¹³ Когда эти молодые люди читали, каким образом усваивали они европейскую культуру, – так и осталось для меня тайной. Ясно было только одно, что почти ни один из них не говорил по-французски. Как только кто-нибудь из них заговаривал на этом языке, тотчас грубость интонации, произношение, конструкция фраз выдавали в нем восточного человека» [Константинов, 1983, с. 393].

Важно отметить, что это комическое осмысление питья алкоголя как богатырского акта также имеет свое воплощение в «высокой» русской культуре¹⁴. Наряду с выражением превосходства над иностранцами, в общении Николая Ивановича с ними имеет место и идеологема межнациональной любви. Один из примеров проявления этой идеологемы – разговор Николая Ивановича с французским кондуктором:

– Oh, madame! Et nous, nous adorons la Russie <О, мадам: А мы, мы обожаем Россию.>. Кондуктор взял поданный ему стакан с красным вином, поднял его и, воскликнув: “Vive la Russie!” – тоже выпил его залпом. – Друг! Ами... Франсе и русс – ами, – протянул ему руку Николай Иванович [Там же, с. 131–132].

Бай Ганю Алеко Константинова близок к герою Лейкина тем, что выражает не к месту патриотическое чувство во время проезда через Сербию, припоминая победу болгарского войска при Сливнице во время сербско-болгарской войны 1885 года. А в бане в Вене он бьет себя в грудь и кричит шокированным его шумным поведением немцам: «Булгар! Булга-а-р!». С точки зрения различий в сходстве, нужно подчеркнуть, что в высказывании Бай Ганю скрывается агрессия, которая не присуща Николаю Ивановичу, несмотря на его неприятие иностранцев. Расходятся также интенции авторов и ощущения, которые эти сцены вызывают у читателя: снисходительная улыбка у Лейкина – и горечь, стыд у Алеко Константинова. Изображение проявлений патриотизма со стороны героев двух произведений отличается и тем, что в тексте Лейкина выражение патриотического чувства в некоторых случаях не подвержено иронии, и точка зрения героя совпадает с интенцией автора. Литературное путешествие русского писателя заканчивается высказыванием, отсылающим к русскому

¹⁴ Семантическая связь между пиром и героизмом проведена в стихотворении Державина «Кружка» (1777), а образ питья как богатырского акта утверждается в романтической поэзии – например, в гусарских стихах Д. Давыдова.

концепту патриотизма, воплощенному в «высокой», канонической литературе – к комедии Грибоедова «Горе от ума»:

Ну, и что же? Ну, и съездили, ну, и посмотрели, ну, и есть что вспомнить, а все-таки у себя дома лучше.

Когда постранствуешь, воротисья домой,
И дым отечества нам сладок и приятен [Там же, с. 470].

В рамках юмористической конвенции, однако, серьезное осмысление патриотизма снижается комическим жестом объятий Николая Ивановича с жандармом «от полноты чувств» [Там же, с. 472]. У Алеко Константинова полностью сохранена дистанция между ценностными представлениями автора и персонажа. Настоящая любовь к Родине автора резко противопоставлена казенному, показному патриотизму бай Ганю, который воспринимает политику единственно как средство наживы. Используя терминологию этнолингвистики, можно сказать, что автор – «идеальный болгарин», а герой – «типичный болгарин».

В произведениях двух авторов сходна и подозрительность героев к чужим, вызванная страхом обмана с их стороны (сходство, также отмеченное Б. Пeneвым). Герои Лейкина подозревают во всем обман или грабеж. При обмене рублей на франки Николай Иванович восклицает: «Тридцати девяти копеек французские-то четвертаки купили! Ловко! Вот грабеж-то!» [Там же, с. 102]. А по поводу чашек для кофе в гостинице в Париже между супругами происходит следующий диалог:

– Как тут пить! Тут надо ложками хлебать, а не пить. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что они нарочно такие купели вместо чашек нам дали, чтобы потом за три порции кафею взять, а то так и за четыре. Вот помяни мое слово, за четыре порции в счет наворотят. Грабеж, чисто грабеж.

– Да пей уж, пей. Ведь на грабеж и за границу поехали [Там же, с. 146].

Бай Ганю все время носит с собой сосуды с розовым маслом, которое привез для продажи в Чехию, Австрию и Германию, потому что боится кражи; в венской бане ищет около бассейна гвоздь, чтобы повесить свой узелок с пузырьками розового масла. В гостинице в Вене герой боится передать свой ценный товар слуге, объясняя своему болгарскому спутнику:

Как ще им ги дадеш бе, братко, гюл е това – не е шега, миризма сила, – ще бръкне да извади някое шише – иди го гони сетне! Знам ги аз тях. Ти не ги гледай, че са такива мазни (бай Ганьо искаше да каже учтиви, но тая дума е още нова в нашия лексикон, забравя се), не гледай, че се увиват около тебе. Защо се увиват? Мигар доброто ти мислят? Айнц, цвай! Гут моргин, па все гледат да докопат нещо [Константинов, 1980, т. 1, с. 111]¹⁵.

Эта боязнь героя находит в некоторых интерпретациях оправдание как память о выживании болгар во времена рабства¹⁶. Сравнение с героем Лейкина подсказывает, что упомянутую черту можно объяснить социальными факторами – ментальностью купца. Но Алеко Константинов приписывает подозрительность к европейцам национальному характеру, и на этой основе также ситуирует болгарскую культуру вне европейского культурного пространства. В образе Бай Ганю, воплощающем в концепции Константинова только отрицательные черты болгарской культуры, страх обмана со стороны других связан со стремлением поживиться за их счет (что чуждо герою Лейкина) – а эта черта, в отличие от экономности и даже скупости, не может найти оправдания и объяснения у читателя/интерпретатора произведения.

¹⁵ Как же можно, братец? Роза ведь это, не шутка. Запах какой! Вдруг вздумается кому выгащить пузырек. Пойди ищи потом ветра в поле. Знаю я их. Ты не смотри, что они такие льстивые (Бай Ганю хотел сказать – «учтивые»), но слово это слишком недавно появилось в нашем лексиконе и не сразу приходит в голову), не смотри, что увиваются вокруг тебя. Не то они добра тебе хотят? Айнц, цвай, гут моргин – а сами все норовят что-нибудь стибрить [Константинов, 1983, с. 342].

¹⁶ См.: [Gesemann, 1931; Геземан, 2005].

Героям Константинова и Лейкина в одинаковой степени присуще пренебрежение к чужим культурным памятникам. Впечатление Николая Ивановича от Бранденбургских ворот выражается следующим комментарием:

По-нашему, Триумфальные ворота. Так. Это, брат, есть и у нас. Этим нас не удивишь. Вы вот их за знаменитые считаете, а мы ни за что не считаем, так что даже и стоят-то они у нас в Петербурге на краю города, и мимо их только быков на бойню гоняют [Там же, с. 74].

Когда Бай Ганю предлагают прогулку по Вене, он отвечает:

Какво ще й гледам на Вената, град като град, хора, къщи, салтанати [Константинов, 1980, т. 1, с. 113]¹⁷.

Это сходство свидетельствует об осмыслении подобного отношения к чужой культуре как присущего сознанию массового туриста. Сопоставление двух текстов может внести коррективу в трактовку упомянутого жеста героя Алеко Константинова как черты болгарской ментальности. В данном случае можно согласиться с Б. Пeneвым, что Бай Ганю воплощает не только особенности болгарского национального характера. Различается скорее функционирование двух текстов в национальных культурах: приведенное выше высказывание Бай Ганю цитируется непрерывно с самоиронией современными болгарами, чего нельзя сказать о высказываниях героя Лейкина.

Другой важный мотив в двух путешествиях – мотив еды, кухни. Исследования в области культурной антропологии с полным основанием раскрывают связь между кухней и национальной идентичностью¹⁸, интерес к этой связи проявляют и литературоведы, в частности, исследователи русской литературы. Произведения Лейкина и Константинова воплощают в литературных

¹⁷ Да чего ее смотреть, Вену-то? Город как город, народ, дома, роскошь всякая» [Константинов, 1983, с. 343].

¹⁸ См.: [Food, 1997; Вайль, Генис, 2002; Коды, 2011].

образах эту связь, подсказывая, что в восприятии чужой культуры со стороны массового сознания кухня часто вытесняет высокую сферу культуры (музеи, выставки, театры). Герои Лейкина, хотя и посещают некоторые достопримечательности в Германии и Франции, интересуется скорее ресторанами, что приводит к гастрономическим приключениям. Учитывая это, их путешествие можно назвать кулинарным туризмом. Николай Иванович обладает страстью гурмана и проявляет интерес к чужой кухне, в то время как его супруга боится, как гоголевский Собакевич, несъедобных блюд чужой кухни (лягушек во Франции, немецкой колбасы):

– Вот пиво здесь – уму помраченье. Я сейчас пару кружек опрокинул – прелесть. Бутерброды с колбасой тоже должны быть хороши. Страна колбасная.

– Колбасная-то колбасная, да кто их знает, из чего они свои колбасы делают. Может быть, из кошек да из собак. Нет, я их бутербродов есть не стану. Я своих булок захватила, и у меня сыр есть, икра [Лейкин, 1892, с. 10];

– Я даже думаю потом в каком-нибудь ресторане на французский манер лягушку съесть.

– Тьфу! Тьфу! Да я тогда с тобой и за стол не сяду.

– Ау, брат! Назвался груздем, так полезай в кузов. Уж французиться, так французиться. Как лягушка-то по-французски? [Там же, с. 158.]

– Приехали в Швейцарию, так надо швейцарского сыру попробовать. Фромаж швейцар апорте [Там же, с. 411].

Несмотря на кулинарный авантюризм героя Лейкина, и он, и его супруга отдают предпочтение своей кухне. Ностальгическое перечисление любимых русских блюд иногда напоминает ресторанное меню, при этом русскость блюд связывается и с их величиной – что снова вызывает ассоциации с гоголевским Собакевичем:

Эх, с каким бы удовольствием я теперь поел бы хороших свежих щей из грудинки, поросенка со сметаной и хреном, хороший бы кусок

гуся с яблоками съел. А здесь ничего этого нет, – роптал он. – Мало едят французы, мало. Ведь вон сидит француз... Он сыт, по лицу вижу, что сыт. Сидит и в зубах ковыряет. Хлеба они с этими обедами уписывают много, что ли?! Помилуйте, подают суп и даже без пирожков. Где же это видано! Да у нас-то в русском трактире притащит тебе половой растегай, например, к ухе, так ты не знаешь, с которого конца его начать – до того он велик [Там же, с. 209].

Особенно остро герои ощущают отсутствие самовара и русского чая в Германии и Франции:

А самовар? Ферштеензи: самовар, – спрашивала Глафира Семеновна. – Самовар мит угли... с угольями... с огнем... мит фейер, – старалась она пояснить и даже издала губами звуки, – пуф, пуф, пуф, изображая вылетающий из-под крышки самовара пар. Извольте видеть, нет у них самовара! Ну, Берлин! В хорошей гостиннице даже самовара нет, тогда как у нас на каждом постоялом дворе [Там же, с. 58].

Самовара в гостиннице не оказалось, хотя о существовании «*“машин де рюсс”*», как называла его Глафира Семеновна по-французски, и знали» [Там же, с. 212]. В речи героя находит выражение мифологизация чая в русской культуре, закодированная в словосочетании «*тоска по чае*»:

Не знаю, как у тебя, но у меня просто тоска по чае. Привык я по десять стаканов в день охолощивать – и вдруг такое умаление, что ни одного! [Там же, с. 290].

Влечение к русскому ритуалу чаепития особенно ярко выражено в описании сервированного по-русски чая в Швейцарии:

Через четверть часа супруги умылись, причесались, и явился чай, отлично сервированный, с мельхиоровым самоваром, со сливками, с лимоном, с вареньем, с булками, с маслом и даже с криночкой свежего сотового меда. Подали и кусок сыру. Николай Иванович взглянул и радостно воскликнул: – Вот это отлично! В первый раз, что мы за границей ездим, по-человечески чай подали! Нет, швейцарцы – они молодцы! [Там же, с. 411–412].

Можно сказать, что в данном случае комизм снимается, и точка зрения героя сближается с точкой зрения автора. Симптоматично отождествление понятий «по-русски» и «по-человечески» в сознании Николая Ивановича. Русский писатель не осознает влечение к своей кухне как знак неевропейскости – недоразумения на этой почве изображены в его книге с улыбкой понимания. Обильные обеды и ужины, также вызывающие ассоциации с трапезой Собакевича, напоминают об автопортретности *широты* в русском национальном самосознании.

Отрицательная оценка французской кухни в речи героев содержит упомянутую выше метафору *Европа – цивилизация*, вследствие чего разочарование в кухне оказывается разочарованием в самой французской культуре:

– Вода, а не бульон, – сказала Глафира Семеновна, и, хлебнув несколько ложек, отодвинула от себя тарелку. – И это хваленый Париж! Хваленая французская кухня! [Там же, с. 182].

– Ах, эфиопы, эфиопы! А еще высшей цивилизацией называются. У нас в самой глухой олонекской деревушке знают, как чай заваривается, а здесь в столичном городе не знают, – воскликнул Николай Иванович и прибавил, обращаясь к жене: – Делать нечего. Придется их глупого кофеищу с молоком похлебать столовыми ложками из суповых чашек [Там же, с. 213].

Герой Лейкина связывает трапезу с душевной теплотой, и, несмотря на разочарование во французской кухне, он все-таки находит во Франции настоящее общение за столом, о чем свидетельствует описание «пира» у мадам Баволе:

Пир, устроенный Николаем Ивановичем в винной лавке толстой мадам Баволе, разгорался все более и более... [Там же, с. 365].

Ведь в первый только раз пришлось в Париже с настоящими теплыми людьми встретиться, – отвечал Николай Иванович. – Люди-то все душевные [Там же, с. 366].

Это восприятие героя является комически сниженным вариантом устойчивого русского концепта, воплощенного во многих

текстах «высокой» культуры. Описание «пира» Николая Ивановича с французами содержит каламбурную игру двусмысленностью славянского слова «язык»: автор соотносит незнание языка с заплетающимся от выпитого вина языком, что парадоксальным образом не мешает общению, а, напротив, оживляет его:

Оставшись с компанией один, Николай Иванович очутился совсем уж без языка. Глафира Семеновна все-таки была для него хоть какой-нибудь переводчицей. Словарь его французских слов был крайне ограничен и состоял только из хмельных слов, как он сам выражался, тем не менее он все-таки продолжал бражничать с компанией. Пришлось разговаривать с собутыльниками пантомимами, что он и делал, поясняя свою речь. Хоть и заплетающимся от выпитого вина языком, но говорил он без умолку, и, дивное дело, при дополнении жестами, его кое-как понимали [Там же, с. 369].

С точки зрения соотношения «кухня» – «идентичность», симптоматично, что в путешествии Лейкина, через восприятие героев, образ Родины связывается с русской едой. В конце путешествия, приближаясь к русской границе, Глафира Семеновна предвкушает свое любимое блюдо русской кухни, при этом особо значимо употребление лексемы «соскучилась» в ее речи:

А я, как приеду на русскую станцию, сейчас чаю себе спрошу, – сказала Глафира Семеновна и прибавила: – Знаешь, я о чем русском за границей соскучилась? Ты вот о водке, а я о баранках. Ужасно как баранок хочется! Я об них всюду вспоминала, как садилась чай пить, а в Женеве так даже во сне видела [Там же, с. 471].

В этом случае комизм также не подвергается гиперболизации, не утрирован. В своем далеком от претенциозности юмористическом произведении Лейкин улавливает устойчивый механизм отождествления ностальгии по Родине с ностальгией по национальной кухне, нашедший художественное воплощение, например, в книге П. Вайля и А. Гениса «Русская кухня в изгнании» [2002].

В произведении Константинова отношение героя к европейской кухне идеологизировано так же, как и другие проявления его восприятия чужой культуры. Кулинарные пристрастия Бай Ганю оказываются еще одним знаком его ориентального менталитета. Герой демонстрирует на обеде у профессора Иречка свою европейскость декларацией: «Това какво е, супа ли е? А, аз обичам супа. Чорбата е турско ядене» [Константинов, 1980, т. 1, с. 141]¹⁹, – но он любит острые приправы (везет с собой острый перец и крошит в суп), жареную на углях (а не вареную, как ему предлагают в другом доме в Праге) рыбу. В сочетании с остальными чертами героя – с его скупостью и стремлением поживиться, поесть за чужой счет, его незнанием правил европейского этикета – любовь к ориентальной (балканской) кухне оказывается еще одним знаком неевропейскости (то есть, в коде Константинова, не-культуры). В отличие от купца Лейкина, Бай Ганю лишен страсти гурмана: для него важно сэкономить на еде (для этого он везет с собой хлеб и сыр, напрашивается в гости даже к незнакомым людям в Праге – к профессору Иречку). Герою чужды широкие жесты русских купцов, их склонность к кулинарным «пиршествам» в европейских ресторанах.

На основе сделанных наблюдений можно прийти к выводу, что, вопреки близости произведений А. Константинова и Н. Лейкина (стереотипы массового сознания у героев, несовпадение культурных кодов родной и европейской культур, противопоставление своей культуры чужим культурам), интерпретации двух авторов существенно различаются, что в некоторой степени объясняет неодинаковое место русского и болгарского путешествий в национальных культурах. Но поставленный нами в начале текста вопрос о возможности отождествления героев с национальным характером требует дальнейших размышлений: почему, вопреки тематизации русскости, герой Лейкина оказывается скорее социальным типом или воплощением черт массового

¹⁹ Это что, суп? Ага, суп. Я люблю. Похлебка – еда турецкая [Константинов, 1983, с. 372].

сознания; почему этот герой не привлекается носителями русской культуры для осмысления важных, болезненных явлений и проблем национальной культуры; почему произведение остается вне канона русской литературы? Может быть, в процессе национальной самоидентификации образ русского характера, созданный Лейкиным, не может соперничать с «высокими» образами «русскости» русской классической литературы (в то время как в болгарском национальном самосознании возвышенный образ национального характера, воплощенный, например, в романе Вазова «Под игом», непрерывно сталкивается с антигероем из «Бай Ганю», при этом иногда антигерой «вытаскивает» или «убивает» героя, как Бай Ганю убивает своего автора на картине И. Бешкова)? Может быть, комически сниженные образы русскости вытесняются из национального самосознания, в то время как самоуничижительное в болгарском самосознании является доминирующим? Позволим себе завершить статью этими вопросами.

Литература

Вайль П.Л., Генис А.А. Русская кухня в изгнании. М.: Независимая газета, 2002.

Геземан Г. Проблематичният българин / пер. К. Христова // LiterNet: Електронно списание [Сетевой журнал]. 2005. № 5 (66) [01.05.2005]. Режим доступа в Сети: [http://liternet.bg/publish15/g_gezeman/problematichniat.htm] (дата последнего обращения: 08.01.2015).

Добычин Л.И. Город Эн. Daugavpils: Saule, 2007 (Bibliotheca Latgalica).

Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда / отв. ред. Н. В. Злыднева. СПб.: Институт Славяноведения РАН; Алетейя, 2011.

Константинов А. Бай Ганю // Константинов А. Събрани съчинения: В 4 т. Т. 1. София: Български писател, 1980. С. 109–238.

Константинов А. Бай Ганю: Невероятные рассказы об одном современном болгарине / пер. Д.А. Горбова // Болгары старого времени: [Сб.] / пер. с болг.; сост. Н.Д. Симакова; вступ. ст. В.И. Злыднева. М.: Правда, 1983. С. 339–469.

Концепти на българската култура. Шумен: Университетско изд. «Епископ Константин Преславски», 2010.

Лейкин Н.А. Наши за границей: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно. СПб.: Типография С.Н. Худекова, 1892.

Папучиев Н. За изследователските цели и резултатите от проекта «Феноменът Бай Ганю...» // LiterNet: Електронно списание [Сетевой журнал]. 2013. № 9 (166) [01.09.2013]. Режим доступа в Сети: [<http://liternet.bg/ebook/fenomenyt-baj-ganjo/content.htm>] (дата последнего обращения: 08.01.2015).

Пенев Б. Превращенията на Бай Ганя // Пенев Б. Изкуството е нашата памет. Варна: Книгоиздателство «Георги Бакалов», 1978. С. 166–172.

Пьецух В.А. Суть дела: Эссе, повести, рассказы. М.: НЦ ЭНАС, 2011.

Успенский Б.А. Европа как метафора и метонимия (применительно к истории России) // Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. М.: Языки русской культуры, 2004. С. 9–26.

Чавдарова Д. Ние и Европа – страхът и срамът като поведенчески регулатори // Литературен вестник. 1995. Бр. 4. II. С. 22–28.

Gesemann G. Der problematische Bulgare. Zur Charakterogie der Slaven. // Slavische Rundschau. 1931. № 6. Berlin-Leipzig.

Food, Drink and Identity: Cooking, Eating, and Drinking in Europe since the Middle Ages / ed. by P. Scholliers. New York: Berg, 1997.

Dechka Chavdarova

Shumen University “Bishop Konstantin Preslavski”, Bulgaria

THE EUROPEAN TRAVELS OF RUSSIAN AND BULGARIAN MERCHANTS IN THE WORKS OF ALEKO KONSTANTINOV AND NIKOLAY LEYKIN, FROM THE VIEWPOINT OF NATIONAL IDENTITY

Abstract. The similarity between Bulgarian writer Aleko Konstantinov’s book, “Bai Ganyu”, whose hero has become a concept of Bulgarian culture, and the travelogue “Nashi za granitsei” (“Our folks abroad”) by N. Leykin, was incidentally mentioned as early as in 1920s by distinguished literary scholar Boyan Penev; however, no literary scientist has taken themselves to research this similarity, and, more

importantly, to uncover the meaningful differences between both works. In Russian literary science N. Leykin, who, unlike A. Konstantinov, hasn't entered national literary canon, remains nearly out of sight of researchers. The proposed text aims to clarify the reasons for the different roles of the works of both writers in their national cultures, and to uncover the specifics of the West and the image of the traveling heroes in the concepts of the Russian and the Bulgarian writers. Observing the interpretation of identical motifs in both works brings to the differences between N. Leykin's humour –the sympathy for some manifestations of the Russian mentality, and A. Konstantinov's satire – the negation of one's own culture.

Keywords: Bulgarian culture, East and Europe, image of Bulgarian, image of Russian merchant, travelogue, humour.

Information about the author Chavdarova Dechka Decheva, Doctor of Philology, Professor of Russian Literature at Shumen University "Konstantin Preslavski". (Al. Pushkin str. 4, apt. 16, Shumen, Bulgaria, 9712, Tel. (00359) 876009700. E-mail: d.tchavdarova@gmail.com).

Ю.В. Шатин

Новосибирский государственный педагогический университет

АФРИКА АНДРЕЯ БЕЛОГО И НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА: ЛИКИ ТРАВЕЛОГА

Аннотация. В исследовании автор пытается на материале поездок Андрея Белого и Николая Гумилёва показать основное различие теоретических понятий путешествия и травелога. При этом путешествие рассматривается как сознательная попытка бегства из привычного пространства с целью обретения нового духовного опыта. В свою очередь травелог связан с экстерииоризацией экзотического пространства, а также изображением непривычной природы, местности и обычаев населяющего эту территорию этноса.

Поездка Андрея Белого и его жены Аси Тургенева рассматривалась ими как бегство из Москвы. Вместе с тем ничего принципиально нового и ценного для себя ни в Египте, ни в Тунисе путешественники не обнаружили. Исключением оказалась встреча со сфинксом вблизи египетских пирамид. Эта встреча переформатировала склад личности Белого. Во-первых, она отсрочила на 12 лет неизбежный разрыв супругов; во-вторых, обусловила переход Белого от софиологии Владимира Соловьёва к антропософии и последующие отношения с Рудольфом Штейнером; в-третьих, направила его на создание центрального для всего творчества произведения – романа «Петербург». Незадолго до кончины это событие было описано в мемуарах писателя «между двух революций».

В отличие от Белого, три поездки Гумилёва в Африку были связаны с интересом к этому континенту, а последняя из них, совершённая по заданию Академии наук, носила по преимуществу исследовательский характер. В то же время эти поездки внесли определённые коррективы в развитие африканской темы у Гумилёва. Это развитие прошло три этапа. До поездки изображение Африки носило по преимуществу экзотический характер с элементами эстетского любования. В результате поездок в поэзии Гумилёва складывается образ Африки, адекватный его прозаическим описаниям в очерке «Африканская охота» и в «Африканском дневнике». Через шесть лет после третьей поездки Гумилёв вновь вернулся к африканской теме, которая на сей раз приобрела философский

характер, связанный с размышлениями о будущем человеческой цивилизации.

Ключевые слова: Африка, путешествие, травелог, софиология, антропософия, экстериоризация, интериоризация.

Сведения об авторе. Шатин Юрий Васильевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы ИФМИП НГПУ (Новосибирск, 630126, ул. Вилюйская 28. Тел. (383)2440630. E-mail: shatin08@rambler.ru).

В сюжете одного из рекламных роликов представляется парадоксальная ситуация. У человека прорвало кран с горячей водой. Он звонит в аварийную службу: «Алло, это аварийная служба?» В ответ приятный женский голос: «Нет, вы ошиблись, это туристическое агентство. Мы предлагаем путешествие в Африку». – «А в самом деле, не бросить ли всё на свете, да и махнуть в Африку». При всей абсурдности ситуации этот сюжет отражает один из возможных мотивов путешествия как попытки бегства из невыносимой обстановки и поиска нового смысла жизни. Именно в таком положении оказался Андрей Белый осенью 1910 года.

Начавшаяся семейная жизнь с Асей Тургеневой столкнулась с непреодолимыми психологическими трудностями:

В Москве нам нет места; мои отношения с матерью натянуты из-за Аси... С редактором «Мусагета», Метнером, я – уже на ножах; с членами рел. – фил. общества – тоже; не лучше обстоит дело и со «Свободной эстетикой», клубом бывших «Весов» [Белый, 1990, с. 365].

Поздней осенью А. Белый и Тургенева буквально бегут из Москвы. 17 декабря 1910 года они уже в Палермо, оттуда едут в Тунис, затем в Египет, потом в Палестину и, наконец, 22 апреля 1911 года (по старому стилю) возвращаются в Одессу. Рассказ об этом путешествии лёг в основание последней части мемуарной трилогии «Между двух революций», написанной незадолго до кончины автора – осенью 1933 года.

Временной промежуток между путешествием и его описанием 23 года спустя, разумеется, наложили отпечаток на содержание и смысл рассказа. Как это часто случалось у позднего А. Белого, изложение событий покрывалось изрядной долей марксистского грима, связанного с желанием задним числом объявить себя революционером:

Открылась мне здесь и сущность французского буржуа: пере-рождаться в паразита; я его наблюдал, как он мусорит местный быт отбросами своего быта, уместного, может, в Европе, но здесь отвратительного; колонизатор предстал мне в Африке как гнилостная бактерия [Белый, 1990, с. 381].

С тех пор до самых годов мировой войны во мне стали медленно крепнуть переживания, итог которых – решительное приятие лозунгов Октября [Белый, 1990, с. 398].

Однако за маской марксизма в африканском путешествии А. Белого просматриваются более существенные смыслы, уводящие от Карла Маркса к Освальду Шпенглеру с его «Закатом Европы», обусловившие бегство из Москвы и последующие события. Само бегство при этом «развёртывалось для нас всё более и более в провал культуры; обнаружилось, что бежали не из Москвы мы, а из целой трухлевшей культуры; Москва, Париж, Лондон, Каир – всё одно; и недаром египетская старина прорастала в Египет двадцатого века; как и наоборот: Лондоном, Берлином, Парижем, Москвой это век буквально валился в египетские подзелья; и недаром рыдала душа на булакском закате; она рыдала, что нет вырыва ей» [Белый, 1990, с. 396–397].

При всех неизбежных наслоениях, связанных как с работой лукавого воображения, деформирующего хронологию прошлого, так и с сознательным стремлением записать себя задним числом в революционеры, строй душевных переживаний Белый передал довольно полно и точно. Африканские страницы мемуаров А. Белого – яркий образец двух видов памяти, о которых писал Бергсон: памяти рациональной, основанной на чёткой фиксации фактов и дат, и памяти интуитивной, удерживающей целостный

и неделимый образ переживаний. Как раз внутренний сюжет душевных движений писателя представляет наибольшую ценность его путешествия, прямо противоположного экзотике травелога и выводящего к глубинам метафизики.

Важно проследить основные вехи формирования и развития этого духовного сюжета. Главное здесь прежде всего в придании категории времени симультанного смысла. В противоположность классической физике согласно анропософским представлениям, которым А. Белый был верен до конца жизни, успешность времени – иллюзия, поскольку в иерархии трёх стадий: имагинации, инспирации и интуиции время аннигилируется и сжимается в одной точке пересечения субъекта и объекта:

Старый арабский Каир не волнует; а пяти тысячелетний древний Египет, кометой врезаясь в сознание, в нём оживает как самая жгучая современность; и даже как предстоящее будущее. В чём сила, превращающая тысячелетнюю пыль в наше время? ... Вероятно, мы стоим накануне работ, осуществляемых лишь миллионными коллективами, подобными тем, которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид. Но вздрагивало сознание, что мы стоим накануне возведения циклопических контуров, какие взметали в древнем Египте [Белый, 1990, с. 393].

Поездка в Тунис и Египет оказалась важной не только в плане биографическом, отсрочив неизбежный разрыв Андрея Белого и Аси Тургенева более чем на десять лет. Гораздо важнее, что она открыла путь к новому духовному прозрению Белого и обусловила переход от софиологии Владимира Соловьёва к антропософии Рудольфа Штейнера. И здесь центральным событием стала встреча со сфинксами, изменившая мирозерцание Белого и отложившая отпечаток на всё его последующее творчество:

Помню, как соскочили с трамвая мы около гостиницы Пирамид перед двумя чудовищами, тяготевшими миллионнопудовыми глыбами камня, расцветченными заревыми рефlekсами: от фиолетово-розовых до угрожающих ржаво-рыжих; мы тронулись к ним, утопая ногами в песке, отдавая чувству, что каждый шаг выдавливал новые тяже-

сти, которыми пирамиды и крепили и разбухали; вот и заняли собою полнеба; серяво повесился бледный месяц меж ними; переживали странное чувство, как будто от них через нас пробежал электрический ток непрочитанных образов прошлого, вскрывшего свои ужасы; всё, что мыслил о древнем Египте, вдруг смылось Египтом, действительно бывшим, но в книгах не читанным; ты его читаешь из книги, тебе открывшейся вдруг: точно ты жил в нём, заснул и, очнувшись через пять тысяч лет, видишь ясно, что было; и видишь, что яма и петля была для тебя, человек [Белый, 1990, с. 390].

Следует иметь в виду, что «яма» и «петля» – ключевые символы «Серебряного голубя», написанного всего за несколько месяцев до отъезда в Африку. Перед отъездом писатель намеривался продолжить историю двух действующих лиц повести – Кати и Павла Павловича Тодраабс-Граабена – в новом романе «Путники». Встреча со сфинксом радикальным образом изменила творческие планы писателя:

Для меня же эта вывернутость на изнанку связалась с поворотным моментом всей жизни; последствия пирамидной болезни – перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью; как будто всходил на рябые ступени одним, сошёл другим; изменённое отношение к жизни сказалось скоро начатым «Петербургом»; там передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяжении всего романа [Белый, 1990, с. 395].

Несмотря на различие материала и жанровых модификаций, «Серебряный голубь», «Африка» и «Петербург» могут рассматриваться как своеобразный свёрхтекст, представляющий, по словам создателя, попытку отразить «схваченность роком, вперенность в сфинкса, загадывающего нам загадки». Таким образом, с точки зрения травелога поездка Белого в Африку оказалась мало плодотворной. Всё, что он увидел глазами современника, можно было легко обнаружить в туристических проспектах и путеводителях. Гораздо более значимой стала встреча поэта и сфинкса, перевернувшая судьбу первого.

Совершенно иными оказались поездки в Африку другого крупного поэта и писателя Николая Гумилёва. Как известно, Гумилёв совершил четыре путешествия в Африку: первое – осенью 1908 года в Египет, на рубеже 1909–1910 годов в Сомали и Восточную Абиссинию, в сентябре – марте 1910–1911 годов (практически одновременно с Белым) в Абиссинию, и, наконец, в апреле – августе 1913 года по заданию Академии наук снова в Абиссинию, где, кстати, плотно общался с будущим императором Эфиопии Хайле Силасие I и достиг западной, наиболее удалённой от моря части Сомали. Последняя поездка была особенно плодотворной, поскольку Гумилёв привёз большую коллекцию вещей, а также многочисленные записи песен и легенд аборигенов.

Одного такого перечня вполне достаточно, чтобы понять, насколько различными и по замыслу, и по результатам были поездки двух мастеров слова. Ни биографический, ни духовный мир Гумилёва практически не отразился в его записях о путешествии. «Африканский дневник» (вернее, его опубликованная часть) предельно фактографичен и полностью соответствует жанровому канону травелога. Почти столь же фактографична и «Африканская охота», опубликованная в 1916 году в приложениях к журналу «Нива». Вместе с тем один эпизод этого очерка выбивается из жанрового канона и становится очень важным для понимания строя личности Гумилёва и эстетики его художественного мира, обусловившего в дальнейшем новое развитие африканской темы:

Ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как всё это просто, хорошо и совсем не больно [Гумилев, 1916, с. 565].

В отличие от «Африканской охоты» прагматика «Африканского дневника» сознательно ориентируется на точку зрения объективного наблюдателя, сознательно редуцирующего субъективные впечатления. Однако следует иметь в виду, что лю-

бое документальное повествование хотя бы имплицитно содержит авторский образ и тем самым включает аспект прагматики. А «прагматика композиционного построения рассматривает проблемы композиции произведения в связи с его читателем, то есть тем, кому адресован данный текст. Композиционное построение может специально предусматривать определённое поведение читателя – таким образом, что последнее входит в расчёты автора произведения, как бы специально им программируется» [Успенский, 1970, с. 169].

С этой точки зрения, коммуникативную стратегию Гумилёва можно определить как сплав, адресованный разным группам читателей. Естественно, что дневник – своеобразная форма отчёта о командировке, оплаченной Академией наук. Он содержит большое число этнографических деталей и старается сохранить научный стиль изложения. В то же время Африка Гумилёва обнаруживает взгляд европейца, адресованный такому же европейцу. Мы не обнаружим здесь антиколониальных мотивов, свойственных мемуарам Белого. Наконец, очень важной составляющей оказывается автокоммуникация: взгляд Гумилёва-путешественника, адресованный Гумилёву-поэту.

Каждая составляющая такого коммуникативного сплава не противостоит одна другой, но образует достаточно стройный стилевой ансамбль с едва заметным переходом от одной стратегии к другой. Вот как описывается в третьей главе дорога в Харар:

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зелёная трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по отрогам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим чёрные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь ещё не созданной легенде [Гумилев, 2005, т. 6, с. 87].

Самое интересное, что фигура человека в этом отрывке встраивается в однородный ряд предметов природного мира. Существование человека, по сути, приравнивается к существо-

ванию вещи, которая может быть или не быть экзотичной, но изначально лишена какой-либо экзистенции. Данный принцип поэтики Гумилёва легко рифмуется с рассмотренным выше сновидением из «Африканской охоты», где сама казнь даётся как артефакт, содержащий лишь эстетическую, но никак не моральную или социальную оценку.

Поездка Гумилёва в Африку оказывается не поездкой за новыми смыслами, но поездкой за новыми вещами и новыми словами. Хотя гумилёвский травелог и африканская тема в его стихотворном творчестве тесно связаны друг с другом, их полное отождествление вряд ли правомерно. Как справедливо замечает исследователь, «Гумилёв – один из тех поэтов, которые Восток своих мечтаний сверили с реальным Востоком» [Иванов, 2000, т. 2, с. 227]. Действительно, все стихотворения, связанные с африканской темой у Гумилёва, можно разделить на три группы. К первой относятся 7 стихотворений, написанных до поездок и составивших часть сборника «Романтические цветы» (1903–1907). Ко второй – 5 стихотворений, вошедших в сборники «Чужое небо» (1911) и «Колчан», все они созданы синхронно путешествию. Наконец, африканская тема после сравнительно долгого периода возникает в изданном посмертно сборнике «Шатёр», включающем произведения 1919–1921 годов.

Несмотря на однородность материала и общие принципы художественного моделирования темы, можно без труда обнаружить различия в трактовке образа Африки. До поездки основным способом изображения далёкого континента становится экзотический взгляд поэта с элементами эстетского любования картинами флоры и фауны. Хрестоматийным текстом этого периода является знаменитый «Жираф», о котором написаны десятки исследований. Подобные принципы, хотя и в меньшей концентрации, можно обнаружить и в других стихотворениях первого сборника – «Гиена», «Носорог», «Озеро Чад». Вот как описывается гиена в одноимённом стихотворении:

Её стенанья яростны и грубы,
Её глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы [Гумилёв, 1988, с. 115].

Символическая встреча гиены с могилой египетской царицы акцентирует параллелизм двух образов, становящихся своеобразным пуантом стихотворения:

В ней билось сердце, полное изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови [Гумилёв, 1988, с. 115].

Столь же картинным выглядит и носорог, имеющий мало общего с реальным обитателем африканских тропиков:

Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко,
Слышишь шорох многих ног?
Это значит – близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъярённый носорог [Гумилёв, 1988, с. 122].

Откровенную иллюстративность, напоминающую стихотворный комментарий, можно обнаружить и в стихотворении «Озеро Чад»:

На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зелёных подножий
Поклоняются страшным богам
Девы – жрицы с эбеновой кожей [Гумилёв, 1988, с. 123].

Африканские путешествия, хотя и не изменили общего пафоса поэтики Гумилёва, внесли в него существенные коррективы. Уже в «Чужом небе» умилительное отношение к экзотике сменяется новым мотивом – борьбы Африки и Европы, где первая выступает ареной столкновения двух противоположных культур. Напряжённая фабула «Абиссинских песен» в большинстве стихотворений заканчивается мщением и связанным с ним убийством. Таковы, например, последние строфы трёх песен:

Кто добудет в битве больше ружей,
Кто зарежет больше итальянцев,
Люди назовут того ашкером
Самой белой лошади негуса.

I. Военная [Гумилёв, 1988, с. 194].

Заколот последнего я сам,
Чтобы было чем попить
В час, когда пылал соседский дом
И вопил в нём связанный сосед.

II. Пять быков [Гумилёв, 1988, с. 194].

Слава нашему хозяину европейцу,
Он храбр, но он не догадлив,
У него такое нежное тело,
И его сладко будет пронзить ножом!

III. Невольничья [Гумилёв, 1988, с. 195].

Именно в «Абиссинских песнях» Гумилёв оказался предельно близок своему старшему современнику – Р. Киплингу – с его идеей тотального противостояния Запада и Востока:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землёй на страшный господень суд.
Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Баллада о Востоке и Западе [Киплинг, 1989, с. 275].

После стихотворения «Африканская ночь» (1913) Гумилёв в течение 5 лет не возвращается к африканской теме. Она возникнет вновь в новом качестве в одной из последних книг поэта «Шатёр». Поводом возвратиться к африканской теме послужило воспоминание о товарище по путешествию. В первом, так называемом Севастопольском издании, сохранилось посвящение: «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова». Думается, однако, истинные причины лежали глубже. «Шатёр» – это сборник воспоминаний и одновременно подведение итогов дореволюционной жизни. Поразительно, но факт – в книге нет ни одного упоминания о революции и гражданской войне. Зато африканской теме отведено едва ли не центральное место, что обнаруживается уже во вступительном стихотворении:

Оглушённая рёвом и топотом,
Облечённая в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.

И твоё открывая евангелие,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной [Гумилёв, 1988, с. 301].

В этом сборнике легче всего обнаружить сходство и различие между Гумилёвым и другим мастером стиха и прозы – Андреем Белым. Как и Белый, Гумилёв обращается к образу сфинкса. Однако гумилёвский сфинкс принципиально отличен от сфинкса Белого, поскольку не соотнесён с симультанностью времени, но парит над эпохами. Время сфинкса у Гумилёва не концентрируется в одной точке прошлого, настоящего и будущего, но, напротив, растекается в своём безграничье:

Сфинке улёгся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты [Гумилёв, 1988, с. 304].

Потому-то и современный Каир, в отличие от изображения Белого, оказывается значимым в своей привлекательности:

Точно дивная Фага – моргана,
Виден город у ночи в плену,
Над мечетью султана Гассана
Минарет протыкает луну [Гумилёв, 1988, с. 305].

В «Шатре» можно наблюдать две важные черты, разводящие поэтику Белого и Гумилёва в разные стороны. Если поэтику Белого – символиста можно определить как поэтику времени, стремящегося сжаться в одной точке пространства, то акмеистическая поэтика Гумилёва умаляет временное измерение, стремясь к максимальному увеличению значимости пространства за счёт его предельной детализации. Другое важное отличие связано с тем, что Белый стремится интериоризовать предмет изображения, снимая тем самым разницу объекта и субъекта, потому-то автобиографические и автопсихологические мотивы занимают в африканских картинах столь важное место, возможно, большее, чем детали мира реального. У Гумилёва же в его поздних стихотворениях обнаружить следы биографии и психологии практически невозможно. Даже отношения лирического героя и героини, важные, например, для стихотворения «Жираф», полностью исчезают в этом сборнике.

Как и у Белого, большую роль в «Шатре» играет мотив грядущей вселенской катастрофы. Но у Гумилёва он напрочь лишается всякого мистического значения. Катастрофа Гумилёва скорее напоминает пророчества современных экологов, но, в противоположность последним, не предполагает апокалипсического смысла и презентуется как чисто эстетический факт:

И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш зелёный и старый
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной, золотой океан
И дадут ему имя: Сахара [Гумилёв, 1988, с. 309].

Как перед лицом собственной смерти, так и перед гибелью планеты, лирический герой Гумилёва сохраняет полное спокойствие, а чисто эстетическое созерцание картины оказывается не замутнённым никакими эмоциями. Сон, приснившийся Гумилёву во время одной из поездок, как нельзя лучше отражал его человеческую и поэтическую сущность. Путешествие Андрея Белого в Африку от самого себя внутрь новой философии и поэтики, оказались для Николая Гумилёва материалом травелога, трансформировавшего раннюю модель африканской темы в художественно завершённую систему.

Литература

Белый А. Между двух революций. М., 1990.

Гумилёв Н.С. Африканская охота (из путевого дневника) // Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1916. № 8.

Гумилёв Н.С. Африканский дневник // Гумилёв Н.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 2005.

Гумилёв Н.С. Стихи. Поэмы. Тбилиси, 1988.

Иванов Вяч.Вс. Звёздная вспышка (поэтический мир Н.С. Гумилёва) // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры: В 2 т. Т. 2. М., 2000.

Киплинг Р. Баллада о Востоке и Западе // Киплинг Р. Рассказы. Стихотворения. Л., 1989.

Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970.

Yu. V. Shatin

Novosibirsk State Pedagogical University

AFRICA OF ANDREY BELY AND NICKOLAI GUMILEV: THE GUISES OF TRAVELOGUE

Annotation. The paper is devoted to analysis of African topic in the works of Andrej Bely and Nickolai Gumilev. The author of this paper attempts to show the difference between journey and travelogue. In this context the journey is considered as deliberate escape from habitual space for acquisition of new spiritual experience. On the contrary the travelogue proposes the exteriority of exotic space and the representation of unusual landscape and life of ethnos.

Andrej Bely and his wife Asya Turgeneva have interpreted this journey as an escape from Moscow. At the same time they have not found any new things and senses in Egypt or Tunis with exception of a meeting with Sphinx near Egyptian pyramids. This meeting had the mystical character. It put off the divorce of husband and wife, besides that it determinate the evolution of Bely from sophiology of Vladimir Solovyov to anthroposophy and relations with Rudolf Steiner. At the same time it has moved Bely to the creation of his famous novel "Petersburg". In 1933 this meeting was described by Bely in his memoirs "Between two Revolutions".

Unlike Bely, three Gumilev's journeys in Africa were connected with study of life of aborigines and their habits. At the same time these journeys has transformed African topic of his poetry. His African topic passed three periods. At the beginning before the journeys Gumilev represented Africa as an exotic continent with elements of aesthetic curiosity. In consequence of the journeys his poetry represented the image of Africa adequate to his prose work "African hunting" and "African diary". In 1919-1921 years Gumilev returned to this topic: at

this time it became connected with the reflection on the future of human civilization.

Keywords: Africa, journey, travelogue, sophiology, anthropology, exteriority, interiority.

Information about the author Shatin Yury Vasilievich, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian and foreign literature, theory of literature and methodics of teaching literature, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, 28 Vilyujskaja str., Novosibirsk, Russia, 630126, Tel. (383) 2440630 E-mail: shatin08@rambler.ru;).

Е.Г. Николаева

Новосибирский государственный педагогический университет

ШВЕЙЦАРСКИЙ ТОПОС В РОМАНЕ

В.В. НАБОКОВА «ПОДВИГ»¹

Аннотация. Швейцарский топос в романе В.В. Набокова «Подвиг» рассмотрен в рамках статьи не только как имеющий внешнее сходство с утраченной для героя Россией, но и как временное его пристанище, которое отличается от России, но имеет значение для становления Мартына Эдельвейса как автора собственной судьбы и путешествия в Зоорландию (Советскую Россию). Также в работе акцентируется внимание на трех пространственных узлах: Швейцария – Литва – Зоорландия, где Литва занимает место мифопоэтической и политической границы, Швейцария – временного дома для «блудного сына», Россия – истинного и желанного, но искаженного пространства. В связи с этим анализируется отличие литературного статуса Литвы в набоковском романе по сравнению с ее образом в русской литературе XIX века, в частности, проводится сопоставление с трагедией Пушкина «Борис Годунов».

Двойственность проявления Швейцарии в романах Набокова – как реального топоса и вымышленного мира – позволяет рассматривать элементы швейцарского пространства также двояко – как географические и национальные приметы страны и литературную псевдодействительность. В таком ключе будет рассмотрен мотив дороги / излучины (реки). В связи с этим же анализируется и специфика работы писателя с некоторыми знаками, имеющими отношение как к Швейцарии, так и другим странам и культурам. Так, на примере креста описываются способы создания Набоковым объемного, «голографического» знака.

Ключевые слова: Набоков, «Подвиг», «Просвечивающие предметы», Швейцария, Россия, Литва, травелог, приключение, путешествие, металитературность, автор, герой, трикстер, знак, крест, мотив дороги / излучины.

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – XX веков»).

Сведения об авторе. Николаева Екатерина Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилуйская, 28, НГПУ. Тел.: (383) 244-03-30. E-mail: nikks@ya.ru).

Название романа «Подвиг»², пришедшее на смену двум другим, рабочим, – «Воплощение» и «Романтический век», как отмечают со ссылкой на Владимира Даля его комментаторы А. Долинин и Г. Утгоф, «обладает двумя важными значениями: первое – „доблестный поступок, дело, или важное, славное деянье“ и второе – „движенье, стремленье, <...> путь, путешествие, поездка“». Исследователи в связи с этим заключают, что «многозначность слова, послужившего роману заглавием, задает в нем две основные темы: тему героического (включающую в себя мотив обретения смелости) и тему путешествия (с ее главной составляющей – мотивом «пути») [Долинин, Утгоф, 2006, с. 716]. Следует согласиться с набоковедами также и в том, что акцент на первом значении без учета второго приведет к искажению смысла романа, его пониманию как романа обрывающегося «у порога главного действия, заявленного в заглавии» [Букс, 1998, с. 57], между тем как «главное в романе – это вовсе не переход границы (действительно остающийся за рамками повествования), а все то, что ему предшествует, – следование героя по жизненному пути» [Долинин, Утгоф, 2006, с. 716] и, продолжим, путешествие героя как таковое.

² Впервые опубликован: [Сирин, 1931, 1932, №№ 45–48].

Такая возможная установка на рассмотрение романа как некоего романа-путешествия³ также акцентирована его комментаторами как желательная: цитируя заявление Набокова, сделанное в письме к Г. Струве, о том, что это должен быть «грандиозный роман», действие которого «протекает в России, Греции, Швейцарии, Англии, Франции и Германии, не говоря уже о Terra Incognita» [Долинин, 2006, с. 19]⁴, А. Долинин обращает внимание на каламбурный намек писателя на сходство «Подвига» с «Детями капитана Гранта» в том, что набоковское произведение построено «как роман путешествия и приключения, где определя-

³ Включение данной статьи в сборник о травелоге, в узком смысле термина, условно, поскольку роман Набокова назван травелогом быть не может: герой романа «Подвиг» не ведет никаких записок, не фиксирует своих впечатлений о перемещениях как-то иначе, они даны опосредованно – через повествовательную инстанцию. В данном случае мы имеем дело с художественным произведением, где путешествующий герой оказывается на стыке двух традиций – собственно традиции произведений о путешествиях и логики приключенческих романов, что, по мнению Е.Г. Милогиной и М.В. Строганова, не является собственно травеложной традицией, а относится исследователями к «литературным путешествиям», поскольку они имеют «художественную природу», а «травелог по своей природе документален» [Милогина, Строганов, 2013; Русская культура..., с. 12]. Условность приобщения анализа данного романа к дискуссии о травелоге усиливается еще и наличием в нем не только внешних, но и внутренних путешествий героя во сне и в мечтах или интертекстуальных отсылок к впечатлениям других путешествующих героев или героев, переживающих приключения в других странах. Если опереться на образную демаркационную линию, проводимую Е.Г. Милогиной и М.В. Строгановым между литературными путешествиями – «перемещение в пространстве для литературного путешествия – это стиль, композиционный прием» – и собственно травелогом, для которого то же самое – это «материал, подлежащий литературной обработке» [Там же], то придется признать, что для Набокова, при всем сходстве его собственного пути с тем, по которому он проводит героя, описание путешествия Мартына Эдельвейса – это стиль и комплекс приемов. Теоретическому отграничению упомянутых дефиниций посвящена также и другая работа этих исследователей [Милогина, Строганов, 2013, Частное путешествие...].

⁴ Цит. по предисловию А. Долинина к роману «Подвиг» [Долинин, 2000, с. 19]. Там же – ссылка на полный текст письма в архиве: *В. Набоков*. Письмо Г.П. Струве. 12 сентября 1930 // Hoover Institution Archives. Box 108, folder 17.

ющую роль играет движение, перемещение в открытом, многообразном пространстве» [Там же]. Действительно, сюжет романа «Подвиг» построен как переплетение нескольких путешествий героя: воображаемых (путешествие в пространство картины, придуманную Зоорландию); описываемых через призму воспоминаний поездок в детстве (Биарриц – Германия, Крым); путешествия-бегства из России через (или мимо) значимые узловые точки (Турция, Греция / Византия, Франция, Швейцария и др.); регулярных поездок в настоящем (Швейцария – Англия – Германия); планируемой и находящейся в стадии осуществления поездки в Советскую Россию.

Швейцария в этом ряду занимает двойную позицию: с одной стороны, это финальная точка, куда прибывают эмигранты Софья Дмитриевна и Мартын Эдельвейсы, чужие страна и дом, которые должны стать заменой родины, постоянным домом; с другой – это точка, из которой совершаются другие путешествия героя – в Кембридж, Германию, а через нее, а также через Литву / Латвию – в Россию, и именно туда, в Швейцарию, герой возвращается или обещает вернуться. Таким образом, эта страна приобретает роль некоей константы, «дома», куда возвращается блудный сын – путешественник Мартын, но дома не истинного, а возникшего как его замена для героя-изгнанника. От этих общих замечаний перейдем к частным наблюдениям, касающихся швейцарского топоса в романе⁵.

Первый «намек» на Швейцарию в «Подвиге» состоится в 9-й главе, когда герой будет вспоминать подарки дяди-швей-

⁵ Швейцария появляется в целом ряде произведений Набокова: «Мадемуазель О», «Возвращение Чорба», «Бахман», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин». А также в «Просвечивающих предметах», где отразился опыт проживания четы Набоковых в Швейцарии в последние 16–18 лет жизни писателя, а в «Подвиге» – первое знакомство писателя со страной, которое произошло зимой 1921 года – молодой Набоков приезжает в Лозанну на каникулы из Кембриджа, здесь он занимается лыжным спортом. Вскользь заметим, что это увлечение, наряду с теннисом, будет «передано» и героям – Мартыну Эдельвейсу в «Подвиге» и Хью Персону в «Просвечивающих предметах». (О швейцарском топосе в «Просвечивающих предметах» см. нашу работу: [Николаева, 2013, с. 466–515].)

царца, среди которых «Швейцарский Робинзон»⁶, «прескучный после Робинзона настоящего». «Скучность» этой робинзонады отличается отвлеченностью и рассудочностью, «картонностью» героев произведения пастора Висса, в котором рассказывается о швейцарской семье (мать, отец и 4 сыновей), попавшей на необитаемый остров и живущей там по образу и подобию Робинзона и в соответствии с законами своей набожной маленькой швейцарской деревушки. Набоков, отсылая нас к «суррогату», безусловно, знает все три романа Робинзонады самого Дефо. В контексте нашего разговора интересно не только первое путешествие Робинзона, которое связано с приключенческой линией в «Подвиге», но и второе – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», в котором герой отправляется в Индию и Китай, затем в Сибирь, затем – через всю Россию – в Архангельск, потом в Англию. Мартын, как и герой Висса, швейцарец (по происхождению от рода Эдельвейсов и по паспорту, полученному в эмиграции), и, как герой Дефо, совершает круговое путешествие, только его круг – своеобразный реверс, коловорот, движение против часовой стрелки по отношению ко второму роману Дефо. Отталкиваясь от «скучного» путешествия швейцарцев Висса, Мартын из всех сил стремится быть «не скучным» и не пошлым (именно он ценит существование русских слов «оскомина» и «пошлость», которые невозможно перевести на другие языки и которые, в художественном плане, – суть одно – заезженное, повторяющееся, по-чеховски пошлое).

Швейцарская Россия, или Русская Швейцария

Прежде чем перейти к разговору о специфике изображения Швейцарии в романе, необходимо прежде сказать о том, что ее, специфику, скрадывает. Юичи Исахая (Yuichi Isahaya) вслед за

⁶ Имеется в виду книга Йоханна-Давида Висса «Швейцарский Робинзон» (1743–1818), впервые опубликованная в 1812 году, возможно, что Набоков имеет в виду российское переложение: «Нового швейцарского Робинзона» П. Сталь и И. Массе.

Леоной Токер (Leona Toker) в работах, посвященных изучению поэтики «Подвига», указывали на одну черту швейцарского то-поса в нем, которой нет, для сравнения, в позднем романе «Просвечивающие предметы», – ее сходство с Россией [Исахая; Токер, 1989]. Однако исследователи обратили внимание только на сходство зимнего швейцарского пейзажа в последней главе с русским лесом, который, как полагает Л. Токер, Мартын видел после перехода через российскую границу⁷. Параллелей же между рядом русских локусов, изображенных в романе, и швейцарским бытием Мартына гораздо больше.

Так, летние швейцарские впечатления героя также отсылают к российским локусам. В обоих пространствах Мартын испытывает температурный контраст: в Крыму «после купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 109], в швейцарское первое лето у героя на душе «сумбурно» от «дачной прохлады», «столь отчетливой после на наружной жары» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 129]. Элементы летнего пейзажа Крыма и Швейцарии практически повторены: в Крыму блаженство героя вызывают «сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 103] и «черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 109], в швейцарском варианте кипарисы меняются на ели: «еловые лапы на синеве неба» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 130], а шмель и коричневый боровик, «найденный на опушке», усили-

⁷ Ю. Исахая связывает этот швейцарский пейзаж в последней главе с догадкой о смерти Мартына в Советской России [Исахая]: «Воздух был тусклый, через тропу местами пролегалли корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 249]. Несомненно, большей мотивировкой смерти (если остановиться на этой трактовке перехода границы Мартыном) является появление синицы как гостя из потустороннего мира [Долинин, 2006, с. 28; Долинин, Утгоф, 2006, с. 742]. Приводимая же японским исследователем цитата, на наш взгляд, больше напоминает картину бабки Индриковой и усадебное / дачное детство Мартына, чем однозначно говорит только о смерти героя.

вают эффект слияния не только Крыма и Швейцарии, но и всей России со швейцарской «дачей», которая таковой не является, но многократно ею именуется. Тем самым для читателя еще раз осуществляется подмена швейцарского дома дяди Генриха на «большую нелепую дачу» в Адреизе. Сходство топосов может быть объяснено реалистической точностью изображения и географическими особенностями Альп, где каждый пояс может напоминать своим климатом и растительностью равнинные территории со сходным климатом. Так, например, горно-лесной пояс в швейцарских Альпах – преобладание ели и пихты на высоте 800 – 1000 метров (выше – доминирование лиственницы, сосны и кедра) – действительно напоминает еловые и смешанные хвойные леса России.

Кроме реалистической точности сходство швейцарского и российского топосов несет иную функцию – именно они в большей степени связаны с «мечтательным творчеством» героя – он не пишет книг, но постоянно видит себя героем приключенческих, любовных романов и книг о путешествиях. В Крыму одним из любимых сюжетов⁸ Мартына становится приключенческий сюжет о кораблекрушении и спасении заморской красавицы:

... одной из самых сладостных и жутких грёз Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, – ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 109].

⁸ Сюжетная палитра грёз Мартына разнообразна, но вся соткана из приключенческих схем и типичных сюжетных узлов книг о путешествиях: «Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, оставивал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника, и дукаты кушцов раздавал нищим. <...> капитаном на пиратском корвете, он <...> один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона <...>. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с пашкой наголо, первым врвался в мятежную Москву» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 108].

Показательно, что детский приятель Мартына – Коля («сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму») воспринимает

эти кипарисы и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море, как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров [Там же].

По приезде в Швейцарию Мартын возвращается к своим грёзам: мечтательная жажда

так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светающих городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя – Изабелла, Нина, Маргарита, – еще холодное, нежилое имя, пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, – и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 130].

Таким образом, сходство Швейцарии и России заключается еще и в их «поэтическом свойстве» – способности вызывать творческое вдохновение (в данном случае – не у поэта, но у мечтателя и путешественника).

Другой род сходства при изображении Швейцарии и России связан с мотивами *тропы / дороги и речной луки / излучины*.

Главным в первом упоминании швейцарского топоса по приезде Мартына и его матери в дом Генриха Эдельвейса является описание дороги: дорога⁹ «была светлая, излучистая». Мотив *излучины, луки*¹⁰, связи пути Мартына с рекой и мотивом воды вообще является одним из частотных в романе и соединяет два

⁹ О значимости для поэтики романа мотива пути, дороги, тропы говорят А. Долинин [Долинин, 2006, с. 19–22], М. Шпраер [Шпраер, 2001] и др.

¹⁰ В романе большое значение имеют интертекстуальные связи с поэмой А. Пушкина «Руслан и Людмила», в частности, со сказочным Лукоморьем [Долинин, 2006, с. 26–28; Долинин, Утгоф, 2006, с. 718].

типа пути – *дорогу и реку* как две метафоры человеческой жизни. Впервые это появляется в России, в детском «путешествии» Мартына в картину, висящую у него на кровати:

Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 100].

Затем первым пройденным *плесом* становится смерть отца и окончание детства:

Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот, первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зиланова, <...> это о твоём отце, его больше нет» [Там же].

Пребывание в Крыму останется в воспоминании сказочным *Лукоморьем*: «... вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен: „Как мы ее назовем?“ – спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 205].

Испытанием-*плесом*, традиционным для русского дворянина с его кодексом чести станет предложение руки «богине кондитерской» – «краснопалой Розе», обманувшей Мартына, что она беременна, а затем таким же испытанием становится «дуэль» (вернее, ее современный спортивный аналог) – битва с боксером Дарвином из-за «пустейшего существа» и по «пустыяковому поводу» (истинная причина – Соня) – из-за Розы, что, безусловно, отсылает к дуэли Онегина – Ленского и Базарова – Кирсанова:

На первой же излучине она неуклонно пошла на берег, причем выпуклый зонтик обернулся в профиль, и Мартын узнал Розу. «Посмотри, как забавно», – сказал он, и Дарвин, не меняя положения толстых заломленных рук, посмотрел по направлению его взгляда. «Запрещаю с ней здороваться», – сказал он спокойно. Мартын улыбнулся:

«Нет-нет, непременно». «Если ты это сделаешь, – протяжно проговорил Дарвин, – я отшибу тебе голову» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 186].

Последней *излучиной* становится окончание Кембриджа:

Еще одна последняя излучина, и вот – берег Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того, чтобы изучить плодоносную профессию [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 190].

В металитературном плане весь путь взросления героя и вызревания его миссии становится «филологической прогулкой», непременно связанной с русским литературным «плесом», насквозь пропитанном «ясной излучиной реки с кудрявыми отражениями» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 222], проглядывающими в швейцарских пейзажах:

Уруго идя по тропе в черной еловой чаще, где, там и сям, сияла желтизной тонкая береза, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем осеннюю глушь, с паутинами, растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в сырых ложбинках, – и вдруг просвет, и дальше – простор, пустые осенние поля и на пригорке плотную белую церковку, пасущую несколько бревенчатых изб, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда, сквозь черноту хвои, глянул альпийский склон [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 222].

Автор не только проводит героя эмигрантским путем с его *излучинами и плесами*, но позволяет ему здесь, в Швейцарии, «прыгнуть», как в детстве, в картину, в литературный пейзаж, узнаваемый поэтический мир России, делая Мартына тем самым лирическим героем, кому и открыты всегда внутри художественного пространства «багрец и золото», «у Лукоморья дуб», «мороз и солнце» и «речка подо льдом»¹¹.

¹¹ Не случайно исследователи давно обратили внимание на пушкинские лирические (и не только) тексты, «вкрапленные» в швейцарское и русское пространства романа [Долинин, 2006, с. 24; Долинин, Утгоф, 2006, с. 726, 728–729, 740; Николь, 1999, с. 88–94; Шадурский, 2004].

Возвращаясь к первому описанию швейцарской «светлой, излучистой» дороги, отметим, что она «зарифмована» и с долиной, где серповидной пеной «уступами бежала вода». Эти *излучины*, полукруги как топосные элементы частотны в описаниях России и Швейцарии, реального пространства и воображаемого. А. Долинин связывает эти *излучины* со змеевидной природой Сони Зилановой, ее виляющей походкой [Долинин, 2006, с. 22–23], то есть неверным, обманным, заколдованным. Нам представляется это несколько иным – связанным с Россией *лучам* (вектором устремленности к ней Мартына, пусть и идущего не прямо, а *излучинами, плесами*), светом этого *луча, луком* как оружием истинного героя («в Англии второе лицо умерло вместе с *луконосцами*») [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 174], *Оле-Лукоке* (в сказке о котором мальчик Яльмар также, как Мартын, попадает в картину [Долинин, Утгоф, 2006, с. 718]).

Кроме этого в романе с *излучинами* связаны в качестве «рифмованных с ними образов» *дуги и полукружья*: полукруг мостика в Кембридже, висящая арка моста в воображении Мартына (при выборе профессии), полукруг при ударе теннисной ракетки и т. п. Нельзя не отметить, что *излучина, лук* синонимичны другой метафоре – их объемному варианту – *подмышке, положу, ложбине, подолу* (мрака), так часто описывающих дорогие образы для Мартына: огни во мраке при подъезде к Молиньяку и Биаррицу (лежащие «в *подоле* мрака»), любовь к Соне («тридцать восемь *подмышечной* температуры» у Мартына, заразившегося энфлюэнцией от Сони при поцелуе [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 111, 181]). Эти «объемные» варианты *лука, излучины* обладают более абстрактной природой и связаны с представлением об идеале.

Мы привели немало примеров намеренного размывания Набоковым границ между Россией и Швейцарией¹², но необходимо

¹² Ю.И. Левин предложил оперировать условными обозначениями (P1 – «собственно родина, Россия прошлого», утраченная для героя; P2 – Советская Россия, чуждая герою; E – чужбина, «Европа, Exsilium»), в частности, для того, чтобы развести двоящийся образ родины. В нашем контексте Швейцария, несмотря на то, что она принадлежит пространству E, может быть описана как стремящаяся в некотором отношении к P1 или временной замене ее [Левин, 1998, с. 323].

отметить и то, что в романе отличает швейцарский топос от образа России, и что меняет Швейцария в герое.

Россия – Швейцария – Литва – Зоорландия: история становления героя

Впервые Швейцария как страна упоминается в 10 главе: герой с матерью приезжает из Марселя в Швейцарию, чтобы попасть в дом дяди Генриха, где им, российским эмигрантам, обещан приют. Вначале с этой поездкой, как в детстве с заграничным путешествием в Биарриц, у Мартына связано «волшебство» и «вдохновение», которые посещают его от счастья видеть «огни в темноте»¹³: «... он как будто узнал любимые ночные огни на холмах <...> волшебство было тут: эти огни и вопли во мраке...» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 126]. Это «как будто» не случайно: поезд, который везет повзрослевшего героя в Швейцарию, другой: «... не “train de luxe”, а простой курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли». Другой становится и мать, как только садиться в автомобиль, который везет ее с Мартына из Лозанны в горы к дому дяди Генриха, она становится идентичной брату мужа: «... оба (мать и дядя. – *Е.Н.*) были в автомобильных очках и одинаково держали на животах руки» [Там же]. Дядин дом в Швейцарии хотя и называется домом для Мартына, а его окружение напоминает Россию, но место отца здесь занимает дядя Генрих, напоминающий отца лишь зубчисткой и ковырялкой для ногтей¹⁴. Дом дяди, ставший для семьи Мар-

¹³ Такое определение дает Ю. Исахая устойчивому мотиву огней, появляющихся во мраке [Исахая].

¹⁴ О пародийном отражении в триаде *Софья Дмитриевна – Мартын – Генрих Эдельвейс* шекспировского сюжета о браке матери и брата короля, в убийстве которого их хочет разоблачить Гамлет, см. у И. Ронен [Ронен, 2010]. Например, в романе упоминается «Сержив дух» (ср. с «тенью отца Гамлета»), а его жена «глубже, чем когда-либо, чувствовала свою вину перед покойным» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 171]. Кроме того, в другой триаде – *Мартын – дед Мартына – отец / дядя Генрих* – просматриваются отсылки к «Евгению Онегину»: приезд героя в имение дяди («мой дядя самых честных правил»), «губернер-швейцарец», «культ ногтей», «охота к перемене мест» и проч. О некоторых связях с пушкинским романом в стихах см. работы Я.В. Погребной, Н. Букс. [Погребная; Букс, 1998, с. 57–86].

тына пристанищем после эмиграции из России, не станет таковым по сути – он будет, как уже нами упоминалось, именоваться «дачей» – «весеннее дачное небо» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 128], дачная прохлада, что одновременно будет отсылать к крымскому лету с его мечтой о подвиге и жительством в наемной даче в Адриэзе и к российскому дому, оставленному лишь на время – в этом контексте вся жизнь героя вне пространства родины может быть осмыслена как временное проживание на эмигрантской «даче», одиссеево странствие в ожидании возвращения на Итаку. В этом отношении швейцарский дом-«дача», как и локус гостиницы у Набокова¹⁵, становятся временным жильем героя, который, к тому же, в металитературном плане – всегда «в гостях» на сотворенной земле текста.

Меняет Швейцария и изображение героя. Если в Крыму он изображен похожим на любого загорелого подростка: «... в открытой рубашке, под гребенку стриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 103], то в швейцарском топосе актуализируется его сходство с отцом: «”Как ты находишь Мартына?” – “Похож, похож” <...> “Тот же большой лоб, прекрасные зубы...”». Но во втором случае, как и в первом, едва возникнув, портрет перестает быть индивидуальным – он становится подобием портрета отца, который в свою очередь «кивает» на портрет деда – прародителя рода Эдельвейсов: отец был, как и дед, «бел и тучен» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 98], дед – «весь в белом, толстый, светлоусый» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 97]. Изображение предков Мартына в начале романа дается в гоголевской стилистике – костюм или род занятий. Генрих Эдельвейс уподоблен им же. В этом отношении важной характеристикой Мартына в швейцарском доме является его принципиальное отличие – «английский акцент», дурной, по мнению дяди, имевшему «пышный французский язык»,

¹⁵ Показательно, на наш взгляд, что и сам писатель последние 16–18 лет жизни отказывается от приобретения собственного дома в пользу гостиничного бытия в отеле «Монтрё-Палас».

и интерес к лыжам как к английскому виду спорта. На деле же оба эти отличия отсылают к детству в России – английский уклон в воспитании Мартына матерью и счастливое воспоминание о лыжной прогулке на Крестовский остров.

Таким образом, Швейцария выполняет важную функцию: герой, с одной стороны, вписывается в контекст родового древа, теряя индивидуальность, с другой – обретает возможность для самоидентификации, обретения собственного пути¹⁶. Кроме того, Швейцария может быть рассмотрена как определенная стадия в становлении Мартына как героической личности. Так, летняя Швейцария – следующая стадия после летнего Крыма, в укреплении телесности Мартына: в Крыму – «... он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. <...> „Я пойду выкупаюсь, – примирительно вставил Мартын. <...>“ „Конечно, пойдешь, – сказала Софья Дмитриевна. <...> и ты очень поправился в Крыму“» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 103], в Швейцарии – «за это лето он еще более окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий оттенок» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 129]. В отличие от России и Швейцарии в Германии такого возмужания происходить не будет: герой, зарабатывающий обучением богатых бургеров игре в теннис, только выглядит, как человек тяжелого труда (квартирной хозяйке кажется, что он таскает камни – от этого и загар), именно в России и Швейцарии Мартын «крепнет», становится сильным, загорелым, «мужает». Окончательную «брутальность» герой приобретает уже в Молиньяке (или городе N. – поскольку не ясно, был ли Мартын в Молиньяке или в другом провинциаль-

¹⁶ Ср. с моментом, где Мартын оставляет «обычную» тропинку для прогулок с матерью в горы: «Он знал, что мать ждет его там, у грота, полузавешенного еловой хвоей, – так было условлено, – она выходила очень рано и <...> оставляла для него записку: „У грота, в десять часов“ или: „У ключа, по дороге в Сен-Клер“; но хотя он знал, что она ждет, Мартын вдруг переменял направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 159].

ном городке): «Сын был с лица медно-темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 220].

При этом, возвращаясь в швейцарский дом-дачу, он становится «блудным сыном», но, в отличие от притчевого героя, у Мартына, хотя и с удовольствием «пожирающего ветчину», – профанный аналог откормленного теленка, прорисована перспектива духовного подвига после возврата в метафорический «дом» (герой планирует переход зоорландской границы), которая становится понятна только при окончании чтения романа:

«Блудный сын, – сказал он (дядя. – *Е.Н.*), входя, – я очень рад тебя видеть опять». <...> «Надеюсь – на некоторое время?» – спросил дядя <...>. «Вообще – да, – ответил Мартын, пожирая ветчину, только вот недели через две мне придется съездить в Берлин, но потом я вернусь». – «Не вернешься», – сказала со смехом Софья Дмитриевна» [Там же].

Показательно, что в этой «шлифовке» образа под героя приключенческого романа или романа путешествия – героя мужественного, с обветренным лицом, сильным торсом, способным противостоять ветрам и волне, – Мартын становится своей противоположностью – «негативом»: «От солнца волосы его посветлели, лицо потемнело, – он казался негативом самого себя» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 198]. Этот процесс превращения в собственный «негатив» через взросление и рост связан с противоположным процессом угасания и деградации родины, данной в романе в движении от страны детского счастья к зоорландской полярной ночи. Мартын превращается в героя, предназначенного для исполнения миссии по отношению к родине по мере зарождения его интереса к России, осознания своей избранности и изгнанничества, появления перспективы путешествия к земле неведомой – Зоорландии: «Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам, – все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 216].

Кроме того, изменение портрета героя – выгоревшие волосы и потемневшее лицо – возвращает нас к началу романа – к описанию отца и деда Эдельвейсов, то есть к швейцарской родовой линии Мартына – «белых и тучных»¹⁷. Швейцарское происхождение и сходство с предками Эдельвейсами даст герою возможность «мимикрировать» в чужом пространстве для проявления, в конце концов, собственной русской самобытности и предназначенности:

Мартын сказал, что – швейцарец (это подтверждал паспорт), и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз, таким образом, он менял отечество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны [Там же].

Показательно, что не только незнакомые люди «верят» в «швейцарскую сущность» Мартына, но и близкие. Так, друг Мартына Дарвин отказывается воспринимать его как русского:

«А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов – хотя твой отец был швейцарец, не правда ли? – но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и пересечь границу на поезде?» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 245],

а возлюбленная героя заявляет: «Я вас прощаю, потому что все швейцарцы кретины, – кретин – швейцарское слово, – за-

¹⁷ Важно отметить и другой мотив, связанный с родом Эдельвейсов или их пространственным пребыванием, – мотив оружия: «кинжал на брелоке» деда, коллекция ружей и кинжалов отца, ножи кипарисов в Крыму и направленный на маленького Мартына незаряженный пистолет Аркадия Петровича Зарянского, – все это воспринимается Мартыном как часть «приключенческого сюжета» периода его юности, становления. В конце романа все эти условные и метафорические знаки чести и мужества сменит мысль Мартына об их «воплощении» в настоящее оружие – мысль о необходимости покупки револьвера для перехода границы с Советской Россией.

пишите это»¹⁸ [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 167]. Окончательно «швейцарцем» герой становится не во время проживания в Швейцарии или путешествии по Европе, а в латвийском и литовском консульствах – организациях, поданных как inferнально-готическое пространство:

В Латвийском консульстве, в подвальном этаже, было оживленно и тесно. «Тук-тук», – стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже выпел оттуда и неподалеку, в мрачном особняке, получил, по дешевой цене, литовскую проездную визу [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 234].

Латвия и Литва оказываются здесь некоей межой, лиминальной зоной, где герой для того чтобы проникнуть в загробное тридцатое царство, должен преобразиться – спрятать истинную сущность за маску Ивана-дурака – «швейцарца кретина». Превращение это сопровождается звуком стука штемпеля – с одной стороны, звуком, похожим на стук молотка – звук «делания», создания, с другой – звуком, делающим факт свершившимся, имеющим ценность документа, договора. И речь здесь идет не столько о получении визы в запредельное пространство посредством inferнальной канцелярии, сколько о том, что герой получает идентификацию как персонаж в металитературном плане – обретение документа или его предъявление в творчестве Набокова рассматривается нами как металитературный прием, говорящий о герое-функции, имеющем право временно, на протяжении книги, для автора и читателя считаться человеком. Обретение визы позволяет Мартыну приблизиться к границе Зоорландии (перейти же ее он хочет незаконно), именно в этот момент, когда Мартын обретает желанный для статус бесстрашного героя, к чему он стремился всю жизнь, и статус истинного героя в литературном плане, поскольку налицо «героическое созвучие внутренне-

¹⁸ Комментаторы романа А. Долинин и Г. Утгоф видят в этом алогизме ироническую отсылку к лингвистическим казусам словаря Даля [Долинин, Утгоф, 2006, с. 729].

го мира человека и внешнего миропорядка» [Гегель, 1968–1973, т. 1, с. 265], – в этот момент он исчезает в зоорландской полярной ночи. Для автора и читателя – навсегда – по аналогии с Лужиным, жаждущим «протиснуться» в «квадратную ночь», темноту окна – «черную, звездообразную дыру» [Набоков, 2004–2008, т. 2, с. 464] – и исчезающим там так же навсегда, потому что аннулируется его имя – идентификационный набор знаков: «...никакого Александра Ивановича не было» [Набоков, 2004–2008, т. 2, с. 465].

Что касается функции Литвы, то она, в отличие от сходного во многом с Россией швейцарского топоса, в целом дружелюбно-герою, выполняет еще и другую функцию – отсылает к истории взаимоотношений Великого княжества Литовского с Россией и к неоднократным их отражениям в русской литературе. Русский литературный контекст, в котором упоминается Литва, до конца XIX века отчетливо формирует два направления в восприятии этого топоса: 1) страна и народ, окруженные романтическим ореолом¹⁹; 2) враждебная, отчужденная зона для России. Последнее направление отражено, в частности, в истории переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского, бывшего соратника русского царя и полководца, который, перейдя на сторону Литвы, поднимает ее войска против Москвы. Таким же «топосом измены» становится Литва и в «Борисе Годунове». Так, желанность достижения литовской границы и значимость ее перехода видны в разговоре Григория Отрепьева с Мисаилом, Варлаамом и хозяйкой в приграничной корчме:

Мисаил

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.

Григорий

Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

¹⁹ Образу Литвы и литовцев в русской литературе посвящены работы Павла Лавринца: [Лавринец, Литовцы в русской литературе...; Лавринец, Литва в русской литературе...].

Варлаам

Что тебе Литва так слюбилась? <...> Литва ли, Русь ли, что гу-
док, что гусли: все нам равно, было бы вино... да вот и оно!.. <...>

Григорий

Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка

А господь его ведает, вор ли, разбойник – только здесь и добрым
людям нынче прохода нет – а что из того будет? ничего; ни лысого
беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая до-
рога! Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до ча-
совни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино,
а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых
гор [Пушкин, 1959–1962, т. 4, с. 228–231].

Показательно не только то, что оба героя – Григорий Отре-
пьев и Мартын Эдельвейс – реализуют сказочно-фольклорный
сюжет перехода через границу²⁰ двух миров и путешествия в три-
десятое царство²¹, но и то, что их путь лежит к вымышленным
топонимам: Луёвы горы – у Отрепьева; Пыталово, Режица, Рого-
жинский лес [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 228] – у Мартына (точ-
нее: у Набокова речь идет о реальных названиях, но в переводе

²⁰ У Пушкина Годунов требует от Шуйского невозможного – фактически
заклясть, освятить границу, чтобы «ни одна душа», ни оборотни, ни проводники
иного мира – заяц и ворон – не могли проникнуть в сакральное пространство:

Шуйский

Царь, из Литвы пришла нам весть...<...>

Царь

Послушай, князь: взять меры сей же час;

Чтоб от Литвы Россия оградилась

Заставами; чтоб ни одна душа

Не перешла за эту грань; чтоб заяц

Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон

Не прилетел из Кракова. Ступай [Пушкин, 1960, с. 245–247].

²¹ Анализу мифопоэтики в трагедии «Борис Годунов» и романе «Подвиг»
посвящен ряд исследований, например, этого вопроса касаются Л. Джорджвилл
и Э. Хейбер [Джорджвилл, 2005; Хейбер, 2001].

он их делает вымышленными [Долинин, Утгоф, 2006, с. 739]). Функциональность этого приема у авторов разная: у Пушкина, по мнению Л. Джорджвилл, это способ сблизить русских и литовцев как славянские народы [Джорджвилл, 2005], у Набокова – актуализация семантики насилия у реальных названий или у вымышленных аналогов при переводе [Долинин, Утгоф, 2006, с. 739; Левинтон, 1997, т. 1, с. 321].

Интересно и совпадение описания «картографии» в «Борисе Годунове» и «Подвиге», вернее, элементов, которыми обставлен переход границы – бор, тропинка и речка / ручей (почти все эти же элементы присущи как картине в комнате маленького Мартына, так и швейцарскому пейзажу с бором и тропинкой)²²:

²² В первом случае карту словесно рисует хозяйка корчмы, во втором – обсуждается печатная карта. Следует обратить внимание, что и хозяйка лиминарной корчмы у Пушкина, и бабка Индрикова у Набокова владеют неким знанием и создают карту-картину, по которой должен двигаться герой, претерпевающий в своем путешествии смену имени и перевоплощение: Григорий Отрепьев – Лжедмитрий; русский эмигрант Мартын Эдельвейс – «швейцарец». Безусловно, это сходство объясняется воплощением единой сказочно-мифологической сюжетной схемы. Однако Набоков в романе репает еще и металитературные задачи – автор превращает своего героя в «условного Коло», то есть в героя-функцию, который движется по карте с вымышленными названиями, передвигаемый автором-творцом. В таком случае любой герой – «условный Коля», кстати сказать, таким же условным именем называет себя и Грузинов («У меня был приятель, тоже, по странному совпадению, Коля»), к которому Мартын обращается за советом, как и где лучше перейти границу. «Условный Коля», на наш взгляд, не только пародийный отзвук ореола тайны и заговора, свойственный детективным и приключенческим книгам, но и возможная отсылка к «Очарованному страннику» Лескова, где Иван Флягин (тоже, как и Мартын, связанный с мотивом воды и движением по ней / через нее и с мотивом пути, странствия) в татарском плену сталкивается с условными именами для русских: «... у них все если взрослый русский человек – так Иван, а женщина – Наташа, а мальчиков они Кольками кличут» [Лесков, 1956–1958, т. 4, с. 433]. В таком контексте «условный Коля» при переходе границы должен обрести, как сказочный герой, иной статус – «не мальчика, но мужа», утратив швейцарскую ложную индивидуальность, стать «условным Иваном», что по В. Далю «обозначает русского» [Даль].

... вот – Режица, вот Пыталово, на самой черте. У меня был приятель, тоже, по странному совпадению, Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь, – и лесом, лесом, – очень густой лес, – Рогожинский... [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 228].

При сходстве движения Отрепьева и Мартына: Лжедмитрий бежит в Литву и оттуда грозит «красной Москве» (Пушкин), Мартын тоже движется из Литвы в Зоорландию, суть пересечения границы разная – Мартын движим патриотизмом, хотя воспринимается «красной Москвой» так же, как и Отрепьев и Курбский, – предатель, шпион, лазутчик. Его роль – задать обратный ход истории на этой границе: с Литвы идет не предатель, а спаситель «толстых детей», мучимых в зоорландских лесах²³.

Швейцарский крест, или Способ метить овец

Швейцарский топос и в «Подвиге», и в «Просвечивающих предметах» двойственен: с одной стороны, в этих текстах есть презентация общеизвестных географических, исторических и иных признаков страны (например, Швейцарские Альпы, деление страны на кантоны и т. п.), с другой – Набоков создает свою «так называемую Швейцарию» – сугубо литературное пространство с его вымышленными топонимами, природными достопримечательностями и т. д. (например, названия городов, водопада и горного массива в «Просвечивающих предметах»). При таком двойном восприятии Швейцарии²⁴ путешествие в нее также

²³ Мысль о «толстых» детях, мучимых в Зоорландии, Мартыну приходит незадолго до отъезда при слушании (повторно) истории «дурочки» Ирины: «Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глубже, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 228].

²⁴ Безусловно, такой принцип изображения конкретного государства может быть распространен писателем и на изображение других стран, но доказательство общего правила не входит в исследовательские задачи настоящей статьи.

должно восприниматься читателем с двойной установкой. То же самое касается и знаков, так или иначе связанных с этим топом. Речь идет о том, что конвенциональные знаки в набоковской системе представлены весьма сложно: они сохраняют свое «договорное» значение, например, являясь символом чего-то, но при этом оно словно бы отменяется – сквозь него начинает просвечивать другое значение – например, значение естественного знака или функциональное значение, затем знаку возвращается его символическое значение, но не отменяя тех, что уже были увидены читателем сквозь «просвет». Возможна и обратная ситуация: знак несет естественное или функциональное значения, которые не отменяются, но на них наслаиваются другие – символические, характерные для той или иной культуры, и новые, приписываемые ему автором для определенных, часто металитературных целей. Одновременное сосуществование всех значений знака создает своеобразное его «мерцание», голографическое восприятие. Безусловно, подобные эффекты уже были описаны в различных терминах постструктурализма: «плавающее означаемое» Лакана, «шизофренический дискурс» Дилеза, теория деконструкции Дерриды, однако нас интересует не общий механизм «децентрации», «десакрализации» знака, а частные приемы Набокова по созданию смыслового объема.

Рассмотрим на примере один из таких приемов. Первый швейцарский приезд Мартына длится полгода (до поступления в Кембридж). Следующий срез швейцарской жизни – лето, в которое Мартын часто совершает «любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши», а заканчивавшуюся в горах. Здесь однажды Мартын встречает овечье стадо:

С наступлением лета погнали крестами меченных овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, улаждающий все чувства

звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух, – и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. «Ах, как славно», – шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь...» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 129].

Неопределенное место Мартына в этой сцене, восприятие, обобщенное до «слушателя», и действие – до неопределённо-личного «погнали» делают сцену метафорической и обобщённой. Мартын – это и сам пастух, который «*мягко ступает*» (ср. «*мягкая дорога*», которая поражает героя в первом посещении швейцарского топоса), и путник, которого обволакивает это течение – и овец, и звука колокольцев. Течение овец сходно одновременно и с рекой, и мягкой и пыльной землей тропы, дороги: «серой, курчавой густыней, *лились*, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и *влажной тесноте*», и *серая пыль*, поднятая ими, соединяется со звоном бубенцов и тоже создает ощущение «таинственности», как и тропа на картине бабки Индриковой.

Обращает на себя внимание, что овцы – «меченые крестами». Первая ассоциация в контексте разговора о топосе Швейцарии – государственный флаг – красный крест на белом фоне. В набоковском романе не сказано, каким цветом мечены овцы, для того чтобы эта ассоциация получила текстуальное обоснование. Издавна этих животных метили разными веществами: графитом (он же – красящее вещество, которое в смеси с овечьим или бараньим жиром дает письменную принадлежность – карандаш, о чем рассуждает внесюжетное «мы» в «Просвечивающих предметах»), мелом (если овцы черные, мел – тоже средство для письма, только в большей степени ассоциированным со школьной практикой) и, наконец, ценнейшим пигментом, из-за которого велись войны европейцев с аборигенами Австралии, – красная охра. О способе метить овец красной охрой Набоков мог помнить как знаток английского языка – “*ruddle*” – красить охрой,

метить овец (ср. в славянской традиции – «рудый» – огненно-рыжий, красный). Таким образом, меченые красной охрой овцы вполне могли подразумеваться Набоковым как примета швейцарского топоса – прекрасный зрительный образ: сотни белых овец с красными крестами. Впрочем, это – вероятностная зона толкования. А текстуальная действительность репрезентирует вполне определенные связи с данным контекстом, в котором упомянуты овцы. Мифологическая, традиционная христианская (пастырь и стадо) и пасторальная символика (благодатная, мирная сцена) тут не работают, вернее, не работают в традиционном ключе. Рассмотрим это подробнее. Герой восклицает про себя «ах, как славно», наслаждаясь именно звоном, а не визуальной картиной: «дослушав звон до конца», словно музыкальную партию, малиновый звон. Именно после окончания прелюдии Мартын продолжает «свою любимую прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинкой в еловой глуши» (не ясно, «любимая прогулка» – детская – в картину – или взрослая – в Швейцарии – все сливается в одно). Указанное конвенциональное значение креста, а также символика пастуха и овец не отменяют функциональности знака – отметины крестом позволяют отличить овец своего стада от чужих. Но этот возврат к «простому» знаку (с учетом уже проявленных его «сложных» значений) не означает замыкания круга, поскольку с этого момента начнется новый виток, новая волна «навивания» нитей смысла на ось знака. В «Подвиге» Мартын смотрит на то, как собака молча погоняет отбившуюся овцу от стада – «свои» овцы не должны отбиваться от стада, для чего существует носитель знания «свое – чужое». Здесь акцентируется новое, метафорическое, значение знака: меченая и «своя» овца – правильная, соблюдающая конвенции социума, буржуазной или советской системы, любой системы, следящей за соблюдением конвенций. В этом смысле в романе неоднократно акцентируются ситуации «отпадения» от общих норм, и именно Мартын является таким «профаном» и «нарушителем границ». Например, он топит камин вопреки университетским законам и принужден

будет платить штраф; забирается на фонарь, и пожилой прохожий грозит ему тростью; «черной» овцой мыслит Мартына дядя Генрих, полагая, что Мартына нужно привлечь к коммерческому делу, иначе «он свихнется»; именно Мартын обращает внимание на недоброжелательно смотрящую на него старуху с дубинкой в швейцарских горах и на собаку-пастуха. «Мимикрирующий» в европейском пространстве Мартын, надевающий личину лже-европейца, соединяет в себе традиционно разведенные по разным персонажам фигуры трикстера и собственно героя. Внутренняя необходимость стать героем, перейти границу Зоорландии и исчезнуть, как «кретин» («дурак»), толкает героя на трикстерское поведение – нарушение норм и границ – семейных, буржуазных, государственных и т. д. Соединение этих двух функций, как нам кажется, должно осмысляться еще в металитературном плане: только творец способен на преодоление, отмену конвенций и создание собственной вселенной с ее новым порядком. В этом плане Мартын, конечно, не писатель, в отличие от многих других героев Набокова, но его «мечтательность» и «планирование» жизни как путешествия делают его жизнестроительство подобием литературного труда, когда сначала, в период юношества, герой еще «мечтает» литературными образцами приключенческих романов и романов-путешествий, затем становится героем-любовником в соответствии с новым избранным жанром на пути становления и т. д. Только в конце набоковского романа, по мере реализации собственного героического «текста», Мартын становится истинным автором, дописывающим свое творение, а не разыгрывающим чужие, но на этом пути становление «черной» или «чужой» овцой неизбежно.

Возвращаясь к разговору о крестах, нужно отметить, что, безусловно, это не единственное их упоминание в романе и творчестве Набокова в целом, но, однако, «Подвиг» изобилует ими. Крест является здесь не только знаком швейцарской действительности, но и отсылает к английской и русской культурам, имеет множество иных значений и связей, ранее нами не указанных:

1. *Крест-орден*. Тема мужества и славы, заявленная названием романа, связана и с наградным крестом Дарвина: «Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 140]. Этот орден связан не только с «викторией» – победой, но и косвенно с историей России: у англичан не было ордена за храбрость и мужество до Крымской войны – одного из известных событий русской истории, но были у союзников и противников: у французов – орден Почетного Легиона (1803) и Военная медаль; у русских – орден Святого Георгия. По инициативе королевы Виктории 29 января 1856 года появляется эта демократичная награда – она могла быть вручена любому из военнослужащих за храбрость, независимо от звания – в нижней части ордена располагалась лента с надписью «*For Valour*» («За доблесть»). Вначале крест предназначался только для награждения участников Крымской войны. Безусловно, этот крест мог вызвать у Мартына как зависть к проявленному мужеству, так и, косвенно, горечь исторической памяти, так как «первые кресты, появившиеся во время Крымской кампании (1853–1856), были вылиты из бронзы трофейных русских орудий» [Гусев, 2014, с. 4; Философов, 2010, с. 328; Долинин, Утгоф, 2006, с. 725].

2. *Крест-перевязь*. Однако Дарвин, в отличие от Мартына, к концу романа оказывается на пути не к героическому служению, а к пошлому бюргерству, становится типичной «своей» овцой в стаде. В связи с этим Мартын сожалеет о том, что друг потерял воображение, а стало быть, стал чуждым романтике путешествий – реальных и ментальных, следовательно, умер как автор, творец, несмотря на заложенную в нем потенцию (Дарвин в начале романа выступает как писатель). Таким же, как и опошлившийся Дарвин, равнодушным путешественником – не «вояжером», а «комми», то есть деловым ездоком оказывается и Зиланов, перевязывающий перед переездом книги крестом:

«Как мне быть с этими книжками? – дождь», – он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а, порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест на крест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «Нате», – говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал – в Орел, в Кострому, в Париж, – и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых, с доверчивым старанием пографить, неся курьерский поезд» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 126].

Совершенно иное значение имеют письма Мартына, перевязанные крестом Софьей Дмитриевной:

Она складывала их в пачку, когда кончался биместр, и обвязывала накрест ленточкой [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 151].

Такой крест заставляет смотреть на письма в совокупности как на «период», «том жизни», спрессованное время, память.

3. *Нательный крест.* Христианский символ упоминается в «дуэли» крещеного в православии Мартына – претендента на подвиг и носителя креста Виктории – Дарвина:

По сравнению с Дарвином он казался более поджарым, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь пепочку, и эту горсточку текучего золота сунул в карман [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 188].

Однако в данном контексте актуализируется не столько конфессиональное значение символа, сколько национальное. Мартын и Дарвин могут быть рассмотрены не только как два антагониста-теоретика – спор о законах эволюции заложен фамилией друга Мартына и совершением бесцельного подвига им самим²⁵, но и как два «богатыря», представляющие разные куль-

²⁵ О неприятии теории Дарвина, отразившейся в выборе фамилии героя см.: [Долинин, Утгоф, 2006, с. 727].

туры (прагматическую – Дарвин, культурологическую, а потому «бесполезную» – Мартын), по аналогии с битвой двух воинов в былинах и в воинских повестях – героическими произведениями русского фольклора и древнерусских воинских повестей. Однако в данном примере крест становится акмеистической вещью, отделяясь от символического комплекса значений. В другом случае, напротив, акцентируется способность креста бороться с нечистой силой, правда, в сниженном, народно-практическом применении – Мартын в Крыму предлагает Лиде для избавления от зуда после комариного укуса использовать крест:

... он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того, ни с сего [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 115].

Однако и здесь при одном знаке его трактовки различны – для Лиды желание поставить крест на ее ноге воспринято как имеющее эротический подтекст.

4. *Крест как знак смерти.* «Поставить крест» – не только одолеть злую силу, но и похоронить, предать забвению, не случайно Соня, отказываясь выйти замуж за Мартына, просит:

«Да не мучь ты меня», – писала Соня. – «Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 219].

В этом фрагменте, с одной стороны, актуализируется мифологический контекст, отмеченный исследователями в связи с образом заколдованной сонной девы – Сони и ее змееподобной природы, связанной с Зиланом [Долинин, 2006, с. 23; Долинин, Утгоф, 2006, с. 719] – отсюда «ненавижу чеснок». С другой стороны, речь идет о метафорической смерти Сони: прочитав об отказе, Мартын с облегчением делает выбор перед раздвоен-

ной перспективой сюжета – выбрать или человеческий, суетный и идиллически пошлый удел – купить дом в Молиньяке и жениться, или идти горным и жертвенным путем к земле незнамой, как Колумб, Левингсон (упомянут в романе) или полярные первооткрыватели.

5. *Крест – Христофор*. Швейцарские горы и лыжи вызывают у героя воспоминание о Крестовском острове:

Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок в простые пультца, да еще держался за поводок, привязанный ко вздернутым концам легких детских лыж [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 152].

– показательно не только то, что в связи со снегом и лыжами всплывает в памяти Петербург, но и Крестовский остров, который до 1717 года назывался о. Св. Натальи, а до 1741 года – Христофоровским островом – эта отсылка чрезвычайно важна в контексте темы путешествий и первооткрывательства. Мартын в этом слысле выступает по отношению к Зоорландии, как Колумб, открывший Америку. Значимо и само имя «Христофор»: изначально в раннехристианской литературе «христофорос» отсылал к городу Вифлеему в значении «город, породивший Христа»; позднее имя «Христофор» – «носящий в себе Христа», «чтящий Христа», что в западной традиции понималось буквально – Христофор перенес на себе через реку младенца Христа²⁶. В обоих случаях упоминание Крестовского / Христофоровского острова важно в связи с мотивом воды, путешествия, миссии по несению креста и Христа в себе.

6. *Крест как миссия*. В значении «тяжкая ноша» крест упоминается Соней, когда она говорит Мартыну во время последнего свидания перед его отъездом в Зоорландию о состоянии душевнобольной двоюродной сестры Ирины:

²⁶ О св. Христофоре см. статью в энциклопедии «Мифы народов мира» О.Е. Нестеровой; работу С.Н. Липатовой и данную в ней библиографию по вопросу [Нестерова, 1988, т. II, с. 604; Липатова].

«Предки здоровы, – сказала со вздохом Соня, – а вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то... Ну и с деньгами полный мрак <...>» [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 236].

Именно в эту встречу Мартын осознает историю Ирины, знакомую ему давно, но не очевидную: ее «дурость» – результат страданий и потрясений, пережитых в красной Зоорландии. С этого момента между Мартыном и юродивой «дурочкой» устанавливаются иные отношения: Мартын показывает Ирине фокус, который тоже будет связан с крестом – теперь она становится «посвященной» (а Соня, рассказавшая Бубнову о Зоорландии, – «предательницей») и, живя в одной реальности, как и Мартин, может ощущать две:

За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но, когда, наконец, с помощью Мартына, шарик под ее пальцами волшебным образом раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша; когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора, возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик [Набоков, 2004–2008, т. 3, с. 237].

Именно Ирина в это последнее посещение Мартыном Зилановых оплакивает героя, словно понимая, что его отъезд – это переход через точку невозврата.

Как мы видим, крест в поэтике Набокова, актуализированный в том числе благодаря швейцарскому флагу и альпийским пастбищам с овцами, мечеными крестами, обладает полисемией, которая развивается вплоть до антонимии: крест выделяет (орден Виктории в «Подвиге»); крестом на фотографии отмечен один ребенок в массовке на перроне – знак героя в рассказе «Об-

лако, озеро, башня»); но крест создает и совокупность, массу – будь то христианская паства, меченые крестом овцы, собранные воедино книги или письма, тоталитарное «мы».

Подводя некоторые итоги, отметим, что швейцарское пространства в романе «Подвиг» представлено тремя топосами – цветущим яблоневым садом, лесом и горами. Два первых архетипических топоса, безусловно, связаны с Россией, а горы, как мы предполагаем, в большей степени – с металитературными задачами Набокова²⁷. Что касается первых двух топосов, то, в поэтике романа хотя и реализован контекст дантовского ада со встречей с проводником в него – Грузиновым и рай России до изгнания из него, но рай все же оказывается достижим через переход в тот самый дантов лес, где вьется тропинка с картины бабки Индриковой, где «мчат толстых детей» и «водится полярная ночь».

Литература

Букс Н. Приобщение к таинству // Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце: о русских романах В. Набокова. М.: Новое литературное обозрение. 1998. С. 57–86.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1968–1973.

Гусев И.Е. Награды, ордена, медали России, СССР, мира. М.: АСТ, 2014.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: <http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/ivan/10842/> (дата обращения: 07.07.2014).

Джорджвилл Л. Художественное пространство трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» // Новый филологический вестник. № 1. 2005. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-prostranstvo-tragedii-a-s-pushkina-boris-godunov> (дата обращения: 27.11.2014).

²⁷ Швейцарское пространство в романе имеет большее сходство с реальной Швейцарией, нежели в предпоследнем англоязычном романе «Просвещающие предметы», но оно, как и любой другой топос романа, является весьма условным. Мы намеренно не касаемся подробно металитературного плана, связанного с топосом Швейцарии, в данной статье, планируя рассмотрение этого вопроса в отдельном исследовании.

Дмитриенко О.А. Путь Индры. Воплощение мифа в романе Набокова «Подвиг» // Портал LITERARY.RU: О литературе. URL: http://www.literary.ru/literary/show_archives.php?archive=1206184915&id=1204024934&start_from=&subaction=showfull&ucat (дата обращения: 07.11.2014).

Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» к «Отчаянию» [Предисловие] // Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. / сост. Н. Артеменко-Толстой; предисл. А. Долинина; прим. О. Сконечной, А. Долинина, Г. Утгофа, А. Яновского, Ю. Левина, М. Маликовой, Р. Тименчика. СПб.: Симпозиум. СПб., 2006.

Долинин А., Утгоф Г. [Примечания] // *Набоков В.В.* Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. / сост. Н. Артеменко-Толстой; предисл. А. Долинина; прим. О. Сконечной, А. Долинина, Г. Утгофа, А. Яновского, Ю. Левина, М. Маликовой, Р. Тименчика. СПб.: Симпозиум. СПб., 2006.

Исахая Ю. (Isahaya Yuichi) Огни и темнота в романе «Подвиг» Набокова. URL: <http://www.kinet-tv.ne.jp/~yisahaya/sub.e272a.pdf> (дата обращения: 11.09.2014).

Лавринец П. Литва в русской литературе конца XIX – начала XX вв. // URL: <http://www.olitve.ru/kultura-litvy/litovskaja-literatura/litva-v-russkoj-literature-konca/> (дата обращения: 27.11.2014).

Лавринец П. Литовцы в русской литературе XIX – начала XX веков // URL: http://www.ruthenia.ru/Stud_Russica_XII/Lavrinesc.pdf (дата обращения: 27.11.2014).

Левин Ю.И. Биспациальность как инвариант поэтического мира Набокова // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 323–392.

Левинтон Г.А. The Importance of Being Russian или Les allusions perdues // Владимир Набоков: Pro et contra: В 2 т. СПб.: РХГИ, 1997–2001.

Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1956–1958.

Липатова С.Н. Святой мученик Христофор Песьеглавец: Иконография и почитание. URL: <http://www.pravoslavie.ru/put/3304.htm> (дата обращения: 17.12.2014).

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий: монография. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2013.

Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Частное путешествие как документальный жанр: Тверской материал // Вестник ТвГУ Серия «Филология». 2013. Вып. 6. С. 39–45.

Набоков В.В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. / сост. Н. Артеменко-Толстой; предисл. А. Долинина; прим. О. Сконечной, А. Долинина, Г. Утгофа, А. Яновского, Ю. Левина, М. Маликовой, Р. Тименчика. СПб.: Симпозиум. 2004–2008.

Нестерова О.Е. Христофор // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1987–1988.

Николаева Е.Г. «Так называемая Швейцария», или Четыре редакции путешествия Хью Персона (швейцарский контекст в романе «Просвечивающие предметы» В. Набокова) // Литература путешествий: культурно-семиотические и дискурсивные аспекты: сборник научных работ / под. ред. Т.И. Печерской. Новосибирск: Изд-во СИЦ НГПУ «Гаудеамус». С. 466–515.

Николь Ч. Два стихотворения Пушкина в «Подвиге» Набокова // А.С. Пушкин и В.В. Набоков: сборник докл. междунауч. конф. 15–18 апреля 1999 г. СПб.: Дорн. 1999. С. 88–94.

Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. 1959–1962. М.: Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ).

Ронен И. Храбрость и трусость в романе Набокова «Подвиг» // Звезда. 2010. № 4. С. 212–221. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/4/ro21.html> (дата обращения: 08.11.2014).

Сирин В. Подвиг // Современные записки. 1931, 1932. №№ 45–48.

Философов И.Ю. Знаменитые награды Европы: Ордена и медали. Ростов-на-Дону: Издательский дом «Владис», 2010.

Хейбер Э. «Подвиг» Набокова и волшебная сказка // Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277). С. 57–61. Английский вариант статьи – “Nabokov’s Glory and the Fairy Tale” – был впервые опубликован в “Slavic and East European Journal” (Vol. 21, # 2, 1977, pp. 214–224).

Шадурский В.В. Интертекст русской классики в прозе Владимира Набокова. Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004.

Шраер М. О концовке набоковского «Подвига» // Журнальный зал. URL: <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/shaer.html> (дата обращения 11.08.2014). Или: Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277).

Toker L. Nabokov: The Mystery of Literary Structures. Ithaca, 1989. P. 101. Или: URL: http://books.google.ru/books?id=Jud1q_NrqpcC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Toker+L.+Nabokov:+The+Mystery+of+Literary+Structures&source=bl&ots=uKjgQRDH8G&sig=krk-BkU34sNbNk02XZbySrt7ro&hl=ru&sa=X&ei=kBB6VP3QDOT7ygpXjYK4CQ&ved=0CE4Q6AEwCQ#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 07.11.2014).

E.G. Nikolaeva

Novosibirsk State Pedagogical University

SWISS TOPOS IN THE VLADIMIR NABOKOV'S NOVEL "GLORY"

Annotation. Swiss topos in the Vladimir Nabokov's novel "Glory" is considered under the research not only as having a resemblance to the lost Russia but also as a temporary asylum, different from Russia though important for the formation of Martin Edelweiss as the author of his own destiny and travel to Zoorland (Soviet Russia). The research focuses on the three spatial locations: Switzerland – Lithuania – Zoorland, where Lithuania takes the place of mythopoetical and political boundary, Switzerland is a temporary home for the "prodigal son", and Russia is a true and desirable but the distorted space. In this regard we analyze the difference of the literary status of Lithuania in Nabokov's novel compared with its image in Russian literature 19th c. In particular there is a comparison with the Pushkin's tragedy "Boris Godunov".

Switzerland appearing as ambivalent in the novels of Nabokov – both real and fictional – allows to consider elements of the Swiss space in two ways too: geographical and national features of the country along with literary false reality. In this way will be considered road and bend of the river. In this connection object of analysis will be specific work of the writer with some signs of relevance to both Switzerland and other countries and cultures. So, an example of the cross describes how Nabokov creates volume "holographic" sign.

Keywords: Vladimir Nabokov, "Glory", "Translucent objects", Switzerland, Russia, Lithuania, travelogue, an adventure, a journey, metaliterary, author, hero, the trickster, sign, cross, motif of road / bend.

Information about the author. Nikolaeva Ekaterina Gennadyevna, Candidate of Philology, Associate professor of the Department of Russian and Foreign Literature and Literature Theory Pedagogical University (Novosibirsk, Vilyuiskaya str. 28, NSPU. Tel. (383) 244-03-30. E-mail: nikks@ya.ru).

О.В. Далкылыч

Эрджиевский университет (Турция)

**ТРИ МИРА, ТРИ ЭПОХИ, ТРИ КУЛЬТУРЫ:
ЭХО ГОРОДОВ ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, ТАЛЛИНН И КАЙСЕРИ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII–XX ВЕКОВ**

Аннотация. Бытует мнение, что у каждого города есть свой дух. Его чувствуют там присутствующие, его стремятся описать пишущие, его исследуют читающие. В данной работе исследуются упоминания трёх городов: Гейдельберга (Германия), Таллинна (Эстония) и Кайсери (Турция) в русской литературе XVIII–XX веков, отголоски культуры, которую они в себе несут, характер эпохи, в рамках которой ведётся повествование; выясняются причины, побудившие того или иного автора увековечить увиденный город в своём художественном, художественно-документальном или документальном произведении. Автор проводит параллели между мотивами авторов, эпохами и культурами, выделяет необычное и особенное в литературных образах трёх небольших по размеру, но богатых духом городов, ставших приютом как странникам, так и ценителям.

Ключевые слова: Гейдельберг, Кайсери, Таллинн, травелог, XVIII–XX века, мотив, литературный образ, культура.

Сведения об авторе. Далкылыч Ольга Викторовна, бакалавр андрагогических наук, лектор Эрджиевского университета (Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez Kampüs Talas Yolu. 38039 Melikgazi/KAYSERİ Turkey. Тел: (0090) 542 5588 727; E-mail: olja.fjodorova@gmail.com).

Эпоха Просвещения, ознаменовавшая собой конец XVII – начало XVIII веков как в Европе, так и в России, и открывшая человеку новый образ мышления, дала толчок к развитию новых способов выражения и оформления идей, толчок к формированию новых жанров художественной, документальной и художественно-документальной литературы. В этот период, наполненный культурообразующими политическими и общественными событиями и важный для формирования как русского языка, так

и литературы, русская интеллигенция, «прорубив окно» в Европу – в её языковые, культурные, краеведческие и, тем самым, образовательные ресурсы – создаёт базу для новой формы и расширенного содержания эпических и лирических произведений своих соотечественников. Среди них – как последний царь всея Руси, перевернувший понимание русского человека о своём внешнем и внутреннем содержании, так и великие реформаторы русского литературного языка М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин, усовершенствовавшие форму слова на его лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях, облекшие слово в форму, ставшую традицией слога, а также расширившие географические границы принадлежности слова. Теперь оно – не только отражение местной действительности, но и путеводитель по неизведанным местам, как, например, Крым, Кавказ и Турция у Пушкина. Таким образом, начиная с XVIII века, русское слово и русская литература, находясь на перекрёстке Запада и Востока, приобрели статус своеобразной призмы, устами прозаиков, поэтов, мореплавателей и странников отражающей зарубежную действительность.

С XVIII века по наши дни причины для западных, и не только, путешествий не всегда совпадали с желанием «рубить окно» или грызть гранит науки в зарубежных учебных заведениях. Они являлись то поиском свободы мысли, то поиском себя и своих корней, а порой и самоцелью. Автор данной статьи, анализируя некоторые лирические и эпические произведения русской художественной литературы XVIII–XX веков, созданные на основе впечатлений от путешествий, предпримет попытку:

- понять мотивы писателей и поэтов, побудившие их создать художественный образ того или иного места;
- проанализировать образы описанных в произведениях мест;
- выделить в исследуемых произведениях отражение описанной эпохи и её культуры.

В качестве литературно-географических локаций были выбраны три города, небольшие по своим административным па-

раметрам, но в ту или иную эпоху являвшиеся очагами развития определённой области русской или славянской культуры в целом. Одним из них является расположенный в центре Турции город Кайсери, являвшийся центром распространения христианства с III по XI век, и близлежащая территория под названием Каппадокия, через которую пролегал путь апостола Павла [Kostof, 1989, цит. по: Каракава, 2013], также являющаяся местом рождения великомученика Святого Георгия, а впоследствии – местом зарождения монашества и аскетизма [Христианство в Каппадокии, 2014]. Позднее, в XIX веке, немецкий город Гейдельберг (Хайдельберг), расположенный недалеко от Марбурга, академического приюта Ломоносова, и Баден-Бадена, прототипа места действия в романе Ф.М. Достоевского «Игрок», и являющийся родиной самого старого в стране университета. Он стал своеобразным научно-культурным очагом и литературным центром русской интеллигенции. Начало XX века, являясь периодом формирования литературы русского зарубежья вообще, стало таковым и для эстонской столицы Таллинн, имевшей, однако, и ранее русские литературные общества и органы печати. Вот лишь одни из немногих причин, побуждающих исследовать города Кайсери, Гейдельберг и Таллинн, в которых и о которых создавались произведения в жанре травелога.

Обращаясь к специфике жанра травелога, представляющего собой обширнейший пласт мировой литературы со сложившимися жанровыми константами, мотивами и образами, со своеобразной символикой и формами выражения [Шульженко, 2013, с. 247], мы встречаемся с русскоязычными терминами «путевая проза» и «литература путешествий», основным классификационным критерием которых является дихотомия «художественное – документальное» [Мамуркина, 2013]. В данном контексте актуально определение художественно-документальной литературы как разновидности литературы, совмещающей признаки художественной и документальной словесности путём накопления элементов эстетического в описаниях реально бывшего и должного [Мамуркина, 2013].

Исследуя упоминания и образы города Кайсери и близлежащей территории Каппадокия в русской литературе, обратимся прежде всего к истории отношений двух народов – русского и турецкого – и истории соприкосновения русской, в частности, славянской и христианской культур с землями, в наши дни принадлежащие Турецкой Республике. С начала нашей эры прибофорские и анатолийские территории, находившиеся во владении Римской империи, а впоследствии – Византийской империи, являлись, как известно, областью распространения христианства. Особенно содействующими данному явлению местами были современный город Кайсери, в 17-ом году н.э. переименованный из «Мазака» в «Кесарию» императором Августом [Kostof, 1989, цит. по.: Karakaya, 2013], и близлежащая территория Каппадокия, в силу своего особенного ландшафта служившая местом возведения пещерных городов и монастырей.

Военные события данного периода, а именно, войны Митридата в I веке нашей эры, вдохновили Иосифа Бродского, побывавшего в Турции и в 1985 году написавшего эссе «Путешествие в Стамбул», на создание стихотворения «Каппадокия». В данном произведении эта местность предстаёт перед нами как:

...горы, чьи
вершины, устав в равной степени от багрянца
зари, лиловости сумерек, облачной толчеи,
приобретают – от зоркости чужестранца –
в резкости, если не в чёткости [Бродский, 1992].

Образ местности Каппадокии полон цветов, оттенков и запахов, передающих атмосферу и эмоции сражений тех лет. Произведение вобрало в себя как беспощадный и воинственный дух времени, так и отношение самого автора к «пыльной катастрофе Азии» [Бродский, 1985].

Сведения о Малой Азии уже в начале XII века попадали на Русь из рассказов паломника Игумена Даниила, причём начало официальных отношений Московского государства с Османской

Турцией датируется 1492 годом, а в XVII–XVIII веках бывший молдавский господарь Дмитрий Кантемир заложил основы научных знаний о Турции [Контакты, 2008]. Военные события тех времён – Русско-Турецкие войны XVII–XIX веков, повлёкшие за собой не только политические, но и лингво-культурные изменения в русском и турецком обществе, по временной шкале практически слились с периодом большевистского движения и формированием СССР, в свою очередь, ставшими причиной массовой эмиграции, в том числе и в Турцию. В Стамбуле, в 1919–1920 годах пережившем одну из обширных волн русской эмиграции, 13 февраля 1921 года выходил журнал «Зарница», отражавший образ жизни русскоязычных константинопольцев [Üçgül, Eriş, 2007].

В конце XIX века побывавший в Турции и вообще много путешествовавший Дмитрий Мережковский в качестве места действия первого романа трилогии «Христос и Антихрист» выбрал «Цезарею Каппадокийскую», представшую перед читателем как «... лесистые отроги Аргейской гор при большой римской дороге», сопровождающейся каменными плитами с изображениями языческих богов, которые «считались изображениями христианских святых»; в романе читатель встречает Мацеллум – бывший дворец каппадокийских царей с огромными тёмными спальнями и потайными лестницами, Арианскую базилику святого Маврикия, построенную почти целиком из разрушенного храма Аполлона [Мережковский, 1993].

Ещё более субъективный оттенок данной местности придаёт диалог героев:

– Лучше бы я согласился быть последним в Константинополе, чем первым в этой поре <...>

– Да, жизнь здесь, можно сказать, невесёлая <...> Ну уж зато и спокойная [Мережковский, 1993].

Мережковский, создавая эмоциональный образ местности, отражает своё отношение к ней, а вместе с тем и свою жизненную философию, основанную на принципах борьбы и слияния

языческого и христианского начал. Исходя из исторической значимости Каппадокии в противостоянии данных религиозных систем, можно считать выбор местности главным мотивом данного произведения Мережковского.

На рубеже XX и XXI веков жанр травелога, особенно в контексте повествований об отдалённых от эмигрантского мегаполиса местах, таких как «Сокровенная Каппадокия», как её называет Георгий Юдин [Юдин, 2010], и Кайсери¹, приобретает значение для «духовно-эмоционального познания личности, открывающей для себя в новых землях, в новых географических пространствах свою сущность, свои внутренние духовные ориентиры и потребности» [Шульженко, 2014, с. 249]. Вероятно, именно такое значение приобрело для Глеба Шульпякова путешествие по Турции, описанное им в романе «Книга Синана», переведённом также на турецкий язык [Şulpyakov, 2009]. В данном произведении город Кайсери упоминается эпизодически, но играет одну из смыслообразующих ролей, являясь местом рождения архитектора Синана:

...чуть свет автобус бросил якорь в Кайсери. Широкая пустая площадь, солнце встало, но пока зябко. <...> Цены в туалет упали вдвое – пять сотен против тысячи; провинция. <...> Только одинокий турок у вокзальной витрины полирует машину. <...> Улицы прямые, широкие, обсажены пыльными деревьями. Трёх-четырёх этажные дома с балконами. Смахивает на римский пригород. Все спят, хотя кое-где уже открыты лавки [Шульпяков, 2004, с. 47–48].

Автор дополняет описание исторической справкой:

... Под римлянами город назывался Кесария, здесь располагалась резиденция наместника. В средние века на базарной площади сходились караванные пути с востока на запад, и здешние кушцы перекупали товар оптом, торгуясь зло, до победного [Шульпяков, 2004, с. 48].

¹ В Кайсери с 1206 по 1890 годы действовало первое в мире здравоохранительное учреждение, в настоящее время являющееся музеем и расположенное в парке имени великого архитектора Синана.

Делает заметки о культуре и характере местных жителей:

Это про них сочинили, что нет хитрее купца, чем купец из Кайсера. Потому что купец из Кайсери даже еврея перехитрит, переспорит [Там же].

Не забывает и неизменного спутника города – гору Эрджияс (Эрджиес):

... раскинув розовые крылья, поднималась здоровенная трёхглавая гора Эрджияс – и вибрировала сквозь кубические километры воздуха... [Шульпяков, 2004, с. 48]; Ночью в Кайсери жара немного спадает, с горы как из гигантского кондиционера струится прохладный воздух [Шульпяков, 2004, с. 57].

Образ города – свежий, утренний; гора Эрджияс предстаёт перед читателем как огромный поток свежести, уверенности. Цвета – светлые, как нельзя лучше сопутствующие повествованию о «золотой», просветительской эпохе в истории сегодняшней Турции, и о человеке – Синане, увековечившем свой родной город в эстетике османской архитектуры. «Книга Синана» представляет собой пример созидательного описания в современном жанре травелога, где реальные исторические события, переданные красками восприятия автора, создают и передают читателю неповторимый образ, тем самым повествуя о его мотивах – воссоздать ощущение азиатской культуры времён великого архитектора (XV век) и показать её следы в сегодняшнем Кайсери.

Среди лирических произведений, главным героем которых является небольшой, но полный истории и первооткрывателей город Кайсери, выделяется цикл стихотворений Григория Певцова, полный метафорических приёмов, передающих весь эмоциональный спектр восприятия автором города и его «жителей» – «дремлющей вершины Али» и «невесты Эрджиес». Образ местности создан, как и в вышерассмотренных произведениях, во многом при помощи игры цветов и оттенков, как, например, в стихотворении «Зов муэдзина»:

Над Землёю рождается звук,
 Растекаясь огнём многоцветным.
 К синей бездне возносится жар... <...>
 Вязь холодных мерцающих звёзд умирает... <...>
 Чтобы будущий день не погас... [Певцов, 2010, с. 234];

или в других стихотворениях этого цикла:

Чёрный полог над бездной косматой
 Рассечён златозарным клинком.
 Сине-пепельный ответ заката
 Тихо гаснет над дальним хребтом.
 Золотых и пылающих светов
 Полон тайны небесный альков»;
 «В купол врезан квадратик лазури,
 Он венчает таинственный свод.
 Томный жар нежно-синей глазури
 Дышит влагой струящихся вод [Певцов, 2010, с. 234].

Если у прозаика Глеба Шульпякова Эрджиес ассоциируется с силой, то Григорий Певцов, снова при помощи цветов и сравнений, создаёт образ невесты:

О, невеста моя Эрджиес,
 Ты закрыла лицо пеленой облаков белоснежных,
 Что сливается с небом, как парус сливается с ветром,
 И уходит в чертог лучезарного Феба...
 [Певцов, 2010, с. 235].

Создавая художественный образ, автор обращается преимущественно к природным понятиям: «звук», «свет», «бездна», «высь», «небо», «облако», «звезда», «месяц», «огонь», «вода», «прибой», «закат». Бывавшие в этом городе обязательно узнают его – возвышенного и в прямом (1054 метра над уровнем моря), и в переносном смысле – в данных произведениях; а не видевшие – непременно смогут воссоздать этот образ в своём воображении.

Мы движемся на запад, в Германию, в эпоху русского реализма, а затем и серебряного века, и нашими спутниками,

а скорее, гидами, становятся И.С. Тургенев, О.Э. Мандельштам и Саша Чёрный. Бесспорно, количество русских деятелей науки и культуры, на рубеже XIX–XX столетий побывавших в таких городах, как Гейдельберг, Баден-Баден, Марбург, намного больше упомянутого в данной статье. Гейдельберг, чей средневековый замок пережил не одно поколение правителей, в особенной степени притягивал и по сей день притягивает имеющих страсть к образованию, искусству и литературе, в частности, своим университетом имени его основателя курфюрста Рупрехта I и статусом «романтической столицы» Германии.

Примечательно стихотворение Саши Чёрного «Немецкий лес», написанное в 1910 году, создающее реально-символистичный образ как прилегающего к городу Гейдельберг (Хайдельберг) лесного массива, так и собирательный образ, продиктованный представлением о немецкой культуре как культуре точности, педантичности, прозрачности и повсеместной «окультуренности»:

Улитки гуляют с улитками
По прилизанной ровной дорожке,
Автомат с шоколадными плитками
Прислонился к швейцарской сторожке.
Солидно стоит под осиною
Корзинка для рваной бумаги,
Но, смеясь над немецкой рутинною,
В беспорядке сбегают овраги <...>
Не заблудишься! Стрелки торчащие
Тянут кверху, и книзу, и в стороны.
О, свободно над лесом парящие
Бездорожные старые вороны!... [Чёрный, 1910].

Автор, рисуя эпитетами картину реальности небольшого города, считавшегося, однако, центром не только немецкой, но и международной мысли, с помощью противопоставлений и гипербола создаёт образ русского человека: в форме шутивного стихотворения он указывает на различия между русской и немецкой культурами.

В следующем, 1911 году, свет увидело другое полное иронии стихотворение Саши Чёрного, передавшее не менее характерную для жизни студенческого города Гейдельберга картину:

Профессор Виндельбанд
Введение в философию читал...
Какой талант!
Набив огромный зал,
Студенты слушали, не упуская слова,
Полны такого понимания живого,
Что Кант на небесах сердечно умилялся.
И сладко улыбался.
Вдруг, оборвав рассказ
(Должно быть, опасаясь, что забудет), –
Профессор заявил, что в следующий раз
Он им читать не будет,
Затем, что приглашён в учёное собрание
На заседание.
Вмиг крики поднялись
И топот ног и ржанье –
Философы как с цепи сорвались:
„Noch! Noch! Благодарим! Отлично! Bravo!“
Профессор посмотрел налево и направо,
Недоумённо поднял плечи
И, улыбаясь, перешёл к дальнейшей речи» [Чёрный, 1911].

В данном произведении, по своей ритмике так похожему на басню Крылова, мы видим собирательные образы – студента, русского человека. Автор предоставляет читателю возможность, пусть и с иронией, прочувствовать «дух Гейдельберга» (нем. *Der Geist Heidelbergs*). В 1907 году, ссылаясь на поэта Фридриха Гундольфа, ему дал определение социолог Альфред Вебер – атмосфера, впитавшая в себя всё новое от начала XX столетия в Германии, вдохновляющая в духовном и личностном плане и открытая всем направлениям, своего рода откровение [Weber, 1986, p. 179].

Перу Осипа Мандельштама, прибывшего в 1909 году в Гейдельберг и создавшего там от 15 до 23 стихотворений [Нерлер,

2013], принадлежат следующие философские строки, вошедшие в сборник «Камень»:

Ни о чём не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Тёмная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывёт дельфином молодым
По седым пучинам мировым

[Мандельштам, 1913, цит. по: Нерлер, 2013].

Данное стихотворение, как и гейдельбергские произведения Саши Чёрного, основано на противопоставлении разума и «звериной души», что можно проинтерпретировать как раздумья, на которые натолкнула жизнь русскоязычного студента в западной стране, как рефлексию привычной и новоизведенной культуры. И в том, и в ином случае, творчество, мотивирующее поэтов повествовать о стране своего временного пребывания, содержит в себе и поиск, и ностальгию, и познание себя с новой стороны, в отражении зеркала новых реалий.

О реалиях русского человека в географическом контексте Баден-Баден – Гейдельберг повествует и Иван Тургенев, часто бывавший там в доме у хирурга и опекуна русских студентов Ивана Пирогова, где проходили обсуждения новых романов писателя, идеи которых – в частности, идея «нигилизма» романа «Отцы и дети» – пустили прочные ростки в сердцах местных студентов [Русские писатели и музыканты в Хайдельберге, 2007]. В романе «Дым» автор так описывает город:

... вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции; раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские, журналы <...>; в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии – ни о чём другом и слышать не хотят <...> А пройдёт пять-шесть лет, и пятнадцать человек на курсах

не будет у тех же знаменитых профессоров <...> ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым! [Тургенев, 1867].

В данном случае географическо-литературная локация Гейдельбер не просто знакома автору как романтический город одного турне, а является прожитой и прочувствованной метафорой, источником размышлений о «ветрах», о мирах, о столкновении и взаимодействии культур, об их последствиях.

Одним из таких последствий является возникновение понятия литературы русского зарубежья, сопутствующее политическим изменениям в жизни российского общества. На территории современной Эстонии, ранее входившей в состав СССР, уже к XIX веку сформировались русскоязычные органы печати и объединения, например, первый в Прибалтике русский журнал «Радуга», издававшийся в 1832–1833 годах, основанный в 1989 году «Литературный кружок», при котором в 1929 году была создана секция поэтического творчества «Чугунное кольцо» [Тагго-Новосадов, 2002, с. 6; Исаков, 2001]. Состоявший в Ганзейском Союзе и переживший события Северной войны начала XVIII столетия, город Таллинн повлиял не только на направление международных торговых путей, но и направление литературных путешествий русских авторов – М.Н. Муравьёва, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина [Исаков, 2001].

Начало XIX века было ознаменовано пополнением библиографии литературы русского зарубежья именем Игоря Северянина и его произведениями, отражавшими как местный быт и культуру, так и личные размышления на тему отдалённости от родины. Впервые побывав в Эстонии, на Нарвском взморье, уже в детстве, а с 1912 года сравнительно регулярно проводя лето в Тойла, в 1918 году он связал свою оставшуюся жизнь с этой страной, масштабно развив эстонскую тему в своём творчестве [Исаков, 2001]. Живя преимущественно на востоке Эстонии, в городке Тойла, и повествуя читателю о морских волнах, отражая в них свои чувства и отношения с исторической родиной,

он всё же посвятил некоторые свои стихотворения её столице – Таллинну, до 1919 года носившему имя Ревель. Например, написанное в 1918 году стихотворение «В Ревель», где читателю предоставляется возможность «пройти» по улицам и паркам, «увидеть» море:

Упорно грезится мне Ревель
И старый парк Катеринталь.
Как паж влюблённый королеве
Цветы, несу им стрюфосталь.
Влекут готические зданья,
Их шпили острые – иглой, –
Полуистлевшие преданья,
Останки красоты былой.
И лабиринты узких улиц,
И вид на море из домов,
И вкус холодных, скользких устриц,
И мудрость северных умов... [Северянин, 2002, с. 34].

Данное произведение свидетельствует о значении, которое автор придаёт месту своей эмиграции: с влюблённостью, мечтой и мудростью ассоциируется у Северянина ганзейский город, ведь именно красота и предания Эстонии, ум её жителей и гостей являются постоянными объектами описания в его эстонской поэзии.

«Сонеты о Ревеле», датируемые 1935 годом, продолжают передавать читателю восхищение поэта, а также являются своеобразным лирическим очерком, содержащим историческую справку, обличённую в вымысел сюжета:

Зелёный исчерна свой шпиль Олай
Возносит высоко неимоверно.
Семисотлетний город дремлет мерно
И молит современность: «Сгинь...Растай...»
Вот памятник... <...>
Ах, кто из нас, сознайтесь, не в восторге
От встречи с «ней» в приморском Кадриорге,
Овеселяющем любви печаль?
Тоскует Линда, сидя в волчьей шкуре...

Здесь побывал датчанин, немец, швед
И русский, звавший город Колыванью.
С военной знавались стены бранью,
Сменялись часто возгласы побед...

[Северянин, 2002, с. 58–59].

Эстония, уже до периода эмиграции Северянина став частью его миропонимания, творчества и объектом ностальгии, создаёт глубокий, образ как его «родного» Тойла, так и Ревеля, современного Таллинна. Описания поэта актуальны и на сегодняшний день – он сумел передать дух города, сопоставляя прошлое и настоящее, мечты и реальности, сообщая читателю вероятный мотив их создания – потребность передать, увековечить историю и образы мест, сопровождавших поэта «и в горе, и в радости».

Передать дух современного Таллинна очень точно удалось поэту Григорию Певцову, красочно и сказочно описавшему и город Кайсери, о котором упоминалось выше. В его цикле «Стихи о Таллинне» мы сталкиваемся с тремя произведениями – «Таллинн. Полёт с вышгорода», «Старый Таллинн» и «Храм Св. Александра Невского в Таллинне». В первом стихотворении, как и в случае с анатолийским Кайсери, образ города создаётся при помощи цветов и сравнений – ассоциаций с эпохой прибалтийского средневековья:

Мечта – готическая мачта
Нордического храма-корабля,
Плывущего по седине залива
Над вещей белизною февраля,
Над внешней влагой города и моря...
Флажок железный вьётся, как живой,
Над рябью черепицы огневой,
Память в веках над городом и миром,
Над диким северным Варяжским Римом,
Над вечной и свинцовой синевою [Певцов, 2012, с. 11].

Стихотворение «Старый Таллинн» «окунает» читателя в атмосферу времён Ганзы, автор перечисляет их символы, тем самым высказывая своё пристрастие к эпохе и её культуре:

Музыка Ганзы звенит... <...>
Вкруг путовских колпаков
В лёте шальных облаков
Шпили танцуют в небесном просторе,
Львы золотыми булавками с кровель
Колот полёт облаков... <...>
И человек бессмертный в небесном дозоре
Нежный и ласковый город хранит [Певцов, 2012, с. 11].

О связи эстонской и русской культур, о значении православного храма в прибалтийской столице как хранилища русской истории рассказывает стихотворение Певцова «Храм Св. Александра Невского в Таллинне»:

Там бессмертное время России –
И была в нём, и будет, и есть, –
Кровоточащей правдой Мессии
Искупившей варяжскую честь... <...>
Голос вечности гулок и внятен...
Пусть на палубе нет никого,
Жив «Варяг», и матрос жив Понягин,
Мичман Отг, лейтенант Дурново [Певцов, 2012, с. 11].

Из вышеприведённого анализа можно сделать вывод о мотивах, сопутствующих созданию произведений, повествующих о литературно-географических локациях. Соприкосновение с новым всегда сопровождается сравнением, анализом – произведения в жанре травелога можно считать мотиватором рефлексии и поиска новых форм создания литературного образа. Так, авторы анализируют свои предпочтения и образ мысли в новом культурно-географическом контексте (Саша Чёрный и Мандельштам о Гейдельберге, Мережковский о Каппадокии), основой чему служит рефлексия привычной и новой культур (размышления

Тургенева в романе «Дым»), сопоставление прошлого и настоящего определённого города (Северянин и Певцов о Таллинне), исследование влияния деятельности отдельных личностей на развитие местности в целом (Шульпяков о Кайсери), позитивное или негативное отражение образа местности в собственном характере (Бродский о Каппадокии, Северянин об Эстонии, Певцов о Кайсери). Своеобразие словесным пейзажам городов придают как цветовая гамма, выбранная автором для описания местности, так и восстановленные исторические события, символы эпох, особенности культуры местных жителей.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Образованность, рутинность немецкой культуры и согласие с природой; пыльность и бездонность Анатолии, её просветительские корни; гармония, ностальгия и ганзейская музыка – неисчерпаемые темы глубоких по содержанию, символичности, историческому и эмоциональному наполнению произведений, в которых отрефлексирован прибалтийский Таллинн, анатолийский Кайсери и рутинный, но открытого новому Гейдельберг, пополнившие в разные эпохи копилку русского травелога.

Литература

Балаян Д. Стамбул 88 лет спустя // Всемирный следопыт. №13. 2008. С. 8–21.

Бродский И.А. Путешествие в Стамбул. URL: http://lib.ru/BRODSKIJ/br_istambul.txt (дата обращения: 26.11.2014).

Бродский И.А. Каппадокия. World Art. Art in all displays. URL: <http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7843> (дата обращения: 26.11.2014).

Исаков С.Г. Русские писатели и Эстония. Эстония в произведениях русских писателей XVIII – начала XX века. Таллинн: Изд-во «КПД». 2001.

Контакты // Всемирный следопыт. № 13. 2008. С. 100–101.

Мамуркина О.В. Травелог в русской литературе XIII – нач. XIX в.: трансформация эстетической парадигмы // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: материалы XXV международной заочной научно-практической конференции.

(8 июля 2013г.) URL: <http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/8438----xviii---xix> (дата обращения: 01.09.2014).

Мерезжковский Д.С. Смерть богов. Юлиан Отступник. М.: Изд-во «Художественная литература». 1993.

Нерлер П. Мандельштам в Гейдельберге. URL: <http://www.partnerinform.de> (дата обращения: 15.11.2014).

Певцов Г.Д. Зов Муэдзина // Международный литературный альманах «Муза». № 15. 2010. С. 234.

Певцов Г.Д. Чёрный полог над бездной косматой... // Международный литературный альманах «Муза». № 15. 2010. С. 234.

Певцов Г.Д. В купол врезан квадратик лазури... // Международный литературный альманах «Муза». № 15. 2010. С. 234–235.

Певцов Г.Д. Слышится глас муэдзина... // Международный литературный альманах «Муза». №15. 2010. С. 235.

Певцов Г.Д. О, невеста моя Эрджиес... // Международный литературный альманах «Муза». № 15. 2010. С. 235.

Певцов Г.Д. Таллинн. Полёт с вышгорода // Международный литературный альманах «Литературные знакомства». М.: Изд-во «Нонпарель», 2012. С.11.

Певцов Г.Д. Старый Таллинн // Международный литературный альманах «Литературные знакомства». М.: Изд-во «Нонпарель», 2012. С.11.

Певцов Г.Д. Храм Св. Александра Невского в Таллинне // Международный литературный альманах «Литературные знакомства». М.: Изд-во «Нонпарель», 2012. С.11.

Русские писатели и музыканты в Хайдельберге. Stadt Heidelberg. URL: <http://www.guideheidelberg.de> (дата обращения: 12.11.2014).

Северянин И.В. Ревель! Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. Таллинн: Изд-во «КПД». 2002.

Северянин И. Сonetы о Ревеле. Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918-1940 гг. Таллинн: Изд-во «КПД», 2002.

Тагго-Новосадов Б.Х. О русской литературе в Эстонии 1918–1940 гг. Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. Таллинн: Изд-во «КПД», 2002.

Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. Учебное пособие для университетов и педагогических институтов. М.: Изд-во Учпедгиз, 1959.

Тургенев И.С. Дым. Классика. URL: <http://az.lib.ru/> (дата обращения: 12.11.2014).

Христианство в Каппадокии. Русская православная церковь. Смоленская православная духовная семинария. URL: <http://www.smolensk-seminaria.ru/nauka/doklad/kappadok.php> (дата обращения: 21.11.2014).

Чёрный С. Немецкий лес // Электронная библиотека отечественной и зарубежной поэзии XIX–XX веков. URL: <http://www.stilhi-xix-xx-vekov.ru> (дата обращения: 15.11.2014).

Чёрный С. Профессор Виндельбанд... // Литературный портал, посвящённый творчеству известных русских поэтов. URL: <http://www.100stix12.ru> (дата обращения: 15.11.2014).

Шульженко В.И. Грузия как эмиграция для русских писателей XX века (по материалам «литературы путешествий»). Literature in Exile. Emigrants' fiction (20 century experience). Volume I. VII International Symposium. Contemporary Issues of Literary Criticism. Tbilisi: Institute of literature Press, 2014.

Шульпяков Г. Книга Синана. М.: Изд-во «AdMarginem», 2004.

Юдин Г. Сокровенная Каппадокия. Москва: Изд-во «Белый город», 2010.

Karakaya N.Ç. Roman and Byzantine Architecture in Kayseri. (Ed. Özdem, F.) City of the Caesars Kayseri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.

Şulpyakov G. Sinan'ın Kitabı. İstanbul: Güner Yayınevi, 2009.

Üçgül S., Erinç E. Rus göçmenlerin İstanbul yolculuğu (XX. Yüzyıl başlarında). ICANAS 38, vol. 7, pp. 3287–3297. Türkiye, 10-15 Eylül, 2007.

Weber A. Der Geist Heidelbergs. Heidelberg-Lesebuch. Stadt-Bilder von 1800 bis heute. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1986.

Olga Dalkylych

Erciyes University (Turkey)

THREE WORLDS, THREE EPOCHS, THREE CULTURES: ECHO OF THE CITIES HEIDELBERG, TALLINN AND KAYSERI IN RUSSIAN LITERATURE OF THE XVIII–XX CENTURIES

Abstract. There is a thought, that every city has its own spirit. The ones, who go there, feel it; the ones, who write about a city, aim to describe it; the readers research it. Once you feel it with your own experience and read the description of this spirit, you need to research it

and to share the findings. The present paper explores the descriptions of three cities in Russian literature of the XVIII–XX century – Heidelberg (Germany), Tallinn (Estonia) and Kayseri (Turkey) – as well as reflections of their cultures, the character of related epochs. The paper also reveals the reasons, motivated the authors to bring the cities in their works of fiction, fiction-documental or documental literature. The current research makes parallels between authors' motives, shows unordinary and special features in literary images of the cities, that are small in size, but rich in their spirits and that became home for travelers and city experts.

Keywords: Heidelberg, Kayseri, Tallinn, travelogue, XVIII–XX century, motif, literary image, culture.

Information about the author Olga Dalkylych, lector, bachelor of Adult Education, Erciyes University / Turkey (38039 Melikgazi/ KAYSERİ, Turkey. Tel.: (0090) 542 5588 727. E-mail: olja.fjodorova@gmail.com).

А.Н. Безруков

Бирский филиал Башкирского государственного университета

**ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТЫ
ТРАВЕЛОГА В ПОЭМЕ ВЕН. ЕРОФЕЕВА
«МОСКВА – ПЕТУШКИ»**

Аннотация. В исследовании воспроизведен анализ ключевых характеристик травелога поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Путешествие главного героя – Венички – осуществляется в пределах постмодернистских координат. Основными приемами введения в «жанр» путешествия «Москвы – Петушков» становятся: интертекст, ризома, симулякр, пастиш, языковая игра, смысловой диалог. Для Ерофеева травелог – не форма создания текста, но метод познания жизни. Мотив путешествия реализует идею правдоискательства. Интертекстуальность поэмы представляет собой сферическое целое, наполненное смысловым множеством. Трансформация смыслов, их генерирование происходит как трансцендентально (внешне), так и имманентно (внутренне). Регулирует развитие поэмого травелога и автор, и герой, и читатель. Путешествие превращается в «Москве – Петушках» в игру знаками, идиомами, культурными кодами. Пространственно-временные координаты (история, культура, литература) расширяют текстовое поле поэмы, делают его объемным. Резонанс множества прочтений не лишает ерофеевский текст самодостаточной цельности, но обертоно укрепляет его позиции. Время и пространство поэмы приобретают контуры сферического целого, которое транслирует поток кодовых значений, трансформируя их. Форма путешествия воплощается Ерофеевым не столько фразовым (языковым) наличным корпусом, сколько методом постижения реальных, бытийных законов человеческого существования. «Москва – Петушки» является новой моделью постмодернистских координат воплощения авторской интенции.

Ключевые слова: Вен. Ерофеев, «Москва – Петушки», путешествие, травелог, рецепция топоса, интертекст, ризома, симулякр, повествователь, читатель, реципиент.

Сведения об авторе. Безруков Андрей Николаевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литерату-

ры, методики преподавания русского языка и литературы Бирского филиала Башкирского государственного университета (452455, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 120-В, кв. 9. Тел. (34784) 3-42-59. E-mail: in_text@mail.ru).

Венедикт Ерофеев – классик русской литературы XX века, герой полу-легенды, в которой он стал Веничкой, автор широко известной поэмы «Москва – Петушки» (1969) [Ерофеев, 2001], ставшей классическим вариантом русского постмодернистского письма.

В поэме «Москва – Петушки» используется язык постмодернистской ситуации литературного сбива. Автор блестяще сочетает культурную изысканность с вызывающей грубостью, используя нарочито прием эпатажа, сознательного протеста против системного способа рождения мысли:

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепоею я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне по вечерам! [Ерофеев, 2001, с. 34–35].

Постмодернистское начало проявляется на всех уровнях художественного полотна: текст, язык, смысл. Тем самым предваряется рождение новой модели понимания мира, но с классических обертонов истории. Поэма «Москва – Петушки» стала не только литературным памятником ушедшей эпохи, но и свидетельством непрерывности литературно-художественного процесса. Она связывает в единое целое и наследие античности, и средневековые образования, и тексты классических форм. Зачастую постмодернистские тексты создаются на материале предшествующих литературных традиций; правильнее сказать, сотканы из материала всей мировой истории, литературы, культуры в целом, всего того, что уже было пережито, написано, сказано. Стремление преодолеть тоталитарность мышления, языка, собственно конструкта неразрывно связано у Ерофеева, как

и у других писателей-постмодернистов, с отвоевыванием свободы – личной, общественной, читательской.

Повествование Ерофеева носит цитатный характер, который не позволяет забывать, что перед читателем постмодернистский текст, пространство которого открыто в текстовую и культурную бесконечность. Все в «Москве – Петушках» к чему-то обязательно отсылает: «“Я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями” – Намек на Гоголя, сжегшего рукопись второго тома “Мертвых душ”, а также реминисценция финала “Мастера и Маргариты” Булгакова» [Ерофеев, 2001, с. 425], дается намек на исторический факт, на художественный текст, культурный код: «Ты лучше вот чего: возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься – парафраза на тему евангельской истории искушения Христа» [Ерофеев, 2001, с. 500]; и все это не позволяет утвердиться в однозначности. Универсальные культурные знаки дублируют друг друга: жизнь у Ерофеева – это и поезд, и беседа, и судьба, и крестный путь, и полилог всего со всем, и путешествие. Путешествие в мир грез, в мир литературных моделей, в мир слов, текстов. Путешествие понимается неким процессом обретения самости главным героем – Веничкой:

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу... [Ерофеев, 2001, с. 50].

Форма путешествия в литературном тексте известна с древних времен [Зарецкий, 1999, с. 399–400]. Именно с ее помощью возможен условный переход во времени и пространстве (миф, коллективное бессознательное, народно-героическое полотно). Наиболее известными примерами *путешествий* в европейской литературе являются: античная классика (мифология Древней Греции и Древнего Рима, «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, тексты Апулея), Новый Завет – Путь Христа (деяния как «путешествие по миру»), рыцарские легенды Средневековья

(в частности, поиски Святого Грааля), тексты «Божественной комедии» А. Данте, «Дон Кихота» М. де Сервантеса, исторические хроники У. Шекспира, «Фауст» И. фон Гёте, «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона, «Потерянный рай» Дж. Мильтона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта, «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини, литературный XX век (Г. Гессе, Э. Хемингуэй...).

Литературный процесс в России также не обошел эту форму. Включение вариации травелога свидетельствует о наследовании европейского «жанра» и некой переработке узловых факторов данной конструкции [Безруков, 2007]. К классическим отечественным образцам следует отнести фольклорные предания, тексты древнерусской литературы («Хождения за три моря» Афанасия Никитина), «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова, «Идиот» Ф.М. Достоевского (духовные странствия героя), «Казачи» Л.Н. Толстого, ряд произведений Н.С. Лескова, «Остров Сахалин» А.П. Чехова, путешествия XX века («Путешествие дилетантов» Б. Окуджавы, «Книга путешествий по Империи» А. Битова, «Желтая стрела» В. Пелевина, «Путешествие в седьмую сторону света» («Казус Кукоцкого») Л. Улицкой, «ЖД» Д. Быкова).

На первый взгляд, традиционно форма путешествия позволяет автору осуществить «остановку» мира, детальнее воспринять его, увидеть пространство с целью познания. Так как в большинстве случаев путешественник, чаще всего он же герой, убеждается в кризисном состоянии бытия, а вместе с тем – и «в собственном своем кризисном состоянии» [Зарецкий, 1999, с. 399], это необходимо принципиально. Одновременно с этим происходит некое стирание личности, ее растворение в собственной истории: «...своя биография и страна со своей историей ста-

новятся *равномасштабны*. Открывается: одно и то же действие, если найти к нему путь и предпринять его, разрешит и кризис страны, и кризис личности» [Зарецкий, 1999, с. 400]. Именно такой путь избирает Ерофеев в поэме «Москва – Петушки»: это и путь-преодоление, и путь-паломничество, и путь-скитание, и путь-чтение.

По мнению В. Муравьева [Муравьев, 1991], поэма «Москва – Петушки» продолжает ряд произведений русской литературы, в которых *мотив путешествия* реализует идею правдоискательства («Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Чевенгур» Платонова...). Поиск правды для героя поэмы Вен. Ерофеева – самоцель. Правда жизни, свобода слова, выход к чистой истине помогают герою/автору понять мир в тех масштабах, которые заданы в онтологическом начале:

Скучно тебе было в этих проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получиай свою суету... [Ерофеев, 2001, с. 25].

Исторически сложилось, что мотив путешествия становится необходимым условием практически для каждого художественного текста. Именно «путешествие» как форма позволяет создателю реализовать контакт близко осязаемого с тем, что перспективно интуитивно «видно». Герой (отправляющийся, отправленный, подвигнутый, втянутый, вовлеченный, решившийся, следующий, находящийся) в модели путешествия обязательно преодолевает путь, открывающий ему поведенческие приметы (условия движения в «среде»), условную истинность жизни. Нахождение в ситуации путешествия уже с мифологического времени – есть покорение и принятие для себя «надчеловеческого».

В русле обозначенных текстов, ряда положений общего характера можно предложить типологию путешествий в виде следующей расширительной сетки. Позиционно основными точками отсчета будут «автор», «текст», «читатель»; взаимозависимость друг от друга; пространственно-временные координаты

пути, так как хронотоп – «формально-содержательная категория литературы» [Бахтин, 2012, с. 341].

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО КОНКРЕТНЫ (четкость формы)		
Автор	Текст	Читатель
Автор первостепенно значим как точка отсчета и регулятор чтения	Летописные труды; хроникерные отметки; классический текст (четкость жанра); туристический маршрут (цикл, период); экспедиционная карта (открытие нового старого мира); географическое описание; путевые записи; дневники; коммент-фактор...	Роль читателя сведена к адаптационному уровню
ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО УСЛОВНО РАЗМЫТЫ (условность формы)		
Автор	Текст	Читатель
Автор – сторонний наблюдатель, имеющий условное отношение к происходящему	Миф; магия слова / ритуал; путешествие-долг; путешествие-сказка; путешествие-скитание; странствия; Ветхий Завет (иерархичность); Новый Завет (путь- страдание); паломничество; литературная инсталляция...	Читатель – промежуточное (транслирующее) звено

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРДИСКУРСИВНЫ (процессуальность формы)		
Автор	Текст	Читатель
Автор – совершенная конъюнктивная форма	Дискурсивная практика; текст-цитатник; центон; квази-текст; чат-история; симулякр слова/текста...	Читатель – редуплицирующая условная фигура

По своему объему «Москва – Петушки» – произведение небольшое, оно *каталогизировано* в форме путешествия (названия глав, пунктов следования маршрута электрички). Глава «Москва – Серп и Молот» начинается в поэме каталог перегонов между остановками на железнодорожной ветке 'Москва – Петушки'. Казалось бы, предметный мир текста фрагментарен, однако переплетение изображения с прямым сообщением, с апелляцией к опыту слушателей создает естественную структуру повествования:

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все... [Ерофеев, 2001, с. 111].

В тексте вполне ощутима эстетическая мотивировка образа мира, дыхания жизни. Такая организация вовсе не формальное соединение отдельных деталей, а сложная смысловая картина человеческой жизни (каталогизирование производилось еще авторами Ветхого Завета).

Позднее схожий прием использовали Л. Стерн («Сентиментальное путешествие»), А. Радищев («Путешествие из Петербурга в Москву»), Н. Карамзин («Письма русского путешественника»), Н. Гоголь («Мертвые души»). Но все они писали не о перегонах, а о самих *остановках*. Иное у Ерофеева, что заставляет расценивать его как писателя-полемиста, диалогически

разрабатывающего каноны уже не буквального путешествия как формы, но путешествия как метафизического подхода к анализу «реальности». Классики писали о том, что они видят «окрест себя» – из окна вагона, их взгляд направлен изнутри наружу. У Вен. Ерофеева взгляд сфокусирован на субъективной (даже интерсубъективной) реальности, концентрирующейся внутри вагона электрички, поэтому *жизнь* в поэме протекает именно на перегонах, а не на платформах. Как только поезд доходит до конечной остановки, перегоны кончаются (но не заканчивается движение текста), течение жизни прекращается (но начинается движение/течение мысли). Такое построение дало автору возможность показать множество героев и мест, где они побывали, но главное – их поведение, беседы, споры. Вен. Ерофеев на протяжении всего повествования апеллирует к жизненному опыту читателя, активизирует его память и воображение:

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! [Ерофеев, 2001, с. 67].

Мыслящий читатель для Ерофеева становится фигурой активации смыслов.

Пространство поэмы – это и безграничные просторы вселенной, и жизнь как определенный путь, путешествие от рождения до смерти, и «путь Христа», который проходит Венечка на протяжении повествования, и пир, и вагон как определенный этап жизни и многое другое. Все эти реальности/ирреальности переплетаются в некий сплав жизни/текста. Реципиентами все прочитанное воспринимается когда как *действительное* (очевидное путешествие), когда как некая авторская *фантазия* (условный вариант):

... Двери вагонов защелкали, потом загудели... И вот – влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евгюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эриний... Гремели бубны и кимвалы... [Ерофеев, 2001, с. 152–153].

Переплетение множества цитат, аллюзий, реминисценций делает акт чтения некой беседой с читателями: «Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль». – «“Разрешение мысли” в различных контекстуальных вариантах связано, прежде всего, с Достоевским» [Ерофеев, 2001, с. 525]. В результате прочтения текста у каждого складывается свое понимание, свое видение смысла. Не случаен объемный ряд трактовок путешествия Вени (В. Курицын, М. Липовецкий, М. Эпштейн). Это позволяет говорить о незавершенности, или точнее – об открытости постмодернистского текста «Москвы – Петушков» в бесконечность. Вслед за Р. Бартом, мотивированно звучит утверждение, что «...созидание или отражение не являются здесь неким первородным “отпечатком” мира, а самым настоящим строительством такого мира, который походит на первичный, но не копирует его...» [Барт, 2008, с. 299]. Все смыслы в поэме зыбкие, подвижные (переходящие друг в друга), бездонные. Стоит потянуть ниточку и разматывается целый клубок значений (если, конечно, удастся ниточку не порвать): «Мне не нужна дрожь, мне нужен покой, – вот все мои желания. Пронеси, Господь...» – Ближайшая параллель с Пушкиным, затем реминисценция молитвы Иисуса в Гефсиманском саду [Ерофеев, 2001, с. 551–552]. А ведь число нитей, из которых соткана ткань поэмы «Москва – Петушки», сосчитать невозможно. Соответственно, путешествие – это либо сюжетный ход, либо способ рисования времени и пространства, либо эпатаж/вызов, либо следование традиции. У Ерофеева – прочный текстовый сплав/монолит.

В поэме «Москва – Петушки» выявляется большое количество традиционных культурных кодов: уже обозначенный код литературного путешествия, а также код юродствования, код исповеди, код пародии: «А после захода солнца – деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же симпровизировали съезд победителей» – Пародирование хода революционных событий в Петрограде в 1917 году» [Ерофеев, 2001, с. 463]. Все они могут быть объединены в по-

эмное целое – собственно *код русского литературного путешествия*, которое намечает автор, создатель и устроитель текста, и – *читатель* – фигура, попадающая в поле-путешествие по культурным просторам и литературным сферам. Ерофеев как демидург новой реальности, нового текста, либо «старого» текста, сложившегося из новых комбинаций, демифологизирует прошлое: «демифологизация <...> является преобразованием текста <...>, свидетельствует о возвращении к изначальной ситуации <...>» [Рикёр, 2008, с. 523], когда история прошлого еще была нова и не воспринималась как устоявшаяся. Такая оборотная сторона путешествия (в мир, в тексты, в культуры) сознательно ввергает читателя в прошлое с акцентом на «Я». Стремление узнать себя, посыл реципиенту сделать то же самое и будет конечной задачей автора как мастера смыслового диалога.

Координаты времени и пространства у Ерофеева настолько слиты в единый вариативный поток, что сложно (да и не следует) их разбивать на «землю – воду», «воздушное – космическое», собственно «время – пространство». Веничка осуществляет мысленное путешествие: путешествие к самому себе, к читателю, к современникам/потомкам. Миф, рожденный текстом «Москвы – Петушков», не покидает условных пределов терминологии: странствие – путь – поездка – полет. Полет души, «полет мысли» [Ерофеев, 2001, с. 79], которых так жаждет ощутить герой. Ведь для него это и будет настоящим путешествием, уже не своим, но всеобщим. Проекция авторского смыслового дискурса, преодолевая наличную форму травелога, совмещается с дискурсом путешествия к читателю и к самому себе. Способность дискурса развиваться вовне и внутри себя обеспечивает ступенчатость измерений таких пределов, как «даль и близость» [Бахтин, 2012, с. 355]. Мир чувств, мир переживаний, знаковый для героя/автора, да и читателя, моделирует контакт «свое – чужое», в котором уже более четко можно определиться с собственной ролью, спроецировать, воплотить мерцающий смысл: «И скажет архангел Гавриил: “Богородице Дево, радуйся, благословенна ты

между женами” – Отсылка к Ветхому и Новому Заветам, к Горькому, к Цветаевой» [Ерофеев, 2001, с. 442–443].

Приметами травелога у Ерофеева являются: текстовое начало поэмы («вышел на Савеловском») и начало метафизического маршрута героя («Москва»), сам герой (Веничка, автор, читатель), время (конкретика расписания), маршрутизация (точки станций), пассажирский состав (знаковые фигуры культуры и истории – Ахиллес, Понтий Пилат, Сфинкс и Митридат, Минин и Пожарский, Чехов и Шиллер, Римский-Корсаков и Мусоргский...), финальная граница следования («Петушки») и собственно текстовый финал («Неизвестный подъезд»). Но иначе сформирован смысловой маршрут, его начало и конец установить невозможно, он стремится к «дискурсу свободы» [Рикёр, 2008, с. 540], который лишь намечен, очерчен использованной культурной сферой. Условия игры смыслами – авторская установка для читателя. Последний «совершает физическое путешествие» с Веничкой, «нравственно – вместе с автором» [Зарецкий, 1999, с. 400]. Авторитетный каталог мыслей и идей поэтов, писателей, философов, культурологов, самого автора смешивается в сознании читателя и преодолевает границу формы (путешествия). Используется так называемая реляционная черта – частичное сообщение о факте, идентификацию смысла осуществит сознание реципиента, такой, на первый взгляд, «привативный модус <...> соответствует его потенциальной неисчерпаемости» [Барт, 2008, с. 263]. Частотная идентификация смысла трансформируется в смысловой поток, в котором сгущение знаков, наделенных коннотацией, будет происходить по мере развития культурной истории.

Ерофеев не случайно назвал «Москву – Петушки» *поэмой*, ведь данный жанр в прозаическом формате на почве русской литературы восходит к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, также названным автором поэмой. И Гоголь [Сказа, 1995], и Ерофеев представляют читателю форму лирико-эпического травелога, который по определению философически наполнен и продолжает расти в читательском сознании. Гоголевский код (пример на-

лицо) у Ерофеева разрастается до читательской игры-проекции, поездки-игры по смыслам культурной сферы: «Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и каждый вечер на моторной лодке катался» [Ерофеев, 2001, с. 101] – отсылка к опере Вагнера, к текстам Пушкина, Брюсова, Сологуба. Конфликта как такового между наличными текстами нет, смысловой конфликт связывает их в неделимую ризому, наделенную цепью “смысловых эффектов”» [Греймас, 2004, с. 154].

В результате можно говорить о том, что поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» является «новой» моделью *путешествия* (травелога), в которой вариативно сочетаются традиционные приметы этой формы: координаты отправки героя/автора/читателя, условия времени, пространственные рубежи/цели, перспектива движения персонажа, собственно сам путь-следование (маршрутизация). Остается лишь в рамках поэтики постмодернизма обозначить условия маршрута: является ли он координируемым сознанием читателя, бессознателен ли он относительно реальности (нарождающийся миф), в которой пребывает автор, либо он всецело литературное «шествие-игра», которая формируется принципами самоорганизации художественного дискурса. На наш взгляд, Вен. Ерофеев создает текстовую реальность, регулированием которой всецело занят читатель как рецептор/реконструктор культурного наследия. Соответственно, ерофеевский травелог: не форма, а метод; не линейный вариант движения, а сферическое странствие; не буквально-наличная копия текстов, а путешествие вглубь времен; не авторская догма, а читательский резонанс мнений.

Литература

- Барт Р.* Нулевая степень письма. М.: Академический Проект, 2008.
- Бахтин М.М.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012.
- Безруков А.Н.* Межжанровые взаимодействия в тексте «Москвы – Петушков» Вен. Ерофеева // *Wshod-Zachod: Dialog kultur. Tom I. Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej.* Русский язык и литература

в культурном пространстве / под редакцией Г. Нефагиной. Slupsk, 2007. С. 208–213.

Благовещенский Н.А. Случай Вени Е. Психоаналитическое исследование поэмы «Москва – Петушки». СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006.

Греймас А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода. М.: Академический Проект, 2004.

Ерофеев В.В. «Москва – Петушки» с комментариями Э. Власова. М.: ВАГРИУС, 2001.

Ерофеев Вен. Собр. соч.: В 2 т. Т.1. М.: ВАГРИУС, 2001.

Зарецкий В.А. Народные исторические предания в творчестве Н.В. Гоголя: История и биографии: Монография. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 1999.

Муравьев В. Воспоминания о Вен. Ерофееве // Театр. 1991. № 9. С. 98–108.

Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академический Проект, 2008.

Сказа А. Традиция Гоголя и Достоевского и поэма «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 4. С. 26–31.

A. N. Bezrukov

Birsk branch of Bashkir State University

**THE SPACE-TIME COORDINATES OF TRAVELOGUE
IN THE POEM BY VEN. EROFEEV
«MOSCOW – PETUSHKI»**

Abstract. This research presents the analysis of the key characteristics of travelogue poem by Venedikt Erofeev «Moscow – Petushki» (1969). The journey of the hero – Venichka – happens within postmodern coordinates. Basic techniques of introduction to the genre of «travel» of «Moscow – Petushki» are following: intertext, rhizome, simulacrum, pastiche, meaningful dialogue. For Erofeev travelogue is not a form of text, but the method of life experiencing. The motif of the journey implements the idea of seeking the truth. The intertextuality

of the poem is a spherical unity filled with the multitude of meanings. Transformation of meanings and their production can be manifested in its transcendental (external) way and in immanent (internal) way. The writer together with the hero and the reader regulates the development of the poem travelogue. The travelogue of «Moscow – Petushki» turns into the game of symbols, idioms, cultural codes. Spatial and temporal coordinates (history, culture, literature, painting) extend the text of the poem, bring special volume to it. The resonance of different opinions does not interfere with Erofeev's text sufficient integrity, but strengthens its position in the literary process. The time and space of the poem acquires the contours of the spherical unity, which brings the flow of code values with some transformation. Ven. Erofeev embodies the form of travel not that much by the phrasal (language) corpus, but more by the method of existential comprehension of the laws of human existence. «Moscow – Petushki» is a new model of postmodern coordinates in the implementation of the author's intention.

Keywords: Ven. Erofeev, «Moscow – Petushki», travel, travelogue, reception of topos, intertext, rhizome, simulacrum, narrator, reader, recipient.

Information about the author: Bezrukov Andrey Nikolaevich, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Russian language, literature and Methods of Russian language and literature teaching, Birk branch of Bashkir State University (International str., 120-B, 9, Birk, Republic of Bashkortostan, Russia, 452455, Tel. (34784) 3-42-59. E-mail: in_text@mail.ru).

Н.А. Муратова

Новосибирский государственный педагогический университет

**ПО МОТИВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ:
ПЬЕСА ВЛАДИМИРА МИРЗОЕВА «УМАЙ»**

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению поэтики пьесы российского писателя и режиссера Владимира Мирзоева «Умай». Пьеса представляет собой сценический перифраз эпизода первой главы пушкинского «Путешествия в Арзрум». Фрагмент о посещении калмыцкой кибитки максимально используется автором и с точки зрения событийного наполнения, и с позиции сценического потенциала. Особенностью организации действия в тексте Мирзоева становится трансформация нарративной модели пушкинского травелога. Фрагментарность как структурный принцип «Путешествия в Арзрум» позволяет актуализовать отдельный эпизод в рамках драматургического целого. Мы обращаем внимание на специфику авторской версии образа и позиции субъекта повествования в травелоге. В подобной перспективе наиболее выразительными оказываются составляющие актантной модели в пьесе: Пушкин – это и Пушкин путевых записок, и герой мифа. Продуктивность соприсутствия данных ролевых позиций в действии пьесы выражается в органичном освоении элементов театрализации.

Ключевые слова: травелог, Владимир Мирзоев, путешествие на Восток, пьеса, нарратив.

Сведения об авторе. Наталья Александровна Муратова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, НГПУ, корп. 3. Тел. +7 (383) 244-06-30. E-mail: nat-muratova@yandex.ru).

Владимир Владимирович Мирзоев – российский режиссер театра и кино, писатель и сценарист. Автор трех сборников прозы и пьес, выпущенных издательством «Новое литературное обозрение»: «Спящий режим» (2006), «Птичий язык» (2012), «Тавматургия: Одноактные пьесы» (2013). Слово *тавматургия*

в названии последнего сборника, ассоциативно отзеркаливающее *травмой и драмой*, сам автор в аннотации к изданию расшифровывает следующим образом: «В наше смутное время, когда квантовая физика “уперлась в Бога”, а церковь не знает, что ей делать с рациональным умом, который, хоть и кудряв, но не желает пастись под окрики пастуха и лай озверевших овчарок, – так вот в это время естественно говорить о волшебниках, чудесах и магическом освоении мира. Тавматургия (от греч. *thauma* – чудо и *ergon* – дело: чудотворная сила, творение чудес») [Мирзоев, 2013]. Сказочно-магическим перифразом короткого эпизода первой главы пушкинского «Путешествия в Арзрум» и является пьеса «Умай».

В сценической версии восточной сказки разворачивается фрагмент посещения путешественником калмыцкой кибитки.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать; котел варился посередине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень не дурная, пила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» – «***» – «Сколько тебе лет?» – «Десять и восемь» – «Что ты пьешь?» – «Портка» – «Кому?» – «Себя». Она дала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой коврик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь заесть. Мне дали кусочек кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи [Пушкин, 1981, с. 299].

Первым компонентом, который акцентно репрезентируется в пьесе, становится ориентальная тематика, специфически преломляемая в ее сказочной артикуляции и сконцентрированная вокруг встречи с роковой красавицей (шамаханской царицей). Сам нарративный вектор – путешествие на Восток – содержит богатый сюжетный ресурс, в отличие от путешествия на Запад, в Европу, которое, по сути, уже никуда не ведет и, по замечанию

Ю.В. Шатина, имеет «финалистический характер» [Шатин, 1999, с. 392-396]. Особенное значение приобретает здесь и имя героини, не указанное в пушкинском источнике, Умай, отсылающее к различным редакциям образа богини-матери у тюркских народов². Пьеса отнюдь не является инсценировкой пушкинского фрагмента, однако автор выстраивает текст таким образом, что повествовательная модель травелога выступает в нем контрапунктом и подкрепляется виртуальной сюжетикой, где путешествие, странствия героя органически включаются в ориентальные мотивные комплексы. Один из них – появление восточной девы, другие, такие как *сон*, *аллегория зверя-чудовища*, *образы восточного правителя и придворного поэта*³ также задействованы в пьесе. Причем речь может идти именно о соприсутствии самого широкого спектра отсылок по примеру того, как происходит в пьесе игра с номинациями: Умай (в качестве «позабытого» имени калмычки) оборачивается то пушкинской «степной Цирцеей», то «одной из копий Афродиты», то просто именуется *Молодая*.

Максимальное использование эпизода с калмычкой в пьесе Мирзоева проявляет себя и в частных деталях, так, очевидно, что автор пользуется не только каноническим текстом «Путешествия в Арзрум», но и первоначальной редакцией пушкинских путевых записок⁴, из которых в текст пьесы попадает колоритная деталь.

² См., например: [Потапов, 1973, с. 270–271]; [Бутанаев, 1984, с. 93–105].

Следует иметь в виду, что художественные практики Владимира Мирзоева демонстрируют устойчивое тяготение автора к восточным тематизмам, в спектаклях это часто приобретает эпатажный характер. Данное обстоятельство позволило петербургскому критику Е. Соколинскому назвать статью о Мирзоеве «Боевик режиссуры, или Восточная метафизика Владимира Мирзоева» [Соколинский, 2000].

³ Оформление данного образно-мотивного комплекса в русской литературе происходит уже в восемнадцатом веке, как убедительно показывает в своем исследовании Каримиана Фаэзеха. См.: [Фаэзех, 2014].

⁴ Я.Л. Левкович однозначно утверждает, что так называемый черновой вариант «Путешествия в Арзрум» есть не что иное, как путевой дневник Пушкина. См.: [Левкович, 1988, с.115–135].

Известно, что в черновике этот фрагмент выглядел несколько иначе: поэт там предстает настоящим покорителем степной красавицы, она же являет собой образец целомудрия, и в развязке сценки путешественник получает по голове «мусийским оружием, подобным нашей балалайке»⁵. Мусийский инструмент фигурирует в последней ремарке мирзоевской пьесы, содержание ее прямо противоположно развязке путевого эпизода, когда герой Улисс спасается бегством от степной Цирцеи. Приведем последнюю ремарку и предваряющую ее реплику:

Молодая. А сказка... И где?

Пушкин. Посмотри на меня, девочка. Глаза, говорю, подыми-ка на меня... Мы, красавица, с тобой вместе ее уже рассказали. На два голоса. Я, грешник, запевал, а ты, простая душа, подтягивала. Двести лет прошло, ты вон «портка» дошить не успела... Набей-ка мне, дядя, в трубочку табаку – курить больно хочется после твоих продуктов.

Умай поет протяжную калмыцкую песню, подыгрывая себе на балалайке. Пушкин задумчиво курит [Мирзоев, 2013, с. 176].

Свернутая, отосланная в подтекст и в контекст, наррация (незаметно рассказанная сказка) в финале обнаруживает свойства обратной сюжетной травестии⁶: не путешественник-Одиссей остался в плену у коварной Цирцеи, но сама восточная красавица околдована героем (Пушкиным), и чары его не теряют силы и через двести лет.

⁵ «Я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусийским оружием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая лобезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее» [Пушкин, 1959–1962, с. 566].

⁶ Пушкинский сказочный сюжет, генеалогию образа восточной красавицы (шамаханской царицы) и связанную с этим сюжетную травестию подробно анализирует В.Э. Вацуро. См.: [Вацуро, 2000, с. 217–234].

Ёмкость конструкции, которую выстраивает В. Мирзоев, четко обозначена границами пушкинского эпизода, и первая ремарка пьесы дает полный абрис ситуации:

1829 год. Калмыцкая кибитка, обтянутая белым войлоком. Семейство из шести человек собирается завтракать, окружив большой котел. Дым выходит в отверстие, сделанное сверху. Молодая калмычка, дочь хозяина, шьет и курит трубку. Входит Пушкин [Мирзоев, 2013, с. 169].

В отношении последнего указания (*Входит Пушкин*) отметим, что «Умай» – это не только одноактная пьеса, это одно явление. Самый распространенный маркер драматического эпизода в драме – это ремарки *входит* и *выходит*, при этом ремарки *Пушкин выходит* в пьесе нет, хотя инерция источника явно ее прогнозирует («... и поехал от степной Цирцеи»). Исходя из этого, можно говорить как о стабилизации некоего драматического конструкта, так и об остановке самого сюжетного принципа движения – к следующей дорожной перипетии. Никаких других эпизодов «Путешествия в Арзрум» в тексте Мирзоева нет, однако, автор использует особый механизм актуализации широкого фона пушкинского путешествия. Основой актуализации в данном случае выступает специфическая особенность пушкинского дорожного сюжета, многократно охарактеризованная как фрагментарность. И.Л. Мухранели, например, прямо указывает, что «на первый взгляд, путевые записки Пушкина напоминают "собрание пестрых глав"» [Мухранели, 2013, с. 160]. О качественном измерении этой фрагментарности подробно говорит лингвист Мария Ланглебен, когда анализирует синтаксические модели пушкинского травелога. Исследователь подчеркивает: «Фрагментарность, то есть слабая связь между небольшими, отлично отполированными кусками текста, по всей видимости, входит в стилевое задание ПА» [Ланглебен, 2002, с. 181].

В целом фрагментарность как принцип структурной организации не противоречит наррации травелога, в случае же

драматургического перифраза она выступает дополнительной структурной мотивацией для оформления автономного сегмента повествования. Особенно интересно, что в смысловом плане «замыкания» не происходит, и дискурсивная ткань текста Мирзоева оказывается пронизанной элементами нелинейных сюжетов арзрумских записок. В частности, расширение актантной модели происходит за счет включения внесценических элементов интриги. Так, в пьесе появляется Николай I: тяжелое покровительство царя, навязчивый контроль над поэтом обнаруживают себя здесь гротескно-эмблематически: Пушкин достает из дорожной сумки сотовый телефон и звонит царю. Эллиптичность построения реплик и угадывание ответов абонента контрапунктно проясняют особый сюжет этих отношений.

Пушкин. Николай Павлович?.. Здравствуйте, ваше величество... Это Пушкин, Александр Сергеевич, вас беспокоит... Так точно. Я теперь нахожусь в Поволжье, по дороге на Кавказ... Как не предупредил?.. У меня официальное разрешение от главнокомандующего, графа Паскевича... Нет, возвращаться с полпути мне решительно невозможно... Я по... Я понимаю, что вы обо мне тревожитесь, однако же... Понимаю... Однако, ваше величество, я уже не юнец и могу нести ответственность за свои поступки... Что до моих анти... Что?.. антиправительственных, говорю, сочинений, то все они подделка и клевета... Да, но это все старье, чуть не двадцать лет назад писано, нового ничего нет пока что... Это не угроза, это, пардон, голый факт... [Мирзоев, 2013, с. 174–175].

Другим звеном фоновой контекстной интриги «Путешествия в Арзрум» выступает, как известно, завуалированная декабристская тема. Развивать данный аспект в рамках рассматриваемой проблемы было бы неуместно, поэтому приведем лишь одно замечание: «Пушкин написал книгу холодную и неожиданную. В ней упоминались опальный Ермолов и декабристы, – правда, скрытые в тексте ”Современника“ под прозрачными инициалами, но ”алфавит“ декабристов был всем слишком хорошо известен» [Шкловский]. У Мирзоева этот «алфавит» из прозрачного

намек обращается в магическое заклинание, которым Пушкин при случае предлагает воспользоваться калмычке, причем сам герой в соответствии со сказочной интенцией обретает чудесную генеалогию:

Пушкин. <...> Клык сей волшебный достался мне от матери моей, Волчицы Ивановны. Родила она нас на большом чухонском болоте во второй день Гекаты – всего шестерых близнецов. Один из них я, другой – Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин – третий. А также Рылеев, Каховский, Пестель. Имена эти следует хранить в строжайшем секрете, потому что, когда русский царь заглянет к тебе в кабинку, то бишь в кибитку, да потребует: «Ну-ка, Умай, ступай ко мне в шатер быстро», – тут нужно имена эти вспомнить, выкрикнуть в полный голос, и сразу вся дурь из головы царской выскочит вон [Мирзоев, 2013, с. 173].

Важно, что репрезентации контекстов пушкинского «Путешествия в Арзрум», несмотря на экстравагантность и смену модальности, выполняют функцию указания на развернутый нарратив, более того, на его не всегда ортодоксальные рефлексии. Кульминация пьесы «Умай», где происходит чудесное преобразование героя, отсылает к одной из сопровождающих текст арзрумского травелога легенде, а именно – к воспоминаниям Н.Б. Потоцкого, которые, нужно заметить, академическое пушкиноведение считает не вполне надежными. Речь, разумеется, идет о случае в осетинском селении, где, по словам Потоцкого, «одетый во все красное, в турецкой феске, он (Пушкин. – *Н.М.*), гримасничая, изображал черта и так напугал жителей, что они стали бросать в него камни» [Потоцкий, 1932, с. 5]. Как кажется, именно «узнаваемость» данной сцены, неоднократно анекдотически артикулированной в русской литературе двадцатого века, используется автором пьесы:

Молодая. Пчёлы твоя служить? Слова туда-сюда носить?.. Умай голова есть... Ты не Искандер... Кто ты есть такой? Ну?!

Пушкин. Я?.. Русский шайтан! Видишь, когти длинные? Клык на шнурке. Разорву на фиг в клочки все ваше басурманское семейство! Надоело мне тут с вами шутки шутить!.. [Мирзоев, 2013, с. 175].

Игровая ипостась рассказчика, несомненно, имеющая место в «Путешествии в Арзрум», отчасти обнаруживает себя в своеобразном продлении эпизода посещения калмыцкой кибитки. Во-первых, он выступает прообразом стихотворения «Калмычке», а во-вторых, уже черновой набросок стихотворения играет значительную роль в ситуации его предъявления офицеру вместо письменного предписания, что лишней раз указывает на театральный потенциал поведения путешественника⁷.

Очевидно, что реинтерпретации образа и позиции субъекта повествования проистекают из статуса повествователя в жанровой интенции травелога, где рассказчик и есть одновременно биографическое лицо и главный герой описываемых событий. В подобной перспективе концептуально обозначены составляющие актантной модели в пьесе: Пушкин у Мирзоева – это и Пушкин путевых записок, и герой мифа. Оригинальность и продуктивность соприсутствия названных ролевых позиций в действии пьесы обеспечивается художественной верификацией тезиса о «карнавальности» путешествия. А. Шёнле, обобщая умозаключения по поводу театрального измерения «Путешествия в Арзрум», отметил: «В любом случае, Пушкин воспринимал Кавказ как гигантскую театральную арену» [Шёнле, 2004, с. 241], камерная сценическая площадка представлена в пьесе В. Мирзоева «Умай».

⁷ «Он (армянин. – Н.М.) явился вместе с офицером, который потребовал у меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыгться в своих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций» [Пушкин, 1981, с. 320].

Литература

Багратион-Мухранели И.Л. Мотив чудесного исцеления В «Путешествии в Арзрум» А.С. Пушкина // Вестник ТвГУ Серия «Филология». Вып. 6. Тверь, 2013. С. 160–167.

Бутанаев В.Я. Культ богини Умай у хакасов // Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 93–105.

Вацуро В.Э. «Сказка о золотом петушке»: Опыт анализа сюжетной семантики // Пушкинская пора. СПб.: Академический проспект, 2000.

Ланглебен М. Иконизм синтаксиса в «Путешествии в Арзрум» Пушкина // Тыняновский сборник.: Девятые тыняновские чтения. Исследования. Материалы. Вып. 11. М.: ОГИ, 2002. С. 181–199.

Левкович Я.Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л.: Наука (Ленинградское отделение), 1988.

Мирзоев В.В. Тавматургия: одноактные пьесы, сценарий. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. 1972. М., 1973. С. 270–271.

[Потоцкий Н.Б.] // Вересаев В.В. Пушкин в жизни. 5-е издание. Т. 2. М.; Л.: Academia, 1932. Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т 7. М.: Правда, 1981. Т. 7.

Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум. Ранние редакции // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1959–1962.

Соколинский Е. Боевик режиссуры, или Восточная метафизика Владимира Мирзоева // Петербургский театральный журнал. 2000. № 20.

Шатин Ю.В. Отъезд за границу: Судьба мотива в русской классической литературе // Традиция и литературный процесс. Новосибирск: Изд-во СО РАН, науч-изд. Центр ОИГТМ СО РАН, 1999. С. 392–396.

Шёлле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий 1790–1840. СПб.: Академический проспект, 2004.

Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина. URL: litrus.net/book/read/1241?p=23 (20.12.2014).

Фаззех К. Восточные мотивы и образы в русской прозе и драматургии II-й половины XVIII века. Дисс. ... канд. филол. наук по специальности 10.01.01 – русская литература. М., 2014. URL: <http://www.dslib.net/russkaja-literatura/vostochnye-motivy-i-obrazy-v-russkoj-proze-i-dramaturgii-ii-j-poloviny-xviii-veka.html>

N.A. Muratova

Novosibirsk State Pedagogical University

**INSPIRED BY A TRAVEL:
STAGEPLAY «UMAY» WRITTEN BY VLADIMIR MIRZOEV**

Abstract. This note is devoted to the poetics of the play “Umay” written by Vladimir Mirzoev, a Russian writer and film and stage director. This play has the form of scenic periphrasis of the first chapter in Pushkin’s drama “A Journey to Arzrum”. The fragment concerning the visit to a Kalmykian nomad tent is used as much as possible by the author, both against the background of eventful contents and from the perspective of scenic potential. The specifics of the performance ordonnance in Mirzoev’s text lie in the transformation of a narrative model of Pushkin’s travelogue. Fragmentariness as a structural principle of “A Journey to Arzrum” allows us to actualize a particular episode as part of a dramaturgic unity. We pay attention to the specificity of the author’s version of the images and to the subject position of the narration in the travelogue. In such a perspective, the most expressive are the components of the actantial model in the play: Pushkin is both one Pushkin from the notes of a journey, and another Pushkin who is a hero of the myth. The productivity of co-presence based on the given role positions in the play action is expressed in the organic application of the stage elements.

Keywords: Travelogue, Vladimir Mirzoev, a journey to the East, stage play, narrative

Information about the author Natalya Aleksandrovna Muratova, Candidate of philological sciences, the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University. (NSPU, Viluyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: nat-muratova@yandex.ru).

Н.В. Константинова

Новосибирский государственный педагогический университет

**«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ДИСКУРС»
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «КРАСНАЯ СТРЕЛА»)¹**

Аннотация. В работе представлен анализ специфики «железнодорожного дискурса» в современной прозе на материале сборника «Красная стрела», который был создан специально к 175-летию железных дорог России при поддержке издательства АСТ. Дискурсивный анализ произведений о путешествии по железной дороге позволяет определить не только специфику восприятия пространства железной дороги, поезда, характер передвижения путешественника на данном виде транспорта, но выявить особенности ощущений, переживаний, впечатлений героя-путешественника, характер взаимоотношений пассажиров в поезде, субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения (автор-герой-читатель), указать специфику точки зрения, описать путешествие на поезде как ментальное событие. В рамках данного исследования на примере анализа рассказов, эссе, путевых дневников были выявлены основные элементы «железнодорожного дискурса» в современной прозе: олицетворение поезда-путешественника, описание железной дороги как субъекта, ощущение динамичности железнодорожного путешествия, особой скорости при смене пространства, восприятие поезда как русского вида транспорта, национальная самоидентификация путешественника в поезде, определение темпа и ритма русской ментальности в вагоне поезда, осознание железнодорожного пути как человеческого следа в природном пространстве.

Ключевые слова: «железнодорожный дискурс», герой-путешественник, национальная самоидентификация, точка зрения, ментальное событие.

Сведения об авторе. Константинова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русской

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – XX веков»).

и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилуйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: scribe2@yandex.ru).

Первая железная дорога была создана в 1803 году в Лондоне, а в России поезда появились лишь через треть века – в 1837 году, путешествуя между Петербургом и Царским Селом. В 1840 году М.И. Глинкой был сочинён романс на стихи Нестора Васильевича Кукольника под названием «Попутная песня». Это стихотворение и стало в русской литературе точкой отсчета для последующих художественных произведений, в которых описывалось путешествие по железной дороге.

Предметом же литературоведческих исследований становится, в первую очередь, специфика пространства, особый локус – железная дорога. Следует отметить, что понятие железной дороги подразделяется, как правило, на три более мелких «микролокуса»: вокзал, поезд и пути (поезд в движении), – и для каждого из них выделяются характерные смысловые центры. Хотя для каждого из «сублокусов» «железнодорожного» текста характерны свои особые мотивные и художественные компоненты, общим для всех определяется единая и для вокзала, и для поезда, специфическая железнодорожная «звучность». Вокзал оглашают шум и гам провожающих, встречающих, пассажиров, свистки и грохот поездов, вокзал полон вибраций. Поезд звучит и в пути, в самых разных диапазонах: от тихого и ритмичного монотонного стука, «шепота» колес и до громогласного пения. И внутри поезда есть своя музыка – лирическая мелодия пассажирских разговоров.

Произведения о путешествии по железной дороге также отличаются часто повторяющиеся темы и мотивы. Вокзал – место встреч и – чаще – расставаний, разлуки, причем расставание или встреча происходит на «людском» фоне, среди множества других людей, других историй встреч и расставаний, что усиливает глубину реализации такой темы.

Железнодорожное путешествие всегда неотделимо от разговора, разговора философского, как диалога, так и монолога-думы. «Разговорность» «железнодорожного» текста во многом определяется спецификой пространства поезда: поезд – пространство замкнутое, в котором негде развернуть активное, не-словесное действие, вследствие чего основной единицей текста на железнодорожную тематику будет диа- и монолог. Почему философский, проникнутый меланхоличностью? На это отвечает повествователь в рассказе Л.Н. Андреева «В поезде»:

Не знаю отчего, но все люди в дороге становятся философами: оторванные от обычного, они точно просыпаются и с удивлением смотрят назад и вперед, и вспоминают очень далекое, и грезят о таком же далеком грядущем. Если бы человеческая мысль могла стать образом, то каждый стремительно бегущий поезд окутался бы роем теней, и не слышно бы стало его грохота за тысячами их протяжных и глухих голосов. Для людей в вагоне нет настоящего, проклятого настоящего, что в тисках держит мысль и в движении руки – быть может, оттого люди в вагоне и становятся философами [Андреев, электронный ресурс].

Так, характеризуя «железный путь русской литературы», В. Березин отмечает следующую закономерность: «Русская литература навек обручена с путешествием. Она связана с дорогой так же, как связана история России с ее географической протяженностью. Одно определяет другое, и это другое, в свою очередь, начинает определять первое. Путь вечен, движение неостановимо» [Березин, электронный ресурс]. Но путешествие по железной дороге – это особый путь, который неотделим от диалога:

Кстати, длина железнодорожного пути между Санкт-Петербургом и Царским Селом, о котором пишет Кукольник, составляет 26,7 километра. Но дорог все больше и больше, они ветвятся, как крона гигантского дерева.

Вот и садятся пассажиры – один напротив другого, едут сутки, вторые.

– Позвольте рассказать вам историю... Я вот жену убил, а у вас что нового?

Качается вагон, проводник зажигает свечи. Пульмановские вагоны придумают еще нескоро. Пока пассажиры приговорены к бессоннице и взгляду в упор, приговорены к ночному разговору [Березин, электронный ресурс].

Еще один мотив, связанный с движением поезда, мотив несколько устаревший, но ощутимый во многих текстах, – мотив прогресса, устремленности в будущее, часто вызывающее столкновение человека и машины – олицетворения века, который «шествует путем своим железным». Исследуя образ железной дороги в русской литературе, С. Комагина отмечает: «Решая вопрос, что сильнее – человеческое или техническое, в искусстве и медиакультуре последнее часто трактуют как “нечеловеческое”, неодолимо сильное, враждебное, механическое, металлическое, бездушное, безжалостное, уничтожающее, имеющее интеллект, но не имеющее души» [Комагина, 2011, с. 41]. Такое восприятие, безусловно, предопределяет и неизбежное отрицательное отношение к феномену железной дороги. Негативные коннотации представлены не только в первых произведениях о путешествии по железной дороге, но в более широком культурном контексте: «Железная дорога вызвала в сознании человека XIX века негативные ассоциации и связывалась с хтоническим пространством потому, что многие строители нашли при ее возведении смерть, получили увечья из-за жестоких жизненных условий: эта дорога для многих буквально оказалась дорогой смерти, да и само возникновение нового вида транспорта повлекло за собой коренные перемены в жизни всего общества» [Комагина, 2011, с. 41].

М. Ямпольский, в частности, отмечал: «Первые путешествия по железной дороге породили определенный канон их описания в категориях баллистики. Этот же канон предполагал метафорическое превращение пассажира в механизм, вещь, лишенное чувств физическое тело» [Ямпольский 2000, с. 244]. Однако, несмотря на множественность подобных характеристик, путешествия по железной дороге становятся устойчивым и все более привлекательным объектом описания в произведениях XX века.

Популярный в русской литературе XIX века сюжет смерти от поезда, мотив «безжалостного прогресса», постепенно заменяются новыми мотивами и сюжетами, герои осознают глобальное значение поезда и железной дороги. Так, например, буквально признается в любви к поезду герой рассказа Л. Андреева «На станции»:

Я никого не ждал, и некому было приехать ко мне; но я люблю этих железных гигантов, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести и силы, и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей. Они кажутся мне живыми и необыкновенными; в их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека, и, когда они кричат повелительно и свободно, я думаю, так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке [Андреев, электронный ресурс].

Особое восприятие путешествия по железной дороге, осознание специфики пространства поезда, ощущение пассажиром скорости и динамики определяет, в частности, повышенный интерес авторов серебряного века к «железнодорожной» тематике. Так, Е.А. Ковалева утверждает о формировании особого «железнодорожного дискурса» в поэзии серебряного века: «Железная дорога, являясь артефактом культуры и определяя смену образа жизни человека, положила начало формированию в культурном пространстве нового типа дискурса – “железнодорожного”» [Ковалева, 2009, с. 3]. По определению автора, «“железнодорожный дискурс” – это совокупность интерпретационно-тематически и культурологически связанных текстов, представляющих в своём “лексиконе” один из “возможных” миров, центральным концептом которого выступает концепт “железная дорога”, его концептуальные слои и концептуальные признаки, и по совокупности признаков он (“железнодорожный дискурс”. – *Н.К.*) соотносим с поэтическим дискурсом» [Ковалева, 2009, с. 4]. Основываясь на лингвокогнитивном анализе «железнодорожного дискурса» поэзии серебряного века, Е.А. Ковалева отмечает наличие «повторяющихся в поэтическом тексте концептуальных призна-

ков, гештальтов, носящих знаковый характер для национальной культуры в целом...» [Ковалева, 2009, с. 6].

Исследуя «дорожные дискурсы» уральского тревелогога XVIII – начала XX веков, Е.Г. Власова замечает: «Дискурсивная природа описания железнодорожных впечатлений точно схватывает непосредственную связь между способом действия, в нашем случае путешествия, и спецификой его литературного воплощения. Поскольку путевая литература самым непосредственным образом связана с характером передвижения путешественника, формирование подобных ”дорожных” дискурсов являются одним из основных механизмов ее развития. Образ пространства, создаваемый путешественником, опосредован способом контакта с ним» [Власова, 2010, с. 116].

Таким образом, дискурсивный анализ произведений о путешествии по железной дороге позволяет определить не только специфику восприятия пространства железной дороги, поезда, характер передвижения путешественника на данном виде транспорта, но выявить особенности ощущений, переживаний, впечатлений героя-путешественника, характер взаимоотношений пассажиров в поезде, субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения (автор-герой-читатель), указать специфику точки зрения, описать путешествие на поезде как ментальное событие.

Несмотря на некоторый спад популярности железных дорог как вида транспорта в XXI веке, произведений на железнодорожную тематику каждый год появляется немало («Желтая стрела» В.О. Пелевина [Пелевин, 2000], сборник «Красная стрела» [Красная стрела, 2012]), и художественный код этих произведений сохраняет черты, присущие ему и в XIX, и в XX веках.

В рамках данной статьи особое внимание будет уделено специфике «железнодорожного дискурса» в современной прозе на примере рассказов и эссе, вошедших в сборник «Красная стрела», созданный специально к 175-летию железных дорог России при поддержке издательства АСТ. Главной особенностью этого сборника является принцип отбора произведений:

в него вошли эссе, рассказы и путевые дневники, в которых тема путешествия является главным сюжетообразующим элементом. Как объясняет один из составителей сборника Сергей Николаевич в предисловии:

Да и само название, взятое напрокат у знаменитого экспресса, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной атрибутикой. Правда, атрибутикой уже слегка устаревшей, неактуальной. Вытесненной из продвинутого сознания стерильным комфортом и сверхскоростью неумолимого «Сапсана».

И все-таки «Красная стрела»! Почему? Потому что стрела, потому что летит, потому что в ночь, потому что красная, как кровь, которая стучит в висках при мысли о захлопнутой двери в купе СВ, в этом последнем прибежище для бездомных влюбленных 70–90-х годов. Всем, кто был счастлив и хотя бы однажды любил в «Красной стреле», посвящается... [Красная стрела, 2012, с. 6–7].

Следует отметить, что данный сборник (его структура, нарративная природа, тематика, сюжетный репертуар, иллюстрации и т.д.), в свою очередь, является своеобразным «исследованием» «железнодорожного» текста. С самого начала повествования читателю определена роль путешественника по железной дороге, а сама книга (сборник «Красная стрела») уподобляется поезду: «Итак, просьба ко всем провожающим освободить вагоны. Наш поезд отправляется...» [Красная стрела, 2012, с. 7]. Кроме того, после такого символичного «отправления» читатель знакомится с иллюстрациями-фотографиями, на которых все авторы произведений, вошедших в сборник, изображены пассажирами поезда, внутри пространства поезда или на перроне. Финальная же часть сборника демонстрирует фоторепортаж А. Ланге «Россия из окна поезда», который является своеобразным путевым дневником 2006–2009 годов. Показательно, что на многих фотографиях в качестве путешественника выступает поезд как субъект обозначенного сюжета о путешествии по железной дороге. Таким образом, выбранный для анализа сборник произведений со-

временной прозы о железной дороге демонстрирует совмещение разных точек зрения на событие путешествия.

В первую очередь, следует отметить, что в рассказах и эссе современных авторов о железной дороге выделяется и характеризуется, номинируется как особый жанр – разговоры пассажиров в поезде. При этом в качестве основной причины выделяется желание, даже потребность человека в общении с собеседником, которого больше никогда не увидишь. Пространство поезда, благодаря своей предельной замкнутости (купе), создает особый микромир, который существует только во время путешествия и исчезает потом навсегда. Так, например, Е. Водолазкин в рассказе «Служба попутчика» обозначает специфику этого типа взаимоотношений между пассажирами поезда:

Знаете, существует такой русский жанр – разговоры в купе. В купе рассказывают жизнь такой, как она была. Или такой, как мечталась, – неважно – никто ведь не проверяет. Главное здесь в том, что, выйдя из купе, собеседники не встречаются больше никогда [Красная стрела, 2012, с. 65].

А. Демидова определяет особую функцию этих разговоров:

Много раз замечала, что путешествие по железной дороге обладает каким-то удивительным психотерапевтическим действием. А если еще и с хорошей компанией, то все неприятности и неудобства куда-то отступают [Красная стрела, 2012, с. 118].

С. Спивакова в рассказе «Нечаянная встреча» указывает на мотив миражности в подобном сюжете:

Кому из вас не знакомы исповеди соседу по купе, случайному попутчику. Ты понимаешь, что больше никогда его не увидишь, что лишь на одну ночь он оказался в твоей орбите, и – тебя начинает нести, как поезд под откос... Искушение – прикинуться Шахерезадой, проверить свою способность сочинять сказки. И вдруг покажется в прокуренном тамбуре, что лицо человека напротив, пускающего дым тебе в лицо, отныне будет самым дорогим. Мираж этот рассеивается обычно че-

рез 30 секунд после прибытия на конечную станцию... И телефон попутчика летит скомканным бумажным шариком на дно привокзальной урны, а с ним и ночные откровения под звон подстаканников, подгагивающих на пластиковых столиках. Дверка захлопывается, ключ выкинут за ненадобностью... [Красная стрела, 2012, с. 141].

Однако, позиция путешественника «внутри поезда» во многих произведениях меняется на точку зрения более универсальную, «извне», со стороны наблюдателя. При этом акцентируется внимание на описании путешествия как ментального события. Показательно, что позиция «внешнего наблюдателя» за перемещением поезда, человека по железной дороге раскрывается в контексте национальной самоидентификации. Это своеобразная попытка ответить на вопрос: что есть путешествие на поезде в России? Т. Толстая в рассказе «За проезд!» дает свою версию ответа:

Русский наш мир, Федор Иванович, выглядит так: большая тьма, в ней две светящиеся точки: Москва и Петербург. Сбоку где-то, конечно, Европа, но она почти уже не считается. Это в ваше время она была Европой, а сейчас черт-те что, и спасения нет. И дальше во все стороны тоже тьма, и она растет и пухнет. А русская жизнь – это путешествие из Петербурга в Москву, или из Москвы в Петербург, смотря с какой стороны смотреть. Два худо-бедно озаренных блюдечка, два пятнышка света, две платформы, где можно вынырнуть из темноты – отдышаться до следующего погружения [Красная стрела, 2012, с. 80].

На национальный характер путешествия из Петербурга в Москву указывает также автор репортажа о «Красной стреле» А. Кабаков («Ночь пути»):

Две столицы – двуглавый орел – Европа и Азия – национальная психозфрения (раздвоение)...

С давних времен, еще даже не формулируя, я ощущал, что линия соединения, сращения этих сиамских близнецов и есть, по всей справедливости, действительно стольное место. Где ж оно? Да вот же, господа, стоит у перрона! Вздыхает и пускает думы поезд №1, «Красная стрела», а обратно №2, четные номера, полет вниз по карте...

Путешествие из Петербурга в Москву и наоборот всегда было, есть и будет государственным актом. Екатерина первая вполне осознала это и объяснила Радищеву.

Здесь, во всеобщих пьянках, в свиданиях незаконных пар, в обсуждениях до самого прибытия судеб России, в откровенных рассказах незнакомцев и незнакомок вершилась настоящая жизнь имперской столицы. Какой же русский не любит именно этой быстрой езды, летящих за окнами вровень с поездом ночных облаков, теплого уюта самого комфортабельного места в стране! [Красная стрела, 2012, с. 220–221].

Особым предметом описания в современной прозе становится сам образ железной дороги, который не только мифологизируется, как в предшествующей литературной традиции, но и наделяется устойчивыми положительными характеристиками в сознании путешественника: гармоничное сосуществование с природным миром, неотделимость от человеческого пространства, субъектность существования, особая автономность:

Как устроена железная дорога? Железная дорога устроена таким образом, что весь ее сложный и точный механизм вплетается в теплые ландшафты, как водоросли вплетаются в тела затонувших кораблей. Железная дорога прокладывается так, чтобы ее невозможно было вычленишь из пространства, сквозь которое она пролетает... Обычно железнодорожные маршруты совпадают с маршрутами птичьих стай... В большинстве случаев железнодорожные насыпи расположены так, чтобы лунный свет падал в окна вагонов, вырывая пассажиров из их распаханных сновидений, наполняя воздух вокруг них тенями и затемнениями, ослепляя их со сна и позволяя им видеть то, из чего на самом деле состоит всякая железная дорога – темноту, тишину и смерть... [Красная стрела, 2012, с. 310].

Характеристика железной дороги в художественном произведении, безусловно, определяется точкой зрения либо героя, либо повествователя. Современные авторы пытаются проанализировать причины изменения рефлексивной позиции человека по отношению к одному и тому же объекту реальности:

Наши отношения с железной дорогой носят характер поверхностный, утилитарный... А стоит застрять где-нибудь посреди ночных платформ... И нас накрывает эта метафизика железной дороги, опущение бесконечности, нависающей над каждым вокзалом, над каждой пристанционной будкой, над каждым переездом, о существовании которых мы даже не догадываемся. Главный секрет ЖД в том, что она совершенно не нуждается в нашем присутствии, она как река, и течет по той простой причине, что не может остановиться.

Железная дорога притягивает нас, чтобы лишить воли и сопротивления, дезориентировать и затащить в свою западню... Железная дорога – место загадочное и не до конца нам понятное, она существует по своим законам, и мы бы охотно их придерживались, если бы кто-нибудь их нам объяснил [Красная стрела, 2012, с. 314–315].

По-прежнему в литературных произведениях ключевым материалом для рефлексии персонажа остается событие путешествия, его основные атрибуты и общая семантика. Однако, в текстах современной прозы наблюдается очевидная зависимость в восприятии человеком путешествия по железной дороге от длительности его пребывания в поезде. Временной фактор определяет практически все параметры восприятия, отношения человека к событию путешествия на поезде. В качестве примера сравним описание 2-х типов путешествия: из Петербурга в Москву и из Москвы во Владивосток. Как правило, в описании проезда на поезде «Красная стрела» не встречается временных характеристик, лишь в некоторых случаях указание на длительность пути носит метафорический или ментальный характер (путешествие на поезде как часть жизненного пути):

...состав наш – основной и переменный – раз от раза варьировался; неизменным оставалось само путешествие. Это не были разрозненные поездки, а именно путешествие, длящееся если не в пространстве, то во времени.

Кто-то усаживался играть в домино или в карты, а кто читать, подкрепляться или выпивать. Поезд жил своей передвижной жизнью, но я не знаю, слышали ли аудитории наших почтенных институтов такие «лекции», столь пристрастные обсуждения и дискуссии о кино,

какие мы вели под грохот электрички или обеденный перерыв, за «трапезой» (другим словом не могу назвать «изыски», в которых мы ухищрялись, компенсируя убожество тогдашних залов, холодных зимой и неуютных летом) [Красная стрела, 2012, с. 573].

Второй тип путешествия – максимально длительный – в большей степени демонстрирует концентрацию внимания «человека в пути» на категорию времени. Так, например, травелог Д. Данилова уже в названии фиксирует временной отрезок – «146 часов», затем проводится интересное и показательное сравнение: «Все-таки 146 часов – это довольно много. Не вообще 146 часов. А в поезде, 146 часов подряд, сплошняком» [Красная стрела, 2012, с. 591]. Негативные коннотации, заданные таким восприятием длительности этого путешествия по железной дороге, постепенно распространяются на все атрибуты путешествия. Сознание человека в пути гиперболизирует любые события, происходящие в поезде: «Храпение соседа, похрапывание соседки, дружный коллективный сон пассажиров вагона... И снова тишина, вернее, не тишина. А грохот коллективного храпа» [Красная стрела, 2012, с. 594]. Постепенно сознание путешественника, сконцентрированное только на фиксации временных отрезков пути, влияет и на стиль повествования: художественное и подробное описание видов из окна поезда превращается в протокольные записи-фиксации типичных объектов природы и архитектуры:

Трогание поезда, набирание скорости, мост. Волга, храп.

... И опять молчание.

Время передвинулось на час вперед [Красная стрела, 2012, с. 598–601].

Трудности с описанием захватывающих видов природы. Гораздо легче и приятнее писать об убогих гаражах и унылых коричневых товарных вагонах. В общем, горы, сосны, долины, красота.

Все как везде [Красная стрела, 2012, с. 601].

По мере приближения героя к конечной станции растет его раздражение на окружающих, на себя, на саму ситуацию путешествия:

Хочется умолкнуть и немотствовать. Наверное, так и надо сделать до появления облезлых коричневых товарных вагонов, заброшенных железобетонных заводских корпусов или других объектов, подлежащих сколько-нибудь внятному описанию [Красная стрела, 2012, с. 607].

В отличие от рассказов о железнодорожных путешествиях, в которых человеку хотелось пообщаться со своими попутчиками, герой этого травелога, напротив, мечтает о тишине, каждый новый пассажир воспринимается как источник шума, отдельный Голос, очередной психологический раздражитель:

В вагон вошли два голоса, мужской и женский. Голоса спрашивают, где их места. Вот и вот, отвечает голос-проводник. Голоса устраиваются поудобнее. И отправление...

Чем ближе к Владивостоку, тем поезд все больше будет напоминать трамвай...

Остается надеяться, что это будут порядочные, совестливые, высоко нравственные, тактичные, деликатные, а главное – малоразговорчивые (можно немые) люди [Красная стрела, 2012, с. 620–623].

Однако длительность путешествия в финале произведения влияет на неожиданную метаморфозу в сознании путешественника: появляется новый взгляд на мир, особое восприятие пространства, масштаба пройденного пути, существенно меняется способ видения событий, формируется «иное зрение». Путешественник превращается в режиссера, событие путешествия – в фильм:

Это была своего рода экстатическая, хотя при этом ровная, спокойная радость от самого факта нахождения в таком непривычно дальнем путешествии, от того, что уже пройдено несколько тысяч километров и еще больше предстоит пройти. В этом состоянии все объекты

кажутся в равной степени интересными и даже прекрасными, будь то заснеженные горные вершины, воды Байкала, электровозы, нелепые гаражи или руины промышленных зданий.

В контексте этой поездки десять часов – мизерный, исчезающе малый временной интервал, но вообще-то это много, ни один поезд Москва – Петербург не идет так долго.

Странно сейчас вспоминать, как поезд отправлялся с Ярославского вокзала, проезжал мимо Яузы, Северянина... как сломался вакуумный биотуалет, как непосредственные соседи, самые первые, говорили о плавленом сырке и картошечке «Роллтон», как полковник в отставке рассказывал о своей огромной зарплате, как три парня и девушка перебрасывались тарелкой-фрисби во Владимире. Сейчас это все воспринимается как эпизоды какого-то малохудожественного фильма [Красная стрела, 2012, с. 624–627].

Дискретность восприятия пространства за окном поезда фиксируется и в последнем рассказе сборника А. Ланге «Сухопутный пароход». Описывая идею создания проекта «Россия из окна поезда», автор акцентирует внимание на особом восприятии поезда как путешественника по России, на необходимости воспроизведения увиденного из окна как единого текста в виде отдельных фотографий, объединенных в одно целое, что позволит передать сочетание разрозненных атрибутов железной дороги и цельного образа пространства, увиденного из окна поезда:

Так родилась идея почти одушевленного поезда-путешественника, который будет бороздить пространства страны-океана и глазами которого мы будем на них смотреть... сама железная дорога очень фотогенична. Своими беспрестанно повторяющимися шпалами, рельсами, столбами, вагонами она невероятно похожа на фотопленку, и такая же пленка из неспешно сменяющихся друг друга кадров мелькает за окном поезда, сливаясь в одно бесконечное кино.

Я думаю, что поезд вообще – очень русский вид транспорта, который во многом сродни нашему внутреннему устройству, и дело здесь именно в скорости. Потому что темп и ритм русской ментальности, как мне кажется, соответствует темпу движения поезда через пространство [Красная стрела, 2012, с. 697–702].

Таким образом, финальное произведение сборника, на наш взгляд, совмещает в себе основные элементы «железнодорожного дискурса» в современной прозе: олицетворение поезда-путешественника, описание железной дороги как субъекта, ощущение динамичности железнодорожного путешествия, особой скорости при смене пространства, восприятие поезда как русского вида транспорта, национальная самоидентификация путешественника в поезде, определение темпа и ритма русской ментальности в вагоне поезда, осознание железнодорожного пути как человеческого следа в природном пространстве.

Литература

Андреев Л.Н. В поезде [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова. 1994-2013. URL: http://az.lib.ru/a/andreew_1_n/text_0132.shtml (дата обращения: 11.08.2014).

Андреев Л.Н. На станции [Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова. 1994-2013. URL: http://az.lib.ru/a/andreew_1_n/text_0284.shtml (дата обращения: 11.08.2014).

Березин В.С. «Железный путь» русской литературы [Электронный ресурс] // Журнальный зал. URL: <http://magazines.russ.ru/october/2001/8/b1.html> (дата обращения: 10.09.2014).

Власова Е.Г. «Дорожные дискурсы» уральского травелога XVIII – начала XX вв. // Вестник Пермского университета. Вып. 6(12), 2010. С. 115–121.

Ковалева Е.А. Элементы «железнодорожного дискурса» в поэзии серебряного века: лексический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009.

Комагина С.Г. Образ железной дороги в русской литературе: мифологические истоки // Ежегодник Русско-польского института. Вроцлав, 2011. №1 (1). С. 41–56.

Красная стрела: [рассказы, эссе] / составители С. Николаевич и Е. Шубина. М.: Изд-во АСТ, 2012.

Пелевин В.О. Желтая стрела // Желтая стрела. М., 2000. С. 9–65.

Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem, 2000.

N. V. Konstantinova

Novosibirsk State Pedagogical University

**“RAILWAY DISCOURSE” IN MODERN PROSE
(ON THE MATERIAL OF THE COLLECTED WORKS
“RED ARROW”)**

Abstract. The current research presents the analysis of the specifics of “railway discourse” in modern prose on the material of the collected works “Red arrow”, published for the 175 anniversary of Russian railway with assistance of the publishing house “AST”. The discourse analysis of works about railway travels allows to determine not only the specifics of the railway environment perception and the character of traveler’s movement by this transport, but also to reveal the features of feelings and impressions of hero-traveler, the nature of relationships between the passengers in the train, the subject-object and subject-subject relations (author-hero-reader), and to show the originality of the point of view, to describe the travel by train as a mental event. The analysis of the stories, essays and travel diaries shows the main elements of “railway discourse” in modern prose: the personification of a train (that is a traveler), the description of railway as a subject, the impression of dynamics in railway travel and the special speed with place changing, the perception of a train as a Russian transport, the national self-identification of a traveler in the train, the defining the rate and rhythm of Russian mentality in the train’s car, the perception of a railway road as a human track in the nature space.

Keywords: “railway discourse”, hero-traveler, national self-identification, viewpoint, mental event.

Information about the author. Konstantinova Natalia Vladimirovna, Candidate of philological sciences, head of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya str., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: scribe2@yandex.ru).

РАЗДЕЛ 3 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУС ТРАВЕЛОГА

Т.И. Печерская

Новосибирский государственный педагогический университет

ТРАВЕЛОГ В «РУССКОМ СЛОВЕ»: К ВОПРОСУ О РЕДАКЦИОННОЙ ТАКТИКЕ ЖУРНАЛА¹

Аннотация. Исследование посвящено так называемым реальным тревелогам, печатавшимся в журнале «Русское слово» (1859–1864). На материале публикаций прослеживается влияние идеологии «журнала с тенденцией», известного своей радикально-демократической позицией, на «угол зрения», способ и форму изложения впечатлений. В статье дан обзор тревелогов, разнообразных в жанровом отношении (путевые записки, письма, этнографические и беллетризованные очерки и пр.), но схожих по задачам, которые ставили перед собой авторы: просвещение читателя, выработка критического взгляда на современный мир. Представлена также и география путешествий русских в 1860-е гг. как за границу (Европа, меньше Африка, восточные страны), так и внутри Российской империи (Сибирь, Дальний Восток, ближняя и дальняя провинция). В статье затрагиваются теоретические проблемы жанровых разновидностей тревелога в аспекте диффузии документального и художественного дискурсов, рецептивные проблемы «устаревания» тревелогов, в которых преобладают актуальные для времени общественно-политические аспекты в ущерб культурно-историческим, традиционным для жанра.

Ключевые слова: тревелог, журнал «Русское слово», редакционная тактика, документальный дискурс, жанровые разновидности тревелога.

Сведения об авторе. Печерская Татьяна Ивановна, доктор филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы Новоси-

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский тревелог XVIII – XX веков»).

бирского государственного педагогического университета (630019, Новосибирск, ул. Вильюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244 03 30. E-mail: ptatiana9@gmail.com).

Литература путешествий/травелог в широком смысле – путевые записки, письма, очерки и пр. – представлена в большинстве журналов XIX века, и в этом смысле «Русское слово», ежемесячный петербургский журнал, не составляет исключения. В нашем случае интерес представляет не столько жанровый и тематический спектр подобной литературы, сколько особенность проявления редакционной тактики журнала в выборе публикуемых травелогов².

Напомним, что издателем и собственником этого журнала первоначально был граф Г.А. Кушелев-Безбородко, меценат, наследник большого состояния, известный большой симпатией к литературе и литераторам, особенно новым, так, например, он активно покровительствовал разночинской братии. Сначала Кушелев взял на себя обязанности редактора и пригласил в помощники А.А. Григорьева и Я.П. Полонского. В 1860 году он передал должность редактора Г.Е. Благодетелю, тогда же в «Русском Слове» стал сотрудничать Д.И. Писарев, и журнал сразу принял совершенно определенное – радикальное – направление, а у Кушелева начались неприятности. Издатель принял не менее радикальное и, видимо, беспрецедентное решение – в 1862 году он подарил и журнал, и типографию Благодетелю. Этим «графским подарком», конечно, Благодетелю неоднократно попрекали в журнальных баталиях, в частности, не упускал случая соперник «Русского слова» – «Современник». Так или иначе, но журнал, ставший разночинским плацдармом радикализма, своей репутацией и огромным успехом у демократического читателя обязан,

² «Русское слово» издавалось с 1859 по 1866 гг., травелог рассмотрен в выпусках 1860–1864 гг., именно во время редакторства Г.Е. Благодетеля этот едва ли не самый радикальный журнал отличался концептуальной идеологической монолитностью.

бесспорно, редакторской политике Благосветлова³. Правомерно предположить, что «случайных», проходных материалов в этом журнале почти не было, и травелог – не исключение.

В целом за пять лет в «Русском слове» было опубликовано примерно 60 текстов, которые можно отнести к интересующему нас жанру⁴. Все они объединены тематически и могут быть отнесены к типу реальных путешествий, то есть являются текстами, написанными «в параллель и по следам конкретной поездки», «в них путешествие – и тема, и сюжет, и композиция, и даже цель повествования» [Пономарев, 2013, с. 13]. Первый год существования «Русского слова» под непосредственным руководством Кушелева наглядно проявил отличие его представления о журнале от представления Благосветлова. Точнее сказать, в первый год у журнала не было никакой внятно выраженной концепции, если не считать попыток Ап. Григорьева развить москвитянинские идеи на новой почве. Характерно, что травелог в традиционном смысле слова⁵ мы встречаем только в этом, 1859-м, году. На протяжении шести номеров Кушелев-Безбородко за подписью К.Б. публикует свои записки «Воспоминания о путешествии за границей». Речь идет о путешествии в Италию, где Кушелев с семейством проводил зиму. Как литератор он искушен в заявленном жанре, его возможности и преимущества неоднократно отрефлексированы:

Я пишу свои воспоминания, а не журнал моего путешествия, и поэтому мне позволено перескакивать через города, государства, на-

³ Д. Писарев с 1862 г. фактически был «заочным» членом редколлегии, так как находился до 1864 г. в Петропавловской крепости, откуда и писал корреспонденции.

⁴ Примерно, поскольку некоторые отчеты о путешествиях публиковались частями на протяжении нескольких номеров, что в целом увеличивает количество публикаций.

⁵ Под традиционным травелогом я подразумеваю текст, написанный по следам/ во время/после путешествия, не заключающего в себе никаких других целей, кроме самого путешествия.

роды и останавливаться только там, где удержит меня невольно моя мысль [РС, 1959, январь, с. 49].

Теперь, напротив, я окончил свой путь, снова вернулся к обыденной домашней жизни. И как часто, когда я сижу в креслах после обеда и наслаждаюсь ароматическим дымком моей регалии⁶, вдруг возрастают предо мною цепи живописных гор, обросших оливами, и целые города со всеми своими чудесами [Там же, с. 43].

При этом само путешествие описано подробнейшим образом, со всеми пунктами переездов, последовательно, с мельчайшими деталями быта, обстоятельств, и это заставляет предположить, что основу текста составил все-таки своего рода дневник путешествия. При этом линейное описание рассекается множественством лирических фрагментов – впечатлений, написанных в романтическом духе, со всеми признаками вторичной литературности («...где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, – где страна любви, где нельзя жить и не любить»)⁷. Важна и другая авторская установка :

... я могу тут забыть хотя на минуту эти политические тревожения, которые постоянно запутываются, постоянно усложняются!... а что из них будет – вряд ли кому известно!... Теперь прямо за перо туриста и скромного наблюдателя [РС, 1959, апрель, с. 36].

Перед нами впечатления человека, получающего интеллектуальное и эстетическое наслаждение от прекрасной южной страны, колыбели искусства, к тому же путешественника состоятельного, путешественника первого класса (во всех отношени-

⁶ Регалия – сорт дорогих сигар.

⁷ «Дядюшкин сон» Достоевского, в котором Марья Александровна в таких выражениях описывает возможное путешествие дочери в Испанию, был опубликован в мартовской книжке «Русского слова» того же года. Заметим попутно, что Гвадалквивир в «Рассказах об Испании» Д. Каченовского, не склонного к использованию расхожих штампов, предстает иным: «Поэтический Гвадалквивир просто безобразен. Его воды окрашены самым непривлекательным, т.е. мутно-желтым <...> цветом» [РС, 1863, январь, с. 43].

ях), возможности которого ничем не ограничены, что неоднократно подчеркивается в самом тексте.

Таких травелогов в «Русском слове» мы больше не встретим. Если говорить о том же периоде, то и в 1859 году, очевидно, по инициативе Ап. Григорьева, появляется и другой тип травелога. В трех номерах (июль, август, октябрь) публикуются так называемые письма: «Письмо из Берлина», «Письмо из Парижа» и корреспонденция без обозначения жанра – «Турин и Милан» В.И. Водовозова⁸. Письма адресованы Ап. Григорьеву, но это всего лишь формальное обозначение жанра, они вполне могли бы быть размещены в разделе «Политическое обозрение», с той только разницей, что нарративная установка автора здесь целиком связана с выражением личных впечатлений от разговоров с людьми, встреч и пр. Водовозова интересует не прошлое Европы, а настоящее, он пишет «о движении современных умов». Речь идет о событиях, связанных с политическим и военным конфликтом между Австрией, с одной стороны, Италией (Сардинское королевство) и Францией, составивших коалицию, – с другой, при этом горячо обсуждается возможность вступления в конфликт России. Маршрут путешествия определяют конфликтующие страны: Водовозов переезжает из города в город – Берлин, Париж, Милан, охватывая таким образом все заинтересованные стороны. Так, он приезжает в Париж сразу после победы при Сольферино⁹, наблюдает и описывает ликование парижан. Как и в письме из Берлина, в центре его внимания – европейские политические дела.

В другом письме, сразу после осмотра Турина, корреспондент берется за пересказ газет, делится образцами политиче-

⁸ В.И. Водовозов – известный педагог, просветитель по призванию и роду деятельности, литератор, публиковавший в различных журналах, в том числе и в «Русском слове», статьи об образовании в России и Европе.

⁹ Сольферино, деревушка, где произошло крупнейшее сражение австро-итало-французской войны, состоявшееся 24 июня 1859 года между объединёнными войсками Франции, Сардинского королевства и австрийской армии. Сражение закончилось победой франко-итальянской коалиции.

ской сатиры. При переезде в Милан, как и во всяком травелоге, много места уделяется описанию красивых окрестностей, но и здесь внимание путешественника в первую очередь привлекают «следы войны». Центральным событием Миланской жизни становится торжественная встреча короля Виктора Эммануила II: описание церемониала, народного энтузиазма, толпы, давки. Как и всегда, Водовозов не оставляет без внимания содержание местных газет, в которых горячо обсуждались темы единства Италии, объединения Сардинии и Ломбардии, вмешательства Франции (Наполеона III) в дела Италии.

Такие корреспонденции, разумеется, не только плод свободной творческой инициативы и личного интереса путешественника. Это своего рода редакционно заданное, по крайней мере – редакционный запрос. Характерны, например, корреспонденции Р.В. Орбинского, тоже написанные в условной форме писем, но уже без формального адресата – «Заграничные письма» [РС, 1859, август, сентябрь, ноябрь]¹⁰. Наиболее крупные города, по которым путешествует Орбинский, – Вена, Дрезден, Гамбург. По форме эти письма ближе к традиционному травелогу, в них большое место уделено описанию маршрута, достопримечатель-

¹⁰ Р.В. Орбинский – профессор Новороссийского университета по кафедрам педагогики и истории философии, писатель, член многих ученых обществ, в разные годы он был директором Одесского коммерческого училища, секретарем Одесского биржевого комитета и Комитета торговли и мануфактуры и пр. Во время Крымской войны состоял в качестве переводчика при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе. Орбинский публиковал в «Русском слове» статьи по истории и этнографии.

ностей, чужой культуры, истории¹¹. При этом путешественник не может не интересоваться общественной жизнью, здесь та же, что и у Водовозова, тема войны, политических событий, волнующих австрийцев и немцев, он постоянно завязывает разговоры на эту тему с местными жителями, пересказывает газетные сообщения, описывает приготовления Австрии к войне¹².

¹¹ Любопытны для современного читателя сетования путешественника XIX века по поводу неудобства железной дороги, лишаящей путешественника свободы: «... езда по железной дороге бесспорно представляет большие преимущества в рассуждении скорости и дешевизны, но я никак не соглашусь с тем, что она приятнее нашего доморожденного путешествия на перекладной или в тарантасе. Для женщины или для больного удобств может быть и больше, но я не верю, чтобы человек здоровый мог равнодушно променять на комфорт вагона то чувство свободы и независимости, которое овладевает им, когда он мчится сам-друг с ямщиком в легкой телеге по необозримому простору наших степей. <...> На железной же дороге становишься товаром: тебя укладывают, перевозят, выгружают, но ты никак не едешь сам, не путешествуешь [Орбинский, РС, 1859, сентябрь, с. 1]. Тема железной дороги, судя по всему, частотна для путешественников середины века. Кушелев-Безбородко в «Воспоминаниях о путешествии» высказывает иной взгляд на этот предмет. По его мнению, хотя путешествие по железной дороге многое отняло у современного туриста, оно несопоставимо комфортнее в бытовом отношении. Но не только это определяет преимущества: уснуть в одной стране, а проснуться в другой, рассуждает он, само по себе содержит нечто удивительное и даже поэтическое [РС, 1859, февраль, с. 7–8].

¹² В обзорах литературы путешествий, написанных в конце 1850 гг. и опубликованных в различных журналах, Д. Писарев в качестве достоинства корреспондентки неизменно отмечает «серьезное направление» того или иного автора, стремящегося избежать примитивной занимательности. Так, о четырех письмах И. Бабста «Три месяца за границей», посвященных путешествию в Пруссию (публиковались в журнале Корфа «Атеней» за 1858 г. в №№ 42, 45, 50, 52), критик вынужден не без иронии «оправдывать» перед читательницами (журнал предназначался «для взрослых девиц») письма, которые могут показаться им скучными, поскольку «на первом месте у путешественника стоят политические и государственные вопросы». Рекомендую все-таки письма для чтения, Писарев отмечает их достоинства, во многом совпадающие позже с общими установками «Русского слова»: «Он (Бабст. – *Т.П.*) проводит свои идеи в живом примере, знакомя читателя с физиономией страны, с степенью ее благосостояния; он, не останавливаясь на одной наружной стороне предмета, обращается к причинам и самым наглядным образом доказывает истину тех результатов, до которых дошла современная юридическая и политико-экономическая наука» [Рассвет, 1858, № 7, с. 34]. (Д. Писарев вел библиографический отдел журнала в 1859–1861-х гг.)

Характерно, что сам стиль описания в травелогах такого типа отличается своего рода аскетичностью, он близок к документальному. Авторы нередко иронизируют над стремлением иных путешественников к «красивости» описаний, тяготивших к штампу. Приведем рассуждение автора записок под названием «Французские провинции»¹³:

Если бы умел, я бы рассказал вам о том, с каким наслаждением вдыхал я чудный воздух полей и садов, как следил за тенями, ложившимися от деревьев и каменных домиков, там и сям разбросанных, я бы поведал о том, как рокотал вдали ручеек или шумела речка, я бы рассказал вам все это тем с большим удовольствием, что в обычае наших туристов наполнять свои письма этими поэтическими описаниями, а во-вторых потому, что поэтические картины наполняют печатные листы, а печатные листы... но позвольте, что это за городок, в котором мы остановились... [РС, 1859, октябрь. III отдел. Французские провинции. М.И. С-го, с. 114].

Другой тип травелогов, связанных с путешествиями за границу, носит просветительский характер, просветительский относительно русского читателя, что целиком соответствовало направлению журнала. Вот, например, характерный редакторский комментарий к «Рассказам об Испании» Д. Каченовского¹⁴:

Эти рассказы почерпнуты из путевых записок и личных воспоминаний автора.

Он провел в Испании около пяти недель, летом 1859 года. В такое короткое время, разумеется, нельзя было думать о «глубоких и серьезных изысканиях». Но всякому туристу приходится наблюдать и смекать. Автор предварительно познакомился с языком, литературой и учреждениями народа, среди которого путешествовал, и следовательно может говорить о том, что видел и слышал в стране от нас далекой и вообще любопытной. Читатели найдут здесь также материалы

¹³ Опубликованы за подписью М.И. С-го.

¹⁴ Д.И. Каченовский – правовед, профессор Харьковского университета, западник по политическим и экономическим взглядам, один из постоянных авторов «Русского слова».

для истории испанского искусства: они собраны на месте или взяты из сочинений, изданных специалистами... [РС, 1863, январь, с. 1].

Авторы, привлекаемые «Русским словом», как и Д.И. Каченовский, в подавляющем большинстве западники. Жизнь в Европе почти всегда соотнесена с жизнью в России, идет ли речь об административном устройстве, укладе, политической системе:

Разговаривая с одним из русских, я заметил, почему бы у нас не завести для народа <...> кофейни, небольшие, но дешевые театры и проч. и проч. – что так хорошо во Франции, и что так много способствует развитию народа, смягчению его нравов, развитию его вкуса, отдаляет от развратно-пьяного убивания досужего времени. «Помилуйте, – отвечал мне русский, – наш народ еще так дик, так загрузел, что он непременно обратил бы все эти удовольствия во что-то пошрое и омерзительное» [РС, 1859, октябрь, с. 111].

В «Рассказах об Испании» мы встречаем характерный переход от местных впечатлений к суждениям о России. Заметим, что переход к публицистическому дискурсу с соответствующей риторикой характерен как для заграничных тревелогов, так и для российских:

Видя себя среди великолепных городов, окруженные памятниками широкой, свободной деятельности минувших веков, они (русские путешественники. – *Т.П.*) невольно переносятся мыслью и сердцем в отечество, где нет ничего подобного. Россия почти не пробуждает в нас этого исторического чувства, этого уважения к седой, богатой творчеством и опытом древности. <...> Вообще недостаток исторического чувства объясняет в нашем характере очень многое, больше, чем вы думаете. <...> Другие работают, успевают или ошибаются, падают и снова встают, а русский человек готовится к чему-то великому, расправляет мускулы и члены, отмеривает себе место, потирает то лоб, то затылок, толкует о реакции, не деляя шагу назад, или о прогрессе, не трогаясь вперед. <...> Через всю историю России пронеслись восклицания: авось да небось! а между тем наша страна осталась необделанною, необработанною, а кое-где даже совершенно дикою странною <...> Неужели нам суждено приходить в вечное восхищение от чужих

земель и никогда не обработать своей собственной земли! [РС, 1863, январь, с. 45–48].

И, конечно, в заграничных путешествиях не могла быть не затронута особо актуальная для 1860-х годов тема, связанная с крепостным правом. Больше всего достается Соединенным Штатам, где, как известно, рабство было отменено на несколько лет позднее, чем крепостное право в России. Соответственно можно было открыто его обличать, проводя очевидные для читателя параллели с крепостным рабством в России. Но не только Америка давала такой материал. Например, в серии корреспонденций некоего N из Алжира, северной Африки, страны, бывшей с 1848 года колонией Франции, даются подробные исторические сведения об истории страны, в частности, о двух веках турецкого завоевания, когда Алжир входил в состав в Османской империи, развернуто описываются современные арабы: нравы, вид, жизнь в Сахаре, племенные установления, отсталость, ислам, граничащий с язычеством, презрение к прогрессу, ненависть к христианам и пр. Но вот особенно подробно автор описывает о рабстве, сравнивая «арабское» рабство с российским и американским.

Остановимся на путешествиях по Российской империи, они составляют едва ли не большую часть от общего количества корреспонденций. Интерес к «внутренним» путешествиям в целом отражает этнографический бум, характерный для середины XIX века: открытие провинции как открытие новых земель, и открывателями по большей части были разночинские литераторы, утвердившие новый тип хождений (от литературных плодов странничества и бродяжничества до отчетов об этнографических экспедициях). Интересу к освоению отечественного пространства отчасти способствовало и правительство, морское ведомство, географическое общество, учредившие целый ряд научных экспедиций, в которых принимали участие и литераторы, писавшие не только отчеты, но и беллетризованные травелоги, этнографиче-

ские очерки. Кроме таких материалов, «Русское слово» публикует работы Г. Потанина, известного исследователя Сибири, Алтая, Центральной Азии («Заметки о Западной Сибири», «В Алтае»). Показательно, что в библиографическом листке журнала довольно часто попадаются рецензии на книги путешественников, главным образом на книги этнографического и научного характера. Так, в февральской книжке 1860 года, в отделе библиографии помещена подробная рецензия на книгу С.В. Максимова, этнографа и беллетриста, «Год на Севере». В духе книжных рецензий того времени, Ф. Толль¹⁵ вначале подробно излагает содержание книги. В ее основу была положена одна из этнографических экспедиций, организованных морским ведомством в различные края России (1855). Максиму достался Север, он отправился к Белому морю, добрался до Ледовитого океана и Печоры¹⁶. Однако по рецензии Толля трудно уловить этнографическую направленность книги. Он рисует в первую очередь невыносимые обстоятельства путешествия по Сибири. Сибирь – это прежде всего дикий гибельный край, где вообще невозможно человеческое существование: холод, нищета, непросвещенность «туземцев», отсутствие условий для существования. Надо сказать, что не только у Толля, у многих авторов «Русского слова» к Сибири было, безусловно, личное отношение. Сибирь для них или их товарищей была местом ссылки, прошлой или возможной в недалеком будущем.

К таким авторам относится и Н.В. Шелгунов, опубликовавший в нескольких номерах свои записки о путешествии в Сибирь – «Сибирь. По большой дороге» [РС, 1863, январь, февраль]. Первый вводный раздел путешествия называется «Нам теперь

¹⁵ Ф.Г. Толль – литератор и педагог, петрашевец. Он был приговорен к 4-летним кагоржным работам на заводах, срок был понижен царем до 2-х лет, затем он 5 лет прожил в Томской губернии. Позже Толль опубликовал рассказ о своем «путешествии» в ссылку.

¹⁶ Любопытно, что на этнографическое поприще Максимова направил Тургенев, похваливший записки начинающего беллетриста о пешеходном странствовании по Владимирской губернии.

полезнее путешествовать по России, чем за границей». Почему же? Путешествия по России Шелгунов находит поучительными. Если в Европе общественные формы уже сложились, «у нас они только приходят в брожение формируются; там добыты окончательные результаты экономических реформ, а у нас едва положено им начало <...> В этом я вполне убедился, проехав в качестве туриста от центра России до глубокого северо-востока Сибири» [РС, 1863, январь, с. 2]. Шелгунов лукавит и относительно целей путешествия, и относительно своего статуса. На деле Шелгунов описывает и европейскую часть путешествия, и уж тем более сибирскую, вовсе не с точки зрения «у нас все переверотилось и только укладывается». Провинция описывается как сонное царство (первая часть маршрута – Тверь – Пермь – Екатеринбург – Казань): застой, экономическая неразвитость, отсутствие общественных интересов, нищета населения. Приводится множество экономических и статистических выкладок и даже таблиц, что уж совсем не вписывается в жанр «записки туриста». Раздел, посвященный собственно Сибири, начинается словами: «Сибирь – страна самая холодная из всех частей земного шара. Ужас, внушаемый иностранцам даже одним словом – Сибирь – имеет верное основание» [РС, 1863, февраль, с. 4]. Сибирь и Россия будто разные государства, в назывании они всегда противопоставлены. Тюмень оценивается Шелгуновым наиболее высоко – «самый богатый и промышленный город Сибири», далее его маршрут пролегает через Тобольск, Минусинск, Томск, Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Якутск. Основные отрицательные экономические характеристики связаны с отсутствием в Сибири торговли из-за удаленности, отсутствием дорог и т. д. Те же характеристики, как и у Толля, даны местному населению, находящемуся на крайне низкой ступени цивилизации. Вообще в провинциальных, а уж тем более сибирских травелогах, виден некоторый колониальный оттенок, можно назвать его имперским. Термин «колониальный дискурс» относится к западным травелогам, связанным с путешествием европейцев в колониальные или постко-

лональные страны. Ссылаясь на С. Миллса, Е.Р. Пономарев отмечает: «... колониальное сознание выстраивает коммуникацию с колонизируемым пространством с точки зрения превосходства собственных культурных ценностей над ценностями дикарей. Миссионер и просветитель, с этой точки зрения, одинаково называются колонизаторами» [Пономарев, 2013, с. 24].

Теперь что касается статуса. Шелгунов заявляет себя в качестве туриста, что уже само по себе выглядит странно. В Сибирь туристами не ездили, а все больше по казенной надобности и принудительно (ссылка), в крайнем случае можно говорить о научных экспедициях. И действительно, Шелгунов вынужденно скрывает истинную цель своей поездки. Весной 1862 года он сопровождал Людмилу Михаэлис/Шелгунову, свою бывшую жену, в Нерчинск, ей надо было навестить в ссылке гражданского мужа и к тому же друга самого Шелгунова, поэта-народовольца М. Михайлова. Это был тройственный союз по Чернышевскому, союз новых людей без предрассудков. По косвенным свидетельствам, она хотела устроить Михайлову побег и отправить его за границу. Поездка оказалась неудачной во всех отношениях. Сам «турист» в Сибири был арестован и препровожден в Санкт-Петербург, в крепость, где пробыл до ноября 1864 года¹⁷.

В целом, провинциальные травелоги представляют собой в жанровом отношении довольно пеструю картину. Здесь и письма («Воронежские письма», «Письмо с Кавказа», «Письмо из провинции»), и «вести» («Вести из Новгорода»), и путевые заметки, дорожные записки, просто «уездные впечатления», «рассказы из жизни уездного города», очерки («С берегов Волги», «Очерки быта пригородных сел»), фельетоны, написанные после поездок в провинцию. Собственно провинция – это вся Российская империя до Уральских гор (далее идут укрупненные именованья – Сибирь, Дальний Восток). Эти многочисленные

¹⁷ В частности, Шелгунов подозревался «в связях с государственным преступником» М. Михайловым, при этом он обвинялся и в другой нелегальной деятельности.

жанровые подвиды объединены не только тематически, основу объединения составляет сам топоним провинции. Вне зависимости от типа дискурса – этнографический, публицистический, беллетристический и пр. – образ провинции устойчив и неизменен. В этом смысле большой разницы нет – приезжает ли любознательный путешественник в Воронеж или Новгород. Его встречает сонная обывательская жизнь, отсутствие общественной жизни, нищета и забитость населения. Попытки цивилизоваться, признаки прогресса неизменно вызывают иронию путешественника, описываются им в юмористических тонах. Так, скажем, анонимный корреспондент N в «Вестях из Новгорода» описывает открытие телеграфа в Новгороде (между Новгородом и Петербургом), вызвавшее большой переполох в городе [РС, 1860, январь]. В лучших юмористических традициях «Искры» передается удивление и недоверие жителей, сомневающихся в том, что по проволоке можно что-нибудь передать. Собирается толпа, и все ждут, как поведет себя проволока, когда по ней будут передавать сообщение. Поскольку с проволокой ничего видимого не происходит, все решают, что дело провалилось и расходятся по домам. Тут же приводится анекдотическая история с купцом, которого товарищи уверили в том, что по телеграфу можно передавать не только сообщения, но и предметы. Дело происходило в поезде, шутники тайком стащили на стоянке поезда саквояж товарища и стали уверять его, что они сообщат на станцию о потере через начальника поезда, а тот вышлет саквояж по телеграфу. На самом деле они прячут саквояж в поезде и на конечной станции договариваются с дежурным, передают ему саквояж и просят отдать купцу со словами, что, вот, мол, прислан вслед по телеграфу. В результате купец уверился в телеграфе и стал с энтузиазмом убеждать всех в его могуществе.

Иногда автор даже не сообщает о названии города, в котором оказался и из которого, якобы, ведет записки. В этом отношении вполне характерны «Печальные встречи (из записок тури-

ста)» Н.А. Благовещенского. «Турист» даже не считает нужным назвать город:

Далеко отсюда, где-то на юге России есть незначительный уездный городок с обыкновенной казарменной физиономией, с серыми заборами и желтыми присутственными местами, в котором обыватели вечно заняты мелкими интересами бюрократического и откупного свойства... словом, один из тех заплешневелых городков, какие сотнями раскинулись по России и похожи друг на друга, как родные братья [РС, 1863, январь, с. 1].

Герой задерживается в городе на несколько дней, чтобы дождаться товарищей, с которыми он должен продолжить путешествие. Он поселяется на квартире местных обывателей и далее следует история семейства, точнее, дочери хозяина, чья жизнь оказывается погубленной этой самой провинцией. В финале сообщается, что он дождался-таки товарищей, но куда и зачем они поехали путешествовать, даже и не сообщается. Другими словами, путешествие здесь – формальная рамка, в которую помещена беллетризованная история.

Подведем итоги. Большую часть рассмотренных здесь и просмотренных в целом корреспонденций «Русского слова» – при всем разнообразии жаровых форм – отличает очевидное идеологическое сходство. Идеология проявляется в первую очередь в интенциональной направленности любого авторского высказывания, вне зависимости от его формы, непосредственной тематики, стиля. Можно сказать, что такого рода направленность обусловлена главным образом задачами просвещения читателя, выработки критического взгляда на современный мир, общество. Издательская тактика определялась в равной степени и издателем, и читателем. Праздному путешественнику, как и праздному читателю, здесь просто не было места. Однако этот счастливый союз издателя и читателя обрекал многие корреспонденции – актуальные в политическом и общественном смысле – на быстрое «старение». Само по себе устаревание журнальной/газетной информации вполне естественно, но при этом травелог вольно или

невольно вступает в противоречие с общим законом. Травелог не настолько эгоцентричен, чтобы пренебречь природной открытостью миру, который путешественник непременно должен полюбить, в крайнем случае, бескорыстно заинтересоваться, иначе зачем и путешествовать. В собственно «идеологическом» травелоге мир, в сущности, чаще всего иллюстрирует то, что автор и так знал о нем. Разумеется, не все травелоги «Русского слова» «поплатились» за соответствие «журналу с тенденцией», однако многие из них наводят именно на такие размышления. Не только в них, но в них особенно, ярко проявляется и общее свойство травелога – он всегда «укоренен в своей эпохе и этой эпохой определяется» [Пономарев, 2013, с. 18].

Литература

Рассвет: журнал науки, искусств и литературы для взрослых девиц. СПб. 1858. № 7.

Русское слово: литературно-ученый журнал. СПб., 1859–1864.

Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2013.

T.I. Pecherskaya

Novosibirsk State Pedagogical University

TRAVELOGUE IN “RUSSKOE SLOVO”: TO THE QUESTION ABOUT THE EDITORIAL TACTICS OF THE JOURNAL

Abstract. The research is devoted to the so called real travelogues, published in the journal “Russkoe slovo” (1859–1864). The material of journal publications helps to track the ideological impact of this journal to the way and the form of impressions depicting, since it was as a “journal with tendency”, known by its radical democratic position. The paper give the review of the travelogues, different in genres (travel records, letters, ethnographical novels and novels with the trait of belleslettres), but close in the objectives set by the authors. These

objectives included educating the readers and generating the critical view of the modern world. The author also shows the geography of travels by Russians in 1860-s: abroad (mostly to Europe and less to Africa, as well as to oriental countries) or within Russian Empire (to Siberia, Far East, close and further provinces). The paper deals with the theoretical problems of genre variants of travelogue in the aspect of diffusion between documental and fiction discourses. It also reveals the receptive problems of travelogue “outdating”, caused by the dominance of current social and political aspects to the detriment of cultural and historical aspects, traditional for this genre.

Keywords: travelogue, journal “Russkoe slovo”, editorial tactics, documental discourse, genre variants of travelogue.

Information about the author. Pecherskaya Tatiana Ivanovna, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: ptatiana9@gmail.com).

А.Е. Козлов

Новосибирский государственный педагогический университет

ТРАВЕЛОГИ «НЕВСКОГО СБОРНИКА» (1867): ПРОБЛЕМЫ ЖАНРОВОГО ЕДИНСТВА¹

Аннотация. В исследовании последовательно рассматриваются три травелога, опубликованные в «Невском сборнике» 1867-го года: «Плавание по Тигру и Шатт-эль-Арабу» М. Гамазова, «Работник-бродяга. Из наблюдений путешественника над бытом рабочего класса» В.В. Берви-Флеровского и «Очерки обозной жизни» Ф.М. Решетникова. В то время как травелог Гамазова представляет классическую реализацию данного жанра, очерковые травелоги Решетникова и Берви-Флеровского носят экспериментальный характер.

Одна из ключевых тем «Плавания...» Гамазова – диалог между Европой и Азией, поиск коммуникации между западным и восточным сознаниями. Наибольшую напряженность эта тема получает в связи с описанием сакральных мест, значение которых по-разному оценивается в имперском и колониальном ракурсах. Очерки Берви-Флеровского открываются рассуждениями о поиске страны всеобщего благоденствия – российского Эльдорадо. Описание нескольких драматических эпизодов из жизни работников приисков и сибирских заводов показывает невозможность достижения подобной цели. «Очерки обозной жизни» Ф. Решетникова», представляют псевдотравелог (с очевидной антитравеложной интенцией): повествование здесь определяется психологическим комплексом униженного разночинского сознания, внешнее пространство играет роль декорации и пассивного фона. Несмотря на отсутствие единой образующей линии, три рассмотренных травелога (и очерка) образуют устойчивые варианты (прагматический, исследовательский, праздный), позволяющие сделать вывод о специфической динамике данного жанра в русской литературе XIX века.

Ключевые слова: русская литература, травелог, Решетников, Берви-Флеровский.

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII – XX веков»).

Сведения об авторе. Козлов Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Вилуйская, 28. НГПУ, ИФМИП. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru).

«Невский сборник», издание которого было инициировано В. Курочкиным, не стал прецедентом в истории литературы. Первый номер не нашёл дальнейшего продолжения, что может объясняться отсутствием единой выстроенной линии и связанным с этим низким читательским спросом. Не вдаваясь в причины этого явления, Н.К. Михайловский так описывает сложившуюся ситуацию: «"Современник" и "Русское слово" не существовали. Курочкин попробовал издать колоссальный альманах "Невский сборник", куда попала и моя статья², но дальше одного выпуска это предприятие не пошло» [Михайловский, 1995, с. 205]. Сегодня «Невский сборник» довольно трудно назвать колоссальным: на современного читателя сборник производит впечатление разнонаправленных, часто не связанных материалов, авторов которых могло объединить отсутствие возможности опубликовать свои статьи где-либо ещё.

Называя 1867-й год «мрачным годом» русской словесности, А.М. Скабичевский объясняет непростую ситуацию: «Крах "Современника" и "Русского Слова" оставил многих тружеников пера без всякого заработка. Довольно сказать, что вместо 12 книжек "Современника" и 12 книжек "Русского Слова" вышли в течение 1867 года лишь два сборника: "Луч", выпущенный Благовосветловым для удовлетворения подписчиков "Русского Слова"³, и братья Курочкины издали "Невский сборник"» [Скабичевский,

² Михайловский пишет о статье «О воспитательном значении произведений г.г. Тургенева и Гончарова» (опубликована в сборнике под именем А. Аландрова). Однако в сборнике была размещена ещё одна его статья – «Параллели и контрасты». О ней – см. ниже.

³ Фактически первая и вторая часть сборника «Луч» вышли в 1866 году.

2001, с. 104]. В. Курочкин делал ставку на испытанных сотрудников «Искры» – М.М. Стопановского, Г.И. Успенского, Ф.М. Решетникова и некоторых других. Сборник открывается новым переводом «Мизантропа» Ж.-Б. Мольера (перевод В. Курочкина); заключительная статья Н.К. Михайловского была посвящена современному этапу словесности, связанному с творчеством И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. Если предполагать в этом построении некоторую логику, возможно утверждать, что предполагалось движение от классического наследия к современному и новейшему. Однако, учитывая хронологическую невыстроенность, такая логика является более чем умозрительной: в основу не было положено сколько-нибудь целостного тематического принципа.

Срединное положение в сборнике занимают произведения, связанные с литературой путешествий – три журнальных материала М. Гамазова, В.В. Берви-Флеровского, Ф. Решетникова. Классическим травелогом является «Плавание по Тигру и Шатт-эль-Арабу (из записок, веденных во время странствования в Азии Русской комиссии, по турецко-персидскому разграничению)» М. Гамазова; обычно такие материалы размещались на страницах «Вестника Европы». Статьи В.В. Берви-Флеровского и Ф.М. Решетникова представляют «сгущение социальности» [Журавлёва, 2013, с. 140], органичное для «Современника» и «Русского слова», о чём подробно пишет Т.И. Печерская (см. статью в настоящем сборнике).

Плавание по Тигру и Шатт-эль-Арабу. Путевые записки М. Гамазова, автора и переводчика многочисленных этнографических очерков⁴, связаны с внешнеполитическим событием – участием дипломатической комиссии Российской империи в конференции, посвященной вопросам турецко-персидского разграничения. Логично предположить, что травелог был написан по «каркасу» путевых заметок, многие из которых велись дипломатом в течение дня. В любом случае «Плавание...» часто фиксирует непосредственную реакцию на происходящие события.

⁴ См.: [Хуршид-эфенди М., 1877].

Травелог Гамазова распадается на несколько небольших глав, как правило, связанных с перемещениями дипломатической миссии (Мосул, Багдад, Басра). Гамазов подробно описывает культурные обычаи и нравы современного востока:

К закату солнца всё народонаселение подымается на террасы свои, где ужинает, спит и остаётся до солнечного восхода; и потому, кроме вида на город, реку и далёкие окрестности, любознательность наша находила и другую пищу в сценах домашнего быта мосульцев, в изучении народных обычаев [Гамазов, 1867, с. 580].

В то же время в записках Гамазова содержится достаточно много отсылок к книгам путешественников и дипломатов (Н. Оливье, С. Продотти пр.), ранее бывших в тех же местах.

Наибольший интерес для историка литературы представляют главы, посвященные пребыванию в Багдаде. Пытаясь передать свои впечатления, Гамазов отказывается от обычного для такого жанра фотографического типа описания, обращаясь к риторическим конструкциям в духе высокого классицизма: «... как великолепно это чистое Багдадское небо, усеянное мириадами звёзд» [Гамазов, 1867, с. 596]; «... эти минуты были полны необыкновенной торжественности» [Там же]; «... самый Нил, катит ли он густые и жёлтые воды свои между старым Каиром и островом Роуда, где дочь Фараона изловила плывшего в корзинке Моисея, омывает ли, по ту сторону острова, берег Джизы, где блистал громадный Мемфис, завещавший нам свои несокрушимые временем пирамиды...» [Гамазов, 1867, с. 596]. Описание багдадского наводнения содержит явную аллюзию на «Медного всадника» А.С. Пушкина: «... Тигр, выступив из берегов, бросился на город, наполняя сердабы – жилые подвалы, разрушая дома, и вдруг, повалив часть городских стен, ворвался в улицы»⁵ [Гамазов, 1867, с. 606].

⁵ Ср.: «Осада! приступ! злые волны, / Как воры, лезут в окна. Чёлны / С разбега стёкла бьют кормой. / Лотки под мокрой пеленой» [Пушкин, 1978, с. 14].

Наряду с этими безукоризненными в риторическом отношении предложениями, Гамазов использует множество сатирического материала. Реальный Багдад, как показывают записки, отличается от сказочного места, обители *Аладдина, или Синдбада, или других*. Описывая утренние впечатления, дипломат показывает очевидные контрасты:

Багдад! Великое знаменитое имя!..⁶ Не жалко ли, что его носит теперь этот *заброшенный* в пустыню, *грязный, бедный, обципантый* город с размытыми кварталами, с *грязными* улицами, протянувшимися между однообразными глухими стенами домов песчаного цвета, с тёмными, *заглохшими* базарами, в которых, там и здесь, обвалившиеся своды заменены *дырвявыми* рогожками или грязною парусиною; с едва ли восьмидесятитысячным населением, одетым большею частью в жалкий костюм турецкой реформы!⁷ [Гамазов, 1867, с. 597].

Подводя итог своим наблюдениям, путешественник восклицает:

Неужели этот печальный, этот сонный город был когда-то местопребыванием халифов, столицей Харун-Аррашида, волшебным театром Шехерезадиных рассказов! [Гамазов, 1867, с. 599].

Особое внимание автора травелога сосредоточено на диалоге западной и восточной культур. Любопытно, что обычная логика путевых заметок здесь деформируется. Гамазов показывает три состояния экзотического мира: мир первозданный, мир первочеловека Адама и мир вавилонского столпотворения. Так, например, Гамазов приводит распространенный анекдот о номинации наблюдаемых мест, показывающий невозможность диалога между христианским и мусульманским сознаниями. Сущность приводимого анекдота сводится к тому, что путешествующие европейцы давали названия открываемым землям, задавая

⁶ Ср.: «Москва... Как много в этом звуке / Для сердца русского слилось» [Пушкин, 1977, с. 134].

⁷ Курсив наш. – А.К.

вопросы встреченным людям. Когда эти названия были внесены на карту, оказалось, что они представляют ряд вопросов: «Что? Как? Господин? Слушаю? Имя?» [Гамазов, 1867, с. 586].

Этот конфликт мировоззрений находит свое развитие на последних страницах очерка. Автор записок обращается здесь к неожиданной контаминации, показывая глобальное растворение двух независимых культур:

...из-за холмов Вавилона доносились до нас веселые аккорды «Севильского Цирюльника», исполненные очень отчётливо хором военной музыки...» [Гамазов, 1867, с. 615].

Неожиданное сближение отстоящих друг от друга контекстов порождает определенный, рассчитанный автором эффект:

Тут в первый раз мы заметили, что собственный лагерь наш представлял собою настоящее вавилонское смешение языков. И в самом деле, было ли какое из наречий европейских и азиатских, которое бы не раздавалось между нами ежеминутно, считая господ и людей! [Гамазов, 1867, с. 617].

Показывая торжество глобализации, автор в то же время подчеркивает мнимость такого рода порядка. Так, описывая религиозных фанатиков-шиитов, Гамазов показывает потенциальную угрозу:

... весь этот чалмоносый кагал, с лоснящимися бородами, пропитанными по их обыкновению, розовым маслом, бросая на европейцев косые, недружелобные взгляды и размахивая четками, приводил, в разговоре с пашою, разные намёки из Корана и хасидов, насчёт нечестия и нечистоты христиан [Гамазов, 1867, с. 624].

На протяжении очерка Гамазов показывает несоответствия, возникающие в мусульманской и христианской культурах, часто это связано с вопросом о сакральном статусе посещаемых мест. Путешественникам показывают ров, в который, якобы, был брошен пророк Даниил, указывают на гробницу Иисуса Нави-

на. Однако в европейском сознании (для которого в данном случае характерно имперское превосходство) эти места утрачивают своё значение, что связано с сомнением и недоверием к поверьям мусульман. Наиболее значительным оказывается эпизод, когда путешественник проезжает, не замечая слияния Тигра и Евфрата: «И так я не увидел того места, где, по мнению некоторых, был земной рай»⁸ [Гамазов, 1867, с. 629]. Таким парадоксальным образом предание о Вавилоне соотносится с настоящим повествователя, в то время как рай – пусть даже мусульманский, на который европейский путешественник смотрит с большой долей позитивистского недоверия, – остаётся недостижимым.

Несмотря на прозаический финал, возвращающий читателя к прагматике настоящих записок, названные моменты являются контрапунктными, позволяя соотнести частную поездку Гамазова с глобальным движением человечества. На наш взгляд, именно это свойство характерно для классического травелога, что и показывает его особое место в структуре «Невского сборника», социальный смысл которого становится очевидным при исследовании травелогов В.В. Берви-Флеровского и Ф.М. Решетникова.

Работник-бродяга. Из наблюдений путешественника над бытом рабочего класса. В статье «Параллели и контрасты», опубликованной в «Невском сборнике», Н.К. Михайловский начинает свои рассуждения с пересказа повести Ф. Вольтера «Кандид». В частности, критик останавливается на эпизоде, связанном с путешествием в Эльдorado. Развивая картину всеобщего экономического благосостояния, Михайловский внезапно обрывает свои рассуждения словами:

⁸ Это неосуществившееся событие также комментируется в ироническом ключе: «Я знал, правда, что Корна, *Анамеа* или *Дигбе* древних представляет собою жалкое, грязное, ничем не замечательное арабское селение, что окрестность ее – голая пустыня, решительно ничем не оправдывающая собой идею о земном рае» [Гамазов, 1867, с. 629].

Благоразумный и пронизательный читатель осмеет меня за это умозаключение, выставит целую гору доводов против него и докажет, как дважды два – четыре, что это самый грубый и прозрачный софизм, давным-давно разоблаченный экономистами; он объяснит мне, что Эльдorado – идеал сумасшедших алхимиков [Михайловский, 1867, с. 476].

Этот мотив – благословенной земли всеобщего счастья (с последующим его *reductio ad absurdum*) – находит отражение в очерках, опубликованных под именем С. Навалихина.

Автор очерков, В. Берви-Флеровский, имел непосредственный опыт пребывания в Сибири, Вологде, Архангельске, что связано с многочисленными ссылками и политическими преследованиями.

Неслучайно Флеровский начинает свой очерк с актуального для демократического сознания вопроса: «Где лучше?». Первые страницы очерка заставляют вспомнить сказку, кумулятивный сюжет которой связан с поисками благословенной земли:

Поехал я посмотреть на Эльдorado в восточной России, но лишь только забрался в самое сердце пермской губернии, услышал <...> песню: «плохое наше житьё, вот в тобольской губернии там житьё, так житьё, там и землю никогда не надо уваживать» [Навалихин, 1867, с. 265].

Из Перми повествователь очерков отправляется в Тобольск, из Тобольска – в Томск, из Томска – в Бийск, при этом создается имитация вольного, свободного путешествия. Встречая и здесь ту же отрицательную оценку, путешественник задаётся вопросом:

«Где же хорошо?» – спрашиваю я, наконец, в недоумении. «В восточной Сибири, там хорошо», – отвечают мне. Но терпение моё достигло предела, я не верю более рабочему человеку... [Навалихин, 1867, с. 265].

С начала очерков действительность оценивается в двух социальных измерениях, связанных с точкой зрения мещан и проле-

тариев, простых рабочих. Если рабочие однозначно отрицательно оценивают свою жизнь, мещане, напротив, называют родные края благословенными, подчеркивая особое значение кормящей их земли:

У нас здесь – говорят мне – не то, что у вас в России, здесь голодных не водится, народ ржаного хлеба и есть не станет, курные избы здесь неизвестны, народ живет чисто, а ваших российских называет лапотниками – презрительное название, данное народом, который никакой другой, кроме кожаной обуви, не носит [Навалихин, 1867, с. 265–266].

Выслушав разные оценки и мнения, путешественник отправляется на золотые прииски. Именно здесь находит свое развитие мотив Эльдорадо, характерный для «сибирской» беллетристики второй половины XIX века (Ф.М. Решетников, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.А. Мачтет, Н.Э. Гейнце и пр.).

Очерк распадается на несколько частей: собственные впечатления по дороге, беседа с хозяином приисков Пекарским, рассказ об осторожной жизни и беллетризованное описание походов беглых рабочих. Таким образом, форме травелога соответствует только начало очерков; тем не менее, описание личного путешествия в данном случае создает иллюзию достоверности, которая сообщается дальнейшим историям из сибирского и осторожного быта.

Одним из первых ощущений, испытанных по дороге на прииски, становится страх и отвращение перед двумя мёртвыми телами – лошади и человека. В мёртвом человеке возница опознает своего компаньона, с которым они вместе работали на приисках. Сцена завершается диалогом:

...я спросил его, не ожидает ли он и для себя подобной участи? «Чего доброго», ответил он, – «в этой проклятой стороне не мудрено дожидаться, тут не то, что у нас на Дону», – и пошёл. Я остановил поток его красноречия замечанием, что нужно дать знать исправнику. «Вот-на, – ответил он, – мало ли их здесь по тайгам-то пропадает, так обо

всех и давать знать»; он прибавил, что скажет священнику, чтобы он заочно отпел покойного [Навалихин, 1867, с. 265–266].

Очерк содержит многочисленные пояснения путешественника, так, например, слово «заочно» комментируется в постраничной сноске: «Заочное отпевание встречается не только в Сибири, но и восточной Европе» [Там же]. Для создания большей достоверности повествования автор очерков ссылается на авторитетные источники: книги путешественников и очеркистов (например, «Енисейский округ» Н. Кривошапкина), действующее уголовное законодательство.

Одним из неназванных, но подразумеваемых источников записок Берви-Флеровского являются «Записки из мёртвого дома» Ф.М. Достоевского (которые чаще называли «Мёртвым домом»). Предположительно, автор очерков не только использовал модель записок Достоевского, но и корректировал ее своими описаниями, стараясь редуцировать исходную метафоричность и сообщить повествованию больше реалистических и натуралистических подробностей.

Вольному, инициативному путешественнику рассказчика противопоставляется движение ссыльных по этапу:

Для арестанта путешествие по этапу есть самый счастливый эпизод в его тюремной жизни. <...> Это путешествие, которое привело бы в неописанный ужас благовоспитанного путешественника, для него чуть не рай [Навалихин, 1867, с. 283].

Будучи убежденным социалистом, Берви-Флеровский показывает тяготы, возникающие на пути сибирских рабочих и беглых каторжников. Показательным является и то, что заявленное с первых страниц активное присутствие повествователя ближе к концу очерков практически полностью редуцируется, исчезает за перечислением характерных сибирских анекдотов. Один из них, представляющий беллетризованное описание, заставляет вспомнить повесть Ф.М. Решетникова «Подлиповцы»:

В городе Т., на мосту, стоят два человека, оба оборваны. Один среднего роста, рыжий, с голубыми глазами, нежная кожа его полопалась и висела ключьями, из под ключьев виднелись красные опухоли, покрытые веснушками. Другой, смуглый, высокий от худобы; глаза у него впали, а нос вытянулся, что вместе со веколотченными волосами, придавало ему свирепый вид [Навалихин, 1867, с. 286].

Путешествие героев по городу Т. отсылает читателя к злоключениям подлиповцев: трагический финал – их смерть на заводе – показывает общую с Решетниковым логику. Поиск лучшей жизни, движение к Эльдorado – становится синонимом смерти. Знаменательно, что именно этот вариант описания Сибири⁹ нашёл своё продолжение в романе Решетникова «Где лучше?», название которого отсылает к характерному вопросу повествователя в очерках Берви-Флеровского.

Очерки обозной жизни. Очерки обозной жизни, написанные Ф.М. Решетниковым в ходе его поездки в Пермь и Екатеринбург, не были приняты большинством «толстожурнальных» изданий. Об этом писал и сам Решетников, сетуя на строптивость издателей:

...несчастная статья почти с осени 1865 г. валялась в разных редакциях и не печаталась, потому что редакторы самый предмет находили, кажется, избитым, да и не читали очерка [Решетников, 1956, с. 608].

Качество очерков позволяет сделать предположение, что очерки не были опубликованы ранее 1867-го года из-за многочисленных стилистических недочетов, невыстроенности композиции, отсутствия сколько-нибудь значимых этнографических наблюдений.

Даже «Подлиповцы», опубликованные ранее в «Современнике», представляли определенный интерес за счёт экзотики рассматриваемой темы, необычного, по замечанию А.М. Скаби-

⁹ Путевые впечатления отразились в сюжете романа В.В. Берви-Флеровского «В глуши» (1856).

чевского, топорного и дубового языка [Скабичевский, 1906], который служил действенным средством для описания страданий простого народа. «Очерки обозной жизни», предположительно написанные для авансу, были лишены этих достоинств, не удовлетворяя – как и большинство текстов Решетникова – традиционной эстетике и не отвечая социальному заказу демократической литературы. Поэтому появление очерков в «Невском сборнике» можно назвать закономерным и мотивированным самой формой произведения.

Очерки Решетникова представляют описание пути из Екатеринбурга до Перми, при этом путевые виды и пейзажи занимают менее 3-х страниц всего произведения. Строго говоря, путешествие Решетникова может быть как реальным, так и воображаемым – настолько неопределенными выглядят его замечания об увиденном¹⁰. Так, после долгих рассказов о дорожных сборах (в течение которых герой торгуется с различными ямщиками, несколько раз чуть не становится жертвой обмана и розыгрыша, изгоняется из трактиров и постоялых дворов, после чего, наконец, выпивает вместе с ямщиком Верецагиным штоф водки), следует зарисовка дорожных видов. В фокусе внимания путешественника – кладбище и лес. Особого внимания заслуживает описание леса:

Вот уже и лес по обеим сторонам трактовой дороги, но этот лес стоит точно напоказ начальству, потому что сквозь него просвечивают огромные пространства пустых мест [Решетников, 1867, с. 444].

Независимо от степени рефлексивности данного высказывания, можно сравнить очерки Решетникова с этим описанием. Как и лес, стоящий точно напоказ начальству, его травелог совершенно формально сообщает читателю об увиденном. Так, например, описание леса сменяется представлением собственных ощущений и впечатлений:

¹⁰ Действительность, фактичность путешествия Решетникова подтверждают его письма и дневники.

Ноги устали, петербургские сапоги с каблуками, кажется, начинают стаптываться; я сел в назначенную мне телегу – неудобно: сел я точно в яму, по ногам в этой яме нет места, нужно их свесить к лошади; я свесил – колени выше головы, трясет ужасно, спину отбивают ящики, ноги отбивает передок телеги, хвост лошади зацепливается за сапоги с каблуками. Кое-как я высвободился из ямы и сел поперек телеги – удобно: ноги упираются в телегу, под спиной узелок, только на бок лечь невозможно; спать не хочется, да и лечь на живот боюсь. Так я просидел немало; бока болят, ноги ноют, глядеть решительно не стоит – то тощее поле, то лес, да и глядишь в одну сторону [Там же].

Сравнение таких авторефлексивных элементов с описанием дороги показывает абсолютную доминанту первых. При этом значительное место в этих описаниях отведено обуви героя – сапогам, что актуализирует не собственно травеложный, а смежный с ним социальный сюжет [Печерская, 2014]¹¹.

Большинство дорожных видов в очерке Решетникова носит формальный, дежурный характер:

Должно быть, было часов десять, а темно. Привлекательного ничего нет, вероятно, потому, что я мимо этих мест проезжал не один раз, да и что привлекательного в небольших холмах, кустарниках березы, тощих полях, покосах, на которых разложены огоньки... [Решетников, 1867, с. 444].

¹¹ По замечанию Т.И. Печерской, сапожный сюжет может быть рассмотрен «...и как сквозной сюжет литературы, и как сюжет о русской литературе» [Печерская, 2014, с. 92–93]. См. у Решетникова: «О дальнейшем путешествии писать не буду, потому что оно однообразно, только разве упомянуть о том, что мои петербургские сапоги после двухсуточного странствования пришли в такое состояние, что я в них не мог ступить и шагу – стоптались очень и протрадились в двух местах на каждом сапоге, и я купил в Кунгуре мужицкие, которые тоже привелось чинить в кузнице, потому что гвозди проходили насквозь, и их присутствие, после десятиверстного странствования, стало весьма неприятно, и я положительно хромал на обе ноги» [Решетников, 1867, с. 444]. Складывается впечатление, что очерки репрезентируют не дорогу от Екатеринбурга до Перми, а «жизнь» сапог главного героя.

В ряде случаев автор очерков слагает с себя ответственность, отсылая читателя к авторитетным для него источникам:

Виды тоже описывать не стану, потому что они до того разнообразны и неуловимы на местах, что их едва ли кто сумеет верно срисовать; да и мне на местах или на интересных пунктах и в голову не приходило набрасывать карандашом хотя бы один клочок интересной для первого впечатления местности, а в памяти у меня так рассеяны эти впечатления, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать, или не искажать природу. Не мешает упомянуть о Суксунской горе, которую ямщики недолюбливают за то, что она очень крута. Виды с нее очень хороши, и ее видно за несколько десятков верст, но об ней уже упоминал Максимов в книге «Поездка на Восток» [Решетников, 1867, с. 469].

Становится очевидной антитравеложная направленность очерков Решетникова. В отличие от Берви-Флеровского, поездка которого была нацелена на социальное исследование, прагматика путешествия «Очерков обозной жизни» до конца текста остается не проясненной¹², что, на наш взгляд, и разрушает возможную целостность композиции и сюжета. Несмотря на то, что поездка Решетникова была связана с поиском нового этнографического материала, необходимого для достоверного описания в «Горнорабочих» и «Где лучше?», интенция писателя и деятельного наблюдателя редуцирована в рассматриваемом тексте до нуля.

Решетников описывает жизнь праздного и всеми гонимого человека; в самом названии произведения задан иной взгляд на происходящее (это *жизнь*, а не *путешествие*). При этом, как и Ивана Сизова, героя нескольких очерков А.И. Левитова, героя Решетникова отличает предельная авантюризм поведения. С первых страниц произведения он обманывает практически всех встреченных им людей, называя себя то чиновником, то семина-

¹² О путешествии сообщается: «Нужно мне было ехать из Екатеринбурга в Пермь» [Решетников, 1867, с. 432]. Более подробная детальная мотивировка отсутствует.

ристом, то дьячком¹³. В связи с этим искусственным выбором социальных ролей изменяется и мнимая прагматика путешествия: герой едет по служебным делам (которых у него не оказывается), в семинарию (в которой его не ждут), к невесте (которой нет). Характерным признаком авантюрного повествования становится встреча с ложной крёстной матерью, которая говорит:

Эдакое вам счастье: ведь я от купели принимала Анну-то Павловну? Я дьячиха была, да потом муж-то мой в солдаты нанялся. Я в селе-то восемь лет не бывала... Хорошую вы жену выбрали! [Решетников, 1867, с. 456].

Неожиданная встреча заставляет героя внутренне оправдываться:

Я был в западне и не знал, верить или нет этой женщине, которую я ни за что ни про что должен был называть крестной матерью и оказывать ей почтение. Я-то врал по необходимости, только на меня навернулись бабы ловкие, как видно; а может быть, они и правду говорят [Там же].

Расправа с мошенницей, оказавшейся воровкой, является красноречивым завершением этой авантюрной линии¹⁴.

Основную часть очерков Решетникова составляют характерные сценки, связанные с дорожными встречами, скандалами на постоянных дворах и разговорами с разными недоброжелательно настроенными людьми. Совокупность этих картин, в которых действует путешествующий разночинец, терпящий различные

¹³ Ср. с очерком А.И. Левитова «Насупротив»: « – Сказывай, кто ты таков? – повелительно спрашивает борода. – Странник, говорю я тебе. С богом-то иду, – приврал я немного» [Левитов, 1988, с. 114].

¹⁴ По замечанию М.В. Строганова, прозвучавшему в ходе дискуссии на конференции «Русский травелог XVIII – XX веко» (Новосибирск, 2014), при расширительном толковании травелога и «Золотой осёл» Апулея может быть отнесён к травелогу. По-видимому, авантюрный роман, точнее, хронотоп такого романа, оказал значительное влияние на литературу путешествий и, в частности, на травелог.

физические и духовные унижения (*очкастый, очкастый, стеклянные шары*), заставляет вспомнить сюжет дебютного произведения Решетникова – его «Подлиповцев». Как и Пила (ветхий человек, противоположность новому человеку, Никитушке Ломову), проходящий путь унижений и сходящий всё ниже по социальной иерархии, так и герой Решетникова, вовлеченный в поток обозной жизни, представляет характерный литературный тип скитальца, заброшенного в бурное житейское море. И здесь задается не менее важная тема диалога разночинца и носителя подлинного народного сознания:

...молчали, но что они думали, того никто не знает, а вероятно, их мысли были одинаковы у всех. Были ли они поэтами в душе, я сказать не могу, только можно сказать, что они более сообразительны и толковы, чем другие ямщики; у них еще много поговорок под рифму, и эти поговорки, в виде острот, высказываются только навеселе [Решетников, 1867, с. 468].

Этот опыт обозной жизни, связанный с вхождением в народную среду, становится важнее описания дороги, собственно путевых заметок. Тем не менее, на этом пути герой еще больше осознает свою отъединенность от мира, оставаясь чужим на всеобщем празднике жизни¹⁵.

Травелогги «Невского сборника» представляют три разные жанровые формы, объединенные общим предикатом – путешествием. Этот парадокс свидетельствует о внутренней диалектике жанра: являясь синтетической формой, травелог, совмещая в себе автобиографизм, психологизм, метаописание и авторефлексию, предстаёт в бесконечном множестве вариантов. Их типологизация определяется контекстом или социальным заданием: часто представляется возможным классифицировать траве-

¹⁵ Одна из глав очерка называется «Мы приехали на праздник».

логи, исходя из общего журнального окружения или единой цели путешествующих (экспедиция, дипломатическая миссия).

Однако материал, привлеченный для исследования в данной статье, несмотря на наличие объединяющего сборника, демонстрирует не только три варианта, три «лика травелога», но и свидетельствует о совершенно разной художественной и социальной прагматике. Деловое путешествие Гамазова, очерк-травелог Берви-Флеровского и беллетризованный травелог Решетникова (который может быть назван очерком путешествия праздного человека) показывают разное отношение к наблюдаемой действительности. Можно выделить многочисленные дифференциальные признаки: 1) ландшафт; 2) время; 3) культура / язык / социум; 4) прагматика путешествия / прагматика письма и др. Безусловно, семантическая разница этих травелогов показывает, что они не могли быть опубликованы в структуре единого издания, придерживающегося сколько-нибудь определенной идеологической линии. Несмотря на очевидную разницу взглядов авторов, можно утверждать, что их исследование даёт важный материал для изучения исторической динамики развития травелога как особого жанра русской литературы XIX века.

Литература

Гамазов М.А. Плавание по Тигру и Шатт-эль-Арабу (из записок, веденных во время странствования в Азии Русской комиссии, по турецко-персидскому разграничению) // Невский сборник. СПб., 1867.

Журавлёва А.И. Проблема народа и художественные искания русской литературы 1850-х – 1860-х годов // Журавлёва А.И. Кое-что из былого и дум. О русской литературе XIX века. М.: Изд-во Московского университета, 2013. С. 133–141.

Левитов А.И. Насупротив // Левитов А.И. Избранное. М.: Художественная литература, 1988.

Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М.: Искусство, 1995.

Михайловский Н.К. Параллели и контрасты. Введение к ненаписанной книге // Невский сборник. СПб., 1867.

Навалихин С. [Берви-Флеровский В.В.]. Работник-бродяга. Из наблюдений путешественника над бытом рабочего класса // Невский сборник. СПб., 1867.

Печерская Т.И. Предмет как сюжетный маркер: сапоги в русской литературе 1840–1870-х годов // Сибирский филологический журнал. № 3. Новосибирск: НГУ, 2014. С. 86–93.

Пушкин А.С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978.

Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1977.

Решетников Ф.М. Очерки обочной жизни // Невский сборник. СПб., 1867.

Решетников Ф.М. Собр. соч.: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1956.

Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. СПб., 1906.

Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. М.: Аграф, 2001.

Хушид-эфенди М. Сяхэт-намэ-и-худудъ. Описание путешествия по турецко-персидской границе. СПб.: Издание военно-ученого комитета Главного штаба, 1877 (пер. М. А. Гамазова).

A.E. Kozlov

Novosibirsk State Pedagogical University

TRAVELOGUES OF THE «NEVSKY BULLETIN» (1867): SOME PROBLEMS OF GENRE UNITY

Abstract. The research deals with gradual investigation of three travelogues published in “Nevsky Bulletin” of 1867: “Travel along the Tigris and Shatt al-Arab” by M. Gamazov, “The wandering worker. From the traveler’s observations of the working class lifestyle” by V.V. Bervi-Flerovsky and “Essays about baggage-train life” by F.M. Reshetnikov. If “Travel along the Tigris and Shatt al-Arab” can be called a “classic travelogue”, essays of Reshetnikov and Bervi-Flerovsky present the experiments on the classic normative form.

Gamazov’s travelogue is connected with relationships, with dialogue between Europe and Asia. This theme, one of the tense ones, is presented through the description of sacred places, which can

be assessed in different ways by imperial and colonial worldviews. Essays of Bervi-Flerovsky start with discussions about the search for a universal welfare state – a type of Russian Eldorado. The description of several dramatic episodes from the life of the Siberian workers shows the impossibility of achieving such a goal. «Essays about baggage-train life» by Reshetnikov is a “quasi travelogue”: narration here isn't determined by landscapes and toposes; so they play the role of scenery and passive background. Each page of these essays is connected with a complex of humiliated consciousness. Despite the absence of one united line (social or political), three travelogues of “Nevsky Bulletin” are three variants of travelogue in Russian literature of XIX century: these variants are pragmatic, research and holiday one.

Keywords: Russian literature, narration, travelogue, Reshetnikov, Bervi-Flerovsky.

Information about the author. Alexey Kozlov, Candidate of philological sciences, Assistant professor of the Department of Russian and foreign literature, theory of literature and methodics of teaching literature, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluyskaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia, 630126, Tel. (383)244-06-30, E-mail: alexey-kozlof@rambler.ru. Tel.: 89137466341).

М.Ю. Мартынов

Московский государственный педагогический университет

**КОНЦЕПТ ПУТЕШЕСТВИЕ В РУССКОМ АНАРХИЗМЕ
(БАКУНИН, КРОПОТКИН, БОРОВОЙ, БРАТЬЯ
ГОРДИНЫ И ДР.)¹**

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению концепта *путешествие* в русском анархическом дискурсе. Автор исходит из общего утверждения значимости *путешествия* в русской языковой картине мира, тесно связанной с представлениями об *обширных русских пространствах*, и указывает на важность понятий, фиксирующих специфику бесконечных русских равнин и не имеющих аналогов в других языках: *простор, воля, удаль, тоска и др.* Составляющей понятия *простор* является *неприкаянность, бесприютность, вызывающие тягу «к перемене мест»*. В этом контексте рассматривается *путешествие*, инициированное *тягой к перемене мест*, которое не может завершиться, поскольку направлено не к конкретному месту, а к некоторой метафизической реальности. Автор анализирует основные принципы, лежащие в основании концепта *путешествие* и определяющие особенности его функционирования в аспекте анархического дискурса: бегство от мира (неприятие мира), отрицание конечной цели, признание условности любых границ. В исследовании показано, каким образом концепт *путешествие* в анархическом дискурсе отражает установки анархического мировоззрения, в частности, рассматривается, как анархисты принимают идею *путешествия* в качестве важного инструмента анархического противостояния власти и государству.

Ключевые слова: анархизм, путешествие, граница, простор, Бакунин, Кропоткин, Боровой, братья Гордины.

Сведения об авторе. Мартынов Михаил Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, докторант кафедры русского языка Московского государственного педагогического университета (Россия, Чувашия, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 30, кв. 305. Тел.: +79023281873. E-mail: golossa@gmail.com).

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130).

В русскоязычной культуре концепт *путешествие* играет весьма заметную роль. Например, *путешествие* является базовой единицей, находящейся в основе когнитивных механизмов порождения фразеологических единиц. Как отмечает И.В. Зыкова, в русском языке «наиболее востребованной в процессах фразеологизации является концептуальная метафора ПУТЕШЕСТВИЕ» [Зыкова, 2011, с. 27]. Данная ситуация характеризует только русскую культуру, и, например, для процесса формирования английских фразеологизмов ключевым уже будет не *путешествие*, а культурная константа *Весь мир – театр* [см. подробнее: Зыкова, 2012].

Значимость *путешествия* в русской языковой картине мира связана с представлениями об *обширных русских пространствах*. В русском языке есть понятия, схватывающие специфику бесконечных русских равнин и не имеющие аналогов в других языках: *простор*, *воля*, *удаль*, *тоска* и др. [Булыгина, Шмелев, 1997, с. 481–490; Шмелев, 2000, с. 364; Левонтина, Шмелев, 2000].

Простор имеет горизонтальное выражение, и в целом для русской картины мира характерен приоритет горизонтальной ориентации над вертикальной. Об этом пишет, в частности, Г. Гачев, который подчеркивает, что «вертикаль в русском космосе выражена слабо». На доминирование в «русском космосе» «равнинного языкового сознания» указывает и Е.С. Яковлева [Яковлева, 1994, с. 31]. С «обширным пространством» тесно связаны *воля*, *удаль*, *тяга к крайностям*, *размах* и *разгул*.

Простор тесно связан с *тоской*, простор вызывает тоску. Выделяя неизменные составляющие «образа русской тоски», Ю.С. Степанов называет в их числе *равнину* и *снег* [Степанов, 2004, с. 904, 907], которые являются свойствами *простора*. Но *простор* вместе с тем и утоляет *тоску* с помощью *удали*, *размаха*, *разгула* [Шмелев, 2000, с. 357–367].

Простор также связан и с *неприкаянностью*, а *неприкаянность* вызывает тягу «к перемене мест». «От избытка места человек *тоскует* и *мается*, не находя себе места. Избыток места

оборачивается отсутствием места – *неприкаянностью*. <...> *Неприкаянность* – это такое состояние человека, когда он испытывает внутренний дискомфорт и растерянность; это состояние концептуализуется как безуспешные поиски такого места, где бы человеку было спокойно и хорошо. <...> *Неприкаянность* – душевная неприютность, она может сопровождать отсутствие у человека *приюта* в собственном смысле слова и исчезать, когда человек находит приют и домашний очаг» [Левонтина, Шмелев, 2000, с. 342–343.].

Путешествие, инициированное *тягой к перемене мест*, отличается, например, от деловой поездки или простого туристического отдыха. *Путешествие* в контексте *неприкаянности* и *бесприютности* не может завершиться, поскольку направлено не к конкретному месту, а к некоторой метафизической реальности, не имеющей однозначных онтологических контуров.

По-видимому, в пространстве культуры *путешествие* не может ограничиваться одними только представлениями о реальном перемещении в пространстве. *Путешествие* включает в себя многоуровневый комплекс взаимосвязанных смысловых единиц культуры. В данной статье мы рассмотрим концепт *путешествие* в анархическом дискурсе и покажем, каким образом в *путешествии* отражаются установки анархического мировоззрения.

Многие современные анархисты принимают идею *путешествия* в качестве важного инструмента анархического противостояния власти и государству. Странствия анархистов могут быть литературными, например, в воображаемую идеальную страну «Анархия» [Гордины, 1917; Гордины, 1919], или реальными.

«Некоторые скептики примутся утверждать, что в путешествиях самих по себе нет ничего радикального. И это так: миллионер может сесть в самолет до Барбадоса <...>. Потенциальные возможности, заложенные в путешествиях, заключаются в относительной свободе: свободном времени, которое можно посвятить различным проектам, возможности распространить их <...>. Путешествия можно использовать для борьбы с изо-

ляцией и распространения надежды в этом не очень гостеприимном мире. Как известно, любому путешественнику требуется много терпения и самоотверженности, чтобы попасть куда-то, где он никогда не был. И пусть пути, по которым мы идем, приводят к анархии» [CrimethInc, 2010, с. 34–35].

Путешествие в современном анархизме принимает иногда форму «идейного бродяжничества». «“Идейные” бродяги, как правило, имеют свою философию и этику. Путешествия делают их свободными и независимыми от существующей системы. Политизированные бродяги, в большинстве своем, являются космополитами, они выступают за отмену границ и за свободное передвижение людей по планете» [Яценко, 2002, с. 49].

Конструирование идеи *путешествия* в русском анархизме основано на определенных принципах и установках, которые мы постараемся выявить и показать их связь с анархическим мировоззрением.

Бегство от мира

Одной из ключевых идей анархизма является идея *неприятя мира*. «Идея неприятя мира, – утверждает Г. Чулков, основатель мистического направления в анархизме, – идея мистико-анархическая <...>. Мистический анархизм до конца утверждает свою подлинную сущность только в этом споре *против мира данного* во имя мира, долженствующего быть, – так что идея неприятя является ближайшим определением мистического анархизма» [Иванов, 2007, с. 98].

В.И. Иванов оценивал скитальчество, бродячий образ жизни в качестве идеала «анархического отрицания общественного строя» [Иванов, 2007, с. 139]. Об этом он говорил, разбирая поэму «Цыганы» и называя ее анархической поэмой. Табор цыган у Пушкина есть идеальный анархический союз, идеальная анархическая община. При этом скитальчество как отрицание мира и как достижение вольности обеспечено религиозным началом.

Впрочем, по справедливому замечанию А.Л. Доброхотова, *неприятие мира* – вообще характерная особенность русского менталитета [Доброхотов, 2008, с. 115]. С. Булгаков в «Свете невечернем» связывает эту особенность с христианскими ценностями. Булгаков пишет, что вместе с открытием Бога открывается и новое ощущение мира как противоположного Богу, как удаленного от него, хотя от него зависящего, – и в этой удаленности происходит открытие несовершенства мира, его «относительности и греховности», в связи с чем «одновременно зарождается и стремление освободиться от “мира”, преодолеть его в Боге» [Булгаков, 1994]. С таким ощущением мира Булгаков связывает пессимизм, «мировую скорбь», но при этом он уточняет, что такой пессимизм в религиозном мироощущении не самодостаточен, т.к. должен вести к пробуждению «от сна самодовольства и миродовольства».

Феномен абсолютного отказа от этого мира связан с трансформациями православной веры. Например, в старообрядчестве, среди беспоповцев, существовали так называемые странники или бегуны, посвятившие свою жизнь *странству*, взявшие на себя крест *странства* в поисках безгреховного рая. При этом крест *странства* мог быть даже выше креста Христа [П.А., 1926, 24]. Их бегство было связано с неприятием власти гражданской и церковной, которая, например, согласно основателю согласия бегунов Евфимию, имела антихристовую природу. Бегство от мира означало, по сути, бегство от власти Антихриста. Анархизм в данном случае – это не активная борьба с властью, а пассивное неприятие – бегство от власти русской церкви и русского государства.

В этом же ряду можно рассматривать и бегство от мира (в том числе и буквальное) Л.Н. Толстого, разделявшего анархические взгляды. Избавление от мира может пониматься и в духе К. Малевича – как беспредметность, которая так же по своей сути несет анархическое начало. Супрематизм Малевича, связанный с анархизмом, можно рассматривать как борьбу с государством:

«... как бы мы ни строили государство, но раз оно – государство, уж этим самым образует тюрьму» [Малевич, 1995].

Отрицание конечной цели

Проблематика цели особенно четко просматривается в контексте представлений анархистов о движении. Анархисты понимают движение как не направленное, не имеющее конечной цели, т.е. это движение не прямое, а изогнутое, или буквально – *левое*². Представления о движении, не имеющем конечной цели, отражены, в частности, в метафоре *без руля*. В начале XX века в Париже издавалась анархическая газета «Без руля», в которой печатались материалы русской анархической группы «Босьяк». Из-за нехватки средств вышел только один номер [Без руля, 1908].

К метафоре *руля* часто обращался Казимир Малевич в своих публикациях в газете «Анархия» в 1918 году. «Тело государства без руля быть не может, обязателен руль, да такой, чтобы никто, кроме рулевого, держаться за него не мог. <...> И мне кажется, что кто бы ни плавал, кто бы ни держался за руль государства, никогда не выплывет из Ладожского океана к простору. <...> Цель наша была в том, чтобы распылить государство искусств и утвердить творчество. Никаких рулей и рулевых» [Малевич, 1995].

Метафора *без руля* в тексте Малевича очень верно, как нам кажется, соединяет идею свободы с творчеством, которое, как и свобода, не совместимо с управлением и рациональным планированием. Идея *прямой линии* основывается не на принципе свободы, а на принципе власти, подчиняющей при помощи *руля* чистое неорганизованное движение сообразно определенной цели. Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Основываясь на этом простом математическом правиле, цель детерминирует движение таким образом, что любые его альтернативы оказываются невозможными. Анархизм, напротив,

² Слово левый родственно лат. *laevus*, которое объединяет значения *левый* и *изогнутый*.

отстаивает идею потенциальной множественности и альтернативности форм социального и творческого развития.

Отрицание границ

Идея условности любых границ является важной составляющей анархического мировоззрения. Многие анархисты полагают, что конструирование границ порождает властные отношения. Власть стремится к сохранению границ – это может быть граница между государствами или граница между базовыми политическими понятиями, например такими, как «друг – враг» (по К. Шмитту). Очевидно, что чем сильнее власть, тем прочнее границы – или внешние (*Железный занавес, Берлинская стена, Великая китайская стена*), или внутренние (тюрьма, психиатрическая лечебница, школа, фабрика и др.). Власть создает порядок исключения. Анархическое общество, напротив, никого не исключает. Это общество не-исключения, не нуждающееся в разделяющих границах, по сравнению с *обществом изоляции*. Как пишет Петр Кропоткин, в анархическое общество «входит бесконечное разнообразие личных способностей, темпераментов и сил, оно никого **не исключает** из своей среды» [Кропоткин, 2004]. Отказ от идеи границы характеризует самые разные анархические направления: анархия «по существу всемирна и ей абсолютно **безразличны всякие границы и пределы**, она не укладывается в рамки одного государственного организма, в пределы обитания одного народа, она для всех людей, для всего мира, она мыслится как объединение человечества, как общежитие, охватывающее весь мир» [Гордин, 1920, с. 18].

Любопытно отметить, что многие представители русского анархизма приняли анархические взгляды во время своих зарубежных путешествий. Например, А.А. Боровой стал анархистом во время своей стажировки во Франции. «В одно из октябрьских воскресений (1904 г.), день свободный, по крайней мере, от библиотек, я сидел в полном уединении в Люксембургском саду. <...> Со скамьи Люксембургского сада – я встал просветленным,

страстным, непримиримым анархистом, каким остаюсь и по сию пору» [Боровой, 1929–1934]. М.А. Бакунин до своего отъезда из России был убежденным гегельянцем. П.А. Кропоткин окончательно стал анархистом в Швейцарии. Вспоминая о своем пребывании среди рабочих Юрской федерации, П.А. Кропоткин пишет: «И когда, проживши неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом» [Кропоткин, 1988, с. 276].

Дело, конечно, не только в одной *заграничности*, но в ней, как нам кажется, содержится некоторая интенция, способствующая изменению строя мыслей и влияющая на перемену взглядов. *Анархическое мышление связано с отрицанием границ, которые для русского языкового сознания, обращенного к простору, становятся определенными именно в заграничных путешествиях.* Ю.С. Степанов, разбирая в своей известной работе «Константы...» концепт «Родная земля», приводит очень важную цитату из В.О. Ключевского: «Все, что он (путешественник из России. – М.М.) видит вокруг себя на Западе, настойчиво навязывает ему впечатление границы, предела, точной определенности <...>» [Степанов, 2004, с. 172].

Русская картина мира, наполнена, конечно, не только одним простором, в ней есть представления и о границах, но собственные границы не вызывают беспокойства, скорее, наоборот, они связаны с понятием уюта и защищенности. Для русского понятия *уют*, в отличие, например, от голландского аналога, ключевой являет идея укрытия от внешнего мира, а также «любовь к небольшим закрытым пространствам» [Левонтина, Шмелев, 2000].

Е. Хеллберг-Хирн пишет, что в русском национальном пространстве можно обнаружить как *простор*, так и *забор*. «Русское беспокойство границ известно: каждый дом в крестьянской деревне, каждая церковь, строящаяся со своим церковным двором, даже каждая могила обычно окружены ограждением-забором» [Hellberg-Hirn, 1999, p. 51]. В зданиях городских учреждений часть дверей всегда заперты. Закрыты, как правило, центральные

двери, самые большие и широкие, и посетители должны протискиваться через узкие и неудобные входы по сторонам. Автор говорит, что эта ситуация вызывает удивление у иностранцев, тогда как для русских это всего лишь способ управления пространством.

Заграничность конституирует иной взгляд на *границу* по сравнению с комплексом представлений о ней в русской картине мира – *граница* не защищает и не создает уют, она проявляет себя как чуждая простору. Обращенная к свободе анархическая мысль как будто чувствует эту разницу, связывая простор со свободой, а границы с ее отсутствием.

Итак, к основным принципам, определяющим особенности функционирования концепта *путешествие* в русском анархизме, можно отнести бегство от мира (неприятие мира), отрицание конечной цели, признание условности любых границ. Концептуальные основания *путешествия* в анархизме определяются не только собственными мировоззренческими принципами анархизма, но и обусловлены более широким комплексом идей, среди которых важнейшими являются *неприкаянность* и *бесприютность*, а также специфическое восприятие *простора* и *границы*.

Литература

Без руля. 1908. № 1.

Боровой А.А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава 6 «Русско-японская война», Глава 7 «Как я стал анархистом», Глава 8 «Приезд жены, поездка в Швейцарию», Глава 9 «Париж», глава 10 «Германия и Вена» (1929–1934). РГАЛИ, ф. 1023, оп. 1, ед. хр. 167.

Булгаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994.

Булдыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки русской культуры, 1997. С. 481–490.

Гордин А. Анархизм-Универсализм (К обоснованию программы). М., 1920.

Гордины Бр. Почему? или Как мужик попал в страну «Анархия». М.: Издательство Московской федерации анархистских групп, 1917.

Гордины Бр. Анархия в мечте. М.: Изд-е первого центрального социотехникума, 1919.

Доброхотов А.Л. Белый царь, или Метафизика власти в русской мысли // Доброхотов А.Л. Избранное. М.: Территория будущего, 2008.

Зыкова И.В. Метафорический концепт как конструкт фразеологической семантики // Вестник Московского института лингвистики. 2011. № 2. С. 23–29.

Зыкова И.В. Константа культуры ВЕСЬ МИР – ТЕАТР и ее отражение в английской фразеологии // Критика и семиотика. Вып. 17. 2012. С. 213–223.

Иванов В.И. По звездам. Борозды и межи. М.: Астрель, 2007.

Кропоткин П.А. Записки революционера. М.: Моск. рабочий, 1988.

Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 2004.

Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Родные просторы // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 338–347.

Малевич К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1: Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы.(1913–1929). М.: Гилея, 1995. С. 60–125; 330–349.

П.А. Анархические устремления в русском сектантстве XVIII–XIX вв. // Очерки истории анархического движения в России: сборник статей. М.: Голос труда, 1926.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры : изд. 3, испр. и доп. М. : Академический Проект, 2004.

Шмелев А.Д. «Широта русской души» // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000.

Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.

Яценко В.Г. Теория и практика диалога общества с молодежными организациями на телевидении: дисс. ... канд. филол. наук. 10.01.10. М., 2002.

CrimethInc. Анархия в эпоху динозавров. М.: Гилея, 2010.

Hellberg-Hirn E. Ambivalent Space: Expressions of Russian Identity // Beyond the Limits: The Concept of Space in Russian History and Culture / Ed. Jeremy Smith. Helsinki, 1999. P. 49–69.

M.Yu. Martynov

Moscow State Pedagogical University

**CONCEPT OF TRAVEL IN RUSSIAN ANARCHISM
(BAKUNIN, KROPOTKIN, BOROVOY, BROTHERS
GORDIN ETC.)**

Abstract. The research is devoted to the analysis of the concept travel in Russian anarchist discourse. The author claims about the significance of travel in the Russian language picture of the world, that is tightly connected with the ideas of vast territories of Russia. He also underlines the importance of the ideas depicting the specifics of Russian plains that have no analogues in other languages: *prostor*, *volya*, *udal'*, *toska* etc. Russian *prostor* ('vast, open and free space') has a component of *neprikayannost'*, *bespriyutnost'* ('state of homelessness and rootlessness'), that cause constant eagerness to change the location. The current research deals with travel, initiated by this eagerness – such travel can't be finished because it's oriented to some kind of metaphysical reality. The author analyzes the main principles, lying in the basis of the concept travel and determining the features of its functioning in the aspect of anarchist discourse. These principles include rejection of the world and escape from the world, denial of the final goals, accepting the idea about the conditionality of any limits. The research shows how the concept travel reflects the directions of anarchist worldview, and in particular – how anarchists consider the idea of travel as an important instrument of anarchist confrontation with authorities and official state.

Keywords: anarchism, travel, limit, open space, Bakunin, Kropotkin, Borovoy, brothers Gordin.

Information about the author. Mikhail Yurievich Martynov, Candidate of philosophical sciences, Associate Professor, Doctoral candidate of the Russian Language Department of Moscow State Pedagogical University (Kadykov Street 30, app. 305, Cheboksary, Republic of Chuvashia, Russia, Tel.: +79023281873. E-mail: golossa@gmail.com).

Ф.В. Кувшинов

Липецкий институт кооперации

ТРАВЕЛОГ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920–1930-Х ГГ.: ДАНИИЛ ХАРМС

Аннотация. Работа представляет собой опыт анализа травелога в детской литературе 1920-1930-х гг. на примере творчества Д.И. Хармса. Детская литература в силу своей большей приверженности событию, нежели детали, позволяет максимально условно представить чужой советскому ребенку мир, наполнив его реалиями-штампами этого чужого мира. И если во «взрослой» литературе это может рассматриваться как непрофессионализм и свидетельство банального фактологического незнания, то детская литература лишена такого критического анализа, поскольку для читателя-ребенка важен сам факт разворачивания действия в ином, отличном от действительного, пространстве. В таком случае вполне объяснимым предстает тот факт, что повествование о чужом мире у Хармса предельно схематично, аналогично примитивному мифологическому мышлению, отраженному, например, в романе И.А. Гончарова «Обломов». Безусловно, это объясняется не творческим бессилием Хармса, а заказным характером советской литературы, полностью подчинившейся идеологическим директивам, с одной стороны, а также – самой логикой художественного мышления обэриутов – с другой. Вместе с тем, через нарратив детского травелога просматривается советская повседневность, современная Хармсу, предстающая в неприглядном виде: в отличие от зарубежья, советская действительность лишена экзотики и эстетики. Однако в силу идеологических установок Хармс в рамках детской литературы вынужден обосновать отказ от чужого мира (стихотворение «Танкист»).

Ключевые слова: детский травелог, «новая логика» обэриутов, мифологический «перевертень», советская идеология, принципы «революционной географии».

Сведения об авторе. Кувшинов Феликс Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарно-социальных дисциплин Липецкого института кооперации (филиал) БУ-КЭП (Россия, Липецк, ул. Зегеля, 25а. Тел. +79046852931. E-mail: fkuvshinov@yandex.ru).

А.Ю. Сорочан, говоря о перспективах изучения феномена травелога в русской литературе и предполагая необходимость «новых опытов классификации и теоретического осмысления» [Сорочан, 2011, с. 402], оправдывает наше внимание к такому уникальному явлению как детский травелог в русской литературе 1920-1930-х гг., а именно – в творчестве Д.И. Хармса.

Несмотря на то, что сам Даниил Хармс детей не любил, что отмечается многими современниками, его детские произведения пользовались неизменной популярностью у маленьких читателей. Значительное же место в литературе для детей у Хармса занимает в том числе и мотив путешествия в другие страны, хотя сам автор за границей не был. Возможно ли в данном случае вообще говорить о травелоге? Насколько личный опыт (а в данном случае – его отсутствие) путешественника важен в детском травелоге? Чем обусловлено внимание поэта к другим странам?

На эти вопросы, видимо, следует отвечать, опираясь на абсурдистский характер логики художественного мира Хармса. Этот характер обусловлен двумя факторами – внутренним и внешним.

В первом случае речь следует вести о тех принципах обэриутской поэтики, которые в «Разговорах» Л.С. Липавского выразил А.И. Введенский, друг и единомышленник Хармса:

«Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума – более основательную, чем та, отвлеченная. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира» [Липавский, 2000, с. 186].

Словно вторя установке Александра Введенского, Хармс в детском рассказе «Друг за другом» реализует этот принцип «новой логики»:

Изобретатель развернул папку, достал из нее картон и разложил его на столе. На картоне было нарисовано 32 квадрата: 16 желтых и 16 синих. Изобретатель достал из папки 8 картонных фигурок и поставил их перед доской.

– Вот, – сказал изобретатель, – видите восемь фигурок: четыре желтых и четыре синих. Называются они так: первая фигура изображает корову и называется “корова”.

– Простите, – сказал редактор, – но ведь это не корова.

– Это не важно, – сказал Астатуров. – Вторая фигура – самовар и называется “врач”, желтые и синие фигуры совершенно одинаковы.

– Позвольте, – сказал редактор, – но желтый врач совсем не похож на синего.

– Это не важно, – сказал Астатуров, – сейчас я вам объясню, как надо играть в эту игру. Играют двое. Сначала они расставляют фигуры по местам. Желтые фигуры – на желтые квадраты, синие – на синие.

– Что же дальше? – спросил редактор.

– Дальше, – сказал Астатуров, – игроки начинают двигать фигуры. Первый – желтый самовар, второй – синий самовар. Постепенно фигуры идут навстречу друг другу и, наконец, меняются местами.

– А что же дальше? – спросил редактор.

– Дальше, – сказал Астатуров, – фигуры идут обратно в том же порядке.

– Ну и что же? – спросил редактор.

– Все, – торжествующе сказал Астатуров» [Хармс, 2000, с. 139-140].

Безоговорочное «это не важно» как нельзя лучше иллюстрирует логику художественного мира обэриутов, а с другой стороны, как нельзя более точно соответствует логике детского мышления, которому важно само действие, а не объяснение причин этого действия. В этом плане совершенно «не важно», что Хармс за границей не был, но при этом довольно уверенно занимает позицию повествователя-путешественника.

Необходимо затронуть еще один аспект логики художественного мышления обэриутов и чинарей, который можно обо-

значить как *мифологический перевертень*, когда чужое, т.е. «не свое», «неправильное», понимается и изображается буквально неправильным. Эту установку обэриутов хорошо иллюстрирует беседа между Хармсом и Н.А. Заболоцким, записанная Л.С. Липавским:

Н. А.: Тяготения нет, все вещи летят, и земля мешает их полету, как экран на пути. Тяготение – прервавшееся движение и то, что тяжелей, летит быстрее, нагоняет.

Д. Х.: Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если земля препятствие на пути полета вещей, то непонятно, почему на другой стороне земли, в Америке, вещи тоже летят к земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас.

<...>

Н. А.: Те вещи, которые летят не по направлению к земле, их и нет на земле. Остались только подходящих направлений.

Д. Х.: Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к земле, то, когда ты попадешь в Америку, ты начнешь скользить на брюхе по касательной к земле и улетишь навсегда.

Н. А.: Вселенная, это полый шар, лучи полета идут по радиусам внутрь, к земле. Поэтому никто и не отрывается от земли» [Липавский, 2000, с. 190– 191]³.

Следуя этой мысли, другой мир – буквально другой, там все с ног на голову. Подобная логика, чуждая взрослому человеку, который опирается на данные науки, предельно близка ребенку, которому не только не странно, что на другой стороне земного шара люди «скользят на брюхе», но даже естественно и, как минимум, забавно.

Из беседы становится ясным, что Америка понимается чинарями как какое-то условное далекое пространство, все равно что – Луна. Это абстракция, далекая от реальности, а значит удобная для подобных мыслительных экспериментов. С другой

³ В тексте у Л. Липавского приняты сокращения: Д. Х. – Д. Хармс, Н. А. – Н. Заболоцкий.

стороны, реальный мир, в силу своей профанности, никчемности и ущербности, вообще не интересуется Хармса.

Условность мыслимого Хармсом пространства и условность реального (в силу невозможности выезда за границу) породила у писателя самый широкий диапазон путешествий – от Северной Америки до Африки, от Южной Америки до Японии.

Так, в стихотворении «Профессор Трубочкин, входя...» (1933) травелог представляет традиционный перечень локусов:

Был я в Америке
был я в Австралии
плавал я по морю
лазал я на горы.

Был и в Америке
был и в Австралии
был и на Северном полюсе

На дно морское опускался <...> [Хармс, 2000, с. 41]

и т.д. Читателю-ребенку не важны детали, ему важен сам факт далекого путешествия, которое охватывает предельные координаты в системе «север/юг» (т.е. Северный полюс/Австралия) и/или в системе «верх/низ» (гора/дно морское).

Что же касается внешнего фактора, тот тут следует говорить об абсурде самой ситуации, когда травелог создается человеком, никуда никогда не выезжавшим. Однако этот абсурд объясняется ироническим (если не сатирическим) отношением писателя к действительности, когда за счет изображения иной повседневности (весьма условной, что объясняется отсутствием реального опыта путешествия) переосмысливается или карикатурно изображается образ бытования в стране, где и живет автор. Набор реалий чужой жизни у Хармса довольно широк и вместе с тем примитивен, укладывается в тот мифологический ряд представлений о заграничье, который можно определить как обывательский и который сформирован из общедоступных источников

(например, всем известно, что в Африке живут слоны, в Арктике – белые медведи, в Австралии – кенгуру и т.д.). В контексте литературы путешествий такое отношение к изображению чужого мира, без реального опыта столкновения с ним, без реальных знаний и, самое главное, без знания уникальных деталей (что и делает каждый травелог самостоятельным, интересным и оправданным для публикации), радикально снижает ценность художественного произведения. Однако в случае с литературой для детей дошкольного или младшего школьного возраста претензии подобного рода должны быть как минимум смягчены.

Вместе с тем, детский травелог Хармса отвечал основному принципу изображения заграничной жизни в условиях торжества советской идеологии 1920-1930-х гг., провозгласившей победу культурно-бытовых достижений советской жизни⁴. Согласно этому принципу Хармсу и не требовалось демонстрировать «путевой» опыт, выходящий за рамки отработанных шаблонов: в условиях насаждения советского мифа, делавшего ставку на искаженное (почти всегда негативное) изображение зарубежья, точные знания Хармсу были не нужны. Подобное «послушное» следование парадигме о совершенстве советской повседневной жизни и, напротив, ущербности заграничной, возможно, и обусловило тот факт, что Хармс печатался в детских журналах и издавал книги, что давало ему единственный источник существования: как известно, «взрослые» произведения Хармса писались «в стол». При этом именно взрослый читатель не может не уловить издевки над советской повседневностью, когда знакомится с детским травелогом Хармса.

Так, в рассказе Хармса «О том как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил» (1928) двое «путешественников» оказываются в «Бразилии» и встречают «туземцев»,

⁴ Ср. хрестоматийное циничное высказывание И.В. Сталина об уровне советской жизни, произнесенное им 17 ноября 1935 года во время выступления на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц-стахановцев: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

которые: «оказались небольшого роста, грязные и белобрысые» [Хармс, 2000, с. 120]. Комизм ситуации для взрослого читателя заключается в том, что он прекрасно понимает, что «путешественники» повстречали не аборигенов Южной Америки, а советских крестьянских детей, которым совсем скоро станет жить и лучше, и веселее. Ироничное осмысление своего повседневного мира и критика его официальной мифологии, согласно которой жизнь в СССР радикально отличается от зарубежной в лучшую сторону, продолжается за счет дальнейшего повествования: повстречав автомобиль, Колька Панкин искренне удивляется: «Откуда же в Бразилии автомобиль?» [Хармс, 2000, с. 123]. Миф о бедном, примитивном [Пономарев, 2012, с. 26-34], технически отсталом западном (а уже тем более, южноамериканском) мире все еще поддерживается. Но эффект зеркала только усиливается. В представлении обывателя, Бразилия наполнена традиционными шаблонными реалиями, такими как: солнце, море, попугай, пальмы. Но попугай оборачивается воробьем, бизон – коровой, бразильцы – довольно агрессивными крестьянскими детишками, кондор – вороной. А дальше по тексту вообще оказывается, что Бразилия – это Брусилово в Черниговской губернии. За счет излюбленного хармсовского приема «переворачивания» достигается осознание того, что это не Бразилия лишена диковинок, а что именно родная сторона являет собой серую обыденность, которую способно приукрасить только богатое детское воображение.

И в этой ситуации Хармсу не остается делать ничего иного, как «закрыть» для ребенка этот яркий чужой мир. И выбрать обоснование для этого самое примитивное, но, возможно, в силу этого и самое действенное: чужой мир именно чужой, именно враждебный. Не случайно герой хармсовского перевода стихотворения Л. М. Квитко «Танкист» (1938) «объясняет» маленькому читателю: «Я ведь знаю, что фашисты / Лезут к нам со всех боков» [Хармс, 2000, с. 95]. Логика мышления будущего танкиста аналогична логике жителей Обломовки, которые – в соответствии со своей мифологической картиной мира – Обломовку сле-

лали axis mundi, Москву и Петербург поместили на периферию, а все что за ней – населили немцами и французами, т.е. чужими, т.е. врагами.

Все вышесказанное объясняет условность изображаемого Хармсом зарубежного мира, что, опять-таки, вполне укладывается и в рамки логики обэриутов, следуя которой Хармс (равно как и другие чинари и обэриуты) *сознательно* ограничивал собственное знание о зарубежье. Фактическое незнание заграничной жизни не только не мешает Хармсу писать о ней, но даже позволяет писать успешно, т.е. публиковаться, что можно объяснить лишь тем фактом, что детский травелог Хармса соответствует принципам «революционной географии» [Пономарев, 2014, с. 11].

У Хармса детский травелог не является реальным отчетом о реальном путешествии. Для него это, во-первых, доступный способ выражения своих квазимифологических представлений, а во-вторых, опыт глубоко завуалированной критики той повседневности, к которой он относился с презрением и которую не принимал.

Литература

Липавский Л.С. Разговоры // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс. Н. Олейников: «Чинари» в текстах, документах и исследованиях / сост. В. Н. Сажин: В 2 т. Т. 1. М.: Ладомир, 2000. (Русская потаенная литература).

Хармс Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3: Тигр на улице. СПб.: Азбука, 2000.

Пономарев Е.Р. Путешествие в царство Кошца: Англия и Америка в советской путевой литературе 1920-1930-х гг. Часть 2 // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. 2012. № 2 (11). С. 26–34.

Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920-1930-х годов. Автореф. дисс... докт. филол. наук. СПб., 2014.

Сорочан А.Ю. Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 379-402.

F. V. Kuvshinov

Lipetskiy Institute of Cooperation

TRAVELOG IN CHILDREN'S LITERATURE OF THE 1920-1930S: DANIIL HARMS

Abstract. The article represents the experience of the analysis of travelogue in children's literature of 1920-1930-ies, based on the works by Daniil Harms. Children's literature allows to imagine conventionally the world that is foreign and unknown for a Soviet child and to fill this world with reality-stamps of the alien world because of its greater commitment to events rather than to details. It can be treated as a lack of professionalism and trivial ignorance of facts in adult literature, but children's literature is devoid of such critical analysis because it's important for children that the fact of the action itself takes place in an alien area, different from the real one. In this case it's easy to explain the fact that D.I. Harms' narration of an alien world is quite schematical like mythological thinking, presented, for example, in the novel "Oblomov" by I.A. Goncharov. Of course, it can be explained not by creative incompetence of D. Harms, but by the standardized nature of Soviet literature, that was completely linked to the ideological directories, on the one hand, and by the logic of artistic thinking of oberiuts, on the other hand. However, Soviet everyday life can be seen through the narrative of the children's travelogue. It appeared in an unpleasant way: unlike the foreign reality the Soviet one lacks exoticism and aesthetics. Due to the ideological conventions D.I. Harms had to justify his refusal from the alien world within children's literature (the poem "Tanker").

Keywords: children's travelogue, «new logics» of oberiuts, mythological reversing, Soviet ideology, principles of «revolutionary geography».

Information about the author. Kuvshinov Felix Vladimirovich, Candidate of philological sciences, assistant professor of the Department of Humanities and Social Sciences of Lipetsk Institute of cooperation (regional branch of Belgorod University of Cooperation, Economics and Law), (Zegel str., 25a., Lipetsk, Russia, 398002, Tel. +79046852931. E-mail: fkuvshinov@yandex.ru).

Дж. Я. Рахаев

Институт российской истории РАН

**ВОС/ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТРАВМЫ: ОСМЫСЛЕНИЕ
ДЕПОРТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ БАЛКАРЦЕВ
И КАРАЧАЕВЦЕВ)**

Аннотация. Работа посвящена отражению в художественной литературе и изобразительном искусстве трагических событий, связанных с репрессиями советской власти против народов Северного Кавказа в годы Второй мировой войны. В балкарской и карачаевской литературе это отразилось в рассказах и повестях, описывающих депортацию – вынужденное перемещение этих народов в непригодные для жизни условия. Насильственный характер действий власти при тоталитарном режиме создает ситуацию травмы как индивидуального сознания, так и в области национальной культурной памяти. Травма провоцирует кризис эмоции, слова и смысла. До конца 1980-х годов сведения об этих событиях были под запретом. Лишь в годы перестройки появились произведения-свидетельства, принадлежащие писателям, чье детство пришлось на время вынужденного переселения. В текстах такого рода доминируют детская позиция и детский взгляд. Депортация выступает не как однократное событие, завершившееся с возвращением на историческую родину в 1957 году, а как процесс, который продолжает оказывать существенное воздействие на отношение репрессированных народов к своему прошлому, настоящему и будущему. Язык описания этой травмы на разных этапах демонстрирует характерные мифологемы сталинской эпохи: архаичные идеи национальной солидарности, национального единства, национального превосходства. «Образ врага» в 1930–1950-е годы создавал социальные фобии, искажающие восприятие «другой» культуры, межэтническое взаимодействие и самоидентификацию. Герои обживают мир, предлагаемый им обстоятельствами, стремятся к адаптации и вытеснению всего, что выходит за рамки их понимания. Трагедию депортации ни в коем случае нельзя считать пережитой. По сей день продолжается поиск героя, судьба которого поможет осознать пережитую травму в контексте советской истории и общечеловеческой исторической памяти. Задачей этого поиска

является восстановление целостности исторического сознания депортированных народов.

Ключевые слова: балкарская и карачаевская литература, депортация, Северный Кавказ, травма.

Сведения об авторе: Рахаев Джамал Якубович, старший научный сотрудник Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН (Москва) (E-mail: jamal_rv@mail.ru).

Культурная память все увереннее становится одним из ключевых элементов, определяющих состояние современного российского Кавказа. По-существу, она предопределяет динамику социокультурных процессов северокавказских этносов и тем самым существенно влияет на формирование трендов политического развития региона. Понимание механизмов воздействия и актуализации культурной памяти на этнос, конкретные социальные группы и отдельного индивида позволяет глубже понимать многомерную социальную реальность Северного Кавказа, специфику развития межэтнических отношений и конфессиональной обстановки. Следует подчеркнуть, что особенности протекания изучаемых процессов настоятельно требуют комплексного подхода, объединяющего наработки не только историков, но и этнографов, лингвистов, литературоведов, фольклористов, искусствоведов, социологов, психологов и антропологов.

Для теоретических рамок данной работы особое звучание приобретает понятие «травма». С конца XX века дискурс травмы становится все более популярным среди социологов, историков и филологов, сходных в своем намерении применить психоаналитические подходы и понятийный инструментарий к области cultural studies [Адорно, 2005; Рюзен, 1995, 2003; Травма, 2009; Штомпка, 2001a, 2001b; Caruth, 1996; Cultural Trauma, 2004; Eyerman, 2001; Giesen, 2000, 2004; Kansteiner, 2004, 2008; LaCapra, 2001; Leys, 2000; Memory, 2006; Neal, 1998; Roth, 1995; Sztompka, 2000; Tense Past, 1996; Trauma, 1996]. Подобно тому, как на уровне индивидуальной психологии рассмотрение травмы неотделимо от проблематики памяти и самоидентификации, в социокультурном контексте введение концепта культурной

травмы связано с кругом вопросов, относящихся к коллективной памяти и идентичности. Травматическое воздействие влияет на память индивида/социума и приводит к кризису идентичности. Травма не ограничивается актом нарушения/разрушения привычного образа жизни и сложившихся моделей идентичности. Скорее, травмирующим оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни. Таким образом, травма переживается как разрыв в истории (*historical gaps* – термин А. Арент), своеобразный дискурсивный и эпистемологический паралич, неспособность свести воедино три критических опыта: опыт пережитого, опыт высказанного и опыт осмысленного⁵.

Анализ разрыва между эмоциями, словами и смыслами может строиться на следующих основаниях: травма/утрата, травма/консолидирующее событие и, наконец, травма/символическая матрица. *Травма/утрата* акцентирует ретроспективные попытки установить логику происшедшего: утрата становится главной стимулирующей причиной воображения «целостности»⁶. Невозможность символической локализации травмы в прошлом нередко ведет к активному производству следов утраты в настоящем⁷. *Травма/символ* представляет собой попытку обозначить следы утраты и дискурсивно стабилизировать значение травмы в практиках коммеморации (памятниках, ритуалах, памятных датах и т.п.). Систематическая циркуляция эмоций и историй, порожденных травматическим опытом, соответствующим образом формирует идентичность группы⁸. *Травма/сюжет* воплощает в себе переход травматического опыта в повествовательную матрицу, придающую логику связного сюжета раздробленным фактам индивидуальной или коллективной биографии. Специфические ситуации жертв или очевидцев приобретают статус авторских позиций, с точки зрения которых репрезентируется

⁵ См.: [Pain, 1992; Trezise, 2001].

⁶ См.: [Derrida, 2001].

⁷ См. подробнее: [Loss, 2003; Ferme, 2001; Tense Past, 1996].

⁸ См.: [Feldman, 2003; Victoriano, 2004].

прошлое и воспринимается настоящее⁹. Именно на последнем подходе мы сосредоточим свое внимание.

Трагедию депортации ни в коем случае нельзя считать пережитой. Привлеченный нами нарратив, сам язык описания травмы, наглядно демонстрируют характерные еще для сталинских времен мифологемы (архаичные идеи национальной солидарности, национального единства, национального превосходства), а также проистекающие из «образа врага» 1930–1950 годов социальные фобии, искажающие восприятие «другой/чужой» культуры, межэтническое взаимодействие и самоидентификацию.

Пограничная ситуация, в которой оказываются вос/созданные в балкарской и карачаевской литературе конца XX – начала XXI века герои, свидетели и участники выселения 1943–1944 годов, со всей ясностью, вопреки этническому и конфессиональному своеобразию, предельно четко описывает черты «советского человека»¹⁰. Выселенец обживает мир, предлагаемый ему обстоятельствами; его адаптивные способности, приводящие к пассивному конформизму, поистине безграничны; ему свойственно бороться за сохранение «нормальности» своей жизни, длить повседневность, игнорировать все, что выпадает за рамки понимания, даже если он становится участником/свидетелем травматического события.

Этническая мобилизация балкарцев и карачаевцев на рубеже XX–XXI веков труднообъяснима без учета тесной, неразрывной взаимосвязи травматического опыта депортации с развитием национального самосознания и с самой идеей национального, в чем проявляется ее схожесть с этнополитическими процессами у других народов Северного Кавказа, в особенности, среди адыгов, вайнахов и ногайцев. Депортация, таким образом, выступает не как единовременное событие (*2 ноября 1943 года* для карачаевцев, и *8 марта 1944 года* для балкарцев), завершившееся с возвращением на историческую родину в 1957 году, а как процесс, который продолжает оказывать су-

⁹ См.: [Brown, 1995; Violence, 2000; Feldman, 2004; Gilmore, 2001; Kleinman, 1988; Novick, 1999; Toker, 2000].

¹⁰ Согласно концепции Ю.А. Левады, советские идеологические практики, навязывавшие индивидам универсальную нормативно-ценностную систему, формировали «человека лукавого», соглашавшегося с предписываемыми установками – и одновременно искавшего способы их обойти. См.: [Левада, 2000].

щественное воздействие на отношение репрессированных народов к своему прошлому, восприятие своего настоящего и будущего.

Вплоть до конца 1980-х годов тема депортации народов СССР находилась под официальным идеологическим запретом. Балкарская и карачаевская проза стала описывать травму депортации только на исходе перестройки. Значительная часть писателей (И.Ж. Боташев¹¹, М.Т. Гаев¹², М.Б. Геккиев¹³, М.И. Геттуев¹⁴,

¹¹ *Боташев Исса Жарахматович* (6.09.1925, село Кенделен Эльбрусского района КБР – 7.10.1991, г. Нальчик). Балкарский поэт и драматург. Родился в семье крестьянина. Окончил сельскую школу в 1941 г. Трудовую деятельность начал в 1941 г. косарем, учетчиком в родном колхозе. В 1942–1943 гг. работал инструктором Эльбрусского райкома КПСС, артистом балкарского драматического театра. В марте 1944 г. депортирован. Молодые годы Боташева прошли в Средней Азии. В г. Фрунзе был принят в «Кавказский ансамбль» песни и пляски, созданный в 1948 г. при Киргизской госфилармонии артистами-переселенцами из среды высланных горцев Северного Кавказа. С 1956 г. – член союза писателей СССР, с 1958 г. – член КПСС. В 1959–1964 гг. – обучался в Литературном институте им. А.М. Горького. По возвращении на родину занимался возрождением балкарского сценического искусства, руководил драматическим театром, занимал должность директора музея изобразительных искусств.

¹² *Гаев Махми Таушевич* (10.12.1939, село Хасанья Холамо-Безенгиевского района КБР). Балкарский поэт, журналист, переводчик. В марте 1944 г. депортирован в Киргизию, Накауский район Опшской области. После 7 класса работал на Накаутском кирпичном заводе. По возвращении на Родину продолжил трудовую деятельность на Нальчикском машиностроительном заводе, совмещая с учебой на историко-филологическом факультете КБГУ. С 1968, по 1975 гг. – учитель родного языка и литературы в СП № 16 г. Нальчика. Позже посвятил себя журналистской работе, с 1978 г. – член Союза журналистов СССР.

¹³ *Геккиев Магомед Батталович* (8.03.1947, село Чемолган Алма-Атинской области Казахской ССР). Балкарский поэт, переводчик. В 1957 г., вместе со своей семьей, возвращается на Родину. Завершает школьное образование в г. Тырнаузе. Затем, до 1970 г., трудился на шахте в г. Тырнауз. В 1970–1975 гг. обучался в Литературном институте им. А.М. Горького. С 1991 г. – член союза писателей РФ.

¹⁴ *Геттуев Максим Исмаилович* (1916, село Кенделен Эльбрусского района КБР – 1985, г. Нальчик). Балкарский поэт. После окончания школьного образования уехал в Нальчик, где поступил на работу в газету «Социалист Къабарты Малкъар» («Социалистическая Кабардино-Балкария») собственным корреспондентом в горных районах. В годы Второй мировой войны служил рядах Красной армии. Демобилизовался в феврале 1946 г. Депортирован в Таджикскую ССР, г. Ленинабад. Работал в республиканской газете «Ленинабадская правда». После возвращения на Родину трудился в партийных органах. В 1967–1980 гг. – председатель Президиума Верховного совета КБАССР. В 1974 М. Б. Геттуеву присвоено звание «Народный поэт КБАССР».

М.С. Гулиев¹⁵, Б.Л. Гуляев¹⁶, А.Г. Додуев¹⁷ и многие другие) в силу ряда причин оказалась не в силу приблизиться к травматическому событию. Другая – предприняла рискованную, но неизбежную попытку выяснить все известные им обстоятельства трагедии.

По этой причине литературное приближение писателей к травматическому событию депортации в первую очередь следует воспринимать как свидетельство. Большинство балкарских и карачаевских писателей, описавших выселение, на момент депортации были детьми. Поэтому трагедия, которую они описывают, это травма глазами ребенка. Детство на чужбине остается для маленьких героев А. Байзуллаева («Черная корова», «Ёлмезхан», «Водяная мельница», «Белое облачко») детством, однако,

¹⁵ *Гулиев Мажит Саматович* (1932, поселок Эльбрус Эльбрусского района КБР – 1998, г. Нальчик). Балкарский поэт, прозаик, драматург. С 1948 по 1957 гг. работал на кирпично-черепичном заводе в с. Ивановка Киргизской ССР. В 1954 г. окончил СШ в том же селе. После возвращения на Родину, в 1957–1962 гг. трудился в Комитете по телевидению и радиовещанию. В 1962–1965 гг. работал в газете «Коммунизмге жол» («Путь к коммунизму»). В 1957–1963 гг. учился на историко-филологическом факультете КБГУ. В 1965–1967 гг. обучался на промышленном отделении Ростовской высшей партийной школы. С 1967 по 1984 гг. – инструктор отдела легкой, пищевой промышленности и торговли обкома КПСС, с 1984 по 1994 гг. – заместитель председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию КБАССР.

¹⁶ *Гуляев Башир Локманович* (25.09.1936, село Кёнделен Эльбрусского района КБР – 1993, г. Нальчик). Балкарский прозаик, журналист. Школьное образование получил в Казахской ССР, в 1953–1957 гг. обучался в Учительском институте в г. Чимкенте (Казахская ССР). После возвращения на Родину трудился учителем в селе Кёнделен. В 1959 (?)–1964 гг. учился на историко-филологическом факультете КБГУ, затем работал последовательно редактором балкарского вещания Кабардино-Балкарского радио и главным редактором Кабардино-Балкарского телевидения. С 1982 г. – член Союза писателей СССР, до 1993 г. – председатель Союза журналистов КБАССР.

¹⁷ *Додуев Аскер Тауканович* (1953, село Тельман Талды-Курганской области, Казахстан). Балкарский поэт. После возвращения на историческую Родину окончил СШ в селе Шалушка. В 1969–1970 гг. учился на математическом факультете КБГУ. В 1977–1983 гг. – учитель математики в СШ селе Шалушка. С 1983 по 1988 г. трудится в журнале «Миги тау» редактором отдела поэзии. С 1988 г. работает на Кабардино-Балкарском телевидении.

оно лишено многих радостей – отец на фронте, мать целыми днями гнет спину на плантации сахарной свеклы. С ней маленький Алёш и его сестренка видятся только зимой; она уходит до рассвета и возвращается, когда они уже спят. Еще безрадостнее жизнь взрослых, живущих только памятью о прошлом, в ожидании возвращения с фронта мужей и сыновей. Ранний нелегкий труд, раннее взросление и почти полное отсутствие детской беззаботности. Дети знают, что они живут на чужбине, да им и не дают забыть об этом – нет-нет, да и кинут по злобе: «бандиты», «враги». Они живут той же мечтой, что и взрослые, пусть и не понимая, что означает для человека жить на родине. Одноклассник героя, маленький ингуш Муса, на митинге в день смерти Сталина говорит друзьям, повторяя слова своего дяди: «Теперь нас вернут на Кавказ».

В детском доме растет Кямал, герой повести Ибрагима Гадиева «Вдали от родных жилищ». О родине, о самых близких ему людях он хранит только смутные воспоминания, но в конце концов находит в себе силы вернуться к своему народу, обрести мир, с которым его насильно разлучили.

На другом полюсе – рассказы, представляющие события тех лет в форме аллегории: «Орлиное гнездо» Б. Гуляева, «Баллада о можжевельнике» А. Теппева, «Дерево» М. Геккиева, в которых орел и орлята, можжевельник, дерево символизируют народ и его стойкость, а буря, наводнение, гроза олицетворяют обрушившиеся на него бедствия. Близок к аллегории и рассказ И. Бабаева «Зеленая ветка». Огромный и жестокий мир чужбины, в котором растут маленькие герои рассказов и повестей балкарских и карачаевских писателей, мир, в котором в любой момент могут унижить, оскорбить, избить – то комендант, у которого спецпереселенцы должны были отмечаться и без разрешения которого не могли отъехать от населенного пункта, то бригадир или председатель колхоза, – населен и другими людьми, добрыми и отзывчивыми. И они описаны с более близкого расстояния и появляются на страницах их произведений гораздо чаще, чем

первые, которые скорее выглядят чем-то отдаленным, несущим в себе угрозу; о них не забывают, но все же они – нечто внешнее и слишком чуждое, чтобы о них говорить или думать все время. В этом смысле память балкарской и карачаевской литературы оказалась благодарной: чуть ли не половина страниц, написанных самыми разными авторами, посвящена не депортированным, а людям других национальностей, благодаря которым дети в самых безнадежных ситуациях сохраняют веру в добро, в человека. Таковы старый лекарь, дунганин Юан из романа Б. Кулиева «Желтоногие гуси»; работники детского дома Владимир Карлович и Полина Андреевна («Вдали от родных жилищ» И. Гадиева); директор завода татарин Гальперин, учитель Федор Васильевич, удочеривший сироту, девочку-балкарку («Соловей» Б. Гуляева); учительница школы, в которой учится герой рассказов Э. Гуртуева, Марианна Порфирьевна; музыкальный мастер, еврей Иосиф Абрамович, охотник-киргиз Мухарбек, учитель-уйгур Якуп-ага («Солдатская шинель» У. Жулабова).

Многое противостоит в мире, где распоряжаются опьяненные властью и безнаказанностью сотрудники НКВД, в мире, где не ценятся человеческая жизнь. Античеловеческую суть происходящего и подчеркивает и делает более выпуклой то, что в большинстве этих и многих других произведений речь идет о детях, женщинах и стариках. Люди зачастую безжалостны и жестоки даже по отношению к детям, опускаясь в нравственном падении гораздо ниже животных. Женщина, приютившая маленького балкарца Исмаила, оставшегося круглым сиротой, как оказалось, дала ему кров не по доброте душевной, а для того, чтобы он присматривал за ее сыном и выполнял работу по дому. В морозную зимнюю ночь полураздетый ребенок бредет к селу, где, как он помнил, была похоронена его мать: больше идти ему некуда. Сломленный людской злобой, он не решается войти в чей-либо дом, он уже не верит людям. Обнаружив в канаве беспомощного щенка, замерзая в стогу, он пытается отогреть своим телом, сохранить жизнь этому крошечному созданию. Живое

сострадает живому, и происходит чудо – их случайно находят утром, еще живых («Сирота» У. Жулабова).

В последние годы балкарская и карачаевская проза все чаще обращается к тому времени, что предшествовало периоду выселения, – к воссозданию картины выселения народа из родных мест. Изгнание с родины, кроме всего прочего, разорвало связь времен, поколений, традицию культуры, истории, в той или иной степени разрушило все, что имел и чем жил народ. И это движение литературы, как и народной памяти, в прошлое, имеет определенную цель – восстановить поврежденное звено непрерывной цепи исторической памяти.

В повести Х. Шаваева «Западня» колхозницу Фаризат арестовывают на рынке, как и других балкарцев и балкарок, находившихся там – шла подготовка к выселению. Не зная за собой никакой вины, она пытается объяснить охраннику, что ее дома ждут дети, что они одни, что муж на фронте. Но того все это совершенно не интересует; он отвечает то, что ему внушили: «Твой муж бандит. Вы все бандиты». В ту же камеру сажают и Забиду, депутата Верховного Совета республики. На ее попытки призвать охрану к порядку солдат говорит: «Ты не депутат – ты бандит!», избивает ее и ее ребенка, а когда один из арестованных мужчин пытается заступиться, стреляет ему в ноги. Советская власть может обвинить любого человека или даже народы, у нее своя логика, которую никогда не смогут ни понять, ни принять такие, как Забида или Фаризат, или любой из арестованных, ждущих решения своей участи в камере. Поэтому даже после всего, что произошло на их глазах, люди не могут поверить майору, начальнику охраны, что скоро выселят из родных мест весь балкарский народ:

– В чем наша вина перед Красной Армией? – спросила Фаризат. – За одну ночь вы истребили всех людей в Сауту, Четете, Глашево. А теперь изгоняете целый народ. Люди, почему вы молчите?

Подавленные известием, полумертвые от ужаса люди даже не услышали ее крик.

– Население этих аулов было уничтожено врагами Советской власти, – сказал майор. – Ты не имеешь права поливать грязью Красную Армию!

– Чтобы вам умереть от удущья! Кто их уничтожил, как не ваши? – проговорила пожилая женщина, уяснив о чем идет речь. – Двух моих сестер, их восьмерых детей, их свекры и свекрови убиты в Сауту. А трупы их сожгли, гитлеровское отродье!

– Что она говорит? – спросил майор. Фаризат перевела – слово в слово.

– Вот видите, – сказал майор, – даже эта темная женщина знает, что ваших людей убили гитлеровцы.

– Нет, она хотела сказать, что между Красной Армией и гитлеровцами нет никакой разницы, – сказала Фаризат.

– Только что ты, похвалялась, что твой муж на войне – значит и твой муж тоже фашист. Если хотите знать, весь народ выселяют из-за таких, как вы. Приравнять солдат Красной Армии к гитлеровцам! Да за такие слова, будь на моем месте другой, тут же вас всех бы расстрелял! [Шаваев, с. 317]

Это разговор живых людей с человеком, превратившимся в часть механизма; майор думает и говорит только то, что ему велели думать и говорить. Но сталинское тоталитарное государство равнодушно и к тем, кто служит ей верой и правдой. Такова судьба Омара («Голубой типчак» З. Толгурова), сотрудника НКВД. Его народ объявлен «сборищем бандитов», врагами, предателями, а он продолжает выполнять свою грязную работу. В разговоре с Халимат он разъясняет ей, что мирные села были уничтожены не советскими солдатами, а фашистами, переодетыми в красноармейскую форму. Показателен их диалог. На наивный и недоуменный вопрос Халимат, почему же советские солдаты действовали заодно с переодетыми фашистами, убивая сотни стариков, женщин и детей, Омар объявляет, что она повторяет вражескую агитацию, что государство этого не потерпит. Халимат задает еще один вопрос: «А что такое государство? И почему оно занимается истреблением людей?». Омар, обдумав, что же можно ответить этой «темной» женщине, говорит: «Государство – это нечто огромное. Нет ничего, до чего бы не

дотянулась его рука, чего бы не заметил его глаз», и добавляет, что он сам – государственный человек. Омар в этом случае говорит правду – он теперь, в первую очередь, принадлежит не своей семье, роду или народу, а государству. «Партия приказывала ему только арестовывать, допрашивать, обвинять людей, и он жил, думая, что исполняет важную государственную задачу». Прозрение приходит к нему лишь после того, как на его глазах солдаты убивают нескольких подростков, спрятавшихся во время выселения аула, – как бандитов.

Трагические события в Черекском ущелье в 1942 году, описаны в рассказе Э. Гуртуева «Звездочка, погасшая в Сауту». Звездочка (Жулдузчук) так прозвали внучку старого охотника Кичибатыра. Дед был в горах, когда мать девочки солдаты прикладами выгнали из дому, не заметив ребенка. Выбежав из дому, девочка видит военного в фуражке:

Но девочка не испугалась. Потому что на его фуражке была звездочка, точь-в-точь как у ее отца на портрете. Военный, кажется, даже улыбался. Он, наверное, просто хотел ее напугать. Но раздался выстрел. Головка девочки вздрогнула, а над белым надбровьем появилась маленькая красная звездочка [Гуртуев, с. 503].

Особенно интересен литературный опыт религиозно-философского осмысления депортации. Все дальше и дальше увозит поезд спецпереселенцев, загнанных в вагоны. Не о себе – о других молит герой рассказа Э. Гуртуева «Жизнь и смерть Красного эфенди» старый мулла Батырбий:

...Всемогущий и Всесильный, Милостивый и Милосердный Господь наш, обрати взор свой на этих несчастных. На рабов Твоих, ставших жертвами навета коварных, злобных и жестоких воителей дьявола, непокорного тебе злоносителя. Лишь Ты спасешь этих несчастных и вернешь их к родным очагам, чтобы они могли жить и молиться во имя Твое, высокое и чистое [Гуртуев, с. 512].

Герой рассказа «Разбитый чугунок», старый охотник Заурбек, одиноко умирая в лачуге, на чужбине, думает о том, что лишился всего, что было ему дорого, и о том, почему это произошло:

В большом мире буйствовал и ликовал Иблис-Дьявол – враг справедливости и милосердия. Поэтому просил старый балкарец Всесильного, но отвернувшегося от него Господа, чтобы тот поскорей призвал и упокоил его, Заурбека, душу. Он, конечно, знал и то, что не к лицу правоверному стремиться покидать сей мир без воли на то Всевышнего. Знал, что совершал непростительный грех. Но желание уйти от мучений и страданий, покинуть этот несовершенный мир было сильнее страха [Гургуев, с. 515].

К милосердию и помощи Аллаха взывает пожилая горянка Мадина в повести М. Гулиева «Отверженные звезды», не в силах понять происходящее и доходя до обвинений Бога в равнодушии и попустительстве силам зла: «Или ты решил, что на грешной земле управителей достаточно и все отдал Сталину? А если и так, взгляни еще раз, к какой черте приближаются наши души, сотворенные из дыхания земли и солнечного света. Но что мы такое на земном круге? Даже не щепки, мы, наверное, не стоим и сухой былинки...» [Гулиев, с. 517].

Это ощущение человека, вырванного из своей среды и брошенного в водоворот. Страшно было не это, такое случилось со многими и раньше. Но когда это происходит со всем народом, это травма, трудно поддающаяся осмыслению.

Но к Богу вызывают не все – в основном это представители старшего поколения. Десятилетия агрессивной антирелигиозной советской пропаганды сделали свое дело. Они объясняют происходящее произволом, которое творится без ведома высших инстанций, которые, конечно, желают народам только блага, без ведома того, кто стал в их глазах олицетворением мудрости и справедливости, заняв в их душах место Бога. Но в глазах стариков, воспитанных в иной, традиционной культуре, именно Сталин является носителем зла, поэтому престарелая карачаевка Ёлмезхан даже не хочет произносить его имени, заменяя словом

«биреу» («некто», «тот самый»), как и ее подруга Фаризат, и как мальчик, сообщающий им о смерти Сталина. Для них он такой же фараон, враг Аллаха, как и тот, древний, о котором говорится в Священном Коране («Ёлмезхан» А. Байзуллаева).

И в молитвах Жулдуз священные аяты Корана смешиваются с проклятиями тому, по чьей вине тысячи людей обречены на нечеловеческие страдания. Но ее младший сын Малик, вернувшийся с фронта, уже настолько пропитан стереотипами насаждаемого культа, что готов рассориться даже с матерью:

Мы с его именем шли в атаку, с его именем люди грудью на пулемет ложились, не боясь смерти, с его именем мы фашизм победили! И если хочешь знать, твои сыновья проливали кровь, чтобы только выполнить его приказ! Зачем ты надрываешь мое сердце, каждый день проклиная человека, который всем нам как отец?.. [Гуртуев, с. 609]

Но ему нечего возразить матери, которая на его слова о том, что Сталин не знает об участии народа, отвечает: «Так бы ему погибнуть, лицемеру, как он знает об этом, а после смерти ногтями рыть землю в аду! Как ты не понимаешь, что такие дела без приказа руководителя государства не делаются?» [Гуртуев, с. 603]. Притягательность образа вождя народов так велика, что понадобилось немалое время, чтобы Малик понял правоту Жулдуз.

Балкарская и карачаевская литература достаточно ясно и точно отразила основной конфликт в историческом сознании народа, тем более неодолимый, что он не может вспомнить ничего подобного в прошлом, найти аналогию. До того рокового дня 8 марта 1944 года все казалось более или менее понятным. Государство в лице его ставленников – «имя им легион» – распорядилось людьми и их судьбами по своему усмотрению, не считаясь с их желаниями и устремлениями. Были репрессии и насильственная коллективизация, разрушение мечетей, но и новые школы, дома, дороги, электричество, машины, радио – материальные блага, что многим показалось оправданием великих жертв и предвестием рая, который в скором времени насту-

пит на земле. Они все – граждане государства, которое с большими потерями, во враждебном кольце, движется к новой жизни, под руководством партии и ее великого вождя. Но геноцид не заканчивается, а наоборот, вступает в заключительную стадию, и здесь уже нет ни правых, ни виноватых, ни возраста, ни убеждений, ни заслуг; государственной машине безразлично, кто ты – бывший красный партизан или белогвардеец, коммунист или кулак: ты балкарец (ингуш, калмык, карачаевец, крымский татарин и т. д.), и значит – виновен. Ты – бандит, предатель, пособник фашистов. Оправдания и объяснения никого не интересуют, ярлык сильнее. И людям становится страшно, даже самым мужественным: они чувствуют, что столкнулись с чем-то неведомым, невиданно громадным, но лишенным всего человеческого, с абсурдом. Вот это ощущение столкновения лицом к лицу с механическим Молохом, не знающим добра и зла, волю которого выполняют люди – солдаты, сотрудники органов НКВД, коменданты в местах спецпоселений и другие, – постоянно живет в душах многих героев балкарской прозы. Народ хотел жить, выжить, но для этого надо было знать, что его подавляет, чему и как сопротивляться (именно – чему; если бы кому, все было бы понятно). Поскольку государственная машина, всей мощью навалившаяся на беззащитный народ, состоит из людей, жертвам тем более трудно было постичь ее бездушную, мертвую суть.

Таким образом, обобщая литературно-художественный опыт осмысления травматического опыта депортации балкарскими и карачаевскими писателями можно говорить о том, что продолжается поиск героя, современника описываемых событий, героя, через судьбу которого мыслимо осознать пережитую травму в контексте советской истории, а значит, целостность исторического сознания депортированных народов все еще не восстановлена, травма не пережита.

Творчество балкарских и карачаевских художников XX – начала XXI веков неразрывно связано с национальной памятью. Обращение к противоречивой истории своих народов неизбежно

приводит художников к поиску путей философского осмысления трагических событий, главным из которых, безусловно, выступает депортация 1943–1944 годов, на адекватном национальному мироощущению символическом языке. Тематическая живопись, таким образом, приобретает актуальное социальное звучание.

В марте 1989 года открылась выставка И. Джанкишиева «Память». И. Джанкишиев выполнил серию работ о переселении в годы, когда эта тема была полностью закрыта. Художник восстановил трагические события депортации балкарского народа, начиная с первого дня выселения. За арифметически простой констатацией факта в названии картины «24, 14, 13» скрываются драматические подробности депортации народа, которому было дано на сборы 24 часа, 14 суток предстояло добираться до мест выселения в Центральной Азии и 13 лет жить в изгнании.

Триптих «Памяти Кязима Мечиева» составили холсты «Остывший очаг», «Прощально слово о Родине» и «Смерть поэта». Книжки, рукописи мудрого старца, разбросанные по сакле; разоренный очаг, брошенная пустая люлька, разбитое окно, пустая, распахнутая настежь дверь – в беду, в гибель. Произведение отражает боль народа, плач Поэта о Родине, скорбным аккордом которого является траурное похоронное шествие. Мы не видим лиц, но в согбенных фигурах мужчин читается мука и мужество, мужество, которое, по словам К. Мечиева, «мы выбираем, если хотим называться людьми». Таким же драматизмом полны картины «Утро 8 марта 1944 года», «Прощание». Особенной поэтичностью наполнены полотна «Проходит мать через века» и «Раненные камни». «Когда я работал над этой серией, – общал художник впоследствии, – все время ощущал боль. Далекие воспоминания приближались вплотную, вытесняя явь, вновь становились реальностью. На этих картинах я потерял здоровье. Если среди тысяч людей будет один, который пережил эти тринадцать лет изгнания, я узнаю его безошибочно: по ответу тех лет в лице, по памяти в глазах. Тогда мне было четыре года, но я помню все. У меня нет ни одной картины на тему пересе-

ления, которую я написал бы по воспоминаниям других. Все – увиденное и пережитое. Первая ночь на чужбине прошла просто в поле. Нас окружили волки, и старики стали жечь одежду, чтобы спугнуть их огнем. Утром нас разбросали по разным населенным пунктам, поселиться всем вместе не разрешили» [Байсиева 2007].

Балкарские художники (И. Джанкишиев, Я. Аккизов, Х. Атабиева, Х. Теппев, А. Занибеков, Л. Ахматов) пытаются восстановить разорванную депортацией историческую память своего народа.

Картина погибшего в горах в 1992 году талантливого живописца В. Курданова «Приют спецпереселенцев» – дань художника не дождавшимся реабилитации и возвращения на Родину, погибшим от тяжелейших условий депортации соотечественникам.

А. Занибеков в серии «Красные камни» сочетанием рваных контуров, порывами разноцветного движения выразил экспрессию, драматическую направленность неожиданного поворота судьбы народа.

Графические работы Я. Аккизова и С. Меджидовой «Веха историй», «Прошлое рядом», «Мир над ущельем» и «Мой Чегем» посвящены Родине в том широком смысле, когда близким признается не только тот крохотный уголок земли, где ты родился и вырос, но и весь многогранный мир. Такое понимание трагического прошлого своего народа, созданное художниками, предлагает зрителю углубиться в ощущение древности своих корней, неразрывной связи уникальной истории балкарского этноса с историей Кавказа.

Трагическое в искусстве балкарских и карачаевских художников отнюдь не ограничивается описанием драматических катаклизмов, но прежде всего – гимн бессмертию человека, героизму народа-труженика. В наиболее кристаллизованной форме это послание выражено в полотне И. Джанкишиева, посвященного возвращению балкарцев на родину: женщина с ребенком на руках – вечный символ жизни.

С конца XX века в КБР и КЧР регулярно проводятся траурные мероприятия, посвященные депортации балкарского

и карачаевского народа, в том числе, передвижные тематические выставки изобразительного искусства.

Социальная история Северного Кавказа начала XXI века наглядно демонстрируют нам наличие гигантского разрыва между массовым идеологизированным восприятием истории Второй мировой войны и острым частным интересом к индивидуальному опыту ее современников. В условиях тотального дефицита в большом российском нарративе достоверной информации о том, что же собственно происходило на Северном Кавказе в 1941–1944 годы, какие события спровоцировали репрессивную реакцию советского тоталитарного государства в отношении чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев, каким образом проводилось выселение, как складывалась повседневная жизнь спецпереселенцев в местах высылки, чем обусловлен затянувшийся на долгие десятилетия процесс возвращения исторической родины, травматический опыт депортации продолжит свое деструктивное воздействие на этническое самосознание наказанных народов.

Литература

Адорно Т. Что означает «проработка прошлого»? // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа / ред.-сост. М. Е. Габович. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–82.

Байзуллаев А.Л. Ёлмезхан // Минги тау. Нальчик, 2009. № 3.

Байсиева М.К. Сохранить свое лицо // Горянка: Газета для семейного чтения (Нальчик). 2007. № 29 (414) 18 июля. С. 13.

Гулиев М.С. Отверженные звезды // Антология карачаево-балкарской литературы. Нальчик. Изд-во «Эльбрус».

Гуртуев Э.Б. Звездочка, погасшая в Сауту // Антология карачаево-балкарской литературы. Нальчик. Изд-во «Эльбрус».

Гуртуев Э.Б. Жизнь и смерть Красного эфенди // Антология карачаево-балкарской литературы. Нальчик. Изд-во «Эльбрус».

Гуртуев Э.Б. Разбитый чугунок // Антология карачаево-балкарской литературы. Нальчик. Изд-во «Эльбрус».

Левада Ю.А. Человек лукавый: двоемыслие по-русски // Левада Ю. А. От мнений к пониманию: Социологические очерки 1993–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 508–529.

Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цель времен»: Проблемы исторического сознания / отв. ред. Л. П. Репина. М.: ИВИ РАН, 1995. С. 38–62.

Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып.10. М.: УРСС, 2003. С. 48–65.

Травма: пункты / под ред. С. А. Ушакина, Е. Г. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

Шаваев Х.И. Западня // Минги тау. Нальчик, 2007. № 2.

Штомпка П. (а) Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.

Штомпка П. (б) Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12.

Brown W. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Cultural Trauma and Collective Identity / ed. by Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B. et al. Berkeley: University of California Press, 2004.

Derrida J. The Work of Mourning. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and The Formation of African American Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 302 pp.

Feldman A. Political Terror and the Technologies of Memory: Excuse, Sacrifice, Commodification, and Actuarial Moralities // Radical History Review. 2003. Vol. 85. P. 58–57.

Feldman A. Memory Theaters, Virtual Witnessing, and the Trauma Aesthetic // Biography. 2004. Vol. 27 (1). P. 163–202.

Ferme M. C. The Underneath of Things: Violence, History, and the Everyday in Sierra Leone. Berkeley: The University of California Press, 2001.

Giesen B. National Identity as Trauma: The German Case // Myth and Memory in the Constructuon of Community: Historical Patterns in Europe and Beyond / ed. by B. Stråth. Bruxelles: Peter Lang, 2000. P. 227–248.

Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder, London: Paradigm Publishers, 2004.

Gilmore L. Limit cases: Trauma, Self; representation, and the Jurisdictions of Identity // Biography. 2001. Vol. 24 (1). P. 128–139.

Kansteiner W. Genealogy of a Category Mistake: A Critical Intellectual History of the Cultural Trauma Metaphor // Rethinking History. 2004. Vol. 8 (2). 2004. P. 193–221.

Kansteiner W., Weilnböck H. Against the Concept of Cultural Trauma // Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll, A. Nünning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. P. 229–240.

Kleinman A. The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books, 1988.

LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 2001.

Leys R. Trauma: A Genealogy. Chicago: University Of Chicago Press, 2000.

Loss: The Politics of Mourning / ed. by D. Eng and D. Kazanjian. Berkeley: University of California Press, 2003.

Memory, Trauma, and World Politics: Reflections on the Relationship between Past and Present / ed. by D. Bell. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Neal A.G. National Traumas and Collective Memory: Major Events in the American Century. New York: M. E. Sharpe, Inc., 1998.

Novick P. The Holocaust in American life. Boston: Houghton Mifflin, 1999.

Pain as Human Experience: An Anthropological Perspective (Comparative Studies of Health Systems and Medical Care) / ed. by M.-J. DelVecchio Good, P. E. Brodwin, B. J. Good, A. Kleinman. Berkeley: University of California Press, 1992.

Roth M. S. The Ironist's Cage. Memory, Trauma, and the Construction of History. New York: Columbia University Press, 1995.

Sztompka P. Cultural Trauma: The Other Face of Social Change // European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 3 (4). P. 449–460.

Tense Past: Cultural Essays in Trauma and Memory / ed. by P. Antze, M. Lambek. London, New York: Routledge, 1996.

Toker L. Return from the Archipelago: Narratives of Gulag survivors. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2000.

Trauma: Explorations in Memory / ed. by C. Caruth. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1996.

Treize T Unspeakable // *The Yale Journal of Criticism*. 2001. Vol. 14 (1). P. 39–66.

Victoriano F. Fiction, Death and Testimony: Toward a Politics of the Limits of Thought // *Discourse*. 2004. Vol. 25. 1 & 2, Winter and Spring. Detroit, Michigan: Wayne State University Press. P. 211–230.

Violence and Subjectivity / ed. by V. Das, A. Kleinman, M. Ramphale, P. Reynolds. Berkeley: University of California Press, 2000.

J.Y. Rakhaev

Institute of Russian history of Russian Academy of Sciences

**RE/PRODUCTION OF TRAUMA: UNDERSTANDING
DEPORTATION IN THE PROFESSIONAL CULTURE
OF THE REPRESSED PEOPLE OF THE NORTH CAUCASUS
(ON THE EXAMPLE OF BALKARS AND KARACHAIS)**

Abstract. The paper is devoted to literature and visual art reflection of tragic events connected with Soviet repressions of the North Caucasus people during the Second World War. In Balkar and Karachay literatures these event were reflected in stories and novels describing the deportation that is forced displacement of people to the conditions unsuitable living. Violent actions of totalitarian regime authorities create the situation of trauma in individual consciousness as well as in national cultural memory. Such trauma provokes the crisis of emotions, words and meanings. Until the late 1980s information about these events were forbidden. Only Perestroika years brought the literary works witnessing about these events, because its writers' childhood covered the time of deportation. In the texts of this kind the children's positions and the children's opinions are dominant. Deportation is not a single event, which ended with the return to the historical homeland in 1957, but a process that continues to have a significant impact on the attitude of the repressed peoples to their past, present and future. The description language of this trauma at different stages shows typical images of the Stalin era: archaic ideas of national solidarity, national

unity and national superiority. «Image of enemy» in 1930–1950 years created social phobia, distorting the perception of the «other» culture, interethnic interaction and self-identity. Only heroes reigned in the world, offered by specific circumstances, willing to adjust to this world and to remove everything that is beyond their understanding. The tragedy of deportation cannot be no way considered as a complete and finished experience. Until now we are in search of hero whose destiny will help to realize the experienced trauma in the context of Soviet history and universal historical memory. The objective of this search is to restore the integrity of the historical consciousness of the deported people.

Keywords: Balkar and Karachay literature, deportation, The North Caucasus, trauma

Information about the author Rakhaev Jamal Yakubovich, Senior Researcher, Center for the history of the peoples of Russia and interethnic relations at the Institute of Russian history RAN (Moscow) (E-mail: jamal_rv@mail.ru).

Г. А. Жиличева

Новосибирский государственный педагогический университет

ДИСКУРС ПУТЕШЕСТВИЯ В «ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКЕ» И. ИЛЬФА И ЕВГ. ПЕТРОВА

Аннотация. В исследовании рассматриваются особенности организации сюжета и повествования книги И. Ильфа и Евг. Петрова. Советский травелог основан на парадоксальной интенции: естественное для путешественника восхищение окружающим пространством совмещается с необходимостью девальвации ценностей чужого мира. Поэтому все приемы организации нарратива соавторов амбивалентны. Идеологическая задача по мере «погружения» в «одноэтажную» Америку отходит на второй план, путешествие актуализирует сюжет духовного перерождения, который манифестируется подробными описаниями хронотопов пустыни, каньона, древнего леса. Травелог имеет метапоэтическое измерение: встречи на пути позволяют повествователям собирать истории и фиксировать происшествия в «записных книжечках», отъезд из страны соотносится с завершением работы над текстом. Более того, Америка сравнивается не только с капиталистическим «адам», но и с увлекательным романом, вызывает ассоциации с книгами, прочитанными в юности. Двойственность проявляется и на уровне дискурсивной организации: сочетаются черты очерка и романа, фельетонные фрагменты соплагаются с медитативными композиционными вставками. Эффект «гибридизации» коррелирует с общностью сознания и восприятия путешественников – в тексте многократно повторяется слово «мы», подчеркивающее однородность повествовательной инстанции. Такой прием обретает не только идеологические, но и символические обертоны: демонстрируется и коллективизм советских людей, и «стереоскопичность» двойного видения «сверхнарратора».

Ключевые слова: травелог, нарративная структура, дискурс, метасюжет, И. Ильф, Евг. Петров.

Сведения об авторе. Жиличева Галина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, НГПУ, корп. 3. Тел. (383) 244-06-30. E-mail: gali-zhilich@yandex.ru).

В советской литературе 1930-х гг. путевые очерки, в том числе и описания поездок в США, создавались с учетом уже устоявшегося канона¹. Перечислим несколько формул «путешествия на Запад», выявленных исследователями. Во-первых, пребывание в чужой стране расценивается как схождение в капиталистический ад. В.-С. Киссель, например, отмечает, что в советской литературе американская тема имеет inferнальные обертоны [Киссель, 2010]. Во-вторых, Америка описывается как мираж, фантастический антимир. По мнению Е. Р. Пономарева, советские писатели, оформляя свои впечатления от американской жизни в текст, сочетают признаки сказочного «Кощеева царства» и гоголевские аллюзии, подобно есенинскому «Железному Миргороду» [Пономарев, 2012, с. 29]. В-третьих, США мифологизируется в качестве образца технической цивилизации [Богачева, 2010, с. 350].

В травелогe Ильфа и Петрова присутствуют все базовые элементы канонической схемы изображения Америки. Так, люки и подземка Нью-Йорка напоминают повествователям о сцене появления Мефистофеля из оперы «Фауст», рекламный «электрический дом» инженера Рипли сравнен с избушкой бабы-яги, быстрое движение машин на дорогах по-гоголевски называется «сатанинским». В то же время, Америка описывается как референциальная «иллюзия»:

Нью-Йорк покрыт туманом, внезапно появляется и исчезает. «Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст – после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани ста двухэтажного “Импайр Стейт Билдинг”. За кормой “Нормандии” кружились чайки. Четыре маленьких могучих буксира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец, он стал

¹ Подробнее о формировании этого канона см.: [Пономарев, 2012].

на свое место, невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный [Ильф, Петров, 2014, с. 4].

Большой объем текста занимает рефлексия противоречий между органическим и механическим в американской жизни: акцентируется и восхищение конструкторской мыслью, прекрасно отлаженным производством автомобилей, и ужас перед фордовским конвейером. Тридцать первая глава в пародийной форме описывает страх «маленького» человека перед огромным мостом.

Трос, который на наших глазах сплетали в воздухе движущиеся станки, *напоминал Гулливера*², каждый волосок которого был прикреплен лилипутами к колышкам. <...> Хотя путешествие было совершенно безопасным, мы с отчаяньем охватили руками трос <...>

– А теперь мы подыдемся еще выше, – предложил проводник, – до самой вершины пилона. Но нас невозможно было оторвать от троса <...>

Мистер Адамс нечаянно посмотрел вниз и зажмурил глаза.

– Прекрасный, прекрасный трос, – бормотал он, – запишите в свои книжечки [Ильф, Петров, 2014, с. 128].

Однако данные общие места не являются простым воспроизведением дискурсивных правил, обусловленных социальным заказом. Комбинация штампов и оригинальных художественных приемов – главная тенденция поэтики писателей, игра с «чужим словом» – способ обретения собственного стиля. Заметим, что описания антимира, в том числе и апеллирующие к гоголевской традиции, являются показателем комической природы романов Ильфа и Петрова (вспомним «город N» из «Двенадцати стульев»). Путешествие героев присутствует не только в «Одноэтажной Америке», но и в романах соавторов. Развитие действия в дилогии об Остапе обусловлено сюжетом погони за сокровищами, реальными (в «географии» произведения) и символическими (в грезах, снах персонажей и медитациях нарратора) перемеще-

² Здесь и далее курсив мой. – Г. Ж.

ниями героев. В свою очередь, упоминания машин, механизмов, металлических конструкций могут интерпретироваться как индексы метапоэтического кода, своеобразной рефлексии текста-центра и персонажа-маски (у комбинатора Остапа – «железные лапы», «металлический голос»)³.

Для творчества И. Ильфа и Евг. Петрова характерна смысловая неоднозначность. Ю. К. Щеглов в своих работах доказал, что поэтика соавторов основана на одновременном воспроизведении (и пародийной трансформации) готовых клише и создании новых клишированных форм (афоризмов, «крылатых выражений» и т.п.) [Щеглов, 2009]. Многослойная, полицитатная, «палимпсестная» природа дискурса писателей проявляется не только в приемах речевой организации, но и на других уровнях художественной структуры. Рассмотрим, каким образом принцип двойного кодирования влияет на особенности повествования и сюжетного строения «Одноэтажной Америки».

Литературная коммуникация в произведениях, описывающих путешествие советского человека в капиталистические страны, основана на парадоксе. Результат процесса получения впечатлений и повествователю, и читателям известен заранее: в тексте должен быть показан упадок западного мира, контрастирующий со светлым образом советской страны. С. Франк по этому поводу пишет: «Советские путешественники не бросают взгляды, а <...> изгоняют чужое или тут же превращают его в свое, <...> путешествие оказывается псевдопутешествием» [Франк, 2010, с. 190].

Парадоксальная интенция – одновременное восхищение чужим миром и желание девальвировать его ценности – организует и травелог Ильфа и Петрова. С одной стороны, советский путешественник как бы носит Москву с собой, не удаляется от нее. Маркерами этой тенденции являются композиционные вставки, отступающие за пределы описания путевых впечатлений и фиксирующие событие «всеобщего» контроля (человек как бы про-

³ О связи смеха и категории механистичности см.: [Бергсон, 1992].

веряется на принадлежность советскому измерению). Данные фрагменты описывают чтение соавторами газеты «Правда», изучение речи Микояна о сельском хозяйстве, просмотр советского фильма. Бывшие соотечественники и прогрессивные американцы также оцениваются с точки зрения вовлеченности в советский дискурс: нарраторы описывают персонажей, которые приобретают советские газеты, вешают на стены портреты Сталина, поют советские песни, рассказывают о своих путешествиях в СССР.

С другой стороны, поскольку книга обладает высоким художественным уровнем, полной трансформации травелога в агитационное произведение произойти не может. Текст Ильфа и Петрова, по мнению исследователей, скорее исключение из правил соцреалистического канона [Франк, 2010, с. 193]. Соавторы явно увлекаются Америкой, повествование приобретает черты модернистского текста, эстетизирующего объект описания. Более того, сюжет путешествия сохраняет свой архетипический смысл – путь понимается как трансформация субъекта, своеобразный ритуал перехода, этапами которого являются временная смерть и возрождение в новом статусе. Поэтому многие идеологические вставки выглядят как чужеродные «редакторские» вкрапления: наибольшее их количество сосредоточено в начале и конце книги. Продвижение вглубь Америки на время отменяет идеологию, значительная часть текста посвящена рефлексии красоты и величия пустыни.

Мы проезжали “painted desert” – “окрашенную пустыню”.

До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы. Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, краснокоричневый и палевый цвета. Тона были ослепительно чисты.

Слово “пустыня” часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров [Ильф, Петров, 2014, с. 99].

Трансляция экзистенциального опыта пребывания в «лиминальном» состоянии запускает процесс гибридизации жанровых признаков (очерк приобретает черты романа) и способов повествования (фельетонные фрагменты совмещаются с отступлениями о времени, природе, творчестве). Двойственность дискурсивной организации проявляется в нескольких сферах. Во многих случаях сатирическая направленность высказываний становится обоюдоострой, критика Америки превращается в критику недостатков советской реальности, пребывание в ином мире позволяет со стороны увидеть проблемы своего.

У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своем офисе, сняв пиджак, и работает. Работает тихо, незаметно, беспшумно. Он никуда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приемной, потому что “аппойнтмент” (свидание) назначается обычно с абсолютной точностью и на разговор не уходит ни одной лишней минуты. Занимается он только делом, исключительно делом. Когда он заседает – неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко [Ильф, Петров, 2014, с. 188].

Более того, доказательства превосходства советского человека чередуются в тексте с медитациями, полными тоски, предчувствия войны и смерти (один из встреченных по дороге «чудаков» настаивает, что мировая война начнется через пять лет, И. Ильф тяжело заболевает во время поездки).

М.М. Бахтин писал о ключевой роли хронотопа дороги в истории романа: «Это точка завязывания и место свершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: “жизненный путь”, “вступить на новую дорогу”, “исторический путь” и проч., метафоризация дороги разнообразна и многопланова» [Бахтин, 2012, с. 491]. Если, продолжая мысль Бахтина, задуматься о типе «эпического движения», то можно заметить, что объектом метафоризации во многих случаях служит не только пространственно-временной континуум

жизни героев, но и само разворачивание текста во временной (пространственной) последовательности. Поэтому В.Н. Топоров соотносит пространство текста, по которому движется читатель, с пространством изображаемого мира, по которому перемещается герой [Топоров, 2005]. Анализ повествований, основанных на путешествии героев и рассказчиков, позволяет современным нарратологам, например, Дж. Уильямсу, говорить о том, что метафоры путешествия – это базовые метафоры эпического дискурса, объединяющие значения «хода» истории и «течения» речи [Williams, 1998, p. 31].

В «Одноэтажной Америке» актуализируется метапоэтический контекст сюжета путешествия. В начале повествования сообщается, что подготовка к поездке в Америку запустила процесс «творчества» – знакомые вручают соавторам огромное количество рекомендательных писем. По мере развития действия плотность взаимосвязей между движением и текстообразованием нарастает: встречи на пути являются поводом для рассказывания «вставных» историй, впечатления от увиденного записываются в «книжечки». Спутники повествователей – мистер и миссис Адамс – регулярно совершают особый «ритуал» общения со встреченными на пути местными жителями, который может длиться часами и приводить к курьезным ситуациям.

Перед отъездом супруги Адамс занялись своим любимым делом, – взявшись за ручки, отправились “брать информацию” <...> Но прежде чем выехать из города, миссис Адамс еще несколько раз “брала информацию”. Это была единственная слабость нашего мужественного драйвера – водителя [Ильф, Петров, 2014, с. 93–94].

Подмена реального путешествия фикциональным подчеркивается и тем, что увиденные объекты и явления характеризуются нарраторами с помощью литературных ассоциаций, причем в большинстве случаев они взяты из книг, прочитанных в детстве: «продавцы, не раз описанные О. Генри» [Ильф, Петров, 2014, с. 16], «город Тома Сойера и Гека Финна» [Ильф, Петров,

2014, с. 75], «... ни капитан Майн Рид, ни Густав Эмар нас не обманывали. Такими мы в детстве и представляли себе индейцев» [Ильф, Петров, 2014, с. 90].

Особое место в этом ряду занимает Марк Твен, посещение музея которого приводит к авторефлексивным рассуждениям о собственных литературных пристрастиях. Травелоги писателя, возможно, служат претекстами «Одноэтажной Америки» (например, «Налегке» (1872), «Простаки за границей» (1869)), поскольку соавторы аналогичным образом используют прием «остраняющего» взгляда чужестранца, комические описания политического устройства и т.п. Однако в символическом смысле последователи пытаются «устранить» предшественника: повествователей удивляет, когда их принимают за поклонников писателя, они замечают упадок в родном городе Твена⁴.

«Литературный солипсизм», оценивание реальности сквозь призму литературы – типичный прием модернистского нарратива. Но в случае «Одноэтажной Америки» воспоминания о детском чтении не только указывают на метатекстуальные аспекты повествования, но и приобретают символику возвращения к истокам самосознания личности. Неслучайно национальный парк сравнивается с «волшебным царством детских снов и видений» [Ильф, Петров, 2014, с. 113]. Кульминацией путешествия становится погружение в Грэнд-каньон, метафорическую утробу, и долгий поиск выхода из Зейон Кэньона, сравненного с туннелем («мы проехали медно-красную выемку» [Там же]). Пребывание в древнем лесу секвой меняет ракурс повествования – заданный Горьким образ гордого человека трансформируется посредством актуализации круга ассоциаций с «Божественной комедией» Данте:

... мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово “человек” перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово – “дерево” [Ильф, Петров, 2014, с. 122].

⁴ О «страхе влияния» и его отражении в художественном тексте см.: [Блум, 1998]

Данные события ассоциируются и с новым рождением, и с погружением в свой внутренний мир, и с ситуацией получения первого читательского опыта:

Зрелище Гранд-кэньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться *мальчику во время чтения* фантастического романа Луна или Марс. Мы долго простояли у края этой великолепной бездны. Мы, четверо болтунов, *не произнесли ни слова* [Ильф, Петров, 2014, с. 103].

Закономерно, что пребывание в хронотопе пустынь и каньонов вызывает временную немоту путешественников. Эта деталь повторяется в нарративе несколько раз:

Затем мы оказались на дне небольшого кэньона. Тут пошла такая архитектура, такие мавзолеи, бастионы и замки, что *мы совершенно перестали говорить* и, высунувшись из окон, следили за проносящимся мимо нас каменным видением тысячелетий [Ильф, Петров, 2014, с. 107].

Тем самым подчеркиваются моменты «растворения» в пейзаже: нарраторы занимают позицию реципиента, природа осознается как подлинный автор.

Мистер Адамс дарит соавторам сравнение, акцентирующее подобный акт креации.

Ущелье расширялось. Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами, некоторые – исчерчены, как арифметическая бумага.

– Хотите, сэры, – сказал мистер Адамс, – я продам вам прекрасное литературное сравнение? Сколько дадите? Ничего не дадите? Хотите даром? Ну, хорошо: *ветер писал на этих скалах свою историю*. Подойдет? Запишите в свои книжечки. Нет, серьезно, я считаю, что обогатил этим русскую литературу [Ильф, Петров, 2014, с. 113].

Насыщенность пространства литературными контекстами приводит к совмещению американской и русской культур. Поездка в лес секвой, описанная как встреча с вечностью, резюмируется неожиданной для комического произведения цитатой из стихотворения Б. Пастернака «В лесу» (1917): «В лесу клубился кафедральный мрак», а путь по каньону, преобразующий линейное движение в пространстве в ретроспективное движение во времени, заканчивается нехарактерным для фельетона рассуждением о единой сущности искусства, очень близким по смыслу к «неосинкретической» поэтике Пастернака⁵:

Здесь было ясно, что все искусство – и египетское, и греческое и китайское, и готика, и стиль Империи, и даже голый формализм – все это когда-то было <...> придумано природой [Ильф, Петров, 2014, с. 114].

Таким образом, изображение актов письма и ситуаций сбора информации для книги дополняется метафоризацией Америки как текста, который необходимо прочитать и написать заново.

Америка напрямую уподоблена книге в четырнадцатой главе:

Мы скользили *по стране, как по главам толстого увлекательного романа*, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя – заглянуть в последнюю страницу [Ильф, Петров, 2014, с. 52]..

Два центральных компонента нарратива путешествия – созерцание и движение – совмещаются в этом утверждении посредством двусмысленной семантики выражения «скользить по стране». С одной стороны, акцентируется динамика путешествия, с другой – метаморфоза нарраторов в скользящий по тексту взгляд. (Связь письма и визуального ряда в «Одноэтажной Америке» проявилась в том, что Ильф делал фотографии во время поездки, а краткий вариант путевых заметок, опубликованных в 1936 году журналом «Огонек», назывался «Американские фотографии»).

⁵ О синкретизме субъекта и объекта в лирике Пастернака см.: [Бройтман, 2007].

Особенностью нарратива «Одноэтажной Америки» является амбивалентность единства и множественности повествовательных инстанций. Известно, что соавторы писали главы книги раздельно: в послесловии Петров акцентирует тот факт, что текст является своего рода преодолением творческого кризиса, проверкой возможности писать самостоятельно. Но в тексте следы творческой «самостоятельности» стерты, слово «мы» употребляется так настойчиво, что это выглядит абсурдно: «мы вдруг сказали», «мы встали со стульев», «мы бросили пальто на кровать», «мы значительно посмотрели». Мистер Адамс весьма нарочито обращается только к обоим путешественникам: мистеры, сэры. Его призывы записать что-либо синхронизируют «авторские» действия: «Запишите в свои книжечки» [Ильф, Петров, 2014, с. 58].

Данный феномен объясняется жанровой интенцией очерка, совмещающего позиции героя и рассказчика (в романах и повестях, где мир героев и мир автора разделены эпической дистанцией, Ильф и Петров никогда не употребляют местоимения первого лица для обозначения повествовательной инстанции). Но избыточность повтора слова «мы» дает почву для символического толкования. С одной стороны, единение странников на чужбине выглядит как противостояние советского коллективизма западному индивидуализму: когда один из путешественников действует или думает самостоятельно, он обречен на неудачу.

Кто-то из нас воскликнул: – Исчезли рекламы! <...> Но *он был строго наказан* за свое неверие в мощь американского “паблисити” – из-за поворота летели сонмы реклам [Ильф, Петров, 2014, с. 152].

С другой стороны, два нарратора-фокализатора подобно двум глазам, двум камерам организуют стереоскопическое, объемное видение. При этом переизбыток визуальных впечатлений ведет к эксцессам зрения, например, боли в глазах:

Нью-Йорк сам гремит и сверкает почище всякой бури. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого

города глаза болят. Но не смотреть на него невозможно [Ильф, Петров, 2014, с. 118].

Америка описана как монтаж аттракционов, два самых частотных образа, связанных с ней, – цирк и кинематограф. Производственный процесс на американских заводах напоминает «цирковой аттракцион», Нью-Йорк похож на «трюк», «балаган»:

Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается [Ильф, Петров, 2014, с. 6].

Подобная экспансия зрелищ (созерцаемых и в пустыне, и в городе) объясняет, почему наибольшее раздражение у соавторов вызывает именно голливудский кинематограф, а не другие ужасы капитализма. Только Чарли Чаплин, обладающий «позицией венаходимости» (термин М.М. Бахтина) по отношению к капиталистическому миропорядку, то есть позицией трикстера (нищего-миллионера), оказывается для создателей Остапа идеальным режиссером. Неслучайно фордовский конвейер описан с помощью аллюзий на фильм «Новые времена» (рабочие показаны как часть единого механизма, они обедают на полу среди автоматов), а в Нью-Йорке писатели обращают внимание на «огни большого города».

Что может быть заманчивей огней чужого города, тесно заполнивших весь этот обширный чужой мир, который улегся спать на берегу Атлантического океана! <...> Совсем вблизи возвышались несколько небоскребов. Казалось, до них нетрудно дотянуться рукой. Их освещенные окна можно было пересчитать. Дальше огни становились все гуще. Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками (вероятно, уличные фонари). Еще дальше сверкал сплошной золотой припорох мелких огней, потом шла

темная, неосвещенная полоска (Гудзон? Или, может быть, Восточная река?). И опять – золотые туманности районов, созвездия неведомых улиц и площадей. В этом мире огней, который сперва казался оставившимся, можно было заметить некоторое движение» [Ильф, Петров, 2014, с. 10].

Конкуренция зрелищ, навязываемых Америкой, и образов собственного воображения выражается в двойном ракурсе описания пейзажей и объектов: что-то остается «непроницаемым», а что-то опознается как знакомое. Характерно, что у путешественников вызывают восхищение места, явления, люди, близкие привычным, родным «картинам» – например, портовый город Сан-Франциско нравится соавторам, поскольку является двойником Одессы. Проводник по Америке – мистер Адамс – описан доброжелательно не только потому, что он долго работал в СССР, но и в силу его семантического «родства» с персонажем «Золотого теленка» шофером Адамом Козлевичем.

Ассоциирование героя с библейским Адамом в данном случае подкрепляется наличием жены, постоянно следующей за мужем, а также темой «сотворенности» человека высшей силой: Адамс появляется на приеме в консульстве, так как получил письмо от Фишера, тем самым рекомендательные письма приобретают сюжетный смысл. Кроме того, еще перед знакомством с Адамсом путешественники мечтают об идеальном шофере.

Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо, роза без шипов, ангел без крыльев, нам нужен был какой-то сложный гибрид: гидошоферопереводчикобессребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки. Чтобы вывести такой гибрид, понадобились бы десятки лет [Ильф, Петров, 2014, с. 15].

Интересно и совпадение метафор, связанных с героями: Козлевич в романе «Золотой теленок» назван «ангелом без крыльев», глава пятая, предшествующая появлению мистера Адамса, называется «Мы ищем ангела без крыльев».

Пребывание в чужом мире сопряжено с опасностью, которая индексируется сопоставлением Америки и океана:

Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан, однообразный и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли, вечером ли, в шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, – всегда вокруг будет вода, которой нет ни конца ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристскими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Все это видел уже вчера и позавчера и знаешь, что увидишь то же самое завтра и послезавтра [Ильф, Петров, 2014, с. 42].

Топосу приписывается возможность пожрать, проглотить путника:

На пятый день жизни в Сан-Франциско мы заметили, что город *начинает нас засасывать*, как когда-то, давным-давно, тысячу городов, десять пустынь и двадцать штатов тому назад, нас чуть было не *засосал* Нью-Йорк [Ильф, Петров, 2014, с. 129].

Преодолеть чужое можно только акцентированием своего. Поэтому соавторы делают парадоксальные утверждения о том, что Америки не существовало, что они не сходили с парохода. Пишущий должен сам «поглотить» объект созерцания («Нью-Йорк невозможно поглощать в таких больших дозах» [Ильф, Петров, 2014, с. 10]). В нарративе много раз утверждается, что американская пища хуже советской и европейской, но путешественники постоянно фиксируют, что и каким образом было съедено. Сцены трапез буквализуют тему поглощения пространства антимира.

Захват и присвоение реальности символизируется не только едой, но и «охотой».

Для писателя, *ловца душ и сюжетов*, такой обычай представляет большие удобства. Герои *сами лезут* к вам в автомобиль и сразу же охотно выкладывают историю своей жизни [Ильф, Петров, 2014, с. 100].

Ценность литературной «охоты» подтверждена ссылкой на авторитетного ловца душ: «Подобно Чичикову, мы нанесли визит градоправителю» [Ильф, Петров, 2014, с. 129].

Стремление «... прогуливаться <...> изучая, наблюдая, *впитывающая*» приводит к наполнению и насыщению: «... мы были переполнены Америкой до краев», «... сняли пенки с путешествия» и, следовательно, – к магическому акту сотворения книги. В течение повествования говорилось лишь о планах написания текста (в реальности некоторые очерки публиковались в газете «Правда» на протяжении поездки, а потом были переработаны в книгу), но в последней главе сразу сообщается о результате, то есть текст рождается почти мгновенно: «Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране» [Ильф, Петров, 2014, с. 188].

Воссоздание Америки в тексте приводит к ее исчезновению из кругозора путешественников: «... через несколько часов никакого следа не осталось от Америки» [Ильф, Петров, 2014, с. 190]. Интериоризация Америки оборачивается рефлексией творчества как одновременного растворения в объекте и обладания объектом, советская идеология оказывается лишь надводной частью айсберга, одним из приемов присвоения фантазма. Поэтому создание травелога предстает в произведении как сложноорганизованная смена ролей творца и адресата: написание текста уравнивается с чтением и «просмотром» Америки, которая, в свою очередь, совпадает с образом, воображенным в детстве и навеянным чтением книг.

Литература

Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Языки славянских культур, 2012. Т. 3: Теория романа (1930–1961 гг.).

Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992.

Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998.

Богачева Е.В. Жанровые особенности книги И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» // Преподаватель. XXI век. 2010. Т. 2. № 2. С. 343–351.

Бройтман С.Н. Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь». М.: Прогресс-Традиция, 2007.

Ильф И., Петров Евг. Одноэтажная Америка. Письма из Америки. М.: Текст, 2014.

Киссель В.-С. Путешествие на Солнце без возврата: к вопросу о модернизме в русских травелогах первой трети XX века // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века. М.: Новое лит. обозрение, 2010. С. 9–37.

Пономарев Е.Р. Путешествие в царство Кошечья: Англия и Америка в советской путевой литературе 1920–1930-х гг. Часть 1 // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. 2012. № 1. С. 29–42.

Франк С. Русские травелоги середины 1930-х годов // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века. М.: Новое лит. обозрение, 2010. С. 180–212.

Щеглов Ю. К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.

G. A. Zhilicheva

Novosibirsk State Pedagogical University

DISCOURSE OF JOURNEY IN «LITTLE GOLDEN AMERICA» BY I. ILF, YEVG. PETROV

Abstract. This paper is devoted to the analysis of the narrative structure of Ilf and Petrov's book Little Golden America. Soviet travelogue has a paradox in its basis: admiration for observed things, which is natural for a traveler, fits together with a need for devaluation of the alien world. That is why the co-authors' methods of constructing the narrative are ambivalent. As far as the "immersion" in "little golden" America goes, ideological tasks pale into insignificance, and a plot of 'the spiritual reborn' (marked by depiction of desert, canon, forest chronotopes) is actualized. Moreover, the travelogue also provides a metapoetical component: meeting various people on the way for the narrators is the source of stories which they write down in their "notebooks". The end of the journey also correlates with the end of the process of writing. Furthermore, America itself is depicted not

only as “capitalistic hell” but also as a “page-turner” because it brings associations with books that the narrators had read in their youth. This duality is manifested in the level of communicative structure. There are combined features of travel journal and novel in the text, and feuilleton-like fragments are coupled with embedded inner monologues. Such “hybrid” structure correlates with travelers’ united consciousnesses and perceptions and is manifested in the pronoun “we” showing uniformity of the narrative instance. This method has both ideological and symbolic sides, not only showing the collectivity of Soviet people, but also creating the effect of supernarrator’s ‘stereoscopic vision.

Keywords: travelogue, narrative structure, discourse, metaplot, I. Ilf, Yevg. Petrov.

Information about the author. Zhilicheva Galina Aleksandrovna, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Russian and foreign literature, Theory of literature and Methodics of literature teaching, Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU, Viluykaya st., 28, building 3, Novosibirsk, Russia 630126, Tel. (383)244-06-30. E-mail: gali-zhilich@yandex.ru).

М.Г. Агапов

Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень

**СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ В ИЕРУСАЛИМЕ
В 1943 ГОДУ: ТРИ РАССКАЗА
ОБ ОДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ**

Аннотация. В исследовании сравниваются и анализируются три версии рассказа советского дипломата И.М. Майского о его визите в Иерусалим в октябре 1943 г.: официальный отчет, воспоминания, приключенческая повесть. Как дипломат в официальном отчете 1944 г. он интерпретирует итоги своего ближневосточного турне в пользу «укрепления советского влияния в районах от Каира до Тегерана». В начале 1960-х гг. как автор «приключенческой повести» для юношества И.М. Майский показывает Иерусалим времен Второй мировой войны «внутренне разорванным, полным острейших национальных, социальных и политических противоречий». Ответственность за столь плачевное состояние Иерусалима автор возлагает, прежде всего, на происки «англо-американских колонизаторов». Наконец, в «Воспоминаниях советского посла» Иерусалим пробуждает в памяти автора образы детских лет, что придает рассказу некоторую лирико-философскую тональность.

Ключевые слова: Иерусалим, И.М. Майский, подмандатная Палестина, «еврейский национальный очаг».

Информация об авторе. Агапов Михаил Геннадьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН (625026 Тюмень, ул. Малыгина, 86. Тел./факс: (3452)22-93-60, (3452)68-87-50; 89129269539. E-mail: magapov74@gmail.com).

Палестинский травелог (идет ли при этом речь о путешествии в землю на восточном побережье Средиземного моря или в любую другую, определяемую в данном контексте как «земля обетованная») занимает особое место в традиции описаний, создаваемых во время путешествий. Корпус палестинских травелогов чрезвычайно разнообразен. Есть среди них небольшая, но весьма интересная, как с точки зрения конструирования образа

Палестины, так и с точки зрения истории развития самого жанра, группа текстов, которая может быть названа путевые заметки советских дипломатов о подмандатной Палестине. Таких путешествий было немного. Наиболее важными были визит И.С. Лаврова (март 1924), визит С.С. Михайлова и Н.А. Петренко (август 1942), визит И.М. Майского (октябрь 1943). Визит И.М. Майского представляет наибольший интерес по следующим причинам. Во-первых, среди всех советских дипломатов посетивших подмандатную Палестину он был самым высокопоставленным; во-вторых, визит Майского дал существенный толчок развитию отношений между Москвой и еврейской Палестиной; наконец, в-третьих, Майский оставил три рассказа о своем посещении Иерусалима.

Подмандатная Палестина

После окончания Первой мировой войны Палестина, входившая прежде в состав Османской империи, перешла под мандатное управление Лиги Наций, фактически – Великобритании. Под эгидой Лондона в Палестине был учрежден «еврейский национальный очаг». Движущей силой еврейской колонизации Палестины выступало международное сионистское движение, ставившее своей целью создание на земле обетованной независимого еврейского государства. Благодаря усилиям еврейских колонистов уже в 1920-е годы в Палестине возникло автономное еврейское сообщество (ишув) с собственной системой самоуправления, экономикой и социальной инфраструктурой.

Бурный экономический рост еврейской Палестины сделал последнюю в глазах советского руководства наиболее привлекательной для экспорта советских товаров страной Ближнего Востока. Между СССР и ишувом были установлены банковские связи, налажены регулярные морские коммуникации. Вместе с тем советские планы территориально-национального решения «еврейского вопроса», принятые в 1920-е годах, позиционировались Москвой как альтернативные по отношению к сионистскому проекту. Так, Еврейская автономная область в Биробиджане

прямо называлась в советской печати формой «еврейской национальной государственности».

Важно помнить, что и для СССР, и для ишува 1920–1930-е годы были временем становления собственной государственности (в официальной израильской историографии «еврейский национальный очаг» в Палестине именуется «государством в пути»). При этом каждая из сторон выдвигала собственный проект строительства «справедливого общества» и формирования посредством «передовых» социальных практик «нового человека». Успешное разрешение «извечного еврейского вопроса» должно было служить доказательством релевантности той идеологической парадигмы, в рамках которой он был бы, наконец, снят с повестки [Агапов, 2011].

С началом Великой Отечественной войны между Москвой и еврейской Палестиной открылись систематические переговоры. Широкое движение в поддержку Советского Союза, развернувшееся в ишув в годы Великой Отечественной войны, наглядно продемонстрировало высокий уровень симпатий к СССР среди строителей еврейского государства. В августе 1942 года состоялся первый официальный визит советских дипломатов в Палестину – для участия в качестве почетных гостей в работе I съезда Лиги в защиту Советской России (Лига «V»), в Палестину прибыли первый секретарь советского посольства в Анкаре С.С. Михайлов и пресс-атташе посольства Н.А. Петренко. Они провели ряд встреч с представителями Всемирной сионистской организации (ВСО) и руководством ишува, посетили несколько кибуцев, ознакомились с жизнью еврейских трудящихся страны. В октябре 1943 года Палестину посетил видный советский дипломат, в 1932–1943 годах полпред, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании И.М. Майский¹ [Агапов, 2012].

¹ Что касается предполагаемого еврейского происхождения И.М. Майского (настоящее имя – Ян Ляховецкий), о чем в данном случае трудно не упомянуть, то если он и происходил из еврейской среды, то это обстоятельство никак не повлияло на его общение с сионистскими деятелями. «Он бывший меньшевик и, как всякий бывший меньшевик, страшно хлопочет перебольшевичить большевиком», – писал о советском дипломате К.И. Чуковский. [Чуковский, 1991, с. 302].

И.М. Майский в Иерусалиме.**2–4 октября 1943 года**

В июле 1943 года И.М. Майский был вызван в Москву [Майский, 2009, с. 369], где узнал о своем назначении заместителем главы советского внешнеполитического ведомства. В сентябре он вернулся в Лондон, чтобы передать дела своему приемнику. Из Лондона И.М. Майский вновь отправился в Москву, но уже не самолетом, а «морем и сушей» по маршруту: Лондон – Каир – Иерусалим – Дамаск – Багдад – Керманшах – Тегеран – Тавриз. В ходе ближневосточного турне советский дипломат должен был решить несколько задач. Во-первых, прозондировать ситуацию в Иране, где уже в ноябре должна была состояться встреча «большой тройки»; во-вторых, установить дипломатические отношения между СССР и Египтом (решение этой задачи И.М. Майский считал тогда «одним из первых дел» [Майский, 1965, с. 372]); в-третьих, познакомиться с обстановкой в Палестине. Накануне отъезда из Великобритании И.М. Майский провел «продолжительную беседу» с президентом ВСО Х. Вейцманом, целью которой была подготовка визита нового замнаркома иностранных дел СССР в Палестину [Из протокола заседания..., 2000, с. 85].

14 сентября 1943 года И.М. Майский с супругой отбыли из Шотландии на одном из судов английского конвоя, направлявшегося в Индию. 1 октября они прибыли в Каир, откуда утром 2 октября отправились в Тегеран. Из Тегерана супруги Майские поехали в Иерусалим на машине советского посольства в Иране. В Иерусалиме они остановились в доме-резиденции верховного комиссара Палестины Г. МакМайкла. Вечером 3 октября по просьбе И.М. Майского английские власти предоставили ему возможность посетить «еврейские поселения». Программа экскурсии была составлена сотрудниками Иерусалимской штаб-квартиры Еврейского Агентства (ЕА) – квазиправительства ишува. Она включала посещение двух поселений возле Иерусалима: Кирьят-Анавим и Маале-Хахамиша. Гидом И.М. Майского во время этой поездки был председатель правления ЕА, будущий

первый премьер-министр Израиля Д. Бен-Гурион. Утром 4 октября И.М. Майский покинул Иерусалим.

**Иерусалимские нарративы И.М. Майского:
отчет, воспоминания, дневник, приключенческая повесть**

Отчет

Официальный отчет Майского о его пребывании в Палестине 3–4 октября 1943 года до сих пор не опубликован. В 2000 году МИД России и МИД Израиля издали совместный российско-израильский документальный сборник «Советско-израильские отношения. 1941–1953» [Советско-израильские отношения..., 2000]. Все документы, относящиеся к визитам советских дипломатов в Палестину в 1942–1943 годах, представлены в нем материалами Центрального сионистского архива (Иерусалим). Безусловно, они являются ценным источником для исследователей, но показывают интересующие нас события только с одной стороны.

Сионистские лидеры придавали встрече с И.М. Майским большое значение. «Сейчас он (Майский. – М.А.) третий по значимости человек во внешней политике (СССР – М.А.) сразу после Сталина и Молотова», – докладывал Д. Бен-Гурион правлению ЕА на следующий после отъезда И.М. Майского день [Из протокола заседания правления ЕА..., 2000, с. 89]. Как следует из отчета Д. Бен-Гуриона советского дипломата интересовали следующие вопросы: 1). Позволят ли экономические возможности Палестины переселение туда после окончания войны новых еврейских эмигрантов? 2). Каковы планы ВСО на послевоенный период в отношении Палестины? 3) Какой социально-политический характер имеет деятельность сионистов в Палестине и каков ее конкретный результат? 4). Какую позицию по палестинскому вопросу занимают английская мандатная администрация и арабские лидеры?

Цель своего пребывания в Палестине И.М. Майский сформулировал в беседе с Д. Бен-Гурионом: «После войны еврейская

проблема будет очень сложной, придется ее решать, мы должны выработать подходы, должны знать все. Нам говорят (англичане – *М.А.*), что здесь в Палестине нет свободного места, – мы хотим знать, правда ли это, хотим составить себе представление о возможностях этой страны». По сведениям Д. Бен-Гуриона администрация верховного комиссара стремилась убедить Майского в невозможности расселения в пределах Палестины новых евреев-переселенцев. Напротив, Бен-Гурион убеждал И.М. Майского в том, «что здесь (в Палестине – *М.А.*) есть возможности для расселения (еще – *М.А.*) двух миллионов евреев». По просьбе И.М. Майского ему была передана литература и статистические данные, «которые доказывали <...> возможности страны для приема новых репатриантов». Чтобы убедить советского дипломата в верности своих расчетов, Д. Бен-Гурион ознакомил его с достижениями еврейских колонистов – «посаженными нами лесами, плодовыми деревьями и всем прочим (там, где раньше была пустыня. – *М.А.*)». Особое внимание И.М. Майский уделил сионистским программами дальнейшего освоения Палестины: «общим идеям заселения и ирригации» [Из протокола заседания правления ЕА..., 2000, с. 88].

Для ЕА особенно важно было продемонстрировать советскому дипломату «социалистический аспект» еврейской колонизации Палестины. Несомненно, что он живо интересовал и самого И.М. Майского. «Он (Майский – *М.А.*) все время задавал вопросы о коллективных хозяйствах, – писал Бен-Гурион в своем отчете, – Еще в Лондоне (Д. Бен-Гурион встречался с Майским в Лондоне в октябре 1941 г. – *М.А.*) мне показалось, что он нас подозревает в выдумках, – ведь мы здесь сделали то, что они не осмеливаются сделать у себя в России». Успехи сионистских коллективных хозяйств были представлены И.М. Майскому в Кирьят-Анавим. Д. Бен-Гурион отмечал в этой связи: «Когда мы туда ехали, он был просто поражен. Там действительно очень показательный маршрут, можно сравнить, что было раньше и что есть теперь. Молодые ребята все рассказали, показали хо-

зыйство, объяснили, как организуется работа и распорядок дня. В Маале-Хахамиша он увидел более раннюю стадию создания хозяйства – и это произвело на него огромное впечатление» [Из протокола заседания правления ЕА..., 2000, с. 88].

Уже в январе 1944 года И.М. Майский составил для высшего руководства страны аналитическую записку по вопросам будущего мира и послевоенного устройства, в которой отмечалась объективная заинтересованность СССР в «распространении и укреплении своего политического и культурного влияния в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Египте <...> почва для укрепления советского влияния в названных районах несомненно имеется. Это я мог констатировать сам во время моего проезда от Каира до Тегерана (когда я возвращался из Лондона) осенью прошлого года» [АВП РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 14. Д. 145. Л. 21].

Воспоминания

На посту замнаркома иностранных дел И.М. Майский занимался вопросом о репарациях с Германией, участвовал в работе Ялтинской и Потсдамской конференций. В 1946 году он перешел на научную работу, стал академиком РАН СССР. Незадолго до смерти Сталина, в феврале 1953 года, И.М. Майский был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Англии. В 1955 году был реабилитирован. В дальнейшем И.М. Майский посвятил себя литературно-мемуарной работе, написал целый ряд историко-революционных и дипломатических воспоминаний.

В 1965 году в издательстве «Наука» вышли его двухтомные «Воспоминания советского посла», в которых рассказывалось и о путешествии Майского из Лондона в Москву осенью 1943 года. Отдельная глава была посвящена Иерусалиму. В ней И.М. Майский описывает Старый город и его жителей, упоминает о своих встречах с Верховным комиссаром Палестины Г. МакМайклом и чиновниками-арабами. О посещении еврейских поселений автор умалчивает, он сообщает лишь, что «день (3 октября. –М.А.) был посвящен осмотру окрестностей (Иеруса-

лима. – М.А.)» [Майский, 1965, с. 388]. Примечательно, что в последующих изданиях воспоминаний И.М. Майского, вышедших уже после разрыва советско-израильских отношений, глава о его визите в Палестину отсутствует.

Дневник

Более обстоятельный рассказ И.М. Майского о его пребывании в Иерусалиме исследователи надеялись обнаружить в дневнике дипломата. С большим нетерпением отечественные и зарубежные ближневосточники ждали его публикации. Наконец, в 2009 году ИВИ РАН совместно с МИД РФ издал в серии «Научное наследство» дневник И.М. Майского периода 1934–1943 годов. По своему объему и широте охваченных тем дневник намного превосходит опубликованные воспоминания И.М. Майского. Однако интересующий нас сюжет в указанном издании не представлен. За «2 июля 1943 г.» сразу же следует «31 октября». Редакционная коллегия поясняет: «Описание пути возвращения в Москву см.: Майский И.М. Воспоминания советского посла: Война. 1939–1943. М., 1965» [Майский, 2006, с. 322].

Приключенческая повесть

Еще одно описание И.М. Майским его визита в Палестину представлено в повести «Близко-далеко», опубликованной им в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» в 1961 году. Герои повести – советский дипломат Петров и его супруга – совершают в ноябре 1942 гда путешествие из Москвы в Стокгольм через Иран, Палестину, Африку и Англию. В книге есть глава «Советские путешественники в Иерусалиме» [Майский, 1961, с. 63–91].

Иерусалим глазами И.М. Майского

Во всех доступных нам иерусалимских нарративах И.М. Майского его ближневосточное турне представляется вы-

нужденным. В «Воспоминаниях...» необходимость путешествия из Лондона до Москва «морем и сушей», объясняется тем, что жене И.М. Майского «врачи запретили летать» [Майский, 1965, с. 387]:

Маршрут у нас теперь был сухопутный и пролегал через Иерусалим – Дамаск – Багдад – Керманшах – Тегеран – Тавриз к советско-иранской границе. Это был примерно тот же маршрут, который за три месяца перед тем я проделал по воздуху, но теперь мы должны были повторить его по земле на автомобиле [Майский, 1965, с. 387].

Думается, что и при отсутствии запрета врачей, супругам Майским пришлось бы отказаться от перелета – на Ближнем Востоке у нового замнаркома было слишком много дел, требующих самого внимательного отношения. Кроме того, судя по дневникам И.М. Майского, он предвкушал удовольствие от путешествия по «сказочным» странам, знакомства с их достопримечательностями, и, не в последнюю очередь, от будущих рассказов об экзотических приключениях.

Только условиями военного времени вынуждают *alter ego* И.М. Майского, капитана 3-го ранга Петрова, назначенного сотрудником морского атташе СССР в Швеции, добираться до места службы окольными путями:

– Вот она, география военного времени ... Вам, товарищ Петров, надо попасть в Стокгольм. Казалось бы, чего проще? Сел на самолет в Ленинграде, и через несколько часов – на месте. Совсем близко! Рукой подать... Ан нет, не выходит! Фронт! <...> И вот, вам придется вместо короткой прямой Ленинград – Стокгольм сделать огромный круг через Малую Азию и Африку <...> Вот ведь какую дорогу придется обломать! Так и получается, что сейчас до Стокгольма от нас и близко и в то же время далеко [Майский, 1961, с. 6].

Вместе с тем, и И.М. Майский, и Петров рады выпавшей им уникальной возможности посетить далекие страны. Как видим, они движутся по встречным курсам: И.М. Майский из Каира в Иерусалим и далее в Дамаск, Петров – из Дамаска в Иерусалим и далее в Каир. В обоих случаях организацию проезда советских

дипломатов через Палестину и ответственность за их безопасность брала на себя английская сторона:

Англичане брали на себя ответственность за благополучие моего следования от Каира до Тегерана (ибо в то время на всем этом расстоянии не было еще никаких советских дипломатических учреждений), а в Тегеране они «сдавали» меня с рук на руки советскому посольству в Иране [Майский, 1965, с. 387]

В Иерусалим (И.М. Майский из Каира через Синайскую пустыню, Петров – из Дамаска через Сирийскую пустыню) они прибывают на автомобилях:

Всего было четыре легковые машины и один грузовик. Наш первый перегон от Каира до Иерусалима оказался очень мучительным <...> Жара, несмотря на октябрь, была совершенно нестерпима! Солнце все время жгло немилосердно, до металлических частей автомобиля нельзя было дотронуться – они обжигали <...> Только к восьми часам вечера мы прибыли, наконец, в Иерусалим» [Майский, 1965, с. 387–388].

Восприятие И.М. Майским Иерусалима преломляется через несколько призм. Во-первых, это библейская, точнее – новозаветная призма. Так, наибольшее впечатление на советского дипломата произвел Гефсиманский сад. Вряд ли это впечатление можно назвать положительным:

Еще с детских лет, когда на гимназической парте я учил «закон божий», мне было знакомо это имя. Наш школьный священник с особым чувством рассказывал, как Христос провел свою последнюю ночь в Гефсиманском саду, как от тщетно молил здесь своего отца «да минет меня чаша сия!» и как здесь на рассвете его схватили стражи и привели на суд первосвященника. С тех далеких лет у меня в сознании сохранилось представление о Гефсиманском саде, как о большом тенистом парке, почти лесе ... И вот теперь мы попали в Гефсиманский сад, но что это? Невысокая церковь, а справа от нее – небольшой квадратный палисадник с несколькими тощими деревьями. В центре палисадника – невероятной толщины обрубок какого-то огромного

ствола, спиленного или сломанного на высоте пяти-шести метров от земли. Корни его как-то хитро впились в почву и были покрыты густым слоем моха. От обрубка отходило с десяток тонких ветвей, унизанных зелеными листьями продолговатой формы. Таков был Гефсиманский сад, который я видел перед собой [Майский, 1965, с. 389]

Нетрудно заметить, что в сознании И.М. Майского образ библейского Иерусалима неразрывно связан с его детскими воспоминаниями. Когда на следующий день И.М. Майский оказался на берегу Галилейского озера, ему «опять невольно вспомнились образы и представления гимназических лет». Христианские святые пробуждают у И.М. Майского детские воспоминания. Это вторая призма восприятия Иерусалима. И библейские места, и вызванные ими детские воспоминания – это все «образы далеких, очень далеких времен». Вид Иерусалима, открывающийся с Масличной горы, И.М. Майский описывает языком Экклезиаста:

Вот одно из замечательнейших мест на земном шаре! Этому городу не меньше трех с половиной тысяч лет. Да еще каких! Сколько раз на протяжении своей истории он менял хозяев! Сколько крови здесь было пролито! Сколько событий совершилось! И сколько ярких легенд, сказок, поверий, сколько заблуждений и обманов связано с этим городом в памяти человечества! <...> А теперь? Теперь это лишь маленькая, глухая провинция, археологический экспонат давно умершей эпохи [Майский, 1965, с. 389]

Последнее иерусалимское впечатление И.М. Майского – иудеи у «Стены плача» – еще больше усиливает ощущение чуждости древнего города:

Вдоль всей задней стены мечети стояла длинная цепочка евреев – мужчин, женщин, детей. Особенно много было стариков с большими седыми бородами. Все в старинных религиозных одеждах и с молитвенниками в руках. Евреи истово кланялись, вполголоса бормотали молитвы, и от этого воздух был полон жужжания, будто бы здесь сердито гудел огромный рой шмелей. Потом вся цепочка падала на землю, горячо лобзала холодный камень стены, вновь поднималась

и жужжала, вновь падала и целовала стену <...> Нам стало как-то не по себе от этого зрелища, так живо напоминающего образы далеких, очень далеких времен, и мы поспешили удалиться [Майский, 1965, с. 390]

Таким образом, Иерусалим одновременно притягивает («одно из замечательнейших мест на земном шаре») и отталкивает («мы поспешили удалиться»). И.М. Майский подчеркивает принадлежность Иерусалима давно канувшей в Лету, «давно умершей эпохи».

В «приключенческой повести» амбивалентность восприятия Иерусалима сохраняется, при этом негативные моменты усиливаются. В Иерусалиме Петров впервые встречается с английскими военными чиновниками, настроенными по отношению ко всему советскому открыто враждебно. До этого Петрову попадались британские офицеры, члены английской компартии, чиновники-поклонники советского театра, которые приглашали советских дипломатов к себе домой. Из-за происков англичан, желающих досадить советским дипломатам, Петровы «застряли» в Иерусалиме на несколько дней.

Многие абзацы из главы «Советские путешественники в Иерусалиме» совпадают с соответствующими частями воспоминаний И.М. Майского. Вместе с тем в повести появляется еще одна призма восприятия Иерусалима – атеистическая. Следует заметить, что И.М. Майский как автор повести «Близко-далеко» вообще не чужд дидактизму. По ходу дела он рассказывает и о проблемах британской компартии, и об особенностях дипломатического протокола, и о многих других сопутствующих предметах. Значительная часть главы «Советские путешественники в Иерусалиме» посвящена развенчанию христианского «культу Иерусалима». В роли «развенчателя» выступает Анри Альфан, французский историк и археолог, «который из-за войны застрял в Иерусалиме»:

– Я специалист по Леванту, особенно по Палестине. Имею научные труды, делал раскопки... А почему? Потому что я антиклерикал.

Старый антицерковник, каких было немало во Франции в дни моей молодости. Еще юношей я поставил себе целью разоблачить тот религиозный обман, который уже семнадцать веков связан с именем Иерусалима [Майский, 1961, с. 68].

Выдержанная в лучших традициях агитпропа лекция Анри Альфана о том, «как и когда вообще сложился культ Иерусалима», занимает четыре страницы. В итоге лектор резюмирует:

И вот уже свыше шестнадцати веков ядовитый туман лжи окутывает древний город. Эта ложь оказалась очень выгодной мирским и духовным владыкам [Майский, 1961, с. 85].

При сравнении параллельных мест из «Воспоминаний ...» и «Близко-далеко» хорошо видно как антирелигиозный подход усиливает негативное восприятие Иерусалима. Если в «Воспоминаниях...» супругам Майским у «Стены плача» «стало как-то не по себе», и они просто «поспешили удалиться», то в повести в финал той же сцены выглядит иначе:

Вся картина производила жуткое и гнетущее впечатление...

– Уйдем отсюда поскорее! – воскликнула Таня (жена Петрова. – М.А.). – Слишком уж пахнет здесь религиозным изуверством, средневековьем, кострами ведьм, безумием <...>

Целый день советские путешественники бродили по Иерусалиму, и чем дальше, тем все более мрачным, искаженным болезненной судорогой выступало перед ними лицо этого города [Майский, 1961, с. 78–79]

Нервозность добавляла напряженность отношений между арабами и евреями. С настроениями палестинских арабов И.М. Майского познакомил сотрудник мандатной администрации, «араб по национальности, который, несмотря на свою прилежность к Магомету, превосходно знал все христианские “святые места”». Рассказ своего «арабского гида» о ситуации в Иерусалиме И.М. Майский приводит и в «Воспоминаниях ...», и в повести: «В Иерусалиме 150 тысяч жителей <...> Арабы го-

ворят: больше половины арабов, евреи говорят больше половины евреев, есть арабский город и есть еврейский город, между ними постоянная вражда» [Майский, 1965, с. 388]. В повести этот тезис поясняется:

Между еврейским и арабским городом идет долгая, упорная, жестокая война, искусно раздуваемая англо-американскими колонизаторами. Война в политике, в экономике, в общественной жизни, в сфере религии, в быту <...> Война с кровью, погромами, убийствами из-за угла, террористическими актами, вооруженными восстаниями [Майский, 1961, с. 79].

Заключение

Визит Майского в Палестину в 1943 году оказался в силу политической конъюнктуры вытесненным из исторической памяти. Сейчас он в большей степени принадлежит, как сказал бы Морис Хальбвакс, автобиографической памяти. Вполне закономерно, что в различных версиях рассказа о своем посещении Иерусалима в октябре 1943 года И.М. Майский по разному расставляет акценты. В 1944 году как дипломат он интерпретирует итоги своего ближневосточного турне в пользу «укрепления советского влияния в районах <...> от Каира до Тегерана». В начале 1960-х годов как автор «приключенческой повести» для юношества И.М. Майский показывает Иерусалим времен Второй мировой войны «внутренне разоренным, полным острейших национальных, социальных и политических противоречий». Ответственность за столь плачевное состояние Иерусалима автор возлагает прежде всего на происки «англо-американских колонизаторов». Наконец, в «Воспоминаниях ...» Иерусалим пробуждает в памяти автора образы детских лет, что придает рассказу некоторую лирико-философскую тональность.

Литература

Архив внешней политики РФ (АВП РФ). Ф. 06. Оп. 6. П. 14. Д. 145. Л. 1–41.

Агапов М.Г. Еврейско-палестинское сообщество в советской ближневосточной политике в 1939–1948 гг. Тюмень: Вектор Бук, 2012.

Агапов М.Г. Истоки советско-израильских отношений: «еврейский национальный очаг» в политике СССР в 1920-е–1930-е гг. Тюмень: «Вектор Бук», 2011.

Из протокола заседания Лондонского бюро правления ЕА. 14 сентября 1943 г. // Советско-израильские отношения... С. 85–86.

Из протокола заседания правления ЕА. 4 октября 1943 г. // Советско-израильские отношения... С. 87–89.

Майский И.М. Ближко–далеко. М.: Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1961.

Майский И.М. Воспоминания советского посла. Война 1939–1943. М.: Наука, 1965.

Майский И.М. Дневник дипломата. Лондон. 1934–1943: В 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 22 июня 1941–1943 год. М.: Наука, 2009.

Советско-израильские отношения: Сборник документов. 1941–1953: В 2 кн. / Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство иностранных дел Государства Израиль. Кн. 1: 1941 – май 1949. М.: Международные отношения, 2000.

Чуковский К.И. Дневник, 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991.

M.G. Agapov

*Institute of Northern Development, Siberian branch
of Russian Academy of Sciences (Tyumen)*

**SOVIET DIPLOMAT IN JERUSALEM IN 1943:
THREE NARRATIVE DESCRIPTIONS OF TRAVEL**

Abstract. This article explores three narrative descriptions by well-know Soviet diplomat I.M. Maisky of his visit to Jerusalem in October 1943. There are three texts: an official report, memoirs and an adventure story. As a diplomat I.M. Maisky interprets the result of his *tour over*

the Middle-East according to the Soviet's foreign policy ambitions and global geopolitics. He claims about strengthening the Soviet *spheres of influence in the Middle East*. As an author of an adventure story I.M. Maisky describes Jerusalem as a city of inward destruction with critical ethnic, social and political conflicts. I.M. Maisky accuses Anglo-American colonialism of all current Jerusalem troubles. In "Soviet ambassador's memories" he views Jerusalem in the light of his childish recollections, so it results in a lyrical and philosophical tone of his narration.

Keywords: Jerusalem, I.M. Maisky, Mandatory Palestine, the national home of Jewish people in Palestine.

Information about the author: Mikhail Gennadievich Agapov, Doctor of History, Leading researcher of the Institute of Northern Development, Siberian branch of Russian Academy of Sciences (Malygin str., 86. Tyumen, Russia, 625003, Tel./fax: (3452)22-93-60, (3452)68-87-50; 89129269539. E-mail: magapov74@gmail.com).

Е.Р. Пономарев

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

**«МЕНТАЛЬНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ» ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ: ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТРАВЕЛОГИ ЭРЕНБУРГА
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ**

Аннотация. Работа посвящена травелогам И.Г. Эренбурга, написанным и опубликованным в 1945–1946 годах. Германия и страны Восточной Европы рассмотрены в них как территории, потенциально входящие в состав Советской империи. Используя многие довоенные шаблоны литературы путешествий, Эренбург решает новую проблему «ментальной колонизации» стран, предназначенных на роль социалистических. С одной стороны, он подменяет голоса Восточной Европы своим собственным голосом, с другой – навязывает социалистические ценности и представления людям и государствам. Цикл очерков «В Германии», написанный в Восточной Пруссии, разрушает понятие о немецкой государственности. Книга «Дороги Европы» с советской точки зрения структурирует восточно-европейское пространство: все государства региона описаны по единому плану в символическом порядке – от наиболее зараженных фашизмом к наиболее близким идеям социализма. Наиболее неприспособленной к новой жизни оказывается Румыния, последней страной дана Чехословакия, наиболее образованная и уже национализировавшая промышленность. Оппозиция во всех государствах характеризуется единообразно – в прошлом это пособники фашистов, в настоящем – противники общенародного выбора. Травелоги Эренбурга оказываются универсальной социалистической рамой, в которую вставляется национальная специфика различных народов и государств.

Ключевые слова: Эренбург, Восточная Европа, Германия, окончание войны, Румыния, Болгария, Югославия, Албания, Чехословакия, литература путешествий.

Сведения об авторе. Пономарев Евгений Рудольфович, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и детского чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры (Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7, ауд. 308. тел. моб. +7-911-7879726; E-mail: eronomarev@mail.ru).

Литературу путешествий можно рассматривать как инструмент колонизации, предлагающий идеологическое обоснование для захвата стран и регионов или подчинения их своему влиянию. Эдвард Саид, к примеру, полагал, что все тексты о Востоке, написанные европейцами (от «Персов» Эсхила до травелогов XX века), служили глобальной цели – «ментальной колонизации» Востока, усреднения Востока до европейской точки зрения на Восток [Saïd, 1978]. Несколько изменив подход Саида, мы полагаем, что советская литература путешествий (в особенности литература сталинской эпохи) усиливает одну из потенциальных функций травелога. В отличие, скажем, от средневековых паломничеств в Палестину или текстов И.А. Бунина о Востоке (которые, к сожалению, не попали в поле зрения Саида), она ставит себе задачей дать идеологическое обоснование колонизации пространств, подчинения их советскому влиянию, распространение советского взгляда на несоветские земли, изображенные в травелоге.

С этой точки зрения, маршруты советских писателей, путешествующих по Европе, прямо указывают на направления внешнеполитической экспансии СССР. Поначалу писатели используются для установления дипломатических отношений между СССР и другими странами, затем работают наподобие культурных атташе (формально не имея отношения ни к советским полпредствам, ни к официальным структурам СССР и Коминтерна), рекламируя советскую литературу в буржуазных государствах. Вместе с тем, созданная ими литература путешествий играет важную роль и на внутреннем рынке: она формирует образ современного Запада в сознании советского человека. Поскольку писатель смотрит на Европу советскими глазами, советские стереотипы мышления и идеологемы проникают в картины западного мира, подчиняя тем самым изображаемый мир собственной логике. Тем более, что травелоги уделяют самое пристальное внимание рабочим восстаниям 1920–1930-х годов (от Берлина и Гамбурга до Вены), революционным движениям (Испанская

революция и гражданская война в Испании) и политическим победам коммунизма (коммунистическая активность в Германии перед выборами 1933 года; победа Народного фронта во Франции во второй половине 1930-х годов).

Традиционный разговор о советской литературе путешествий и главным ее маршруте – путешествии на Запад – сводится к вопросу о том, чего в ней больше: литературы в привычном смысле слова или пропаганды [Балина, 2000]. Не учитывать пропагандистскую основу советской литературы невозможно: поэтика в ней тесно переплетена с идеологией. Но и заранее отрицать литературную природу советских путешествий непродуктивно. На примере довоенных советских путешествий на Запад автору настоящей статьи удалось показать, что в разные периоды советские травелоги были разными: в начале 1920-х годов они ориентировались на задачи пропаганды; во второй половине 1920-х стремились казаться привычной литературой путешествий – набором непосредственных впечатлений с комментарием умного и неангажированного путешественника; в 1930-е годы стали опираться на заранее известные клише, представляющие западные страны на той или иной стороне в будущей войне [подробнее см.: Пономарев, 2011б; Пономарев, 2013].

Путешествие в Восточную Европу в довоенный период было частью западноевропейского маршрута. Наиболее востребованными локусами оказывались прибалтийские государства (на протяжении обоих десятилетий), Польша (преимущественно в 1920-е годы) и Чехословакия (большей частью в 1930-е). В целом, отношение к восточноевропейским странам – за редким исключением, новым государствам, созданным по окончании Первой мировой войны, поначалу было уничижительным: маленькие слабые страны для Советского Союза – не игроки мировой политики, с ними церемониться нечего (совершенно так же третирует советский травелог Австрию и Голландию). В 1920-е годы все три прибалтийских республики и Польша воспринима-

ются как осколки Российской империи, оставшиеся в далеком прошлом, в то время как СССР совершил рывок в будущее.

Во второй половине 1920-х годов, в период «либерализации» советских путешествий, страны Восточной Европы получают самостоятельное значение: некоторые путешественники специально посещают Чехословакию или Югославию, Польшу или Венгрию для того, чтобы указать на уникальную культуру небольшой страны или ее удивительную природу. При этом сквозь флер непосредственных впечатлений просвечивает набор идеологем, частью заимствованный из прошлого, частью сочиненных совсем недавно. На пришедшую из XIX столетия идею славянского единства (например, в Чехословакии советские писатели обязательно читают свои сочинения, а затем в травелогах пишут об особой любви чешских интеллектуалов к русской литературе, прошедшей проверку временем, точно так же русские путешественники проводили время в Праге еще во времена М.П. Погодина) накладываются антиколониальные идеологемы, ровесники государственной идеологии СССР (Югославия окончательно освободилась от австрийской угрозы, Чехословакия – от немецкого засилья, и даже Венгрия – от немецкого языка), а также текущие соображения о европейской геополитике: например, представление о СССР как о родине мирового, в том числе и восточноевропейского, пролетариата (например, для подкарпатских крестьян СССР в любом случае роднее Чехословакии, в составе которой они по воле случая оказались [Эренбург, 1933, с. 248], в этом утверждении соединяются и классовое и национальное родство) или мысль о том, что только СССР может защитить восточноевропейские страны от надвигающегося на них фашизма.

В путешествиях 1930-х годов ситуация изменится. Восточную Европу станут рассматривать как форпост в предстоящей войне. Поездки советских писателей в Восточную Европу станут чаще и оформляются как духовный акт взаимопомощи (славянским братьям) перед лицом близкой опасности. Особую роль обретает Чехословакия как главная антифашистская страна.

Темы славянского единства и антигерманского братства восточных и западных славян сливаются воедино, определяя тональность травелога: борьба с фашистской угрозой становится общемировой задачей.

Илья Эренбург, уникальный советский писатель, проживший половину жизни вне СССР, – особая фигура для истории советского травелога. Путешествия по миру стали делом его жизни; созданная им литература путешествий существеннее и ярче его романов. Пожалуй, только в творчестве Эренбурга мы можем наблюдать самые замысловатые маршруты путешествий по Европе, а также все три (описанные выше) этапа довоенного травелога в последовательном развитии: прочие советские писатели либо не получали позволения так часто и свободно ездить по Европе, либо не умели создавать травелоги в конвейерном режиме. Никто, кроме Эренбурга, столь часто не посещал Восточную Европу в межвоенный период и столь часто не писал о ней. Его статьи, практически сразу же собиравшиеся в книги путешествий, дают нам общее представление о роли восточно-европейского маршрута в контексте советских путешествий 1920–1930-х годов [подробнее см.: Пономарев, 2010–2011; Пономарев, 2013, с. 218–223, 273–292].

Показательно, что сразу по окончании Второй мировой войны Эренбург (в годы войны он прославился пламенной антифашистской публицистикой, выходившей не только на русском языке, но и переводившейся на языки союзных держав) возобновляет традицию путешествий по Европе. Мэтр советского травелога, главный советский европеец въезжает в Европу, по которой успел соскучиться за четыре военных года, как военный корреспондент. Вскоре он сменит официальный статус и станет, как и до войны, обычным (штатским) советским журналистом, постоянно пребывающим на Западе. Однако демобилизация практически не повлияет на позицию путешественника. В довоенном Советском Союзе зарисовки европейских стран, сделан-

ные Эренбургом, считались образцовыми. Теперь он спешит изобразить Европу, освобожденную от фашизма.

Первым послевоенным европейским travelогом Эренбурга становятся статьи о занятой советскими войсками Восточной Пруссии (большей частью речь идет о городе Эльбинг – ныне город Эльблонг на территории Польши). Они публикуются в газете «Красная звезда» в конце февраля 1945 года, а затем выходят отдельной брошюрой. Эренбургу не первый раз приходится изображать разоренную Германию: впервые он рисовал картины немецкой разрухи в очерках 1922–1923 годов, затем почти без изменений использовал темы и мотивы «Германии разоренной» в кризисных очерках 1931–1933 годов. Оттолкнувшись от важного лейтмотива своих travelогов середины 1930-х (писавшихся уже не в Германии, а на немецких землях, переданных после Версаля соседним государствам, – въезд в Германию Эренбургу был заказан на протяжении всей гитлеровской эпохи): «... все нацистские песни пошлы – это глупая констатация очевидного», путешественник выстраивает главную идею, повернув песню на 180 градусов. Еще недавно, сообщает автор, немцы пели «Мы идем вперед», а теперь вперед идет Красная армия, да так быстро, что немцы не успевают убежать. Едкая радость победителя сменяет прежние доминантные настроения немецких очерков: легкое злорадство 1920-х годов, соединенное с грустной иронией («колбасники» остались без колбасы и едят вареный картофель; люди, во всем следующие правилам, оказались в ситуации, не признающей никаких правил), и нарочитое сочувствие начала 1930-х, проявлявшееся тоже несколько свысока – мы-то давно победили, у нас нет ни безработных, ни нацистов. Победные настроения 1945 года введены в гуманистические рамки, прикрыты идейным великодушием, но еще отдают наслаждением боя: с одной стороны, Красная армия не воюет с детьми и старухами, с другой – поделом бывшим членам НСДАП. Последним приходится учить русский язык, чтобы доказывать советским солда-

там: они не виноваты в преступлениях Рейха. Советские солдаты, впрочем, им не верят.

Интересный поворот мысли наблюдаем в одной из статей: в Восточной Пруссии, сообщает Эренбург, нет и намек на партизанскую войну. Статья пишется по горячим следам, следовательно, во-первых, возможность партизанской войны предполагалась; во-вторых, утверждение, что сопротивления нет, сразу же – по советской логике истории – исключает саму его возможность. Здесь мы впервые сталкиваемся с характерным для травелога вообще и интенсифицированным в советском травелоге моделированием посещаемых земель в том ракурсе, в котором нужно путешественнику (или тому, кто его отправил в путешествие). Слово моментально становится фактом, ибо путешественник – единственный свидетель рассказанного. Такое моделирование реальности получило широкое развитие в травелоге 1930-х годов, послевоенный травелог возвращается к довоенным образцам. Факт отсутствия в Эльбинге партизан объясняется не усталостью немцев от войны, не чувством вины и стыда, не внутренней ненавистью населения к нацизму, что можно было бы предположить, а неожиданным идеологическим постулатом: «Народной войны нет и не может быть в стране, где нет народа» [Эренбург, 1945, с. 7]. Почему в Германии нет народа, понять трудно. В какой-то мере, это развитие изначальной антитезы «мы – они»: у нас народная война была, значит, мы сильнее духом, оттого и победили. Можно полагать, что страна, зараженная нацизмом, по мнению писателя, – уже не страна, а народ – уже не народ. Кроме того, можно предположить, что здесь сказываются и установки военной пропаганды: в ряде военных документов провозглашена война на истребление [Добренко, 1993, с. 308–315]. В любом случае, отсутствие собственного народа и народного духа – важное отличие Германии от захваченных ею (и освобождаемых Красной армией) европейских стран. В рамках советской идеологической литературы постулаты такого рода не нуждаются в обосновании и принимаются на веру.

Отсутствие людей – важнейшая черта немецкого пейзажа. Этот мотив уже отработан в начале 1930-х годов: обезлюдевшие вокзалы и улицы подавались как главное свидетельство экономического кризиса. Однако в 1930-е речь шла о том, что везде в Германии людей стало меньше. Теперь их просто нет. Народ заменяют брошенные вещи. Меняется и хронотоп путешествия. Если раньше путешествие по Европе было главным образом посещением городов, то теперь главный локус – дорога, а динамику путешествию по дороге придает стремительное движение Советской армии: «И вот я вижу дороги Германии, гладкие, обсаженные деревьями. Эти дороги завалены повозками, сундуками, перинами, хламом – и дамский капот здесь, и портфель с бумагами финансового инспектора, и бальное платье, и кастрюли» [Эренбург, 1945, с. 3]. Благодаря обилию городских вещей, брошенных на дороге, дорога урбанизируется, заменяет собой разрушенные города. Интересно, что при таком движении тип путешественника существенно меняется. По сравнению с довоенным временем (когда, даже будучи «полпредом стиха», советский писатель оставался частным лицом, представителем богемы при советском правительстве), он становится лицом подневольным: превращается в советского солдата, путешествующего вслед за армией и смотрящего на мир ее глазами. Такой тип путешественника ярко проявился в русских травелогах Александровской эпохи (восходит к травелогам петровского времени). Вершина этой литературы – «Письма русского офицера» Ф.Н. Глинки [подробнее см.: Пономарев, 2011а]. В те времена от диктата идеологии спасала сентименталистская традиция, ставившая личное чувство выше государственной необходимости. В эпоху Эренбурга такого лекарства не было: пафос государственной идеологии занимает все пространство текста.

Кинематографическим приемом (часто встречающимся в очерках Эренбурга и советском травелогe вообще) пустынные дороги Восточной Пруссии вдруг заполняются толпами людей, но это не немцы; множество получает обобщающее и одновре-

менно мифологизирующее определение – перед нами новое переселение народов, второе рождение Европы: «По дорогам Германии движется Европа: здесь и девушки из Полтавщины, и шотландцы, и бельгийцы, и парижане, и неаполитанцы, и чехи. Они смутно улыбаются, как будто после долгих лет ночи вышли на яркий свет» [Эренбург, 1945, с. 11]. Эренбург развивает собственную метафору из очерков 1930-х годов: вся книга и ее центральный очерк назывались «Границы ночи». В числе толпы народов особо выделены французы – любимцы Эренбурга, главный народ Европы в прошлом. Путешественник не видел их четыре военных года, за время испытаний они повзрослели, но не потеряли природной детскости. Этот пассаж звучит отдаленным напоминанием «либеральных» путевых очерков конца 1920-х годов, когда Эренбург хвалил французов за оптимистическую веселость, незлобливость и «братство» – главную ценность Французской революции: «Они приобрели новую суровость, но они не потеряли прирожденного веселья, живости ума» [Эренбург, 1945, с. 11]. От прежних лидеров человечества – прямое движение к нынешним. Брошюра заканчивается славословием Красной армии от имени всех освобожденных (включая французов) народов. Армии человеческого достоинства и справедливости. В этой точке послевоенный травелог вновь типологически совпадает с «письмами» Александровской эпохи.

Акт описания Восточной Пруссии становится одновременно актом покорения Восточной Пруссии, ментальной переориентацией пространства. Как бы между прочим, но весьма уверенно (статьи писались по окончании Ялтинской конференции) путешественник утверждает: Германия потеряла эту область. Возможно, немцев нет на страницах Эренбурга еще и по этой причине: моделируется их насильственное выселение с земли, переставшей быть немецкой. Интересен комментарий, который присовокупляет повествователь: «Этот разбойничий выступ будет отрезан» [Эренбург, 1945, с. 11]. Германия интерпретируется как всеевропейский разбойник, которому следует раз и навсегда дать по рукам.

Вторая послевоенная книга путешествий Эренбурга как бы продолжает первую. Она называется «Дороги Европы». В 1946 году книга выдержала сразу два издания: одно скромным тиражом 15000 экземпляров, другое (несколько сокращенное) тиражом 100000 экземпляров. Тип этого травелога сложен: с одной стороны, он напоминает «объезд Восточной Европы», предпринятый писателем за двадцать лет до этого – во второй половине 1920-х годов. В каждой стране восточно-европейского региона Эренбург видел свой особый мир и радостно в него погружался, ценя национальную специфику, но, разумеется, не забывая и о социалистических стремлениях бедноты каждой из описываемых стран. Тогда Эренбург побывал не во всех восточно-европейских государствах, теперь он объезжает все, интересуясь каждой страной в отдельности. С другой стороны, новый «объезд» ближе к «тоталитарному» травелогу 1930-х годов: это линейка-энциклопедия государств с точки зрения близости «нам». Довоенные путешествия-энциклопедии строились на антитезе «коммунизм – фашизм» и рассматривали серию промежуточных вариантов: каждая из стран Европы оказывалась определенным типом государства (полицейского, милитаризованного, демократического; неспособного к защите, отстаивающего национальную самобытность и пр.) – в зависимости от типа, намечалась роль страны в предстоящей войне. Теперь, сохраняя в уме прежнюю универсальную антитезу, писатель выстраивает череду государств по двум близким друг другу признакам: по степени зараженности фашизмом (соответственно, определяет, насколько сильное требуется очищение) и по признаку готовности к новой социалистической жизни. Линейка выстраивается от самых зараженных/отсталых стран – к самым нефашистским/прогрессивным: Румыния – Болгария – Югославия (в соответствии с новым федеративным устройством несколько слов уделено каждой республике-федерации) – Албания – Чехословакия (как и до войны, она оказалась самой прогрессивной страной). Далее идут очерк

«В Нюрнберге», посвященный судебному процессу¹, и итоговый очерк, одноименный всей книге, немного затрагивающий Берлин и подводящий итог путешествию.

Рассказ о Румынии построен на привычной антитезе (отрабатанной до войны на примерах Германии и Великобритании) «два мира»: в Румынии соединяются роскошь знати и непроходимая бедность остального населения. Интеллигенция в этой стране великолепно разбирается в тонкостях французской культуры, большинство простых людей неграмотно. В этом причина успеха фашизма: «Фашизм легко овладел Румынией, потому что народ был приучен веками к слепой покорности <...>» [Эренбург, 1946, с. 4]. С другой стороны, идейными фашистами были только верхи общества, народные массы остались чужды фашистским идеям, они трудолюбивы и душевно чисты. Только с приходом Советской армии народ стал жить полной жизнью: он вдохновлен аграрной реформой (900000 крестьянских семейств получили землю, которой у них не было никогда) и идет за новым социалистическим лидером – Петром Грозой (в противовес ему несколько раз упомянут бывший фашистский лидер Антонеску, глупый человек). Иллюстрацией популярности Грозы становится рассказ о том, как радостно люди встречают его в аэропорту Бухареста (он только что вернулся из Москвы). Много страниц уделено оппозиции: она выступает как серая масса, не имеющая имени. Оппозиция – бывшие фашисты, пособники фашистов или предтечи фашистов, когда-то отдавшие им власть (вероятно, имеются в виду социал-демократы – глухой отзвук идеологической борьбы 1930-х годов, теперь за ненадобностью затихшей); такая характеристика позволяет сразу сбросить ее со счетов. Главный грех оппозиции – антинародность. Увлеченность французской культурой соединена в ней с неприятием всех остальных национальных культур (даже русские классики не переведены на румынский! – укоряет местную интеллигенцию советский путешественник). Это не утонченность, полагает Эренбург, сам знаток всего французского, а глубинная некультурность: «Я видел

¹ Во втором издании книги главы о Нюрнбергском процессе нет.

в Бухаресте людей, которым во Франции нравится именно то, что не нравится самим французам <...>» [Эренбург, 1946, с. 13]. Лучшие представители интеллигенции все равно с народом, свидетельство этому – недавно открывшийся Народный университет. Глава завершается большим пассажем, напоминающим славословие Красной армии из статей о Германии. Румыния, говорит Эренбург, принесла много горя Советскому Союзу: «<...> камни Одессы, Крыма, камни Сталинграда кричат о преступлениях румынских фашистов» [Эренбург, 1946, с. 16]. Однако советский народ не обвинил в этих преступлениях всех румын. Великодушные советские люди понимают, что виновны в произошедшем те, кто принадлежит «... к зараженной части общества» [Эренбург, 1946, с. 16]. Эта логика ранних социалистических теорий, заимствованная из «Что делать?» Н.Г.Чернышевского (той самой классики, что не переведена на румынский), становится рецептом для постфашистского румынского государства: нужно отомстить по-настоящему виновным, остальных – вылечить от фашистской заразы. Этот же рецепт, надо думать, годится и для остальной Европы. В финале реализована метафора, восходящая к очеркам 1930-х годов, называвшим фашистские государства «царством смерти»: Румыния была при смерти, но теперь она возвращена к жизни советскими освободителями. Этот финал, напоминающий главные балеты советских театров «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу»², будет повторяться и в последующих главах: пробуждение от тяжкого сна переживают все народы Европы.

Следующая глава посвящена Болгарии. Как часто бывает у Эренбурга, очерк начинается эффектной антитезой. Если раньше антитеза намечала глубинное противоречие описываемой страны (нищета и богатство Лондона; или чуть выше – офранцузенная интеллигенция Румынии и масса крестьян, не умеющих поставить подпись), то теперь антитеза разделяет

² Показательно, что сказочно-балетными метафорами Ш. Перро/М. Пети-Эренбург пользовался уже в европейских очерках 1930-х годов. Например, в очерке «Оборвавшаяся нить» (1935): «Девушка укололась о веретено, и жизнь замерла» [Эренбург, 1936, с. 133].

страны отсталые и страны передовые. Она маркирует следующую, более высокую ступень. Дунай – граница двух миров: Румыния – безграмотная страна, Болгария – страна образованная. Крестьянские дети здесь учатся в гимназиях, в каждой деревне есть читальня. Другая важная черта Болгарии – умение бороться за независимость и национальную самобытность; история этой страны – история восстаний. Последнее восстание произошло в 1944 году, это были «... бои между народом и фашистским правительством» [Эренбург, 1946, с. 26]. Фашистское прошлое Болгарии зачеркнуто антифашистским восстанием и вступлением в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Если спящий народ Румынии еще только пробуждается от фашистского сна, то простой народ Болгарии всегда был против фашизма. Это проявилось в послевоенной политике страны: «... болгары не ожидали указаний со стороны, чтобы покарать своих преступников» [Эренбург, 1946, с. 29]. Далее следует статистика, говорящая сама за себя: 11 тысяч преступников предано суду, 2025 человек расстреляны по приговорам судов. И издевка, направленная в сторону Европы Западной: это не бутафорский суд над изменником Петеном, это подлинная народная справедливость. В числе осужденных упомянуты «... и шантажисты, которых немцы возили в Катынь ...» [Эренбург, 1946, с. 28]. Советская точка зрения на события последнего десятилетия проникает в Восточную Европу как единственно верная и реализуется в смертных приговорах тем, кто ее не разделяет.

Теперь простой народ Болгарии восстанавливает разрушенную фашистами страну. Для описания этого процесса используется шаблон, отработанный на Германии 1920-х годов: «А народ тем временем работает, работает иступленно, самоотверженно» [Эренбург, 1946, с. 35]³. Отличие только одно: болгары хорошо знают, для чего они «иступленно работают». Болгария очень

³ Ср. со статьей Эренбурга 1922 г. «Письма из кафе. Берлин»: «Этот город беженцев, несмотря на все отчаяние, иступленно работает. <...> Немцы не могут не работать, так же как неаполитанцы не могут не петь. Пафос труда предохраняет Берлин от небытия. <...> Но как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Для чего все эти создаваемые вещи?» [Эренбург, 1933, с. 18–19]

трудолюбива и очень честна: в отличие от Румынии, в ней нет черного рынка. Особо подчеркнута помощь Советского Союза: например, советский хлопок оживил заводы Габрово, «болгарский Манчестер»» [Эренбург, 1946, с. 32]. Интересно при этом, как аккуратно использует Эренбург свой старый прием времен «либеральных путешествий». Сравнить болгарский город с английским пока можно (когда писались очерки, Черчилль еще не произнес слова о «железном занавесе»), но вот наименование болгар «балканские пруссаки» путешественник сходу отвергает – оно совершенно не соответствует действительности. В Болгарии нет ни культа техники, ни духовного одичания.

Третьим пунктом идет обязательный рассказ об оппозиции. Здесь он вводится тоньше: путешественник делает обзор всех политических партий современной Болгарии, который завершается традиционным, как и в главе о Румынии, тезисом: оппозиция больше интересна западным журналистам, чем населению страны.

Начиная с Болгарии появляется еще один обязательный пункт – краткий обзор культурного наследия. В данном случае речь идет прежде всего о древней культуре Болгарии, Золотом веке, прекрасных церквях и древних городах (Тырново). О влиянии древнеболгарской культуры на древнерусскую при этом не говорится (установка на приоритет русской культуры уже активно действует). Напротив, подчеркнута давняя любовь болгар к русской культуре. В отличие от Румынии, здесь великолепно знают все русское. Рядом – рассказ о тесной связи болгарского и русского революционного движения. Революционеры становятся передовым отрядом культуры (именно так подается литературный процесс в послевоенных учебниках литературы), а реальный Георгий Димитров и литературный Дмитрий Инсаров (как Н.А. Островский и Павлик Корчагин) уже практически неразличимы. Финал главы – окончательная литературоизация Болгарии, сведение путевых впечатлений к штампу из русского классического романа: «Сила Болгарии в ее органичности, в цельности, в живой связи между разумом и сердцем, между на-

родом и землей, между крестьянами и интеллигенцией» [Эренбург, 1946, с. 51]. Характеристика, данная Шубиным Инсарову в «Накануне», становится итогом «переписывания под себя» соседней страны. Вся Болгария сведена к одному болгарину, написанному русским писателем прошлого века.

Третья глава повествует о Югославии. Эта страна стоит выше Болгарии, ибо сражалась за свою свободу всю войну. Партизаны были во многих странах, напоминает путешественник, но здесь партизанское движение уникально: против захватчиков пошел весь народ, партизанами были все, от мала до велика. Югославия – европейская Белоруссия, и это сравнение, появившись в самом начале главы, проходит через весь ее текст. Другая характеристика Югославии заимствована из типовых мифологем соцреализма: война стала для страны воскресением, творением новой жизни: «... воюя, они творили. Первые чертежи новой государственности были созданы под вражеским огнем; откладывая на час оружие, люди составляли черновики законов» [Эренбург, 1946, с. 57]; «Архитекторы обсуждали проекты восстановления городов; потом они шли к орудиям и били по тому или иному городу» [Эренбург, 1946, с. 58]; «В борьбе создавались и государственность, и культура, и человек» [Эренбург, 1946, с. 58]. Это миф творения, соединенный с мифом вечной борьбы. Миф становится инструментом возвышения страны в линейке прочих государств. Румыны оказались под игом фашизма в силу необразованности. Болгары не приняли фашизм и вступили с ним в борьбу, потому что болгары – народ просвещенный. Югославия принесла огромные жертвы, не сравнимые с жертвами Болгарии. Эта страна не просто грамотна – она футуристически творит новую жизнь и обретает Знание в боях. В лесах работают типографии, в горах на привалах читают лекции, в партизанских отрядах издают книги и газеты, учителя учат в школах партизанских детей. Это высшая степень просвещения – жизнетворчество, поэзия жизни. Это соцреализм в действии, сюжет ненаписанного романа М. Горького: «Как поэты, народы знают часы вдохнове-

ния, невозможное становится тогда возможным. Такие часы теперь переживает Югославия» [Эренбург, 1946, с. 59].

Затем, как положено, идет рассказ о героическом восстановлении страны. И традиционная полемика с оппозицией, мечтающей о старой королевской Югославии: «Сразу скажу: таких людей куда больше за пределами страны, чем в самой стране <...>» [Эренбург, 1946, с. 61]. Если в болгарской главе разговор об оппозиции обрывался отсылкой к западным журналистам, здесь он обрывается указанием на эмигрантов и архаичных по самой своей природе монархистов. Так формируется риторика холодной войны – с переосмыслением еще довоенной идеологии «заокеанские хозяева»: «Я беседовал со многими представителями оппозиции: это марионетки; им трудно спрятать нитки, за которые их дергают» [Эренбург, 1946, с. 62]. Впервые появившееся слово «марионетки» очень значимо. Маршала Тито (в отличие от Грозы и Димитрова) трудно назвать советской марионеткой (что он и докажет советским товарищам несколько лет спустя). Идеологически окрашенное слово употребляется там, где оно наиболее уместно. Несколько страниц посвящено выборам 11 ноября 1945 года и их критике в западной прессе. Из избирательных списков вычеркнули 200 тысяч человек, но это не иначе комыслящие, уверяет Эренбург, а фашистские прислужники. Тезис вроде бы противоречит утверждению о всенародной борьбе с фашизмом, но это путешественника не беспокоит (между двумя тезисами пролегло 10 страниц текста). На этот смысл работает и традиционный соцреалистический пафос войны, переносимый на разные проявления мирной жизни: «Идет вторая война – против разрухи и голода» [Эренбург, 1946, с. 60]; «... я видел народ, который голосовал так, как он сражался» [Эренбург, 1946, с. 64]. На войне не до приличий, на войне требуется беспрекословное подчинение командирам.

Федеративное устройство Югославии тоже родилось в боях. Сербь и хорваты, словене и македонцы сражались бок о бок. Обезд Восточной Европы повторяется на микроуровне объ-

ездом разнообразной, но единой Югославии. Путешественник посещает все республики федерации, чтобы убедиться, что, с одной стороны, нигде никого не притесняют, а с другой – провозгласить: сепаратизм остался в прошлом, Югославия едина. Во время малого объезда активизируются те или мотивы, которые должны в целом характеризовать Югославию, ее пробуждение ото сна. Сербский Белград – красивая современная столица, настоящая Европа. Хорватский Загреб – древний город, центр культурной жизни всей Югославии (перечислены имена больших художников и одного скульптора – к художникам Эренбург всегда неравнодушен; кратко рассказано о крупном драматурге Крлже). Словения, которую Гитлер присоединил к своему рейху, не онемечилась, сохранила и язык и душу. Словенская Любляна – главный университетский город страны, город интеллигенции, которая «... вышла из народа и осталась с ним ...» [Эренбург, 1946, с. 73]. Вместо живых деятелей культуры в качестве примера названы классики словенской литературы, но разницы нет никакой – и те, и другие совершенно не знакомы советскому читателю. В Далмации особенно любят русских. К тому же, в Далмации есть множество памятников древней славянской культуры (используется болгарский шаблон). Дубровник – славянская Венеция, побережье – славянский Лазурный берег, только лучше: там все «сладость», здесь все естественно. Сплит, как Париж, наполнен веселыми и открытыми людьми. В его древнюю архитектуру органично вошли пятиконечные звезды, появившиеся на домах. В Черногории (как в Болгарии) живут очень культурные люди, но они многие века были вынуждены воевать за независимость. А в Македонии (как в Румынии) вся жизнь начинается сначала (например, поэт Венко Марковский – и Ломоносов, и Маяковский Македонии): народ получил право быть народом. Ситуация прямо противоположна рассказанному о Германии.

На югославском материале рождается новый шаблон травелога: Восточная Европа лучше Западной, поскольку она более естественна и менее испорчена миазмами капитализма. В ней

есть все европейские красоты и культурные богатства, но она почти наша: и потому, что большей частью славянская, и потому, что выбирает социализм. А социализм она выбирает потому, что сочетает в себе демократизм и просвещенность. А еще потому, что сражалась с фашизмом бок о бок с Красной армией – армией человеческого достоинства.

Важным доказательством правоты путешественника становится почти оперная или кинематографическая сцена (наподобие фильма «Падение Берлина») народной демонстрации, соединяющей обряд с растворением в массе и чувством священной правоты. Этот прием Эренбург нашел в предвоенных очерках, но использовал всего один раз, рассказывая о Франции эпохи Народного фронта⁴. Здесь прием работает многократно, начиная с югославской главы: «Я видел трогательные процессии: с гор переносили на деревенские кладбища останки героев. Происходило это накануне католического праздника – поминовения мертвых. С вершин, как лавина, спускалась толпа – виноделы, пастухи, солдаты, женщины, дети, и лавина росла – к шествию присоединялись окрестные деревни; на домах развевались траурные черные флаги, гудели колокола горных часовен, а по долинам неслись длинные партизанские песни» [Эренбург, 1946, с. 71]. Эта сцена убеждает самой своей оперностью и связанным с ней величием, а также ощущением психологической сопричастности героям. Каждый советский читатель 1945 года воспринимал такие сцены как хорошо знакомую практику парадов, демонстраций, отдания почестей павшим. В этой демонстрации Югославия обретает символическое единство: абсолютно не важно, в какой именно республике федерации проходит шествие,

⁴ См. в очерке «История одной матери» похороны убитого фашистами французского шахтера Дусэ: «Женщины стояли на краях улицы. Завидев гроб, они подымали кулаки. Они подымали детей, и маленькие дети – надежда Франции, надежда мира – сжимали в кулачки свои еще нежные, слабые руки» [Эренбург, 1936, с. 151].

ибо это шествие уже оторвано от географии, оно помещено в открытое пространство вечности⁵.

Четвертая глава посвящена Албании. Переходом к ней служат несколько сквозных мотивов. Во-первых, в Албании легко дышится и царит веселье. Во-вторых, культурное разнообразие даст фору Югославии: «Здесь перекресток народов и культур: мрамор древнего Рима, купола Византии, цветистость ислама» [Эренбург, 1946, с. 97]. В третьих, и самое главное: «... албанцев никто не освобождал, они сами себя освободили» [Эренбург, 1946, с. 99]. Албания, по-видимому, не слишком вписывается в общий замысел Эренбурга: по уровню просвещенности она должна стоять где-то рядом с Румынией, но антифашистская борьба перевешивает. Подробного рассказа о стране (по крайней мере, такого же, как в предыдущих главах) не получается: можно предположить, что реальные впечатления путешественника идут в разрез с официальной версией путешествия, и их приходится тщательно фильтровать. С другой стороны, албанская глава обнажает общий каркас замысла Эренбурга, закрытый в предыдущем повествовании обилием подробностей – перечислением фактов и имен, художественных и интеллектуальных достижений, разговорами с режиссерами и художниками. Здесь путешественник чередует жанровые сценки (как правило, рассказы о посещении домов самых простых людей – обладающих мудростью героев-философов из народа: это Лев Толстой в соцреалистической переработке) с идеологическими сентенциями. Простой человек немногословен и произносит самые общие фразы, опытный соцреалист поворачивает их в любую сторону по своему усмотрению. И получается, что трудовой албанский народ думает почти так же, как давно победивший своих эксплуататоров советский.

⁵ Точно так же и в «Истории одной матери» реальное похоронное шествие превращается в символическое движение к лучшему будущему всего прогрессивного человечества: «Они (две женщины, мать и жена убитых фашистами героев. – *Е.П.*) шли вместе с десятками тысяч (советских! – *Е.П.*) комсомольцев, с шахтерами Севера и виноделами Юга, с товарищами из Эссена, Турина и Барселоны, со всей советской землей – к будущему мира» [Эренбург, 1936, с. 152].

Завершается глава еще одной оперной сценой: «Седьмого ноября население Тираны пришло с зажженными факелами к зданию советской миссии. <...> Люди зажигали факелы, ударяя их о землю, и в этом древнем жесте, в восторженном гуле, заполнявшим площадь, во множестве ярких огней среди густой черноты ночи (ночная зарисовка переходит в привычную аллегорическую картину «пробуждения», освобождения от ночных чар. – *Е.П.*) была страсть, душа малого числом, но большого сердцем народа» [Эренбург, 1946, с. 104].

Последней из восточно-европейских стран, как и в довоенном объезде, поставлена Чехословакия. Это снова форпост в битве миров и образец социалистической Европы. Рассказ начинается с Праги. Эренбург использует старый прием литературы путешествий, восходящий к XIX веку: он не будет описывать красоту чешской столицы, она давно описана. Вместо этого путешественник создает новую мифологию Праги. До войны считалось, что Прага очень похожа на Москву. Теперь выяснилось, что ее подлинная жизнь сосредоточена в глубоких и темных дворах. На протяжении веков немецкого господства чехи уходили во дворы и горькими ироническими шутками отстаивали свой язык и душу (в качестве примера избран Швейк – мало того, что литературный герой 1920-х годов, но еще и написанный «красным» чехом Гашеком). Эта дворовая антинемецкая культура породила Пражское восстание. Интересно, что контраст между улицами и двором – испытанный прием советского очерка, отработанный в 1930–1933 годы, но на немецком материале. Из Берлина и Дрездена советский писатель переносит прием в Прагу, немного меняет интерпретацию и получается убедительно.

Далее идут традиционные штампы: страна ограблена немцами (в случае Чехословакии соединяются два значения: не только в сороковые годы, но и за много веков до того), но хорошо и вдохновенно работает. Чехи трудолюбивы, как немцы, но, в отличие от них, полны здоровой веселости – об этом Эренбург писал еще в 1920-е годы. Кроме того, в Чехословакии прошла национализа-

ция промышленности – эта страна семимильными шагами идет к социализму.

Вопрос сепаратизма, важный для Югославии, в Чехословакии решен окончательно тем же способом – в ходе боев. «Семейная неурядица» [Эренбург, 1946, с. 111] между чехами и словаками сказала в 1939 году, но эта ошибка больше не повторится: «Испытания настолько сблизили два народа, что мы вправе теперь говорить об одном чехословацком народе» [Эренбург, 1946, с. 111]. Время показало, что Эренбург поторопился с выводом. Для уверенности путешественник отправляется в Братиславу. Здесь по-прежнему хорошо, но тихо и пусто. Фашизм оставил свои микробы, предатели вылезают из подполья, агитируют и пытаются организовывать погромы. Пожалуй, ни в одной главе так много не говорилось об активности предателей. Пособников фашизма из Словакии вдохновляют мягкие приговоры судов, считает советский путешественник. По-видимому, чешскому народу (а лучше, конечно, болгарскому) следует взять шефство над словацким, объяснить им, как поступают с предателями. Процессы против главных предателей еще впереди.

Глухо говорит Эренбург о проблеме судетских немцев. Переселение целого народа – это всегда плохо, полагает писатель, но чехословаков можно понять. Драма всей страны началась с Судет. Вспоминается «разбойничий выступ» из очерков о Восточной Пруссии. Судеты (как и Восточную Пруссию) немцы потеряли; эта символическая потеря – плата за развязанную войну. И, как обычно, переход к западным газетам: почему-то они уделяют больше внимания судетским немцам, чем евреям, прошедшим Дахау и не могущим попасть в Палестину.

Возвращаясь к Праге, Эренбург вновь много пишет о культурной жизни Чехословакии. В 1920-е годы он уверял, что эта страна издает больше всего книг, интересуется культурной жизнью всех соседей, переводит все и вся. После войны Прага возрождается: выходят книги, открыт университет, работают театры. Эренбург хорошо знаком с деятелями искусств Чехословакии:

вновь перечисляя их имена и рассказывая о творческом подъеме, он особо выделяет режиссера-новатора Бурьяна: он вернулся из Дахау и возглавил сразу два пражских театра.

В финале главы Чехословакия вновь названа «аванпостом живой жизни» [Эренбург, 1946, с. 116]. Это соцреалистическая Европа: Европа прошлого и настоящего, а также Европа будущего; такая, какой она должна в идеале быть. Ни на кого не нападающая, культурная, трудолюбивая и славянская. Внимательно прислушивающаяся ко всему, что идет из СССР. Для поддержания панславистских иллюзий вводится идеологема из русской литературы XIX века с мотивами «старых камней» и «святых чудес»: «... это воистину страна тех «старых камней Европы», которые мы всегда любили, и любили не со стороны, не как праздные зрители, а как прямые наследники» [Эренбург, 1946, с. 116]. Освободившая эту землю Красная армия доказала советскую любовь.

В главе, посвященной Нюрнбергскому процессу, травелога нет (может быть, поэтому она была исключена из второго издания книги). Однако важен один пункт, совпадающий с трактовкой Германии в других очерках Эренбурга: Нюрнберга больше не существует, сказано в начале очерка, это огромная груда развалин. Такой же грудой развалин предстает и германская столица в завершающей книгу главе «Дороги Европы». Путешественник хорошо знает Берлин, но не может узнать ни улиц, ни площадей: они стерты с лица земли. Это аллегория фашизма, выжженного каленым железом. Восточно-европейские страны переживают «раннее утро Европы» [Эренбург, 1946, с. 136], в Берлин повествователь приезжает «под вечер» [Эренбург, 1946, с. 139], и это символично в рамках общей аллегории дня и ночи. Европа уходит на Восток, подлинная Европа пробуждается там, где раньше, по мнению многих, жили недоевропейцы. Они принесут Европе Европу (не без помощи СССР). Точно так же, как Берлин, должен быть выжжен фашизм в европейских душах. Значение победы, завершает писатель очерк и книгу, в том, что она возродила вы-

сокое понятие «народ»: «... народы не хотят больше опекунов, народы не хотят, чтобы кто-то говорил от их имени; они выходят из пещер (мифологический элемент. – *Е.П.*), из лачуг, из трущоб на городские площади; они начинают говорить, – и в этом залог спасения послевоенной Европы» [Эренбург, 1946, с. 144].

Собственный голос забытых европейских народов, едва потеряв фашистский тембр, подменяется голосом советского писателя, говорящего от имени всех освобожденных. Они пока еще не отвечают за свои поступки (фашистское прошлое становится синонимом полной несостоятельности), речь их аналогична детской речи, в которой наивность соединяется с тем, что взрослые называют ошибками и глупостями. Советский писатель занимает положение воспитателя сильно нашаливших народов и государств. Его слово заранее считается более важным, чем то, что может сказать о себе Румыния или даже Чехословакия. Используя довоенную форму травелога-энциклопедии, он расставляет оценки государствам, в определенной последовательности принимая их под советское крыло. Он же и советует им, что следует делать для скорейшего получения государственной самостоятельности.

Объезд всех восточно-европейских стран становится, во-первых, метафорическим прочерчиванием границы между нашей и ненашей (подлинной и забытой европейские ценности) Европой; во-вторых, ментальным включением этих стран в растущую Советскую империю; в-третьих, внедрением советских ценностей в восточно-европейскую жизнь. Если до войны Эренбургу во многом удавалось играть роль советского либерала, послевоенные реалии окончательно отняли у него эту возможность. Его травелог превращается в жесткий идеологический текст, предопределяя трансформации следующих лет: к середине 1950-х годов Эренбург разучится писать путевую прозу. Под видом травелогов он станет публиковать статьи, разоблачающие предвзятость западной прессы, и собственные речи на конгрессах борьбы за мир.

Литература**Источники:**

Эренбург И. В Германии [Б.м.]. Политическое управление Северного флота, 1945.

Эренбург И. Виза времени. Изд. 2. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, [1933].

Эренбург И. Границы ночи. М.: Советский писатель, 1936.

Эренбург И. Дороги Европы. М.: Советский писатель, 1946.

Исследования:

Балина М. Литература путешествий // Соцреалистический канон / под общей редакцией Х.Гюнтера и Е.Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 896–909.

Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Verlag Otto Sagner, 1993.

Пономарев Е.Р. Дыра в центре Европы. Перерождение «немецкого» травелога в творчестве И.Г. Эренбурга 1930-х годов // Филологические записки. Вып. 30. Воронеж, 2010–2011. С. 178–192.

Пономарев Е.Р. «Письма русского офицера» Федора Глинки как «Путешествие на Запад» // Вопросы литературы. 2011. № 6. С. 160–190. (2011 а)

Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. Советский путевой очерк 1920-1930-х годов. СПб.: Изд-во СПГУТД, 2011. (2011 б)

Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2013

Said E.W. Orientalism. New York: Pantheon Books, [1978].

E.R. Ponomarev*St. Petersburg State University of Culture***«MENTAL COLONIZATION» OF EASTERN EUROPE:
ILJA ERENBURG'S POST-WAR TRAVEL WRITING
AND THE SOCIALIST EMPIRE**

Abstract. The article is devoted to the travelogues by Ilja Erenburg, written and published in 1945-1946. Germany and the states of Eastern

Europe are treated by him like the territories, which are to become the parts of the Soviet Empire. Having used the samples of the pre-war travel literature, the writer solved the new problem of the “mental colonization” for the potential socialist countries. On the one hand, he substitutes the voices of the Eastern Europe with his own voice. On the other hand, he imposed the socialist values and ideas to the peoples and the whole states. The sketches “In Germany” describe East Prussia in 1945 with the main idea of crashing the German statehood. The travel book *Dorogi Evropy* (‘The Roads of Europe’) reconstructs East European area from the Soviet viewpoint: all the states of the region are reported in the same way, the consequence of the states seems symbolical: from Romania (the most infected with fascism) to Czechoslovakia (the most enlightened and the most progressive: they have nationalized many industrial objects). The political opposition in all the states is characterized the same way: in the past they supported fascists, nowadays they are against the choice of the whole nation. The travelogues by Ilja Erenburg seem to be a universal socialist frame, where he inserted the national specifics of different peoples and countries.

Keywords: Ilja Erenburg, Eastern Europe, Germany, end of war, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Czechoslovakia, travel literature, travel writing.

Information about the author: Evgeny Rudolphovich Ponomarev, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Literature and Children Reading, St. Petersburg State University of Culture (Millionnaya str. 7, office 308. St’Petersburg, Russia, Tel. +7-911-7879726. E-mail: eponomarev@mail.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ

**О.Н. Катионов, В.В. Голомолзин,
Н.В. Палишева, Н.А. Иванов**

Новосибирский государственный педагогический университет

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК МЕТОД БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО)

Аннотация. В данном исследовании рассматривается актуальность изучения путешествий Л.Н. Толстого как отдельного направления его биографии. Во-первых, авторы рассматривают общий контекст эпохи и ту роль, которую путешествия играли в жизни людей XIX столетия. Во-вторых, подробно рассказывается о новом средстве исследования и систематизации данных – геоинформационных системах, представляющих собой интерактивные карты. Авторы указывают на особую значимость создания подобных карт для научно-практических исследований. На основании уже созданных авторами карт, содержащих биографические сведения писателя, раскрывается смысл и потенциал подобных систем. В частности, приводятся примеры нескольких интерактивных карт, отражающих передвижения Л.Н. Толстого во время военной службы и его пребывания на Кавказе в 1851–1854 гг., его поездки в Крым 1885 г., а также посвященные жизни писателя в Тульской губернии и его путешествию в Европу 1857 г.

Ключевые слова: геоинформационные системы, интерактивные карты, Л.Н. Толстой, транспорт XIX века.

Информация об авторах. Катионов Олег Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. Тел. (383) 244-00-61. E-mail: korolek 1953@gmail.com).

Голомолзин Владимир Викторович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, зам. директора Института открытого дистанционного образования Новосибирского государ-

ственного педагогического университета (г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28. Тел. (383) 244-00-61).

Палишева Наталья Витальевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры права и философии Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28. Тел. (383) 244-00-61. E-mail: palisheva17@yandex.ru).

Иванов Никита Александрович, студент Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28. Тел. (383) 244-00-61).

Известно, что в жизни большинства писателей путешествия играют значительную роль и зачастую оказывают одно из решающих воздействий на их творчество. Подобно тому, как читатели или исследователи находят в родственниках и знакомых авторов прототипы их героев, зачастую они узнают в художественных описаниях и знакомую местность с её особым социокультурным и бытовым колоритом. Л.Н. Толстой за всю свою долгую жизнь совершил немалое количество поездок как внутри Российской Империи, так и за границу, что естественным образом нашло отражение в его литературном творчестве.

На сегодняшний день существует большое число как отечественных, так и зарубежных исследований, посвященных изучению биографии и творчества Толстого. Во всех этих работах, безусловно, должное внимание уделяется различным поездкам автора. Однако практически все из них рассматривают путешествия в контексте общих биографических событий, либо литературного творчества автора. Мы решили сделать непосредственным предметом нашего исследования именно географические перемещения писателя, и уже через этот общий контекст рассмотреть его творчество и иные биографические события. С одной стороны, подобное разделение Толстого-путешественника и Толстого-писателя (а может, и Толстого-философа и т.д.) может показаться несколько парадоксальным. Однако следует

вспомнить, что путешествия занимали особое место в жизни людей XIX – начала XX века. Во-первых, существенное улучшение видов транспорта сделало более доступной – по сравнению с предыдущими периодами – саму возможность перемещений на длительные расстояния, в том числе и в другие страны. С другой стороны, перемещения в то время были достаточно сложными и занимали длительное время, в них входили не только собственно дорога, но и многочисленные ночлеги, временные проживания, остановки для отдыха и приёма пищи и т.д. Очень многое зависело от времени года, конкретного вида транспорта и, конечно же, попутчиков и людей, встретившихся по дороге и во время многочисленных остановок. Поэтому сам путь до места следования зачастую представлял собой отдельное самостоятельное событие в жизни человека той эпохи. В этом плане пример Толстого является показательным и уникальным одновременно, поскольку в течение своей жизни он не просто посетил много разных мест, но и был вынужден использовать разные маршруты, разные виды транспорта для своих путешествий. Нельзя забывать, что Толстой являлся современником появления нового вида транспорта в Российской империи – железнодорожного. Поэтому акцент, сделанный нами на самих фактах путешествий автора, позволяет не только глубже понять его биографию и творчество, но и в каком-то смысле и некий культурный и бытовой контекст эпохи, связанный с передвижениями.

В качестве основы для своей работы мы выбрали материалы, изложенные в «Летописи жизни и творчества Л.Н. Толстого» Н.Н. Гусева [Гусев, 1958, 1960], и на их основе, во-первых, создали хронологию, а во-вторых, статистику перемещений Толстого. Хронология включает в себя все перемещения автора.

Статистика перемещений Толстого включает всего 978 с остановками (ночлегами, проживанием, заездами для приёма пищи и временными остановками). Толстой использовал пешие, конные, железнодорожные, пароходные перемещения и одно велосипедное (из Ясенки в Ясную Поляну).

Нами было установлено, что Толстой в среднем совершал по 12 поездок в течение одного года. Наибольшее число их приходилось не на молодые годы, а на период его писательской и общественной деятельности.

Ареалы передвижений в основном связаны с местами проживания и творческой деятельности писателя. Переезды из Москвы в Ясную Поляну и обратно связаны были с сезонными причинами – лето/зима и интересами семьи.

Нами была составлена хронология передвижений Толстого, включающая в себя большое число позиций. Проанализировав эти данные, мы выделили несколько основных маршрутов Толстого:

1. Молодость, учеба, внутрисемейные передвижения.
2. Военная служба. (Кавказская служба, Дунайская армия, Крым).
3. Заграничные поездки личного и педагогического направления.
4. Перемещения, связанные с различными видами деятельности Толстого:
 - перемещения как писателя (встречи с другими литераторами и т.д.);
 - перемещения Толстого как собственника;
 - перемещения Толстого как мирового посредника, мирового судьи;
 - перемещения, связанные с благотворительной деятельностью.
5. Этнографические и оздоровительные поездки.
6. Последний путь.

В качестве основного инструмента для оформления и презентации результатов нашего исследования (хотя во многом, это и форма, и часть самого исследования) мы выбрали геоинформационные системы.

Суть прделываемой нами работы заключается в том, что все маршруты по выделенным группам наносятся нами на карты с современной топосновой и на материалы, адаптированные к картам XIX–XX столетий. По нашему мнению, подобная фор-

ма работы может быть в данном случае особенно эффективной и способна принести особые результаты.

Во-первых, создание подобных карт (геоинформационных систем, в том числе интерактивных) представляется нам наиболее оптимальным способом систематизации имеющийся информации. Поскольку мы имеем дело с большим количеством данных о путешествиях Толстого, к тому же нуждающихся в содержательных комментариях, применение современных технологий позволяет в значительной степени упростить восприятие данной информации. В этом смысле можно говорить о создаваемых геоинформационных системах как о базах данных.

Во-вторых, создание таких карт может считаться одной из вспомогательных форм самого исследования, а не просто формой подачи материала (подобно методу исторической реконструкции). В ходе создания карт реконструируются сами пути, по которым ездил писатель, способы достижения конечных точек, виды транспорта, пересадки и т.д. В особенности, если речь идёт о нанесении карты, адаптированные к XIX – началу XX века, то здесь можно в полной мере говорить о реконструкторской работе. В этом плане геоинформационные системы служат выполнению исследовательских задач.

В-третьих, данные геоинформационные системы служат не только методом визуализации накопленной информации. Безусловно, визуализация имеет большое значение, так как позволяет исследователю сразу увидеть большой объём информации. Но эти карты еще и способствуют в большей мере раскрытию мира Толстого-путешественника и его взаимоотношений с окружающим пространством, географическим, социокультурным, бытовым.

С одной из созданных интерактивных карт можно ознакомиться по ссылке: <https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zWj27FiSLEa4.km8hPH-NaYhY>. Здесь собраны сведения о военной службе Толстого и пребывании его на Кавказе в 1851–1854 годы. Известно, что этот период в жизни молодого Толстого был очень важным для становления его как личности

и как писателя (например, многое из того периода было впоследствии отражено в повести «Казачи»). На данной карте изображены все маршруты писателя, начиная от его отправления с братом из Ясной Поляны на Кавказ 29 апреля 1851 года. На карте можно увидеть по значкам и виды транспорта, которыми передвигался писатель. К каждому пункту назначения дан свой комментарий (даты, попутчики, какие-то события и т.д.). Здесь представлена демонстрационная версия карты, в которой заложен лишь минимум информации и далеко не исчерпывающий перечень возможностей подобных систем. В перспективе планируется вносить воспоминания различных авторов о кавказской войне и провести реконструкцию встреч писателя с современниками на Кавказе, даже в случае отсутствия упоминаний в его собственных записях.

На этой же карте изображена другая сюжетная линия, более поздняя по времени – это поездка Толстого в Крым в 1885 году.

Ряд других геоинформационных карт находятся по следующим ссылкам: <https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zWj27FiSLEa4.kusHPlyh-Vtk> (жизнь Л.Н. Толстого в Тульской губернии) и <https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zWj27FiSLEa4.kg2u2OWzgCwk> (путешествие Л.Н. Толстого по Европе 1957 году).

Кроме того, в рамках нашей работы еще одним направлением является создание карты перемещений героев Толстого, куда входят следующие направления:

1. Карты «Войны и мира».
2. Карты этапных трактов.
3. Карты маршрутов героев кавказских рассказов и повестей («Хаджи- Мурат» и др.).

Таким образом, применение геоинформационных систем для отражения путешествий писателя как одного из существенных элементов его биографии является весьма перспективным для использования в образовательном процессе, для решения просветительских задач, а также непосредственно для научных исследований.

Литература

Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890. М., 1958.

Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891–1910. М., 1960.

**O.N. Kationov, V.V. Golomolzin,
N.V. Palisheva, N.A. Ivanov**

Novosibirsk state pedagogical university

**GEOINFORMATION SYSTEMS AS THE WAY
OF THE BIOGRAPHICAL STUDY (ON THE EXAMPLE
OF THE TRAVELS OF L.N. TOLSTOY)**

Abstract. The article is devoted to the research of travels of Lev Tolstoy as the separate direction of his biography. Firstly the authors consider the main context of the period and the role of travels in the life of people of XIX century. Secondly there is a detailed review of a new way of systematization and study of the data –geoinformation systems. These systems look like interactive maps. The authors reveal the objectives and the potential of such systems. In particular the research shows the examples of some interactive maps, containing data about L.N. Tolstoy's movements during his military service and stay in Caucasus in 1851-1854, during his travel to Crimea in 1885, and also the maps with information about his life in Tula province and his travel to Europe in 1857.

Keywords: geoinformation systems, interactive maps, L.N. Tolstoy, transport of XIX century.

Information about the authors. Kationov Oleg Nikolaevich, Doctor of History, Professor, Director of Institute of History, humanitarian and social education, Novosibirsk State Pedagogical university (NSPU, Vilyiskya str., 28, Novosibirsk, Russia, 630126, Tel (383) 244-00-61). E-mail: korolek 1953@gmail.com).

Golomolzin Vladimir Viktorovich, Candidate of technical sciences, Senior researcher, Vice-director of Institute of open distance

education, Novosibirsk State Pedagogical university (NSPU, Vilyiskya str., 28, Novosibirsk, Russia, 630126, Tel (383) 244-00-61).

Palisheva Natalia Vitalievna, Candidate of historical sciences, Associate professor of Institute of History, humanitarian and social education, Novosibirsk State Pedagogical university (NSPU, Vilyiskya str., 28, Novosibirsk, Russia, 630126, Tel (383) 244-00-61. E-mail: palisheva17@yandex.ru).

Ivanov Nikita Aleksandrovich, student of Institute of History, humanitarian and social education, Novosibirsk State Pedagogical university Novosibirsk state pedagogical university (NSPU, Vilyiskya str., 28, Novosibirsk, Russia, 630126, Tel (383) 244-00-61).

ПУБЛИКАЦИЯ

И. Лоцилов, Р. Тименчик

*Новосибирский государственный педагогический университет
Еврейский университет, Иерусалим*

ПОЭТ КОНСТАНТИН БЕСЕДИН: МУЗА СТРАНСТВОВАНИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ¹

Аннотация. Статья посвящена творчеству поэта Константина Алексеевича Беседина (1902–1938). Поэт родился в селе Тулун недалеко от Иркутска, но с трехлетнего возраста жил в городе Новониколаевске (с 1926 года – Новосибирске). Отцом Беседина был второй и последний в недолгой истории города городской голова, много сделавший для развития города. В 1919 году Беседин завершил учение в новониколаевском реальном училище и приступил к работе в советских учреждениях. В конце 1922 года в свет вышла небольшая книжка ученических стихотворений Беседина «Странствования», одно из первых в Новониколаевске поэтических изданий. Мотив странствий и путешествий становится центральным в его поэтическом творчестве. Поэтика книги, однако, была глубоко вторичной и выдавала провинциальный литературный вкус. Это отметили немногочисленные рецензенты, среди которых был В. Брюсов. В одном из стихотворений книги были упомянуты С. Есенин и Н. Клюев. Это создало автору репутацию «крестьянского поэта», хотя он не имел никакого отношения крестьянской поэзии. В сибирской печати стихотворения Беседина печатались до 1927 года. Публикуемые в приложении к статье архивные материалы показывают Беседина учеником Н. Гумилева, памяти которого была посвящена написанная в 1925 году поэма «Путешествие». Поэма не была принята к печати в сибирских изданиях, и автор послал ее в Ленинград поэту Г. Иванову, не зная о его эмиграции. Сибирские литераторы запомнили поэму, посвященную памяти

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 15-04-00508 (Аннотированный указатель «Русский травелог XVIII–XX веков»).

«поэта контрреволюции», и она еще долго косвенно упоминалась в литературных и идеологических спорах.

Ключевые слова: Гумилев, литература 1920-х годов, путешествие, сибирская поэзия, Сибирь, травелог, эпигонство.

Сведения об авторах. Лощилев Игорь Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики преподавания литературы Новосибирского государственного педагогического университета, старший научный сотрудник сектора литературоведения Института Филологии СО РАН (Новосибирск, ул. Вильюйская, 28, НГПУ. Тел. (383) 244-03-30. E-mail: loshch@yandex.ru).

Тименчик Роман Давидович, профессор кафедры русистики в Еврейском университете в Иерусалиме (The Hebrew University, Dept. of German and Russian Studies, Mountain Scopus, Jerusalem 91905 Israel. E-mail: romandtimenchik@excite.com).

Единственный сборник стихотворений Константина Алексеевича Беседина (1902–1938) назывался «Странствования» [Беседин, 1923а].

На титульном листе был указан 1923 год, однако он вышел в самом конце предыдущего. В одном из вариантов автобиографии поэт писал: «В конце 1922 г. – сборник “Странствования”» [Беседин, РГАЛИ 1, л. 22]. В другой, более свободной и развернутой версии, датированной 19 февраля 1923 года, названию придавалось символическое значение: «Сейчас вступил на первый путь. “Странствования”. Так называется моя первая книга стихов, вышедшая в декабре <19>22 в Ново-Николаевске. Дальше – дорога. И вся жизнь – путь» [Беседин, РГАЛИ 2, л. 10]².

Константин Беседин родился 6 марта 1902 года в селе Тулун Нижне-Удинского уезда Иркутской губернии. Он был вторым ребенком в семье крестьянина-самоучки, о котором в современ-

² Писатель и библиограф П.Я. Заволокин, которому Беседин послал в 1923 г. несколько вариантов автобиографии, не включил новониколаевского стихотворца в составленную им книгу [Современные рабоче-крестьянские поэты..., 1925]. Короткие справки о нем есть в изданиях: [Здобнов, 1927, с. 13; Писатели..., 1928, с. 45].

ном биографическом справочнике сказано: «Беседин Алексей Григорьевич (1864 г. – 02.1930 г.): гор. староста (дек. 1907 г. – май 1909 г.), гор. голова (апр. 1914 – март 1917 г.)» [Новониколаевск–Новосибирск, 2003, с. 23]. Младшая из дочерей этого выдающегося человека, филолог-некрасовед Тамара Алексеевна Беседина (1918–2005), писала в неизданных воспоминаниях: «Ни в какой школе А. Г. Беседин никогда не учился, и все, чего он достиг в жизни, было результатом природных способностей, воли и постоянного самообразования»³.

В Новониколаевск Беседины приехали жить в 1904 или в 1905 году: «Отец опять строил: вагонные мастерские при железнодорожном депо (они и сейчас есть), второй путь Сибирской магистрали на станции Татарск. В эти годы началась и его общественная, как мы теперь выражаемся, деятельность» [ТБ]. А.Г. Беседину суждено было стать вторым и последним в недолгой истории Новониколаевска городским головой (первым был В.И. Жернаков), в 1917–1919 годах эту должность недолгое время исправляли А.К. Скворцов и Р.С. Штааль).

Не будет натяжкой, таким образом, сказать, что Константин Беседин был первым новониколаевским поэтом – хоть и не родившимся, но сформировавшимся в этом городе.

Об отце он писал в автобиографии: «Отец – выходец из деревни. Самоучка – талант-практик. За последние 15–20 лет – видный общественный деятель, – один из создателей города Н<ово>Николаевска» [Беседин, РГАЛИ 2, л. 5]. Это – тоже не натяжка: «12 больших типовых школьных зданий по проекту архитектора Крячкова (кирпичной кладки двухэтажные здания, высота потолков – 4,5 м, на каждом этаже – зал, электричество (!), канализация (сантехническое оборудование заказано в Варшаве, отец

³ Воспоминания Т.А. Бесединой здесь и далее приводятся с указанием [ТБ] после цитаты, по электронной версии, любезно предоставленной, вместе с фотографиями из семейного альбома, дочерью и внуком мемуаристки, М.А. Дмитриевской и Д.В. Егоровым (Д. Приваловым) (СПб.). Выражаем им сердечную признательность. Об А.Г. Беседине см. также: [Шандаров, 1990; Беседина, 1994, 2000; Старцев, 2000; Баяндин, 2007, с. 219–220].

ездил туда, а общегородского водопровода и канализации еще не было) – мечта и духовное детище моего отца» [ТБ].

Ссылаясь на рассказы старших сестер, Т.А. Беседина писала об отце: «...рассказывал сказки собственного сочинения, прекрасно знал природу и учил любить ее. Ездили всей семьей на Алтай, в Чемал. Рассказывал детям о нравах птиц, учил различать их голоса. Там начал с ребятами собирать коллекцию птичьих яиц. И в мою бытность существовала эта большая полированная коробка со множеством отсеков. И в каждом – по яичку, от самых крошечных (колибри) до громадного (страусиное). Эти откуда-то выписывались, но большая часть коллекции – собственного сбора. Была у нас еще очень богатая коллекция минералов (купленная), видимо, знакомил отец старших с минералогией» [ТБ]. Впечатления от алтайских поездок, наряду с книжными (среди сохранившихся, но не изданных сочинений Беседина – цикл сонетов о путешествии Христофора Колумба) [Беседин, РГАЛИ 3, лл. 4–8]⁴, отразились позже в его стихах [см., например: Беседин, 1923b, с. 83].

О своем происхождении Беседин писал в автобиографии: «Моя прабабушка – арабка. И не потому ли мне – рожденному в сине-сером Иркутске, суждено таить остатки арабской жгучей крови?! И кудри... Пламя юга – в северных льдах» [Беседин, РГАЛИ 2, л. 8]. Речь идет, однако, не об арабской, но об «арапской» прабабушке: «По рассказу отца, его дед по матери, то есть мой прадед, участвовал в каком-то военном походе и привез с войны пленную арапку (то есть абиссинку), на которой и женился. Правда ли это, мог ли крепостной мужик привезти плен-

⁴ Цикл из пяти сонетов о Колумбе был послан Бесединым в декабре 1932 года в редакцию «Литературной газеты» вместе с поэтическим переводом англоязычного стихотворения в прозе Рабиндраната Тагора «Who are you, reader, reading my poems...» («Кто будешь ты, читатель, что прочтешь...») и стихотворениями «Озеро Кара-Кол. Алтай» и «На площадке Сибкомбайна» [Беседин, РГАЛИ 3, лл. 9–11]. Любопытно, что литературный консультант С. Самонов, в ответном письме автору одобрил литературную технику сонетов, но принял их за переводы [Там же, л. 2, 2 (об.)].

ницу, или точнее моя реалистическая версия (арапчата и арапки были модой в помещичьих домах, какая-то “арапка-девка” проштрафилась, ну ее в деревню, за крепостного мужика и выдали), – Бог знает, но арапка доподлинно была, ее гены оказались очень устойчивыми» [ТБ].

Устойчивость африканской генетики сполна подтверждают семейные фотографии. Мемуары Т.А. Бесединой позволяют хоть приблизительно представить себе своеобразный быт этого удивительного семейства: своего рода «Мадагаскар в Ново-Николаевске» (если позволительно вспомнить о топосе поэмы «Путешествие», публикуемой в *Приложении*), на улице Бурлинской, дом 11. С экзотической «нотой» в генеалогии связаны и идентификация с Пушкиным, полузашифрованная в автобиографии («Пламя юга – в северных льдах»), и ранний интерес к литературе приключений и путешествий⁵, и – любовь к поэзии Гумилева, к его «Музе дальних странствий».

В 1919 году Константин Беседин окончил реальное училище [ГАНО 1, оп. 1, д. 53, л. 10; д. 93, л. 4 (об.)]⁶, 3 месяца проучился в Томском технологическом институте, но бросил учение и стал работать в советских учреждениях. Тогда же начал писать стихи. Первую поэтическую публикацию в разных вариантах автобиографии поэт относит то к 1918, то к 1919 году, однако она нам неизвестна.

18 апреля 1921 года секретарь Отдела записи актов гражданского состояния Уисполкома⁷ г. Ново-Николаевска Беседин К.А. был арестован, а месяц спустя, 17 мая того же года, осужден

⁵ В «Автобиографии» поэт писал: «Читать стал с 6 лет. Любил фантастику. Из русских – Толстого, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя – узнал рано. Из иностранцев – Верна, Рида, Уэльса, Буссенара, Жаколио, Купера, Эмара, Хаггарда. Отчасти Конан-Дойля, В. Скотта, Мариетта, Стивенсона и др.» [Беседин, РГАЛИ 2, л. 5 (об.)].

⁶ Имена родителей будущего поэта, Алексея Григорьевича и Анастасии Ивановны Бесединых, постоянно фигурировали в списках опекунов и членов родительского комитета [ГАНО 1, оп. 1, д. 42, лл. 12, 33, 53; д. 74, л. 34; д. 87, л. 9].

⁷ Управление исполкома.

и «приговорен к заключению в концлагерь сроком на один год, не применяя первомайской амнистии» [Дело..., 1921, л. 16]. Беседина обвинили в «хранении и составлении шифра» несуществующей организации «крестьян заимки Белоусова» близ города Щеглова⁸, где летом 1920 года он был на сельскохозяйственных работах. В постановлении о реабилитации К.А. Беседина от 28 апреля 2003 года сказано: «Никаких доказательств совершения им какого-либо преступления в деле не имеется» [Там же, л. 22].

Таким образом, у двадцатилетнего автора «Странствований» за плечами был год тюремно-лагерных «странствований», включая попытку побега [Там же, л. 18] и принудительные работы в недрах Томского Домпринраба.

Лишь одно из стихотворений в сборнике датировано временем заключения. Как ни удивительно, это одно из самых светлых, идиллически-пейзажных, и при этом технически совершенных стихотворений – «Полдень» (сентябрь 1921):

В дали голубых дорог
Облако узорной пеной
Спрячет и умчит мгновенно
Странствующий ветерок.

Виснет утомленный зной.
Зелени шатер раскинут.
Солнце, обходя, вершины
Гладит золотой рукой [Беседин, 1923а, с. 8].

Выходу книги предшествовало, по меньшей мере, три публикации 1922 года [Беседин, 1922а, с. 6; 1922b, с. 30; 1922с., с. 57]. Отголоски памяти о заключении (и побеге?) предположительно слышны в двух стихотворениях из подборки в журнале «Пролетарские побегии»: «Затерялась в песках река, / как в бору нелюдим-беглец...» («Глушь», 30 мая 1922 [Беседин, 1922а,

⁸ Уездный город Щеглов Томской губернии в середине 1920-х годов был переименован в Щегловск, а в марте 1932 года – в Кемерово.

с. 6; 1923а, с. 15]) и строки «Где-то звякают путы, / где-то ржанье опять. / На другом берегу-то / на лугах – благодать!» из не вошедшего в «Странствования» и тоже датированного лагерным 1921 годом стихотворения «Июль» [Беседин, 1923а, с. 6]. Стихи Беседина нечасто, но появлялись в новониколаевских, а потом в новосибирских изданиях вплоть до 1927 года [Беседин, 1923b, с. 83; 1925а, с. 6; 1925b, с. 2; 1926, с. 2; 1927, с. 2].

В.Я. Брюсов в групповой рецензии (открывавшейся откликом на «Вторую книгу» Мандельштама, а завершавшейся – «Голубой глубиной» юного Платонова), отмечал глубокою вторичность большей части провинциальной поэтической продукции: «...это может служить оправданием авторам: культура у нас распространяется медленно. То же приходится сказать <...> о Константине Беседине (Новониколаевск), который к “Духу Стремления таинственному” взывает: “между раем и адом мне, сердце, разницу открой!” <...> Все это – даже не “вчера”, а “третьего дня” нашей поэзии. Медленно у нас распространяется культура, и не ведают пишущие стихи в провинции, над чем им следует теперь работать» [Брюсов, 1923, с. 68].

В.А. Итин писал в рецензии на книжку 1923 года: «Когда странствуешь по Сибири, не особенно далеко от Новониколаевска, не по каким-нибудь дравертовским гиблым местам⁹, никуда не уйдешь дальше тайги, степи, деревенской жизни, – не уйдешь дальше Есенина, Клюева, Ерошина. Поэт сам чрезвычайно искренне, за что начинаешь любить его, признает свою кровную связь с этими “последними поэтами деревни”, “кустарями задушевных слов”; но вторая часть его книжечки – ряд попыток преодолений...» [Итин, 1923, с. 248].

Есенин и Клюев были прямо упомянуты в стихотворении «Синь» [Беседин, 1922а, с. 6; 1923а, с. 11], что отме-

⁹ Имеется в виду «научная поэзия» минералога, путешественника и поэта Петра Людовиковича Драверта (1879–1945). П.Л. Драверт жил в Омске, но почти одновременно с книжкой Беседина сборник его стихотворений был издан в Новониколаевске [Драверт, 1923].

тил тот же рецензент в отклике на публикацию в недолговечном (вышло три выпуска) новониколаевском издании: «В подражательности поэты из “Пролетарских побегов” сознаются сами – “<...> И не думать, что Есенин, Клюев / Рассказали, может быть, про то давно...” Эти строчки одинаково можно отнести к стихам К. Беседина и Ив. Ерошина – лучшим в журнале» [Итин, 1922а, с. 178]. О другой журнальной публикации [Беседин, 1922а, с. 30] В.П. Правдухин писал в рецензии на журнал «Таежные зори»: «Беседин революции совершенно не приемлет, живого смысла ее не ощущает, – она для него “паучья нить” – он взывает лишь к устаревшему, отвлеченному образу “затерянного Христа”, не чувствуя своего живого исхода, поэтому его стихотворение тенденциознее, гораздо слабее его социальное значение и его эмоциональный захват» [Правдухин, 1922, с. 176]. В другом язвительном отклике на тот же журнал о несозвучном эпохе стихотворении говорилось: «Мощи К. Беседина, очевидно, чувствуют себя очень неловко, будучи вытаснены из святой раки грубыми руками революции, и томятся ожиданием восстановления своих прав <...> в “топях” “неизвестной Руси”. Томятся за ожиданием за эту – его Русь: “Когда ж придет тебя прославить / Затерянный в тебе Христос?”» [А., 1922, с. 4]¹⁰.

Сестра поэта вспоминала: «Константин ходил у нас в аристократах <...> Прекрасные манеры. Абсолютное владение английским языком. <...> Как-то, лет 20 тому назад, мой вологодский завкафедрой В.В. Гура¹¹ сказал мне: “Я вот смотрел “Историю сибирской поэзии” <19>20-х годов. Там среди крестьянских поэтов упоминается Константин Беседин. Это не

¹⁰ Инициалом А. подписывал в 1920-е годы свои корреспонденции партийный журналист и издательский деятель Александр Антонович Ансон (Абов; 1890–1938) [Петряев, 1973, с. 5]. В начале 1926 года в рубрике «Литературные вести» редактируемого А. А. Ансоном журнала «Книжная полка» Беседин был упомянут среди участников организованных в Новосибирске «литературных субботников» [Без подписи, 1926, с. 27].

¹¹ Виктор Васильевич Гура (1925–1991) – лингвист, писатель, литературовед, специалист по творчеству М.А. Шолохова.

твой брат?»¹² Крестьянский поэт. Костя был высок ростом, худощав, с мягкими чертами лица, крахмальный воротничок, галстук, и внешне и внутренне – рафинированный интеллигент <...> Он никогда не жил в деревне и не знал ее. И вдруг – крестьянский поэт! Дело в том, что Костя был книжным человеком и в поэзии шел не от жизни, а от литературы. Не обладая самобытным талантом, он как поэт развивался под влиянием увлекавших его современников. <...> И, конечно, в “Странствиях” слышались отголоски стихов Есенина и других “деревенщиков” той поры. И более поздние стихи Константина говорили о его прекрасной филологической подготовке, но не создавали оригинального рисунка поэтического лица их автора» [ТБ].

В поэме «Путешествие» маршрут подсказан загадками Гумилева («Красный идол на белом камне / Мне поведал разгадку чар, / Красный идол на белом камне / Громко крикнул: – Мадагаскар!»), а метрический рисунок и трехчастность общего плана композиции взяты из гумилевского стихотворения «Сентиментальное путешествие» («Серебром холодной зари / Озаряется небосвод, / Меж Стамбулом и Скутари / Пробирается пароход...»)¹³, обнаруженного в книге «Стихотворения. Посмертный сборник», которую составил и издал Георгий Иванов [Гумилев, 1922]¹⁴. Следы этого текста в те годы вообще были легко узнаваемы – критик, например, писал о стихотворении Геннадия Фиша «Златоуст» («Моросит над горой Таганай, / Моросит над горой Косотур, /

¹² Вероятно, имеется в виду упоминание во вступительной статье к сборнику сибирских поэтов 1920–1930-х годов: «...так называемые “крестьянские” писатели, “последние поэты деревни” (И. Ерошин, К. Беседин, А. Пятровский)» [Коржев, 1965, с. 7]. В сходном контексте имя поэта фигурирует в: [Трушкин, 1976, с. 263–264, 266]. В новейшее время Беседин упомянут в статье, посвященной сибирским страницам биографии поэтессы Ольги Черемшановой, в связи с ее участием в журнале «Таежные зори» [Девятьярова, 2014, с. 17].

¹³ См. об этом поэтическом травелоге: [Куликова, 2005].

¹⁴ Книга открывалась стихотворением «Нигер», также отозвавшимся в публикуемой поэме.

Златоустовский день узнавай, / День весомых температур...»): «Стих.<отворение> “Златоуст” сразу переносит к “Сентиментальному путешествию” Гумилева» [Друзин, 1929, с. 195].

Поэма К. Беседина была послана Георгию Иванову в Ленинград в июне 1925 года; автор не знал, что адресат письма навсегда покинул Советскую Россию в сентябре 1922 года. Вероятно, она была отправлена по адресу какого-то из ленинградских издательств (скорее всего, «Мысль» или «Всемирная литература»), и кем-то из издательских работников подарена Павлу Лукницкому, энергично собиравшему в ту пору любые материалы о расстрелянном поэте.

Как явствует из публикуемого письма к Г.В. Иванову, сопровождавшего посылку поэмы, Беседин был адептом «тайного культа Гумилева» [Тименчик, 2008, с. 362], а «крестьянство» и «областничество», присущие некоторым из его стихотворений, носили сугубо литературный характер. Возможно, они служили и средством социальной мимикрии, не только воспроизводя поэтическую мифологию сибирского областничества, но и отстраненно, иронически (?) ее изображая [см., например: Беседин, 1926].

5 апреля 1928 года В.А. Итин писал Горькому: «Недавно на пленуме Сибирского краевого комитета партии, в связи с докладом о “культурной революции”, был поднят вопрос о “Сиб<ирских> огнях” и писателях. Ни меня, ни даже В. Зазубрина на высокое собрание не пустили, хотя оба мы партийные коммунисты. <...> ... один мальчик посвятил свои стихи Н. Гумилеву, это объясняется тем, что пять лет назад (Sic!) в “Сиб<ирских> огнях” было напечатано, что Гумилев оказал большое влияние на современную поэзию (заметка принадлежит мне, отв<етственным> редактором был тогда Ем. Ярославский, см. “Сиб<ирские> огни” № 4, 1922 г. – “Библиографический справочник”)¹⁵. На собрание справка о Гумилеве “произвела впечатление”. Человек, говоривший это, А. Курс, зам. зав. отделом печати» [Литературное наследство..., 1969, с. 38]. Почти не остается сомнений, что

¹⁵ См.: [Итин, 1922b, с. 197].

этим «мальчиком» был Константин Беседин [см.: Тименчик, 2008, с. 375].

Глава литературной группы «Настоящее» и редактор одноименного журнала А.Л. Курс говорил на Пленуме: «Разрешите рассказать вам еще одну любопытную вещь. Есть у нас поэт, который пишет стихи и посвящает их памяти Гумилева. Правда, стихи эти не печатаются, потому что у нас есть цензура, или, в крайнем случае, можно вырвать страницу из журнала. Кто такой Гумилев многим известно. У Гумилева было две профессии: одна – поэзия конквистадорства, буржуазного завоевательства, другая контрреволюция. За первую профессию его возвеличила наша буржуазия. За вторую профессию его расстреляла питерская ЧК» [Курс, 1928, с. 4; Пленум..., 1928, с. 85]¹⁶.

Вероятно, именно память о поэме «Путешествие» сыграла роковую роль в литературной судьбе Беседина: его перестают печатать. Тем не менее, Беседин стал делегатом «с правом совещательного голоса» на первом Съезде сибирских писателей, прошедшем 23–26 марта 1926 года в Новосибирске [Художественная..., 1927, с. 23]¹⁷. К 1927 году относятся два упоминания в шуточных стихах Н.И. Титова: «Куда же, смутившись, БЕСЕДИН удрал / С бескровного литатурнира? / Наверно, английский язык поломал / Беззвучную хрупкую лиру» [Титов, 1927а, с. 3]; «Зазубрин – Гете. Итин – Дант. / А кто помельче – тож приятны: / Что ни Беседин – то талант, / Что ни талант – то Благодатный» [Титов, 1927б, с. 8]¹⁸. В 1928 году имя Беседина было упомянуто

¹⁶ В газете речь А.Л. Курса воспроизводилась в сокращении; приводим текст из полной публикации доклада по экземпляру, хранящемуся в ГАНУ [ГАНУ 2, оп. 7, д. 356]. Стенограмма с правкой: [ГАНУ 2, оп. 2–2, д. 270]. Упоминания о Гумилеве и борьбе с «гумилевщиной»: [Там же, лл. 125, 192].

¹⁷ Кроме информационно-справочного материала о Съезде, подготовленного Р.И. Кронгауз («Организация Сибирского союза писателей»), имя Беседина присутствует в статье В.А. Итина «О поэтах» [Художественная..., 1927, с. 64] и в библиографическом указателе [Там же, с. 120, 131, 134].

¹⁸ Имеется в виду поэт Борис Михайлович Благодатный (1899–1938).

в юбилейной речи Зазубрина среди «25 прозаиков и 39 поэтов» «Сибирских огней» [Зазубрин, 1928, с. 202].

Стихи 1930-х годов почти не сохранились (хотя остается надежда найти их среди материалов последнего следственного дела). Биографические обстоятельства пока прорисовываются лишь пунктирно: несколько поездок в Москву, в литературный контекст которой Беседину так и не удалось вписаться; служба в новосибирском Радиокomitee и частные уроки английского языка; трагическая любовь и безвременная смерть возлюбленной от водянки; женитьба и переезд в Иркутск, где поэт преподает английский язык в техникуме Советской торговли; публикация подборки стихотворений в иркутском поэтическом сборнике «Прибайкалье» [Беседин, 1936]. Наконец, арест органами НКВД 25 мая 1938 года.

Формальным поводом для ареста послужила переписка с иностранными гражданами: «В целях самоусовершенствования в английском, вел активную переписку с английскими корреспондентами: рабочими, а, может быть, и не только рабочими, но и служащими. Тогда это, международные контакты, было в моде, даже поощрялось. Кто же обладает даром предвидения своей судьбы?» [ТБ].

В конце одного из вариантов автобиографии (1922) Беседин написал: «Сейчас печатаю стихи в нескольких сибирских журналах [и вероятно еще долго буду, – так как проживу, по-моему, до 105 и 97 лет <sic>, по словам гадалки]» [Беседин, РГАЛИ 2, л. 2]. Написал – и зачеркнул.

Поэт погиб в иркутской тюрьме НКВД 31 октября 1938 года.

Публикуемые в *Приложении* поэма и письмо Беседина воспроизводятся с учетом современных норм орфографии и пунктуации. Источник: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом III–4. № 37. Л. 1–11. Машинопись; письмо без номера.

Литература

А. [Ансон А.А.?] Покойнички в «Таежных зорях» // Советская Сибирь. 1922. № 186 (836), 19 авг. С. 4.

Баяндин В.И. Городские головы Новониколаевска (1909–1919) // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск: ИД Сова, 2007. С. 216–225.

[Без подписи] Литературные субботники // Книжная полка. 1926. № 1, янв.–февр. Сибкрайиздат. С. 27–28.

[Беседин К.] (а) Из Цикла «Поворот» (Стихотворения К. Беседина): 1. Полдень; 2. Глушь; 3. Июль; 4. Синь // Пролетарские побег. 1922. № 1. Ново-Николаевск. С. 6.

Беседин К. (b) Ожидание // Таежные зори: Журнал. 1922. № 1. Новониколаевск. С. 30.

Беседин К. (c) Зима // Сибирские огни: Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. 1922. № 2, май–июнь. Новониколаевск. С. 57.

Беседин К. (a) Странствования: Стихи, 1921–1922. Новониколаевск: Тип. Сибцентросоюза, 1923.

Беседин К. (b) Чемал – хрустальная вода // Сибирские огни. 1923. № 3, май–июнь. С. 83.

Беседин К. (a) Утро // Сибирь: Художественно-литературный и научно-публицистический иллюстрированный журнал. 1925. № 3, апр. С. 6.

Беседин К. (b) Баллада о летчиках // Сибирские огни. 1925. № 3, июнь–июль. С. 102–103.

Беседин К. Старая Сибирь // Сибирь: Художественно-литературный и научно-публицистический иллюстрированный журнал. 1926. № 3, 15 марта. С. 2.

Беседин К. Стихи («День густой, духмяный и синий...») // Советская Сибирь. 1927. № 115 (2256), 22 мая. С. 3.

Беседин К. Воздушный марш; Раковина; Утро; Радуга; Урожай // Прибайкалье: Стихи [Сб.]. Иркутск: ОГИЗ; Восточносибирское краевое издательство, 1936. С. 139–150.

Беседина Т.А. Алексей Беседин, городской голова... // Вечерний Новосибирск. 1994. № 17 (239), 30 апр. – 7 мая. С. 17.

Беседина Т.А. Во славу родного града // Сибирская горница. 2000. № 1. С. 46–48.

РГАЛИ 1 – [Беседин] РГАЛИ. Ф. 341 (Е.Ф. Никитина). Оп. 1. Ед. хр. 267.

РГАЛИ 2 – [Беседин] РГАЛИ. Ф. 1068 (П.Я. Заволокин). Оп. 1. Ед. хр. 16.

РГАЛИ 3 – [Беседин] РГАЛИ. Ф. 613 (Гослитиздат). Оп. 1. Ед. хр. 1511.

Брюсов В.Я. Среди стихов// Печать и Революция: Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. 1923. Кн. 6, окт.–нояб. С. 63–70.

ГАНО 1 – ГАНО. Ф. Д–157 (Новониколаевское Реальное училище имени Дома Романовых).

ГАНО 2 – ГАНО. Ф. П–2 (Сибирский краевой комитет ВКП(б) [Сибкрайком ВКП(б)]), 1929–1930.

Гумилев Н.С. Стихотворения. Посмертный сборник / вступление: Георгий Иванов. Пг.: Мысль, 1922.

Девятярова И.Г. Ольга Черемшанова. Омский период биографии поэтессы (К 110-летию со дня рождения) // «Сибирь литературная. XVIII–XXI»: Материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 23–24 мая 2014 г.) / под ред. Э. И. Коптевой, Ю. П. Зародовой. Омск: Издательство ООО «Информационно-технологический центр», 2014. С. 13–22.

Дело № 11132 Новониколаевской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности по обвинению Беседина Константина Алексеевича в участии в белогвардейской организации к свержению советской власти, на хранении в УФСБ России по Новосибирской области. (1921)

Драверт П.Л. Сибирь: Избранные стихи / обл. В. Уфимцева. Новониколаевск: Сибирские огни, 1923.

Друзин В.П. Среди стихов // Звезда. 1929. № VI. С. 193–197.

Зазубрин В.Я. Литературная пушнина (По поводу пятилетия журнала «Сибирские огни») // Сибирские огни. 1927. № 1. С. 198–213.

Здобнов Н.В. Материалы для сибирского словаря писателей (Предварительный список поэтов, драматургов, беллетристов и критиков). М.: Приложение к журналу «Северная Азия», 1927.

Итин В.А. (а) [Рец. на:] Пролетарские побеги. Издание Сиббюро ЦКРКСМ, № 1. – 65 стр. // Сибирские огни. 1922. № 3, июль–авг. С. 177–178.

[Итин В.А.] (b) В.И. [Рец. на:] Н. Гумилев «Огненный Столп» – сборник стихов. Издание «Petropolis», 1921. «Фарфоровый Павильон» – китайские стихи. «Мик» – африканская поэма. «Тень от пальмы» – рассказы. Посмертный сборник. Издательство «Мысль». 1922 г. // Сибирские огни. 1922. № 4, сент.–окт. С. 197.

[Итин В.А.] В.И. [Рец. на:] Константин Беседин. Странствования. Новониколаевск, 1923 г.; [и др.] // Сибирские огни. 1923. № 1–2, янв.–апр. С. 248.

Коржев В.Г. Поэты Сибири <19>20–<19>30-х годов // Поэты <19>20–<19>30-х годов. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1965 (Библиотека сибирской поэзии). С. 5–28.

Куликова Е.Ю. Приглашение к путешествию Пушкина, Бодлера и Гумилева // Studia Rossica Posnaniensia. Z. XXXII. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. P. 39–49.

[Курс А.Л.] Прения по докладу тов. Гольшева о культурном строительстве в Сибири: На литературном фронте // Советская Сибирь. 1928. № 57 (2498), 7 марта. С. 4.

Литературное наследство Сибири. Т. 1: Горький и Сибирь. Забытое и найденное. Письма ученых-сибиреведов и писателей М.К. Азадовскому / под ред. Н.Н. Яновского. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1969.

Петряев Е.Д. Псевдонимы литераторов-сибиряков (Материалы к «Истории русской литературы Сибири»). Новосибирск: Наука, 1973.

Писатели современной эпохи: Био-библиографический словарь русских писателей XX века. Т. I / под ред. Б.П. Козьмина. М.: ГАХН, 1928.

Пленум Сибирского Краевого Комитета ВКП(б). 3–7 марта 1928 г. Стенографический отчет. Вып. 1. Новосибирск: Сибкрайком ВКП(б), 1928 [На правах рукописи].

Правдухин В. [Рец. на:] Таежные зори. Журнал № 1 // Сибирские огни. 1922. № 3, июль–авг. С. 174–177.

Новониколаевск–Новосибирск: от поселкового старосты до мэра: Биографический справочник. Новосибирск: Некоммерческое партнерство «Центр архивных технологий», 2003.

Современные рабоче-крестьянские поэты: В образцах и автобиографиях, с портретами / сост. П.Я. Заволокин. Иваново-Вознесенск: Основа, 1925.

Старцев М. Городской голова Алексей Беседин // Сибирская горница. 2000. № 1. С. 44–46.

Тименчик Р.Д. Читатели Гумилева // Тименчик Р.Д. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим–М.: Гешарим; Мосты культуры, 2008. С. 362–384.

Титов Н. (а) Ночью (Дружеское обозрение сибирской поэзии) // Советская Сибирь. 1927. № 64 (2005), 20 марта. С. 3.

Титов Н. (б) «Писатели и Октябрь» // Неделя «Советской Сибири». 1927. № 24, 27 нояб. С. 8.

Трушкин В.П. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967.

Художественная литература в Сибири (1922–1927): Сборник статей и докладов. Новосибирск: Сибирский Союз Писателей, 1927.

Шандаров М. Председатель жюри Марина Дмитриевская: «Мой новониколаевский дедушка...» // Новосибирские новости. 1990. № 151 (9836), 2 июля. С. 5.

Архивы

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области, Новосибирск.

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства, Москва.

РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург.

Igor Loshchilov, Roman Timenchik

Novosibirsk State Pedagogical University Hebrew University, Jerusalem

POET KONSTANTIN BESEDIN: MUSE OF WANDERINGS AND TRAVELS

Abstract. The article is devoted to the works of the poet Konstantin Alekseevich Besedina (1902 – 1938). The poet was born in the village Tulun not far from Irkutsk, but from the age of three he lived in Novonikolayevsk (Novosibirsk, since 1926). Besedin' Father was the second and last in the brief history of the city mayor. He has done a lot for development of the city. In 1919 Besedin completed an exercise in novonikolayevsk real school and started to work in Soviet institutions. At the end of 1922 was published a small book of poetry Besedin'

«Journeys», one of the first in Novonikolaevsk poetic books. The motif of wandering and traveling becomes Central to his poetry. The poetics of the book, however, was deeply secondary and issued a provincial literary taste. This was noted by a few reviewers, among whom was C. Bruce. In one of the poems in the book were mentioned by S. Esenin and N. Klyuev. It has established the author's reputation «peasant poet», though he had no relations peasant poetry. Besedin's poems were print in the Siberian press until 1927. Published in the Annex to article archival materials show Besedin as a disciple of N. Gumilev, the memory of which was devoted written in 1925 poem «The Journey». The poem was not accepted for publication in the Siberian publications, and the author sent it to Leningrad, G. Ivanov, not knowing about his emigration. Siberian writers remembered a poem dedicated to the memory of the poet of counter-revolution, and it was for a long time indirectly mentioned in the literary and ideological disputes.

Keywords: Gumilev, literature of the 1920's, journey, Siberian poetry, Siberia, travelog, imitation

Information about the authors. Igor Engenyeovich Loshchilov, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Russian literature and Literature theory (Institute of Philology, Mass information and Psychology, Novosibirsk State Pedagogical University), Senior Research Officer of the Department of Literature Studies (Institute of Philology, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences) (630009 Novosibirsk, Obskaya str. 50-122. Phones: work.: (383)-244-06-30; mobile: 8-913-456-54-18. E-mail: loshch@yandex.ru).

Roman Davidovich Timenchik, Professor of Slavic Studies at Hebrew University in Jerusalem (The Hebrew University, Dept. of German and Russian Studies. Mountain Scopus. Jerusalem 91905 Israel. E-mail: romandtimenchik@excite.com).

К. Беседин

**ПУТЕШЕСТВИЕ
ПОЭМА**

1

Мы покинули город наш,
И уже свободны вполне,
Только солнце над нами – страж,
В голубой блестит вышине.
Где сейчас мы, нельзя узнать, –
Синеокие небеса
И спокойного моря гладь,
И вдали берега, леса.
Оживись, родная, взгляни,
Ну, скажи, отчего грустна.
Мы с тобою теперь одни, –
Только море и тишина.
Иль не в силах ты позабыть
Край, кипящий родной грозой,
И от сердца тайная нить
Так незримо влечет домой?
Нет! Не будем думать о нем,
Ведь вдали – зелены холмы,
Мы когда-нибудь вновь придем
Под суровый покров зимы.
И в случайный вечерний час,
Вспоминая – память найдет
Новый Край – что виден сейчас,
Этот остров, что нас зовет.

Где же все-таки ты со мной,
И в каком далеком краю?
Почему от песни хмельной
Я легко, отрадно пою?!
Вероятно, не помнишь ты,
Как уехали мы с тобой,
Чтоб стучали в волнах винты,
Чтоб гудел пароход большой.
Иль, быть может, аэроплан –
Металлический альбатрос –
Нас в одну из чудесных стран,
Незаметно скользя, унес?
И решили с тобою мы,
Ощущая струистый пожар,
Что причудливые холмы –
Африканский Мадагаскар.
Эта новая нам страна,
И чарующий этот вид,
Как хороший стакан вина,
Ощущеньем тепла пленит.
Но идем мы быстро вперед.
Уж затих океана прибой.
Перед нами вблизи плывет
Впереди круг голубой.
Это мы на озере Чад, –
В самом сердце материка;
Где-то тигры и львы рычат,
И твоя трепещет рука.
Ты не бойся рядом со мной.
Мой винчестер¹⁹ заморожен,
И лесной бродяга шальной

¹⁹ Написание слова исправлено. В машинописи было: Винчестер.

Будет меткой пулей сражен.
Но – из зарослей камыша
Чье-то дерзостное копьё,
Словно тихий ветер шурша,
Продвигает к тебе острие.
И, направленное в тебя,
Вот секунда – и полетит...
Но ведь рядом с тобою – я,
Как надежный и крепкий щит.
Этот зверский на вид бушмен
От ружья, как шакал, уйдет...
И пьянящею сменой смен
Нам навстречу жизнь потечет.
И, бродя по глухим местам,
Голубой мы увидим Нил,
Ведь давно уже, в детстве, – там
Красотой он тебя пленил.
Дальше – мы в краю²⁰ пирамид.
Седовласый, мудрый араб
Нам дороги покой хранит,
Скакуна умеряя храп.

3

Где-то мы блуждаем опять,
Пьяный запах струят цветы.
Ни зверей, ни птиц не видать, –
Только топи, кочки, кусты...
Мы под чарами злых дриад,
Нам не видных, скрытых листвою.
Нам уже не уйти назад,
Не вернуться теперь домой.
Дальше – гибель или наркоз...

²⁰ Написание слова исправлено. В машинописи было: в Краю.

Ах, не все ли, не все ли равно, –
Ведь уже давно порвалось
Золотое счастья звено.
Но вдали: голоса людей,
И гудят, звенят по кустам,
Ах, какой же там чародей
Пробирается тихо к нам?!
Боже!.. Это ведь... Гумилев,
Знаменитый поэт?! – Но он,
Там, в краю ураганных слов
Сторожащей пулей сражен?!.
Неужели сейчас воскрес,
Чтобы жить в затишье густом, –
Ведь ему африканский лес, –
Как родной и знакомый дом.
– Николай Степанович! Вы
Самый лучший спутник для нас,
Нам не страшны топи и рвы,
Ни песочный самумов пляс...
Вот подходит и говорит:
– Как же вы узнали меня? –
И в ответ мой голос кипит,
Наслаждением встречи звеня.
Говорю ему, что давно
Я запомнил его портрет,
И, как солнечное пятно,
Он оставил в памяти след.
И услышав весь мой рассказ,
Он промолвил: – Мой милый брат,
Очень радостно мне за Вас,
Но ведь тут почти... плагиат.
Неужель не слышали Вы,
Что поэт африканский – я,
Что действительно знали львы,

Что такое пуля моя!?
Ваш же вымысел и хорош,
И исполнен чистой душой,
Но никак не перешагнешь,
И не скажешь, что он не чужой.
В песнях сердца мы не вольны,
Песня сердца – та же волна...
Но упреки здесь не нужны,
Выпьем лучше стакан вина.
Я писал, потому что знал,
Ты – мой мальчик, поэт и друг,
Потому что страшно устал
Жить в стране метелей и вьюг.
Ничего, ведь меня уж нет...
И да будет рука моя
Теплым знаком, что ты – поэт;
И тобою доволен я.
И одно в душе не забудь
Там, в краю голубого льда, –
Чтоб и въяве когда-нибудь
Ты приехал поздней сюда.
И когда голубым огнем
Засверкает Нигер тебе,
Ты спокойно вспомни о том,
Что прожил и погиб в борьбе.

– Но, так все-таки, кто же Вы?
Я в испуге подался назад,
И гляжу: ни его, ни листвы,
Ни колдующих песен дриад.
Никого не видно кругом.
Но ведь рядом она была,
Неужели все было сном,

Неужели она ушла?!
 И печально память тогда
 Мне шепнула, грусть затая,
 Что рассеялся без следа
 Мой случайный миг забытья.
 Отчего – не знаю – взгрустнул...
 И на столике глобуса шар
 Я, задев плечом, шевельнул,
 И... попал на Мадагаскар...

Ново-Николаевск, 18/VI 1925

Георгию Иванову

18. VI 1925

Я посылаю Вам свою поэму «Путешествие», посвященную памяти Н. Гумилева.

Вполне понятно, что мне хочется видеть ее напечатанной. Но здесь и камень преткновения. У нас, в Сибири, ни «Сибирские Огни», ни «Сибирь» и др. <угие> журналы не могут принять этой поэмы, вследствие своих областнических взглядов и из-за «несозвучности эпохи» – «Путешествие».

Вивиан Итин (из «Сиб.<ирских> Огней») говорил мне: «Мне очень нравится, но... Как жаль, что мы не можем напечатать».

И поэтому вполне естественно возлагать надежды на Москву и Петербург, т. к. диапазон центральной печати значительно шире провинциального. И я думаю, что в городе, где имя Гумилева еще живет в сердцах многих, легче напечатать вещь, напоминающую о покойном поэте. Вы были знакомы с ним, и, таким образом, письмо неизвестного Вам человека не должно казаться странным, так же, как и непосредственная просьба к Вам помочь устроить мою вещь в одном из многочисленных Ленинградских журналов и альманахов.

Переписка с редакцией и личный разговор – дистанция огромного размера, и если бы Вы согласились заменить меня

в переговорах о напечатании «Путешествия», я был бы крепко и товарищески Вам благодарен.

Относительно каких-либо особых условий оплаты поэмы, разумеется, я не думал. Шлю Вам привет и жду Вашего отзыва.

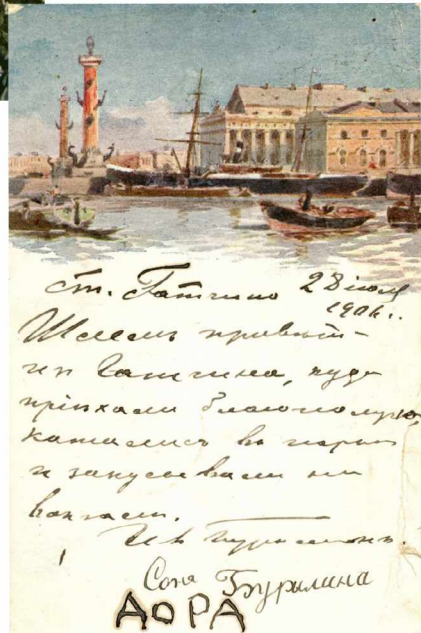
К. Беседин

PS. И позвольте (не в виде взятки) по-товарищески подарить Вам мой первый, ранний сборник «Странствования», который сможет дать Вам представление обо мне 1921–1922 годов, тогда – начинающем поэте.

Мой адрес:
Новониколаевск
Бурлинская 11
Константину Алексеевичу Беседину

Иллюстрации к статье Д.С. Докучаева
 «Почтовая открытка конца XIX – начала XX века
 как форма травелога (на материалах коллекции
 личной переписки фабриканта и мецената Д.Г. Бурылина)»

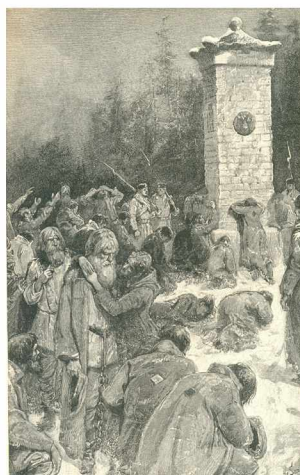




**Иллюстрации к статье Ф.С. Корандея
«Преддверие Сибири: образы границы в описании путешествий
по Сибири (вторая половина XIX века)»**



А. Сохачевский. «Прощание с Европой», 1893–1894 гг.
Полотно хранится в музее X павильона Варшавской цитадели,
бывшей тюрьмы, из которой польские повстанцы отправлялись
в сибирскую ссылку.



Дж. Фрост. Столб на границе Тобольской и Пермской губерний
(марковский столб). Иллюстрация из книги «Сибирь и ссылка» Дж. Кеннана (1891).



Столб на границе Европы и Азии (талицкий столб). Иллюстрация из книги английского орнитолога Г. Сибома, исследовавшего долину Енисея в составе экспедиции капитана Дж. Уитгинса (1877).



Столбы на границе Тобольской и Пермской губерний (марковский столб). Иллюстрация из сборника «Живописная Россия» за 1885 г.

**Иллюстрации к статье И. Лоцилова, Р. Тименчика
«Поэт Константин Беседин: муза странствований и путешествий»**

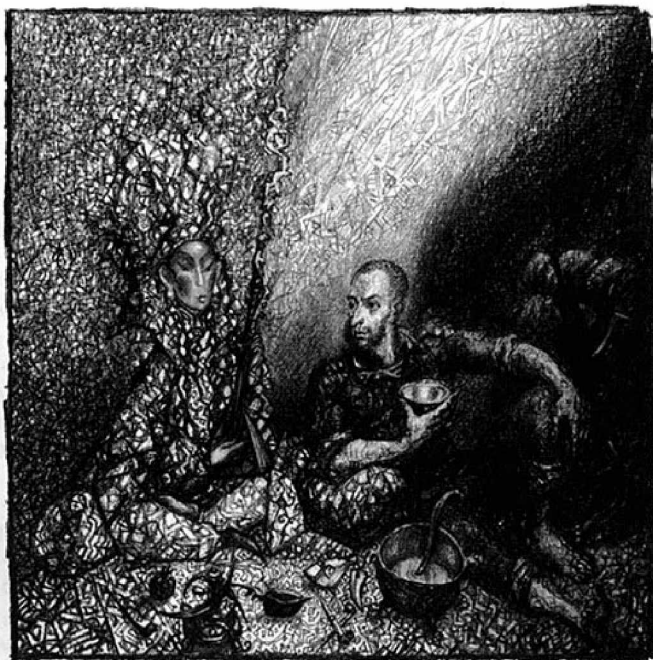


Рис. 1. Алексей Григорьевич Беседин с семьей. Крайний справа – Константин Беседин. Новониколаевск, 1919. Фотография из альбома Т.А. Бесединой



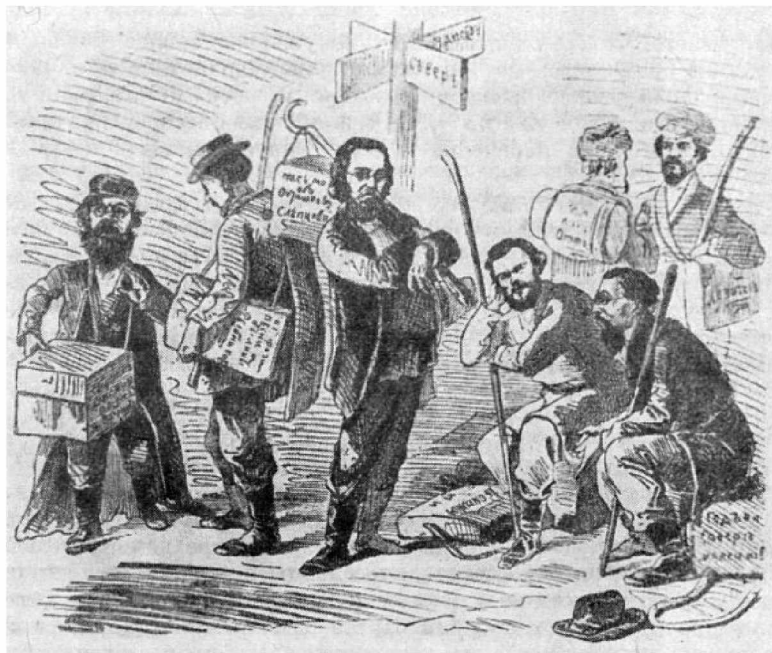
Рис. 2. Константин Беседин. Фрагмент групповой фотографии делегатов Съезда сибирских писателей (Новосибирск, март 1926 г.). Городской центр истории новосибирской книги, ФКУ (К. Урманов). Ф/А-8. Авторы благодарят Н.И. Левченко за предоставление электронной копии и разрешение на публикацию

**Иллюстрация к статье Н.А. Мураговой
«По мотивам путешествия: пьеса Владимира Мирзоева «Умай»»**



Художник Александр Смирнов.
Иллюстрация к пьесе В. Мирзоева «Умай»

**Иллюстрация к статье Т.И. Печерской
«Травелог в “Русском слове”:
к вопросу о редакционной тактике журнала**



Калики переходящие. Участники этнографических экспедиций конца 1850-х и начала 1860-х гг. Карикатура «Искры» (1864, № 9).
На переднем плане: П.И. Якушкин, П.Н. Рыбников, В.А. Слепцов,
И.И. Южаков, С.В. Максимов. На заднем плане: И.Л. Отто и А.И. Левитов.
Фототипия. Музей ИРЛИ АН СССР.

**Иллюстрации к статье Дочки Чавдаровой
«Путешествие болгарского и русского купцов в Европу
в ракурсе национальной идентичности
(Алеко Константинов и Николай Лейкин)**



Илия Бешков «Бай Ганьо убива автора си»
(«Бай Ганьо убивает своего автора»), 1947 год



Проект памятника Алеко Константинову и его герою Бай Ганю (архитектор
Станислав Константинов, скульптор Георгий Чапкънов [Чапканов])

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУССКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII–XX ВЕКОВ

Коллективная монография

В авторской редакции
Компьютерная верстка – *И.С. Заковряшина*

Подписано в печать 1.04.2015. Формат бумаги 60x84/16
Печать RISO. Уч. печ. л. 31,0. Уч. изд. л. 38,0.
Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии: ООО «Немо Пресс», 630001,
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1, оф. 202
Тел./факс: (383) 236-13-43, 292-12-68, e-mail: nemopress@mail.ru

